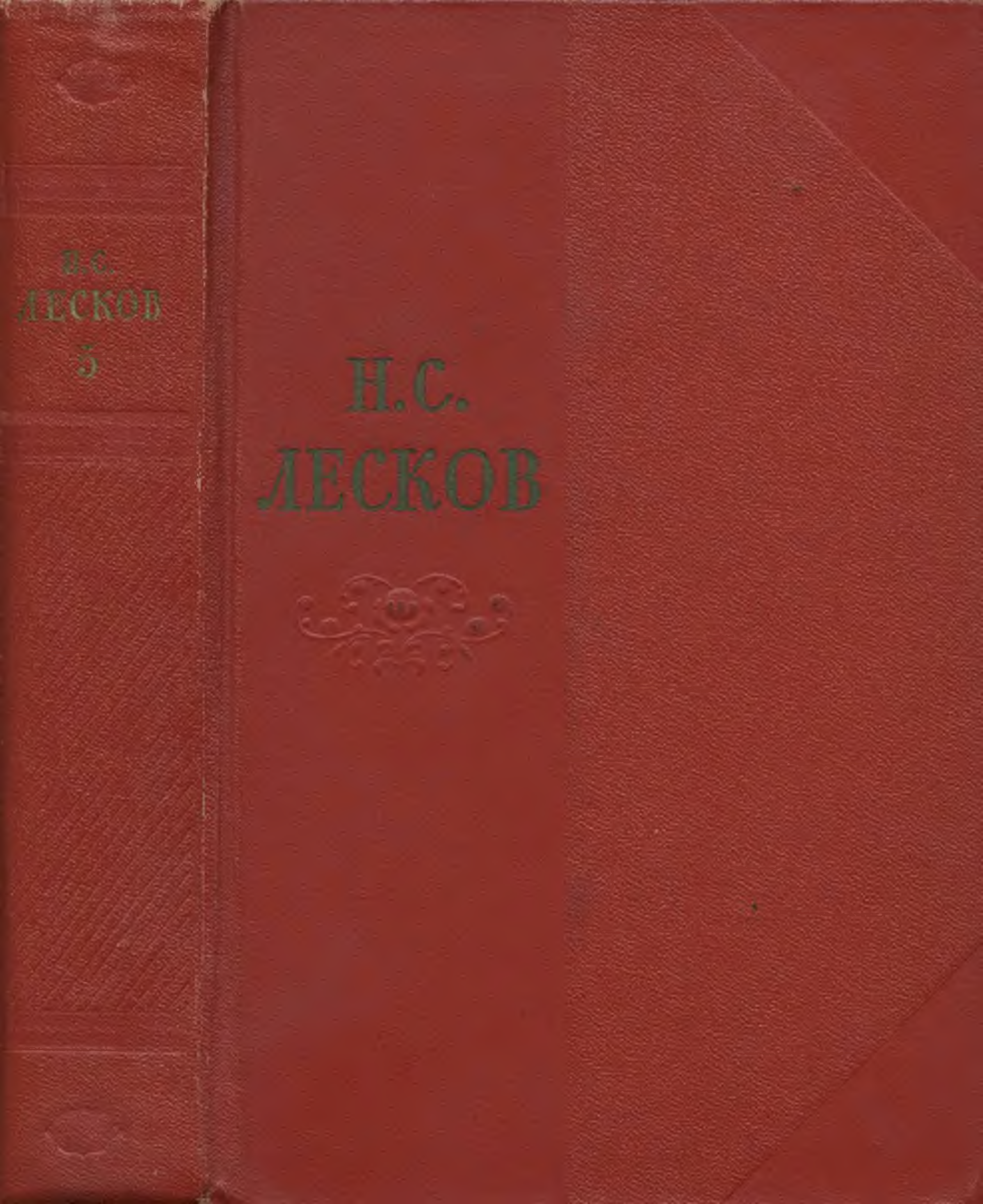


Н.С.
ЛЕСКОВ
5
Н.С.
ЛЕСКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ



Под общей редакцией:

В. Г. БАЗАНОВА, Б. Я. БУХШТАБА,
А. И. ГРУЗДЕВА, С. А. РЕЙСЕРА,
Б. М. ЭЙХЕНБАУМА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ТОМ ПЯТЫЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Подготовка текста и примечания
Л. В. ДОМАНОВСКОГО

ЗАХУДАЛЫЙ РОД

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

КНЯЗЕЙ ПРОТОЗАНОВЫХ

(Из записок княжны В. Д. П.)

В ДВУХ ЧАСТЯХ

«Род проходит и род приходит, земля же вовек пребывает».

Екклез. I, 4.

СТАРАЯ КНЯГИНЯ И ЕЕ ДВОР

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Род наш один из самых древних родов на Руси: все Протозановы по прямой линии происходят от первых владетельных князей, и под родовым гербом нашим значится, что он нам не милостью дарован, а принадлежит «не по грамоте». В исторических рассказах о старой Руси встречается немало имен наших предков, и некоторые из них воспоминаются с большим одобрением. До Ивана Даниловича Калиты они имели свой удел, а потом, потеряв его, при Иване Третьем являются в числе почетных людей Московского княжества и остаются на видном положении до половины царствования Грозного. Затем над одним из них разразилась политическая невзгода, и, по обычаям того времени, за одного явились в ответ все: одни из Протозановых казнены, другие — биты и разосланы в разные места. С этой поры род князей Протозановых надолго исчезает со сцены, и только раз или два, и то вскользь, при Алексее Михайловиче упоминается в числе «захудалых», но в правление царевны Софии один из этого рода «захудалых князей», князь Леонтий Протозанов, опять пробился на вид и, получив в управление один из украйных городов, сделался

«князем кормленым». Покормился он, впрочем, так неосторожно, что Петр Великий, доведавшись о способе его кормления, отрубил ему голову, а животы велел «поверстать на государя». При этом, однако, гнев государя не был перенесен с отца на детей, а напротив, старший сын казненного, Яков Леонтьевич, был взят для обучения его всем тогдашним наукам. Яков Львович (с этих пор имя Леонтий в роде Протозановых уступает место имени Лев) учился в России, потом за границею и по возвращении оттуда был проэкзаменован самим царем, который остался им очень доволен и оставил его при своей особе. Яков Львович оказался столь удобным для исполнения различных предначертаний Петровых, что государь отметил его своим особенным вниманием и повел его от чести к почести, не забывая при этом поправлять и его родовую «захудалость». Петр, однако, не сделал нашего прадеда богачом, а именно только вывел его из «захудалости». Сам же князь Яков Львович не умел вознаграждать себя: он, как говорили в то время, «заразился глупостью Лефорта», то есть пренебрегал способами к самовознаграждению, а потому и не разбогател. Такова была его жизнь до самого воцарения Анны Ивановны, когда Яков Львович попался на глаза Бирону, не понравился ему и вслед за тем быстро очутился в ссылке за Оренбургом.

В ссылке князь Яков Львович, по отеческому завету, обратился к *смирению:* он даже никогда не жаловался на «Немца», а весь погрузился в чтение религиозных книг, с которыми не успел познакомиться в юности; вел жизнь созерцательную и строгую и прослыл мудрецом и праведником.

Князь Яков Львович в моих глазах прелестное лицо, открывающее собою ряд чистых и глубоко для меня симпатичных людей в нашем роде. Вся жизнь его светла, как кристалл, и поучительна, как сказание, а смерть его исполнена какой-то прелестной, умиряющей таинственности. Он умер без всяких мучений на светлый день Христова Воскресенья, после обедни, за которою сам читал Апостол. Возвратясь домой, он разговелся со всеми ссыльными и не ссыльными, которые пришли его поздравить, и потом сел читать положенное в этот день всепрощающее поучение Иоанна Богослова и, при окончании чтения, на последнем слове нагнулся к книге и *уснул.*

Кончину его никак нельзя назвать смертью: это именно было успение, за которым пошел вечный сон праведника.

В тот же день к вечеру на имя ссыльного был доставлен пакет, возвещавший ему прощение и возвращение, дарованные волей воцарившейся императрицы Елисаветы: но все это уже опоздало. Князь Яков был разрешен небесною властью ото всех уз, которыми вязала его власть земная.

Прабабушка наша, Пелагея Николаевна, схоронив мужа, вернулась в Россию с одним пятнадцатилетним сыном, а моим прадедом, князем Левушкой.

Князь Левушка родился в ссылке и там же получил весь грунт своего начального воспитания непосредственно от своего отца, от которого в замечательной степени наследовал его превосходные качества. Вступив на службу в царствование Екатерины Второй, он не сделал себе блестящей карьеры, какую ему поначалу пророчили. Бабушка моя, княгиня Варвара Никаноровна, говорила о нем, что «он, по тогдашнему времени, был не к масти козырь, презирал искательства и слишком любил добродетель». Лет в тридцать с небольшим князь Лев Яковлевич вышел в отставку, женился и навсегда засел в деревне над Окой и жил тихою помещичьею жизнью, занимаясь в стороне от света чтением, опытами над электричеством и записками, которые писал неустанно.

Старание этого «чудака» совсем устранить себя от двора и уйти как можно далее от света, с которым он не сошелся, увенчались для него полным успехом: о нем все позабыли, но в семье нашей он высоко чтим и предания о нем живы о сю пору.

Я с раннего моего детства имела о князе Льве Яковлевиче какое-то величественное, хотя чрезвычайно краткое представление. Бабушка моя, княгиня Варвара Никаноровна, от которой я впервые услыхала его имя, вспоминала своего свекра не иначе как с улыбкою совершеннейшего счастья, но никогда не говорила о нем много, это точно считалось святыней, которой нельзя раскрывать до обнажения.

В доме было так принято, что если как-нибудь в разговоре кто-нибудь случайно упоминал имя князя Льва Яковлевича, то все сию же минуту принимали самый серьезный вид и считали необходимым умолкнуть. Точно

старались дать время пронестись звуку священного семейного имени, не сливая его ни с каким звуком иного житейского слова.

И вот тогда-то, в эти паузы, бабушка Варвара Никаноровна обыкновенно, бывало, всех обводила глазами, как бы благодаря взглядом за уважение к свекру, и говорила:

— Да, чистый был человек, совершенно чистый! Он в случае не был и фавору не имел — его даже недолюбливали, но... его уважали.

И это всегда произносилось старою княгиней одинаково, с повторением, при котором она употребляла для усиления выразительности один и тот же жест.

— Он фавору не имел, — повторяла она, помахивая пред собою вытянутым указательным пальцем правой руки. — Нет, не имел; но... — Тут она круто оборачивала свой палец вниз и со строгим выражением в лице оканчивала, — но его уважали, и за то не терпели.

За этим опять шла минута молчания, после которой бабушка, понюхав щепотку табаку из жалованной Мариею Феодоровной золотой табакерки, или заговаривала о чем-нибудь вседневном, или несколько пониженным тоном добавляла о свекре своем следующее:

— Он, покойник, ни с кем не ссорился... Нет, приятных императрице людей он не критиковал и грубости никому не оказывал, но ни с графом Валерианом, ни с князем Платоном домами знаком не был... Когда нужно было, когда так выходило, что они на куртагах встречались, он им кланялся... Понимаете... Как должно по этикету... для courtoisie[1] поклонится и отойдет; но руки не подавал и в дом не ездил. К разным бедным людям ездил и их у себя принимал, а к тем не ездил; это для них, может быть, ничего и не значило, а только он не ездил и так и в отставку вышел и в деревню удалился: так и умер, а всегда говорил: «для того, чтобы другие тебя уважали, прежде сам в себе человека уважай», и он в себе человека уважал, как немногие уважают.

Это говорилось уже давно: последний раз, что я слышала от бабушки эту тираду, было в сорок восьмом году, с небольшим за год до ее смерти, и я должна сказать,

---

[1] Галантности, вежливости *(франц.)*.

что, слушая тогда ее укоризненное замечание о том, что «так немногие в себе человека уважают», я, при всем моем тогдашнем младенчестве, понимала, что вижу пред собою одну из тех, которая умела себя уважать.

О ней теперь я и постараюсь записать, что сохранила моя память.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Бабушка Варвара Никаноровна происходила из самого незнатного рода: она была «мелкая дворянка», по фамилии Честунова. Бабушка отнюдь не скрывала своего скромного происхождения, напротив, даже любила говорить, что она у своего отца с матерью в детстве индюшек стерегла, но при этом всегда объясняла, что «скромный род ее был хоть тихенький, но честный и фамилия Честуновы им не даром досталась, а приросла от народного прозвания».

Отец княгини Варвары Никаноровны был очень бедный помещик, убогие поля которого примыкали к межам князя Льва Яковлевича. Мать бабушкина была очень добрая женщина и большая хозяйка, прославившаяся необыкновенным уменьем делать яблочные зефирки, до которых жена князя Льва Яковлевича была страстная охотница. На этом княгиня и бедная дворянка заинтересовались друг другом и, встретясь в церкви, познакомились, а потом, благодаря деревенской скуке, скоро сошлись и, наконец, нежно подружились.

Князь Лев Яковлевич был этому чрезвычайно рад, но он находил невозможным, чтобы бедная дворянка бывала у его жены как будто какая-нибудь пришлая, не на равной ноге. «Через это люди не будут знать, как ее понимать», — рассудил он и тотчас же надел свой отставной полковничий мундир и регалии и отправился из своего Протозанова в деревню Дранку с визитом к бабушкиному отцу.

В бедных хибарах мелкого сошки все перепугались наезда такого важного гостя, сам старик Честунов едва решился вылезть к князю из боковуши в низенькую комнату, исправлявшую должность зальцы, но через какие-нибудь полчаса это все изменилось: неравенство исчезло, князь обласкал Честунова, обдарил прислугу

и вернулся домой, привезя рядом с собой в коляске самого дворянина, а на коленях его пятилетнюю дочку, из которой потом вышла моя бабушка, княгиня Варвара Никаноровна Протозанова, некогда замечательная придворная красавица, пользовавшаяся всеобщим уважением и расположением императрицы Марии Феодоровны.

Честуновы сделались в доме прадеда своими людьми, а бабушка выросла и воспиталась в протозановском доме. Ее там чему-то учили, хотя я никогда не могла составить себе понятия о ее учености. Она без науки знала все, что ей нужно было знать, умела всякое дело поставить пред собой так, чтоб обнять его со всех сторон и уразуметь ясным пониманием его смысл и значение. Изучением же она знала, кажется, только священное писание да французский язык. Но зато что́ она знала, то знала в совершенстве и из священного писания любила приводить тексты, а по-французски говорила безукоризненно, но только в случае крайней в том необходимости.

У князя Льва Яковлевича было два сына: Димитрий и Лев. Из них Димитрий на девятнадцатом году утонул, купавшись в жару в холодном озере, отчего с ним в воде сделались судороги, а князь Лев Львович на восемнадцатом году влюбился в Варвару Никаноровну, которая, по ее собственным словам, в четырнадцать лет «была довольно авантажна». Другие же, например старые люди из прислуги княгини, дворецкий ее, Патрикей Семеныч, и горничная, Ольга Федотовна, выражались на этот счет гораздо решительнее; они говорили, что «неописанной красоте бабушки и меры не было». Это же как нельзя более подтверждает и висящий теперь предо мной ее большой портрет, работы известного Лампи. Портрет писан во весь рост, масляными красками, и представляет княгиню в то время, когда ей было всего двадцать лет. Княгиня представлена высокою стройною брюнеткой, с большими ясными голубыми глазами, чистыми, добрыми и необыкновенно умными. Общее выражение лица ласковое, но твердое и самостоятельное. Опущенная книзу рука с букетом из белых роз и выступающая одним носочком ботинки ножка дают фигуре мягкое и царственное движение. Глядя на этот портрет, я не могу себе представить, как пылкий и восторженный юноша, каким описывают моего покойного деда, мог не влюбиться в эту

очаровательницу? Притом же он почти вырос с нею под одним кровом, он знал ее ум, доброту, благородство ее мыслей и ту утонченную деликатность, которая приковывала к ней всех, кто имел истинное счастие знать ее. К тому же эта прелестная девушка в самые ранние годы своей юности вдруг совсем осиротела и, оставаясь одна на всем свете, по самому своему положению внушала к себе сочувствие и как бы по повелению самой судьбы делалась естественным членом семьи призревших ее князей Протозановых. Старики Протозановы так на это и смотрели, и когда сын их Лев Львович, получив чин в гвардии, приехал из Петербурга на побывку домой с тем же пламенем любви к сиротке, с каким четыре года тому назад уехал, то они только обрадовались, что это чувство, выдержав испытание, остается прочным. А когда молодой князь решился просить их о позволении жениться на Честуновой, то они сказали ему, что лучшей себе невестки, а ему жены, и не предвидели. Тут же у них был отслужен благодарственный молебен, и затем их перевенчали и вскоре же, не успев нарадоваться их молодым счастием, отпустили их в Петербург.

Года не прошло после этой свадьбы, как старики один вслед за другим сошли в могилу, оставив бабушку Варвару Никаноровну с ее мужем полными наследниками всего состояния, хотя не особенно богатого, но, однако, довольно их обеспечивающего.

Заботливостью полюбившей и взявшей Варвару Никаноровну под свое крыло императрицы средства Протозановых были вскоре сильно увеличены: дед получил в подарок майорат и населенные земли из старых отписных имений и стал богатым человеком. Им очень везло. Большое уже в это время состояние их вскоре еще увеличилось самым неожиданным образом: во-первых, к ним перешли по наследству обширные имения одного дальнего их родственника, некогда ограбившего их предков и не имевшего теперь, помимо деда, никаких других ближайших наследников, а во-вторых, в старом протозановском лесу за Озерною нашли драгоценный клад: маленькую пушку, набитую жемчугом и монетой и, вероятно, спрятанную кем-то в землю от разбойников.

Деда, любившего жить пышно, это очень обрадовало, но бабушка, к удивлению многих, приняла новое

богатство как Поликрат свой возвращенный морем перстень. Она как бы испугалась этого *счастья* и прямо сказала, что это одним людям сверх меры. Она имела предчувствие, что за слепым счастием пойдут беды.

Однако шли года, никакое несчастие не приходило: дедушка служил очень удачно, детей у них было немного: один сын и дочь, княжна Настасья Львовна. Эту единственную свою дочь бабушка, в угождение императрице, но против своего желания, должна была записать в институт, и это было для нее первым толчком горя в ее двери. Сын, нынешний дядя мой, князь Яков Львович, был гораздо моложе сестры и был прекрасный мальчик. Словом, все было хорошо, но во всем этом счастии и удачах бабушка Варвара Никаноровна все-таки не находила покоя: ее мучили предчувствия, что вслед за всем этим невдалеке идет беда, в которой должна быть испытана ее сила и терпение. Предчувствие это, перешедшее у нее в какую-то глубокую уверенность, ее не обмануло: одновременно с тем, как благополучным течением катилось ее для многих завидное житье, тем же течением наплывал на нее и Поликратов перстень. Против деда и жены его, взысканных всеми милостями рока, поднималась мелкая зависть, которая зорко следила за понижением уровня их значения и, наконец, дождалась времени, вполне благоприятного для того, чтобы с ними переведаться. Это созрело как раз пред открытием французской кампании, в которую дедушка вступил с своим полком и был замечательно несчастлив: в каком деле он ни участвовал, неприятель разбивал его самым роковым образом.

Бабушка, еще вращавшаяся тогда в высших кружках, чувствовала, что ее мужу изменяет фортуна, что он входит в немилость, и не стала лавировать и поправлять интригами падающее положение, а, расставшись равнодушно со светом, уехала к себе в Протозаново с твердою решимостью не выезжать оттуда.

Обстоятельства так сложились, что это решение ее стало крепко.

Ольга Федотовна, живая хроника, из которой я черпаю многие сказания, касающиеся моего семейства, передавала мне об этом тягостнейшем периоде бабушкиной жизни следующее. Я запишу это словами ее же собственной речи, которую точно теперь слышу.

— Мы приехали-то, — говорила добрая старушка, — так тогда дом был совсем запущен. Лет десять ведь никто в него не заглядывал, он хоть и крепкий был, а все стал на вид упадать. Княгиня Варвара Никаноровна и говорят: «Надо поправить». Мастера и свои и чужие были — ради спешки вольных из Орла привезли. Княгиня все торопились, потому что словно она ждала какого последнего несчастия над techдединькой, и хотя сама в то время в тягостях была (ожидаемый ребенок был мой отец), но все ходила и настаивала, чтобы скорее дом был отделан. Сами мы все жили в трех комнатках, а для князя она все хотела, чтобы весь дом в параде был, и дума ее сиятельства была такая, что если его еще будет преследовать несчастие, то чтоб он нашел какой-нибудь способ объясниться с главнокомандующим или государю бы все от чистого сердца объяснил и вышел в отставку. Я это все знала, потому что княгиня ведь со мною, если у них было что на сердце тягостное, все говорили, и тогда, хотя я еще и молоденькая, даже против них девочка была, а они от меня не скрывали.

«Я, — говорит, — Ольга, так решила, что лишь бы он здоров сюда приехал, а то уж мы отсюда никуда не поедем. Так здесь и будем жить, как свекор с свекровью жили, а то они, эти не понимающие справедливости и воли божией люди, его замучат».

Я, разумеется, успокаивала их и отвечала:

«Да что вы, — говорю, — матушка, ваше сиятельство, об этом еще рано так много думаете; ведь это еще все, бог даст, может быть, совсем иначе пойдет, и князь, господь даст, такую победу одержат, что целое королевство возьмут».

А она меня перебивает:

«Молчи, — говорят, — Ольга, не говори вздора: я не напрасно беспокоюсь, а я это так чувствую. Господь мне так много счастия дал, какого я не стоила... ну что же; а теперь, — изволят говорить, — если ему меня испытать угодно, так сердце мое готово».

Я тут из усердия им глупое слово и скажи:

«За что же, — говорю, — он станет вас испытывать: разве вы кому зло какое-нибудь сделали?»

А они и рассердились:

«Ну, в таком разе, — говорят, — отойди лучше от меня прочь...»

«За что же, — говорю, — ваше сиятельство: вы меня простите!»

«Да бог тебя простит, — отвечают, — но только я не люблю друга-потаковщика, а лучше люблю друга-стречника, и ты мне соблазн. Разве благая от бога принимая, злого я не должна без ропота стерпеть? Нет; ты уйди скорее от меня: я лучше одна с моею покорностью хочу остаться!»

И прогнали меня с глаз, а сами, вижу, вошли в спальню и на *приедьо*[1] стали. А я, в обиде на себя, что княгиню так огорчила, прошла поскорее чрез девичью, чтобы прочие девушки меня не видали, потому что была расстроена, и выскочила, да и стала на ветерку, на крылечке. Этакое волнение на меня нашло, что плачу, точно вблизь самой себя что ужасное чувствую, а оно так и было. Всплакнула я раз-два и вдруг всего через одну короткую минуту времени отнимаю от глаз платочек, и предо мною, смотрю, за кладовыми, за углом, стоит Патрикей Семеныч и меня потихоньку рукою к себе манит. Я как его увидала, так и затрепетала всем телом своим и ноги у меня подкосились, потому что знала, что этого быть не может, так как Патрикей Семеныч с князем находился. Откудова же это он мог сюда прямо с войны взяться? Верно, думаю, его там в сражении убили, он мне здесь как стень и является, и опять на него взглянула и вижу, что и он на меня смотрит: я вскрикнула и как стояла, так назад и повалилась, потому что все думаю, что это мертвец. Но он наместо того сейчас же ко мне подбежал, подхватил меня рукою и шепчет:

«Ах, что же такое, — говорит, — Ольга Федотовна, что же делать?.. полноте!»

А я... как это услыхала, так сердце у меня как у зайца и забилось.

«Как, — говорю, — «что же делать», а где князь?»

А он этак головою на грудь наклонил и отвечает:

«Не пугайтесь, — говорит, — князь приказал всем долго жить; а я один, — говорит, — с письмом его при-

---

[1] Prie-dieu *(франц.)* — скамеечка для коленопреклонения при молитве.

ехал, да вот уже часа четыре все за кладовыми хожу, вас из-за угла высматриваю: не выйдете ли, чтобы посоветоваться, как легче об этом княгине доложить».

Не знаю уж я, матушка, что́ б я ему на это сказала, потому что у меня от этих его слов решительно даже никакого последнего ума не стало, но только как мы это разговариваем, а наверху, слышу, над самыми нашими головами, окошко шибко распахнулось, и княгиня этаким прихриплым голосом изволит говорить:

«Патрикей! чего ты там стоишь: иди ко мне сейчас!»

Я, это-то услыхавши, ну, думаю: ну, теперь все пропало, потому что знаю, какая она в сердце огненная и как она князя любила, и опять этакая еще она молодая и неопытная, да и в тягости. Ну, думаю, кончено: все сразу собралось и аминь: послал ей господь это такое испытание, что она его и не вынесет. И после этого я ни за что за Патрикеем вслед не хотела идти. Думаю: он все-таки сильный человек, мужчина, света много видел и перенесть может, пусть как знает, так ей докладывает, а я не пойду, пока она вскрикнет и упадет, а тогда я и вбежу, и водой ее сбрызну, и платье отпущу. Но как Патрикей Семеныч на крыльце перекрестился и пошел, и я всю эту трусость с себя сбросила и не утерпела, постояла одну минуточку и тоже за ним побежала, думаю: ежели что с нею, с моею голубушкой, станется, так уж пусть при мне: вместе умрем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Прибежала я в ее комнату с Патрикеем Семеновичем почти зараз: он только что вошел и у дверей у порога стал, а она идет от окна вся как плат бледная, я уже ясно вижу, что она, сердечная, все поняла. Подошла она молча к голубому помпадуру, что посередине комнаты стоял, толкнула его немножко ножкою в сторону и села как раз супротив Патрикеева лица.

Мне и Патрикея-то Семеныча смерть жаль, и ее-то жаль, и не знаю куда деться, просто, кажется, сквозь земь бы провалилась и мычусь как угорелая, сама не знаю, за что взяться. А княгиня посмотрела на меня и говорит:

«Перестань вертеться! что ты?»

Я говорю:

«Я, ваше сиятельство, ваш ридикюль ищу».

А она мне ни слова больше, а только махнула головкою: дескать, стань на место. Я скорее за помпадур и юркнула и, чтобы мне не видать Патрикеева лица, гляжу ей в темя, а она вдруг изволит к Патрикею Семенычу обращаться:

«Ну, — приказывает, — говори, как все дело было?»

Тут самая жуткость настала. Патрикей Семеныч, как и со мною у них было, головою понурил, и губа у него одна по другой хлябает, а никакой молви нет. А княгиня, сколь ей, вижу, ни тяжело, подняла на него все лицо и говорит:

«Ну что же это, Патрикей! сговорились вы, что ли, все меня нынче с ума свести? Говори все, я тебе приказываю!»

Патрикей вскрикнул:

«Матушка! я не могу», — да в ноги ей и грохнулся, и от полу лица не поднимает.

В комнате-то этакий свет вечерний, солнце садится, вбок все красным обливает, а у меня даже в глазах стало темно, и вижу, что княгиня как не своею силой с помпадура встала, и к самой голове Патрикея Семеныча подошла, и говорит:

«Патрикей! я этого не люблю: ты с чем пришел, то должен сделать. Жив князь?»

А Патрикей Семеныч, не поднимая лица от пола, ей отвечает:

«Нет, ваше сиятельство, князя нашего нет в живых».

Она брови наморщила и за сердце рукой взялась. Я ей сейчас воды, — хлебнула и назад подала, а сама спрашивает:

«Своею смертью окончил или бедой какой?»

Патрикей отвечает:

«В сражении убит».

Княгиня оглянулась на образ, перекрестилась и опять села в помпадур, потому что ноги ей, видно, плохо служили, и велела Патрикею все в соблюдении мелко рассказывать.

Ну, тогда Патрикей, видя, что она в себе уже такую силу выдержала, встал и начал смелее, и такой его рассказ был:

— Несчастие, — говорит, — их сиятельство преследовало ужасное: куда они ни вступят — все поражение да поражение, и письма они стали получать из Петербурга ужасные. Прочитают, бывало, волосы на себе рвут, так что даже смотреть на них страшно; а потом даже вовсе этих писем распечатывать не стали. Как почта получится, они ваши письма отберут, прочитают и к себе на грудь к сердцу положат, а те мне приказывают все в огонь бросать. Так месяца два шло, а в счастии никакой перемены нет, и вдруг один раз приходит к ним в палатку адъютант, расстроенный, весь бледный, и говорит им что-то по-французски, робко и несмело, а должно быть, самое неприятное.

А князь весь даже побагровел да вдруг как крикнет на него по-русски:

«Как вы смели мне это передать!»

Тот ему отвечает:

«Простите, — говорит, — ваше сиятельство, я это, ей-богу, из преданности... потому, — говорит, — это все говорят, и я, — говорит, — опасаюсь, чтобы в неосторожную минуту свои офицеры против вас...»

Но князь не дал ему это кончить и опять как крикнет:

«К черту, — говорит, — убирайтесь от меня с этакою вашею преданностью и товарищам вашим то же самое от меня скажите; а если кто думает, что я изменник, тот пусть завтра от меня не отстает, а кто отстанет — тот клеветник и подлец».

И так он рассердился, что ни на что не похож был, и не разделся, и в кровать не лег, а все в шинели по палатке всю ночь проходил и черный кофе пил. В три часа ночи приказ дал солдатам коней седлать и чтобы тихо так, чтобы ничего не слышно было, потому что неприятель у нас совсем в виду за балкой стоял. Пока люди седлают, а я ему умываться подаю, а он все велит себе воду с ледком на голову лить, а сам все ее ловит горстьми; глотает, и сам молитву «Живый в помощи» читает — молится, а вид у него совершенно потерянный. Начали они в боевое платье одеваться, а я им помогаю: берусь им саблю подвязывать, да вдруг хлоп... наземь ее и уронил.

Знаю, в другое время они бы за это грозно рассердились и ужасно бы что́ могли сделать, а тут только вздрогнули и говорят:

«Ах, Патрикей, что ты сделал».

Я, говорит, шепчу:

«Виноват, ваше сиятельство».

А он отвечает:

«Нет, это не ты виноват, а это злая рука у тебя из рук вышибла. Прощай же, — говорит, — чувствую, что я нынче своей головы из битвы не вынесу».

Патрикей Семеныч заплакал и говорит:

«Что вы, ваше сиятельство, бог милостив».

А он отвечает:

— То-то и есть, что он милостив: он брани не любит и взявшего меч мечом наказует, но я упрямый человек — мне легче умереть, чем бесчестье переносить, а ты, если меня убьют, возьми это письмо и ступай к княгине: тут все писано, а что после писаного станется, про то ты сам скажешь».

Патрикей им и осмелился доложить, что я, говорит, ваше сиятельство, лучше со света сбегу, а не буду этого княгине докладывать, потому как они этого не вынесут.

А князь им тут же напоследях «дурака» сказали и говорят:

«Тебе или мне больше дано мою княгиню знать? Не смей рассуждать, что́ она вынесет, а исполняй, что тебе приказываю», — и с этим из палатки выходить стал.

А Патрикей, видя, что он это все как предсмертное приказание ему передает, догнал и спрашивает:

«А что же, ваше сиятельство, если так, то детям какое накажете благословение?»

Князь остановился, но потом только рукой махнул:

«Бог их, — говорит, — благословит, а все, что им нужно, мать преподаст».

Патрикей же вдруг вдосталь стал все расспрашивать:

«Батюшка, ваше сиятельство, простите мое слово: княгинюшка молода, мысли их будут в божьей власти: они могут ранним вдовством отяготиться и пожелать замуж выйти».

Так от этого слова князь, говорит, даже весь в лице потемнел, но тихо ответил:

«Все равно она детей не забудет, я в ней уверен». И с этим, говорит, ногу в стремя поставил, поцеловал, нагнувшись с коня, Патрикея и сказал ему: «Поцелуй руку

у княгини», и с тем повел полк в атаку и, по предсказанию своему, живой с поля не возвратился.

Зарубились они в рать неприятельскую в самую средину и всё кричали: «Все за мной, все за мной!», но только мало было в этом случае смелых охотников за ним следовать, кроме одного трубача! Тот один изо всех и видел, как дед бился, пока его самого на части изрубили. Жестоко израненный трубач выскочил и привез с собой князеву голову, которую Патрикей обмыл, уложил в дорожный берестяной туес и схоронил в глубокой ямке под заметным крушинным кустом.

Как Патрикей кончил это печальное сказание, так бабушка, по словам Ольги Федотовны, встала и позвала его к своей руке, как то ему завещал покойный князь, и затем сама его в голову поцеловала и сквозь глубоких и обильных слез выговорила:

— Благодарю, и ценю, и по гроб не забуду, — и с этим вышла в образную.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Не было с княгиней Варварой Никаноровной ни обморока, ни истерики, а на другой день она велела служить в своей церкви по муже заупокойную обедню, к которой приказала быть всем крестьянам ближних сел, их старостам, бурмистрам и управителю. Ольга Федотовна рассказывала, что бабушка, стоя за обеднею у клироса, даже мало плакала. Она, вероятно, успела вдоволь выплакаться, оставаясь всю ночь в своей образной, и теперь не хотела, чтоб ее видел кто-нибудь слабою и слезливою. Она даже не раз обращала внимание ктитора на подтаивавшие мелкие свечи желтого воска, которые ставили к кануну за упокой князя крестьяне, а потом сама после панихиды скушала первую ложку кутьи и положила одно зерно с нее в ротик сына, которого держала на руках нянька, одетая в черное траурное платье.

После обедни, по обычаю, был стол духовенству, за которым обедал и управитель, а крестьянам были накрыты особые большие столы на дворе, и все помянули князя по предковскому обычаю и подивились тоже предковской силе духа молодой княгини.

Однако молчаливая, но терзающая скорбь, вероятно, так тяготила и пугала княгиню, что она страшилась мысли оставаться с нею сам-на-сам: бабушка берегла свою *отвагу,* свою душевную бодрость.

Средством для этого она избрала едва ли не самое лучшее из всех средств — именно усиленную деятельность. Тотчас же после поминовения усопшего бабушка принялась самым энергическим образом за распорядки, в которых, нимало друг другу не мешая, шли и хозяйственные мероприятия и планы, и заботы о памяти мужа и об очистке всех его нравственных долгов.

Во-первых, тотчас же после заупокойного обеда в ее комнату прямо из-за стола был позван Патрикей. Бабушка встретила его опять повторением выраженных ему вчера благодарностей за службу деду, а потом подала ему составленную ею отпускную и подарила из своего отцовского наследия пустынку в тридцать десятин за речкою Дранкою.

Преданный Патрикей возроптал против этого и стал энергически отказываться, но бабушка принудила его молчать, сказав, что все это нужно для нее, так как «неблагодарность тягчит сердце человека».

Вслед за сим она приказала тому же Патрикею, отдохнув, немедленно ехать засвидетельствовать эту вольную и потом во что бы то ни стало, где он хочет, разыскать и привезти ей трубача, разделявшего с дедом опасность в его последнем бою. А сама взялась за хозяйство: она потребовала из конторы все счеты и отчеты и беспрестанно призывала старост и бурмистров — во все входила, обо всем осведомилась и всем показала, что у нее и в тяжкой горести недреманное око.

— Мать, — говорили крестьяне, — горе горюет, а детское добро бережет.

Меж тем отъехавшему Патрикею предстояла нелегкая задача отыскать израненного солдата, путь которого, за выходом его в отставку, был бабушкиному послу неизвестен. К тому же Патрикей, который недаром пользовался доверием князя и княгини, потому что он был умен, находчив и сообразителен, здесь на первых же шагах обличил совсем не свойственное ему крайнее легкомыслие и ветреность. На другой же день после его отъезда лакейчонки, начав убирать переднюю, нашли в ящике,

в столе, тщательно обернутую бумагу, по рассмотрении которой конторщиком она оказалась Патрикеевой вольною. Он должен был захватить ее с собою и завезти в палату, а между тем... бросил, как «дар напрасный, дар случайный».

Когда эту вольную представили княгине, она только улыбнулась и сказала:

— Этот человек истинный друг мне, — и тотчас же велела конторщику ехать засвидетельствовать отпускную и потом положить ее опять в то же самое место, где ее оставил Патрикей, и никогда ему об этом не сказывать. Все это так и было исполнено.

Эта историческая для нас вольноотпускная Патрикея Семеныча Сударичева, хранящаяся нынче в семейном архиве дяди, князя Якова Львовича, так и пролежала близ сорока лет в ящике, куда положил ее Патрикей и откуда никогда не хотел ее вынуть.

Меж тем прошло около трех месяцев, о самом княгинином после не было ни слуху ни духу, и вдруг он возвратился, и не один, а с кем ему было сказано.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ольга Федотовна, доходя в своих рассказах до этого события, всегда впадала в какой-то смешанный трагикомический тон повествования. Трагическое тут всегда принадлежало бабушке, а комическое — трубачу, которого месяца через три после своего отъезда привез Патрикей Семеныч. Я запишу этот рассказ так, как его слышала из уст самой пестуньи бабушкиной старости и моего детства.

— Бабинька-то тут все еще продолжала задавать себе труд за трудом, — начинала, бывало, Ольга Федотовна. — Труд за трудом, голубушка моя, так на себя и хватала, так и захапывала на свои молодые ручки, чтоб они у нее поскорее уставали, так время и прошло. Со смерти князя-то шел уже седьмой месяц, а ее тягости девятый исполнялся. В эту-то пору, в самую весеннюю ростепель, Патрикей Семеныч с трубачом и воротился. По правде сказать: было кого столько времени по всему

свету искать... И привез-то его Патрикей Семеныч из-под Грайворона, и сам-то он назывался Грайворона, и все, что он, бывало, ни сделает, изо всего у него выходила одна грайворона. Был он из хохлов — солдатище этакой, как верблюд огромнейший и нескладный, как большое корыто, в каких прачки за большою стиркою белье синят, и вдобавок был весь синеватый, изрубленный; по всему лицу у него крест-накрест страшенные шрамы перекрещивались, а одна бакенбарда совсем на особом на отрубленном куске росла, и не знать, как она у него при роже и держалась. Словом, такой красавец, что без привычки смотреть на него было страшно, или, лучше того сказать, можно было его по ярмаркам возить да за деньги по грошу показывать.

Княгиня его сейчас к себе потребовала и долго молча на эти его рубцы и шрамы, что по всему лицу шли, смотрела, точно сосчитать их хотела: сколько он, талагай, их в смертном бою за désиньку получил, а потом тихо его спрашивают:

«Как тебя звать?»

«Петро Грайворона, — говорит, — ваше сыятелство!» — и все это таким густым басом, что как из бочки содит.

Княгиня и продолжают:

«Ты из хохлов, что ли?»

«Точно так, — говорит, — ваше сыятелство: я из хохлов».

«Что же ты... за что ты особенно моего мужа любил?»

«Никак нет, — говорит, — ваше сыятелство, в особину не любил».

— Этакий дурак, — хохлище безмозглый был! — обыкновенно смеясь восклицала, бывало, прерывая рассказ, Ольга Федотовна, — в службе был, а решительно никакой политики не мог сохранить, что кстати, что некстати, все, бывало, как думает, так и ляпнет!

Княгиня изволят продолжать:

«Как же так: если ты, — говорят, — особенно его не любил, то почему же ты его в очевидной смерти не бросил, когда от него все отстали?»

«Командир, — говорит, — ваше сыятелство: командира нельзя бросить, на то крест целовал».

Ну и вот грубость да откровенность его эта княгине понравилась: она ему тут головкой кивнула и ласково говорит:

«А-а, так вот ты какой! Это хорошо, честно».

А он вкратце ей по-своему отвечает:

«Точно так, ваше сыятелство!» — и что раз ответит, выкрикнет, то еще больше в струну по-полковому вытягивается, так что даже нога об ногу кожаной подшивкой на панталонах скрипит.

Княгиня изволят его благодарить.

«Ну, во всяком разе, — говорят, — ты добрый человек, что ко мне приехал».

«Никак нет, — отвечает, — я ослушаться не смел».

«Почему же ты меня не смел ослушаться?»

«Вы командирша, — говорит, — ваше сыятелство».

«А-а, — отвечает княгиня, — это хорошо! — и сами улыбаются, — ты, значит, теперь после мужа ко мне под команду поступаешь?»

«Точно так, ваше сыятелство».

«Ну так отвечай же своей командирше: много ли у тебя какого роду-племени?»

«Никого, — говорит, — у меня не осталось ни роду, ни племени: я за сиротство и в солдаты отдан».

«Ну, назови мне добрых людей, которым бы ты за их добродетель чем-нибудь пособить хотел».

«Никогда, — говорит, — я добрых людей, ваше сыятелство, не бачивал».

Княгиня удивились и говорят:

«Как: неужто ты во всю жизнь ни одного доброго человека не видал?»

«Точно так, — говорит, — еще никогда ни одного не видал».

«Неужели же, — говорят, — у тебя и в полку любимого товарища не было?»

«Никак нет, — отвечает, — ни одного не было: меня в полку все «хохлом» дразнили».

«Ну так хохлы-то твои, верно, тебя в деревне любили?»

«Никак нет, ваше сыятелство, — они меня, как я вернулся, стали «москалем» звать и выгнали».

«Куда же они тебя и за что выгнали?»

«Так, сказали: ступай вон, чтоб у нас здесь твоего московьского духу не было».

«Ну а кто же тебя принял?»

«Слепой Игнат принял».

«Ну так, стало быть, этот слепой Игнат был добрый человек?»

«Никак нет, ваше сиятелство, — он самый подлюга и есть: он меня пьяным напоил да хотел мне кипятком глаза выварить, чтобы вдвоем слепые петь станем, так больше подавать будут. Один господь спас, что я на ту пору проснулся, так и побил его».

Княгиня даже задумалась и потом говорят:

«Экой ты какой... ничего с тобой не сообразишь!» — и, обратясь к Патрикею Семенычу, изволили приказать, чтоб отдать их именем управителю приказание послать за этого Грайворону в его село на бедных пятьсот рублей, а в церковь, где он крещен, заказать серебряное паникадило в два пуда весу, с большим яблоком, и чтобы по этому яблоку видная надпись шла, что оно от солдата Петра Грайворона, который до смертного часа не покинул в сечи командира своего князя Льва Протозанова. «Это я, — говорят, — так хочу, чтобы в селе помнили, что под сею паникадилою был крещен честный человек, а что русские князья доблесть чествуют».

А солдатище-то, это услыхавши, весь просиял: стоит и зубы скалит. Так ему весело, что он и всю субординацию свою, дурак, позабыл: корчится от смеха и приседает да ручищами в колени хватается.

И княгиня, глядя на него, что он так киснет со смеху, и сами рассмеялися и говорят:

«Чего же ты смеешься? Верно, тебе это не нравится?»

А он отвечает:

«Это, — говорит, — ваше сиятелство, очень что прекрасно, потому что им от этого никогда в нос неучкнет, что этот паникадил для меня гореть будет, а не для праздника».

Ну тут уж и я рассмеялась, и даже Патрикей Семеныч, на что был человек серьезный, так и он тоже на грудь лицо опустил и улыбнулся. А княгиня, разумеется, изо всего этого ясно усмотрела, что она такое есть эта Грайворона, и сейчас вышли на минуту с Патрикеем в другую комнату и спрашивают:

«Что он, кажется, пьющий?»

Патрикей отвечает:

«Очень, — говорит, — ваше сиятельство, пьющий».

Княгиня пожалели.

«Экая, — изволила сказать, — жалость! Нам, я вижу, никак нельзя его навек устроить, его надо у нас дома сберечь».

Патрикей отвечает:

«Это как вашему сиятельству будет угодно».

А княгиня вышли опять в зал и говорят Грайвороне:

«Ну, слушай команду».

«Рад, — говорит, — стараться».

«Я тебе приказываю оставаться у меня».

«Рад стараться!»

«Будешь жить на всем на готовом».

«Рад стараться!»

«И платье, — говорят, — и обувь, и пищу дам, и хозяйство устрою, и по три рубля денег в месяц на табак будешь получать, — только осторожней кури и трубку куда попало с огнем не суй, а то деревню сожжешь».

Она это ему причитает, а он, точно индюк на посвист, орет: «рад стараться!»

«А водки, — княгиня спрашивает, — сколько ты любишь употреблять?»

«Не могу знать, — говорит, — ваше сыятелство. Я ее еще досыта никогда не пил».

«Ну так тебе от меня положение будет три стакана в день пить; довольно это?»

«Не могу знать, ваше сыятелство, а только я три стакана всегда могу пить».

«Ну и на здоровье».

«Всегда здоров буду, ваше сыятелство».

Княгиня опять на него посмотрела и сказала: «Экой какой», и отпустили его и сейчас же взялись все свои на его счет обещания исполнять.

В церковь его паникадил был заказан, в село бедным деньги посланы, да и еще слепому тому злому в особину на его долю десять рублей накинуто, чтобы добрей был, а Грайворону тут дома мало чуть не однодворцем посадили: дали ему и избу со светелкой, и корову, и овец с бараном, и свинью, и месячину, а водка ему всякий день из конторы в бутылке отпускалась, потому что на весь

месяц нельзя было давать: всю сразу выпивал. Но все эти заботы о нем он ни во что обращал: бутылки этой, от княгини положенной, ему мало было, и он все, что мог, от себя в казенное село в кабак тащил, но во хмелю был очень смирный. Придет, бывало, домой, у своей пустой избы на порожке сядет и сидит, только как сыч глаза выпялит и водит ими, а ничего не видит. Скажут ему:

«Гляди ты, чудак, до чего ты допился: ведь у тебя уже в глазах и свету нет».

А он чуть внятно проворочает:

«А на что мне, — говорит, — в глазах свет, когда за меня паникадило светит», — и с тем копырнется и тут же и спит на пороге.

Как о нем ни заботились, чтоб отучить его от этой слабости, и Патрикей Семеныч и сама княгиня, ничего ему не помогало. Княгиня вдобавок к прежней о нем заботе стала говорить:

«Он, может быть, скучает; не женить ли его на какой доброй женщине, чтоб его берегла?»

Так он отвечал:

«Никак нет, ваше сиятелство: я к семейству неспособен. Я в себе кавалерский характер имею и всякой женщине очень скоро наскучить могу».

Ну, одним словом, никуда, болван, не годился!

Но княгиня ведь уж была такая, что если она за которого человека возьмется, чтоб его спасать, то уже тут что про него кто ей ни говори и что он сам ей худого ни сделай, она его ни за что не бросит. Так было и с этой, прости меня господи, с Грайвороной: что он, нелепый, ей ни досаждал, она все терпела и виду не показывала, что надокучил. На пьяных людей была первая ненавистница, и во всех имениях у нас это знали, и никто мало-мальски выпивши носу на улицу не смел показать, а Грайворона, бывало, идет, шатается, солдатская шапка блином на затылке, руки безобразно в карманы засунет и весь расхрыстанный. Тьфу, даже смотреть мерзко, а она, взглянув на него, только жалостно поморщится и скажет Патрикею:

«Уберите его, несчастного!»

За то же и он ее, голубушку, чуть шутя со света не убрал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Обстоятельство это было такое смешное, да не мало и страшное, — продолжала Ольга Федотовна, — а заключалось оно в том, что, храни бог, если бы тогда бабиньку господь не помиловал, так и тебя бы на свете не было, потому что это все произошло при рождении твоего отца, князя Дмитрия, всего на второй день. Бабинька лежала тогда в своей спальне, в нижнем этаже, окна в сад темно-зеленой тафтой завешены. Мы сидим — я да вторая надо мною была горничная Феклуша, — такую тишину блюдем, что даже дыхание утаиваем, а Грайворона напился пьян и, набивши порохом старый мушкет, подкрался под княгинины окна и выпалил. Сделал он это в тех целях, «чтобы, говорит, командирова новорожденного сына как должно по военному артикулу поздравить». Но так с пьяных-то глаз с излишком пороху переложил, что весь мушкет у него в руках разлетелся и ему самому всю рожу опалило и большой палец на руке оторвало. Этак он самого себя поздравил, а с княгиней от страшного перепуга долгий обморок сделался, потом же, как в себя изволили прийти, сейчас спрашивают:

«Что это такое было? чего я испугалась?»

Я говорю:

«Ничего, матушка, все, слава богу, цело и хорошо».

«Да что же такое именно?»

«Что же, — говорю, — кроме как Грайвороны глупости», — и рассказываю ей, что́ этот талагай сделал и с каким намерением.

А княгиня мне отвечает:

«А вот видишь, — говорят, — вы всё меня уверяете, что он глуп. Вы все на него нападаете, а он верный человек. Прикажи, — говорят, — ему сейчас от меня стакан вина поднести и поблагодарить».

Все бы это тем и кончилось, но тут я-то вышла приказанье исполнить, а эта, вторая-то горничная, начала княгине на ее вопросы отвечать, да и брякнула, что Грайвороне мушкет палец оторвал и лицо опалил.

Княгиня растревожилась:

«Ах он, бедный, — говорит, — отвезти его сейчас к лекарю, чтобы помог».

Однако к лекарю Грайворону не посылали, потому что он, проспавшись, ни за что о том слышать не хотел.

«Если я ее сиятелству моим усердием, — говорит, — потрафил, так прочее всё пустяки», — и, недолго думая, взял овечьи ножницы да сам себе палец оторванный совсем прочь и отстригнул.

«А насчет рожи, что опалил, — говорит, — это совсем не замечательно: она, почитай, такая и была; опух, — говорит, — сам пройдет, а тогда она опять вся на своем месте станет».

И она у него, эта его рожа страшная, точно, сама зажила, только, припалившись еще немножечко, будто почернее стала, но пить он не перестал, а только все осведомлялся, когда княгиня встанет, и как узнал, что бабинька велела на балкон в голубой гостиной двери отворить, то он под этот день немножко вытрезвился и в печи мылся. А как княгиня сели на балконе в кресло, чтобы воздухом подышать, он прополз в большой сиреневый куст и оттуда, из самой середины, начал их, как перепел, кликать.

«Ваше сиятелство! а ваше сиятелство!»

Княгиня его голос сейчас узнала и говорит:

«Это ты, бедный Грайворона?»

«Точно так, — говорит, — ваше сиятелство, я-с!»

«Где же ты спрятан?»

«Я, ваше сиятелство, здесь, в середине, в кусте сижу».

«Явись же сюда ко мне наружу!»

«Никак нельзя, ваше сиятелство; я не в порядке».

«Чем же ты не в порядке?»

«Рожа у меня, ваше сиятелство, очень поганая».

«Рожа поганая? Ну что делать: выходи, я не пуглива».

Он и вылез... Прелести сказать, как был хорош! Сирень-то о ту пору густо цвела, и молодые эти лиловые букетики ему всю голову облепили и за ушами и в волосах везде торчат... Точно волшебный Фавна, что на картинах пишут.

Княгиня поглядела на него и говорят:

«Что ты, бедный: верно, все пьешь?»

«Точно так, — говорит, — ваше сиятелство, — пью».

«Зачем же ты не остановишься?»

«Да помилуйте, — отвечает, — когда мне уже мочи нет — жить очень хорошо. Велите мне какую-нибудь работу работать».

Княгиня его за это одобрили; но ничего ему это не помогло. Никуда не способный был человек, не тем он будь, покойничек, помянут. К разным его княгиня должностям определяли, ни одной он не мог за пьянством исполнить. В десятники его ставили, он было всех баб перебил; в конюшни определили, так как это в кавалерии соответственнее, он под лошадь попал, только, слава богу, под смирную: она так над ним всю ночь не двинулась и простояла; тогда его от этой опасности в огуменные старосты назначили, но тут он сделал княгине страшные убытки: весь скирдник, на многие тысячи хлеба, трубкой сжег. И после этого как проспался да все это понял, что наделал, так пошел с горя в казенное село, на ярмарку, да там совсем и замутился: отлепил от иконы свечку в церкви и начал при всех за обеднею трубку закуривать. Его мужики начали выводить, да и помяли. Привез его к нам на телеге один тоже чудак дворянин, Дон-Кихот Рогожонич звался, только, покойник, уже плох был и вздохнуть не мог. Княгиня ему послали бутылку нашатырного спирту, чтоб он хорошенько вытерся, а вдруг ей докладывают, что ему от этого еще хуже стало. Княгиня сами к нему пошли, а уже у него и голосу нет: все губы почернели, а изо рта нашатырь дышит.

Княгиня вдруг ударила себя пальчиком в лоб и говорят мне:

«Ах, Ольга, какие мы с тобою дуры: ведь это он, верно, нашатырь внутрь выпил». Спрашивают его:

«Скажи мне, Грайворона, как ты моим лекарством вытерся?»

А он ей просипел, что как надо, говорит, сделал — все из бутылочки выпил, а бутылочкой себя по всем местам вытер.

Значит, и снутри и снаружи себя обошел... Ну, что же тут было делать? Послали скорее за доктором, а только он его ждать не захотел и к другому утру кончился, и кончился-с так, как бы и всякий ему позавидовал: на собственных на княгининых ручках богу душу отдал. И даже как это немножко не в ожиданности вдруг пристигло, так сама же княгиня ему отходную прочитала и своими руками глаза завела. Вот какой от хорошей жены и пустому человеку за мужа почет был! — добавляла Ольга Федотовна, в рассказе которой о Грайвороне всегда звучала

нота небольшой раздражительности, которую, однако, напрасно кто-нибудь принял бы за неудовольствие на этого бедного человека или за открытую нелюбовь к нему. Боже сохрани! Добрейшая старушка моя ни к кому не питала таких чувств, и в душе она очень сожалела Грайворону и даже любила его; но... Тут нужно было довольно тонкое проникновение, чтобы понять: зачем этот как бы недовольный тон, и к кому именно он относится? Ольга Федотовна никогда не могла примириться с тем, что бабушка ценила поступок Грайвороны как нечто достойное особой похвалы и благодарности, тогда как Ольга Федотовна знала, что и она сама, и Патрикей, и многие другие люди не раз, а сто раз кряду умерли бы за князя и княгиню и не помыслили бы поставить это себе в заслугу, а только считали бы это за святой долг и за блаженство.

Рассказом о смерти Грайвороны и о рождении моего отца Ольга Федотовна всегда как будто заканчивала введение в нашу семейную хронику. За этим следовало повествование об одиноком житье-бытье княгини Варвары Никаноровны до тех пор, пока ей настало время выдать замуж воспитавшуюся в Петербурге княжну Анастасию Львовну и заняться воспитанием моего отца, но я должна поступить иначе: я должна еще удержаться в этом тихом периоде раннего бабушкиного вдовства, для того чтобы показать облики ее ближайших друзей и очертить характер ее деятельности за пределами дома — в обществе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Как понятно мне то, что Данте рассказывает об одном миниатюристе XIII века, который, начав рисовать изображения в священной рукописи, чувствовал, что его опытная рука постоянно дрожит от страха, как бы не испортить миниатюрные фигуры. В эти минуты я чувствую то же самое: пока я писала о бабушке и других предках Протозановского дома, я не ощущала ничего подобного, но когда теперь мне приходится нарисовать на память ближайших бабушкиных друзей, которых княгиня избирала не по роду и общественному положению, а по их

внутренним, ей одной вполне известным преимуществам, я чувствую в себе невольный трепет. Могу ли я хоть сколько-нибудь отчетливо изобразить симпатичные, умиляющею теплотой и безмерным благородством дышавшие черты этих маленьких людей?

Первыми друзьями молодого вдовства княгини были два самые скромные лица, имена которых я уже упоминала: это Патрикей Семеныч Сударичев и Ольга Федотовна, которую я девятнадцать лет кряду видела изо дня в день, но фамилия которой осталась для меня неизвестною. Я даже думаю, что она и сама ее едва ли знала. Оба эти друга княгини были существа очень добрые, честные и беззаветно ей преданные, а притом каждый из них совершенно по-своему, что зависело от различия их характеров. Патрикей Семеныч имел ум довольно глубокий и сосредоточенный, характер солидный и даже немножко важный; он по натуре был фанатик рабской преданности и твердый консерватор старых порядков. Ольга же Федотовна имела натуру более впечатлительную и нервную: она была быстрее Патрикея в своих соображениях и хотя поступала иногда немножко легкомысленно, но зато искупала этот недостаток тонким женским чутьем, с которым она открывала малейшие причины бабушкиных скорбей и умела утешать ее прежде, чем основательный Патрикей, подперши рукою свое жабо, мог до чего-нибудь додуматься. Преданность бабушке у Ольги Федотовны была такая же глубокая и страстная, как и у Патрикея, но в ней замешивалась некоторая нервная раздражительность и нетерпеливость, благодаря которой она иногда впадала в критицизм и, возмнив себя чем-нибудь обиженною, начинала плакать и дуться на княгиню. Бабушка это хорошо знала и в таких случаях обыкновенно говорила:

— Ольга Федотовна! Что это ты, мать моя, кажется, опять на меня за что-то рассердилась? Ну, прости Христа ради.

Ольга Федотовна сейчас же по такому поводу проливала слезы и становилась счастливою. Бабушка втайне от нее говаривала, что это у нее «такая *пассия:* захочется ей поплакать, она и начнет что-нибудь выдумывать, чтобы на меня рассердиться. Я сношу, привыкла и знаю, что она уважения стоит».

Патрикей был ортодоксальнее Ольги в своей вере в бабушку и потому никогда не согрешал против нее и не знал сладости слез Петрова покаяния.

Таковы в главных чертах основные различия характеров Патрикея и Ольги. Бабушка обоих их любила очень сильно, но тоже не совсем одинаковым образом: к Патрикею она обнаруживала больше уважения, а к Ольге Федотовне больше нежности. Княгиня считала ее легкомысленною и тарантóю, что было отчасти и справедливо, но непременно любила с нею ночью поболтать и посоветоваться. При простудных же болезнях, которым очень часто подвергалась неосторожная Ольга Федотовна, бабушка сама обтирала ее согретым вином с уксусом и поила теплою малиной, хотя не забывала при этом ворчать:

— Это тебе, впрочем, и поделом, потому что ты таранта и любишь летать, куда тебе не нужно.

А Ольга Федотовна при этом целовала ручки бабушки и отвечала:

— Истинная правда: не столько я вам служу, сколько вы за мной ходите.

Патрикей был лет на двадцать старше бабушки, а Ольга Федотовна лет на восемь ее моложе. Она родилась на дворне в Протозанове и девчонкою была отвезена в Москву, где училась в модном магазине. Когда бабушка проезжала с мужем после свадьбы из деревни в Петербург, ей сделали в этом магазине платья. Ольга Федотовна бегала к бабушке «с примеркой» и, понравившись княгине за свою миловидность, была взята ею в Петербург.

— Обе мы были молоденькие, — рассказывала об этой поре Ольга Федотовна. — Княгиня в самые большие дома и во дворец выезжала и обо всем там, кажется, могли наговориться, а, бывало, чуть только вернутся, сейчас ко мне: разденутся и велят себе задорную корочку аржаного хлеба покруче крупной солью насолить и у меня на сундучке сядут, и начнем с нею про деревню говорить. А если когда князя долго нет и княгиня скучают, то положат пред собою от нетерпения часики с такою скорою стрелкой, — мы ее «тиран жизни» прозвали, — и обе вместе, чтобы не заснуть, на эту стрелку, на «тиран жизни», и смотрим.

С этих-то пор Ольга Федотовна начала «садиться при княгине», сначала только для того, чтобы прогонять вместе с нею сон, следя за неустанным движением «тирана жизни», а потом и в некоторых других случаях, когда княгиня предпочитала иметь пред собою Ольгу Федотовну более в качестве друга сердца, чем в качестве слуги.

Со вдовством бабушки отношения их с Ольгой Федотовной сделались еще короче, так как с этих пор бабушка все свое время проводила безвыездно дома. Ольга Федотовна имела светлую и уютную комнату между спальнею княгини Варвары Никаноровны и детскою, двери между которыми всегда, и днем и ночью, были открыты, так что бабушка, сидя за рабочим столиком в своей спальне, могла видеть и слышать все, что делается в детской, и свободно переговариваться с Ольгой Федотовной.

Официальное положение Ольги Федотовны всегда оставалось одно и то же: то есть она была просто бабушкина горничная, но честь ей шла от всех не в меру этого положения. Ольгу Федотовну все любили за ее хороший нрав и доброе сердце, и особенно за то, что она никогда ни про кого не сказала княгине ни одного худого слова. Несмотря на свое скромное общественное положение, которое казалось еще более незаметным от личной скромности этой превосходной женщины, она имела очень большой круг знакомства между лицами высшей общественной среды. Ольгу Федотовну не только знали и величали по имени и отчеству все небогатые дворяне, к которым княгиня от времени до времени посылала ее навестить больного или отвезти секретное пособие, но они принимали ее запанибрата и старались у нее заискивать. Это чрезвычайно смущало врожденную скромность Ольги Федотовны, и она прибегала к пособию своего тонкого такта, чтоб отстранять эти панибратства. Она садилась у помещиков только по повторенному приглашению, и то не иначе, как в детской или в какой-нибудь другой «непарадной» комнате; чаю позволяла себе выпивать из рук хозяйки не более как две чашечки, а если ее где-нибудь в чужом доме застигала ночь, то она или непременно просилась ночевать с нянюшками, или по крайней мере ложилась «на стульях». У Ольги Федотовны было убеждение, что спать на стульях гораздо деликатнее, чем лечь на кровати или хоть на диване: она это и соблюдала.

Короткие приятельские связи у Ольги Федотовны были в другом кружке, именно в духовенстве. К своим приходским священникам и к дьякону она езжала вечером в воскресенье, в гости на чашку чая, и в этом же кружке был у нее ее единственный сердечный друг и ее единственная в жизни любовь — любовь такая целомудренная и ароматная, что я не встречала ничего ей подобного ни в жизни, ни в описаниях.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Сказав, что *единственный* друг Ольги Федотовны был на поповке, я должна оговориться, что тут нет с моей стороны никакой обмолвки насчет ее отношений к моей бабушке или к Патрикею. Бабушка считала Ольгу Федотовну своим другом, и Патрикей Семеныч, я думаю, тоже, по крайней мере это было видно во всей аттенции, с какою относился к ней этот сдержанный, солидный и самообладающий консерватор и княжедворец, но для Ольги Федотовны оба они были слишком умны и подавляли ее своим величием. Их она благоговейно чтила, а для дружбы, требующей равенства, искала существа попроще и нашла его в лице несколько старшей ее по летам дочери слепого заштатного дьякона Николая. Дьякон этот, человек превосходной жизни, давно овдовел и был очень беден, а к довершению своих несчастий он, везя летом с поля снопы, ослеп от молнии. С тех пор он уже не мог служить и получал от бабушки месячину на дворовом положении. У него было два сына и две дочери: сыновья его обучались в семинарии, а дочери росли дома и трудились. Обе они были девушки очень хорошие и хорошенькие. О старшей из них, именно о Марье Николаевне, я должна немножко распространиться, так как в ее лице буду рекомендовать третьего бабушкиного друга. Я уже сказала, что Марья Николаевна была хороша собою, но хороша тою особенною красотой, которая исключительно свойственна благообразным женщинам из нашего духовенства. Эта красота тихая, скромная, далекая от всяких притязаний на какую бы то ни было торжественность, величие и силу своего обаяния: она

задумчива, трогательна, является как бы только вместилищем заключенной в ней красоты духовной. О такой красоте прекрасно говорил восторженный Савонарола, впрочем и наши искусные древние иконописцы, изображая лики святых мучениц, умели передавать в их изображениях эту мерцающую красоту. Марье Николаевне уже давно истек тот возраст, в котором девицы духовного звания делают партии, а младшая еще была в поре, удобной для замужества. Но и у этой бедняжки, несмотря на ее пышную красоту в отличном от сестры роде, женихов, однако, не предвиделось: она была бесприданница, а бедное место сельского дьякона на дьячковской части сколько-нибудь стоящего человека не привлекало. Чтоб удержать отцовское место, приходилось или одному из сыновей оставить семинарию и заступить отца, или младшей сестре выйти за неуча, который от некуда деться будет рад взять это бедное место в приданое за хорошенькою женой.

Так бы непременно и случилось, если бы у нее не было старшей сестры, Марьи Николаевны, в которой обитала какая-то необыкновенная душа. С той поры, как она впервые себя сознала, до тех пор, как сказала пред смертью: «Приими дух мой», она *никогда не думала о себе* и жила для других, а преимущественно, разумеется, для своей семьи. Рано потеряв мать, она буквально вынянчила обоих братьев и сестру, которые все были моложе ее. Когда братьев отвезли в училище, она тринадцатилетнею девочкой отпросилась у отца на бывшую верст за сто от них ковровую фабрику. Бог весть, как она там прожила два года в сообществе фабричных женщин, нравы которых не пользуются особенным уважением. Марью Николаевну это ничто не попортило: она училась, работала и раза два в год набегала домой, чтобы провести праздники с отцом и с братьями, которые приходили об эту пору пешком из училища, а особенно с младшей сестрой, в которой не слыхала души. Отпраздновав несколько дней дома и наладив все, что без нее в домашнем хозяйстве приходило в расстройство, Марья Николаевна опять отправлялась пешком за сто верст на свою фабрику, пока, наконец, в конце второго года явилась оттуда веселая и счастливая, с кульком основы, узоров и шерстей, и, поставив в светлом углу

бедной горницы ткацкий стан, начала дома ткать ковры уже как опытная мастерица. Этим рукомеслом она внесла в дом довольство и счастие, каких семья еще никогда не знала. Будучи прекрасною мастерицей, Марья Николаевна получала с фабрики материал и заказы и, исполняя одни работы, отвозила их и забирала новые. Дело шло прекрасно, и скоро в доме застучал другой станок, за которым в качестве ученицы села младшая сестра. И эта была такою же мастерицей, только Марья Николаевна, охраняя ее от всяких столкновений с торговыми людьми, продолжала ездить на фабрику одна и сама переносила всю тяжесть деловых отношений. Но благоденствие сестер обратило на себя внимание других девиц, приходивших к Марье Николаевне с просьбой «поучить» их: явилось соперничество, и цены заработков сбились до того, что Марья Николаевна, работая добросовестно, не находила возможным более конкурировать на фабрике; она стала работать с сестрою «на город», но излишняя конкуренция вторглась и на этот рынок. Средства бедной девушки стали скудны и недостаточны для того, чтобы поддерживать братьев, которые, переходя в высшие классы, требовали относительно больших расходов. Марья же Николаевна, будучи сама крайне чистоплотна, непременно хотела, чтоб и братья ее не ходили босиком и в халатах, а имели бы обувь, манишечки и хотя нанковые или казинетовые сюртучки и жилеты. В устройстве этого гардероба мужской портной, разумеется, не участвовал, все мужские наряды братьям Марья Николаевна кроила и шила сама с сестрою по выкройкам, взятым с сюртука Патрикея Семеныча, но все-таки это стоило денег, по скудным добыткам девушки довольно больших. Ко всему этому, как я уже сказала, старый дьякон в это время, едучи с поля, был оглушен и ослеплен молнией, а сыновьям его еще оставалось быть года по два в семинарии, и потом Марья Николаевна хотела, чтобы хоть один из них шел в академию. Марья Николаевна умела смотреть и вдаль, и во что бы то ни стало стремилась хотя одному своему брату открыть широкую дорогу. Она знала, что для этого прежде всего нужно, чтобы братьев ничто не отрывало от их научных занятий, а этому первым препятствием становилась бедность. Чтобы сколько-нибудь облегчить участь семьи, конечно, можно было пожертвовать млад-

шей сестрой и выдать ее замуж за дьячка, который бы принял отцовское место, но Марья Николаевна с такою мыслью никак не могла помириться: она никем не хотела жертвовать, кроме себя самой, и нашлась, как это сделать. Энергическая девушка, пользуясь любовью и уважением купеческого дома, в который сбывала свои ковры, необыкновенно ловко и быстро просватала свою младшую красивую сестру за приказчика этого дома, молодого человека, который, по соображениям Марьи Николаевны, подавал добрые надежды, и не обманул их: сестра ее была за ним счастлива. Тогда Марья Николаевна чрез несколько же дней после сестриной свадьбы явилась к архиерейскому секретарю, поднесла ему в подарок ковер своего рукоделья и просила дать себе самой жениха, как единственной теперь незамужней дочери слепого дьякона. Секретарь посмотрел на нее, улыбнулся и, взяв ковер, довел ее просьбу до архиерея. Марья Николаевна представилась и владыке, который в свою очередь тоже на нее посмотрел и промолвил:

— Стара!

— Чего изволите? — переспросила, будто не расслышав, Марья Николаевна.

— Я говорю, что ты стара.

— Тридцать два года, владыко, — отвечала, не смущаясь, Марья Николаевна.

— Вона как! Это стара...

— Всего тридцать два года!

— Совсем стара!

— Ну, только воля ваша, владыко, а мне жених, как вам угодно, нужен.

— Все врешь: ни на что он тебе не нужен...

— Ей-богу, владыко, нужен.

И Марья Николаевна так основательно рассказала, зачем ей нужен жених, что архиерей стал убеждаться ее доводами и заговорил в другом роде:

— По этому судя, оно точно, он тебе по хозяйству нужен.

— По хозяйству же, владыко, по хозяйству и нужен. Явите свою милость и не откажите мне его даровать.

Архиерей был человек очень участливый и добрый.

— Гм... даровать, — заговорил он, — именно только

уж надо даровать, да вот еще у меня на твое горе женихи-то все очень молоды.

— Ничего, преосвященнейший владыко, что ж, я всяким буду довольна.

— Ну-у! вот ты какая уветливая: и молодого берешь!

— Беру-с.

— Берешь? Ну так я же тебя награжу за покорность: возьму да самого молоденького тебе и дам; вы, стар да млад, скорее поладите.

— Слушаю, владыко, я полажу.

— Умна; хорошо... очень умна. Я тебе дам женишка, и очень хорошего жениха дам; он давно у меня под замечанием, да; я его давно в усмирение наказать хотел, да; вот он своего часа и дождался. Он весьма козляковат, светского нрава любитель, поскакун, и краткие сюртуки себе нарочито для плясания завел, и камзельку с стекловидными пуговками себе приобрел. Отец протопоп видел, говорит: «аки бы звезды во мраке сияют, когда он вращается», а учение бросил, — вот я его теперь за все сразу и проучу — и за краткий сюртук, и за плясание, и за камзельку с стекловидными пуговками, да... вот я его, скакуна, усмирю... да; я возьму его да на тебе и женю. Ему это вместо епитимии будет!

Марья Николаевна за все эти милости владыке в ноги, а тот сейчас же вызвал из коридора, где ждали просители, молодого белокурого семинариста и говорит:

— Ты хочешь места?

— Желаю.

— Так вот можешь получать со взятием сей себе в жены, — инако не получишь.

Семинарист встряхнул кудрявою головой и отвечал согласием, а Марья Николаевна скорее один поклон архиерею, другой — жениху, дескать «спасибо, что выручил», и выкатила с женихом, который через несколько дней стал ее мужем.

Неравенство их лет было очень заметное: Марья Николаевна, как женщина, была уже на склоне, и ее иконописная красота совсем увяла, а муж ее только расцветал. Но, замечательное дело, они жили счастливо. Что Марья Николаевна никогда не жаловалась на свою долю, это было в порядке вещей: она шла замуж совсем не для того, чтобы быть счастливой, а для того, чтобы сохранить

кусок хлеба отцу и дать братьям средства окончить курс, но было несколько удивительно, что и муж ее не роптал на судьбу свою... Молодой «поскакун» оценил редкие достоинства этой чудной женщины и... полюбил ее! Такова иногда бывает власть и сила прямого добра над живою душой человека.

Вся эта эпопея разыгрывалась еще в то время, когда бабушка жила в Петербурге, но завершилась она браком Марии Николаевны как раз к возвращению княгини в Протозаново. Ольга Федотовна, узнав как-то случайно Марью Николаевну, отрекомендовала ее в одной из своих вечерних бесед княгине, а та, имея общую коллекторам страсть к приобретению новых экземпляров, сейчас же пожелала познакомиться с «героиней». (Так она с первого слова назвала Марью Николаевну, выслушав о ней доклад Ольги Федотовны.)

Чуждая излишнего самолюбия и потому совершенно свободная от застенчивости, дьяконица тотчас же предстала княгине и, сразу приобретя ее благорасположение, получила приглашение ходить к ней запросто, а когда приедут братья, то и их ей представить.

Марья Николаевна этим не проманкировала, и как только молодые люди приехали, она их тотчас же привела к княгине.

Из них старший тогда только что окончил курс, а второй был в философском классе.

Марья Николаевна, введя богослова с философом, сама стала у порога, а те сейчас же вышли на середину комнаты и начали пред бабушкой декламировать, сначала философ по-гречески, а потом богослов по-латыни.

Бабушка, разумеется, во всем этом ни слова не понимала, но прилежно слушала, сама рассматривала молодцов, из которых один был другого краше. Особенно был хорош старший, богослов: высокого роста, с густыми косицами русых волос на висках и с нежным бархатным пухом вокруг свежих розовых щек. Большие небесного цвета глаза его так отрадно глядели из-под длинных темных ресниц, что сама бабушка залюбовалась на молодого человека и мысленно перебирала: какой прекрасный ряд разнообразных ощущений должен был теперь проходить в душе Марьи Николаевны, которой эти молодые люди всем были обязаны. Но княгиня не замечала, что в то же

самое время ряд иных, и притом самых роковых, впечатлений наплывал и теснился в другую восторженную душу, именно в душу Ольги Федотовны.

Она воспылала самою нежною любовью к богослову, но, увы! не на радость ни ему, ни себе, так как в планы Марии Николаевны отнюдь не входила рановременная женитьба брата, которому ее заботливость прочила другую карьеру.

Ольга Федотовна ничего этого тогда не знала, да и к чему ей было знать что-нибудь в эти блаженные минуты. Неодолимые противоречия, в примирении которых лежала развязка этого романического случая, и без того не замедлили подвергнуть сердце бедной девушки всем испытаниям несчастной любви.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Всего «мечтания» Ольги Федотовны, так она обыкновенно называла свою любовь, было два месяца, от начала каникул до открытия академических курсов. В такое короткое время любовь эта зародилась, дошла до зенита и, совершив все свое грациозное течение, спала звездою на землю, где поросла травой забвения.

Ольге Федотовне, разумеется, нелегко было скрывать, что она любит богослова; чем она тщательнее хоронила в себе эту тайну своего сердца, тем чистое чувство ее сильнее росло и крепло в этих похоронках и бунтливо рвалось наружу. Ольга Федотовна, несмотря на свое магазинное воспитание, была совершенно неопытна в любовных делах: она думала, что счастие, которое она впервые ощутила при сознании, что она любит, может оставаться полным и найдет для себя занятие в самом себе, но, увы! сердце бедной девушки начало жаждать ответа.

Ольге Федотовне томительно захотелось знать: заметит ли он ее, думает ли он об ней и что именно это за дума? Но как узнать об этом? Она имела обыкновение бегать к Марье Николаевне на минутку каждые сумерки и теперь продолжала делать это еще охотнее, потому что могла там видеть свой кумир, но она с кумиром никогда не оставалась наедине, и они не говорили ни о чем, кроме

самых обыкновенных вещей. Сердце страстно влюбленной только больше и больше мучилось. Всемерно заботясь о сохранении своей тайны, Ольга Федотовна, по странному противоречию, в то же время приходила в негодование, что ее не замечают. От этой истомы и волнений она занемогла и в беспрерывных думах об одном и том же выработала в себе такую чувствительную раздражительность, что глаза у нее постоянно были полны слез и она беспрестанно готова была расплакаться. Бабушка не могла придумать, что такое с ее фавориткою, и сколько ни добивалась, ничего от нее не узнала; но вскоре же вышел случай, при котором Ольга Федотовна головою себя выдала сначала Марье Николаевне, а потом и самой княгине.

Дело это вышло из того, что Марье Николаевне, которая не уставала втирать своих братьев во всеобщее расположение и щеголять их образованностью и талантами, пришло на мысль просить Ольгу Федотовну, чтобы та в свою очередь как-нибудь обиняком подбила бабушку еще раз позвать к себе богослова и поговорить с ним по-французски.

Дьяконица передала об этом Ольге Федотовне под большим секретом и с полною уверенностью, что та по дружбе своей непременно охотно за это возьмется; но, к удивлению ее, Ольга Федотовна при первом же упоминании имени Василия Николаевича (так звали богослова) вдруг вся до ушей покрылась густым румянцем и с негодованием воскликнула:

— Что это вы, Марья Николаевна... как вы это могли подумать?

— А что такое?

— Да это вы хотите, чтоб я стала говорить о Василии Николаиче... Ни за что на свете!

— Но отчего же?

— Нет, лучше и не говорите: я вам все что угодно готова сделать, но имени его пред княгиней я произнесть... не могу.

Марья Николаевна, никогда не знавшая никакой другой любви, кроме родственной и христианской, и тут не поняла, в чем дело, и спросила:

— Ах, милая Ольга Федотовна, да неужели же вам имя его так противно?

Этого наивного вопроса Ольга Федотовна уже не выдержала.

— Как! — вскрикнула она. — Вы это так, Марья Николаевна, поняли, что мне... может быть противно?

И с этим у нее на обеих ресницах задрожали слезы, и она, не простившись с Марьей Николаевной, ударилась бежать домой.

Марья Николаевна более не возобновляла этого ходатайства через Ольгу Федотовну, а самолично устроила богослову французские конференции с бабушкой. Результат этих конференций был, однако, не совсем удовлетворительный, потому что княгиня, предложив семинаристу два-три вопроса на французском языке, тотчас же заговорила с ним опять по-русски, а при прощании дала ему такой совет:

— Знаете, я вам скажу, мой друг, вы это прекрасно сделали, что выучились по-французски: это в рассуждении чтения вам будет очень полезно, но только говорить вам на этом языке без нужды я не советую.

Марья Николаевна, может быть, не совсем поняла, что́ это значит, но, вероятно, склонна была бы этим немножко огорчиться, если бы бабушка тут же не отвлекла ее внимания одним самым неожиданным и странным замечанием: княгиня сказала дьяконице, что брат ее влюблен.

Марья Николаевна страшно переконфузилась и отвечала:

— Что вы, ваше сиятельство... разве это можно?

— Да ты напрасно этого так стыдишься.

— Нет, да как же... помилуйте: зачем же это могло... помилуйте!

— Ну, а велика ли в том польза будет, что я тебя помилую, а он все-таки влюблен!

— Да в кого же, ваше сиятельство, влюблен? Это совсем напрасно.

— А вот же и не напрасно: он в мою Ольгу влюблен!

— Как!.. в Ольгу Федотовну?! в вашем доме!.. Нет, ваше сиятельство... Не думайте, я его сама воспитывала... он не решится...

Бабушке немалого труда стоило успокоить дьяконицу, что она ничего о ее брате худого не думает и нимало на него не сердится; что «любовь это хвороба, которая не по

лесу, а по людям ходит, и кто кого полюбит, в том он сам не волен».

— А в таком разе...

Марья Николаевна не договорила и тихо заплакала и на внимательные расспросы княгини о причине слез объяснила, что, во-первых, ей несносно жаль своего брата, потому что она слыхала, как любовь для сердца мучительна, а во-вторых, ей обидно, что он ей об этом ничего не сказал и прежде княгине повинился.

— Перестань, мать: не винился он мне, — отвечала княгиня, — а я сама все заметила.

— Из каких поступков?

— Из того, что они друг другу в глаза смотреть не могут... краснеют.

— И только-с?

— Да; глаза влюбленные.

— Это, может быть, ваше сиятельство, так просто глаза, от конфуза... Однако я Васю об этом спрошу.

— Не скажет он тебе.

— Скажет-с; я с ним к младшей сестре съезжу: она хитренькая, притворится и все у него выспросит.

На другой день Марья Николаевна действительно съездила обыденкой с братом к сестре и, вернувшись к вечеру домой, прибежала к бабушке.

— Ну что? — спросила княгиня.

— Влюблен-с, — отвечала дьяконица.

— А, вот видишь! Уж я эти влюбленные глаза знаю.

— Нет-с, уж что тут, ваше сиятельство, глаза! Он долго и сестре ничего не хотел открыть; только когда мы с нею обе пред ним на коленки стали, так тогда он открыл: «влюблен, говорит, и без нее даже жить не могу».

Если бы княгиня и дьяконица были в эти минуты поменьше заняты тем, о чем они говорили, то им бы надлежало слышать, что при последних словах двери соседней гардеробной комнаты тихо скрипнули и оттуда кто-то выкатил. Это была счастливейшая из счастливых Ольга Федотовна. Она теперь знала, что *ее любят*.

Затем прошла неделя ее недолговечного счастия, в продолжение которой она ни разу не ходила к Марье Николаевне и богослова не видала, а бабушка в это время все планировала, как она устроит влюбленных. Она решила, что богослов выйдет из духовного звания, женится

на Ольге Федотовне и поступит на службу. Тогда семинаристы, благодаря Сперанскому, были в моде и получали ход; а бабушка уже все придумывала: как обеспечить молодых так, чтобы они не знали нужды и муж ее любимицы не погряз бы в темной доле и не марал бы рук взятками.

Все это было стройно улажено в ее голове, и она уже готовилась обрадовать этим Ольгу, но только прежде хотела знать на этот счет мнение Марьи Николаевны, которой и открыла весь план свой.

Дьяконица, к немалому удивлению бабушки, выслушала это с крайним смущением: как она ни любила Ольгу Федотовну, но женитьба на ней брата не входила в ее соображения.

— Ему рано, — отвечала она, — ваше сиятельство; и я хочу, чтоб он в академию шел и профессором был.

Профессорство это было во мнении Марьи Николаевны такое величие, что она его не желала сменять для брата ни на какую другую карьеру. Притом же она так давно об этом мечтала, так долго и так неуклонно к этому стремилась, что бабушка сразу поняла, что дело Ольги Федотовны было проиграно.

Бедная девушка получила жестокий удар не от врага, а от сердечнейшего друга, и не одна *она,* но и *он.*

Для быстролетной любви этой началась краткая, но мучительная пауза: ни бабушка, ни дьяконица ничего не говорили Ольге Федотовне, но она все знала, потому что, раз подслушав случайно разговор их, она повторила этот маневр умышленно и, услыхав, что она служит помехою карьере, которую сестра богослова считает для брата наилучшею, решилась поставить дело в такое положение, чтоб этой помехи не существовало.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Марья Николаевна, возвращаясь от бабушки вечером после описанного разговора, была страшно перепугана: ей все казалось, что, как только она сошла с крыльца, за ней кто-то следил; какая-то небольшая темная фигурка то исчезала, то показывалась и все неслась стороною,

а за нею мелькала какая-то белая нить. Марья Николаевна понять не могла, что это такое, и все ускоряла свой шаг; но чуть только она опустилась в лощинку, за которою тотчас на горе стояла поповка, это темное привидение вдруг понеслось прямо на нее и за самыми ее плечами проговорило:

— Вы, Марья Николаевна, не беспокойтесь!

Марья Николаевна страшно испугалась, но, услыхав в этом голосе что-то знакомое, тотчас же ободрилась и крикнула:

— Ольга Федотовна, это вы?

Но, однако, ответа не было, а темная фигурка, легко скользя стороною дороги, опять исчезла в темноте ночи, и только по серому шару, который катился за нею, Марья Николаевна основательно убедилась, что это была *она*, то есть Ольга Федотовна, так как этот прыгающий серый шар был большой белый пудель Монтроз, принадлежавший Патрикею Семенычу и не ходивший никуда ни за кем, кроме своего хозяина и Ольги Федотовны.

Марья Николаевна, по женскому такту, никому об этой встрече не сказала, она думала: пусть Ольга Федотовна сделает как думает. Бабушке ровно ничего не было известно: она только замечала, что Ольга Федотовна очень оживлена и деятельна и даже три раза на неделе просилась со двора, но княгиня не приписывала это ничему особенному и ни в чем не стесняла бедную девушку, которую невдалеке ожидало такое страшное горе. Княгиня только беспокоилась: как ей открыть, что богослов никогда ее мужем не будет.

Меж тем прошла в этом неделя; в один день Ольга Федотовна ездила в соседнее село к мужику крестить ребенка, а бабушке нездоровилось, и она легла в постель, не дождавшись своей горничной, и заснула. Только в самый первый сон княгине показалось, что у нее за ширмою скребется мышь... Бабушка терпела-терпела и наконец, чтоб испугать зверька, стукнула несколько раз рукою в стену, за которою спала Ольга Федотовна.

Та явилась как лист пред травой.

— Я тебя не звала, мне показалось — мыши...

Ольга Федотовна отошла и стала лицом к образнику.

Бабушка подождала и потом окликнула:

— Ольга, что ты там делаешь?

— Лампад поправляю-с, — отвечала Ольга Федотовна, и в это же самое мгновение поплавок лампады юркнул в масло, и свет потух.

— Скора, матушка, прекрасно поправила... И главное, кто тебя об этом просил? лампада прекрасно горела, так нет...

Но в это время Ольга Федотовна подошла впотьмах к бабушкиной постели и прошептала:

— Ваше сиятельство! я пришла повиниться.

Бабушка бог знает что подумала и тревожно отвечала:

— Что такое? что такое? это ни на что не похоже... поди от меня с своею виной; я ничего не хочу знать.

— Ваше сиятельство... я самое безвредное!

Княгиня пожала плечами и молвила:

— Вот пристала!

— Теперь я Василью Николаичу не помеха: он меня любить не может.

Бабушка повернулась в постели и спросила:

— Отчего?

— Мы с ним сегодня у мужика младенца крестили.

Бабушка села в кровати и произнесла:

— Ольга, ты глупа.

— Ваше сиятельство, это так надо было-с.

— Нет, ты извини меня: я всегда думала о тебе, что ты гораздо умнее, а ты положительнейшим образом глупа: Вася мог окончить курс в академии и остаться тебе верен и тогда бы на тебе женился, а теперь вы кумовья — куму на куме никогда жениться нельзя.

— Я это знала-с, я все знала и нарочно сделала.

— Зачем, говори мне, зачем?

— Чтоб им обо мне не думалось; чтоб я... им не мешала; чтоб из памяти меня выкинули, — отвечала бедная девушка и зарыдала.

Бабушка встала с кровати, сама зажгла лампаду и, севши потом в кресло, сказала:

— Удивила ты меня, но он мне еще более тебя удивителен: как же он на это согласился? Неужели я в нем ошиблась, и он тебя мало страстно любит?!

Это словечко кольнуло самолюбие Ольги Федотовны: в ней поднялась гордость женщины, всегда готовой упиваться сознанием, что ее много любят.

— Нет-с, — отвечала она, — они меня истинно как должно любят, а это что они крестили — все через мое коварство случилось.

— А где же его голова-то была?

— Не могли-с они пред моим обольщением своею головою управлять, а после, дав мне слово, бесчестным быть не хотели, — отвечала не без гордости и не без уважения к себе Ольга Федотовна.

Не зная, как должно понимать все недомолвки этой обольстительницы злополучного богослова, бабушка, отложив всякие церемонии, сказала:

— Ты если хочешь говорить, то здесь только бог да мы двое, — так ты говори откровенно, что ты набедокурила?

— Одного этого теперь только и желаю: открыться.

— Ну и откройся.

Ольга Федотовна и начала.

Рассказав бабушке со всей откровенностью, как ей стали известны затруднения Марьи Николаевны, девушка в трагической простоте изобразила состояние своей души, которая тотчас же вся как огнем прониклась одним желанием сделать так, чтобы богослов не мог и думать на ней жениться. За этим решением последовало обдумывание плана, как это выполнить. Что могла измыслить простая, неопытная девушка? Она слыхала, что нельзя жениться на куме, и ей сейчас же пришло в голову: зачем она не кума своему возлюбленному?

— Тогда бы он не мог ко мне свататься и вышел бы в архиереи.

Так заключила Ольга Федотовна, постоянно заменяя по какой-то случайности слово «профессор» словом «архиерей». И, раз попав на эту мысль, она вдруг стала искать средств: нельзя ли это поправить? В конце концов это ей показалось хотя и довольно трудным, но сбыточным, если пустить в ход все ей известные средства. И вот Ольга Федотовна, забрав это в голову, слетала в казенное село к знакомому мужичку, у которого родился ребенок; дала там денег на крестины и назвалась в кумы, с тем чтобы кума не звали, так как она привезет своего кума. Во всем этом она, разумеется, никакого препятствия не встретила, но труднейшая часть дела оставалась

впереди: надо было уговорить влюбленного жениха, чтоб он согласился продать свое счастье за чечевичное варево и, ради удовольствия постоять с любимою девушкою у купели чужого ребенка, лишить себя права стать с нею у брачного аналоя и молиться о собственных детях. Это, конечно, хоть какому уму была задача нелегкая. Но Ольга Федотовна разрешила ее блистательно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Угадывая инстинктом природу молодой страсти своего возлюбленного, Ольга Федотовна не решилась ни на какие прямые с ним откровенности. Она правильно сообразила, что этим она его не возьмет, и обратилась к хитрости, к силе своих чар и своего кокетства.

Навестив в сумерки одного дня Марью Николаевну, Ольга Федотовна нарочно у нее припоздала, а потом высказала опасение идти одной через бугор, где ночевала овечья отара, около которой бегали злые сторожевые собаки. Влюбленный студент не смел вызваться быть ее провожатым, но она сама его об этом попросила: богослов, разумеется, согласился; он выдернул из плетня большой кол, чтобы защищаться от собак, и пошел вслед за своею возлюбленною. Дорога была нехороша; днем выпал дождик, и суглинистая земля смокла и осклизла. Ольга Федотовна плохо ступала: она была, как назло, в новых башмачках, и ее маленькие ножки беспрестанно ползли назад или спотыкались.

Если она к этому прибавляла что-нибудь с намерением дать понять своему сопутнику, что ей очень трудно идти одной без его поддержки, то, вероятно, делала это с большим мастерством; но тем не менее румяный богослов все-таки или не дерзал предложить ей свою руку, или же считал это не идущим к его достоинству.

Ольга Федотовна решилась прервать это затруднение.

— Василий Николаич, — сказала она, — что вы это сзади меня идете?

— А что же такое?

— Да так, нехорошо... вы точно служитель.

— Ничего-с.

— Нет, вы бы лучше рядом шли да мне бы руку дали, а то очень склизко.

— С большим моим удовольствием, — отвечал богослов.

— Или вам, может быть, со мной под руку стыдно и неприятно идти?

— Нет, отчего же... напротив, даже очень приятно.

— Вы, впрочем, откровенно скажите: если стыдно, так вы не беспокойтесь.

Богослов еще раз повторил, что ему приятно, и они взялись под руки, но разговор у них прекратился, а дорога убывала. Ольга Федотовна видела, что спутник ее робок и сам ни до чего не дойдет, и снова сама заговорила:

— Вы, Василий Николаич, много учились?

— Много-с.

— И ведь трудно небось?

— Ничего-с.

— Как же... есть науки трудные.

— Есть-с.

— Ну так как же с ними?

— Преодолеваешь.

— И секут?

— Секут-с.

— И вас там секли?

— Непременно-с, как и всякого.

— И слукавить нельзя?

— Нельзя-с.

— Отчего же?

— Потому что это всегда перед начальством делается.

— Неужто начальник смотрит?

— Постоянно-с.

— Ах боже мой! а он светский или монах?

— Монах-с.

— Монах!

— Наверно так-с.

— Так это ведь как же, должно быть конфузно?

— Отчего же?

— Да при монахе-то?

— Нет-с; в молодых годах ничего, и потом больно, так уж не разбираешь.

— Видите ли! а вы сколько лет там находились?

— Тринадцать-с.

— Ах боже мой! И какое число несчастливое.
— Это предрассудок-с.
— А ведь скажите: в науках о сердце ничего не говорится?
— В каком смысле?
— Чтобы как любить должно и как мужчине с женщиной обращаться?
— Ничего-с.
И разговор снова смолк, а пути между тем осталось еще менее. Ольга Федотовна вспомнила, о чем, бывало, слыхала в магазине, и спросила:
— Вы, Василий Николаич, умеете танцевать?
— Нет-с, не умею.
— Очень жаль: в танцах кавалеры с девицами откровенно объясняются.
— Да это если ловкий кавалер, так и не в танцах можно-с.
— Например, как же?
— Стихами или задачею: что лучше — желать и не получить, или иметь и потерять; а то по цветам: что какой цвет означает — верность или измену.
— А вы к измене или к верности склонны?
— Я измены ненавижу.
— Вы неправду говорите.
— Почему же неправду?
Ольга Федотовна решительно не знала, куда она идет с этим разговором, но на ее счастье в это время они поравнялись с отарой: большое стадо овец кучно жалось на темной траве, а сторожевые псы, заслышав прохожих, залаяли. Она вздрогнула и смело прижалась к руке провожатого.
— Вы боитесь? — спросил, взмахивая колом, богослов.
— Нет, не боюсь... А вот уже и дом близко.
— Да; близко-с, — отвечал, вздохнув, богослов.
Ольга Федотовна пожала к себе его руку и, отворотясь от него в сторону, проговорила:
— Василий Николаич!
— Что вам угодно, Ольга Федотовна?
— О чем вы вздыхаете?
— Я не вздыхал-с.
— Нет, вы вздохнули.
— Может быть-с.

— Так о чем же это?
— Этого сказать нельзя-с.
— Почему же нельзя?
— Потому что вы можете обидеться.
— Ну, это, стало быть, вы меня не любите.
— Кто это?.. я вас не люблю! — вскричал богослов.
— Ах, что вы это, Василий Николаич, так громко. Это надо тише.
— Я вас так люблю-с, так люблю, — начал богослов, но Ольга Федотовна его остановила и, задыхаясь от страха, сказала:
— Позвольте, позвольте... Не говорите здесь про это.
— А где же-с?
— Вот сейчас... вот мы в сени взойдем.
Она была в положении того неопытного чародея, который, вызвав духов, не знал, как заставить их опять спрятаться. На выручку ее подоспел Монтрозка, который, завидев ее с крыльца, подбежал к ней с радостным воем. Ольга Федотовна начала ласкать Патрикеева пуделя и, быстро вскочив на крыльцо, скрылась в темных сенях.
Богослов не сробел и очутился тут же за нею.
— Ишь вы какой, Василий Николаич, хитрый, — шептала девушка, и вслед за тем громко кашлянула.
— Зачем это вы так громко?
— Чтоб узнать, нет ли тут девушек?
— Что же, их нет-с?
— Нет, — отвечала Ольга, дрожа всем телом и держа рукою за ошейник Монтрозку.
— Так вы извольте теперь услыхать про мои чувства.
— Нет, зачем же, Василий Николаич... Я вам верю... Я и сама к вам хорошие чувства, Василий Николаич, имею.
И у нее дрогнул голос.
— А в таком случае... — сказал богослов, — я от вас должен что-нибудь получить.
Ольга Федотовна чувствовала, что ей изменяют силы, но вела игру далее и прошептала:
— Что же такое получить?
Риск и соблазнительная темнота сеней еще прибавили нашему герою смелости, и он отвечал:
— Поцелуй-с!
Ольга Федотовна вздрогнула и отвечала:

— А-а, ишь вы какой, Василий Николаич, уж и поцелуй.

— Всегда так-с... объяснение, а потом и поцелуй.

— Неужели это так?

— Непременно-с!

— Ну хорошо, Василий Николаич, если это так нужно, то что же делать, я вас поцелую, но только уговор!

— Все, что вам угодно.

— Чтобы первую просьбу, которую вас попрошу, чтобы вы исполнили!

— Исполню-с.

— Честное слово?

— Все, что вам угодно.

— Извольте же! Я вам удовольствие сделаю, только вы вот идите сюда... Вот сюда, сюда, за моею рукой: здесь темнее.

И, заведя богослова в самый темный угол, она обвила одною рукой его шею и робко поцеловала его в губы, а другою выпустила ошейник Монтроза и энергически его приуськнула. Собака залаяла, и вооруженный колом богослов, только что сорвавший первый и единственный поцелуй с губок своей коварной красавицы, бросился бежать, а на другой день он, не успевши опомниться от своего вчерашнего счастия, сдерживал уже свое честное слово — не возражать против первой просьбы Ольги Федотовны, и крестил с нею мужичьего ребенка, разлучившего у своей купели два благородные и нежно друг друга любившие сердца.

Остальное пошло так, как Ольга Федотовна хотела для счастья других: с течением многих лет ее Василий Николаич, которого она притравила, как Диана Актеона, окончил курс академии, пошел в монахи и был, к удовольствию сестры, архиереем, а Ольга Федотовна так и осталась Дианою, весталкою и бабушкиною горничной.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Чтобы не оставлять от этой любви ничего недосказанного, я должна прибавить, что Ольга Федотовна, схрабровав в этот раз более, чем можно было от нее ожидать, после, однако, очень долго мучилась.

— Все у нее, бедной, корчи в сердце делались, — говорила бабушка. — Марья Николаевна в ту пору ее, бедную, даже видеть боялась, а мы с Патрикеем как могли ее развлекали. Ничего ей прямо не говорили, а так всё за нею ухаживали, то на перелет, то на рыбную ловлю ее брали, и тут она у меня один раз с лодки в озеро упала... Бог ее знает, как это с нею случилось, — не спрашивала, а только насилу ее в чувства привели. А потом как к первым после того каникулам пришло известие, что Вася не будет домой, потому что он в Киеве в монахи постригся, она опять забеленила: все, бывало, уходит на чердак, в чулан, где у меня целебные травы сушились, и сверху в слуховое окно вдаль смотрит да поет жалким голосом:

Ты проходишь, дорогой друг, мимо кельи,
Где несчастная черница ждет в мученьи.

Черницей все сама себя воображала!.. Да и я, признаться, этим совсем недовольна была, — заключала бабушка, — молод больно был!.. Это неопытно, мог бы и не идти в монастырь, а другую судьбу себе в жизни найти, да удержать, видно, некому было.

Но, наконец, и эта «корчь сердца» стихла, и Ольга Федотовна успокоилась, она жила и старелась, никогда никому ни словом, ни намеком не выдавая: умерло или еще живо и вечно осталось живым ее чувство.

Я уже помню себя, хотя, впрочем, очень маленькою девочкою, когда бабушка один раз прислала к нам звать maman со всеми детьми, чтобы мы приехали к обедне, которую проездом с епископской кафедры на архиепископскую будет служить архиерей, этот самый брат дьяконицы Марьи Николаевны. Maman, конечно, поехала и повезла всех нас к бабушке. Помню это первое архиерейское служение, которое мне довелось видеть: оно поражало своим великолепием мои детские чувства, и мне казалось, что мы находимся в самом небе. Но сам архиерей мне не понравился: он был очень большой, тучный, с большою бородой, тяжелым, медлительным взглядом и нависшими на глаза густыми бровями. Ходил шибко, резко взмахивал рукавами, на которых гулко рокотали маленькие серебряные бубенчики, и делал нетерпеливые нервные движения головою, как бы беспрестанно старался поправлять на себе митру.

Бабушка и для архиерейского служения не переменила своего места в церкви: она стояла слева за клиросом, с ней же рядом оставалась и maman, а сзади, у ее плеча, помещался приехавший на это торжество дядя, князь Яков Львович, бывший тогда уже губернским предводителем. Нас же, маленьких детей, то есть меня с сестрою Nathalie и братьев Аркадия и Валерия, бабушка велела вывесть вперед, чтобы мы видели «церемонию».

Для надзора за нами сзади нас стояла Ольга Федотовна, тогда уже довольно старенькая, хотя, по обыкновению, свеженькая и опрятная, какою она была во всю свою жизнь.

Никто из нас, детей, разумеется, и воображения не имел, что такое наша Ольга Федотовна могла быть этому суровому старику в тяжелой золотой шапке, которою он все как будто помахивал. Мы только всё дергали Ольгу Федотовну потихоньку за платье и беспрестанно докучали ей расспросами, что значит то и что значит это? На все эти вопросы она отвечала нам одно:

— Стойте смирно!

Но когда совсем облаченный архиерей, взойдя на амвон, повернулся лицом к народу и с словами «призри, виждь и посети» осенил людей пылающими свечами, скромный белый чепец Ольги Федотовны вдруг очутился вровень с нашими детскими головами. Она стояла на коленях и, скрестив на груди свои маленькие ручки, глазами ангела глядела в небо и шептала:

— Свет Христов просвещает все!

В этом как бы заключался весь ответ ее себе, нам и всякому, кто захотел бы спросить о том, что некогда было, и о том, что она нынче видит и что чувствует.

Бабушка в этот день была, по-видимому, не в таком покорном настроении духа: она как будто вспомнила что-то неприятное и за обедом, угощая у себя почетного гостя, преимущественно предоставляла занимать его дяде, князю Якову Львовичу, а сама была молчалива. Но когда архиерей, сопровождаемый громким звоном во все колокола, выехал из родного села в карете, запряженной шестериком лучших бабушкиных коней, княгиня даже выразила на него дяде и maman свою «критику».

— Напрасно, я нахожу, он здесь этакую проповедь изволил сказать, — заговорила она, — и не понимаю, что

это ему вздумалось тут говорить, что «нет больше любви, если кто душу свою положит»... Это божественные слова, но только и их надо у места ставить. А тут, — она повела рукою на чайную комнату, где Марья Николаевна и Ольга Федотовна в это время бережно перемывали бывший в тот день в употреблении заветный саксонский сервиз, и добавила: — тут по любви-то у нас есть своя академия и свои профессора... Вон они у меня чайным полотенцем чашки перетирают... Ему бы достаточно и того счастия, что он мог их знать, а не то, чтобы еще их любви учить! Это неделикатно!

И, не принимая никаких услуг без вознаграждения, княгиня тотчас же послала архиерею с Патрикеем в город отрез бархата на рясу и гро-гро на подрясник. Архиерей переслал с тем же Патрикеем бархат сестре, а шелковую материю Ольге Федотовне.

— Он, значит, тебя еще не забыл, — сказала Ольге бабушка.

— Да-с, — отвечала она и тотчас же отнесла свой подарок на завесу в церковь.

Таков конец этого позднего эпизода, введенного мною здесь, может быть, не совсем кстати, но я считала его тут необходимым для того, чтобы закончить фигуру Ольги Федотовны, после которой перехожу к изображению другого важного лица придворного штата княгини — Патрикея.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Патрикей Семеныч Сударичев был человек очень высокого роста и имел очень умное «дипломатическое» лицо, продолговатое, бледное, с приветливым, мягким, но в то же время внушающим почтение выражением. Одевался он всегда очень строго и опрятно в один и тот же костюм: довольно длинный суконный сюртук цвета bleu de Prusse, [1] белый жилет, по которому шел бисерный часовой снурок с брелоком из оправленного в червонное золото дымчатого топаза с вензелем моего деда. Это был для него священный предмет, который он получил

[1] Темно-синего прусского *(франц.)*.

от княгини в память о князе. Патрикей носил высокие, туго накрахмаленные воротнички, из тех, что называли тогда «полисонами», и огромное гофрированное жабо. В торжественные дни сюртук заменялся фраком того же *бле-де-прюссового* сукна с гладкими золочеными пуговицами, но жилет, жабо и все прочее, не исключая даже высоких сапожков с кисточками у голенищ и с умеренным скрипом под рантом, все оставалось то же. Он и под старость ветхих лет своих, долготою которых упорно соперничал с бабушкою, всегда держался прямо и молодцевато, а в молодости, по словам Ольги Федотовны, был «просто всем на загляденье». Сама старенькая Ольга Федотовна, бывало, молодела и расцветала, начиная перечислять нам все достоинства, которыми сиял Патрикей.

— Красоту он, — говорила старушка, — имел такую, что хотя наш женский пол, бывало, и всякий день его видел, но, однако, когда у княгини бывали в залах для гостей большие столы, то все с девичьей половины через коридорные двери глядеть ходили, как он, стоя у особого стола за колоннами, будет разливать горячее. И все это не из-за чего-нибудь, потому что Патрикей Семеныч был семейный человек, а единственно ради прелести посмотреть. Да и, откровенно скажу, было на что полюбоваться: как доложит бабиньке, что все готово, и выйдет в зал, станет сам на возвышении между колонн пред чашею и стоит точно капитан на корабле, от которого все зависит. А как только гости вслед за княгинею парами в зал вступят и сядут, он молча глаз человеку сделает, тот сейчас крышку с чаши долой, а он и начнет большою ложкой разливать... Ах, как он разливал! то есть этак, я думаю, ничего на свете нельзя так красиво делать! Рука эта у него точно шея у лебедя гнется: нальет, и передает лакею тарелку, и опять возьмет: все красота.

Окончив разливанье, которым так любовались художественные натуры села Протозанова, Патрикей Семеныч сходил с возвышения и становился за стулом у бабушки, и отсюда опять продолжал давать молча тон мужской прислуге и служить предметом восторгов для наблюдавших за ним из своего секрета женщин.

Стоя за Варварой Никаноровной, Патрикей не смел служить ей как обыкновенный лакей. Он всегда к этому

имел тяготение, но это ему давно строго-настрого было запрещено. Он дерзал только прислуживать княгине, и когда лакей подносил бабушке блюдо, Патрикей слегка поддерживал его под краек, как делают камергеры. Бабушка, говорят, много раз настаивала, чтобы Патрикей и такого участия не принимал в столовой услуге, но это запрещение служить ей так сильно его огорчало, что княгиня нашлась вынужденною ему уступить. Затем во всех обязанностях Патрикея при княгине не было ничего сближавшего его со званием комнатного слуги, хотя, впрочем, он никакого другого официального звания при доме не имел. С тех пор, как излагал последние минуты князя и, позабыв в свечном ящике свою вольную, отыскивал трубача Грайворону, он так и остался attaché, без всякого особого названия, но с полнейшим во всем полномочием. Он вел все переговоры с людьми, которых бабушка иногда почему-нибудь не могла принять; устраивал ее бесчисленных крестников и вел все *безотчетные* расходы по выдаче наград состоявшим *на пайке* губернским и уездным чиновникам.

К орудованию всякими подобного щекотливого свойства делами у него была особенная способность, которую Ольга Федотовна, может быть не совсем неосновательно, считала врожденною.

— Что же, — говорила она, — отчего от него, бывало, какой председатель или вице-губернатор даров не возьмет? Всякий возьмет. Маленьким, тем, бывало, что нужно малые дары, управитель дает, а к старшим с большими дарами или с средними Патрикей едет, и от других будто не брали, а от него всегда брали, потому что повадку такую имел, что внушал доверие: глядел в глаза верно и ласково, улыбался улыбкой исподтихонька, одними устами поведет и опять сведет; слушать станет все это степенно, а в ответ молвит, так его слову никто не усомнится поверить. Все тайны и знал зато.

Жил Патрикей со своим семейством во флигеле, состоявшем под одною кровлей со ткацкими; а в семье у него были только жена да сын. Жена у него была такая смирная, что ее даже никто не знал: она как будто была поражена величием мужа и «шла в тенях». Всю жизнь свою она употребила на ежедневную стирку и глажение его белых галстуков и жилетов. У них был сын Николай,

которого бабушка застала уже по пятнадцатому году писарем в конторе. Она его немедленно взяла оттуда и велела Патрикею отдать в училище, откуда он потом поступил в архитектурные классы и был хорошим архитектором и очень богатым человеком, с которым *некто* из рода нашего впоследствии вступил в соотношения, с моей точки зрения не совсем желанные. Но это все придет в свое время, а теперь я упоминаю об этом Николае Патрикеиче для того, чтобы рассказать оригинальный и смешной случай, сопровождавший выход его в *благородные*, причем Патрикей «оказал дикость», характеризующую его лучше всякого пространного описания.

Когда родоначальник известного ныне богатого дома, Николай Патрикеевич Сударичев, получив звание архитектора, приехал повидаться к отцу, бабушка, разумеется, пожелала, чтобы «Николашу» ей представили, и, обласкав его, она подарила ему часы, сто рублей «на пару платья» и — о ужас! — велела ему прийти к столу с нею обедать... Патрикей Семеныч нашел это ни с чем не сообразным, возмутительным и просто невозможным. Как, он, его сын, «Николашка», будет сидеть за одним столом с княгиней!.. За тем самым столом, за которым сам он, Патрикей Семеныч, так упорно присвоил себе право стоять и обходить гостей с бутылкою мадеры... И, стало быть, теперь он и к сыну, к «Николашке», должен будет подойти с обернутою салфеткою бутылкой вина и спросить: «Прикажете мадеры?» Нет, это... это было что-то такое, что помутило все понятия Патрикея и лишило его всех средств, как сообразить в этом случае свое положение. Чем он больше это обдумывал, тем больше несообразности видел в этом странном поступке княгини, и, не смея сердиться на нее, он дал волю своему гневу против сына: как он смел, молокосос, «не отпроситься». Удалясь сам в зал, Патрикей сделал подсыл за сыном в ту комнату, где тот сидел у княгини, и приготовился просто увесть его куда-нибудь из покоев и скрыть на время обеда, а потом ввечеру повиниться во всем этом княгине. Но, к неожиданной досаде Патрикея, бабушка поняла его маневр и, выйдя сама к нему, сказала:

— Послушай, Патрикей Семеныч, как тебе не стыдно.

И Патрикей Семеныч понял это и смирился до того, что готов был видеть «Николашку» за столом, но бабушка

приняла против этого свои меры и тут же дала ему какое-то поручение, за которым он не мог присутствовать при обеде. Но Патрикей исполнил это поручение скорее, чем княгиня ожидала, и в половине обеда явился за бабушкиным стулом: он хотел показать, что он из преданности даже и это снести может. И вот в потребное время он взял в руку бутылку мадеры и пошел вокруг, нагибаясь к каждому гостю с вопросом: «Прикажете?», но, дойдя до сына и приклонясь к нему, он не выдержал и, вместо «прикажете вина», простонал:

— Пошел вон! — и с этим, выпустив бутылку из рук, сам покачнулся и упал на руки подхватившего его сына.

Всем, я думаю, этот обед был невкусен, а особенно бедному Николаю, который теперь страшно бы рассердился, если б ему это напомнили.

Была сконфужена этим и сама бабушка, и даже до того сконфужена, что, узнав, что с Патрикеем был обморок и ему цирюльник Иван открыл кровь, она сама пошла к нему во флигель и извинялась пред ним.

Неизвестно, как именно она выражала ему свои извинения, но слова ее подействовали, и Патрикей после этого разговора просиял и утешился. Но, однако, он был за свою слабость наказан: сына его с этих пор за стол не сажали, но зато сам Патрикей, подавая бабушке ее утренний кофе, всегда получал из ее рук налитую чашку и выпивал ее *сидя* на стуле перед самою княгинею. В этом случае он мог доставлять себе только одно облегчение, что *садился у самой двери.*

Страсти у Патрикея были только две, и обе благородные: он любил охоту с ружьем и музыку. Для охоты он всегда держал пуделей, которых сам дрессировал, а ради любви к музыке имел скрипку, на которой в течение довольно многих лет, придя вечером домой, обыкновенно около часа играл что-то такое у себя под окном, но что за вещи такие он разыгрывал — этого никто разобрать не мог. Но охота ему не изменяла, а музыку он вдруг оставил по одному странному случаю: у бабушки часто гащивал, а в последнее время и совсем проживал, один преоригинальный бедный, рыжий и тощий дворянин Дормидонт Рогожин, имя которого было переделано бабушкою в Дон-Кихот Рогожин. Человек этот, которому принадлежит своя весьма симпатичная роль в нашей

семейной истории, по словам бабушки, был «гол, как турецкий святой, а в душе рыцарь». Но Патрикея он оторвал от музыки не своим рыцарством, а тем, что, однажды подслушав его ночную игру на скрипке, сказал:

— Чего пиликаешь? Разве можно так скрипеть, когда теперь гудут, несясь в пространстве мировом, планеты?

Патрикей в этом сначала ничего не понял, но зато когда Дон-Кихот Рогожин нарисовал ему значки планет и, указав орбиты их движения, сказал:

— Ведь, понимаешь, каждая должна давать свой тон: вот эта меньшая, она тоненько свистит, а эта вот здоровая жужжит, как бомба, а наша тут землишка и себе альтом играет...

Патрикей не стал далее дослушивать, а обернул свою скрипку и смычок куском старой кисеи и с той поры их уже не разворачивал; время, которое он прежде употреблял на игру на скрипке, теперь он простаивал у того же окна, но только лишь смотрел на небо и старался вообразить себе ту гармонию, на которую намекнул ему рыжий дворянин Дон-Кихот Рогожин.

Охотник мечтать о дарованиях и талантах, погибших в разных русских людях от крепостного права, имел бы хорошую задачу расчислить, каких степеней и положений мог достичь Патрикей на поприще дипломатии или науки, но я не знаю, предпочел ли бы Патрикей Семеныч всякий блестящий путь тому, что считал своим призванием: быть верным слугой своей великодушной княгине.

— Ее раб, — говорил он, — и ее рабом я умру.

И он так и сделал.

В этом был его point d'honneur,[1] и даже более: он чувствовал потребность быть ей предан без меры.

Я знаю, что это многим может показаться глупым или по меньшей мере странным и непонятным, но что делать? Chaque baron a sa fantaisie,[2] а фантазия Патрикея была та, что он и в дряхлой старости своей, схоронив княгиню Варвару Никаноровну, не поехал в Петербург к своему разбогатевшему сыну, а оставался вольным крепостным после освобождения и жил при особе дяди князя Якова. Будучи уже очень стар, он был не в силах

---

[1] Чувство долга, чести *(франц.)*.

[2] У каждого барона своя фантазия *(франц. поговорка)*.

трудиться, но ходил по дому и постоянно кропотался на новых слуг да содержал в порядке старые чубуки и трубки, из которых никто не курил и которые для того еще и оставались в доме, чтоб у старого Патрикея было что-нибудь на руках.

Это был чтитель высоко им ценимой доблести рода, постепенное, но роковое исчезновение которой ему суждено было видеть во всеобщей захудалости потомков его влиятельной и пышной княгини.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Назвав княгиню *влиятельною* и *пышною*, я считаю необходимым показать, в чем проявлялась ее пышность и каково было ее влияние на общество людей дворянского круга, а также наметить, чем она приобрела это влияние в то время, в котором влиятельность неофициальному лицу доставалась отнюдь не легче, чем нынче, когда ее при всех льготных положениях никто более не имеет.

Надеюсь, это будет иметь здесь свое место и даже некоторый интерес.

Говоря нынешним книжным языком, я, может быть, всего удачнее выразилась бы, сказав, что бабушка ни одной из своих целей не преследовала по особому, вдаль рассчитанному плану, а достижение их пришло ей в руки *органически,* самым простым и самым правильным, но совершенно незаметным образом, как бы само собою.

Неожиданно овдовев, бабушка, как можно было видеть из первых страниц моих записок, не поехала искать рассеяния, как бы сделала это современная *дама,* а она тотчас же занялась приведением в порядок своего хозяйства, что было и весьма естественно и совершенно необходимо, потому что, пока княгиня с князем жили в Петербурге, в деревне многое шло не так, как нужно. Теперь она, оставшись одинокою, озаботилась всесторонним поднятием уровня своих экономических дел и начала это с самой *живой силы* крепостного права, то есть с крестьян.

Нынче очень многие думают, что при крепостном праве почти совсем не нужно было иметь уменья хорошо

вести свои дела, как будто и тогда у многих и очень многих дела не были в таком отчаянно дурном положении, что умные люди уже тогда предвидели в недалеком будущем неизбежное «захудание» родового поместного дворянства. Это зависело, конечно, от разных причин, между которыми, однако, самое главное место занимало неумение понимать своей пользы иначе, как в связи с пользою всеобщею, и прежде всего с материальным и нравственным благосостоянием крестьян.

Глядя на вещи практически и просто, бабушка не отделяла нравственность от религии. Будучи сама религиозна, она человека без религии считала ни во что.

— Таковой, — по ее словам, — сколь бы умен ни был, а положиться на него нельзя, потому что у него смысл жизни потерян.

Этого для княгини было довольно, потому что у самой у нее *смысл жизни* был развит с удивительною последовательностию. Сама она строго содержала уставы православной церкви, но при требовании от человека религии отнюдь не ставила необходимым условием исключительного предпочтения ее веры пред всеми другими. Совсем нет... она не скрывала, что «уважает всякую *добрую* религию».

Княгиня не только не боялась свободомыслия в делах веры и совести, но даже любила откровенную духовную беседу с умными людьми и рассуждала смело. Владея чуткостью религиозного смысла, она имела истинное дерзновение веры и смотрела на противоречия ей без всякого страха. Она как будто даже считала их полезными.

— Если древо не будет колеблемо, — говорила она, — то оно крепких корней не пустит, в затишье деревья слабокоренны.

Но я не хотела бы тоже, чтобы кто-нибудь подумал, что бабушка была только деисткою и индифферентною в делах веры. Опять нет: повторяю, княгиня была искреннейшая почитательница родного православия; не числилась только в нем, а крепко его содержала. Она соблюдала посты, ходила в церковь; твердо знала обиход и любила в службе стройность и благолепие; взыскивала, чтобы попы в алтаре громко не сморкались и не обтирали бород аналойными полотенцами; дьяконы чтобы не ревели,

а дьячки не частили в чтении кафизм и особенно шестопсалмия, которое бабушка знала наизусть.

С этой духовной стороны она и начала свое вдовье господарство. Первым ее делом было потребовать из церквей исповедные росписи и сличить, кто из крестьян ходит и кто не ходит в церковь? От неходящих, которые принадлежали к расколу, она потребовала только, чтоб они ей откровенно сознались, и заказала, чтобы их причет не смущал и не неволил к требам. Она о них говорила:

— Пусть где хотят молятся: бог один, и длиннее земли мера его.

Церковных же своих крестьян княгиня сама разделила по седмицам, чтобы каждый мог свободно говеть, не останавливая работ; следила, чтоб из числа их не было совращений — в чем, впрочем, всегда менее винила самих совращающихся, чем духовенство. О духовенстве она, по собственным ее словам, *много скорбела*, говоря, что «они ленивы, алчны и к делу своему небрежны, а в писании неискусны».

Состязаться с княгинею, в чем бы то ни было касающемся церковных уставов или обихода, священники ее сёл не дерзали; она была для них все: и ктитор, и консистория, и владыка, и уже у нее священник прижать мужичка при браке какою-нибудь натяжкою в степени родства не помышлял.

«Владыка», при малейшем сомнении, сама бралась за Кормчую и, рассмотрев дело, решала его так, что оставалось только исполнять, потому что решение всегда было правильно.

В том же самом духе ведены ею были и все другие отрасли ее обширного хозяйства. Бабушка в попечительных заботах о благе крестьян хотела знать все, что до них касается, и достигла этого тем, что жила совершенно доступною для каждого. Все люди без исключения могли приходить к бабушке со всякими мелочами. Десятник не пускал мужика на ярмарку продать овцу и купить лык, соли или дегтю, и мужик, если он считал себя напрасно задержанным, сейчас шел с жалобою к княгине. Она к нему непременно выходила, терпеливо его выслушивала и решала — прав он или неправ. В первом случае мужик получал удовлетворение, а в противном — брался на замечание и в случае повторения кляузничества

лишался в течение определенного времени права являться на глаза княгине. Такие опальные, видя себя на все время опалы лишенными самой правдивейшей и мощной защиты, тяжело чувствовали силу справедливого гнева Варвары Никаноровны и страшились вперед навлекать его на себя.

Наказания были редки и неожесточительны, но все-таки были, и притом иногда не без ведома самой княгини, которая, правду сказать, этим не смущалась. Она говорила, что:

— Когда милосердие не действует, то строгость тоже есть милосердие.

Крестьяне к похвалам богобоязненности бабушки скоро приумножили хвалу на хвалу ее разуму и справедливости. Сёла ее богатели и процветали: крепостные ее люди покупали на стороне земли на ее имя и верили ей более, чем самим себе.

Это доверие впоследствии повлекло за собою для нее тяжелое огорчение, павшее на нее без всякой ее вины, но по вине лица, которое нам с нею было очень близко и о котором мне тяжело будет вспоминать. Но это все после.

Такими простыми мерами, какие мною описаны, княгиня без фраз достигла того, что действительно вошла в народ, или, как нынче говорят: «слилась с ним» в одном русле и стояла посреди своих людей именно как владыка, как настоящая народная княгиня и госпожа...

Такова была княгиня для своих рабов; теперь перехожу к тому, чем она успела в это время сделаться для своих свободных сограждан.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

При большом внимании к хозяйству крестьян княгиня Варвара Никаноровна очень скоро привела свои собственные дела в такое блестящее состояние, что почиталась самою богатою женщиной в губернии. Она не была должна никому, а ей редко кто не был должен. При недостатке в тогдашнее время организованного местного кредита, центральный банк для всей окружности был у бабушки. К ней мог приехать всякий дворянин и даже

купец и попросить у нее в ссуду денег на нужду. Степень благонадежности кредита определял непосредственный взгляд княгини на просящего и на основательность его расчетов поправиться.

Отказы были редки; но тем, кто, сделав у бабушки заем, не привозил ей в срок своего долга и не приезжал «отпроситься», княгиня сама посылала объявить, что:

— Пусть-де не беспокоится: я на нем крест положила.

И тот, чей счет бабушка в своей кабинетной книге зачеркивала крестом, уже никогда не имел у нее более кредита. Он мог получить «помощь», но не кредит.

Открыв свой стол и свой карман для помощи неимущему, княгиня, однако, основательно смотрела, чтоб этим не злоупотребляли, и выдумала много самых курьезных, но практикою оправданных приемов. Так, например, если искал помощи кредитом человек, которого благонадежность казалась ей почему-нибудь сомнительною, то такому просителю она обыкновенно сразу не сулила и не отказывала, а оставляла его у себя «погостить во флигелях, покуда она подумает». Срок этого думанья был различный, иногда он доходил даже до целого месяца, что, впрочем, всегда было в известном соотношении с расстоянием места жительства просителя от села Протозанова. Кто жил поближе к Протозанову, тот удостоивался получать решительный ответ поскорее; а кто был из мест более отдаленных, тому приходилось ожидать подольше. Во все время этого ожидания нуждающийся гость ходил к княгине обедать, и если он был ей по душе, то его приглашали к ней к вечернему чаю; а впрочем, он мог без стеснения располагать собою, как ему угодно. В его воле было и совсем не ходить к княгине, и она за это нимало не обижалась. Для занятий же приезжих было достаточное число верховых и упряжных лошадей, ружей и легавых и борзых собак, а также бильярд во флигеле и шкаф с книгами.

А между тем, пока проситель гостил у бабушки и развлекался чем мог по своему вкусу и выбору, на место его жительства, соблюдая строгое инкогнито тщательнее всякого путешествующего принца, отправлялся на конторской лошади один из «выборных», всегда расторопный, умный и честный мужик, который и собирал о просителе

самые обстоятельные сведения и, не тратя времени, возвращался с докладом к княгине. Если была хотя малейшая возможность верить человеку с надеждою, что он, поправясь, со временем разочтется, то деньги давались. Если дело было даже наполовину и рискованно, то и тогда еще отказу не было. Людям честным, но сильно разоренным пособие давалось даже при полнейшем риске. От таких требовалось только одно: чтобы человек не был неблагодарен и хоть раз в год приезжал извещать Варвару Никаноровну, как идут его дела. Если дела должника поправлялись, княгиня радовалась; а если они всё еще были худы, то бабушка расспрашивала, что, как и почему? и опять помогала и деньгами и советом.

В обхождении бабушки с людьми было много милоты и прелести: в нем господствовала какая-то, ей одной свойственная, величавая и добродушная простота: княгиня держала себя совершенно одинаково со всеми. У нее были заветные друзья, но избранных гостей у нее никогда не было; в ее доме все были равны, и она ко всем была одинаково приветлива. Лжи княгиня терпеть не могла: она ни сама к ней никогда не прибегала и другим ее не спускала. У нее вообще была даже некоторая слабость сказать человеку правду в глаза; но она делала это, во-первых, всегда дружески, а во-вторых, с самою доброю целью: объясниться и не питать скрытого зла. Прощала она людей легко и охотно, и притом с поразительною снисходительностью *для слабых*. В этом случае правилом ее было «измерять ношу и поприще и не возлагать бремена тяжкие и неудобоносимые». В своих рассуждениях о людях княгиня была осторожна: у нее была поговорка, что «рассуждение сродни осуждению», и потому она пространно ни о ком не любила рассуждать, особенно же о тех, кто показывал ей какое-нибудь недружелюбие (хотя таких было очень мало).

Убедясь в том, что кто-нибудь ее очень злословит, она говорила:

— Не без причины же он на меня сердится: может быть, ему что-нибудь на меня наговорили или что-нибудь не так показалось, а может быть, я и впрямь чем виновата: что-нибудь грубо сказала, а он не стерпел. Что делать, мы все нетерпеливы.

Но, совершенно равнодушная к своим обидам, княгиня держалась совсем иного правила по отношению к оскорблениям ее друзей. Тут у нее было чрезвычайно строго.

— Кто отдает друзей в обиду, у того у самого свет в глазах тает, — говорила она и, оберегая свои глаза, прямо и в упор устремляла их на обидчика и «поправляла» дело.

Ничто, касающееся ее друзей, не казалось ей мелким, и я сама уже помню престранные случаи, которые подавала для горячих заступничеств бабушки достаточно известная из моих записок дьяконица Марья Николаевна.

Во время моего детства дом княгини по-прежнему посещался очень многими людьми, между которыми довольно часто попадалась светская петербургская молодежь, приезжавшая к родителям на побывки, а иногда и немолодые заезжие люди, гостившие у кого-нибудь из соседей по вновь составлявшимся семейным и общественным связям. Все эти люди считали обязанностью хоть раз побывать у бабушки, и она им, разумеется, была рада, так как у нее «гость был божий посол», но тем не менее тут с этими «послами» иногда происходили прекурьезные расправы, которыми злополучная Марья Николаевна терзалась и мучилась беспримерно.

В доме такой был обычай, что Марья Николаевна, в качестве друга княгини, всегда должна была присутствовать в числе гостей и к тому же непременно занимать одно из ближайших к хозяйке мест. Этот почет немало стеснял бедную женщину, вечно жавшуюся на кресле или на диване в своем малиновом гро-гро платье и желтой французской шали с голубою башнею на спине и каймою городов по окраине. Как ни долог был срок, в течение которого бабушка ее приучала к занятию этой позиции, скромная Марья Николаевна никак к ней не могла привыкнуть и обыкновенно терялась при входе каждого нового гостя и для смелости улыбалась и окручивала свои руки в жгутик свитым носовым платочком. Если же входящий гость был не знакомый местный дворянин, которому все уставы и учреждения бабушкиного дома были известны, а лицо заезжее, то Марьей Николаевной овладевало самое критическое беспокойство. Завидев такое лицо, она вся покрывалась

краской, на носу у нее крупными каплями проступал пот, и она начинала привскакивать и приседать, чтоб ее непременно заметили. Видно было, что чем это для нее мучительнее, тем усерднее она об этом старалась и успокаивалась только, когда гость, наконец, замечал ее заботы и отдавал ей поклон наравне со всеми другими; случалось, что заезжие люди, представляясь бабушке, не удостоивали внимания Марью Николаевну, которая имела вид смущенной и смешной приживалки. Неосторожный и не предупрежденный гость раскланивался с бабушкой и помещицами, а Марью Николаевну не замечал... Тогда эта скромная женщина старалась всякими смешными ужимками заставить себя заметить и раскланяться с нею, но старалась совсем не для себя. Конечно, ей это не было нужно, — но для бабушки и особенно для самого гостя, потому что она знала, какая беда не минует его, если он «пустит ее в тенях». Бабушка зорко наблюдала за тем, как он «обойдется» с ее другом, и чуть замечала, что гость Марью Николаевну «проманкировал» и идет далее, она громко называла его по имени и говорила:

— Извините, сделайте милость: остановитесь на минуточку, вы, кажется, с Марьей Николаевной не поздоровались!

Гость конфузился и, бормоча что-нибудь вроде того, что «не заметил», спешил поправить свою ошибку. Но бабушка удерживала пред собою гостя, начиная пред ним пространно извиняться:

— Вы будьте милостивы. Я... в этом случае покорнейше вас прошу меня извинить... вы ведь ее... Марью-то Николаевну, разумеется, не знаете, а Марья Николаевна мой первый друг... давнишний, знаете, старинный друг... Почтенная женщина... у нее брат архиерей, да; и это она его довела и вообще она всякого уважения заслуживает: так я сама ее почитаю и в ваше благорасположение так рекомендую.

И ух как не любили и боялись мы этих извинений: она их точно тонкую нить выпрядала, и все знавшие ее знали и то, что она делает это не без умысла.

— Извинилась, — говорили, — ну, теперь держись!

Также ревнива была княгиня к малейшему покушению гостя показать свою важность или воспитанность пред

другими. Марья Николаевна, бывшая своего рода bête noire[1] во всех подобных случаях, говорила мне:

— Чуть, бывало, кто французским языком при ней обмахнется, я уже так и замру от ожидания, что она сейчас извинится и *осажэ* сделает, и главное, все это на мой счет повернет. Так бы вот его вскочила да и дернула: «Перестаньте». А она слушает-слушает и все морщится, да вдруг и извинится: «Позвольте, скажет, мне вас перервать: что вы это все по-французски беспокоитесь? Мы ведь здесь русские, и вот друг мой Марья Николаевна... она по-французски и не понимает, и может подумать что-нибудь на ее счет, и обидеться может...» И все говорит, бывало, этак чаще всего за меня, так что даже, право, мученье это мне было при гостях сидеть; но огорчать я ее не могла и друзей через это приобретала: кого она этак хорошо с своими извинениями отчитает, сам же после этого над собою смеется. Я, бывало, обыкновенно сейчас после обеда хожу между гостей и все отыскиваю, который пострадал, и прошу: «Батюшка мой! Христа ради меня простите, что за меня вытерпели!.. я тому ни сном, ни духом не виновата». Всякий, бывало, мне сейчас и руку подает, а иной, добрый, так даже с ним и поцелуемся и оба расхохочемся, и даже не раз из Петербурга от таких друзей поклоны получала...

Воистину дивно, что на бабушку никто за это не сердился.

Я сама уже помню, как бабушка выслала раз из гостиной одного молодого петербургского придворного, который, приехав к ней с своим отцом, резко судил о старших. Бабушка пред ним тотчас же *извинилась.*

— Простите меня великодушно, — сказала она ему с доброю улыбкой, — я думаю, вам с нами, стариками, здесь скучно, вы бы сделали мне одолжение в зал... к девицам... Княжны, барышни! — позвала она нас, — займите молодого гостя!

И гость нам не отказал: он, смеясь, подал руки мне и сестре Nathalie, и мы с ним, выйдя в залу, начали бегать около большого круглого стола, и, признаться сказать, превесело провели час пред обедом.

---

[1] Здесь в смысле — козел отпущения (дословно: «черный зверь», *франц.).*

Так еще в то время было просто и так живо тогда чувствовалось взаимное снисхождение, которое после заменено сначала французским петиметрством, а потом аглицким равнодушием. Но бабушке уже и тогда казалось худо: она считала, что с возвращением наших войск из Парижа в обществе нашем обнаружился повсеместный недостаток взаимоуважения.

— Шамото́нят как-то, — говорила она, — а настоящих чувств деликатства нет.

В заключение характеристики приведу, что говорил о бабушке простой человек, муж той, столь часто до сих пор упоминавшейся, дьяконицы Марьи Николаевны. Этот былой «поскакун» и танцор, доживший ко дням моего отрочества до глубокого престарения, сказал мне однажды о княгине так:

— Она это... была всем дворянам-то... и всей прочей околичности... все равно что столп огненный, в пустыне путеводящий, и медный змей, от напастей спасающий.

Я как сейчас помню случай, когда дряхлый дьякон изрек мне это своеобразное определение: это был один из тех тяжелых и ужасных случаев, с которыми в позднейшую эпоху не только ознакомилось, но почти не расставалось наше семейство. По болезни я одна оставалась дома: была зима и вечер; я скучала, и хлопотавшая около меня Ольга Федотовна позвала для моего рассеяния Марью Николаевну и ее мужа. Сама Ольга Федотовна была очень расстроена событием, которое совершилось в нашем семействе и грозило лечь черным пятном на наше доброе имя, поэтому она хоть и жалела меня, но не хотела со мною много разговаривать, вероятно потому, что и меня, как молоденькую девочку, считали ответственною за все грехи молодого поколения. Марья Николаевна тоже молчала, но старый дьякон Досифей Андреич был милостивее и снисходительнее.

Он сидел предо мною за самоваром в своей обширной, как облако, рясе из темно-желтой нанки и, размахивая из-под широких пол огромнейшим смазным сапогом, все говорил мне о семинарии, где учился, об архиереях и о страшных раскольниках, и потом, смахнув на воспоминания о бабушке, вдруг неожиданно сделал ей приведенное определение, которое до того удивило меня своею оригинальностью, что я не удержалась и воскликнула:

— Как, Досифей Андреич, отчего же бабушка огненный столп! Как это можно?

Тут Ольга Федотовна и вскипела, и зачастила:

— А так, матушка, так... так это и было возможно, потому что куда она как столп светила, туда и все шли, и что хотела, то и делала. Не в городе, не на губернаторском подворье тогда искали ума-то, а у нас в Протозанове: не посоветовавшись с бабинькою, ничего не делали; выборы приходили, все к ней прежде съезжались да советовались, и кого она решит выбрать, того и выбирали, а другого, хоть он какой будь, не токмо что спереду, а и с боков и сзаду расшит и выстрочен, — не надо. Где тебя строчили, там ты и гуляй, а нам не надо. И так всё через своих людей в ее воле и состояло.

— Все «приидите поклонимся» пели, — поддержал дьякон, а горячая старушка опять подхватила:

— А все почему? Все потому, что она была кость от костей и плоть от плоти своей и черные и белые сотни все за собой волокла, а не особилась, как вы, шишь-мышь, пыжики, иностранцы.

И Ольга Федотовна, войдя с сими словами в азарт, вдруг позабыла даже, что я больна, а, подлетев ко мне, начала меня теребить за руку да приговаривать:

— Дутики вы, дутики, больше ничего как самые пустые дутики! Невесть вы за кем ухаживаете, невесть за что на своих людей губы дуете, а вот вам за то городничий поедет да губы-то вам и отдавит, и таки непременно отдавит. И будете вы, ох, скоро вы, голубчики, будете сами за задним столом с музыкантами сидеть, да, кому совсем не стоит, кланяться, дескать: «здравствуй, боярин, навеки!» Срам!

Разъяснения всех этих негодований и пророчеств впереди; их место далеко в хронике событий, которые я должна записать на память измельчавшим и едва ли самих себя не позабывшим потомкам древнего и доброго рода нашего. Сделав несколько несвоевременный скачок вперед, я снова возвращаюсь «во время óно», к событию, которым завершился период тихого вдовьего житья княгини с маленькими детьми в селе Протозанове и одновременно с тем открылась новая фаза течения моего светила среди окружавших его туч и туманов.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Бабушке минуло тридцать пять лет; в это время князья Яков и Дмитрий (впоследствии мой отец) подросли, так что настала пора думать об их образовании; а старшей сестре их, княжне Анастасии Львовне, исполнилось совершеннолетие, и она оканчивала свой институтский курс. В персонале и в порядках дома должны были произойти неизбежные обновления и реформы, к которым княгиня и приготовлялась; но приготовлялась не спеша и, по-видимому, с очень малою радостию. Этому все удивлялись, но у княгини были на то свои причины.

Я считаю нужным напомнить, что княжна Анастасия поступила в институт не потому, чтобы бабушка этого хотела, а в угоду основательнице заведения, желавшей, чтобы девицы лучших фамилий получали здесь свое воспитание. Бабушка считала эту волю для себя священною и повиновалась ей, но сердце ее не лежало к институту. Не знаю, были ли у нее какие-нибудь определенные причины для предубеждения против институтского воспитания, но только она считала, что оно не годится, и через то первый выход княжны из материнского дома под институтский кров был несчастием и для бабушки и для ребенка. Глубокая и страстная натура княгини страдала неимоверно: Ольга Федотовна рассказывала, что пред тем, как княжну везть в институт, бабушка чуть ума не решилась.

— Ни одной ночи, — говорит, — бедная, не спала: все, бывало, ходила в белый зал гулять, куда, кроме как для балов, никто и не хаживал. Выйдет, бывало, туда таково страшно, без свечи, и все ходит, или сядет у окна, в которое с улицы фонарь светит, да на портрет Марии Феодоровны смотрит, а у самой из глаз слезы текут. — Надо полагать, что она до самых последних минут колебалась, но потом преданность ее взяла верх над сердцем, и она переломила себя и с той поры словно от княжны оторвалась.

Последнее слово ее в этом рассказе мне всегда казалось почему-то очень страшным: я никогда не переставала видеть большой несправедливости в том, что бабушка *оторвалась* от дочери ради антипатий к воспитанию, которому так или иначе, но во всяком случае она

сама ее вверила. Отвезя дочь из дому против своей воли, княгиня как будто сочла ее уже отрезанным ломтем, и не ошиблась. И она охладела к дочери, и дочь к ней. Пока княгиня жила еще в Петербурге, она часто ездила к дочери и исполняла все, что нужно, но прежней, живой связи с нею уже не чувствовала.

Отъезд бабушки в Протозаново еще более разъединил мать с дочерью: пока княгиня там, на далеких мирных пажитях, укрепляла себя во всех добрых свойствах обывательницы, княжна вырастала в стенах петербургского института, в сфере слабой науки и пылких фантазий, грезивших иною жизнью, шум и блеск которой достигали келий института и раздавались под их сводами как рокот далекой эоловой арфы. Деревенское здесь знали только как буколическое, и то из французских басен. Не было даже возможности обманываться, что с окончанием курса княжне будет приятно войти в круг «друзей» и знакомых своей матери и жить простыми их задачами...

Во все время институтского курса княгиня сама лично только раз ездила в Петербург со специальною целию навестить дочь. Такая поездка в то время была вещь нелегкая, и княгиня уже не решалась ее повторять, тем более что все, что она ни увидала в Петербурге, после двухлетнего из него отсутствия, ей казалось глубоко противно. Русский язык был в таком загоне, что ей почти не с кем было на нем обращаться, кроме прислуги, а в институте даже горничная, которой княгиня сделала подарки за услуги княжне, прося у бабушки руку для поцелуя, сказала:

— Позвольте, ваше сиятельство, вас в ручку померсикать.

Бабушка не дала ей руки и осердилась.

С тех пор два года кряду в Петербург вместо княгини ездил Патрикей. Он должен был доставлять княжне подарки и как можно более на нее насматриваться и обстоятельно, как можно подробнее, рассказывать о ней княгине. Первый год это ему удалось довольно удовлетворительно, но во второй Патрикей явился, после двухмесячного отсутствия, очень сконфуженным и сначала все что-то мямлил и говорил какой-то пустой вздор, а потом повинился и сказал, что хотя он всякий приемный день ходил в институт, но княжна вышла к нему только

однажды, на минуточку, в самый первый раз, а с тех пор гостинцы через швейцара принимала, а сама от свидания отказывалась и даже прощаться с ним не вышла. Впрочем, Патрикей ручался, что княжна весела и здорова, потому что он, подкупив швейцара, постоянно прокрадывался в его будку и наблюдал оттуда княжну Анастасию, когда она с другими девицами выходила гулять.

Бабушка всем этим была немало удивлена:

— Как! такая девочка, еще подросточек, и уже из своего дома человека видеть не хочет! И какого человека! Разве она не знает, что он мне больше друг, чем слуга, или она уже все позабыла!

Прошли годы институтского учения. Княгиня была не особенно радостна с тех пор, как стала говорить о поездке в Петербург за дочерью. Она терялась. Она не знала, перевозить ли ей дочь в деревню и здесь ее переламывать по-своему или уже лучше ей самой переехать в свой петербургский дом и выдать там княжну замуж за человека, воспитания к ней более подходящего.

Между тем дни шли за днями, и пришло неотложное время ехать. Начались сборы, и невдалеке назначен день выезда; бабушка ехала до губернского города на своих подставах, а оттуда далее на сдаточных, которые тогда для неофициальных лиц были благонадежнее почтовых.

Но пока человек предполагал, бог располагал по-своему, и бабушке открывался выход неожиданный и невероятный.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В то время как сборы княгини совсем уже приходили к концу, губернский город посетил новый вельможа тогдашнего времени — граф Функендорф, незадолго перед тем получивший в нашей губернии земли и приехавший с тем, чтобы обозреть их и населять свободными крестьянами. Кроме того, у него, по его высокому званию, были какие-то большие полномочия, так что он в одно и то же время и хозяйничал и миром правил.

Бабушка, к дому которой никакие вести не запаздывали, слушала об этом новом лице с каким-то недоверием и неудовольствием. Я забыла сказать, что в числе ее раз-

ных странностей было то, что она не жаловала графов. По ее правилам, в России должны быть царский род, князья, дворяне, приказные, торговые люди и пахотные, но графы... Она говорила, что у нас искони никаких графов не было, и она будто бы вовсе не знает, откуда они берутся.

— Говорят, графы стали, ну и бог с ними: они мне ни шьют, ни порят, и я им не помеха, а только отчего им это так сделалось, я не знаю.

Но что касается до графов с иностранными фамилиями, то этого она решительно и за титул не принимала.

— Пустяки, — утверждала она, — совершенные пустяки, это они и сами-то у себя это в насмешку делают, графами называются. Вон Калиостро простой итальянец был, макаронник, и по всей Европе ездил фокусы показывать да ужины с мертвецами давал, а тоже графом назывался.

При таком воззрении понятно, что бабушка не высокого была суждения и об этом графе Функендорфе, о котором ей рассказывали, как он грозен и строг и как от страха пред ним в губернском городе все власти сгибаются и трепещут.

— Что такое!.. — говорила она, — ну, положим, он и в самом деле знатный человек, я его рода не знаю, но чего же бояться-то? Не Иван Грозный, да и того сверх бога отцы наши не пугивались, а это петербургский божок схватил батожок, а у самого, — глядишь, — век кратенький... Мало ли их едет с пе́рищем, гремит колесом, а там, смотришь, самого этого боженьку за ноженьку, да и поминай как звали. Страшен один долготерпеливый, да скромный, за того тяжко богу ответишь, а это само пройдет.

Но грозный для всех граф был отнюдь не таков по отношению к княгине; до нее один за другим доходили слухи, что он о ней очень любопытствует, и сам с величайшим почтением говорил о ней и с губернатором и в дворянском собрании.

— Что ему еще до меня? — удивлялась княгиня и еще более удивилась, когда в один вечер Патрикей доложил ей о земском рассыльном, который приехал в Протозаново с письмом от губернатора.

Бабушка распечатала пакет и прочитала, что граф желает ей представиться и просит позволения к ней приехать в какой она назначит день.

Княгиня отвечала, что она *всякому* гостю всегда рада и дня не назначает, но только извещает, что она вскоре едет в Петербург за дочерью, и просит графа, если ему угодно у нее быть, то не замедлить.

Между тем ее, как бы по предчувствию, как-то беспокоило это посещение. Она зачастую видала у себя разных подобных «божков» из Петербурга и принимала их как и всякого другого, а этот ей был почему-то особенно неприятен.

Чуждая всякой спеси и всякой подозрительности, княгиня никогда не задавала себе вопроса: зачем к ней приедет тот или другой человек? — едет, да и только; но тут у нее этот вопрос не шел из головы.

«Что ему до меня?» — ломала она свою голову, супя свои красивые брови, и по целым часам думала об этом, глядя на играющих у ее ног на ковре маленьких князей.

«Если так думать, что он хочет у меня купить крестьян на свод, то, во-первых, я не имею никакого права продавать их, потому что они детские, да и неужто я похожа на тех, что людей на свод продают?.. Если же ему, может быть, денег надо... так этого быть не может, чтоб он у меня занимать стал!» И она опять взглядывала на детей и думала: «Не насчет ли моих детей он намерен коснуться? Только кто же посмеет в это вмешаться? Положим, у меня это случилось с девочкой, но то ведь была девочка, там я могла еще уступить: девочка в свой род не идет, она вырастет, замуж выйдет и своему дому только соседкой станет, а мальчики, сыновья... Это совсем другое дело: на них все грядущее рода почиет; они должны все в своем поле созреть, один за одним Протозановы, и у всех пред глазами, на виду, честно свой век пройти, а потом, как снопы пшеницы, оспевшей во время свое, рядами лечь в скирдницу... Тут никому нельзя уступать, тут всякая ошибка в воспитании всему роду смерть».

У княгини тогда уже были зрело обдуманные мысли, как она займется воспитанием сыновей и к чему их будет весть.

«Не дочь ли моя его, наконец, интересует?» — добиралась княгиня и пошла рассуждать, что ведь они-де, эти графы-то, любят цапнуть: они всё высматривают, где за русскою женщиной поживиться хорошим приданым можно... Что же? Это дело статочное: ему, говорят, всего

пятьдесят лет... По их суждениям, это нынче еще молод, а он, говорят, еще и впрямь молодец. И вдов, и здоров, и знатен... что же? Нынче такие браки с шестнадцатилетними невестами в Петербурге зауряд пошли. Гадко это, а, чего доброго, это могло ему прийти в голову».

И вдруг ей самой пришло в голову еще совершенно иное соображение; соображение, ни одного раза не приходившее ей с самого первого дня ее вдовства: она вздумала, что ей самой еще всего тридцать пять лет и что она в этой своей поре даже и краше и притом втрое богаче своей дочери... Тридцать пять и пятьдесят, это гораздо ближе одно к другому, чем пятьдесят и шестнадцать; а как притом эта комбинация для графа и гораздо выгоднее, то не думает ли он, в самом деле, осчастливить ее своей декларацией?

Мысль эта показалась бабушке столь ясною и логичною, что она стала верить, как в неотразимый факт, и ждала гостя в неспокойствии, за которое сама на себя сердилась.

Чего в самом деле! Неужто она не знает, как она встретит всякий подход с этой стороны и чем на него ответить.

Между тем «божок с перищем ехал и уже недалеко гремел колесом».

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Граф, благодаря бабушку за приглашение, прислал известить ее, что он пожалует к ней в первое следующее воскресенье вместе с губернатором, который его ей отрекомендует. Бабушке не нравилась эта помпа.

— К чему это? зачем это? что такое мне губернатор?

По независимым и оригинальным понятиям бабушки, губернатор был *«старший приказный в губернии»*, и приказным до него было и дело, а ей никакого: вежлив он к ней и хорош для других, она его примет в дом, а нет, так она его и знать не хочет. Таковы были ее правила. Но гостей надо было принять, и день их приезда настал: день этот был погожий и светлый; дом княгини сиял, по обыкновению, полной чашей, и в нем ни на волос не было

заметно движения сверх обыкновенного; только к столу было что нужно прибавлено, да Патрикей, сходив утром в каменную палатку, достал оттуда две большие серебряные передачи, круглое золоченое блюдо с чернью под желе, поднос с кариденами (queridons) да пятнадцать мест конфектного сервиза. Это всегда отбиралось с усмотрения Патрикея по числу гостей и потом опять после стола относилось на место, в безопасную от огня и от воров каменную палатку.

Из того, что конфектного сервиза было вынуто пятнадцать мест, ясно было, что, кроме графа, губернатора и самой хозяйки, за стол сядут еще двенадцать человек; но это тоже не были гости отборные, нарочно к этому случаю призванные, а так, обыкновенные люди, из соседей, которые к этому дню подъехали и остались обедать. В счету их, без всякого сомнения, была и дьяконица Марья Николаевна и Дон-Кихот Рогожин, о котором я уже несколько раз упоминала и теперь здесь непременно должна сказать несколько слов, прежде чем сведу его с графом.

Доримедонт Васильевич Рогожин, получивший прозвание Дон-Кихота, был чудак, каких и в тогдашнее время было мало на свете, а в наш стереотипный век ни одного не отыщется.

Он был длинный, сухой и рыжий дворянин с грустными изумрудными глазами, из которых один впоследствии потерял. Рогожин своею наружностью в общем чрезвычайно напоминал всем столь известную фигуру Дон-Кихота и так же, как тот, был немножко сумасшедший. По случайной фантазии, оригинальный костюм Рогожина еще более довершал его сходство: Доримедонт Васильевич любил верхнее короткое платье вроде камзола или куртки, похожей на бедный колет рыцаря Ламанча, и туго стягивался ржавым металлическим поясом, состоявшим из продолговатых блях, соединенных между собою тоненькими крепкими цепочками, из которых, впрочем, многие были оборваны. Весь этот костюм всегда был в беспорядке, но Рогожин и не обращал на такую мелочь никакого внимания. Он, впрочем, вероятно, и не счел бы приличным иметь платье с иголочки, как у какого-нибудь горожанина. Он, как истый горец, в лохмотьях своих любил их красоту, и был прав: они ему действительно шли

и сидели на нем так, как не могла сидеть никакая обнова. Чудак этот служил в Отечественную войну в войсках и был взят в плен и отведен во Францию, откуда вернулся, набравшись тогдашних либеральных идей, которые, впрочем, переработал по-своему. Он был враг всякого угнетения и друг демократии, но вместе с тем и друг изгнанного дворянства, реставрации которого тоже сильно сочувствовал, потому что любил «благородство идей» и ненавидел зазнающихся выскочек. Возвратясь домой, он потерялся: чему сочувствовать и за кого заступаться? Здесь он не скоро мог сообразить: кто кого угнетеннее и имеет более прав на его защиту? Он то порывался разбить тюрьмы или побить неправедных судей, то лютовал, слыша стоны возле господских контор, и, наконец, растерявшись, первым делом положил отпустить на волю собственных крестьян. Сказано — и сделано. У него было ничтожное именьишко, доставшееся ему от матери, бедной дворянки, обреченной в монастырь и неожиданно вышедшей замуж за его отца. Это именьице да унаследованное от матери уменье писать уставами и рисовать золотом и киноварью заставки составляли все наследие Дон-Кихота. Крестьянам своим он объявил, что они свободны и могут идти куда хотят; но крестьяне от него не пошли. Это Рогожина крайне удивило, но когда девять мужиков, составлявших всю его крепостную силу, собравшись к его соломенным хоромам на курьих ножках, растолковали ему, что они на свободе боятся исправника и всякого другого начальства, то Доримедонт Васильевич, долго шевеля в молчании губами и длинным рыжим усом, наконец махнул рукой и сказал:

— Ну так живите как знаете; только на меня не работать!

Мужики на это согласились: условия для них были довольно удобные и легкие. Впоследствии эти хуторяне, сколько по великодушию, столько же от соседских насмешек, что они «живьем у себя барина заморили», накинули на себя мирское тягло в пользу Рогожина: они взялись ему убирать огород и луг для его коровы и пары кляч и перекрыли ему соломой горенку. Кроме того, как в это время Доримедонт Васильич часто должен был ездить в город, где хлопотал о пенсии за свою службу и раны, ему нужен был кучер, то мужики выбрали для услуг

из своей среды мужика Зинку. Мужик Зинка, сделавшийся Санчо-Пансой нашего Дон-Кихота, кажется был приуготовлен к этой должности самою природой. В детстве, отрясая с высокого ясеня зеленых майских жуков, которых оптовщики скупают по деревням для продажи в аптеки, Зинка сорвался с самого верха дерева и повредил себе крестец. После этого излома он так странно сросся, что вся нижняя его половина всегда точно шла на один шаг сзади верхней. С летами Зинка обородател, но почти совсем не вырос и, по слабосилию своему, был не годен ровно ни к какой тяжелой сельской работе. Поэтому он летом обыкновенно сидел у околицы и плел из лык кошели, а зимой ходил с иглой и ножницами шить зипуны и полушубки. Благодаря долговременному сидению в одиночестве у околиц Зинка развил в себе большую сосредоточенность и склонность к размышлениям, а хождением со швецовским промыслом, при котором столь важную роль играет мастерство утягивать лоскутья, он приобрел много ловкости и лукавства, к которым вообще, вероятно, был способен и от природы.

Вот этим-то человеком рогожинские мужики и наградили своего доброго барина. Рогожин, осмотрев Зинку, почел его не неудобным для своих служб, а поговорив с ним, пришел даже в восторг от него. Зинка, далеко таскаясь со своим швецовством, бывал почти во всех деревнях всего округа, знал многих людей и не боялся неизвестных дорог, потому что умел их распытывать; к тому же он мог чинить платье неприхотливого Дон-Кихота и был не охотник сидеть долго под одною кровлею, столько же как и его барин. Кроме того, Зинка умел рассказывать разные страшные сказки и достоверные истории про домовых, водяных, а также колдунов и вообще злых людей и, что всего дороже, умел так же хорошо слушать и себе на уме соглашаться со всем, что ему говорил его барин. В душе он считал Рогожина дурачком, или по крайней мере «божьим человеком». Ну, словом, Пансо был по всем статьям как на заказ для нашего Дон-Кихота выпечен, и они запутешествовали.

В своих помещичьих скарбах Доримедонт Васильич отыскал старую, ободранную рогожную кибитку, поставленную на две утлые дрожины на неокованных колесах. В этом экипаже его бедные родители отвозили его когда-

то в училище, и экипаж этот назывался тарантасиком. Уцелела серая кобылица обыкновенной крестьянской породы и при ней ее нисходящее потомство: рыжий трехлетний конек да сосунок-жеребеночек. Выехать, значит, было на чем. Недоставало сбруи, но один хомутишко где-то нашелся, к нему приправили гужи, а на пристяжную свертели дома изрядную шлейку да наплели и навязали, где нужно, веревочек и лыко да мочала. Дон-Кихота помчали.

О пенсии своей Рогожин хлопотал долго и с переменным счастием: то дело его шло, то вдруг останавливалось. При малейших замедлениях Рогожин не разбирал, кто в этом виноват, а грубил всем, кому ни попало, начиная с губернатора и кончая последним писарем. Благодаря этой энергии он скоро прослыл на всю губернию чудаком, и когда он показывался в городе, за ним издали ходили разные люди, чтобы посмотреть на этого бесстрашного. Мужик Зинка этим пользовался и очень долго показывал его желающим на постоялых дворах за пироги и за мелкие деньги, но Доримедонт Васильич случайно открыл эти проделки своего Пансо и, перегнув его при всей публике через свое длинное сухое колено, отхлопал по отломанной части. Докуки Дон-Кихота имели, однако, для него и свою хорошую сторону: начальство, выйдя с ним из терпения, выхлопотало ему пенсию, что-то вроде пятисот рублей на ассигнации, чем Рогожин был, впрочем, очень доволен. Но его чрезвычайно удивило, что, прежде чем получилась эта пенсия, на него стали в изобилии поступать уголовные иски за учиненные им то одному, то другому начальствующему лицу грубости и оскорбления! Как, он сам себя считал обиженным, что его так долго томили, а тут еще на него же жалуются! Другое дело сатисфакция... Он это готов дать кому угодно, но возиться с приказными и все это писать на бумаге... Это никуда не годится!

Доримедонт Васильич опять натянул на своих Россинантов лыко и мочало и опять с тем же Зинкой и в сопровождении того же жеребенка поскакал в город предлагать всем жалобщикам свою сатисфакцию, но никто его сатисфакции не хотел принимать, и все указывали ему на уголовную палату.

Рогожин рассердился, плюнул и, наговорив заодно всем, кому мог, больших дерзостей, укатил из города неизвестно по какой дороге. Дома его напрасно разыскивали и вызывали бумагами к ответу: Доримедонт Васильич исчез и неизвестно где пропадал целые три года кряду. Во все это время, укрываясь от суда, он путешествовал по разным далеким и близким монастырям, где ему, по большей части, добрые иноки были рады. Сын монастырки, Рогожин знал монастырские порядки и умел быть не в тягость обителям, напротив, делался везде полезным человеком: он умел переплетать и *подписывать* пришедшие в ветхость книги; *размечал* óглавы киноварью и твореным золотом и вообще мастерски делал подобные мелкие работки, на которые не только по захолустьям, но и во многолюдных городах не скоро достанешь искусного художника. Рогожин, как сказано, во всем этом унаследовал от матери большую тонкость, и искусство это ему пригодилось. Можно положительно сказать, что если б и в монастырях тоже не оказывалось каких-нибудь угнетенных людей, за которых Доримедонт Васильич считал своею непременною обязанностию вступаться и через это со всеми ссорился, то его ни одна обитель не согласилась бы уступить другой, но так как заступничества и неизбежно сопряженные с ними ссоры были его неразлучными сопутниками, то он частенько переменял места и наконец, заехав бог весть как далеко, попал в обитель, имевшую большой архив древних рукописей, которые ему и поручили разобрать и привесть в порядок.

Наш чудак так обрадовался этой благодати, что, закопавшись в пыльном архивном хламе, не мог даже и видеть, чтó вокруг него происходит: кто кого угнетает и кто от кого страждет.

Рогожин был вообще очень любознателен и довольно начитан, преимущественно в истории, но он терпеть не мог *сочинений*, в которых ему всегда мешал личный взгляд автора. Он любил читать по источникам, где факт излагается в жизненной простоте, как происходило событие, и что не обязывает читателя смотреть на дело с точки зрения, на которую его наводит автор книги сочиненной. Тут Доримедонту Васильичу выпала сладкая доля досыта удовлетворить своему влечению к такому чтению. Жизнь была благодатнейшая: он читал; лошадки его па-

хали монастырские огороды и возили сено с приписных лугов, а сломанный Зинка, которого в монастыре звали всем его крестным именем — Зиновий, подметал трапезную и растолстел, как тучный теленок, на вкусных квасах и на мягком хлебе. Лучше этой жизни ни Дон-Кихот, ни его Пансо выдумать себе не могли: ленивый к богомолению Зинка столь был им восхищен, что стал даже усердно славить бога и молиться, чтоб это как можно долее не кончилось. Если бы Вольтер знал этого нашего земляка, то он должен был бы сознаться, что не ему одному казалось удобнее молиться после обеда, чем пред обедом, но наши натуральные философы, вероятно, никогда не получат известности, постоянно предвосхищаемой у них чужеземцами.

Однако послеобеденная молитва Зинки, должно быть, точно так же мало доходила до властителя судеб человеческих, как и сытая молитва, которою хвалился Вольтер: ни тому, ни другому из этих молитвенников не сталось по их молениям.

До монастыря дошла весть, что уже с полгода тому назад по случаю какого-то торжества последовал манифест, покрывший прощением многие проступки, к категории которых относились и те, за кои скрывался в изгнании Рогожин.

Доримедонт Васильич сейчас же раскланялся с настоятелем за приют и за подаренные ему старые рукописи из числа тех, которые в монастыре показались ненужными, и, выйдя на крыльцо кельи, закричал:

— Эй, Зинобей!

Зинка знал этот крик: это был призывный, боевой клич его барина, клич не то переделанный из имени Зиновий, не то скомпонованный из сокращения двух слов: «Зинка, бей!» Так кричал Рогожин при своих рыцарских нападениях на обидчиков.

Зинка выскочил из-под крыльца пекарни, как заяц, схватил налету за пазуху добрую дольку мягкого хлеба и через десять минут подал к воротам ободранную кибитку с парой известных нам лошадок во всем их пеничном и мочальном уборе.

Дон-Кихот Рогожин появился за воротами в подаренной ему настоятелем за работу черной мантии, из которой он намеревался себе сделать плащ, но потом нашел,

что она может ему служить свою службу и без переделки. Он швырнул в кибитку целый ворох переплетенных и просто в кули связанных рукописей и закричал:

— Ну, бей, Зинобей; бей! Зинка бей!

И они покатили.

Дома они застали все как было, в том же запустении, только соломенная крыша на горнице как будто немножко более поосунулась. Домашние тоже не усмотрели в них за три года никакой большой перемены: только тарантас, стоявший в монастыре под куриною поветью, немножко поприбелел сверху да с серою кобылицей прибежал новый сосунок. Последнее, впрочем, было не новость, потому что у этой загадочной лошади всякий год были новые жеребятки, и с тех пор, как с возвращением барина она попала ему в езду, ни один из этих жеребят не переживал первого года. Они обыкновенно не могли долго бежать за своею матерью и ходившим с нею на пристяжке старшим братцем и или где-нибудь отставали и терялись, или умирали на дороге от перегона; а через год Дон-Кихот опять скакал на своих удивительных лошадях, и за ним со звонким ржанием опять гнался новый жеребенок, пока где-нибудь не исчезал и этот.

Я назвала одров Рогожина *удивительными,* но чувствую, что это слово слишком слабо для выражения того почтения, которое они оставили по себе в самом позднем потомстве. Это были не кони, а какие-то сказочные грифы: седлистые и длинные, как гусеницы, с голыми шеями и какими-то остатками перьев вместо шерсти на прочих местах, они наводили страх своими мясистыми головами, похожими скорее на головы огромных птиц, чем лошадей. Вечно они были некованые, а весьма часто и голодные, и на вид не представляли никакой благонадежности даже для самого близкого переезда. Когда они стояли в своей мочальной сбруе, казалось, что каждую из них достаточно только толкнуть, и она сейчас же повалится и будет лежать, подняв ноги, как деревянная скамейка, но это только так казалось. Что же делали эти одры, когда они слышали за собою из тарантаса сумасшедшие возгласы Дон-Кихота и визгливый фистульный крик его Пансы — это было уму непостижимо! Они, говорят, летали до ста верст в одну упряжку, и именно не бегали, а *летали,* как птицы. Без шуток говорю: было

живое предание, что они поднимались со всем экипажем и пассажирами под облака и летели в вихре, пока наступало время пасть на землю, чтобы дать Дон-Кихоту случай защитить обиженного или самому спрятаться от суда и следствия. К чести Зинки, он отнюдь не поддерживал этого заблуждения и откровенно признавался, что одры его барина просто двужильные и страшного в них заключается только то, что после каждого этого одра непременно должны издохнуть двенадцать хороших лошадей, но ему, разумеется, не верили. Ни один обстоятельный человек никогда не соглашался положиться легкомысленно на такой рассказ, сочиненный, очевидно, для того, чтобы только людям глаза отвести. Все умные люди понимали, что лошади Дон-Кихота не могли быть обыкновенными лошадьми и, зная, что Зинка мужик лукавый, охотнее верили другому сказанию, что они, то есть Дон-Кихот и Зинка, где-то далеко, в каком-то дремучем лесу, чуть не под Киевом, сварили своих старых лошадей в котле с наговорами и причитаниями по большой книге, и, повинуясь этим заклинаниям, из котла в образе прежних их лошадей предстали два духа, не стареющие и не знающие устали. Да это было и вероятнее, и я отнюдь не хочу этого оспаривать в моей хронике, где должна дать место этим таинственным зверям, которых вид, годы, сила, ум и ухватка — все превосходило средства обыкновенного человеческого понимания.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Прискакав после долговременного отсутствия домой, Дон-Кихот впал в полосу долговременного штиля, какого потом не бывало уже во всю его остальную жизнь, и тут он совершил один страшный и бесповоротный шаг, о котором, вероятно, имел какое-нибудь мнение, но никогда его никому не высказывал. Покой Рогожина зависел от того, что он привез с собою из монастыря целые вороха старых книг и рукописей. От этого клада он не мог оторваться, прежде чем все ветхие бумаги были им перечитаны, сравнены и изучены, а на это требовалось целые полгода. Рогожин просидел всю осень и зиму за чтением;

зимние поздние предрассветные зори часто заставали его пред нагоревшим высоким глиняным ночником, в оскудевшую плошку которого он глядел помутившимися от устали глазами и думал какие-то широкие думы. Он доходил до мысли: как освободить много, много угнетенных людей за один прием, сразу, и в пылающей голове его неслись план за планом, один другого смелее и один другого несбыточнее. В результате всего этого получилось одно, что совсем выбившийся из сна Дон-Кихот в начале великого поста не выдержал и заболел: он сначала было закуролесил и хотел прорубить у себя в потолке окно для получения большей порции воздуха, который был нужен его горячей голове, а потом слег и впал в беспамятство, в котором все продолжал бредить о широком окне и каком-то законе троичности, который находил во всем, о чем только мог думать.

Крестьяне, послушав все это, наконец струсили, что их блажной барин может совсем сойти с ума или умереть и тогда они могут достаться в управление какому-нибудь другому лицу, у которого не будет его доброты, и им придется сказать «прощай» своему льготному житью. Они привезли к Рогожину из села священника. Дон-Кихот был на этот случай в памяти и как будто даже обрадовался гостю, с которым мог говорить о предметах, недоступных пониманию Зинки и других мужиков. Он посадил гостя на топорном стуле возле лавки, на которой лежал, и заговорил с ним о троичности, троичности во всем, в ипостасях божества, в идеях и в видимых элементах строения общества.

— И в церкви, — говорил он, — высшие власти три: митрополит, архиерей и архимандрит; ниже опять три: поп, дьякон и причетник, всё три! Оттого, если все три совершают дело в строении, и нисходит благодать.

— Нисходит-с, — отвечал священник.

— Как же не быть сему в государстве?

— Надо быть-с.

— Я это и говорю! — воскликнул Дон-Кихот. — И я говорю, что этому надо быть! надо быть!

— Надо быть-с, — поддакнул священник.

— И оно... нагнитесь сюда ко мне поближе.

Священник оперся рукой о лавку и пригнулся к больному.

Дон-Кихот обнял его исхудалою рукой за шею и прошептал:

— И оно есть-с!

— Есть-с; непременно есть.

— Как! и вы понимаете, что оно есть?

— Понимаю-с.

— Вы понимаете, что есть три и они одно: они одно делают, одной стране служат, ее величие поют, только один в верхнем регистре, другой — в среднем, а третий — в низшем.

— Совершенно понимаю-с.

— Хорошо, — произнес Дон-Кихот и вдохновенно добавил: — дай руку, мы свои и будем говорить откровенно.

Они пожали друг другу руку.

— Прежде всего поверка: сверим силы как добрые союзники: откройся, как ты это понимаешь?

— Что это-с?

— Трое... Кто они, эти трое в России, без кого нельзя?

— Государь...

— Раз! это верно, продолжай.

— Второй — губернатор...

Дон-Кихот уже хотел загнуть второй палец с восклицанием «два», но вдруг заикнулся и, взглянув с удивлением на священника, протянул:

— Что-о-о-о?

— Второй — губернатор-с.

— Как, черт возьми, губернатор!.. Почему он второй?

— Потому что государь правит всем государством, а этот под ним губернию в страхе держит...

— Ну-у!

— Ну-с, а третий под ним городничий — он один город блюдет.

— Пошел вон! — нимало не медля отвечал Дон-Кихот.

Священник удивился и, недоумевая, переспросил:

— Как это?

— Так; очень просто: твое счастие, что я болен и не могу дать тебе затрещины, а бери свой треух и уходи поскорей от меня вон, потому что ты хуже всех.

И он ему с значительным самообладанием разъяснил, почему он хуже всех.

— Все, — сказал он, — меня не понимают и прямо так и говорят, что не понимают, а ты вызвался понять, и сказал мне всех хуже. Прощай!

Священник поднялся и пошел к двери.

— Однако же постой! — вернул его Дон-Кихот. — Сними мне с колка мою куртку.

Тот безгневно возвратился и исполнил требуемое.

Рогожин порылся в карманах, достал из одного из них обширный кожаный кошелек с деньгами и, позвякав бывшими там двумя серебряными целковыми, подал один из них гостю.

— Возьми это и не обижайся — глупость не вина.

Тот принял и деньги и извинение.

— И вот еще что... Истина, добро и красота... Но тебе и это не понять... Пожалуйста, не говори, что поймешь, а то я рассержусь. Проще объясню: разум, воля и влечение, только нет... ты опять и этак не поймешь. Еще проще: голова, сердце и желудок, вот тройка!

И он поехал на этой тройке, пространно объясняя, как тут каждый нужен друг другу и всякому есть свое дело, для того чтобы весь человек был здрав умом, духом и телом.

— Опять тройка! понял? Или лучше молчи и слушай: ты сказал государь... это так, — голова, она должна уметь думать. Кормит все — желудок. Этот желудок — народ, он кормит; а сердце кто? Сердце это просвещенный класс — это дворянин, вот кто сердце. Понимаешь ли ты, что без просвещения быть нельзя! Теперь иди домой и все это разбери, что тебе открыл настоящий дворянин, которого пополам перервать можно, а вывернуть нельзя. Брысь!.. Не позволю! В моем уме и в душе один бог волен.

И, прочитав эту лекцию, дворянин, которого можно перервать, но нельзя вывернуть, впал в такое горячечное беспамятство, что мужики должны были сменить выбившегося при нем из сил Зинку и учредили при Рогожине бабий присмотр, так как уход за больным сердцу женщины ближе и естественнее.

Дон-Кихот долго пролежал без сознания и когда пришел в себя, то очень удивился.

Все окружающее его глядело чрезвычайно приятно, светелка его была убрана, на самом на нем была чистая

мужичья рубашка, у изголовья стояла на столе золоченая луком деревянная чаша с прозрачною, как хрусталь, чистою водой, а за образником была заткнута ветвь свежей вербы.

Но это еще было не все, то был сюрприз для глаз, а был еще сюрприз и для слуха. Рогожину стало сдаваться, что невдалеке за его теменем что-то рокочет, как будто кто по одному месту ездит и подталкивает.

«Что это?» — подумал Дон-Кихот и хотел оглянуться, но у него не оказалось к тому никаких сил.

Экое горе! Вот бы позвать, да никого нет в избе. Кот один ходит прямо пред ним по припечку и лапой с горшка какую-то холщовую покрышку тянет. Хорошо лапкой работает!

И Дон-Кихот, давно ничего не видавший глазами, засмотрелся на кота и не заметил, как тот мало-помалу подвигал горшок к краю и вдруг хлоп... Горшок полетел об пол, а серый бедокур проворными скачками ускакал за трубу... Но Рогожину некогда было следить за проказником, потому что при первом громе, произведенном падением разбившейся посуды, чистый, звонкий, молодой голос крикнул: «Брысь!», и занимавший несколько минут назад больного рокот за его головою тотчас же прекратился, а к печке подбежала молодая сильная девушка в красной юбке и в белой как кипень рубахе с шитым оплечьем.

Она всплеснула над разбитым горшком руками и, быстро присев на корточки, стала бережно подбирать в передник черепья.

Во все это время она держалась к Дон-Кихоту спиной, и он только мог любоваться на ее сильный и стройный стан и черную как смоль косу, которая упала на пол тяжелою плетью и, как змея, вилась за каждым движением девушки.

Рогожину показалось, что он никогда не видал такого свежего и здорового, молодого женского тела, и он ждал, пока девушка кончит уборку и обернется к нему лицом. А она вот забрала с полу последние черепки и оборотилась... Фу ты господи, да что же это за роскошь!

Ведь вправду, мало сказать, что есть женщины, которые хороши и прекрасны, а надо сознаться так, что есть

и такие, которые как на грех созданы. Вот эта и была из таких.

Как она обернулась и мимоходом повела глазами на Дон-Кихота, так он и намагнетизировался. Та смотрит на него, потому что видит его смотрящим в первый раз после долгого беспамятства, а он от нее глаз оторвать не может. Глаза большие, иссера-темные, под черною бровью дужкою, лицо горит жизнью, зубы словно перл, зерно к зерну низаны, сочные алые губы полуоткрыты, шея башенкой, на плечах — эполет клади, а могучая грудь как корабль волной перекачивает.

Больной дворянин был сражен этой красотой и, по немощи, сразу влюбился. Он только хотел удостовериться, что это не греза, не сон, что это живая девушка, а что она крестьянка, а он дворянин — это ничего... законы осуждают, а сердце любит.

Рогожин попробовал улыбнуться и слабо выговорил:

— Умница!

— Что тебе, барин? иль полегчило? — сказала девушка и сама, улыбнувшись от доброжелательства, все вокруг себя как солнцем осветила.

Больной молчал.

— Что тебя, поправить что ли?

И, не дожидаясь ответа, она подвела ему под плечи круглую упругую руку и, поправляя другою рукою его изголовье, держала во все это время его голову у своей груди.

Запах молодого, здорового тела, смешанный с запахом чистого, но в дымной избе выкатанного белья, проник через обоняние Рогожина во всю его кровь и животворною теплотою разбежался по нервам.

— Кто ты? — произнес Дон-Кихот.

— Девка.

— А как тебя звать?

— Аксюткой звать.

— Аксиньею... Ксения!

Он произнес это имя и к нему прислушался. Ему показалось, что оно очень хорошо звучит.

— Что ты тут делала?

— Я-то? Тебя стерегла...

— Чего?

— Когда ты помрешь.

— Помру... вона!

— А что ж?

— Я теперь жить хочу, Ксения.

— Жить?.. да что же, для чего тебе не жить? Хлеб есть. Живи!

И она посмотрела в его вперенные в нее глаза и проговорила:

— Или тебя еще поправить?

— Поправь.

И опять это прикосновение руки, и опять ошибает свежий аромат легкой смолистой зáдыми и молодого тела.

— Будет, — прошептал Дон-Кихот, — будет: хорошо мне. Только вот что...

— Что еще?

— Сядь ко мне так, чтоб я тебя видел.

— Где сесть? тутотка?.. хорошо, сяду.

И она зашла ему за-головы и опять появилась с донцем, гребнем и размалеванною прялкою: села, утвердила гребень в гнезде донца, поставила ногу в черевичке на приверток и, посунув колесо, пустила прялку.

Опять мерная музыка заиграла тем же рокотом, а сама чародейка сидит, работает, и ни слова.

— Скажи мне что-нибудь, — попросил Дон-Кихот.

— Про что тебе рассказать? Я ничего не знаю.

— Про что ты думаешь.

— Вон кот горшок разбил!

— А что там было в горшке?

— Тесто было... калину парили.

— На что она?

— Девкам лизать.

Дон-Кихот нахмурился и спросил:

— Про каких ты девок говоришь?

— Про наших, про рогожинских, — мы ведь на смену при тебе сидеть ходим. Вот Танька уже бежит, она сичас на меня заругается, что не углядела. Прощай, барин, оздоравливай.

И прежде чем Рогожин успел ей ответить, она собрала всю свою рабочую снасть и, столкнувшись на пороге с пришедшею ей на смену другою девушкою, выбежала.

Пришедшая не выдерживала ни малейшего сравнения с удалявшеюся. Рогожин не хотел и смотреть на эту. Он

опять спал и поправлялся, но бог его знает, на каких тройках ездил он впросонках: кажется, что он теперь на время позабыл о добре и истине и нес уже дань одной красоте.

Но на его несчастие дела его шли так худо, что ее-то, эту чудную Ксению, он никак более и не видал. Как он ни проснется, все сидит возле него женщина, да не та, а спросить ему казалось неловко и совестно. Разве ее похвалить за красу? Но как же это мог себе позволить благородный и начитанный дворянин?

Ведь он знал, что по рыцарским обычаям и хвалить девушку без ее согласия запрещалось, а Ксения не давала ему согласия ее хвалить. И еще что́ об этих похвалах подумают?

«А хороша Ксения, очень хороша!»

Он решился молчать.

Но вот приходит раз мужик Архар, он был в хуторе вроде старосты, и говорит:

— Барин, а барин!

— Что тебе? — отвечал Дон-Кихот.

— А девка-то Аксютка баяла, что ты с нею баловал...

— Ну еще что скажи!

— А почто же ты с другими, кои ходят, ничего не балакаешь?

— А тебе что за дело?

— Такое дело, что она из моего двора, так если она тебе против других больше по обычаю, так чего на нее смотреть-то! мы одну к тебе посылать станем сидеть: пускай она, дурища, тебе угождает.

— Это ты про свою родную дочь так-то?

— Какая она мне дочь!

— Ну так падчерица: все равно, зачем ее дурой называть?

— Она мне и не падчерица.

— Ну племянница, что ли... Это все равно.

— И того совсем не было.

— Кто же она?.. так... чужая... приемыш, что ли? А?.. что?.. приемыш?

Сердце дворянина то замирало, то учащенно билось от необыкновенного предчувствия, а староста Архар отвечал:

— Аксютка-та?.. да она и не приемыш, а так... позабытая... богданка.

— Богданка?
— Да; она не нашенская, сирота будет... безродная.
— Где же ты ее взял?
— Чего взял, сами родители к нам на село привезли... О французовой поре можайские дворянчики всё через наши края бегивали, и тут тоже пара их бегла, да споткнулись оба у нас и померли, а сиротинку бросили.
— Дворянка!.. Так как же ты говоришь, что она безродная! Продолжай! не останавливайся... продолжай!
— Она была тогды махонькая, и глазки у нее болели: рассказать ничего не умела!..
— Ну!
— Мы ее хотели к заседателю, а заседатель от страсти сам бежал. Мужики и говорят: «Нам, Архар Иваныч, ее куда же? такую лядащенькую; а ты, брат, промеж нас набольший, ты староста — ты и бери».
— Ты и взял?
— Да ведь что с лихом поделаешь: не в колодец ее было сунуть, — взял.
— И это она и есть?
— Она самая.
— Можайская дворянка?
— Да так у нее в бумагах писано.
— Кто читал?
— Поп читал, когда ее родителев хоронил.
— Покажи мне сейчас эти бумаги!
Архар отправился к попу, а Рогожин, сверх всякого ожидания, в одну минуту оделся и, войдя шатающимися от слабости ногами в избу Архара, прямо, держась рукою стены, прошел в угол, где сидела за своею прялкой его Дульцинея, и, поддержанный ее рукою, сел возле нее и проговорил:
— Мы будем вместе ждать решения нашей судьбы!
Та ничего не поняла, но Архар принес бумаги, и Рогожин, взглянув в них, зарделся радостию и воскликнул:
— Ксения Матвевна, вы дворянка! Вы дворянка, и пред лицом земли и неба клянусь, что я вас люблю и прошу вас быть моею женой.
Девушка смутилась и, заслонясь рукавом, ничего не отвечала. Дон-Кихот принял это за скромность и обратился к крестьянам:

— С этих пор, — сказал он, — я под всяким страхом запрещаю звать ее Аксюткой. Через день она будет моя жена, а ваша госпожа Аксиния Матвевна.

Мужики почесались и отвечали:

— Ну Аксинья, так и Аксинья.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Рогожин свертел скоропостижную свадьбу и справлял необыкновенный медовый месяц. Женясь по живости своей и благородству восторженной фантазии безо всякого обстоятельного осведомления о характере и других свойствах своей жены, он даже не заметил, что не имел от нее определенного ответа: любит ли она его, или по крайней мере не любит ли кого-нибудь другого? Он прямо женился — исторг закинутую в грубую крестьянскую семью родовую дворянку, реставрировал ее в своем звании и тем исполнил долг совести и потребности пылавшего в нем чувства к красавице. Остальное его не касалось, да и что там еще могло быть остальное? Какие-нибудь совершенные пустяки. Он все это исчерпал менее чем в один свой медовый месяц.

Весна любви Дон-Кихота шла об руку с весною жизни природы, и потому в соломенном дворце было тепло, и светло, и для двух просторно. Когда молодая жена Рогожина утром убирала жилье, он выходил на крыльцо и, сев на порог, читал один из своих фолиантов; затем он сам ставил ей самовар; сам наливал для нее чай и непременно требовал, чтоб она сидела, а он подносил ей налитую чашку на широкой книге, заменявшей ему в этой церемонии поднос. Потом счастливые супруги вместе варили обед и, наконец, выходили вдвоем испить блаженство мечты в садике, где Рогожин среди двух берез и рябины своими руками устроил на низкой лужайке скамью из дощечек. Здесь он садился сам и, усадив рядом с собою жену, обнимал рукой ее стан и начинал ей с восторгом и декламацией говорить о боге, о просвещении и о святой независимости доброй совести и доброй воли.

Он совершенно забывал, что жена его не знает грамоте, что она выросла в крестьянской избе и ей доступен

из трех известных ему регистров только самый низший, вседневный.

— Как я увидел тебя и как полюбил, — говорил он, держа одною рукой ее руку, а другою обвивая ее сильный, роскошнейший стан, — ты слушай, как я тебя увидел, в моем сердце сейчас же послышался голос, что я с тобою буду счастлив.

Та, заслышав эти всякий день повторявшиеся признания, тихо зевала и жалась виском к плечу мужа, а он в своем бреде влюбленном шептал:

— Ты послушай, послушай, что я тебе расскажу: ты знаешь, давно был герой Ярль Торгнир?.. Нет, ты не знаешь... Ну, ничего: он жил от нас за морем, в странах скандинавских... Да, и у него была жена... Прекрасная жена... Он ее очень любил и жить без нее не мог... вот все равно как я без тебя. Ну, похоронив ее, он и стал о ней тосковать. Всякий день приходил он рыдать к ней на могилу... Вот он раз так сидит на могиле, а над ним летит ласточка — вот точно такая, как теперь перед нами... Погляди, моя милая, как она вьется!.. Ярль Торгнир взглянул на нее и со слезами послал птичке слово: «Утешь меня, добрая птичка!» И ласточка крылья сложила и, над его головой пролетев, уронила ему русый волос... золотой как горючий янтарь волосок, а длиной в целый рост человека... Ярль Торгнир взял волос и по тонине его понял, что высокого рода была та девица, с головки которой упал этот волос... И влюбился Ярль Торгнир по тому волоску в княжну Ингигерду, поехал и отыскал ее на Руси, как и я отыскал тебя... тоже случайно... и, в объятиях сжав ее, так же как я здесь тебя обнимаю, был счастлив.

Произнося этот монолог с глазами, вперенными в небо, Рогожин был действительно счастлив, и всё крепче и крепче обнимал свою подругу, и, наконец, переводя на нее в конце свой взгляд, видел, что она сладко спит у него на плече. Он сейчас же отворачивал тихо свою голову в сторону и, скрутив трубочкой губы, страстно шептал:

— Душка! Она спит... Как она крепко спит!.. Какая совершеннейшая душка!

Дон-Кихот не мог взять на руки своей жены и перенести ее домой: он был еще слаб от болезни, а она не слишком портативна, но он зато неподвижно сидел все время, пока «душка» спала, и потом, при обнаружении

ею первых признаков пробуждения, переводил ее на постель, в которой та досыпала свой первый сон, навеянный бредом влюбленного мужа, а он все смотрел на нее, все любовался ее красотою, вероятно воображая немножко самого себя Торгниром, а ее Ингигердой.

Однако все это весьма естественно кончилось тем, что супруги к исходу своего медового месяца стали изрядно скучать, и Дон-Кихот Рогожин велел Зинке запрячь своих одров в тарантас и поехал с женою в церковь к обедне. Тут он налетел на известный случай с Грайвороной, когда бедный трубач, потеряв рассудок, подошел к иконостасу и, отлепив от местной иконы свечу, начал при всех закуривать пред царскими вратами свою трубку.

Доримедонт Васильич видел, как Грайворону схватили и повлекли и как сотни рук все стремились дать ему хоть одного пинка или затрещину. В общем это выходило, по соображениям Дон-Кихота, для одного довольно много, и он вступился. Он расправил свои руки и отбил Грайворону, а потом, крикнув: «Зинобей!», примчал отбитого трубача в Протозаново и снова скрылся на своих вихрях.

Жену свою он покинул в церкви, и она возвратилась оттуда домой пешком, вместе с бабами и мужиками, как хаживала будучи крестьянкою, и, вероятно, находила это отнюдь не неприятным. Дон-Кихот же, тоже прогулявшись, хватил старины, от которой чуть не отвык, обабившись: и он и Зинка заметили, что когда они ехали в церковь с «барыней Аксюткой» (так ее звали крестьяне), то даже лошади шли понуро и сам тарантас все бочил на левую сторону, где сидела крепкотелая Ингигерда; но когда Дон-Кихот, сразившись и отбив Грайворону, крикнул: «Зинобей!» — все сразу изменилось: одры запряли ушми и полетели, тарантас запрыгал, как скорлупочка по ветру, и сами Зинка и его барин вздохнули родною жизнью.

Зинка до того всем этим увлекся, что, опьянев от удовольствия, на обратном пути сказал Дон-Кихоту:

— Эх, отец, бросим баб!

Рогожин отвечал ему на это пинком в спину, но не сердился. Зинка понял, что барин в душе с ним согласен и что доброе, старое кочевое время возвращается.

Бабушку в этот свой первый приезд в Протозаново наш чудак не видал: они, конечно, знали нечто друг о друге по слухам, но свидеться им не приходилось. В этот

раз бабушке тоже было не до свидания с гостем, потому что княгиня занялась больным и даже не имела времени обстоятельно вникнуть, кем он спасен и доставлен. Но зато, похоронив Грайворону, она сию же минуту откомандировала Патрикея к Рогожину отблагодарить его и просить к княгине погостить и хлеба-соли откушать.

Дон-Кихот отвечал согласием. Ему это внимание, как видно, понравилось, и он на другой же день крикнул: «Зинобей!» и явился в Протозаново.

Сойдясь лицом к лицу с бабушкой, они оба, кажется, были друг другом немножко поражены и долго молчали. Бабушка, однако, первая перервала эту паузу и сказала:

— Вот ты какой!

— Да, — отвечал Рогожин, — вот этакой, я весь тут.

— Не грузен; а все воюешь.

— Да, на соколе мяса немного, на тетере его больше бывает.

— Это ты что же... меня, что ли, тетерей зовешь?

— Нет, я это просто так, к слову.

— Просто к слову, так садись до обеда и скажи мне, пожалуй, что такая за притча, что я тебя ни разу не видала. Столько времени здесь живу и, кажется, всех у себя перевидела, а тебя не видала. Слышу ото всех, что живет воин галицкий, то тут, то там является защитником, а за меня, за вдову, ни разу и заступиться не приехал... Иль чем прогневала? Так в чем застал, в том и суди.

— Что мне судить? — коротко ответил Рогожин, — дела не было, так оттого и не ехал.

— А так без дела разве нельзя, или грех по-соседски повидаться?

— Да что же... по-соседски... Какие мы соседи? Я бедный дворянин, а вы богатая княгиня, совсем не пара, и я не знал, как вы это примете, — а я горд.

— Господи мой! да довольно того — сосед и дворянин, а ты еще с достоинством носишь свое звание, чего же еще нужно?

— Да, я дворянин как надо, меня перервать можно, а вывернуть нельзя.

— Молодец!

Они подружились, и когда гость уезжал, княгиня у него осведомилась:

— Ты ведь женат?

— Женат.

— Так не обидься, пожалуйста, я тебе в бричку сослала шелковый отрез на платье... Не тебе, понимаешь, а жене твоей... на память и в благодарность, что пешком шла, когда ты мне трубача привез, — добавила княгиня, видя, что гость начал как-то необыкновенно отдуваться и хлопать себя пальцем по левой ноздре.

— Гм! жене... Ну, пускай так будет этот раз на память! — позволил Дон-Кихот, — но только... вперед этого больше не надо.

И он потом, сделавшись коротким и близким приятелем в доме княгини, никогда не принял себе от нее ничего, ни в виде займа, ни в виде подарка. Как с ним ни хитрили, чтоб обновить его костюм или помочь упряжной сбруишкой, — не решались ни к чему приступить, потому что чувствовали, что его взаправду скорее перервешь, чем вывернешь. От бабушки принимали пособие все, но Дон-Кихот никогда и ничего решительно, и княгиня высоко ценила в нем эту черту.

— Тут уже не по грамоте, а на деле дворянин, — говорила она своим близким, — богат как церковная мышь, есть нечего, а в мучной амбар салом не сманишь: «перервешь, а не выворотишь».

Эти слова Рогожина в присловье пошли, а сам он тут свою кличку получил. Бабушка сказала ему:

— Какой ты Доримедонт Рогожин, ты Дон-Кихот Рогожин!

А он отвечал:

— Я бы счастлив был, но только не в том месте родился.

Прозвание ему, однако, нравилось.

Но вместе с тем с этой же своей поездки к бабушке Дон-Кихот сразу махнул рукой на свою семейную жизнь.

— Его точно песья муха у меня укусила, — рассказывала бабушка, — так от меня и побежал на своих одрах странствовать и подарок мой жене насилу к рождеству привез. И где он в это время был? — ничего не известно. Слышали только, что там чиновник по дороге встречный обоз в грязь гнал, на него кто-то налетел, накричал, кнутом нахлестал и уехал... По рассказам соображаем — это наш Дон-Кихот; там офицера на ярмарке проучил; там жадного попа прибил; тут злую помещицу в мешке в поле

вывез — все Дон-Кихот, все он, наш сокол без мяса. К концу года, гляжу, ко мне и возвращается: «Дома, говорит, день пробыл и жене гостинец отдал, а жить мне у себя нельзя: полиция ищет, под суд берут».

О доме своем он и не имел никаких забот: всем хозяйством правила «барыня Аксютка»; она продавала заезжим прасолам овец и яловиц, пеньку, холст и посконь и запивала с ними продажные сделки чайком «с подливочкой», и в той приятной жизни полнела и была счастлива.

Впрочем, о «барыне Аксютке» знали очень мало и никогда о ней в бабушкином обществе не говорили и Дон-Кихота о ней не спрашивали, за что он, вероятно, и был очень благодарен.

Бабушка находила в Рогожине очень много прекрасного и, разумеется, приобщила его к своей коллекции, но в обстоятельства его семейной жизни не входила. Она знала только одно, что он *«женат глупо»,* и больше ничего знать не хотела.

Время свое Доримедонт Васильич препровождал самым странным и невозможным образом: когда ему не угрожал суд, он исчезал на своих одрах и где-то странствовал и потом вдруг как снег на голову являлся в Протозаново.

Бабушка знала, что это значит, и обыкновенно всегда встречала его одним вопросом:

— Что, батюшка мой, верно опять победил какого-нибудь врага?

— Ну так что ж! — отвечал односложно Дон-Кихот.

— Ничего: тебе, добру молодцу, исполать, и полезай теперь скорей на полать да получше прячься.

— А меня здесь не заметят?

— Ну, где тебя заметить, ты все равно что нос на жидовской роже — незаметен.

Рогожин успокоивался и жил во флигелях у княгини, ночуя нередко в одной комнате с исправником и сидя с ним рядом за обеденным столом.

Времена и нравы теперь так переменились, что это многим, вероятно, покажется совершенно невероятным, но это было именно так, как я рассказываю. В дом княгини Варвары Никаноровны *нельзя* было приехать с выемкой. Выборному исправнику, да и никому другому, ничто подобное никогда и в голову не могло прийти. Благодаря

такому сочетанию обстоятельств Дон-Кихот преспокойно жил в Протозанове и в долгие зимние вечера служил бабушкиному обществу интересною книгой. Он развлекал всех своими рассказами, имевшими всегда своим предметом рыцарское благородство и носившими на себе особый отпечаток его взглядов и суждений. Рогожин не любил ничего говорить о себе и, вероятно, считал себя мелочью, но он, например, живообразно повествовал о честности князя Федора Юрьича Ромодановского, как тот страшные богатства царя Алексея Михайловича, о которых никто не знал, спрятал и потом, во время турецкой войны, Петру отдал; как князю Ивану Андреевичу Хованскому-Тарарую с сыном головы рубили в Воздвиженском; как у князя Василия Голицына роскошь шла до того, что дворец был медью крыт, а червонцы и серебро в погребах были ссыпаны, а потом родной внук его, Михайло Алексеич, при Анне Ивановне шутом состоял, за ее собакой ходил и за то при Белгородском мире тремя тысячами жалован, и в посмеяние «Квасником» звался, и свадьба его с Авдотьей-калмычкой в Ледяном доме справлялась... Как Салтыковы ополячились; как Василий Нарышкин с артиллериею и пехотою богача Сибирякова дом осадил и силою у него пять тысяч рублей вымогнул, а потом в том же дому у него без совести бражничал. А князь Иван Васильевич Одоевский даже со столов при карточной игре у Разумовского деньги воровал.

Все гости слушали эти рассказы, и словно переживали всё, что излагал пред ними Рогожин, и «страхом ограживались» от ужасавшего их захудания рода, которое, вероятно, и тогда уже предвиделось.

По крайней мере бабушка, по своей безбоязненности смотреть вперед, и тогда уже об этом говорила.

Все это были беседы бесконечные, но не бесплодные, и в них коротались дни, а когда Дон-Кихот вдруг исчезал, эти живые беседы обрывались, и тогда все чувствовали живой недостаток в Рогожине. Возвращался он, и с ним в Протозаново возвращалось веселье. Приезжал ли он избитый и израненный, что с ним случалось нередко, он все равно нимало не изменялся и точно так же читал на память повесть чьего-нибудь славного дворянского рода и пугал других захуданием или декламировал что-нибудь из рыцарских баллад, которых много знал на память.

В то время, когда бабушка ожидала к себе петербургского графа Функендорфа, Рогожин находился налицо в Протозанове: он только что возвратился откуда-то после жестокой битвы, в которой потерял глаз.

— Батюшка мой, как тебя обработали! — произнесла, увидав его, бабушка. — Ты ведь теперь кривой останешься?

— Да ничего... один глаз целый остался, — отвечал Рогожин и больше ничего не рассказывал; но люди через Зинку разузнали, что было побоище страшное, что Дон-Кихот где-то далеко «с целым народом дрался».

Вся история, сколько помню, состояла в том, что где-то на дороге у какой-то дамы в карете сломалось дышло; мужики за это деревцо запросили двадцать рублей и без того не выпускали барыню вон из деревни. Дон-Кихот попал на эту историю и сначала держал к мужикам внушительную речь, а потом, видя бессилие слов, вскочил в свой тарантас и закричал:

— Зинобей! Зинка бей! бей! бей! Зинобей!

Зинка подобрал вожжи и в свою очередь завизжал:

— Эх вы, караси! ну-ка-си! помахивай-ка-си!

И одры разлетелись, сделали с горы круг; за ними закурило и замело облако пыли, и в этом облаке, стоя на ногах посреди тарантаса, явился Рогожин в своей куртке, с развевающимся по ветру широким монашеским плащом. Все это как воздушный корабль врезалось — и тут и гик, и свист, и крик «бей», и хлопанье кнута, и, одним словом, истребление народов!

Люди сидевшей в карете дамы, воспользовавшись этою сумятицею, скорее по лошадям, и ускакали, а мужики вдруг сообразили, что Дон-Кихот один, а их много, и приняли его в переделку. Обоих путников страшно избили, и они, по показанию Зинки, три дня валялись возле речки на лугу за горою. Пансо был избит совершенно понапрасну: слушая призыв «бей! Зинка бей!», он все-таки никогда никого не бил и в этом деле тоже оставался ни пред кем не повинным. Мужики этого ничего не разбирали, и от них досталось даже и коням Дон-Кихота, которых изувечили, и тарантасу, в котором изломали колесо и украли из него железный шкворень.

Несчастные бог весть как собрались с силами, вымыли у реки опустевшую орбиту выбитого глаза Дон-Кихота,

подвязали изорванные мочалы упряжи и на трех колесах, при содействии деревянного шкворня, дотащились до Протозанова, где в незаметности остались ожидать, не станут ли их разыскивать.

Мужики, с которыми происходил этот последний бой, были, однако, не из сутяжливых: они, покончив дело своею расправой, ничего более не искали, и Дон-Кихот, успокоясь на этот счет и поправясь в силах и здоровье, теперь опять уже расправлял свои крылья и, нося руки фертом, водил во все стороны носом по воздуху, чтобы почуять: не несет ли откуда-нибудь обидою, за которую ему с кем-нибудь надо переведаться.

В это-то самое время у бабушкиного крыльца и застучали колеса кареты петербургского графа.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Княгиня обедала по-деревенски, довольно рано, в два часа. Не изменяя для архиерея своего места в церкви, она, разумеется, не нарушала и порядков своего дома ни для какого гостя. Званый гость ожидался сверх положения четверть часа, и если он в течение этой четверти часа не приезжал, то стол начинался. Гость, опоздавший и приехавший во время обеда, имел неудовольствие получать все блюда с начала и видеть, как все ради его одного сидят и ожидают, пока он вступит в очередь. Это было ему наказание за неаккуратность.

Губернатору и графу Функендорфу угрожало то же самое: в зале пробило уже два часа, а они еще не жаловали. Обладавшие аппетитом гости напрасно похаживали около окон и посматривали на открытую дорогу, на которой должен был показаться экипаж, — однако его не было. Проходила уже и отсроченная четверть часа, и княгиня готовилась привстать и подать руку Рогожину, который имел привилегию водить бабушку к столу, как вдруг кто-то крикнул: «Едут!»

Все сунулись к окнам, разумеется все, кроме княгини; бабушка, конечно, не тронулась; она сидела в углу дивана за круглым столом и удержала при себе Марью Николаевну. Любопытство княгини ограничива-

лось только тем, что она со своего места спросила глядевших в окно:

— Как они?

Ей отвечали:

— В четвероместной карете, ваше сиятельство.

— Гм... в четвероместной?

— Да-с, четвероместной, ваше сиятельство.

— Гм... Патрикей, слышишь! сообрази сервиз.

Патрикей поклонился и вышел прибавить сервиза; а в это время с наблюдательного поста, откуда видно было, как приезжие высаживались, подан голос, что приезжих только трое, а не четверо, и все мужчины.

— Кто же третий?.. молодой кто-нибудь... Верно, секретарек при нем?

— Нет-с, не секретарек, а это... это Иван Петрович Павлыганьев.

Бабушка наморщила лоб и переспросила:

— Кто-о?

— Павлыганьев!.. предводитель Павлыганьев!

— Быть этого не может!

— Он-с.

— Кто же у них на передней лавке сидел?

— Да он и сидел, — отвечал Дон-Кихот.

— Что ты, батюшка, вздор говоришь.

— Нет-с, не вздор, я сам видел, как карету открыли!

И Рогожин круто повернулся на каблуке и, сделав княгине гримасу и укоризненный жест рукою, прошипел с пеной у рта:

— А это всё вы-с!

— Ну, оставь это покамест, — отвечала бабушка, но Дон-Кихот был не в расположении оставлять и настойчиво продолжал:

— Вы его советовали выбрать!

— Доримедонт Васильич, умилосердись же, ради бога, оставь! Я, так и я: ведь не прежде холмов я создана и могу ошибаться, но не время теперь об этом говорить, когда люди входят.

Они действительно входили. В зале уже слышались шаги и сухой, немножко недовольный кашель, очевидно исходивший от лица, которому желалось бы, чтоб его встретили.

Дьяконица Марья Николаевна уже начала приседать и подпрыгивать, а бабушка с Дон-Кихотом перекинулась последними летучими фразами.

Она шептала:

— Бога ради, оставь!

А он отвечал:

— Ну уже это извините-с: не покорюсь!

— Прошу тебя, Доримедонт Васильич! — и бабушка, не докончив последней фразы, перевела глаза с Дон-Кихота на двери, в которые входили гусем: губернатор, за ним высокий, плотно выбритый бело-розовый граф, с орденскою звездой на фраке, и за ним опять последним Павлыганьев.

При появлении этой добродушной толстой фигуры Дон-Кихот громко щелкнул каблуками и повернулся к нему спиной... Бабушка теперь уже не могла усмирять расходившегося дворянина: она выслушивала, как губернатор репрезентовал ей заезжего гостя и потом как сам гость, на особом французском наречии, на котором говорят немцы, сказал княгине очень хитро обдуманное приветствие с комплиментами ее уму, сердцу и значению.

Все это было не в ее вкусе, но она смолчала и пригласила гостей присесть на минуту, а потом сейчас же почти встала и, подав руку графу, отправилась к столу.

В этой спешности проминули все опасности со стороны Марьи Николаевны, которая по этому случаю была очень счастлива и, подхватив под руку Дон-Кихота, просила его:

— Батюшка Доримедонт Васильич, усади ты меня, голубчик, так, чтобы меня не видно было, если он по-французски заговорит... А то я, ей-богу, со страху «вуй» [1] отвечу.

— Не бойтесь! — отвечал Рогожин, становясь с Марьей Николаевной в самую последнюю пару, и, усадив ее за столом ниже большой соли и заслонив своим локтем, добавил ей:

— Но если непременно захотите по-французски отвечать, то не забудьте, что надо сказать не просто «вуй», а «вуй, мусье».

— Это я выговорю, — ответила, успокоясь, Марья Николаевна; но только оказалось, что все ее беспокойство

---

[1] Да (*франц.* — oui).

было совсем напрасно: граф был сильно занят разговором с княгинею, которая его слушала с очевидным вниманием и, по-видимому, не обращала ни на что более внимания. Но это только так казалось, потому что когда Рогожин спросил предводителя: не было ли ему беспокойно ехать в карете на передней лавочке, а тот ему ответил, что это случилось по необходимости, потому что его экипаж дорогою сломался, то княгиня послала Дон-Кихоту взгляд, который тот должен был понять как укоризну за свое скорое суждение.

Обед кончился благополучно: гость был разговорчив; бабушка внимательно его слушала. В словах его для княгини было много любопытного, она опознавала по ним знамения времени и духа общества в столице, в которую снаряжалась. Вопросами дня тогда был чугуевский бунт: казаки не хотели быть уланами и на все делаемые им убеждения отвечали, что они «воле правительства подчиняются, но своего желания не имеют». Из этого был сделан бунт. Газет тогда по деревням мало получали, но о чугуевском деле в Протозанове знали по слухам, и когда были новые слухи, ими особенно интересовались. Граф же был близок к источникам всех новостей и рассказал об ужасах усмирения, но не так подробно, как знал об этом Рогожин и как он рассказал уже ранее. Бабушка это заметила и, почесав своим белым пальцем левую бровь, молвила:

— Мы как-то немножко иначе про это слышали.

— А как же вы слышали?

Княгиня посмотрела из-под руки на Дон-Кихота и мягко проговорила:

— Говорят, Аракчеев с Клейнмихелем из Харькова совсем без сердец прикатили...

— Знаете, ваше сиятельство... здесь нельзя было спрашивать сердце!

— Спрашивать сердце всегда и везде должно.

— Это как судить...

— Как судить?.. помилуйте: сорок гробов перед экзекуциею на площади было поставлено... Разве это в христианской земле так можно?

Граф молчал.

— А скажите: правда ли, будто одна казачка, у которой двух сыновей насмерть засекли...

— Подвела внучат?
— Да, будто она еще подвела внучат?
— Правда; ужасное упорство!
— И так им и сказала: «Учитесь, хлопцы, умирать как ваши батьки»?
— Этими самыми словами.
— И ее взяли?
— Вероятно.
— А что с нею сделали?
— Этого, право, не знаю.
Бабушка задумалась и потом вздохнула и, во всю грудь положив на себя широкий крест, произнесла:
— Упокой, господи, бедных рабов твоих, а нам прости, как мы это сносим.
Граф, по-видимому, удивлялся: молитвенное воззвание княгини его смущало: он, очевидно, недоумевал, коего духа эта странная вдовица; а она продолжала:
— Грустно это, граф... Безбожное дело сделалось! люди были верные, семь лет назад все на видную смерть шли. Не избыть срама тем, кем не по истине это дело государю представлено.
— Сам граф представлял.
— Аракчеева не сужу, но опасаюсь, что чрез это неблагодарностью родину клепать станут, а чрез то верных род ослабеет, а лицемерные искательства возвысятся. Хотелось бы хвалить тех, кто, у престола стоя, правду говорить не разучился.
Графу это показалось положительно грубым и неуместным, и он, отведя княгиню из-за стола на ее обычное место в гостиной, хотел дать этому разговору другое направление. Он указал, что истинной верности, как хочет княгиня, можно ждать только от родовой аристократии.
Бабушку это кольнуло: она терпеть не могла этого новомодного тогда у нас слова, под которым, по ее своеобразным понятиям, пробирался в русское общество самый пустой и вредный вздор, в целях достижения которого затевали майораты.
— Что это за *аристократия?* Где эта аристократия? Никакой этой пустой затеи у нас в России не было и нет, да и быть не должно.
— Почему же вы так говорите? — спросил несколько сконфуженный граф.

— Говорю так потому, что так думаю, а думаю так потому, что на свою русскую природу надеюсь, ибо доброю ее почитаю и знаю, что русский человек никогда того не захочет, чтобы всех детей для одного заделить. Петр Первый этого желал и не достиг — будто как сам бог этому противился: кто заведет майорат, глядишь, и род вымирает; ясно господь глаголет: сие ему неугодное и нам не нужно. У нас есть *знать,* именитые роды, от знатных дел и услуг предков государству прославившиеся; вот это помнить надо, а у нас родовое-то все с Петра раскрадено да в посмех дано. Дворянство через то страдает, что прибыльщики да компанейщики не за заслуги в дворяне попадать стали, а за прислужничество; старая же знать, мало честь соблюдая, с ними мешалась. Толстой, да Меншиков, да Шафиров всем путь показали к барышничеству. Меншикову да Шафирову это не диво — оба выскочки, а Толстому стыд. Да и сам Таврический через подставных людей в откупах участвовал, а Соловой уже и прямо открыто в это дело сунулся, да за собой повел и Юрия Долгорукого и Гагарина с Куракиным. Не погнушались заодно идти с Походяшевыми, Хлюстиными, Ворожейкиными да Кондолинцевыми. И довели дело до такой наглости, что через них купец Курчанинов дерзнул правительству предложение сделать пятьдесят миллионов прирастить, чтоб ему бороды на откуп дали. Позье бриллиантщик всем, кто к нему цугом приезжал, отказывал, потому что брали, да и не платили; а Иван Васильич, князь Одоевский, тайный советник был и вотчинной коллегии президент, а до того замотался, что всех крестьян продал: крепостных музыкантов играть по дворам посылал и тем жил, а потом и этих своих кормильцев продал да стал с карточных столов деньги красть... Не раз бит... Рюриков-то потомок: помилуйте, какую отсель теперь аристократию выводить! Нет, нам эта багатель не к прибыли: нам надо помнить, что горе тому, у кого имя важнее дел его...

— Во всяком случае, — заметил граф, — как ни плохи иные отдельные лица, а поместное дворянство все-таки вечная сила...

— Нет, не вечная, — отвечала княгиня.— Что тут вечного: зрячий да слабый на слепого да сильного сел, да и едет. Наше крепостное владение — это слепой безногого

возит. Это не вечно так будет: слепой прозрит, а зрячий совсем расслабнет, если раньше на своих ногах идти не научится... Говорят, будто правнук Головина хочет свое имение Воротынец в лотерею разыгрывать?

— Это верно.

— Господи боже мой!.. Этакого срама на Руси еще не было... Пять тысяч живых людей в лотерею пустить!

Граф уже глядел на пессимистку скучным и утомленным взглядом и, не зная, куда с ней далее повернуть, молвил:

— Вы мнительны, княгиня: в России есть прекрасные дворяне!

— Есть, — отвечала бабушка, — и я сама имею счастие многих знать с духом и с благородным сердцем, но только все они вроссыпь приходят... Склейки нет, без призвания к делу наша дворянская сила в пустоцвет идет, а заботливые люди чудаками кажутся. Вон у меня человека видите... вон тот, что у окна с предводителем стоит разговаривает... Рогожин, бедный дворянин, весьма замечательный.

— Это вон тот... рыжий, кривой, в куртке?

— Да; это у него костюм такой... Он весь оригинальный: сам золотой, а глаза были изумрудные, — теперь один остался, но он очень благороден и в чудака обратился.

— Как он худ, точно meurt de faim.[1]

— Да, все с ним бывает, — отвечала бабушка, — он и голодает подчас и в горах, вертепах и в пропастях скрывается, а все в себе настоящий благородный дух бережет. Это, что я вам о захудавшей нашей знати сказала, я себе не приписываю: это я все от него знаю. Это он всё нам все эти сказания проповедует... Стыдит нас.

— С какою же целию он все это рассказывает?

— Всё заботится, чтобы «дух благородства поддержать от захудания». Надеется, видно! Я ведь вам самую малую часть его слов привела, а он ужасно много знает. Я его так и называю *свиток*. Он скручен весь, а если его раскатать, то я и не знаю, как он обширен будет! Мне кажется, один своим благородством удивить свет может. Все в нем писано: и великие дела для возбужде-

---

[1] Умирает с голода (*франц.*).

ния духа, и позорное слово для угрожения, и мои беззакония тоже в нем заключаются.

— Ваши беззакония! — произнес с улыбкой граф. — Это интересно: я думаю, это белая строка в свитке.

— Не скажите. Ведь я его постоянно прячу и от властей скрываю... это беззаконие.

Граф полюбопытствовал, как и отчего княгиня укрывает Дон-Кихота, а бабушка ему все это рассказала и тем до того оживила беседу, что граф начал смеяться, и шутить, и повторять рогожинское присловье: «перервать можно, а вывернуть нельзя».

— Да вам не угодно ли с ним немножко сблизиться и поговорить? Он очень интересен, — проговорила княгиня и, получив от графа звук вроде и да и нет, возвысила голос и позвала:

— Доримедонт Васильич! смею тебя побеспокоить на минутку?

Рогожин бросил предводителя и, подойдя к княгине, щелкнул, по своему обычаю, каблуком и уставил на нее свой изумрудный глаз.

— Вот, друг мой, граф желает с вами познакомиться, — и, обратясь затем к графу, она добавила: — имею честь представить вашему сиятельству, Доримедонт Васильич Рогожин, и добрый и честный дворянин, каких...

Но, не договорив этого слова, княгиня вдруг побледнела и сдвинула брови, заметив, что граф подал Рогожину два пальца.

Она была обижена за Рогожина и боялась, что тот вспылит; но Рогожин ее успокоил:

— Не обижайтесь, княгиня, — сказал он, — я бедный человек, мне его ни одного пальца не нужно. Пусть Павлыганьеву целую руку даст, тот его в собрание на обед позовет. Поезжайте, граф, меня там не будет.

Этой непредвиденной сцены никто не умел передать во всех подробностях, и я передаю ее вкратце. Знаю только, что все это случилось так, как никто не хотел и не думал. Граф действительно ехал с тем, чтобы проследить тропу к бабушкиному сердцу и состоянию; чутье княгини не ошибалось: он хотел искать ее руки; конечно, желал быть вежлив, но меж тем неожиданно обидел Рогожина и сам обиделся. Княгиня, считая графа случайным посетителем, всемерно решилась при нем себя сдерживать, чтобы

не нажить врага для своей местности, и между тем не сдержалась; Рогожин тоже сделал то, чего совсем не ожидал: он хотел терзать предводителя и, отозванный бабушкой от этой работы, сорвал все зло на графе.

Словом, тут надо всеми было какое-то одержание: точно какой-то дух бурен слетел и все возмутил и все перепутал, так что никто в своем поведении не узнавал своих планов и намерений. Все до того перебуровилось, что предводитель, для которого был подан особый дормез, бросил туда одну шинель, а сам опять сел на передней лавочке, и когда граф говорил: «Это нельзя; это невозможная женщина!», то предводитель с губернатором наперерыв отвечали:

— Мы очень рады, что вы сами ее изволили видеть.

Граф тем развлек тяжесть мыслей, что стал выспрашивать губернатора насчет этого «бродяги с зеленым глазом», который так дерзко с ним обошелся. Что касается княгини, то за нее граф еще не знал, как взяться. Он имел на нее планы, при которых вредить ей не было для него выгодно: довольно было дать ей почувствовать, что сила не на ее стороне, но это гораздо благонадежнее было сделать не здесь, где она вокруг обросла на родных пажитях, а там, в Петербурге, где за ней стать будет некому.

И он не ошибался в расчете и еще раз сумел подхвалить себя за сдержанность, когда в день обеда, назначенного в его честь в дворянском собрании, туда явились только одни чиновники и самая незначительная часть дворян.

Граф слышал, как смущенный губернатор подлетел к предводителю с вопросом:

— Где же остальные?

А предводитель ему отвечал:

— У Варвары Никаноровны на прощальном обеде.

После этого губернатор напрасно тщился попасть в тон к графу. Но граф счел себя положительно обиженным и уехал, не видавшись ни с кем из ухаживавших за ним сановников. Он их считал достойными большего наказания, чем самоё княгиню, которая ему стала даже серьезно нравиться, как Гаральду презиравшая его русская дева.

Он рассчитывал стрелять по княгине из-за большой башни; а если ему и оттоле не удастся ее одолеть, то все-таки не отступить от намерения — соединить протозановские межи со своими по другому способу.

Между тем все эти последние истории продолжали быть обдержаниями или напастями невольными: так, прощальный обед, которым княгиня отвлекла почти всех дворян от обеда, данного в пустой зале собрания графу, вовсе не был ею рассчитан на какую-нибудь обиду, а совпал с этим обстоятельством совершенно случайно, или уже после того действительно нет на свете никаких случаев, а есть на все только одна неисповедимая воля, без которой не падает ни волос с головы, ни воробей с кровли.

Бабушка по крайней мере верила так и во всех случайностях видела не то напоминания, не то предуготовления к чему-то большему. Совершая путь свой в Петербург, она часто повторяла в мыслях:

«Готово сердце мое, боже, готово!»

Княгиня уехала в Петербург с маленькими детьми, с Ольгою Федотовною и с Патрикеем. Дети и Ольга помещались вместе с бабушкою в карете, а Патрикей в устроенной сзади откидной коляске, где ему было очень покойно и откуда он с высоты мог далеко вперед видеть дорогу и наблюдать за форейтором и за кучером. Они приехали так скоро, как только тогда было можно. В Протозаново от них никаких вестей еще не приходило.

Рогожин, по отъезде бабушки, заехал домой и сидел однажды у себя в сенном чулане и в одно и то же время читал какую-то книгу, ел квас со свеклою и бил ложкою по лбам налезавших на него со всех сторон ребят. В это самое время пред открытыми дверями его сеней остановилась вскачь прибежавшая лошадь, и с нее спрыгнул посол из Протозанова.

Рогожин узнал известного ему верхового мальчика и вскричал:

— Пхэ! Что у вас, мальчуган?

— У нас ничего-с, а у вас худо, — отвечал бойкий мальчик.

— Ну!

Мальчишка, комкая шапку, подошел к самому плечу Дон-Кихота и, оглянувшись, вдруг прошептал:

— Господа приехали...

— Какие господа?

— Лихо их знает... чиновники...

— Ну, ты, дурак, вперед знай, что чиновники не господа, а что дальше — сказывай.

— Вас ищут... Управитель шибко скакать велел.

Дон-Кихот стоял и соображал: этого еще никогда не было, чтоб его смели искать в княгинином доме... Он видел в этом новость, в которой обсуждал не свое положение, а то, какое значение имеет это по отношению к Варваре Никаноровне. Пользуются ли тем, что ее дома нет, или уже отныне и ее не боятся и не уважают по-прежнему? Откуда это?.. Конечно, не от здешних: у них на это еще не хватило бы смелости... Нет; это оттуда, где она сама теперь... одна...

Рогожин, в половине этого размышления, завел палец в рот и, все туже и туже натягивая им свою щеку, при последней мысли вдруг хлопнул на воздух и в ту же минуту заорал:

— Эй! Зинобей!

Двужильные одры в лыке и мочале и Зинка в конопляном шлыке выросли как по мановению.

Дон-Кихот вскочил в экипаж и скомандовал:

— В Петербург!

Зинка хотя не знал этой дороги, но задергал и завизжал:

— Ну, караси! подергивай-ка-си!

Через три недели одры стояли у Московской заставы в Петербурге, а Дон-Кихот, высунувшись из кибитки, одною рукой заслонял какую-то пыльную кутафью, а другою, опираясь на Зинку, громко орал:

— Солдат! а солдат! где здесь Мойка?

Проходивший солдат рассказал ему, где Мойка, и Зинка опять запрял вожжами.

Одры неслись тем же аллюром, точно не они сделали в эти дни целые полторы тысячи верст.

Через час они проскакали мимо каменных львов в ворота протозановского дома и остановились у широкого, выпуклого полукруглого подъезда.

Дон-Кихот выскочил и потащил за собою пыльную кутафью, в которой теперь не трудно было узнать дьяконицу Марью Николаевну.

В минуты приезда неожиданных гостей княгиня только что вернулась из института, где на другой день назначен был выпуск, и находилась в неприятном волнении. Она

встретила друзей с изумлением, и ее первым к ним словом был вопрос:

— Что с вами? Или вы погорели?

— Нет, — отвечала Марья Николаевна, — ничего... — И она, показав на Рогожина, докончила: — Он прискакал... ночью... на огород вызвал... говорит: «Княгине не беспечно: поедем». Я и поехала.

Дон-Кихот даже и этого не говорил. Он ничего не объяснял; весь серый под густым слоем насевшей на него пыли, он в подозрительном молчании обходил залу и засматривал по всем углам и заглядывал за двери, точно искал везде скрытых злодеев.

Бабушка посмотрела на него и, улыбнувшись, сказала:

— Ну, довольно тебе, перестань основу сновать: тут и так все вокруг ходит. Патрикей! ступай с ним сейчас в баню да вели, пожалуйста, чтоб ему усы расчесали и уши хорошенько мылом вымыли. Да поди-ка сюда на минутку ко мне.

Вызвав Патрикея в другую комнату, княгиня добавила свое приказание:

— Сейчас купи ему платье, чтобы хорошее, но в его вкусе, а это вели у него в бане украсть.

Патрикей все это аккуратно сделал, и через час Дон-Кихот возвратился чисто вымытый и переодетый в бархатный колет с прочими соответственными деталями и в щегольских сапогах с раструбами.

— Вот как тебя здесь сразу выворотили! — похвалила его княгиня.

— Престранный случай! — отвечал Дон-Кихот, — меня обокрали!

— Тут это вдруг! впрочем, и это платье в твоем вкусе.

— Да; оно ничего, — отвечал Дон-Кихот.

И, став перед цельным зеркалом посреди комнаты, он начал поворачиваться в своем новом костюме, любуясь собою сам и заставляя любоваться исподтишка улыбавшихся над ним княгиню, дьяконицу, Ольгу Федотовну и Патрикея...

Это была живая картина к той сказке и присказке: полусумасшедший кривой дворянин, важно позирующий в пышном уборе из костюмерной лавки, а вокруг его умная, но своенравная княгиня да два смертно ей преданные верные слуги и друг с сельской поповки. Это собра-

лась на чужине она, отходящая, самодумная Русь; а там, за стенами дома, катилась и гремела другая жизнь, новая, оторванная от домашних преданий: люди иные, на которых страна смотрела еще, как удивленная курица смотрит на выведенных ею утят.

СТАРОЕ СТАРИТСЯ — МОЛОДОЕ РАСТЕТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В моей хронике, к сожалению, неизбежны некоторые пробелы, особенно в том ее периоде, к которому я приступаю. В объяснение причины многих происшествий этой поры я не имею точных указаний и могу судить о них только по соображениям и догадкам. Впрочем, я так близко знаю тех, о ком говорю, что не могу сделать грубых промахов в моем рассказе, который буду продолжать с того, как повела себя княгиня Варвара Никаноровна в Петербурге, где мы ее оставили в конце первой части моей хроники, любующеюся преобразованным по ее мысли Дон-Кихотом Рогожиным.

Напомню опять, что это было накануне дня, когда бабушка должна была принять из рук институтских воспитателей свою дочь, княжну Анастасию, с которою, как я уже прежде рассказала, взаимные отношения их были несколько расхоложены сначала взаимным отчуждением и отвычкою, а потом пренебрежительным обхождением княжны с людьми, которых посылала к ней мать.

Княгиня переживала в это время самые тяжелые ощущения: горячая душа ее не могла не мучиться от сознания, что она мало любит дочь или по крайней мере не любит ее, сколько бы хотела. Но любовь, как известно, дается и приемлется туне, и если ее нет, то ее взять негде. Впрочем, я уверена, что скорбь эта была напрасна: бабушка себе сочинила, что она мало любит свою дочь, а на самом деле было иначе. Но как бы это ни было, ожидая дочь, княгиня постоянно находилась в муках недовольства собою и во все это время была мрачна и, против своего обыкновения,

даже настолько неприветлива, что не обратила на дьяконицу и Дон-Кихота того внимания, каким эти люди у нее всегда пользовались и на которое они, как надо бы думать, получили еще более права после нового оригинального доказательства своей безграничной ей преданности. Варвара Никаноровна умела ценить эти вещи, но на сей раз не оценила: недовольная самою собою княгиня ограничилась тем, что, полюбовавшись преобразованным Дон-Кихотом, отослала гостей отдыхать в назначенные им комнаты, а сама опять предалась заботам о приготовлении дома ко встрече княжны. Эти хлопоты начались давно, но им не было конца и к самому последнему дню; княгине беспрестанно мерещилось, что она *мало любит дочь,* и, мучимая этим призраком своего воображения, она всячески старалась заменить укоряющий ее недостаток любви заботливостью о благе и внешнем счастии дочери. Она хотела окружить княжну самою нежною заботливостью и внешними ласками. Ольга Федотовна говорила, что бабушка целые дни была на ногах, а если садилась на минутку, то сейчас же задумывалась и потом тревожно спрашивала:

— Ольга!.. хорошо ли?.. ты смотри, чтоб ей не показалось, что мы ее мало любим...

И княгиня опять стояла у всякого обойного шнура, у каждого гвоздика и все применяла на свой глаз, все пробовала своею рукой. В старинном доме, полном богатой утвари екатерининского времени, несколько комнат было отделано заново: покои, назначенные для княжны, были убраны скромно, как княгиня находила приличным для молодой девушки, но все это было сделано изящно и в тогдашнем новом вкусе: светлый девственный, собранный в буфы, ситец заменил здесь прежний тяжелый штоф, который сняли и снесли в кладовые; масляные картины известных старинных мастеров, но несколько пластических сюжетов, тоже были убраны и заменены дорогими гравюрами и акватинтами в легких рамах черного дерева с французскою бронзой; старинные тяжелые золоченые кронштейны уступили свое место другим, легким и веселым, из севрского фарфора; вместо золоченого обруча с купидонами, который спускался с потолка и в который вставлялись свечи, повесили дорогую саксонскую люстру с прекрасно выполненными из фарфора гирляндами пестрых

цветов. Словом, все обновили, даже массивный киот с дорогими отеческими иконами был перенесен в собственные бабушкины покои и заменен простым, хотя очень дорогим распятием из черного дерева и слоновой кости. Оно было повешено в слегка драпированной нише и, освещенное бледно-зеленою лампадой, напоминало о себе слегка и не сразу. Словом, все было приготовлено так, как наиболее могло нравиться девушке, получившей совсем новое воспитание и усвоившей вкус и привычки совсем не те, какие имела ее мать. Нет сомнения, что если бы княгиню не томила мысль, что она мало любит дочь, то она встретила бы княжну гораздо проще и не заботилась бы так много о всех мелочах, которые не имеют особой цены при большом благе, даруемом любовью. Но и этого мало: не зная, чем себя успокоить, княгиня готова была для дочери и на жертвы, она старалась подавить в себе многие свои привычки и, даже преодолев все свое отвращение от столичной жизни, решилась не уезжать в Протозаново, а жить в Петербурге. Кто помнит, как сильна была в ней привычка к деревне, тот должен сознаться, что эта женщина умела себя переламывать. Но это даже была не ломка, а что-то гораздо большее: на участливый вопрос дьяконицы, где думает княгиня жить и когда возвратится в Протозаново, бабушка отвечала:

— Бог весть, я ничего не знаю... Это все будет, как Настенька захочет.

Из этого ответа можно было заключить, что княгиня как бы находила удовольствие подчинять обстоятельства желаниям дочери. Вечером, накануне приезда дочери, княгиня даже обратилась за столом к Патрикею, чтоб он простил княжне Анастасии, что она была к нему когда-то невежлива.

Старый слуга сконфузился и сквозь слезы ответил:

— Матушка, ваше сиятельство, помилуйте!..

— То-то: она тогда была молода...

И затем было в этом же роде слово к Рогожину:

— Благодарю тебя, Доримедонт Васильич, что ты не утерпел и прилетел сюда навестить меня вдалеке от гнезда, но здесь, сделай милость... Завтра моя дочь приедет: она, может быть, и не так проста, как мы с тобой, ты не ставь ее всякое лычко в строчку...

— Понимаю, — отвечал Рогожин.

— Если тебе что в моей дочери не понравится, сделай милость, снеси или прежде мне скажи.

— Да и говорить не стану, я и так снесу, — отвечал Рогожин.

— Благодарю тебя, ей надо снисходить — ведь она мало людей видела.

— Ну да, разумеется; вы не беспокойтесь, я не обижусь.

Только Ольге да Марье Николаевне не было никаких предупреждений — на них, верно, и без того полагались.

И вот после всех этих предуготовлений и предуведомлений совершился вход княжны Анастасии в родительский дом, где ее ожидала такая заботливая нежность и старание забыть прошлое и любить ее как можно более. Ольга Федотовна никогда не хотела распространяться о том, как это было.

— Привезли, — говорила она, — как должно, княжну в карете, на крыльце ее свои люди встретили, а в зале их обеих священник благословил, и только тем княжна немножко в этот день себя сконфузила, что спросила. Доримедонта Васильича, какие он штуки умеет представлять? Однако и это обошлось хорошо: он свое слово княгине сдержал и не обиделся, а взял да ей на картах два фокуса показал, а потом кольцо с завязанного шнурка спустил, а после ей княгиня рассказала, что это, говорит, мой друг, дворянин и очень благородный, а совсем не фокусник.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Решаясь не увозить только что взятую из института дочь в деревню, княгиня должна была сделать с княжною несколько визитов двоюродным сестрам своего покойного мужа и некоторым его старым светским приятелям, — те в свою очередь, разумеется, отдали бабушке эти визиты, и реставрированные таким образом знакомства в самое короткое время поставили ее дом на полуоткрытую ногу. Вначале круг этот был довольно ограничен, но одно обстоятельство его скоро раздвинуло далеко за те пределы, которых предпочитала держаться княгиня Варвара Никаноровна.

На институток тогда существовал взгляд далеко не похожий на нынешний: их считали девицами блестяще образованными и носились с ними как невесть с какими знаменитостями. Вследствие этого явилась затея списать с некоторых девиц того выпуска, к которому принадлежала княжна, большие портреты масляными красками. Это предположено было исполнить очень пышно и затейливо: портреты должны были служить вместо картин, которыми предполагалось украсить одну из зал покровительницы заведения. Портреты было поручено сделать известному автору *Мариулы*, изящному Кипренскому. Этот превосходный художник тогда был в большой моде и горячее чем когда-нибудь преследовал свою мысль для полного выражения жизни в портретах писать их с такою законченностью, чтобы в тщательной отделке совсем скрывать движения кисти и сливать колера красок в неуловимые переходы. Молодые лица девиц как нельзя более отвечали этой задаче, и художник взялся за эту работу со всею отличавшею его страстностью. Прежде чем начались сеансы, Кипренскому предстояло обдумать план, как выгоднее разместить изображения девиц на нескольких полотнах. Это надо было расположить сообразно их наружности и условиям искусства. Некоторых девиц предполагалось изобразить по одной, каждую порознь, а других, для придания картинам большего разнообразия, нарисовать в группах. Для того чтобы художник мог удобнее сообразить, как ему распорядиться, девиц свозили вместе в один из больших домов, где им были, так сказать, художественные смотрины, обратившиеся в своего рода довольно изящное торжество. Девицы съезжались в сопровождении своих матерей, из которых многие и сами тогда еще были довольно молоды и все принадлежали к тогдашнему большому свету. Два поколения женщин, из которых одни еще не отжили, а другие только начинали жить; роскошные туалеты первых и легкие девственные уборы вторых; богатый зал и таинственные боковые покои, где нарочно на этот случай привезенные гардеробные служанки производили, по требованиям художника, необходимые перемены в нарядах молодых красавиц, — все это придавало собранию самый живой и интересный характер. Подрумяненный, в пышной куафюре, Кипренский распоряжался всем не без аффектации, и многие сановные

и важные лица в лентах и звездах искали у него чести попасть на эти смотрины. Кипренский был скуп на раздачу этих дозволений, но граф Функендорф, знавший еще отца портретиста, крепостного человека Адама Швальбе, находился здесь в числе избранных.

Бабушка, разумеется, тоже была на этих собраниях с дочерью и с Ольгою Федотовной, которая находилась в гардеробных комнатах. Результатом первого же из этих съездов было то, что княгиня совсем против желания попала в очень большой круг знакомств, имевших то необыкновенное начало, что здесь не родители знакомили детей, а дети сводили и сближали своих родителей.

Благодаря всему этому княгиня Варвара Никаноровна не успела оглянуться, как опять очутилась *в свете*. Свет, однако, как и можно было ожидать, бабушке не показался: с тех пор как она его оставила, свет успел несколько измениться, и, вероятно, не совсем к лучшему. По крайней мере так казалось Варваре Никаноровне. Княгине, разумеется, прежде всего не нравилось, что люди из общества ревниво особились от всего остального мира и старались как можно менее походить на русских.

— Это дело самое глупое, — говорила княгиня, — через этакое легкомыслие Нащокин при Алексее Михайловиче сам своего сына с толку сбил и Салтыковых дети ополячились. Надо свой обычай уважать и подражать не всему, а только хорошему.

Не нравилась княгине и тогдашняя воинственная заносчивость, рядом с которой и даже неразлучно с нею шло раболепство пред Аракчеевым, не нравились ей и узкие патриоты и тогдашние космополиты.

Не могли не занимать княгиню и явления религиозного свойства, которых тогда было немало. Тогдашнее высшее русское общество не равнодушествовало к религиозным вопросам, и они подвергались разбору по большей части или под влиянием французского вольтерианизма, или под веянием мистических теорий и масонства. Обсуждением самых серьезных вопросов, требовавших глубины христианского настроения и преданности делу, занимались люди самого легкого светского воспитания, и оттого неудивительно, что в результате из школы поклонников Фернейского пустынника распространялся материализм, щеголявший одними фразами, а наши франкмасоны во всем своем

учении не видали ничего, кроме обрядов, из которых устраивали свою «высшую религию», на что, как известно, настоящее масонство вовсе не претендовало. Иных отношений к религии не понимали.

О вольтерианцах бабушка не полагала никакого своего мнения, потому что неверующие, по ее понятиям, были люди, «у которых смысл жизни потерян», но и масонов она не жаловала, с той точки зрения, чего-де они всё секретничают? Если они любовь к ближнему имеют, так это дело не запретное: вынь из кармана, подай да иди с богом своею дорогой — вот было ее нехитрое правило.

Но всего более не нравилось княгине любопытство, с которым мистики старались засматривать за завесы великих тайн: бабушка и не верила, что они там что-нибудь видят, и сердилась.

— Можно ли-де об этом говорить? Что там от наших глаз спрятано, того не увидишь, да и не нужно: пока я в этом мире человеком живу, мне дана заповедь, как жить, а что после будет, то никому не известно. Одно полагаю, кто, человеком бывши, своего достоинства не сбережет, того хоть и ангелом сделай, он и ангельское потеряет.

Был в то время в Петербурге еще один кружок с религиозным же настроением в самом узком смысле: люди этого кружка не имели радений и не обнаруживали прозелитизма, а имели у себя «благодетельницу», к которой ревновали всех. Благодетельница эта была старая девица, графиня Антонида Петровна Хотетова, она доводилась Протозановым сродни, и бабушка ее знала и не любила. Хотетова, набожность которой развилась под влиянием одного тяжелого семейного воспоминания, любила казаться отчужденною от всех дел мира, в которых она, как говорили, ничего не понимает. Она только ездила по монастырям, на которые и тратила свое почти, можно сказать, несметное богатство. Ею было восстановлено множество обедневших обителей; много мощей ее средствами были переложены из скромных деревянных гробниц в дорогие серебряные раки, и в этом, кажется, и заключалась вся ее христианская добродетель. Живому, деятельному христианскому духу бабушки этот способ благотворения не казался наилучшим, тем более что, будучи соседкою по имениям с Хотетовою, княгиня знала, что хотетовские крестьяне находятся в большом разорении.

Бабушка находила, что «это ни с чем не сообразно», и избегала встречи с этою своею родственницей.

— Бог с ней, — рассуждала она, — она, говорят, святая, а я сама знаю, что я грешная и нетерпеливая, встречусь, чего доброго, не вытерплю и про крестьян заговорю, потому что гробы серебрить, а живых морить — это безбожно.

Но графиня Антонида, долго ждав бабушкиного визита, вдруг возымела побуждение смирить себя пред невежливою родственницей до уничижения. Она прислала к бабушке одну из своих адъютантш в карете с просьбою отпустить к ней для свидания княжну Анастасию, или, если ей в этом будет отказано, то назначить ей время, когда она сама может приехать повидаться с племянницею.

Бабушка поняла соль этой выходки, в которой под видом смирения ей преподавался урок вежливости, она отослала карету назад и приказала сказать графине, что сама привезет к ней дочь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

На другой день это было исполнено: княжна с матерью была у Хотетовой, и визит обошелся благополучно, если не считать, что на ежечасные повторения Хотетовой княжне совета «помнить бога и молиться ему» бабушка добавляла свои советы любить ближнего, быть готовым на помощь всякому требующему помощи, не гордиться, не чваниться, не превозноситься в благоприятных обстоятельствах и не падать духом в противных.

— Без добрых дел и молитва не пользует.

— Мы здесь на земле путешественники, — внушала графиня, — и живем не для наслаждений, надо себя уметь сдерживать, поститься.

— Да, — поддерживала бабушка, — умеренность большое дело: всего и счастлив только один умеренный, но надо не от мяса одного удерживаться. Это пост для глаз человеческих, а души он не пользует: лошади никогда мяса не едят, а всё как они скоты, то скотами и остаются; а надо во всем быть умеренною и свою нетерпеливость

и другие страсти на сердце своем приносить во всесожжение богу, а притом, самое главное, о других помнить.

— О храме божием... чтобы благолепие дух возбуждало; а то мужик в своей курной избе, он весь в грязи тонет. Надо его хоть на один час в неделю от этого оторвать. Это наша обязанность.

— О людях нуждающихся... да; это даже наша первая обязанность; Христос обещал не забыть чашу студеной воды, которую подадим, кому надо уста промочить. А Дмитрий Ростовский на жен-мироносиц всем вельможам прямо в глаза сказал, что у нас в знатных людях не найти Христа, а бедному, за нуждою тяжкою, про него совсем и вспомнить некогда. Надо бедным тяготы посбавить, а не гробы золотить и не башни строить, тогда скорее начнется Христово царствие.

— А нынче что же? — тихо и сухо заметила Хотетова.

— Нынче... что меня искушаешь? — проговорила бабушка и, вдруг махнув рукою, окончила:

— Нам пора домой, Настя!

Графиня посмотрела на бабушку и замолчала.

Через день Хотетова сама приехала отдать Варваре Никаноровне визит и попросила ее отпустить с нею княжну к какому-то схимнику.

Бабушка этому воспротивилась: она уважала людей с высшим призванием и сама ездила в Оптину пустынь к Макарию, которого считала прозорливым, но для молодой девушки она, вероятно, считала это рановременным.

— Всему и всякой вещи есть свое время под солнцем, — сказала она, — благочестиво должно жить во всякой поре, но в молодом веке человеку не все понятно, что искушенная жизнью опытность знает, а потому с этими вещами надо осторожно, да не горшее что прилучится от неразумия.

По этому поводу произошел разговор, после которого Хотетова стала повсюду порицать бабушку за неверие. Предоставляю всякому судить, сколько справедливого заключало в себе это порицание, но оно было отнюдь не несправедливее других порицаний, которым бабушка подверглась со стороны своих религиозных воззрений: ее знакомые вольтерианцы называли ее «попадьей» и «московскою просвирней», а ханжи с ужасом шептали, что даже сомнительно: «верит ли она в бога».

И среди таких-то толков о самой княгине возникал вопрос: каково с нею жить ее бедной дочери, молодой девушке, еще почти ребенку, воспитанному совсем в иных понятиях?

Более всего этим занималась Хотетова: ее это ближе всех касалось как родственницы и как истинной христианки; она беспрестанно твердила:

— Я ничего не могу представить ужаснее положения ребенка, которого прямо из приюта, полного страха божия, отдают ужасным матерям вроде княгини Варвары Никаноровны, у которой ни бога, ни религии и никаких правил... Я не знаю, как правительство на все это смотрит, а по-моему, я бы не отпустила дочь жить с княгинею Протозановою.

Против этого никто не возражал.

На княжну Анастасию начали смотреть с сожалением и выражать ей нежнейшую участливость, которая должна бы казаться ей обидною, если б она понимала ее смысл и значение.

Княжне старались внушить, что она несчастна, и княжна, наконец, это поняла; но она никому не жаловалась на мать: она только нежилась, когда о ней соболезновали.

Бабушка, при всей своей проницательности, этого не замечала: она была так честна, что не могла подумать, чтобы кому-нибудь могла прийти в голову сатанинская мысль вооружать дитя против матери. И из-за чего и для чего все это делалось? Кажется, единственно из-за того, что в нашем обществе всем тяжело переносить присутствие лица с умом ясным и с характером твердым и открытым.

Между тем громадная разница в воспитании и взглядах матери и дочери сказывалась на каждом шагу: княжна, по самой молодости своих лет, оставалась совершенно безучастною ко всему, что занимало ее мать, и вовсе ее не понимала. Даже более: поскольку княжна сознавала разницу между своею матерью и матерями других своих сверстниц и подруг, то все эти сравнения выходили не в пользу княгини. До строгости чинный дом бабушки, ее всегда умная и обстоятельная речь, ее всегдашняя требовательность от человека ответственности за все слова и поступки и готовность к ответу за всякое свое

действие делали общество матери для княжны тяжелым и скучным.

Начав замечать, что точно так же всем этим тяготятся и другие, молоденькая княжна мало-помалу утверждалась в мысли, что она права, потому что ее мнение о матери находится в согласии со всеобщим мнением о княгине.

В свете, однако, знакомством бабушки дорожили: известно, что свет в этом отношении похож на суетную женщину, которую чем меньше любят, тем легче ей нравятся. В свете знали, что княгиня ни у кого ничего не искала, и потому там ее искали и собирались есть за ее столами и потом сплетничать о ней, как о чудаке, о женщине резкой, беспокойной и, пожалуй, даже немножко *опасной*. Несправедливо было бы сказать, что все эти толки не имели никакого основания: княгиня в Петербурге была все та же — она продолжала и здесь иметь свои мнения, далеко не согласные с мнениями большинства, не по одним вопросам религиозного свойства. Бабушка, как я сказала еще в самом начале моей хроники, очень уважала свободу суждений, ибо находила, что «в затиши деревья слабокоренны».

— Нельзя-де, чтобы всем один порядок нравился: через многие умы свет идет, — говорила она.

Но, любя во всем основательность, княгиня не уважала мечтательных утопий и не могла оставлять без возражений легкомысленности, с какою многие тогда судили об устройстве общества под влиянием взглядов, вычитанных из нескольких иностранных книжек. Она, когда доводилось, слушала их, но неохотно, и обыкновенно спешила ставить вопрос на практическую почву.

— Что-де вы под сим заглавием прописать желаете? сладкого медку на остром ноже, либо еще что особое?

И когда ей разъясняли идеи политических комбинаций, она качала головою и отвечала, что, по ее мысли, все это «на кота широко, а на собаку узко».

— Мой згад, — говорила она, — нам прежде всего надо себя поочистить, умы просветить знанием, а сердца смягчать милосердием: надо народ освободить от ран и поношения; иначе он будет не с вами, а вы без него все, что трости ветром колеблемые, к земле падете.

И широкие планы народников она тоже не ласкала.

— Всё не то, всё не то, — говорила она, — не маните добрый народ медом на остром ноже; — ему комплименты лишнее. Проще всё надо: дайте ему наесться, в бане попариться да не голому на мороз выйти. О костях да о коже его позаботитесь, а тогда он сам за ум возьмется.

Такие речи княгини, разумеется, не нравились тогдашним либералам; но не более имела она согласия и с тогдашними консерваторами: в этих кружках тогда было большое кичение дворянскими заслугами отечеству во время Наполеонова нашествия. Бабушка же находила, что дворянам этим никак не пристало кичиться.

— Свое-де дело сделали, и больше ничего; тогда ведь *все* жертвовали — одни купцы наживались, а мужики больше всех пострадали.

Многих тогда щекотало чрезмерное увеличение дворянства, которое легко приобреталося самыми небольшими чинами.

— Разночинец в гору лезет, — говорили старые дворяне, указывая на некоторых людей нового дворянства, приобревших в это время силу и значение.

— Что же делать, — отвечала княгиня, — в этом вы сами виноваты: плохо учите своих детей. Хорошенько учите, чтоб они не родом славились, а сами род прославляли, так разночинец вас не одолеет, а не то одолеет.

И при этом, зная, что у всех, таким образом рассуждавших, на уме был павший Сперанский, смело добавляла:

— А ведь и разночинцы не все плохи: я, например, Михайле Михайловичу Сперанскому, хоть он из семинаристов и теперь не в милости, кланяюсь, потому что он того достоин.

У Сперанского тогда было много врагов, и упоминание его имени с таким почтением не только не могло быть приятно, но было и не безвредно для того, кто его так поминал; но для бабушки это было все равно: она привыкла к независимости своего положения и своих суждений. Уважая род как преемство известных добрых преданий, которые, по ее мнению, должны были служить для потомков побуждением беречь и по мере сил увеличивать добрую славу предков, княгиня отнюдь не была почитательницею породы и даже довольно вульгарно выража-

лась, что «плохого князя и телята лижут; горе тому, у кого имя важнее дел его».

В некоторых тогдашних спесивых кружках были возмущены неровным браком графа Николая Петровича Шереметева и весьма часто позволяли себе злословить графиню Прасковью Ивановну, которую бабушка знала с отличной стороны и любила со всею горячностию своей благородной натуры.

Дело заключалось в том, что граф Николай Петрович Шереметев в 1801 году женился на своей крепостной девушке Прасковье Ивановне Кузнецовой, прозвище которой переделали в «Ковалевскую» и говорили, будто она происходила из польской шляхты и была записана в крепость Шереметевых незаконно. К этому обстоятельству от нечего делать не переставали возвращаться при каждом удобном случае и достойную уважения графиню в глаза чествовали, а за глаза звали «Парашкою».

Бабушка этого решительно не могла переносить.

— Да, — говорила она, — что графиня Прасковья Ивановна польская шляхтянка и незаконно будто была в крепость Шереметевых записана, это неправда. Это вот с женою Доримедонта Рогожина так было, а Прасковья Ивановна была настоящая крестьянка, и про нее и песенка сложена: «Вечор поздно из лесочка я коров домой гнала», а что графиня Прасковья, помимо своей неоцененной красоты, умна, добра и благородна душою, а через то всякого уважения достойна — это правда. По ее мысли графом странноприимный дом в Москве выстроился и добра людям много делается. Это, воля ваша, лучше, чем породой кичиться, да joli-мордиться и все время с визитами ездить... Нет, дай бог нам побольше женщин с таким сердцем, как Прасковья Ивановна, «из лесочка».

Княгиня умела держаться скромно и благородно даже по отношению к падшим врагам своего рода: в то же самое время, когда в Петербурге злословили графиню Прасковью Ивановну Шереметеву, бывший французский посланник при русском дворе, граф Нельи, описал за границею князя Платона Зубова, к которому свекор княгини, князь Яков Протозанов, «в дом не ездил, а кланялся только для courtoisie». Граф Нельи поносил Зубова и прямо писал о нем, что «он богат как Крез, а надменен

как индейский петух, но не стыдился жить во дворце на всем на готовом и так пресыщался, что стол его, да Салтыкова с Браницким, обходился казне в день четыреста рублей», что, по тогдашней цене денег, разумеется, была сумма огромная.

Бабушка, не вынесшая из всех преданий своей семьи никакого особого уважения к князю Платону, гнушалась, однако, вторить этому памфлету, а когда к ней с ним приставали, то она лениво, как бы нехотя, отвечала:

— Ну да; я знаю... Как же... Князь Платон... в большой силе был... Знаю: он был женат на Фекле Игнатьевне, только у них детей не было: одна девчоночка было родилась, да поганенькая какая-то была и умерла во младенчестве; а больше так и не было... А Нельи... я про него тоже слышала: ужасный был подлиза и пред Платоном пресмыкался. Я его книги читать не хочу: все врет, чай... из зависти, что тот вкусно ел.

Так противны были ее благородному характеру всякие заглазные злоречия о людях, которых когда-то боялись и пресмыкались пред ними те самые, что теперь над ними издевались, подплясывая под дудку развязного иностранца.

Понятно, что во всех таких речах и мнениях княгини было много неприятного для общества, которое считало всякое несогласное с ним мнение за дерзость.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Говоря об отношениях моей бабушки к обществу, я должна упомянуть еще об одном светском кружке, едва ли не самом обширном и самом для нее неприятном: это были проживавшие в столице праздные люди, не имевшие никаких других задач кроме того, чтобы принадлежать к свету. Эти люди принадлежали к новому, а иногда и к старому дворянству, но не к *знати:* знать им в прежнее время покровительствовала, зато на равную с собою ногу не ставила. Теперь это начало мешаться: в обществе, помимо знати первой руки, образовалось новое наслоение, появлению и чрезвычайно быстрому размножению которого способствовали две причины: открытие кредит-

ных учреждений, где дворяне получили возможность закладывать свои имения, и сокращение сроков на асессорский чин, дававший право на дворянство. Призаняв в кредитных учреждениях денег под залог своих деревнишек и приехав на зиму в город, эти «аристократы» второй руки сами, впрочем, чувствовали, что они что-то не настоящее, и увивались пред остатками *старой знати*. Старая же знать их, разумеется, не уважала и потихоньку отталкивала, но именно так потихоньку, чтобы те все-таки лезли: это было нужно для чванства. С тем, как, по замечанию писавшего об упадке нравов в России князя Щербатова, «у вельмож отъялась смелость изъяснять свои мысли, они учинялись не советниками государевыми, а *дакальщиками* любимцев». Эти люди, «имена которых были славнее их дел», любили уже и сами *дакальщиков* и охотно окружали себя *людьми искательными*.

Это теперь совсем почти позабытое слово тогда было в большом ходу: «искательность», доходившая до самого униженного пресмыкательства, ставилась в заслугу человеку и нередко открывала ему дорогу к почестям. Новая аристократия в этом преуспевала, старая знать принимала эти знаки раболепства. Тем и другим иного нечего было желать: ратного поля не было, а дома уже не сиделось. В деревнях оставались отслужившие израненные воины двенадцатого года или так называвшиеся тогда «грузинские асессоры», то есть новые дворяне, получавшие в Грузии асессорские чины по сокращенному сроку и приобретавшие затем мелкопоместные именьица. Новых больших дворянских маетностей не возникало. Жалованье населенными имениями прекратилось еще в 1801 году. Екатериною было уже почти все роздано, и ее внуку нечего было раздавать со щедростью своей бабки. Помещики средней руки охотно должали и жили не по средствам. Непривычные к расплатам, эти новые *аристократы*, которых тогда за глаза называли «должниками», брали взаймы, мало думая, или, лучше сказать, совсем не думая, об отдаче. На первый взгляд это казалось очень льготно, и число дворян, получивших таким образом средства жить более или менее открыто, быстро увеличилось, но это была состоятельность самая обманчивая. Вслед за сим непременно можно было предвидеть близкие разорения: так оно и пошло, обеднявшие дворяне шли в приказ-

ные; состоятельные приказные опять поднимались в дворяне: богатые сыновья прасолов и откупщиков ездили куролесить в Грузию, где дебоширили во всю ширину русской натуры и вывозили себе оттуда асессорство, дававшее право на дворянство. Российское дворянство в одно и то же время и росло, и цвело, собиралось колоситься, и... уже вяло. Столы и вечера утрачивали свой прежний несколько окаменелый, тяжелый характер; собрания становились оживленнее, но едва ли достойнее: завелось «подшучивание», которого любимыми жертвами были некоторые из попавших в аристократию прибыльщиков. Поистине трудно верить тому, что́ эти люди иногда переносили единственно за то, чтоб их пускали в дома *знати*.

Тогда в свете жили не по-нынешнему: появившиеся в последствии времени *козёры* тогда или вовсе не были известны, или их попросту называли «болтунами» и держали в презрении вроде известного героя грибоедовской комедии Загорецкого. Тогда, собравшись в дом, или танцевали до упаду, или занимались так называемыми «играми», из которых многие требовали от участников и ума и некоторой образованности.

Прибыльщики обыкновенно были злополучными жертвами этих игр: один из них, например, никак не мог сказать «три правды и три неправды»; другой, обязанный указать три вещи царства растительного и три царства животного, относил к царству *растительному* свои волосы, потому что они растут, и т. п.

Над ними хохотали, но они обнаруживали большую терпеливость и переносили все, лишь бы только иметь право хвастать, что принадлежат к свету. Я слышала от бабушки бездну анекдотов этого рода, в которых с обстоятельностию упоминались имена «прибыльщиков», вылезших в дворяне благодаря «компанейству» князей Куракина, Юрия Долгорукого, Сергея Гагарина.

Так, бабушка сказывала мне, что некто из семьи, кажется, Походяшевых, стыдясь своего происхождения упросил одного шалуна (которому давал взаймы деньги) сочинить ему историю о его будто бы коренном дворянском происхождении. Тот взялся за это дело и научил прибыльщика приписывать своей родне известное «жалованье» Дмитрия Тимофеевича Трубецкого от царя

Михаила «за многия службы и за радения, и за промысл, и за правду, и за кровь». Прибыльщику это понравилось, но показалось мало, и он сам присочинил себе еще, что будто царевна София отрубила его предку голову за верность Петру Великому и что казненный взял будто свою отрубленную голову, поцеловал ее и сказал: «Отнесите ее моему законному государю».

Один из таких, по фамилии Кандолинцев, не пропускал ни одного случая втираться в светские дома и решился для этого, как говорили, «на героические подлости». Благодаря своим компанейщикам он однажды ценою немалых жертв добился того, что его пригласили участвовать в любительском спектакле с настоящими светскими людьми; но в самом этом великодушии крылась новая обида: Кандолинцеву дали самую ничтожную, выходную роль, лакея без слов.

Это, конечно, было не очень деликатно, однако искательный светский неофит от своей роли не уклонился и показывал, что он этим не обижается. Он только со всеми зашучивал, говоря, что он не знает, как ему держать себя, чтобы более походить на лакея?

— Ах, вы всего менее затрудняйтесь этим, — отвечал ему кто-то, кому он надоел с своею игривостью, — держитесь как вы есть, и вы будете совершенно то, что должны представить.

Прибыльщик обиделся и отказался от пьесы. Тогда кто-то предложил ему роль в пьесе, которая шла в тот же спектакль на французском языке.

— Нет, — отвечал обиженный, — я не хочу: я по-французски очень хорошо знаю, но только эти *ле, ля, ли* пред словами не люблю.

С тех пор он так и прозывался «Кандолинцев ле, ля, ли».

Но забавнее всех я помню рассказы про какого-то Хлопова: это был человек надменный, сухой, очень недалекий, но нахватавшийся вершков. Гордый своими удачами, прибыльщик этот ничего не относил к счастию, а все приписывал своим знаниям и сообразительности, которыми щеголял до того, что почти ни на один вопрос, как бы он прост ни был, не отвечал сразу, а говорил:

«Тут надо взяться за карандаш», и сейчас же, вытащив бумажник и карандаш, он и в самом деле садился

что-то соображать и высчитывать. Шалуны подметили эту слабость Хлопова и принялись над ним подшучивать. Для него за играми нарочно сочинили такие вопросы: «Если судно, имея такую-то длину и вмещая столько-то тонн, сидит на такой-то глубине, то сколько лет должен иметь его капитан?» Хлопов восклицал: «тут надо взяться за карандаш» и бежал в угол делать свои вычисления. В другой раз, подсунув ему фант, спрашивали его: «Если лошадь подкована на столько-то подков, по стольку-то гвоздей в каждой, то сколько этой лошади лет?» и опять повторялась та же история. Доходило до того, что когда его раз спросили: «Если комедиант проглотит горящую свечу — с огнем или без огня она дойдет до его желудка?», то Хлопов и в этом случае обратился к своему карандашу.

Человек этот был тип тогдашнего честолюбивого прибыльщика, пробивавшего себе ход *в люди;* он был смел до дерзости и не пасовал ни пред чем, но зато и получал щелчки ужасные.

В то время, когда к нему уже кое-кто ездил (больше затем, чтобы занимать деньги) и его кое-где принимали, один шалун, участвуя в игре, условиями которой требовалось давать утвердительный ответ на всякий вопрос, был спрошен: знает ли он, *где конец света?*

— Знаю, — отвечал тот, — это у хлоповского порога.

Над Хлоповым шутила даже сама судьба, сыгравшая с ним одну очень злую шутку в передней известного «последнего могиканина» старой дворянской Москвы, князя Г—цына.

Князь Г—цын, при отличавшей его прелестной доброте, не легко открывал двери своего дома для кого попало и, ни в ком не нуждаясь, сторонился не только от «прибыльщиков», но даже и от их «компанейщиков». Проводив иного из иных Рюриковичей, он с не изменявшею ему серьезною важностию иногда хлопал три раза своими маленькими белыми ладошками и приказывал явившемуся на этот зов слуге «покурить в комнатах».

— Черт знает, — обращался он с гримасою к кому-нибудь по-французски, — у меня прегадкий нос: все ему кажется, будто взятками пахнет.

Одним словом, попасть к этому человеку было нелегко; но чем труднее Хлопову было проникнуть в дом

князя, тем он упорнее этого добивался и, наконец, схватился за один случай, который ему показался благоприятным. Князь был очень озабочен каким-то общественным делом, представлявшим почему-то неодолимые трудности. Хлопов нашел средство принести этому делу пользу и, встретив где-то князя Г., сообщил ему свой план и просил позволения приехать к нему в дом, с тем чтобы развить ему свою мысль подробнее.

В плане этом, вероятно, заключалось что-нибудь дельное (так как Хлопов в деловых отношениях был дальновиднее, чем в светских), и князь, поблагодарив его, назначил ему время, когда готов был его принять, но, возвратясь домой, по своей анекдотической рассеянности позабыл сказать об этом своему камердинеру, а тот в свою очередь не отдал нужных распоряжений нижней прислуге.

И вот, когда Хлопов в урочный час приехал к князю с полною уверенностью, что его сейчас примут, швейцар объявил ему, что князь хотя и дома, но никого не велел принимать.

Хлопов счел это за хороший знак; ему показалось, что князь именно потому и велел не принимать других, что хочет на свободе поговорить *с ним*.

— Так, братец, так, — заговорил он, — прекрасно: я так и знал, что князь меня ждет. Доложи же, любезный, скорее его сиятельству, что приехал Хлопов... Понимаешь: Хло-по-о-в... Дмитрий Иванович Хлопо-ов!

Но швейцар отказался, сказав, что ему теперь решительно ни о ком не велено докладывать.

— Ага! прекрасно, братец, прекрасно, я вижу, ты очень аккуратный человек: ты думаешь, что я кто-нибудь другой, а я тот сам и есть, кого князь ждет: я Хлопов! Ты вспомни фамилию... она совсем не мудреная: Хлопов. Понимаешь: *Хлопов!*

— Понимаю-с.

— Да; фамилия довольно простая... Но только ты ее вперед, пожалуйста, не позабывай, — договорил он, доставая швейцару десятирублевую, и тот, поблагодарив его за подарок, осчастливил его следующим ответом:

— Помилуйте, как мне эту фамилию забыть: я сам Хлопов-с, но только о вас доложить не смею.

Случайно встретившиеся однофамильцы расстались оба друг другом недовольные, и Хлопов-аристократ жаловался, что ему нарочно подставили швейцара Хлопова, чтобы над ним посмеяться. Жалоба эта дошла до князя Г., который, посмеявшись над странною случайностью, поехал сам извиняться пред Хлоповым за свою рассеянность. Таким образом тот достиг более чем желал и был счастлив без меры.

Понятно, что княгиня Варвара Никаноровна, наблюдая этого нового сорта русских аристократов, не проникалась к ним уважением и не скрывала своего презрения к их пустоте, низкопоклонствам и пресмыкательствам.

Изо всего тогдашнего столичного общества княгиня находила для себя приятнее других только трех человек, из которых двое жили нелюдимыми, а в третьем она очень обманывалась. Первых двух я пока еще не буду называть, а третьего отрекомендую, как лицо нам уже знакомое: это был граф Василий Александрович Функендорф, с которым Дон-Кихот Рогожин имел оригинальное столкновение, описанное в первой части моей хроники.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Граф по возвращении в Петербург не стеснялся рассказанною мною историей с Рогожиным; он, по-видимому, считал ее слишком ничтожною и делал вид, будто вовсе позабыл о ней. Как только он узнал о приезде княгини в Петербург, он один из первых сделал ей продолжительный визит, причем был необыкновенно внимателен к княгине и даже осведомился не только о детях, но и о Дон-Кихоте.

Бабушке это понравилось.

— Что же? — рассуждала она, — верно, я в графе немножко ошибалась: он, кажется, человек с хорошим о себе понятием: ни сам не шутствует и других в шуты не наряжает. Это мне нравится.

Граф начал повторять свои визиты чаще, а потом мало-помалу обратил их в дружеские посещения запросто: княгине это еще более нравилось. Любя в сношениях с людьми простоту, она находила удовольствие

беседовать с графом, который был толковит, определителен, не страдал ни мистицизмом, ни материализмом и держал себя с достоинством.

Княгиня и граф во многом могли друг другу сочувствовать. И она и он предпочитали словам дело, и она и он видели, что русское общество дурно усвоивает просвещение. Разница была в том, что княгиню это глубоко огорчало, а граф смотрел на все это как чужой человек, как наблюдатель, спокойно, а может быть даже и со злорадством, которое, разумеется, скрывал от княгини.

Как истый остзеец, и потому настоящий, так сказать *прирожденный* аристократ, граф и в самом деле мог гордиться тем, что его дворянство не идет разгильдяйскою походкой дворянства русского, походкою, которая обличала уже все его бессилие в ту пору, когда оно, только что исполнив славное дело обороны отечества, имело, может быть, самое удобное время, чтоб обдумать свое будущее и идти к целям своего призвания. Вместо этого оно занималось вольтерианизмом, мистицизмом, госпожою Крюднер, или, еще того хуже, — лезло из кожи, чтобы слыть *светом*. Граф сочувственно слушал, когда бабушка, вытягивая вперед руки, как бы отстраняла от себя какое-то безобразное явление и говорила:

— Какая густая толпа людей и с громкими именами, и все без громких дел, и еще слава богу, что их поодаль от дел держат. Окромя как по гостиным эполетами трясти да шпорами звякать, ни к чему не способны... За неволю чужих возьмешь, когда свои к ставцу лицом сесть не умеют!

Больше этого графу уже никто не мог сказать приятного: он таял от слов княгини, и в то время, когда она сидела пред ним и молча думала: как ей быть с своими детьми, чтоб они, выросши, умели не только эполетами трясти и визиты делать, а могли бы и к ставцу лицом сесть, граф был уверен, что княгиня проводит мысленную параллель между им и теми, которые юродствовали да рассказывали друг про друга шутовские вести.

Графу казалось, что теперь он имел право считать княгиню сильно склонною к самым живым в его пользу чувствам. Как человек солидный, имевший дело не с девочкою, а с женщиною, которой было под сорок, он не торопил ее более ясными признаниями: он был уверен,

что все это непременно придет в свое время, когда княгиня *поустроится с дочерью.*

Граф действительно не ошибался в том, что одною из важнейших причин раздумья княгини была ее дочь.

Бабушке очень рано стали приходить в голову мысли, что самое лучшее и для нее, и для княжны, и для молодых князьков было бы то, если бы княжна Анастасия не оставалась долго в девушках. Ее иначе нельзя было выдать замуж, как за человека подходящего ей воспитания, а такие люди в большом выборе были только в Петербурге. Понимая дочь, княгиня даже и не претендовала на то, чтоб иметь зятя по своим мыслям, и мирилась с тем, «лишь бы он хоть жену сделал счастливою». Княгиня уже давно составляла планы, как бы она щедро выделила дочь при замужестве и, устроив ее, тотчас же возвратилась бы с сыновьями к себе в Протозаново. Тогда оставалось бы только выбрать мальчикам хорошего наставника и посвятить всю жизнь тому, чтобы воспитывать их как можно лучше и серьезнее. В деревне княгиня надеялась уберечь сыновей от светской суеты и сохранить ум их целым и здравым, способным постигать действительно высокое в жизни и бегать всего низкого, расслабляющего душу. Каждый раз, как княгиня додумывалась до этой мысли, она погружалась в такую сосредоточенность, что граф не раз вставал и, не прерывая этих мечтаний, молча подходил к руке княгини и уезжал. Княгиня его не останавливала; отвечая на его поцелуй в руку поцелуем в его щеку, она только всегда тепло и искренне пожимала его руку, дескать: «не извиняюсь — мы свои».

Все эти короткости, исходившие единственно из бабушкиного прямодушия и простоты, окончательно убеждали графа, что он княгине нравится. Он был уверен, что единственная помеха ему жениться на ней была взрослая княжна, но вскоре граф убедился, что княгиня едва ли намерена много стесняться дочерью. Он, как другие, впал в общее многим заблуждение, что Варвара Никаноровна свою дочь недолюбливает.

Поводом к этому открытию послужило следующее незначительное обстоятельство: Кипренский, проложив основные планы портретов молодых девиц, продолжал свою художественную работу в большом секрете: он не хотел никого допускать в мастерскую, пока картины не будут

окончены. Он поступал так потому, что не всякий может понимать незаконченную вещь, а между тем всякий может распускать о ней свои мнения и суждения, которые, расходясь в публике, имеют свое невыгодное значение. Но граф был знаком с «русским Вандиком» и в качестве светского приятеля и дилетанта в искусстве мог проникать в мастерскую. Будучи однажды допущен художником посмотреть неоконченные картины, граф расхвалил бабушке портрет княжны Анастасии. Бабушка знала, что дочь ее изображается вдвоем, рядом с очень милою и скромною девушкой, которая потом вышла замуж за одного из князей Щербатовых и оставила до сих пор по себе превосходную память. Граф рассказал княгине, что Кипренский изображает девиц в какой-то буколической сцене, что бабушку очень удивило. Сначала она не могла понять, почему наш «Вандик» из Копорья выбрал именно этот странный жанр, который, по ее мнению, всего менее шел *манерной* княжне Анастасии, а потом это ее встревожило. Бабушка вспомнила, что девушка, которая изображалась рядом с ее дочерью на одном полотне, далеко уступала княжне по красоте лица и по формам тела. Не было никакого сомнения, что при близком сопоставлении с княжною она должна была еще более проигрывать. Тетушка Анастасия была очень хороша: она par trait [1] напоминала самоё княгиню, хотя совсем была на нее не похожа par expression: [2] в ее выражении не было той милоты, которая располагала и влекла к княгине всякого человека, ценящего в другом благородные свойства души, но тем не менее княжна была очень красива. Бабушке показалось, что Кипренский, увлекшись выгодною наружностью княжны Анастасии, ставит возле нее девушку более скромного вида нарочно, чтобы первая еще более выиграла.

— От художника-де это станется; им закон не писан, а это во всех отношениях неприятно.

Подозрение, что Кипренский хочет льстить суетности княжны, тревожило бабушку невыносимо: она хотела во что бы то ни стало видеть портрет прежде, чем он будет готов. Граф должен был уладить это дело. Кипренский

---

[1] Чертами лица *(франц.)*.
[2] Выражением *(франц.)*.

сдался на усиленные просьбы, и княгиня была допущена в его мастерскую.

Большой портрет был уже почти совсем готов и стоял на мольберте: обе девушки были изображены рядом, в костюмах полуфранцузских, полушвейцарских поселянок; обе они представлены идущими; в руках у них были корзины: у тетушки с фруктами, а у ее подруги с цветами. Обе подруги были написаны мастерски и замысловато: в картине была символика и поэзия. Тетушка выдвигалась немножко вперед и была ярко освещена, меж тем как ее подруга, отстав на один шаг, шла скромно, опустив головку, отчего ее тихое, задумчивое личико оттенилось в его верхней части широкими полями соломенной шляпы и приняло глубокое, таинственное выражение. Яркая красота выдающейся вперед княжны тотчас с первого взгляда останавливала на себе глаза зрителя, и тихая прелесть другого лица тогда оставалась как бы незаметною; но чуть вы хотели окинуть беглым взглядом аксессуар, это таинственное лицо словно встречалось с вами, оно как из ручья на вас глядело, и вы в него всматривались и не могли от него оторваться. Бабушка поняла мысль художника и осталась чрезвычайно довольна картиною.

— Превосходно, — сказала она Кипренскому: — вы всякой отдали свое: la pomme à la plus belle, la rose à la plus sage. [1] Превосходно.

Из этих слов княгини и из довольного тона, каким они были произнесены, граф вывел заключение, что Варвара Никаноровна не высокого мнения о своей дочери и, очевидно, не будет стесняться ею много. К тому же это полутаинственное посещение бабушкою мастерской Кипренского вместе с графом, с которым она приезжала в одной карете, дало повод к толкам об их большом дружестве, из которого делались произвольные выводы, все сходившиеся к тому, что княгиня, вероятно, наскучила вдовством и того и гляди выйдет за графа замуж. Графа с этим даже поздравляли...

Ольга Федотовна один раз, вся краснея и застенчиво улыбаясь, открыла мне, что и она, видя, как княгиня многим предпочитает графа Функендорфа, заподозрила: не вздумала бы она, матушка, за него замуж выйти.

---

[1] Яблоко более красивой, а розу более умной *(франц.)*.

— Что же, — прибавляла в свое извинение Ольга Федотовна, — он еще был молодец, и как блондин, то и седых волос почти не видно, а княгине хоть и под сорок лет было, но она еще красавица... Совсем нестаточного ничего тут и не было.

Одна княгиня, которой еще в деревне прежде всех пришло на мысль — не намерен ли граф за нее посвататься, теперь об этом вовсе не думала: зато каково же было ее удивление, когда в один прекрасный день он неожиданно сделал ей предложение.

Это случилось вскоре после их поездки к Кипренскому, именно в одну из тех пауз, о которых я рассказывала. Неудачнее подобного момента, казалось, нельзя было и выбрать: когда княгиня, совсем забывая себя, вся была в детях и напряженно сосредоточивалась, прозирая в их будущее, граф в самых почтительных выражениях представил ей свою декларацию.

Княгиня его даже не сразу поняла, а когда он ей повторил свои слова и протянул ей руку, она со вспыхнувшим от конфуза лицом быстро откинулась к спинке дивана и проговорила:

— Что вы, граф!.. помилуйте... Вот никогда этого от вас не ожидала.

Граф проговорил что-то об уважении и дружбе.

— Да; это правда... мы дружны, — отвечала княгиня, — я считаю вас за очень хорошего человека и уверена, что в этом не ошибаюсь (княгиня ошиблась), но... замуж... как вам это могло на мысль прийти.

— Но почему же... вы меня извините...

— Нет, вы меня, граф, извините, — нетерпеливо перебила княгиня и, как по-писаному, прочитала ему свой взгляд на брак и на замужество.

— Я, граф, того мнения, что со стороны вдовы, имеющей детей, во второй брак вступать непростительно: материн второй брак детям первые похороны... По-моему, это одна пустая слабость, которой я никогда в других не осуждаю, но не уважаю, а в себе и подавно допустить не могу. Это хорошо в крестьянстве, когда работник в двор нужен, но в нашем положении, по моему суждению, это лишнее. Оставимте это, граф, как бы этого и разговора не было, и никогда не будем к этому возвращаться, а будем, прошу вас, по-старому друзьями.

В подкрепление этой просьбы княгиня пожала Функендорфу руку, и они расстались; а чуть только карета графа отъехала от подъезда, бабушка сейчас же позвала к себе Ольгу Федотовну и послала ее к модистке, чтобы та принесла ей «коробóк самых солидных чепцов». Выбрав себе из них самый большой, с крахмальным бантом на темени, княгиня сейчас же надела на себя этот старушечий чепец и, осмотревшись пред зеркалом, велела, чтоб ей таких еще две дюжины нашили.

— В этом чепце, мне кажется, теперь гораздо пристойнее, — сказала она Ольге, — да и тебе советую тоже подлиннее мармотки нашить, мы с тобою ведь уже не молоденькие.

Ольга Федотовна не отстала от своей княгини и на другое же утро явилась ей в чепчике с такими длинными оборками, что выглядывала из них как часовая кукушка из рамки. Однако и в старушечьем чепце и в темных капотах княгиня еще долго не старелась, а, по словам Ольги Федотовны, «больше походила как бы в костюме на бал собиралась». Так она была моложава и так прочна была ее красота.

Бабушка никогда и никому не говорила о сделанном ей графом предложении, а графу, кажется, не могло прийти желания об этом рассказывать, но тем не менее Ольга Федотовна все это знала, и когда я ее спрашивала: откуда ей были известны такие тайности? она обыкновенно только сердилась и раз даже пригрозила мне, что если я еще буду ей этим докучать, то она мне больше ничего не скажет. Так как угроза была слишком страшна для моего любопытства, то я уже никогда не возобновляла моих расспросов, но по догадкам думаю, что моя милая старушка, вероятно, просто-напросто подсматривала и подслушивала за своею матушкой княгиней.

Иначе это и не могло быть, особенно потому, что Ольга Федотовна наизусть знала следующий разговор графа с княгинею, который, по ее же собственным словам, был веден бабушкою в совершенной тайности, «в особой комнате и при закрытых дверях».

Знаменитый разговор этот был через несколько дней после того, как граф сделал бабушке свое предложение.

— Граф, верно, смутился и перестал ездить, — говорила Ольга Федотовна, — то он у нас до этого случая

всякий день бывал, а то вдруг и перестал. Княгиня об этом беспокоилась и все несколько раз спрашивала: «Не был ли граф?» Скажешь: «Не был-с». Она тихо плечами поведет, а, наконец, раз даже вслух проговорила: «Что это за глупость такая!» и послала к нему Патрикея узнать о его здоровье, и если он здоров, то велели просить его, чтобы заехал. Он и пожаловал... Княгиня его приветливо встретила, но все в своем большом чепце, и повела его в маленькую гостиную, куда почти никто никогда не ходил, — здесь затворились, сели и начали говорить.

— Я, — говорит, — граф, очень желала вас видеть...

Тот кланяется, а она продолжает:

— Вы на меня, пожалуйста, не сердитесь... с вашей стороны мне ничего обидного не было сделано, и я вас тоже обидеть не желала, а сказала по рассуждению.

А граф говорит:

— Поверьте, княгиня, если бы не мои чувства...

Но она его сейчас перебила:

— Нет, вы меня извините, — говорит, — это совсем не в том дело, я вас с тем пригласила, что хочу пред вами с открытою душою быть... Я хочу, чтобы вы обо мне грубо не думали. Сознаюсь вам, что я ведь любила моего мужа и люблю его до сих пор... Не смейтесь, граф, над старухой... я очень страстна в моих привязанностях: я люблю, граф, *люблю* его, моего друга, и до могилы любить его буду, а там встретимся или не встретимся — уж что бог даст, но пока жива, я ему верная и благодарная... Вам ведь, может быть, неизвестно, а я ему всем обязана, я вышла из бедной семьи, в их честном доме воспитана, и он меня замуж взял, и любил меня, и верил мне, и умер далеко от меня с твердою в меня верою... Скажите же, как можно это все позабыть? Нет, вы умный человек, граф, вы меня видите, и вы должны меня понять: он умер для всех, кто про него позабыл, но я минуты без него не жила, и мне... он жив, и я ему отдала всю жизнь мою и ему же отдам и мой смертный вздох. Судите как знаете, я вся тут!

И княгиня, которую никто никогда не видал плачущею, сдвинула болезненно бровями и, закрыв платком глаза, заплакала.

Глубиною этого живучего чувства был тронут даже сам граф; он бросился целовать руки бабушки и просил ее о прощении.

И она его, разумеется, простила, и как простила? — ото всего сердца, с радостью и с искреннейшим советом, чтобы он поискал себе невесту помоложе годами и как можно менее на нее похожую характером.

— Характер — это самое главное, — говорила она, — а женщина, которая привыкла всем сама править, от этих мужских занятий становится к любви неловкая: от домашних счетов да споров в нас чувства грубеют и много мужчинского в характере делается. Никому я никогда не посоветовала бы на таких жениться... Нас можно в заседатели выбирать и в старостихи ставить, но жениться на нас... не советую. Извините, грубо скажу: старая баба сам тот же мужик, — у нее все ключи любовных чувств уже иссякли. То ли дело существо молодое, в чувствах свежее, в разуме гибкое. Как вы его захотите повести, так и поведете.

— Вы забываете, что я стар для таких юных существ, — шептал, шутя, граф. — Увы! меня шестнадцатилетняя девушка готова будет звать дедушкой.

— Ну вот... зачем шестнадцати?.. Есть девушки лет в двадцать пять... ну, тридцать... Прекрасные есть девушки... с источниками живых чувств. И даже скажу, девушка вас скорее и полюбит, и ее любить приятнее.

— Почему же?

— Неопытнее они, доверчивее... это, должно быть, очень приятно, как она станет сама к вам применяться. Нет; непременно на девушке женитесь!

— Вы настойчиво требуете, чтоб я женился на девушке? Я вас послушаю.

Граф был весел и шутил, княгиня в тон ему тоже отвечала шутливо:

— Непременно, граф, на девушке, на вдове как женитесь, старый муж придет.

И гость и хозяйка расстались настоящими друзьями, а чтобы граф еще скорее забыл свое неудачное сватовство, бабушка дала ему на дорогу просьбу помочь ей отыскать детям француза.

Просьба эта не могла обижать графа, а, напротив, могла ему льстить, потому что княгиня не верила ничьим

рекомендациям, когда дело шло о людях, нужных к детям.

Какой же ей нужен был француз? Совсем необыкновенный или по крайней мере отнюдь не такой, какие были тогда в моде. Княгиня отнюдь не хотела, чтобы француз ее сыновей воспитывал, это, по ее мнению, для русских детей никуда не годится. Серьезного воспитателя она хотела искать в другом месте; а француз требовался просто, чтобы как можно больше говорил, но только не вредного.

Требование было и небольшое, но в то же время и не совсем легкое; но граф услужил княгине, он достал ей такого француза, который превзошел все ее ожидания. Этот утешительный человек был французский гражданин monsieur Gigot,[1] которому здесь надо дать маленькое место. Ne le renvoyez pas, je vous prie![2] Он тут нужен.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Француз Gigot был человек совершенно неизвестного происхождения. Сам он себя производил из дворян, обедневших во время переворотов, но дворянского в нем ровно ничего не было. Начиная с его фамилии, которую m-r Gigot напрасно скрашивал приставкою дворянской частицы, и кончая его наружностью и манерами, дававшими ему вид неудачного приходского клерка, он всего более напоминал католического дьячка: тонкий, худой, немного запуганный, с глазами, таящими внутренний жар, и с длинными руками, постоянно стремящимися к упражнению в почтительных жестах. О происхождении его всякий имел свое мнение: так, Рогожин думал, что «эта баранья ляжка» (так он величал Жиго) был непременно дьячок, а Патрикей соображал, что Жиго из почтальонов, потому что он необыкновенно скоро бегал и любил быть на посылках; Ольга же Федотовна утверждала, что Жиго, по всем видимостям, из портных, потому что он всегда любил садиться ловко, сворачивая под себя ножки калачиком, и необыкновенно искусно штопал свое платье.

---

[1] Господин Жиго *(франц.)*.

[2] Не отсылайте его, я вас прошу *(франц.)*.

Но каково бы там ни было в самом деле его происхождение, он оказался как нельзя более отвечающим тому назначению, какое желала ему дать бабушка. Gigot был человек в некоторых отношениях удивительный: он болтал с детьми с утра и до вечера и, скоро овладев их расположением, быстро приучил их бегло говорить с собою по-французски. Кроме того, он был совершенно *безвреден:* в этом отношении он даже превзошел все ожидания княгини, которая, несмотря на рекомендацию графа, принимая в дом monsieur Gigot, положила себе правилом следить за всяким его словом, «чтобы не наговорил детям глупостей». Очень скоро она убедилась, что это совершенно напрасно: все ее опасения в этом роде не имели никакого места. Gigot говорил целые дни, и когда он говорил, княгиня слышала какие-то слова, пожалуй, даже интересные, иногда он даже что-то объяснял, и довольно толково, но чуть только он кончал свою речь и княгине хотелось обдумать, что такое он сказал, как она уже не находила во всем им сказанном никакого содержания. Княгиня в этом затруднении не раз пыталась переспросить Gigot: как он понимает то, что сейчас сам объяснял? Но он, обыкновенно, не мог повторить сказанного, и бабушка с удивлением говорила:

— Преудивительного француза я себе, способного к детям, достала: так говорлив, что сам не помнит, о чем, как скворец, болтает, и выходит от него практика языка большая, а мыслей никаких, и притом вежлив и со двора без спроса не ходит.

Открыв эти неоценимые достоинства Gigot, бабушка стала, разумеется, благоволить к нему и, отпуская его по воскресеньям «погулять к компатриотам», дарила ему по синенькой бумажке на бомбошки; но непременно всякий раз наказывала, чтобы он возвращался домой к детскому ужину, и притом трезвый.

Gigot был человек очень добрый, покладливый и до того мягкий, что, хотя он и не был кутилою, но, желая доставить княгине совершенное спокойствие насчет своей трезвости, он всякий раз по возвращении от компатриотов просил бабушку «позволить ему на нее дохнуть».

Бабушка, может быть, и не считала этого нужным, но когда человек сам набивается, то она не нашла в этом ничего лишнего, дескать:

— Положим, что он и не запивает, а все-таки, для большей аккуратности, удостовериться не мешает: бог знает, другие как-нибудь подпоить могут, а этак, как он сам выдумал, это самое верное: если он пил вино, я сейчас услышу.

Позволив Gigot дохнуть перед своим лицом, княгиня говорила ему: «умник», и, дав ему поцеловать свою руку, отпускала его укладывать князей, с которыми и сам он должен был ложиться спать в одно время.

Эта обязанность сначала всего более стесняла бедного Gigot, и он тоскливо жаловался:

— Je ne suis pas disposé à dormir: je n'ai pas sommeil, [1] — но потом он скоро свыкся и с этим горем и, тихо вздыхая, внушал детям:

— On n'a pas toutes ses aises dans ce monde, mes enfants! [2]

Впоследствии, обсидевшись в деревне, этот Gigot сделался большим сонею, и чуть часовая стрелка вечером переходила за половину десятого, он уже начинал позевывать, и, шевеля тяготеющими веками, сам подговаривался:

— Ma foi, j'ai sommeil; il est temps d'aller coucher! [3] — и с этим он вскакивал, подводил детей к княгине за получением вечернего благословения, а через полчаса уже спал в смежной с детьми комнате, и спал, по собственному его выражению, comme une marmotte. [4]

Одно, к чему monsieur Gigot *никогда* не мог приучить себя, это был фруктовый квас. Иностранное вино за столом княгини подавалось только при гостях, и то monsieur Gigot неудобно было им лакомиться, так как никогда не пившая никакого вина княгиня находила, что и гувернеру неприлично пить вино при детях, а после стола Патрикей Семеныч имел обыкновение припечатывать все нераспитые бутылки, «чтобы люди не баловались».

Таким образом, Gigot оставалось лакомиться квасом да водицами, к которым он и вошел во вкус, но никак не мог приучить к ним своего желудка. Чуть он выпивал лишний глоток какой-нибудь шипучки, как с ним начинались корчи, и он нередко заболевал довольно серьезно.

---

[1] Я не расположен ко сну, я не хочу спать *(франц.)*.
[2] В этом мире нельзя иметь все блага, мои дети *(франц.)*.
[3] Честное слово, я хочу спать; уже время ложиться *(франц.)*.
[4] Как сурок *(франц.)*.

Это, однако, имело для Gigot свою хорошую сторону, потому что чрезвычайно сблизило его с Ольгой Федотовной, которая сама была подвержена подобным припадкам и, по сочувствию, нежно соболезновала о других, кто их имеет. А бедный Gigot, по рассказам Ольги Федотовны, в начале своего житья в доме княгини, бывало, как пообедает, так и начнет морщиться.

— Уйдет в свою комнату и так там по дивану и катается, а сам, как дитя, ножка об ножку от боли так и сучит, так и сучит... И я ему всегда, бывало, сейчас рюмочку березовки да горчишник под ложечку. Как его защипит, он и вскочит, и опять благодарный кричит:

«Пуслё, шер Ольга Федот, все пуслё».

А на другой день опять не остережется. Пресмешной был человек! И так он ко мне привык и привлекся, что, бывало, чуть ему худо, он сейчас ко мне так прямо и летит, а сам шепчет: «Экскюзе, шер Ольга Федот».[1]

Я поначалу пугалась: бывало, засуечусь, спрашиваю:

«Что такое? что такое случилось?»

А он отвечает:

«Ничего... петит революция... тре петит, тре петит...»[2] — и вижу, что его уже и точно *трепетит*.

Один раз только мне это надо было растолковать, а уж потом сама понимать стала; он только шепнет:

«Экскюзе!»

А я уже и догадываюсь:

«Что, — говорю, — батюшка мой, опять революция?»

«Ах, — отвечает, — революция», — и сам как былинка гнется.

Такой был на этот счет дрянной, что надо ему было как можно скорей помогать, и чуть он, бывало, мне только заговорит это «экскюзе», как я уже его дальше и не слушаю, а скорее ему из кармана пузыречек и говорю:

«Нá тебе лекарства, и не топочи на одном месте и бежи куда надо». Он на лету мне ручкой сделает, а сам со всех ног так и бросится. Добрый был мужчинка и очень меня уважал с удовольствием, а на других комнатных людей, которые его не понимали, бывало, рассердится, ножонками затопочет и закричит:

---

[1] Извините, дорогая Ольга Федотовна *(франц.)*.

[2] Маленькая революция... очень маленькая, очень маленькая... *(франц.)*.

«Тьфу, тьфу... Наплёт, валек и деревянная баба!» — и сам убежит от них.

Этими словами monsieur Gigot стремился выразить, что непонимающие его комнатные люди достойны только того, чтобы их поставить *на плот,* дать им в руки *валек* и заставить их мыть белье с *деревенскими бабами.* Слова «наплет, валек и деревянная баба» Ольге Федотовне до того казались смешными и до того ей нравились, что она усвоила их себе в поговорку и применяла ко всякой комнатной новобранке, неискусно принимавшейся за свою новую должность. Более же всего Ольга Федотовна полюбила Gigot по какому-то безотчетному сочувствию к его сиротской доле.

— Сирота, — говорила она, — и без языка, его надо жалеть.

Отношения Gigot к другим лицам бабушкиного штата были уже далеко не те, что с Ольгою Федотовною: чинный Патрикей оказывал французу такое почтение, что Gigot даже принимал его за обиду и вообще не имел никакой надежды сколько-нибудь с Патрикеем сблизиться, и притом же он совершенно не понимал Патрикея, и все, что этот княжедворец воздавал Gigot, «для того, чтобы ему чести прибавить», сей последний истолковывал в обратную сторону.

— Oui, — лепетал он: — oui! я снай... Patrikej Semenitsch... il tranche du grand seigneur avec moi... [1]

И Gigot самодовольно распространялся, что он сам знает свет и сам умеет делать grande mine. [2]

— Patrikej comme ça... так, et moi aussi... так... Avec tous les gens так, а avec Patrikej Semenitsch так... [3]

И, рассказывая это, он для большей вразумительности показывал, как он мимо всех ходит просто, а проходя мимо Патрикея, поднимает вверх голову и делает grande mine.

Патрикей знал это и, замечая эволюции Gigot, нимало не изменял своих ровных, холодно почтительных к нему отношений, какими считал себя обязанным к нему, как к гувернеру.

---

[1] Да, да!.. Патрикей Семенович... он разыгрывает со мной большого господина *(франц.).*

[2] Высокомерный вид *(франц.).*

[3] Патрикей вот так... и я тоже... Со всеми людьми так, а с Патрикеем Семеновичем так... *(франц.).*

С дьяконицей, Марьей Николаевной, Gigot тоже никак не мог разговориться: он много раз к ней подсосеживался и много раз начинал ей что-то объяснять и рассказывать, но та только тупо улыбалась да пожимала плечами и, наконец, однажды, увидев, что Gigot, рассказывая ей что-то, приходит в большое оживление, кричит, машет руками и, несмотря на ее улыбки и пожиманье плечами, все-таки не отстает от нее, а, напротив, еще схватил ее за угол ее шейного платка и начал его вертеть, Марья Николаевна так этого испугалась, что сбросила с себя платок и, оставив его в руках Gigot, убежала от него искать спасения.

Gigot рассердился: он принес Марье Николаевне ее платок и, гневно глядя в ее испуганные глаза, прокричал:

— Наплёт, валек и деревянная баба! — и затем быстро повернулся и убежал.

Марья Николаевна в эту критическую минуту сидела как окаменевшая, но зато когда напугавший ее Gigot скрылся, она не выдержала и жестоко разрыдалась.

Ничего не могло быть забавнее того, что ни француз не знал, чем он оскорбил дьяконицу, ни она не понимала, чего она испугалась, за что обиделась и о чем плачет.

В этом положении застала ее Ольга Федотовна и не могла от нее добиться ничего, кроме слов:

— Нет, мне пора... мне пора на свое пепелище.

Надо было призвать самоё бабушку, которая, разобрав в чем дело, призвала Gigot и сказала:

— Посмотри, как ты расстроил женщину! Вот ведь тебе за это по меньшей мере стоит уши выдрать.

— Ага!.. уши, les oreilles, — avec plaisir. [1] — И он, наклонясь головой к дьяконице, весело вскричал: — Ну, Marja Nicolaf... нишего, déchirez-vous bien! [2]

Но Марья Николаевна вдруг рассмеялась и, обмахнув платком глаза, отвечала:

— Нет, мусьё Жиго... уж если так, то лучше поцелуемся.

— По-ця-лю-ем-ся?... Ага, понимай! Avec plaisir, avec plaisir, Marja Nicolaf! [3]

---

[1] Уши, — с удовольствием *(франц.)*.

[2] Марья Николаевна... терзайте на здоровье! *(франц.)*.

[3] С удовольствием, с удовольствием, Марья Николаевна! *(франц.)*.

— Но только уже вы, мусьё Жиго, после этого, пожалуйста, никогда меня больше не трогайте.

— Никогда, jamais! никогда.

— И не говорите со мною по-французски.

— Jamais de ma vie! [1]

Они поцеловались, и вполне успокоенная Марья Николаевна, как умела, объяснила Gigot, почему именно она его просит с нею не говорить. Причина этого, по ее словам, заключалась в том, что она «в свой век много от французского языка страдала».

Понятно, что после этого monsieur Gigot должен был оставить ее в покое.

Самые частые соотношения Gigot имел с Рогожиным, но эти отношения нельзя было назвать приятельскими. Сначала они немножко дулись друг на друга: Gigot, увидав перед собою длинного костюмированного человека с одним изумрудным глазом, счел его сперва за сумасшедшего, но потом, видя его всегда серьезным, начал опасаться: не философ ли это, по образцу древних, и не может ли он его, господина Gigot, на чем-нибудь поймать и срезать? Дон-Кихот относился к Gigot тоже несколько подозрительно, во-первых потому, что этот человек был поставлен в дом графом Функендорфом, которому Рогожин инстинктивно не доверял, а потом и он с своей стороны тоже боялся, что Gigot, читающий или когда-нибудь читавший французские книги, большинство которых Рогожину было недоступно, мог знать то, чего наш дворянин не знает, и потому, чего доброго, при случае легко мог его оконфузить.

Они могли бы, вероятно, очень долго оставаться друг против друга на страже, но одно счастливое обстоятельство примирило их с мыслию, что каждый из них вполне равен другому и оба они друг другу не страшны. Поводом к такому благоприятному выводу была заносчивость Gigot насчет каких-то превосходств французского дворянства.

Так как разговор этот шел в гостиной при самой княгине и при посторонних людях, из которых, однако, никто не желал вступиться за честь русского дворянства, то Рогожин не вытерпел и выступил, но выступил неудачно:

---

[1] Никогда в жизни! (*франц.*).

плохо маракуя по-французски, он не мог отразить самых несостоятельных нападений Gigot, который кричал:

— Attendez; connaissez-vous gentilhomme Obry de Mondidié? [1]

— Non... [2] нет, не знаю!

— Connaissez-vous gentilhomme Mordrèle? [3]

— Non.. нет, не знаю.

— Connaissez-vous gentilhomme Oblong? [4]

Рогожин должен был сознаться, что и этого жентильома он тоже не знает.

— Eh bien, votre critique n'est pas fondée, [5] — решил торжествующий Gigot, и, широко шаркнув Дон-Кихоту ногой, он язвительно поклонился ему, как человеку, с которым нечего много разговаривать тому, кто читал про Обри и Мондидье, Облонгов и Мордрелей. Рогожин был смят, но он быстро и преоригинально нашелся.

— А постой-ка, постой! — воскликнул он по вдохновению и, изловив Gigot за рукав, остановил его.

— А ты боярина Захарьина знаешь? — спросил он француза.

— Non, je ne le connais pas. [6]

— А Матвеева знаешь?

— Non, je ne le connais pas.

— Ага! Молодец! да ты уже, смотри-ка, и Романовых-то знаешь ли?

— Non, je ne le connais aussi. [7]

— Да; так ты еще вот каков! — протянул Дон-Кихот и, шаркнув обеими ногами еще шире Жиго, с достоинством от него отвернулся.

Рогожин, к счастию своему, никогда не знал, что в этом споре все преимущества были на его стороне, ему и в ум не приходило, что Gigot называл ему не исторические лица, а спрашивал о вымышленных героях третьестепенных французских романов, иначе, конечно, он еще тверже обошелся бы с бедным французом.

---

[1] Подождите; знаете ли вы дворянина Обри де Мондидье? *(франц.)*.

[2] Нет *(франц.)*.

[3] Знаете ли вы дворянина Мордреля? *(франц.)*.

[4] Знаете ли вы дворянина Облонга? *(франц.)*.

[5] Итак, ваша критика неосновательна *(франц.)*.

[6] Нет, я его не знаю *(франц.)*.

[7] Нет, я его тоже не знаю *(франц.)*.

Дон-Кихот, гостя в Петербурге, имел праздным все свое время, и когда уставал читать, тогда обыкновенно раскладывал из карт пасьянс. Но и это ему тоже, разумеется, могло уже надокучить, тем более что скорый Gigot умел гораздо лучше его делать пасьянсы и, по живости своего характера, всегда наскакивал на него с своими советами. Такое вмешательство до того бесило дворянина, что он в досаде смешивал карты и, стиснув их в руке, или сидел молча, пока Gigot, потеряв терпение, отходил от него прочь, или же начинал вдруг креститься и читать «Да воскреснет бог», отплевываясь от Gigot, как от черта.

Gigot не выдерживал заклинаний и отбегал, но не надолго; не проходило получаса, как он уже снова наскакивал на Рогожина с шашечной доскою и кричал:

— Gentilhomme, jouons-nous aux dames! [1]

Дон-Кихот сдавался на этот призыв, и они проводили за шашками почти все время, когда молодые князьки занимались с приходящими учителями и Gigot был свободен.

И как они играли! Боже мой! Ольга Федотовна, вспоминая это, говорила о них не иначе, как о самых легкомысленных детях.

— Сядут, бывало, как и надо, будто взрослые, а потом вдруг зашумят, закричат, и смотри, уже шашки на пол летят, и бедный Жигоша плачет и жалуется, что тот, кривун, его обидел. А по правде сказать, оба были самые несносные споришки, и княгиня часто должна была сама приходить их разнимать и мирить — стыдит их, бывало, стыдит да, наконец, тем кончит, что велит Патрикею от них шашки взять и к себе в комнату отнести. Кажется бы ведь уж довольно, так нет же: Доримедонт Васильич станет за особым столиком пасьянс класть, а Жигошка и тут не утерпит. Такой был зажига, подскочит и начнет указывать, что будто не так ту или эту карту переложил, ну и пойдет опять дым коромыслом. Княгиня уже из терпения, наконец, выйдут и скажут:

«Подбери, Патрикей, с полу карты и отнеси их в мою комнату».

Впрочем, Gigot и Дон-Кихот ссорились и без игр, и всегда из-за совершенных пустяков, вроде того, например, что живой и веселый Gigot, одушевляясь разговором, лю-

[1] Дворянин, сыграем в шашки! *(франц.)*.

бил хлопать собеседника по плечу или по коленам, а гордый Дон-Кихот находил это неуместным и решительно не мог переносить такой фамильярности: он вскакивал и как ужаленный, сверкая на Gigot гневными взглядами своего единственного глаза, кричал:

— Не смей хлопать, буржуа!.. Ты мне за это когда-нибудь дорого заплатишь!

Больше я не считаю нужным в особенности говорить о monsieur Gigot, с которым нам еще не раз придется встретиться в моей хронике, но и сказанного, я думаю, достаточно, чтобы судить, что это был за человек? Он очень шел к бабушкиной коллекции оригиналов и «людей с совестью и с сердцем», но как французский гувернер он был терпим только благодаря особенности взгляда княгини на качества лица, потребного для этой должности.

Дети, то есть оба молодые князья (мой отец и дядя Яков), очень любили Gigot и не только никогда с ним не скучали, но, напротив, *скучали о нем,* когда его не видели. Во время моего отрочества я слыхала похвалы Gigot даже от таких людей, которым, по-видимому, никакого и дела не могло быть до злополучного чужестранца, — Gigot хвалили дворовые и деревенские люди Протозанова, говоря в одно слово, что он был «добрый и веселый», а дядя, князь Яков Львович, вспоминая свое детство, никогда не забывал вставлять следующее:

— Брат Дмитрий, который имел блестящие способности, к сожалению до того был резок, что даже верхом на нашем французе ездил.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Душевные свойства обоих князей в это время обозначались уже в весьма определенных задатках; отец мой, который был одним годом моложе дяди Якова, первенствовал над старшим братом по превосходству своих дарований, и князь Яков не продал ему права своего первородства ни за какую чечевицу, а уступил ее безмездно как «достойнейшему». Дядя Яков, бесподобнейшее лицо из всех нынче живущих Протозановых, говорят, еще с детства, с самых первых уроков, за которые он сел ранее моего

отца, но в которых папа быстро его перегнал, признал превосходство брата и, приходя от него в восторг, любил выдвигать его всем на вид. Себя он всегда стушевывал и так приучил к этому весь дом, что все, и свои и чужие люди, обращали все свое внимание на князя Дмитрия, а старший его брат, Яков, шел за ним и смотрел на него не с ревностью, не с завистью, а с восторгом, в котором сказывалась благородная и поэтическая натура этого прекрасного человека, пылавшего любовью ко всему прекрасному. Отец мой, сколько я могу о нем судить не по рассказам Ольги и Патрикея и других людей, обожавших в нем своего кумира, а по словам самой бабушки, которая была очень скромна в суждении о своих сыновьях, был одарен необыкновенными способностями и чарующею красотой. Бабушка, грустно улыбаясь, называла его «своим Авессаломом». (Увы, его и участь имела много сходного с судьбою этого злополучного библейского царевича!) Он был высок ростом, гораздо выше дяди Якова, которого за его маленький рост звали «карапузиком». Лицом отец напоминал бабушку, но только не так, как тетушка Анастасия, то есть не только чертами, но и выражением, но, разумеется, все это сходство отливалось в мужской форме. Замечу мимоходом, что, кроме моего отца, в роду нашем уже никто не имел большого сходства с княгинею Варварою Никаноровной; все, и в этом числе сама она, находили большое сходство с собою во мне, но я никогда не могла освободиться от подозрения, что тут очень много пристрастия и натяжки: я напоминала ее только моим ростом да общим выражением, по которому меня с детства удостоили привилегии быть «бабушкиною внучкой», но моим чертам недоставало всего того, что я так любила в ее лице, и, по справедливости говоря, я не была так красива. Дядя же мой, князь Яков Львович, имел сходство с матерью только в глазах, а во всем остальном он шел не в бабушкин род, а в дедов, в род Протозановых, которые не отличались видным ростом и имели расположение к тучности. Дядя обнаруживал эти родовые черты с самого раннего детства: он всегда был по своим летам мал ростом, очень свеж, румян, с прекрасными глазами матери, но с очень маленьким ротиком, какие называют «сердечком». Такие крошечные рты, с немножко оттопыренными губками, нарисованы у всех Протозановых, кото-

рых портреты я с детства видела в бабушкином доме; но князь Яков Львович немножко даже утрировал эту черту: его маленький ротик придавал его лицу сходство с какою-то бойкою птичкой, отчего в семье его звали также и «чижиком». Впрочем, благодаря своей важно-комической фигурке, дядя, князь Яков никогда не был без кличек; при всем почтении, которое он умел себе заслужить в зрелые годы, он и в этом своем возрасте назывался «князь Кис-меквик», кличкою, составленною из трех английских слов: Kiss me quick,[1] которые имели в приложении к дядюшке свое особенное, несколько роковое для него значение. Но об этом будет подробнее рассказано в свое время, а теперь возвращаюсь к детству моего отца и дяди. \/

При значительном превосходстве умственных сил, какое имел мой отец над своим братом, у отца был характер нетерпеливый и увлекающийся. Этим для меня объясняются многие несообразности и противоречия в его жизни, начиная с того, например, что, не оказывая никакого сожаления Gigot, он опасно заболел от огорчения, когда бедный француз умер. Дядя был совсем иной: если папа более брата напоминал бабушку прекрасною внешностию и умом, то дядя Яков был ее сыном по духу и характеру. Отец, которому уроки не стоили никакого труда, имел много свободного времени и нередко злоупотреблял своими досугами, наполняя их опрометчивыми шалостями, нередко в обиду ближних; но в доме, любя князя Дмитрия, все это покрывали и не доводили до княгини. Князю Якову учение давалось с большим трудом: он был почти постоянно занят и в немногие часы свободы или сидел безмолвно в креслах с важностью, которая в маленьком мальчике была довольно комична, или вместо того, чтобы шалить и бегать, он читал какую-нибудь детскую книгу. Шалостей дядя не любил: он много переносил на себе от резвостей брата, но никогда не отомщал ему своих обид. Выдающимися чертами нрава Якова были чрезвычайная скромность и искренность: он от природы был гораздо менее *барин*, чем *джентельмен*. Уважение к человеческому достоинству всех и каждого в нем было развито до того, что он никогда не позволял слуге снять с себя сапога; такая услуга его конфузила, и все, что он

[1] Поцелуй меня скорей (*англ.*).

мог сделать без помощи другого, он так и делал. Позвать человека и заставить его сделать себе услугу, без которой можно обойтись, дяде Якову казалось «стыдно». Об искренности же его рассказывают, что он однажды явился к бабушке с просьбою наказать его за проступок, о котором никто не знал и который весь состоял в том, что дядя, сидя за уроком, имел в кармане маленькую юлу, которая ему очень нравилась и которую ему подарили за несколько минут до прихода учителя. Мать свою оба князя очень любили, но отец мой не сдерживал своей нежности, меж тем как дядя Яков, не только страстно любивший, но даже, так сказать, обожавший мать, как бы не смел дать воли своим ласкам. Оттого в отношениях младшего сына к матери было более короткости, а в отношениях старшего — более почтительности. Князь Дмитрий, шутивший со всеми, с Gigot, с Дон-Кихотом, с Ольгою Федотовной, шутил и с княжною Анастасией, которая была на семь лет его старше и шуток не любила. Она была обидчива, как провинциальная барышня, и от всякой досады легко плакала.

За колкие шутки с сестрою бабушка наказывала моего отца, а княжне говорила:

— А у тебя, мой друг, глаза слишком на мокром месте: от всякого вздора ты плачешь; это значит дурной характер.

Дядя же князь Яков, не любивший никого раздражать, был чрезвычайно вежлив с сестрою, старался ей делать услуги, и если она его за чем-нибудь посылала, то он бежал со всех ног, чтоб исполнить это скорее, и, подавая княжне требуемую вещь, непременно целовал ее руку.

Княжна Анастасия тоже более оказывала сочувствия своему брату Якову, чем моему отцу, которого она, кажется, вовсе не любила; он не нравился ей своею резвостию и слишком смелыми манерами.

Манеры тогда были большим вопросом: ими у нас, к сожалению, очень много занимались, пока, к еще большему сожалению, вдруг вовсе перестали обращать на них внимание. От этого в нашем обществе на смену неприятной манерности явилось потом поразительное неумение держать себя в кругу порядочных людей, в чем отличаются даже и те, которым надо бы служить примером

благовоспитанности для прочих. Бабушка и в этом случае имела меру: она знала, что дурной тон, дурная манера есть все то, что неуместно и неизящно; но она не питала уважения и к изысканности и даже смеялась над петиметрством.

— Это что такое,— говорила она, — не живой человек, а какой-то цирлих-манирлих,[1] скручен, связан, по избе скачет; совсем нехорошо.

Тетушке же это «цирлих-манирлих» нравилось: она сама была манерна и не любила слишком живых проявлений каких бы то ни было чувств, а потому брат Дмитрий ей совсем был неприятен. Впрочем, между княжною и братьями было очень мало общего: они только встречались, виделись, и больше ничего.

Сама княгиня говорила, что она любит обоих сыновей совершенно одинаково, но дядя князь Яков не раз мне говорил:

— Матушка твоего отца гораздо больше меня любила, что и неудивительно, так как брат Дмитрий вполне того стоил: он был красота, и из красот красота, и всех лучших дарований полон. Его нельзя было больше всех не любить.

И я этому верю: в душе княгини Варвары Никаноровны было слишком много артистического, что, вероятно, влекло ее к даровитому сыну. Притом же, может быть, она, по дальновидности своего ума, и предусматривала с материнскою чуткостью искушения и опасности, которые были уделом моего отца. С выборами воспитателя для князей у бабушки была большая возня, составившая целый эпизод в ее жизни.

О приходящих учителях, которые были приглашены княгинею к детям в Петербурге, я не буду говорить: их выбором бабушка много не стеснялась, так как от них требовалось только, чтоб они умели преподавать. Окончив свои уроки, они уходили и особенного влияния на образование воли и характеров детей не могли иметь. Другое дело воспитатели, которых надо было принять в дом: тут обнаруживалась чрезвычайная осмотрительность, с которою, по-видимому, очень трудно было согласить выбор Gigot. Однако это только так казалось, в существе Gigot был весьма удобен, потому что, доставляя практику

[1] Примерно-аккуратный, жеманный (*нем. разг.*).

французского языка, он был просто дядькою, на положении, несколько повышенном для того, чтоб его можно было сажать с собою за стол.

Всякий настоящий гувернер-француз стремился бы внушать детям свои мнения и заводить какие-нибудь свои правила и порядки, а в этом они с княгинею не поладили бы. Но все-таки Gigot, каков он ни был, не разрешал собою вопроса о воспитателе. Княгиня все-таки искала человека, который мог бы один и воспитывать и обучить ее сыновей всему, что нужно знать образованным людям: но где было найти такого человека? — вот задача!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В России почти нет воспитания, но воспитателей находят очень легко, а в те года, о которых идет моя речь, получали их, пожалуй, еще легче: небогатые родители брали к своим детям или плоховатых немцев, или своих русских из семинаристов, а люди более достаточные держали французов или швейцарцев. Последние более одобрялись, и действительно были несколько лучше.

Княгиня Варвара Никаноровна иностранцев не хотела брать, а семинаристов немножко боялась; они казались ей грубы и неотесанны, и притом, по ее наблюдениям, они вообще очень дурно понимали долг и обязанности человека к обществу.

По мнению Ольги Федотовны, бабушка не любила семинаристов за то, что, ходя с отцами в праздники по приходу, они ловят кур и вообще очень обижают крестьян, собирая с них без милосердия все, что взять можно. Но бабушка знала, разумеется, что и из семинаристов бывают исключения, и при этом ей опять представлялся Сперанский... Он очень занимал ее.

Княгиня с величайшим любопытством обращалась с расспросами о Сперанском ко всем, от кого ей казалось возможным узнать что-нибудь близко к нему относящееся, и благодаря этому своему любопытству познакомилась с Х. И. Лазаревым и князем Масальским, которые не прерывали своих сношений со Сперанским и состояли с ним в переписке. Встретив в княгине большое сочув-

ствие, они давали ей читать получаемые ими от Сперанского «дружеские письма», которые бабушка собственноручно списывала себе в особую тетрадь, и один из них вздумал черкнуть что-то Сперанскому о благоговеющей пред ним княгине и о ее заботах о воспитании своих сыновей. Словцо это не осталось без ответа: Сперанский в своем ответе благодарил всех, кто его добром помнит, и, распространясь слегка о воспитании, жалел, что у нас в России хорошо воспитать юношу большая трудность. Тут шло сначала общее сравнение воспитательного дела с посевом, удача которого зависит не от одной доброты семян, почвы и обработки, но и от *атмосферы*, которая не в нашей воле, а потом в более частном смысле говорилось о педагогах, подготовка которых признавалась несовершенною: «они-де малосведущи, робки, низкопоклонны и мелочно придирчивы: они не любители свободы, но легко содействуют своеволию».

Но что для княгини было всего дороже — это небольшая приписочка в post-scriptum, который следовал тотчас за приведенным рассуждением. Приписка эта гласила следующее:

«А что сталося ныне с моим семинарским товарищем, Мефодием Миронычем Червевым? Мне очень бы хотелось о нем знать; он, кажется, пребывает в тех краях, где владеет ваша княгиня».

Бабушка подозревала, что этот Червев упомянут тут недаром: она видела в этом тонкий намек и указание, куда ей надлежит устремить свои взоры, и она этому последовала.

К немалой ее радости, но вместе с тем к немалому ее и удивлению, оказалось, что Червев действительно жил в уездном городе, который почти со всех сторон облегали земли княгини, и из людей, которые были с нею в Петербурге, два человека знали Червева лично: эти люди были Патрикей и Рогожин.

Сведения, полученные бабушкою о Червеве от Патрикея, заключались в том, что Мефодий Мироныч был профессором в семинарии, но «чем-то проштрафился» и, выйдя в отставку, насилу добыл себе место в частном училище в их городе. Червеву тогда было еще с небольшим лет сорок, и он был так здоров, что пришел из губернии пешком. Кроме того, он немало удивил всех тем, что

совсем не нанял себе квартиры, а пристал в училище, да так там и остался: обед ему варил сторож, а спал он в классе на столах. По субботам Червев аккуратно ходил в губернский город, где оставалась его жена и сын, обучавшийся в гимназии. Им он относил все свои деньги, а на себя ничего почти не издерживал, только свеклу варил и ею одною питался. В гости Червев никогда ни к кому не хаживал: гулял он обыкновенно около часа за городом по выгону, а потом возвращался назад в училище и «списывал себе что-то из одной книги в другую». Ученики и горожане любили Червева, но особенного в нем ничего не замечали, кроме того, что многие думали, будто у него есть деньги, да он их бережет, потому что ни на что не тратил. На все он имел большое терпение, кроме того, что недели не мог провесть, не повидавшись с сыном и с женою, но и на это он опять ничего не расходовал. Как только в субботу оканчивались в училище уроки, Червев выходил с палочкою за заставу, снимал сапоги и, перекинув их на веревочке за спину, шел за тридцать верст в губернский город. О заутрени он приходил туда, спрашивал у сына уроки, изъяснял ему, чего тот не понимал, потом в этот раз обедал посытнее кушаньем, которое приготовляла жена, и о вечерни опять с тем же посошком уходил в уездный городишко к месту своего служения: в понедельник на заре, когда сторож открывал дверь, чтобы выметать классы, Червев уже ждал его, сидя на порожке. Ни грязная осень, ни морозная зима и никакая случайная непогодь и распутица не прекращали этих еженедельных прогулок. Вся разница, которую Червев допускал в своих путешествиях во внимание ко временам года, заключалась в том, что весною и летом он ходил босиком, а осенью и зимой совершал весь свой путь в лапоточках. Нрава он был, по словам Патрикея, *самого благополучного,* то есть Червев всегда был счастлив, а что делало его счастливым, про то знал один бог. Веселость не оставляла этого человека при самых тяжелых испытаниях. В Отечественную войну единственный его сын, окончив курс учения, не совладел с своим патриотическим чувством и стал проситься в военную службу. Червев, выслушав сына, сказал:

— Знаешь, что я тебе скажу: война — это убийство, но ты поступай как знаешь.

Он посоветовал сыну только одно: матери об этом ничего не сказывать и с нею не прощаться. Ночью он сам потихоньку выпроводил сына за город с проезжими офицерами, которые обещали записать молодого человека в полк, и потом, возвратясь к жене, открыл ей истину, горькую для ее материнского сердца. Нанеся этот удар своей подруге, Червев утешал ее, и очень успешно, тем, что мог найти в ее патриотическом чувстве, которое в ней было если не выше материнского, то по крайней мере в уровень с ним: она нашла облегчение в том, что молилась в одной молитве о сыне и о России. Россия была спасена, а сын бедной женщины убит: мать этого не снесла, и Червев кругом осиротел. Он и это свое горе снес мужественно, без слез и без жалоб, но только после этого уже не захотел оставаться на своем месте в училище, а забрал свои толстые книги, из которых, по словам Патрикея, «все из одной в другую списывал», и ушел из города.

— Куда?

На это Патрикей отвечал, что никому до этого нужды не было и потому об этом никто ничего не знает.

— А нам с тобой об этом надо будет узнать, — произнесла княгиня и дала рукой знак, чтобы Патрикей удалился.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Странное и притом не совсем приятное впечатление произвел этот рассказ на бабушку. Ей не нравилось, что во всем этом отдает каким-то чудачеством; и она усомнилась в основательности своей догадки, что имя Червева упомянуто в письме Сперанского с целию сделать ей указание на Мефодия Мироныча.

Но, подумав немножко, бабушка, однако, пожелала еще расспросить о нем Дон-Кихота.

Дворянин в это время был близко: он сидел пред княгинею и клал свой пасьянс. Бабушка тотчас же вступила с ним в разговор.

— Полно тебе шлепать своими картами! — сказала она. — Давай поговорим.

— А? Поговорим... Хорошо, извольте... О чем поговорим?

— Ты ведь, разумеется, тоже знал учителя Червева?
— Что за пустяки! Разумеется, знал.
— Мне кажется... что Патрикей мне про него что-то вздора наговорил.
— Ну, разумеется, как же может Патрикей... Разве Патрикей может его понимать? А что вы про него хотите знать?
— Все.
— Да я всего и сам не знаю.
— Ну, говори просто: что он и какого сорта человек?
— Гм!.. по-моему, он человек первого сорта.
— С какого края первого?
— Да, да; вы правы, я не так сказал: он выше первого, он го-человек.
— Что ты такое несешь?
— Я говорю, он го-человек; это, я думаю, всякому понятно, что значит.
— Ну, а вообрази, что мне это непонятно, и говори толком: чем он от других рознится?
— А чем рознится го-сотерн от простого сотерна: то же вино, да лучше. Он поумнее того, кто сто книг наизусть выучил.
— Кто это сто книг выучил?
— Я читал... был такой ученый... я это в книгах читал.
— Батюшка, да ведь твоих книг, кроме тебя, никто не читывал! Ты объясни проще.
— Отчего же моих книг не читать? Что они старые, так это ничего не значит; а впрочем, я вам расскажу: это было в Палестине, когда о святой троице спорили.
— Ну, вон оно куда пошло!
— Да ведь позвольте, пожалуйста ведь это так-с... тогда ведь, знаете, в старину, какие люди бывали: учились много, а не боялись ничего.
— Ну хорошо — бывали и тогда разные люди, а ты не путай, а рассказывай: «В Палестине жил ученый, который выучил наизусть сто книг...» Продолжай дальше!
— Да; а там же, где-то в пещере, жил мудрец. Ученый и захотел показать мудрецу, что он много знает; приходит к нему в пещеру и говорит: «Я сто книг выучил», а мудрец на него посмотрел и отвечал: «Ты дурак».

— За что же он его так обидел?

— Да позвольте, вот видите, как вы поспешны: он его совсем не обидел, а хотел его ученость узнать, а ученый как только услыхал, что мудрец его дураком назвал, взял палку и начал мудреца бить.

— И троица, и науки, и палкой дерутся... Ничего не разберу.

— Да вы подождите, ведь это вдруг невозможно... Вот когда ученый мудреца отколотил, мудрец и заплакал.

— Больно, так и мудрец заплачет.

— Совсем не о том, что больно, а из сожаления.

— Ничего не понимаю.

— Слушайте: мудрец заплакал и говорит ученому: «Ах, какой ты бедный, как ты дурно учился», а тот еще хуже рассердился и говорит:

«Чем я дурно учился: я сто книг выучил».

А мудрец отвечает:

«Как же ты сто книг выучил, а *одно слово* неприятное услыхал, и все их вдруг позабыл и драться стал».

— Это он остро ему сказал.

— А как же? «Иди, говорит, теперь снова учись». А Червев что выучил, все постоянно помнит.

— А его тоже разве на такой манер экзаменовали?

— Еще бы!

— И дураком называли?

— Ну, разумеется: только ведь его кто как хочет обижай, он не обидится и своего достоинства не забудет.

— Да в чем же его достоинство?

— Постиг путь, истину и жизнь.

— Путь, истина и жизнь — это Христос.

— Он его и постиг.

Княгиня перестала расспрашивать; ее докладчики ее интересовали, но не удовлетворяли ее любопытства.

Но каково же было ее удивление, когда те, кому она передала результат своих неудачных разведок о местопребывании Червева, ответили ей, что местопребывание старика уже отыскано чрез Дмитрия Петровича Журавского, который не прерывал с Червевым сношений и знал, что этот антик теперь живет в Курске, где учит грамоте детей и наслаждается дружбою «самоучного мещанина Семенова».

Княгиня слыхала и про Журавского и про «самоучного мещанина Семенова», которые оба впоследствии получили у нас оригинальную известность: первый как сотрудник Сперанского по изданию законов и потом искреннейший аболиционист, а второй как самоучка-астроном.

Имена этих двух людей, в особенности имя Дмитрия Журавского, подняли в глазах бабушки значение Червева. Какой-нибудь незначащий человек не мог быть другом страстного любителя науки Семенова, и с ним наверное не пересылался бы письмами Журавский, освободительные идеи которого, впоследствии неуспешно приложенные им в имениях графа Перовского, хотя и держались в секрете, но были немножко известны княгине. К слову о Журавском нелишним считаю сказать, что бабушка никогда не боялась «освобождения» и сама охотно толковала о том, что быт крепостных невыносимо тяжел и что «несправедливость эту надо уничтожить». Правда, княгиня Варвара Никаноровна не думала о таком освобождении крепостных, какое последовало при Александре Втором; это лучшим ее сверстникам не казалось возможным. Журавский, посвятивший крестьянскому вопросу всю свою жизнь и *все свои средства,* никогда в лучших своих мечтах не дерзал проектировать так, как это сделалось... Великодушный человек этот соглашался еще оставить крестьянина помещичьим работником, но только не рабом.

По крайней мере так писано в заготовленной Журавским правительству записке, которая ныне, вместе с другими бумагами покойного, хранится у того, кто пишет эти строки. Журавский не мечтал об освобождении крестьян иначе как с долговременною *подготовительною* полосою, доколе крестьянин и его помещик выправятся умственно и нравственно. Теперь, когда Колумбово яйцо поставлено, все эти примериванья, разумеется, могут казаться очень неудовлетворительными, но тогда и так едва смели думать. Княгиня Варвара Никаноровна, находясь в числе строго избранных лиц небольшого кружка, в котором Журавский первый раз прочел свою записку «О крепостных людях и о средствах устроить их положение на лучших началах», слушала это сочинение с глубочайшим вниманием и по окончании чтения выразила автору полное свое сочувствие и готовность служить его

заботам всем, чем она может. Журавский, однако, всех отклонял от участия в этом деле; он надеялся провести все чрез В. Перовского, от имени которого и должна была идти «записка». Но тем не менее все это настолько познакомило княгиню с Журавским, что она не затруднилась обратиться к нему за расспросами о Червеве. Хворый Журавский, с своими длинными золотушными волосами и перевязанным черною косынкою ухом, явился к княгине по ее зову и на ее вопрос о Червеве отвечал:

— Он человек очень ученый.

— Какого духа он? — спросила бабушка.

Собеседник княгини поежился, поправил черную перевязь на своем больном лице и отвечал:

— Слишком возвышенного.

— Извините, — молвила бабушка, — я не понимаю, как человек может быть *слишком* возвышен?

— Когда он, имея высокий идеал, ничего не уступает условиям времени и необходимости.

— Червев таков?

— Да, он таков.

— Чего ж он хочет?

— Всеобщего блага народного.

— Он знает ваши заботы?

— Да.

— Вы с ним советовались?.. Извините меня, бога ради, что я вас так расспрашиваю.

— Ничего-с; да, я с ним советовался, мы с ним были об этом в переписке, но теперь я это оставил.

— Почему?

Журавский опять взялся за перевязь.

— Бога ради... я вас прошу, извините мне мои вопросы, мне это очень нужно!

— Он нехорошо на меня действует, он очень благоразумен, но все, что составляет цель моей жизни, он считает утопиею... Он охлаждает меня.

— Он не расположен к этому делу?

— Нет; но у него очень сильна критика...

— В чем же он критикует вашу записку?

— Он вместо ответа надписал просто, что в возможность освобождения по воле владельцев не верит.

— Во что же он верит?

— В то, что это сделаем не мы.

— А кто же?

— Или сами крестьяне, или самодержавная воля с трона.

И бабушка и ее собеседник умолкли.

— Что же? — тихо молвила после паузы княгиня, — знаете, может быть, он и прав.

— Быть может.

— Наше благородное сословие... ненадежно.

— Да, в нем мало благородства, — поспешно оторвал Журавский.

— И рассудительности, — подтвердила княгиня, — но скажите мне, пожалуйста, почему этот Червев, человек, как говорите, с таким умом...

— Большим, — перебил Журавский.

— И с образованием...

— Совершенным.

— Почему он живет в таком уничижении?

Журавский бросил на бабушку недовольный взгляд.

— Извините, — сказала бабушка.

— Ничего-с; мне только странно, о чем вы спросили: «Червев в уничижении»... Что же вас в этом удивляет? Он потому и в уничижении, что он всего менее его заслуживает.

— Это превредно, что у нас быть честным так опасно и невыгодно.

— Везде так, — буркнул, подвинув свою повязку, Журавский.

— Нет; у нас особенно не любят людей, которых уважать надо: они нам как бы укором служат, и мы, русские, на этот счет всех хуже; но все-таки... неужто же этот Червев так во всю жизнь нигде не мог места занять?

— Он был профессором.

— Я это слышала, но что же... с чем он там не управился?

— Читал историю, и не годился.

— Почему?

— Хотел ее читать как должно...

— Что выдумал!.. Его отставили?

— Сменили; он взял другой предмет, стал преподавать философию, его совсем отставили. Он ушел.

— Зачем же?

— Нашел, что лучше учить азбуке как должно, чем истории и философии как не надобно.

— И с тех пор бедствует?

— Бедствует?.. Не знаю, он ни на что не жалуется.

— Это удивительный человек.

— Да, он — *человек.*

— Что вы думаете, если я попрошу его взяться за воспитание моих детей?

— Я думаю, что вы не можете сделать лучшего выбора, если только...

— Что?.. Вы мне скажите откровенно.

— Если вы не хотите сделать из ваших сыновей ни офицеров...

— Нет.

— Ни царедворцев...

— О нет, нет, нет, — и бабушка окрестила перед собою на три стороны воздух.

— А если вы желаете видеть в них *людей...*

— Да, да; простых, добрых и честных людей, людей с познаниями, с религией и с прямою душою.

— Тогда Червев вам клад, но...

— Что еще?

— Червев христианин.

Говорившие переглянулись и помолчали.

— Это остро, — произнесла тихо княгиня.

— Да, — еще тише согласился Журавский.

— Настоящий христианин?

— Да.

— Желаю доверить ему моих детей.

— Я напишу ему.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Занятая призванием Червева, княгиня не замечала многого, на что во всякое другое время она, наверно, обратила бы свое внимание. Упущения этого рода особенно выражались по отношению к княжне Анастасии, которая, не входя в интересы матери и не понимая ее хлопот и нетерпения, находила в это время свой дом особенно скучным. На *свет,* конечно, нельзя было жаловаться, *свет* не отрекался от княгини и посещал ее,

но княжне этого было мало: ей хотелось предаться ему всем своим существом.

Семнадцатилетняя княжна решила как можно скорее оставить материн дом. Выход представлялся один — замужество. Княжна Анастасия никого не любила, ей даже никто не нравился, ей было все равно, за кого бы ее судьба ни вынесла, лишь бы поскорее, лишь бы заставить завидовать себе своих подруг, уехать за границу, а возвратясь оттуда, жить открытым домом и делать то же, что делают другие, то есть «выезжать в свет», к чему бабушка была решительно неспособна и откровенно в этом сознавалась, говоря, что:

— Я в карете не могу жить.

Словом, требования княжны в отношении брака были самые несложные, и если бы выбор жениха зависел от нее самой, то трудно решить, кого бы она выбрала, но за нее выбирала благочестивая и благопомощная графиня Хотетова.

В доме графини давно вздыхали о княжне Анастасии, «терзавшейся в руках *безверной матери*», вздыхала «об этой мученице» сама хозяйка, вздыхали ее гости, и, наконец, кому-то из них пришла гениальная мысль вырвать княжну у матери и выдать ее замуж, нимало не медля.

Сначала это представлялось как будто затруднительным, но недаром, видно, сказано, что «в России невозможности нет»: когда графине была представлена опасность, которая заключалась в том, что мать может выдать неопытную княжну за человека без веры, графиня ввиду этого страха решилась на смелую меру и восторжествовала. Жалуясь на княгиню целому свету и стараясь, чтобы жалобы эти ни в каком угле не застряли, а взмывали все выше и выше, графиня Антонида получила право рассчитывать на тонкое, но могущественное содействие такого лица, которому, как она неложно верила, в России никто отказать не в силах. По сведениям, которые она особенным образом получала от княжны Анастасии, она знала, что «бедное дитя» так измучено, что готово выйти замуж за кого угодно, но притом она так благоразумна и покорна, что считает лучшим для себя женихом того, кого ей изберет благочестивая графиня Антонида.

Теперь этой «святой женщине» предстояло только избрать жениха княжне, но это ей было не трудно: жених уже был готов, он сам избрал себя в это звание, и ему же принадлежал и весь объясненный мною план, который графиня считала своим только по самообольщению. Жених этот был не кто иной, как давно нам знакомый граф Василий Александрович Функендорф, ни за что не желавший расстаться с протозановскими маетностями. Потеряв надежду жениться на матери, граф устремил свои взоры на дочь; эта затея представляла немало трудностей, но зато она казалась вполне достижимою: путь, на который граф навел богомольную графиню, был верен, а выбор ее не мог пасть ни на кого другого. Графиня была им заинтересована, и притом с самой важной для нее стороны: она знала графа за человека наилучших правил; за ним не было слышно никаких интриг, и он был очень религиозен. Несмотря на то, что он исповедовал лютеранскую веру, графиня сама видела его в православной церкви. Граф даже признался ей, что он тяготится сухостью лютеранизма и высоко ставит превосходную теплоту восточного богослужения; чувствует молитвенное настроение только в русской церкви и не верит возможности умолить бога без посредства святых, из которых особенно чтит святого Николая.

Графиня Антонида заказала известному тогда иконописцу Озерову образ Мирликийского святителя, убрала его ризу бирюзой и бриллиантами и послала графу. Вместе с иконою была препровождена и дорогая серебряная лампада. Граф в слезах прилетел благодарить графиню. Они оба плакали от умиления. Потом вскоре граф заболел и не хотел лечиться: слухи об этом достигли графини, и она сама поехала навестить «друга». Друг встретил ее снова в слезах и повел показывать «свою убогую келью». Тут графиня увидала свою икону в высоком киоте, пред которым стоял аналой и горела подаренная графинею лампада. Графиня Антонида была взволнована, а граф еще более ее растрогал, сказав, что он никому не дозволяет касаться этой лампады и зажигает ее сам... Мало этого, говорят, будто старый греховодник, прося снисхождения своему чудачеству, открыл графине, что святитель Николай есть единственный его врач, а горящая пред иконою святого лампада единственная аптека.

— Друг мой! — воскликнула со слезами графиня, — разве это чудачество? Вот это только и есть вера и награда!

Графиня Антонида всегда соединяла *«веру с наградой»,* и это в такой степени прямо относилось к главным заботам ее жизни, что она даже хлопотала об учреждении в России особого знака отличия *за веру* и удивлялась холодности, с какою в высших инстанциях отклоняли ее представления об ордене верных.

С тех пор, как граф явил ей веру свою во всем блеске, графиня только и думала о том, чтобы наградить его и в то же время спасти его драгоценную душу присоединением ее от ереси Лютера ко греко-восточному православию. С этой целию графиня возила его в пустынь св. Сергия за Петербургом, и к чудотворцам Великого Новгорода, и даже на Валаам... Граф всюду ездил и везде усердно молился, и блюл в присутствии графини посты, от которых был свободен по уставам своей церкви, и даже, соревнуя другим фаворитам графини, начинал обличать замечательное для тогдашнего времени знакомство с византизмом. Будучи немножко музыкант, он скоро научился отличать настоящие восточные напевы от бесстильных нововведений Сарти, которыми незадолго перед тем так основательно была перепорчена наша церковная музыка и выправлением которых в это время занимался Бортнянский. Граф даже сам написал трехголосную «Херувимскую», модуляции которой развивались из анакреонтических напевов, сохранившихся по преданию в песнях пасхального канона. Злые языки уверяли, будто граф заказал эту «Херувимскую» какому-то музыкальному еврею в Вене, но никто точных справок об этом не наводил, да они и не требовались, а весьма недурно подделанная венским евреем «Херувимская» прекрасно исполнялась петербургскими певчими на клиросе домовой церкви графини Антониды... Словом, хотя при графине Антониде всякий старался если не быть, то казаться богомольным и верующим, чтобы «хватить ее благодати» (как это говорили тогдашние циники), но никому не удавалось «хватить» так, как графу Василью Александровичу: он был всех верующее и потому был всех ближе и всех дороже графине. Отсюда легко понять, как больно ей было, что душа этого человека все-таки будет му-

читься в аде, так как графиня *по своей вере* знала, что лютеран непременно сгонят в ад и в другое место мешаться не пустят.

Граф ничего не приводил в опровержение этого мнения: он, по-видимому, и сам разделял опасение попасть в ад, но только он не мог переменить веры, потому что имел такой взгляд, что честный человек обязан жить и умереть в той религии, в какой он родился. Этим честный человек будто бы оказывает достаточное уважение религии своих отцов, которой затем он может в сущности не держаться и даже издеваться над теми, кто ее держит... Выходила известная бестолковщина, которую, впрочем, люди равнодушные к вопросам совести называют «правилами».

Отступление от этих правил граф считал позволительным только в том единственном случае, когда для человека возникают новые обязательства к существам, с которыми он должен искать полного единения, для которых человек обязан «оставить отца и мать». Такое существо, разумеется, жена. Высоко ставя принцип семейный, граф говорил, что он считает в высшей степени вредным, чтобы члены одной и той же семьи держались разных религиозных взглядов и принадлежали к разным церквам.

Было ясно, что для приобретения этого человека существовало одно средство — женить его на православной девушке; но, к сожалению, граф находил эту мысль уже слишком для себя запоздалою, так как он был вдов и ему было уже около пятидесяти лет.

Сколько раз ни наводила графиня Антонида разговор с графом на эту тему, он был непреклонен и с серьезною скромностью указывал на то, что его сын от первого брака готовился надеть эполеты.

Свое ухаживанье за княгиней Варварой Никаноровной, а тем более свое неудачное сватовство к ней, граф, разумеется, хранил в глубочайшем секрете — об этом никто не знал, кроме бабушки, а та была скромна не менее самого графа. Да притом, может быть, если бы княгиня об этом и проговорилась, то ей едва ли бы поверили. В тот раз, при покушении на руку твердой и самостоятельной княгини, граф не мог иметь никаких пособников: там он должен был действовать сам, но теперь он держался иной, более безопасной тактики. Граф предоставлял

до всего додуматься графине Антониде и ей же дарил весь почин дела: она должна была вызнать мысли княжны, внушить ей симпатию к этому плану; забрать ее на свою сторону и, уверясь, что княжна в случае решительного вопроса даст решительный же ответ в желанном духе, граф предоставлял Хотетовой упросить и уговорить его на этот брак; а ему тогда останется только согласиться или не согласиться.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

План оказался верен во всех деталях, а исполнители его своею смелостью и тактом превзошли все ожидания прозорливого графа. О княгине во все звоны звонили как о женщине тяжелой, злой и даже вольнодумке: положение ее дочери представлялось страдальческим и взывающим к защите... Сам граф во весь этот промежуток, повидимому, был так далек от всей затеи, как только можно было себе представить: он даже реже, чем прежде, бывал теперь у Хотетовой, но зато чаще посещал княгиню Варвару Никаноровну, которая с пылким восторгом поверяла ему свои радости, заключавшиеся в открытии ею Червева.

Граф, к чести его сказать, умел слушать и умел понимать, что интересует человека. Княгиня находила удовольствие говорить с ним о своих надеждах на Червева, а он не разрушал этих надежд и даже частию укреплял их. Я уверена, что он в этом случае был совершенно искренен. Как немец, он мог интриговать во всем, что касается обихода, но в деле воспитания он не сказал бы лживого слова.

Словом, княгиня во все это время находилась с графом в лучших отношениях, а меж тем вокруг ее широко облегала ловкая интрига, которой бабушка решительно не замечала. Но зато каково же было ее изумление и негодование, когда все это перестало таиться и вдруг выступило на нее в атаку.

Бабушка была взята врасплох: это случилось на большом званом вечере, где были и княгиня и ее дочь. Сват, о котором в доме Хотетовой было сказано, что «ему ни-

кто не отказывает», подошел к княгине с улыбкой и сказал:

— Я к вам сватом, княгиня, — чтобы смягчить значение этих слов, он добавил известную простонародную фразу: — у вас товар, у меня купец.

Княгиня была поражена этою неожиданностью. Дочери возле нее в эту минуту не было: она танцевала в залах.

Княгиня, стоя перед тем, кто говорил с нею, глядела в его лицо и читала по его глазам, что ему на нее что-то наговорено: в ласковых и немного скучающих глазах чуть заметно блестели известные холодные блики.

Бабушка отвечала тою же простонародною речью:

— По засылу судя, гость товара достойнее; но живой товар должен сам говорить.

— Дочь ваша согласна: попросите сюда княжну.

Взволнованная резвым танцем княжна предстала; ее спросили: она была согласна. Кто же был жених? Княгиня видела Функендорфа и не верила своим глазам. Ей казалось, что ее обманывают разом все ее чувства, что все это не действительность, а какой-то нелепый сон, в котором и она бредила и теперь бредят все, спеша приносить свои поздравления ей, княжне и Функендорфу.

Но это не был сон: это была самая существенная действительность, всю силу и все значение которой княгиня вполне ощутила только тогда, когда, измученная своею ролью в продолжение вечера, она села в карету и, обхватив руками голову дочери, прижала ее к своей груди и зарыдала.

Княжна была гораздо покойнее, — это и было понятно: бабушка искала во всем, что случилось, своей вины, а княжна не видала в случившемся ничего, кроме торжества своей правоты и окончания своего житья в доме, которого *все* порядки не нравились ей, утомили ее и впереди не обещали ей ничего, кроме того же недовольства. Княгиня видела в неожиданном сегодняшнем происшествии страшное коварство, которое не пощадило ничего, а княжна видела во всем этом благородное заступничество за ее тяжелую долю; княгине был эстетически противен поступок человека, который метался с своею рукой от нее к дочери; княжна этого обстоятельства даже не подозревала и притом не могла и оценить

всей важности шага, на который дала свое бесповоротное согласие.

— Настя! друг мой! — проговорила княгиня, сжимая дочь в своих объятиях, — нас разлучают...

Княжна тихо заплакала.

— Тебя обманули, Настя... меня обманули, нас всех обманули!

— Кто, maman? — прошептала княжна.

— Не знаю, не знаю кто; но обманули.

И княгиня, выпустив голову дочери, закрыла руками лицо и снова зарыдала в платок.

— Не знаю кто, — продолжала она, немножко успокоясь, через минуту, — тебе это, может быть, больше известно.

С этими словами княгиня вдруг круто оборотилась в сторону дочери: та сидела, прижавшись в углу кареты, и после некоторой паузы тихо выговорила:

— Я ничего не знаю.

В тоне этого ответа не было никакой искренности, — он звучал фальшью.

— Ты жаловалась на меня кому-нибудь?

— Нет.

— Может быть, тетке... графине Антониде Петровне?

— Нет, maman, — я ничего не говорила графине.

Бабушка снова привлекла к себе княжну и, вздохнув, поцеловала ее в лоб, в глаза и в губы и перекрестила: она как нельзя яснее слышала, что дочь лжет, но ни о чем ее более не расспрашивала.

Карета остановилась у подъезда, и они вошли в пространное entrée[1] и рядом поднялись на лестницу.

Перейдя зал и гостиные комнаты, княгиня остановилась у дверей своей спальни и спросила:

— Ты устала, Настя?

— Да, maman.

— Так прощай; иди в свою комнату.

— Перекрестите же меня.

— Ах, да: прости меня.

Она подошла к своему образнику, вынула оттуда небольшой серебряный складень и, благословив им невесту, сказала:

---

[1] Вход, прихожая (*франц.*).

— Возьми это к себе: перед этим складнем отец твой молился за час до смерти, молись и ты — молитва очищает сердце.

С этим бабушка благословила дочь образом, поцеловала ее в голову и, отколов белую розу с ее груди, поместила цветок в образнике на место, откуда был снят складень.

У княжны снова блеснули слезы: она обняла мать и, поцеловав ее, вышла, держа в одной руке зажженную свечу, а в другой складень.

Княгиня все молча стояла и все глядела на дверь, в которую вышла дочь.

Душевное состояние бабушки было, вероятно, очень тяжело, — она о нем никому ничего не говорила, но о нем можно было судить по целому ряду не совсем правильных и вовсе необдуманных *нервных действий,* выразившихся в следующем.

Княгиня, во-первых, по словам Ольги Федотовны, долго стояла на том самом месте, на котором перекрестила дочь и отдала ей складень. Во все это время она была как в столбняке: она не сводила глаз с двери и не слыхала, как Ольга Федотовна два раза предлагала ей раздеваться.

Потом она без всякой видимой причины вдруг сильно вздрогнула, так что даже покачнулась на месте, и, заметив при этом Ольгу, окинула ее строгим взглядом и сказала:

— Что ты здесь... подсматриваешь, что ли, за мною?

— Я жду раздеть вас.

— Хорошо; я разденусь.

И когда Ольга Федотовна приступила делать бабушкин ночной туалет, та, стоя к ней спиною, всплеснула руками и, сжав их у себя на темени, громко воскликнула:

— Тяжело, господи, пощади! — и с этим опустилась в кресло.

Через минуту она, совсем раздетая, перешла комнату и, упав в постель, велела унести свечу. Но чуть Ольга вышла, бабушка постучала ей в стену. Ольга возвратилась и стала в ногах кровати. Княгиня, не оборачиваясь от стены, проговорила:

— Ты знаешь новость?

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Наша княжна выходит замуж.

Ольга Федотовна не спросила, кто жених, но бабушка сама ей это пояснила:

— Княжна выходит за графа Функендорфа. Слышишь?

— Слышу-с.

— Нравится тебе это?

Ольга молчала.

— Старому коту молоденькая мышка... Знать, и старые коты ловки.

Ольга мне рассказывала:

— Я после этого так потихоньку и вышла, но и я всю ночь не спала и слышала, что и она ни на минуту не заснула и утром раньше меня встала, и пресердитая. Я знала, что с ней в это время нельзя было разговаривать, и побежала к княжне, чтобы узнать, что сталося? А княжна тоже, как были вчера одеты, так только платье сбросили, так и спят на кроватке. Я, здесь ничего не узнавши, да бегу к Патрикею Семенычу, чтобы с его умом посоветоваться, да как раз в угольной наскочила, что княгиня, — чего никогда не бывало, — в утреннем капоте стоят, а перед ними бедный Жигошка и на коленях вертится, и ручонки ломает, и к небу таращится, и сам плачет.

«Экскюзе муа! — кричит, — экскюзе!»

Я, разумеется, догадалась, что тут уже не насчет здоровья, а что-нибудь поважнее, — взяла да за дверь спряталась, а как она Жигошу отпустила, я его в коридорчике и изловила за рукав и говорю:

«Что ты, шальной, сделал?»

«Ах, — говорит, — шер Ольга Федот, я сам теперь наплёт, валек и деревянна баба: я письмо носил».

«Какое ты письмо, куда носил?»

«Много, много письма носил».

«Да куда, от кого, бестолковая голова?»

«От пренсесс...»

Я рассердилась.

«Ах, — говорю, — ты, шелапут! Недаром, — говорю, — видно, Патрикей Семеныч говорил, что ты почтальон, — вот так и вышло! Да как же, — говорю, — ты это посмел сделать? Ведь тебя за это сейчас со двора долой, да еще

псом приуськнуть. Разве это можно, чтоб от девицы к мужчине письма переносить?»

Но он забожился:

«Нет, нет, нет, — говорит, — шер Ольга Федот, не к мужчине, а к графинь».

Я догадалась, что это к Хотетовше, и стала спокойнее, — только спросила его:

«Простила ли тебя княгиня?»

Он говорит:

«Простила, но только, — говорит, — я теперь после такой революций, — экскюзе».

«Ну, мол, бежи скорее да поменьше нынче с детьми-то у ней на глазах вертись, — нынче здесь еще много грому будет».

Он залопотал: «Все понимай, все понимай, экскюзе!» и убежал.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Ольга Федотовна была хороший барометр для определения домашней атмосферы: она как нельзя более основательно предсказывала грозу и напрасно старалась отвести ее своими отводами, вроде советов, данных ею Gigot, и увещаний «не сердить княгиню», нашептанных по всему дому. Бабушка, сознавшаяся вчера с вечера самому богу, что ей очень тяжело, была слишком наэлектризована вчерашним происшествием и не могла не разразиться. Утрешнее признание, которое она вырвала у Gigot, еще более увеличило заряд: Gigot сознался, что он каждое воскресенье, уходя к компатриотам, носил какие-то письма от княжны к Хотетовой. Что он делал это не из интриганства, не из корысти и вообще не из каких-нибудь других дурных побуждений, а par la pitié.[1] Этому княгиня вполне верила, и это действительно так и было, но тем не менее она открыла, что за нею в ее собственном доме было устроено систематическое шпионство, и кому же оно понадобилось? ее собственной дочери... Как это ни принимай, а не могло же это не оскорблять ее... Она верно сообразила, чьи пружины могли тут действовать, и потому-то прямо взяла утром на допрос поставленного

[1] Из жалости *(франц.)*.

к ней в дом графом m-r Gigot, а не кого бы то ни было другого. Во всех других она была уверена, и подобное дело par la pitié мог сделать по своему безрассудству только один Gigot.

Княгиня и в эти минуты высшего раздражения нашла в себе столько справедливости, что, взвесив поступок бедного француза, простила его и даже запретила ему представлять доказательство, кем он был склонен к этому. Но зато тот, кто всему этому был причиною, мог ожидать себе хорошей встречи, и он ее таки и дождался.

Княжна Анастасия в этот день долго не выходила из своей комнаты. Она поздно проснулась и не совсем хорошо себя чувствовала. Бабушка навестила дочь в ее комнатах и, найдя, что у княжны что-то вроде лихорадки, посоветовала ей не выходить до обеда, а если захочет, то и весь день провести у себя.

Княжна очень этого хотела и потому с радостью воспользовалась материнским дозволением остаться сама с собою. Ей было о чем подумать, но, впрочем, о чем она думала, это теперь все равно.

Княгиня вышла в приемные комнаты одна и села, по обыкновению, с своею работою. Без работы она никогда не оставалась, и потому, в тоне или не в тоне было работать при гостях, это ее не озабочивало. Итак, княгиня сидела тихо, задумчиво, работала молча и, по-видимому, была даже покойна. Она приняла несколько человек, приехавших ее поздравить, и ко всем она была ласкова и приветлива, так что прием ее дышал даже особенною тихостию и теплотою; она, по-видимому, ни в чьих словах не слыхала никакой иронии и насмешки и всех только сдерживала на сокращении благожеланий:

— Будет, будет, — верю... благодарю, — отвечала она, усаживая гостя.

Но все это было только тишина перед бурею. Чуть только в длинной анфиладе открытых комнат показалась импозантная фигура графа Функендорфа, по лицу бабушки заходили розовые пятна, — однако она и на этот раз себя сдержала и отвечала графу поцелуем в щеку на его поцелуй ее руки, шутливо молвив:

— Я, любезный зять, вас раньше ждала, — и она прикусила слегка нижнюю губу и внимательно слушала,

пока Функендорф извинялся, что его утром звали в кабинет по важному делу.

— Я пошутила: вы человек деловой, — отвечала, оборачиваясь к другим, княгиня.

Она не верила слышанной отговорке и мысленно искала настоящей причины, для чего граф, сыграв с ней вчерашнюю штуку, не приехал к ней ранее всех утром, чтобы объясниться без свидетелей, а, напротив, оттянул свидание? Но причина эта не замедлила объясниться: вслед за графом вдали той же анфилады показалась графиня Антонида Петровна. Бабушка догадалась, что граф и графиня условились съехаться... Конечно, граф хотел держаться за графинею, как за ширмою, и только немножко неосторожно опередил ее, или та, против уговора, замешкалась.

Варвара Никаноровна, заметив гостью, встала и сделала несколько шагов ей навстречу.

Графиня Антонида была чинна, и от нее холодком так и повевало; впрочем, в общем всегда мало изменявшийся вид ее имел в себе на этот раз нечто торжественное: ее коски на висках были словно круче, одутловатые щечки под смуглою кожею горели румяным подсветом, изумительной чистоты руки сверкали от гладкости, а каленое платье погромыхивало. Графиня шла не одна: за нею сзади двигались две покровительствуемые дамы из ее придворного штата: они несли большую и, по-видимому, довольно тяжелую роскошную корзину, покрытую широким куском белого батиста.

Бабушка поняла, что эти дамы, при участии которых подносится подарок, тоже здесь для ширм, для того, чтобы всем этим многолюдством защититься от бабушкиной резкости. Княгине это даже стало смешно, и бродившие у нее по лицу розовые пятна перестали двигаться и стали на месте. Теперь она сходилась лицом к лицу с этой женщиной, которая нанесла ей такой нестерпимый удар.

Та первая подала бабушке руку, но взглянула ей не в лицо, а через плечо, далее. Она, очевидно, искала глазами княжну, но, не видя ее, должна была начать разговор с княгинею:

— Извини... я думала: для таких минут... ты не осердишься...

Княгине, кроме мужа и родителей да крестьян, никто не говорил *ты*, — это была первая попытка ввести такую форму в обращении с бабушкою, и бабушка это снесла и отвечала графине Антониде с *вы*.

— Сердиться? мне?.. за что? Я рада...

— Что дочь? — продолжала Хотетова, небрежно роняя слова и осматривая присутствующих, — я, извини меня... хотела вас поздравить...

— Я вас благодарю, и снова...

— Да; не беспокойся... я утром съездила к обедне... помолилась... смотрела вас по церкви, да не видала... Неужто не были? Потом заехала, взяла... тут кой-какие безделушки... для невесты... Позволишь?

— Сколько вам угодно.

— Но где же она? княжна-то?

— Она там... у себя.

— Что, нездорова?

— Да.

— Так я туда. Надеюсь, можно?

— О, конечно.

Графиня тронулась в сопровождении своих ассистенток и бабушки; гости, видя недосуг хозяйки, окружили графа с поздравлениями, которые тот с этой поры позволил приносить себе.

Эти гости были здесь так оживлены и веселы, что им показалось, будто княгиня Варвара Никаноровна просидела со своею гостьею у дочери всего одну минуту, но зато при возвращении их никто бы не узнал: ни эту хозяйку, ни эту гостью, — даже ассистентки графини сморщились, как сморчки, и летели за графинею, которая пронеслась стремглав и, выкатив за порог гостиной, обернулась, обшаркнула о ковер подошву и сказала:

— Я отряхаю прах.

Затем она снова повернулась и вышла.

Княгиня ее не провожала: она молча сидела в углу дивана и тяжело дышала, теребя в руках веер.

Гости переглянулись и один по одному тихо вышли. Княгиня их не удерживала. Она осталась вдвоем с графом, который тоже не совсем был доволен своим положением и не знал, что делать с разгневанной княгиней. Он, я думаю, был только очень рад, что женится не на ней, а на ее дочери.

— Что случилось? — прошептал он мягким и вкрадчивым шепотом.

Княгиня не отвечала и продолжала обмахиваться веером.

Граф, переждав минуту, повторил вопрос.

— Случилась вещь простая, — отвечала бабушка, — я не люблю, чтобы меня унижали, когда я этого не желаю...

— Вас унижать... кто это может?

— Вот... графиня...

— Графиня!

— Да; она благочестива... я не спорю: я грешница и не сужу людей... Она мне здесь ни слова не сказала, что свадьбу надо скоро... Ваш сват вас хочет сам благословить?

Граф самодовольно покраснел и поклонился.

— Что же? к его отъезду у меня все будет готово; но графине и этого казалось мало... за меня решать и всем распоряжаться... она при дочери мне стала говорить, что я должна б сегодня ехать в церковь... Она была, а я...

— Зачем это ей?

— Не знаю, право... но я мать: зачем меня ронять при детях? Я ей ответила, что тоже утром занималась: она молилася за Настеньку и вклад монастырю дала, а я писала управителю, чтобы он голодным хотетовским мужикам бесплатно по четверти хлеба на семена роздал за Настино здоровье... всякий, значит, свое сделал...

— И вы ей это сказали?

— Да; а что же: разве это обидно?

— Гм... нет... разумеется: но ей это всегда неприятно про голодных...

— Очень верю, граф... голодные мужики очень неприятны, но и мне, граф, тоже многое очень неприятно...

Тот склонил голову и пожал плечами.

— Очень, очень, граф, неприятно, но я стараюсь все перенести; и я отдаю вам, граф, мою дочь; и я дам, граф, моей дочери не только все, что ей следует, но и то, чего не следует; я, граф, дам все, что только могу отдать.

Граф склонился еще ниже и прильнул губами к рукам княгини.

— Все, все дам, граф; много дам: все вам к одной

меже... Именья хорошие... земля как бархат, угодья водяные, леса и мужики исправные, в зажитье...

Говоря это свободным и громким голосом, княгиня все крепче и крепче сжимала руки графа и при последних словах еще усилила это пожатие и, понизив тон, добавила:

— Но если, граф, ваша слишком молоденькая для вас жена когда-нибудь вами наскучит и в другую сторону взглянет, то уж тогда я вам помочь буду не в силах, а вы к графине Хотетовой обратитесь, — пусть она о вас помолится.

С последним словом бабушка презрительно выбросила руки графа и, оставив его посреди гостиной, ушла во внутренние покои.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Этим взрывом княгиня облегчила свою обиду и весь остальной день просидела в гораздо более спокойном состоянии, а вечером в доме произошла история, которая ее даже заставила рассмеяться: дело в том, что Gigot имел неосторожность рассказать о своем проступке Рогожину, а тот начал делать ему внушения, окончившиеся тем, что они подрались. Бабушка вбежала на страшный крик в столовую и застала, что француз и Дон-Кихот, вооруженные медными прутьями из оконных штор, с страшным криком гонялись друг за другом вокруг обеденного стола. Взглянув на эту катавасию, сейчас же можно было понять, что Рогожин нападает, а Gigot от него спасается: Рогожин, делая аршинные шаги и сверкая глазами, хрипел: «Шпион! шпион!» а Gigot, весь красный, катился вперед, как шар, и орал отчаянным голосом: «Исво-о-ощи-к!»

Увидев вошедшую в столовую княгиню, Gigot тотчас же бросился под ее защиту.

Бабушка рассмеялась и, скрыв Gigot у себя за спиною, огородила его своими руками и сказала Рогожину:

— Не стыдно ли тебе: за что ты его душишь?

Дон-Кихот, ничего не отвечая, только тяжело дышал, сверкая своим изумрудным глазом, а Gigot весь трясся и держался дрожащими руками за бабушкино платье.

— Помиритесь сейчас! — сказала княгиня. — Слышите? сейчас помиритесь: я этого требую.

При слове «требую» Gigot выступил вперед и, восклицая: «A la bonne heure»,[1] кинулся с объятиями к Рогожину, но тот отодвинулся назад и, высоко подняв голову, прошипел:

— Я с шпионами не мирюсь.

Княгиня насилу убедила Рогожина, что Gigot в известном происшествии отнюдь не был подкупной шпион, а только играл глупую роль, и заставила врагов поцеловаться. Gigot исполнил это охотно, но Рогожин только едва подставил ему сухо свою щеку. После всего этого бабушка велела их *проводить* каждого в свою комнату, и Патрикей свел Дон-Кихота, а Ольга отвела Gigot.

Однако тем дело не кончилось. Доримедонт Васильич, убедясь, что «с бараньей ляжки» взыскивать нечего, считал себя призванным отмстить графине Антониде и графу, и он привел это в исполнение. Первой он написал «памфлет» и принудил того же Gigot доставить этот памфлет в запечатанном конверте самой графине. Он это поставил французу необходимым условием для его целости, без чего грозился в удобное время отдуть его, когда княгини не будет дома.

— Ты знай, — говорил он, — что если ты и половину шпион, или три четверти шпион, а может быть и целый, но все-таки честный человек тебя может бить.

Gigot был вынужден исполнить требование Рогожина и доставил графине конверт, который та и распечатала, ожидая найти в нем письмо от княжны.

В конверте было следующее шестистишие, посвященное не то графине Хотетовой, не то ее большому голодавшему селу Хотетову:

Хоть этого
Хотетова
Давно я не видал,
Но энтого
Хотетова
Несчастней я не знал.

Подписано: *«Сочинил дворянин Доримедонт Рогожин»*.

---

[1] В добрый час *(франц.)*.

Графиня Антонида страшно оскорбилась произведением Дон-Кихотовой музы: напоминание о бедственном положении ее мужиков, о котором она никогда не желала слушать и которым ей в последнее время так часто досаждала княгиня Варвара Никаноровна, привело ее в ярость, под влиянием которой она немедленно же отослала письмо Рогожина к начальнику столицы с просьбою защитить ее от «нестерпимого нахала», а вместе с тем позвала графа и принесла ему горячую жалобу на его тещу.

Граф, желая примирить враждующие стороны, явился к бабушке и застал ее в кабинете сильно занятою: сидя за кучею бумаг, она составляла проект выдела княжны Анастасии. Выдел был действительно самый щедрый: бабушка, действуя как опекунша в пределах предоставленной ей законом власти, выбирала дочери законную часть в таких местах, что часть эта, отвечая законным размерам по объему земли и численности душ, далеко превосходила эти размеры действительною стоимостью. Княгиня выбирала в приданое дочери самое лучшее и как можно ближе подходившее к новым владениям графа: лучшие земли с бечевником по берегам судоходной реки, старые плодовитые сады, мельницы, толчеи и крупорушки, озера и зáводи, конский завод в Разновилье и барский дом в Шахове. Мужики в обоих селах всё состоятельные, у которых, кроме нарезных помещичьих земель, бывших в их обработке, были еще значительные собственные земли, купленные ими на имя княгини, амбары в базарных селах и даже дома в городах. Сыновей княгиня этим выделом не боялась обидеть, потому что, по ее мнению, им и так доставалось против сестры очень много, а к тому же княгиня рассчитывала добрым хозяйством увеличить их состояние к тому времени, когда они придут в совершенный возраст. Кроме того, княгиня посягнула для «нелюбимой дочери» на свою собственную часть: чтобы соединить выделяемые ей поля, бабушка решила просить собственного выдела, с тем чтоб при новой нарезке соединить интервалы дочерних полей на счет своей вдовьей части.

Граф, препожаловав с жалобою графини Антониды на Дон-Кихота, застал бабушку уже при конце ее работы,

которую оставалось только оформить актуальным порядком, для чего тут перед княгинею и стояли землемер и чиновник. А потому, когда княгине доложили о графе, она велела просить его в кабинет и встретила его словами:

— Вы кстати, граф, взгляните, что́ я отделяю Настеньке из отцова и моего состояния.

И она положила перед графом реестры и планы с проведенными на последних линиями проектированного надела.

Граф, разумеется, не имел времени рассмотреть все в подробности, но линии, проведенные на планах, убедили его, что он получает за женою много, так много, как он не ожидал и сколько ни в каком случае не мог бы взять, если бы женился не на княжне, а на самой княгине.

Он опять повторил свои благодарности и поцеловал руку тещи, а княгиня дала знак чиновнику и землемеру взять бумаги и сделать, как сказано. Когда те вышли, она спросила:

— Довольны ли вы мною, граф?

— О, княгиня!..

— Право, не знаю, но мне кажется, что я своей дочери не обидела?

— Нет, боже мой! кто говорит, чтобы вы кого-нибудь могли обидеть...

— Отчего же?.. человек как все... могу и я грешить и ошибаться, но только я не люблю быть долго виноватою и, если кого обижу, люблю поскорей поправиться: прошу прощения.

— Княгиня, вы меня радуете.

— Радую!

— Да, княгиня... я не знал, как с вами заговорить, а вы мне это облегчили.

— Что такое? о чем вы со мною не знали как заговорить?

Граф оглянулся и прошептал:

— Мы одни, княгиня?

— Никто чужой нас не слышит, — говорите.

— Графиня Антонида Петровна... Вот чуть я ее назвал, вы уже, кажется, и сердитесь?

— Нимало нет.

— Графиня Антонида Петровна ужасно обижена... и... право, я не знаю, как вам про это рассказать...

— Да говорите просто: она обижена; ну кто ее обидел: я?

— Не вы, но... Вы, верно, слышали, на нее написан скверный пашквиль...

— Фуй! Нет, я ничего ни про какие пашквили не хочу знать.

— Но досадно то, что пашквиль вышел отсюда...

— Откудова, граф?

— Из вашего дома, княгиня.

Бабушка помахала, по своему обыкновению, отрицательно пальцем и, в глубокой уверенности в своей правоте, отвечала:

— Нет, граф, это неправда, этого быть не может.

Но граф вместо ответа вынул из кармана и подал бабушке копию с известного нам стихотворения Рогожина.

Княгиня пробежала бумажку и, насупив брови, еще раз перечитала ее вслух:

— «Хоть этого Хотетова, но энтого Хотетова», — Державин острей писал. А впрочем, позвольте мне, граф, узнать, что мне за дело до «этого Хотетова и энтого Хотетова»; с какой стати вы сочли своим долгом мне это доставить?

— Ведь это Рогожин написал.

— Так что же такое: разве я отвечаю за то, что сумасшедший человек может кому-нибудь написать?

— Вы уверены, что он сумасшедший?

— Гм... ну, я так думаю, что он немножечко расстроен, а если вы иначе о нем полагаете, вызовите его на дуэль.

— Что вы, княгиня!

— Отчего же? он не откажется.

— Помилуйте: да этого и графиня не захочет... Дуэль, которая может кончиться убийством... Что вы, что вы! это совсем не в ее правилах.

— А если это не в ее правилах, так не о чем и говорить: ругнул ее человек, ну и что такое — над Христом ругались. А я вам вот что скажу: я вашей графине только удивляюсь, как она с своею святостью никому ничего простить не может.

Граф был уступчив.

— Все дело в том, княгиня, разумеется... если он сумасшедший, — заговорил граф, но бабушка его перебила.

— Да, — сказала она, — все дело в том, граф, что это вздор, что умным людям, граф, стыдно обращать на такие вещи внимание...

— Конечно.

— Да; скажите ей, что «стыдно»: пускай берет пример с царицы Екатерины. Ей, чай, известно, что Екатерина сочиненную на нее мерзость не читая разорвала и в печку бросила. Так ей и скажите, а я про «этого Хотетова» ничего не знаю, окромя как то, что там все мужики с сумой по миру ходят... Так и про это скажите, граф, стыдно на мертвые тела серебряные раки делать, когда живые голодом гибнут. Они гибнут только потому, что не знают, в ком сила... Я к этому ничего не прибавлю, да мне и некогда: у меня через две недели дочь замуж выходит, будет с меня этих хлопот без графини Антониды Петровны; а она пусть смирится, — люди бо́льшие обиды сносят и не жалуются. А теперь прощайте: там обойные мастера ждут. Вы ко мне кушать приезжайте.

И княгиня, извинясь, не пошла провожать графа, а направилась к другим дверям; она хотела как можно скорее призвать Рогожина и дать ему добрый напрягай, а может быть даже склонить его как можно скорее к тому, чтобы он уехал из Петербурга.

«Совсем не то время теперь и не то место, чтобы еще здесь распутывать его глупости», — размышляла княгиня, которой вдруг пришло в голову, что «аракчеевцы», ища повсюду особых случаев, того и гляди рады будут этому вздору и навлекут на бедного дворянина небывалое обвинение, что он-де не только пашквилянт на благородное сословие, но еще и пашквили его имеют дурное влияние: могут служить к подрыву помещичьей власти над крепостными людьми.

«Нет, лучше всего его за добра ума выпроводить отсюда, хоть не туда... не совсем домой, потому что он там под судом, а...»

Но в это время до слуха ее долетел страшный удар, от которого задрожали стены дома: можно было думать, что упало какое-то грузное, тяжелое, массивное тело...

«Верно, большая люстра оборвалась или статуя с хор упала!» — подумала княгиня и, быстро выбежав в дверь, увидала, что в зале Патрикей поднимал графа, который никак не мог встать на ноги.

Бабушка кинулась к пострадавшему с вопросом:

— Что с вами, граф?..

— Я, кажется, ногу сломал, — отвечал граф, делая неудачную попытку стать на ногу.

— Скорее доктора и костоправа! но как вы здесь могли упасть?

И княгиня, оглянув комнату, тут только заметила, что длинная ковровая дорожка, лежавшая через весь зал, была до половины сдернута и в дверях, куда ее стянули, стоял Рогожин.

— Уйди ты, ненавистный! — крикнула ему княгиня, направляясь вслед за людьми, которые внесли графа в одну из гостиных и положили его на диване.

Граф молчал, княгиня была страшно взволнована и, наказав как можно тщательнее скрыть все от дочери, встретила костоправа со словами:

— Тысячу рублей вам заплачу, если больной будет ходить через две недели.

Костоправ вышел, осмотрев ногу графа, и, выйдя в зал, чтобы велеть подать себе таз с взбитою мыльною пеной, объявил княгине, что у больного просто небольшой вывих и что он может ходить через неделю.

— Вы получите две тысячи вместо одной, — отвечала княгиня и сама присутствовала при операции, как графу по старине намылили ногу, как его начали тащить люди в одну сторону, а костоправ намыленными по локоть руками в другую: дернул раз, два и в третий что-то глухо щелкнуло, и граф вскрикнул:

— Вы оторвали мне ногу!

— Нога теперь на месте, — отвечал костоправ.

И действительно, граф к вечеру мог уже переехать в карете к себе, а через два дня был на ногах по-прежнему молодцом и уже не застал Рогожина в доме тещи. Дон-Кихот был выслан из Петербурга в тот же день, как он уронил графа, потянув из-под его ног ковер. Княгиня наскоро призвала его и сказала:

— Доримедонт Васильич, у меня до тебя просьба!

— А что такое?

— Уезжай из Петербурга сейчас... Домой не езди, тебя там схватят...

— То-то и есть.

— Да; я тебя в Курск посылаю; ступай туда к Мефодию Миронычу Черву и скажи ему, что я скоро сама к нему приеду и буду его просить моих детей учить...

— Князей?

— Да; князей.

— Это хорошо: он знает больше того, кто сто книг выучил.

— Вот и прекрасно: может быть, он знает, как и с тобой управляться, а то ты мне уже здесь очень дорого стоишь, да и хлопот с тобой не оберешься, а мне теперь некогда... Бери Марью Николаевну и поезжайте, — ее из Курска отправь, а сам меня жди у Червева.

Рогожин потянул носом и, по обыкновению, скоро заорал свое:

— Эй, Зинобей!

Одры и Зинка не забыли службы и через час уже катили за заставою, держась навстречу журавлей, которые, чуя приближение весны, летели на север.

Княгиня, отправив этих гостей, успокоилась. К Патрикею, правда, являлся полицейский узнавать, что за человек живет у них под именем дворянина Рогожина, но Патрикей знал, как обходиться с чиновными людьми: он дал ему двадцать пять рублей и сказал, что это был из их мест крепостной, в уме тронутый, но его в Белые берега к подспудным мощам отправили.

Более о Рогожине розысков тут не было, и в доме все шло как нельзя лучше: приданое было готово как по щучьему велению, а граф ходил молодцом лучше прежнего.

— Как должно, перед свадьбой и у костоправа в руках побывал, — говорила Ольга Федотовна, обрывавшая на этом второй период протозановской хроники.

Граф женился на тетушке Анастасии. На свадьбе их ничего не произошло замечательного: было все пышно, хорошо, было много гостей, роздано всем много подарков и много денег. Княгиня на третий день после свадьбы дала большой бал, на котором допустила следующее отступление от нового этикета в пользу старины: когда пили за здоровье молодых, к княгине подошел Патрикей

с серебряным подносом, на котором была насыпана куча червонцев.

Бабушка взяла поднос и, поднеся его графу, сказала:

— Любезный зять, не осудите: вы были нездоровы немножечко, позвольте мне просить вас съездить с Настей за границу — ей будет ново и полезно видеть, как живут в чужих краях; а это от меня вам на дорогу.

Граф должен был принять и приношение и просьбу.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вслед за этим балом вскоре же начались сборы новобрачных за границу. Граф устроил так, что поездка его имела дипломатическую цель, это давало ему прекрасное положение при иностранных дворах, а также и делало экономию. Княгиня, узнав об этом, сказала только:

— Значит, я ему немножко лишнего дала на дорогу, ну да бог с ним: пусть с легкой руки разживается.

Княгиня была все это время очень весела и довольна, и никто не знал, чему надо было приписать такое довольное ее состояние? Впрочем, полагали, что она рада, устроив дочь за видного человека; но причина приятного настроения княгини была совсем иная: Варвара Никаноровна не одобряла в душе брака дочери и предвидела от него впереди «много неприятного», но это уже было дело непоправимое, зато теперь, пока что случится, дело это давало ей передышку и увольняло ее отсюда, с этого «ингерманландского болота», как звали тогда Петербург люди, побывавшие за границею. Княгиня могла уехать домой в свое теплое гнездышко, в уютное, неприкосновенное Протозаново, которое казалось ей еще милее после всех петербургских передряг и особенно после того, как Патрикей, всего за день до свадьбы тетушки Анастасии Львовны, подал княгине распечатанный конверт из Курска.

Конверт был надписан незнакомою рукою на имя Дмитрия Петровича Журавского, и Патрикей, доложив княгине, что Журавский «сам изволил заносить пакет, но доложить не приказал, — сказал: не надо... тут увидят всё, что нужно».

Бабушка догадалась, что Дмитрий Петрович слышал, что у нее свадьба, и не хотел отрывать ее... Ей было это немножечко досадно, что он даже «спасибо» сказать себе не позволил, но все равно: она знала, от кого этот конверт: в нем должен был заключаться столь долгожданный и столь важный для нее ответ от Червева.

Княгиня была так взволнована, что, дернув нетерпеливою рукою листок из конверта, она опять вложила его туда назад и сказала:

— Нет, это малодушие: буду терпеть до вечера.

С этим она положила письмо на образник и прочитала его только помолясь на ночь богу: письмо было вполне утешительное. Списываю его точно с пожелтевшего листка сероватой рыхлой бумаги с прозрачным водяным штемпелем, изображающим козерога в двойном круге.

«Любезный благоприятель! Получил я письмо ваше с предложением принять на себя воспитание детей известной вам княгини, и много о сем предложении думал, и соображал оное со многих сторон, а потому долгонько вам и не отвечал. Не знаю, однако, что и теперь вам отвечу.

Есть страны, где образование в полнейшем объеме дают тем, кто в нем менее будет иметь надобности, и лишают оного других, которые должны иметь обширную ученость, дабы служить народу с высокого положения. Сии, по несчастию, предполагаются как бы от самого рождения своего получившими все познания, и им вручают ключи разумения, взяв которые они ни сами в храм знания не входят и желающим войти в него возбраняют. Смотрите, не так ли это и у нас: не учат ли и у нас всех менее тех, кого надо бы учить всех более, и не изобретают ли и у нас для таковых особых приемов учения, кои ничего общего с наукою не имеют? Не в таковых ли мыслях ищет учителя своим детям и объясненная вами княгиня? В таком разе ей нет во мне никакой надобности, и вы ей можете посоветовать ученых людей в столицах: там есть много искусных для такого преподавания. Но если, как вы полагаете, она несколько инакова, то надо бы объяснить ей задачи и план зрелой науки. Кто что ни говори, а корень учения горек, да и плоды оного в России не сладки. То же и о вере. Скажите ей, что Моисей, изводя народ из неволи, велел своим унести драгоценные

сосуды египтян, и мы можем хорошо воспитать *нового человека* только тогда, когда он похитит мудрость древних и поносится с нею в зное пустыни, пренебрегая и голод, и жажду, и горечь мерры. Вера моя — от удостоверения моего ума, а не от того, что писано уставом или полууставом. А посему размыслите, благоприятель, гожусь ли я воспитывать княжат, назначаемых достигать славы своея, а не славы пославшего нас Отца. Им внушают — почитать себя за важное и необходимое в руководстве другими, а по-моему, первое начало, чтобы сей глупости не доверяли и руководить людьми не стремились, а себя умнее руководили. Молодым родовитым и знатным юношам всего потребнее внушать — что они весьма не очень потребны. Что же касается до моего согласия, то где я возьму силы, чтобы не согласиться хоть двух ребят во всю мою жизнь обучить так, как бы мне хотелось? Именитых детей, учимых не ради скорого приобретения ими хлеба куска, можно учить лишь себе в радость и в утешение, о коем, признаюсь, в лучшей поре моей жизни мечтал я. Вспомните, что я излагал некогда о есотерическом и ексотерическом в науке: я видел мою esotoris [1] тогда яко зерцалом в гадании: я лишь в отраднейшей мечте воображал счастливцев, которым суждено отраднейшее бремя овладеть на много лет умом цветущих юношей с призванием к степени высокому и весть их к истинному разумению жизни... и вот об этом речь... И сей счастливец я! О, благоприятель! неужто я увижу их лицом к лицу? неужто я почувствую в моих руках их юношеские руки, неужто я увижу, как их юношеский ум начнет передо мною раскрываться, будто пышный цвет пред зарею, и я умру с отрадою, что этот цвет в свое время даст плод сторичный... О, благоприятель! смотрите: осторожно ли вы писали, не шутка ли это, не кладете ли вы камень в протянутую руку нищего? Эта шутка была бы слишком жестока... Подумайте: великий Кеплер говорил, что если бы он мог окинуть взглядом вселенную, но не видал бы жаждущего познания человека, то он нашел бы свое удивление бесплодным, а я, червяк, без всех решительно сравнений, его ничтожнейший, до сей поры все жил, не видя никого, кому бы мог сказать о том, что я

---

[1] Сокровенную *(греч.)*.

своим окинул взором... Но нет; вы ведь не шутите... не правда ли? давайте их сюда, давайте этих юношей Червеву, — он их с любовью научит понимать достойное познанья и, может быть, откроет им — как можно быть счастливым в бедствиях.

Об условиях со мной не говорите: делающий достоин мзды, а вол молотящий — корму. Более мне ничего не нужно. Мефодий Червев».

Княгиня была в восторге от этого письма. Не знаю, что именно ее в нем пленяло; но, конечно, тут имело значение и слово «о счастии в самых бедствиях». Она и сама почитала такое познание драгоценнее всяких иных знаний, но не решалась это высказать, потому что считала себя «профаном в науках». Притом бабушка хотя и не верила, что «древле было все лучше и дешевле», но ей нравились большие характеры, с которыми она была знакома по жизнеописаниям Плутарха во французском переводе.

— Там есть кому подражать и есть на чем дитя воспитывать, — вот, кажется, все, что она понимала, усвоивая себе самое важное и существенное. Пусть-де не будут верхолетами, — пусть готовеньких вершков не схватывают, а по началам всё продумают, тогда они не будут самомнящи, и смирней будут в счастии, и крепче в несчастии... Она тоже не по уставу, а «по удостоверению своего ума» была уверена, что добрые и умные родители непременно должны приготовлять своих детей к уменью с достоинством жить в счастье и в несчастье.

Таковы были непосредственные взгляды княгини на воспитание, и письмо Мефодия Мироныча, конечно, этим взглядам отвечало. Но что всего более влекло теперь княгиню к Червеву, это было его особенное отношение к своему призванию.

— Ни слова добрый человек не говорит о том, что ему заплатить... даже гнушается этим, — значит дело любит, а не деньги... Такие люди редки: бог мне в нем неслыханное счастье посылает.

И княгиня, благословив бога, спала эту ночь крепко, а на другой день встала довольною и веселою. С тех пор прекрасное настроение духа не изменяло ей во все остальные дни приготовления к дочерниной свадьбе и к наступившим за свадьбою проводам новобрачных за границу.

День отъезда молодых был давно назначен: княгиня собиралась сама уехать к себе в Протозаново тотчас по отъезде Функендорфов. Знакомым, которые уговаривали княгиню еще погостить в «хорошем городе Петербурге», она отвечала:

— Нет, благодарю за привет, не спорю, Петербург город хороший: и вымощен, и выметен, но у себя дома, в деревне, мне все-таки больше нравится.

Варвара Никаноровна и вперед сюда не обещалась скоро. На просьбы дочери приехать в Петербург на будущую зиму она ласково отвечала ей:

— Нет, мой друг, я и обманывать тебя не хочу, — не поеду: зачем? мне тут делать нечего. Здесь место тому, кому нужны кресты да перстни, а наше благо на пепле растет, и надо в нем копаться, сидя на своем кореню. Было время, и я здесь жила, но хорошего тоже мало из того времени помню... а теперь я уже совсем от этого отстала, и слава за то создателю: надо кому-нибудь и соху с лопатой знать, а наездом хлеба не напашешь.

Нежность княгини к «нелюбимой дочери» во все это время не только не уменьшалась, но, напротив, еще более усиливалась: Варвара Никаноровна сама не знала, чем ей свою Настеньку утешить и обрадовать. Она каждый день приезжала к ней с дорогими подарками: купила ей самый дорогой, покойный и щегольской дорожный дормез и навезла такую кучу разных путевых вещей, что с ними не знали куда деваться. Граф, рассматривая эти вещи, вероятно не раз думал, к чему эта трата? Не лучше ли бы деньгами? Молодая графиня была, кажется, одних с мужем мыслей. По крайней мере она всякий раз ставила матери на вид, что за границею все лучше и дешевле, но княгиня отвечала:

— То лучше, да из чужих рук, а это от матери, — и опять продолжала возить подарок за подарком. Наконец бабушке пришла самая оригинальная мысль, и она сделала тетушке такой странный подарок, какого от нее никак невозможно было и ожидать, а именно: она, явясь в один день к дочери, объявила, что дарит ей Ольгу Федотовну... Конечно, не навек, не в крепость, а так, в услужение.

Тетушка Анастасия отнюдь не выражала никогда ни малейшего желания получить этот подарок и даже едва

ли была ему рада, по крайней мере она энергически от него отказывалась, говоря:

— К чему она мне, maman? вы Ольгу любите, вы к ней привыкли, а я имею свою прислугу... Наконец она и сама к вам так привязана, что ей будет тяжело с вами расстаться.

Но бабушка была непреклонна: она хотела отдать «нелюбимой дочери» все, что имела самого дорогого, и решительно настаивала, чтобы графиня брала Ольгу.

— Она ко мне привязана — это правда, и я ее люблю, но поэтому-то непременно ты ее и бери: она тебя сбережет, а иначе я за тебя покойна не буду.

Переспорить в этом бабушку было решительно невозможно, и графиня должна была согласиться принять Ольгу, но за то уже решительно воспротивилась, когда мать задумала сделать ей еще один подарок, в лице m-r Gigot. Бабушка находила, что он был бы очень пригоден за границею, и говорила:

— Ты не церемонься со мною: я без него обойдусь, а он французик услужливый и ничем не обижается, да и притом он еще, кажется, из портных, — так и починку какую нужно дорогою сделает... Право, бери его: я им обоим и денег от себя на дорогу дам, а ты при нем с Ольгою все так и будешь, как будто бы между своих.

Это, однако же, осталось втуне: молодая графиня отнюдь не желала быть между своих, и проект о Gigot был оставлен; но Ольга Федотовна собиралась в путь. Сборы моей доброй старушки главным образом заключались не в вещевом багаже, а в нравственном приготовлении к разлуке на целый год с родиною и с милыми сердцу. Ольге Федотовне было всех жалко, и княгиню, и князьков, и Патрикея Семеныча, и «Жигошу», — о последнем она заботилась даже, кажется, больше, чем о всех других, и всех, кого могла, просила жалеть его, сироту.

Все время своих сборов она была очень растрогана, и чем ближе подходил день отъезда, тем нервное ее состояние становилось чувствительнее; но недаром говорят, истома хуже смерти: день отъезда пришел, и Ольга Федотовна встрепенулась. Она в этот день встала утром очень рано: хотя по ее глазам и покрасневшему носику видно было, что она не спала целую ночь и все плакала, но она

умылась холодной водицей и тотчас же спозаранков начала бодро ходить по дому и со всеми прощаться и всем наказывать от себя поклон Рогожину, Марье Николаевне и многим другим лицам домашнего круга. К Gigot она забегала несколько раз и все ему что-нибудь дарила или оставляла во временное пользование — как-то: теплые чулки, излишние подушки и прочее, но при этом все что-то забывала.

— Совсем как дура сделалась, — говорила она о себе, — знаю, что что́-то самое пренужное-нужное хотела тебе отдать, и опять позабыла... Ну да я еще вспомню.

И она опять убегала и опять приносила Жиго пустяки вроде чайной чашечки или частого гребня, а «самое пренужное-нужное» опять забывала.

— Ну, да ничего: я вспомню!

Отъезд предполагался из дома бабушки: на ее дворе стоял уложенный дормез, и граф с молодою графинею должны были позавтракать у княгини и с ее двора и отправиться.

Это так было и сделано: откушали, помолились, экипаж подан, и стали садиться, — Ольга Федотовна еще ранее была усажена на высокое переднее сиденье и плотно застегнута кожаным фартуком. Она так самого нужного и не вспомнила, а теперь было уже некогда: граф и графиня сели, — на крыльце оставались только княгиня с двумя сыновьями да Gigot с Патрикеем.

Все было готово: форейтор натянул постромки, коренники налегли в хомут, и экипаж застучал и тронулся. Из-за черного кожаного фартука в переднем сиденье замелькала ручка Ольги Федотовны: это она крестилась, но вдруг она вся высунулась и закричала:

— Жигоша! Жигоша, скорей! я вспомнила!

Gigot подлетел и, вспрыгнув на подножку, подскочил к Ольге Федотовне.

— Вот, бери это, — проговорила она и, торопливо вынув из кармана маленькую бутылочку с березовкой, сунула ее в руки француза.

— Oh, chère Ольга Федот... c'est impossible: c'est pour vous même, pour vous,[1] — заговорил Gigot и, замахав

[1] О, дорогая Ольга Федотовна... это невозможно: это для вас самой, для вас *(франц.)*.

руками, соскочил с колеса в ту самую минуту, когда Ольга Федотовна хотела сунуть ему пузырек за жилет.

Пузырек упал на мощеный двор и разбился о камень. Экипаж скрылся из глаз за углом улицы.

Провожавшие стояли еще на крыльце, а Gigot на том месте, где перед ним лежал разбитый пузырек и пролившееся лекарство.

Француз был растроган и, вынув платок, обтер им глаза.

— Ты плачешь, Gigot? — спросила его княгиня.

— Mais certainement, madame!.. Sapristi, cette pauvre Ольга Федот... elle ne parle jamais français et allemand et elle casse sa médecine! [1]

— Ну, ничего: она по-русски разговорится.

— Нишего... c'est bien; [2] по-рюсски: c'est *нишего!*

И Жиго рассмеялся: он поднял разбитый пузыречек и, держа его в руках, проговорил:

— Нишего: разбил — это шастье!

— Не по его только предсказанию все это вышло, — говорила, бывало, об этом Ольга Федотовна, никогда не забывавшая ни одной мелочи своего отъезда за границу и особенно своего скорого и странного оттуда возвращения.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Бабушка не могла уехать из Петербурга в Протозаново так скоро, как она хотела, — ее удержала болезнь детей. Отец мой, стоя на крыльце при проводах Функендорфов, простудился и заболел корью, которая от него перешла к дяде Якову. Это продержало княгиню в Петербурге около месяца. В течение этого времени она не получала здесь от дочери ни одного известия, потому что письма по уговору должны были посылаться в Протозаново. Как только дети выздоровели, княгиня, к величайшему своему удовольствию, тотчас же уехала.

---

[1] Ну, конечно, мадам!.. Черт возьми, эта бедняжка Ольга Федотовна... она не умеет говорить ни по-французски, ни по-немецки, и она разбивает свое лекарство *(франц.)*.

[2] Это хорошо *(франц.)*.

На севере «в ингерманландских болотах» было еще сыро и холодно, но чем ближе к югу, тем становилось теплее и приятнее: за Москвою, к Оке, совсем уже была весна, хотя еще и ранняя, без яркой зелени и без обилия цветов, но уже с животворною мягкостью в воздухе, которая так целебно живит силы и успокаивает душевные волнения.

Все чувства княгини отдыхали среди этой атмосферы от утомления, которое она чувствовала после столь несвойственной ей жизни и мелких интриг, кипящих в салонах. Эти скромные картины русской ранней весны превосходны, весело зеленеющие озими играют на солнце; поднятый к яровому посеву тучный чернозем лежит как бархат и греется, тихие ручейки и речки то мелькают в перелогах, как волшебные зеркала в изумрудных рамах, то вьются как ленты, отражая в себе облака, — грунтовые дороги обсохли, но еще не завалены пылью — езда по ним удобна и приятна: копыта бегущих коней не пылят и стучат мягко, колеса катят совсем без шуму, и след позади только маслится... Все способствует тому, чтобы у путника на душе становилось мирно и покойно.

Едучи верст по сту с небольшим в сутки и пробыв двое суток в Москве, княгиня провела уже в дороге около двух недель: в это время она имела время отдохнуть от всех перенесенных ею потрясений, она или спокойно дремала, или была занята своими экономическими соображениями, которые вызывались только что заключенными большими тратами. Денежные средства ее, всегда содержавшиеся в большом порядке, хотя и теперь не были особенно расстроены, но, однако, требовали рачительного восполнения. Свадьба, со всеми выделами, наградами и ценными подарками, стоила очень дорого, но справедливость требует сказать, что княгиня об этом не жалела: она, напротив, была рада, что «нелюбимая дочь» награждена как следует. Притом же ей нечего было и бояться сделанных больших экстренных расходов, потому что она знала, как наверстать их. Живучи в деревне, хотя и очень открыто, княгиня тратила относительно очень мало: кроме лимонов, сахару и прочей «бакалеи», которая раз в год закупалась на *коренной* ярмарке, все было «из своей провизии», и княгиня была уверена, что через пять-шесть лет она опять будет совсем так же исправна, как была перед

выдачею замуж «нелюбимой дочери». За дорогу бабушка имела время все это сообразить и сосчитать и, совсем на этот счет успокоясь, была весела как прежде: она шутила с детьми и с Gigot, который сидел тут же в карете на передней лавочке; делала Патрикею замечания о езде, о всходах озими и тому подобном; сходила пешком на крутых спусках и, как «для моциона», так и «чтобы лошадей пожалеть», пешком же поднималась на горы, причем обыкновенно задавала французу и детям задачу: кто лучше сумеет взойти и не умориться.

Чем ближе подъезжала княгиня к своим местам, тем она чувствовала себя счастливее, и перед самым Курском, откуда бабушка надеялась захватить Червева, она находилась в превосходном настроении; но тут встретилось обстоятельство, которое вдруг смутило ее самым непредвиденным и неприятным образом. Въезжая на двор, где была последняя сдаточная перепряжка, бабушка была неожиданно приветствована здесь Рогожиным, который вдруг наскакал сюда на своих одрах из-за ближайшего перелеска.

— Здравствуй! что ты это?.. откуда? — заговорила, увидав его, княгиня.

Дон-Кихот только водил усами и, тяжело дыша, оглядывался.

— Отчего ты не ждал меня в Курске?

— Нельзя было, — отвечал дворянин.

— Отчего?

— Я скрываюсь.

— Неужели опять сражался? Пора перестать.

— Да; Жиго, сядь, брат, скорей в мой тарантас... Тебе ведь все равно, а ты все-таки три четверти шпион, а может быть и целый, а мне говорить надо. Переходи скорей: я на твоем месте спрячусь, потому что мне опасно.

Жиго согласился, а бабушка велела французу взять с собою и детей, чтобы ей свободнее было говорить без них с Дон-Кихотом.

Дети рады были случаю проехаться в лубочной коробке Рогожина, и когда пассажиры разместилися таким образом, оба экипажа снова тронулись в путь.

Потные одры Рогожина не отставали от свежих лошадей, впряженных в экипажах княгини, и Зинка звонко посвистывал сзади кареты.

Бабушка сначала спросила Рогожина, с кем он и за что дрался, но, получив в ответ, что «это пустяки», она подумала, что это и впрямь не более как обыкновенные пустяки, и перешла к разговору о Червеве.

— Червев, что же ему, — отвечал Рогожин, — он с губернатором говорил, и ничего, — а вот Ольге Федотовне очень скверно.

— Разве она тебе уже писала из чужих краев?

— Нет, не писала, а она сама все рассказала...

— Что ты за вздор говоришь: где ты мог видеть Ольгу?

— Здесь... Посольский дьячок сюда приезжал из Парижа с родными повидаться и ее привез.

— Что ты за вздор говоришь!

— Нимало не вздор: я ее третьего дня сам в Протозаново свез.

— Ушам не верю, что слышу... Этого быть не может. Ты трезвый человек, а пьяную гиль несешь!

— Да; я трезвый человек, и хотите, на вас дыхну?

— Дохни, сделай милость.

Рогожин дохнул: от него пахло только суровцом-квасом, которого он выпил два огромных ковша на постоялом дворе.

— Одним квасом пахнет, — сказала, пожав плечами, бабушка, — теперь продолжай: как могла явиться здесь Ольга?

— Прислали ее назад.

— Кто?

— Ну понятно кто: с кем она поехала, те ее и вернули.

— За что это — с какой стати?

— Не годилась.

— Что такое она сделала? Что она говорит?

— Она ничего не говорит, а только плачет.

— Плачет?

— Ужасно плачет.

— Господи, что это такое! с детства почти знаю эту женщину — скромная, хорошая...

— Она там, в чужих краях, немножко с ума сошла.

— Ольга!

— Да; дьячок говорит, что у нее это с Рейна началось.

— Отчего же это с нею сделалось?

— От развалин.

— Господи, какая мука с тобою говорить!

— Да чем я худо говорю? она нигде за границею развалин видеть не могла.

— Напугали ее, что ли, там?

— Нет; а просто как увидит развалины, сейчас вся взрадуется и пристает ко всем: «Смотрите, батюшка, смотрите: это все наш князь развалил», и сама от умиления плачет.

— Моя бедная Ольга: я узнаю ее, — проговорила, покачав головою, бабушка. — Не в этом ли и все ее сумасшествие?

— Гм... да, — отвечал Дон-Кихот, — она этим графине очень надоела, а потом в Париже дело дошло до того, что Ольга Федотовна одна со всеми французами перессорилась.

И Рогожин рассказал, что моя бедная старушка, продолжая свою теорию разрушения всех европейских зданий моим дедом, завела в Париже войну с французскою прислугою графа, доказывая всем им, что церковь Notre Dame,[1] которая была видна из окон квартиры Функендорфов, отнюдь не недостроена, но что ее князь «развалил». Французы, поняв в чем дело, разобиделись; графиня приняла их сторону, а это показалось Ольге Федотовне несправедливым, и она объяснила самой графине, что та «своего рода не уважает».

Результатом всего этого вышло, что тетушка, вообще с трудом переносившая людей материного штата, совсем отстранила от себя Ольгу и распорядилась отправить ее домой.

Бабушка, выслушав это, горько улыбнулась и проговорила про себя:

— Ах, дочь моя, дочь!

— А вы уверены, что она *ваша* дочь? — спросил Рогожин.

Бабушка взглянула ему в лицо и рассмеялась.

— Что вы? — спросил он, — я читал несколько случаев, как детей подменяли.

— А? да... подменяли... Ты прав: я тоже думаю, что мне ее *подменили*.

---

[1] Собор Парижской богоматери (*франц.*).

— Где?

— В петербургском институте. Но доскажи же мне про Ольгу: как ее привезли сюда?

— Граф с дьячком прислал.

— И спасибо ему, что он так сделал, — сказала, дослушав, княгиня.

— Нет; вы повремените его благодарить, — отвечал Дон-Кихот, — вы вот прежде взгляните сюда, — и Рогожин, засучив рукав, показал несколько кругом расположенных маленьких ран, которые окружала одна сплошная опухоль с кровянистым подтеком.

— Что это у тебя?

— Немец укусил.

— Какой немец?

— Которого граф прислал сюда графининым имением управлять.

— Что же: вы с ним подрались, что ли?

— Да.

— Господи, как это все скоро: и немец уже есть, и уже и кусается! А за что же у вас дело стало?

— Он всех мужиков, у которых своя земля и дома с амбарами на базарах, выселять хочет.

— Ты это шутишь?

— Нет; я дыхну, если хотите.

— Я ведь тебя всерьез спрашиваю.

— А я вам всерьез и отвечаю: он их в степи гонит.

— Да это что же: они их ограбить, что ли, хотят?

— И я им то говорил...

— Боже мой, боже мой, что я наделала! Эти люди гибнут за то, что они мне верили.

— Да, —отвечал Рогожин и через минуту глухого молчания заговорил снова:

— Я этого немца просил, умолял, усовещивал... и наконец...

— Прибил, что ли?

Рогожин только сделал молча рукою выразительный жест, как будто драл кого-то за волосы.

Бабушка молчала: она была поражена тем, что слышала, и тем, что теперь ей представлялось возможным далее в этом же возмутительном роде.

«Я не дам разорить мужиков, — думала она, — нет; я сейчас же поеду назад в Петербург... я встречу госу-

даря, брошусь ему в ноги и скажу все... он добр — он рассудит...»

Но через минуту она думала:

«Против кого же я пойду? против родной дочери, против зятя? Нет; это не то: за свою вину я отдам крестьянам все свое, чего их добро стоило... У меня после этого *ничего своего* не останется, но это полгоря, — без денег легче жить, чем без чести... Авось сыновья в угле и в куске хлеба мне не откажут... А если и они, если и их мне *подменят?*»

Бабушка закрыла обеими руками запылавшее от этой мысли лицо и не заметила, что ее экипаж не едет, а у открытой дверцы с фуражкою в руках стоит Патрикей.

— Что такое? — спросила она.

— Червев-с.

— Где он?

— Извольте смотреть вон туда, влево, за реку.

Бабушка оглянула местность: впереди за горою виднелись кресты курских церквей, а влеве плыла сонная Тускарь, и правый берег ее, заросший мелкою ивой, тонул в редком молочном тумане.

— Никого не вижу, — проговорила, приставляя к глазу лорнетку, княгиня.

— Извольте смотреть... две ракиты... за ракитами куст, за кустом тихая заводь, и стоит цапля.

— Цаплю вижу.

— Против нее, на земле, сидит человек.

— Это *он!*

— Это Мефодий Мироныч!

— О, как он мне дорог в эту минуту! — воскликнула бабушка.

— Да; это сам он и есть, — подтвердил Дон-Кихот, — он сюда ходит читать. А я вам про него забыл сказать: я открыл, что он хорошего рода, я читал рукопись: житие святой боярыни Ульяны Ольшанской, — Червевы их рода...

— Ах, оставь ты мне теперь про все роды... Патрикей, нет ли здесь лодки, чтоб к нему переехать?

— Вон дощаник под берегом: худой, чай, только.

— Все равно какой он: Тускарь не море, — ответила бабушка и, толкнув ногой дверцу, легко спрыгнула из кареты.

Через минуту ветхий дощаник, на котором стояли княгиня, ее оба сына, Дон-Кихот и Gigot, тяжело зашуршал плоским дном по траве и, сдвинувшись дальше, тихо поплыл по тихой и мутной воде сонной Тускари.

С половины реки серая фигура обозначилась яснее: теперь и близорукому было видно, что это сидел человек, а на коленях его лежала книга, которую он читал с таким вниманием, что не слыхал, как поднявшаяся при приближении дощаника цапля пролетела почти над самою его головою.

Лодка пристала у берега, — бабушка стала выходить.

— Смотрите ему прежде всего в глаза, — шептал ей Рогожин, — удивительные глаза... чисты, точно сейчас снегом вытерты.

— Хорошо, — отвечала княгиня и, велев всем остаться у лодки, пошла одна к Червеву.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Червев был пожилой человек простонародного русского типа: большой, сильный и крепкого сложения, но с очень благопристойными, как тогда говорили о Сперанском, — «врожденными манерами». Он действительно имел чистые, «точно снегом вытертые глаза» и мягкий голос, в котором звучали чистота и прямодушие.

Когда близ него раздались шаги подходивших, он поднял лицо от книги и, всмотрясь в приближающуюся к нему княгиню, привстал и сказал:

— Княгиня Протозанова?

— Я, — отвечала бабушка. — Вы меня узнали?

— Да.

— Почему?

— Не знаю.

— Ну, будем знакомы и...

Княгиня, оживляясь, добавила:

— И постараемся быть друзьями.

Она сжала руки Червева, и тот отвечал ей пожатием, но не сказал ей ни слова.

Она это заметила и осудила себя за то, что была слишком скора и поспешна.

— Я вас буду просить: сядьте в мой экипаж и доедем до Курска.

— Я предпочитаю ходить пешком, — ответил с улыбкой Червев. — Я пойду полем, и пока вы доедете — я уже буду там.

Княгиня не настаивала и опять переправилась через Тускарь; села в дормез и поехала к Курску.

Червев ей как будто не давал себя в руки.

«Что это и почему?» — думала она и спросила Рогожина: о каком он упоминал разговоре Червева с губернатором?

Дон-Кихот объяснил, что губернатор говорил с Червевым один на один и спрашивал его по чести. Так и сказал:

— Я о вас никого не хочу спрашивать, я вашей чести верю.

Червев ему по чести все и сказал.

— Что же такое *все?*

— А по логике, по логике.

— Батюшка! ты бы хоть без логики рассказал.

— Нельзя без логики, когда это было по логике.

— Ну так говори, как можешь.

— Губернатор спросил: «Скажите, пожалуйста, по совести, вы утверждали когда-нибудь, что власти не потребны в государстве?»

— Ну!

— Червев отвечал, что он этого никогда не утверждал.

Бабушке вспомянулось письмо Червева к Журавскому, которое она читала Функендорфу, — и она подумала: не тут ли штука?.. А потом... значит, и он то же, как и прочие, — тоже увертывается и от своих слов отпирается.

— Что же, поверил или нет ему губернатор?

— Поверил, — да ведь и нельзя не поверить.

— Отчего?

— Червев привел логику.

— Какую?

— Когда губернатор сказал, чем он может за справедливость своих слов ручаться, то он доказал логикой, он сказал: «Я не мог говорить, что власти не потребны в государстве, ибо я не думаю, чтобы и сами государства были потребны».

— Неужто он это сказал?

— Да; он так сказал... И губернатор его похвалил...

— Ну еще бы!

— За честность его, за искренность.

— И больше расспрашивал?

— Да. Говорил: «Но ведь вы властям не сопротивляетесь?» Червев говорит: «Нет, — не сопротивляюсь».

«Вам нечем».

«Да, — говорит, — и нечем, да я и не хочу».

«Отчего?»

«Это не надо».

Губернатор его опять похвалил.

«Прекрасно вы говорите, — никогда сопротивляться не надо. А все-таки вы одну какую-нибудь власть уважаете? А? Или по крайней мере вы можете уважать какую-нибудь власть?»

Червев говорит:

«Кажется, я мог бы уважать ту власть, которая вела бы дело к тому, чтобы себя упразднить и поставить вместо себя власть божию».

Губернатор ему сказал:

«Вы всё очень своеобразно понимаете, но вы честный. — Я так и донесу».

— Кому донесет?

— Я не знаю, — может быть, он так и донес...

— Да, разумеется, так и донес!

— Я думаю, я думаю! — спокойно поддержал Рогожин.

Бабушка задумалась.

— Однако что же это такое?..

Это совсем выходило за рамки всех ее картин... Неужто он в самом деле таков, что сомневается даже в потребности самих государств... отдельных «языков»... отдельных народов... вер... Это не может быть. Ей никогда в голову не приходило, чтобы такие вещи говорил просвещенный человек... и притом тот именно человек, которого она приглашает быть воспитателем ее сыновей... И когда это ей открывается? Именно теперь, когда она готова и даже должна его взять... Да; но почему же непременно *должна?* А потому, что она сама все это затеяла, вмешала в это много людей и теперь ей делать шаг назад было бы неловко и поздно!.. Впрочем, что за

вздор! Когда что-нибудь можно остановить до начала — так это не называется *поздно,* а что до *неловкости,* то разве такие соображения могут руководить поступками большой важности. Не лучше ли отказаться от невесты накануне самого брака, чем дать совершиться акту, угрожающему обоюдным несчастием?.. Нет; Варвара Никаноровна не из таких бесхарактерных и сентиментальных людей. Пускай она в Червеве больше, чем сам губернатор, уверена, что он из честных честный, но она не сунет ему сразу детей, — она с ним теперь поговорит, — она, по отчему обычаю, прямо спросит: «Како веруеши?» И он, без сомнения, ей скажет правду.

Она так и сделала, и получила как раз такой результат, какого ожидала.

Просидев около часа с глаза на глаз с Червевым, она стала сама резюмировать в своем уме его положения и начертала такую схему: характер в высшей мере благородный и сильный; воля непреклонная; доброта без границ; славолюбия — никакого, бессребреник полный, терпелив, скромен и проникнут богопочтением, но бог его «не в рукотворном храме», а все земные престолы, начальства и власти — это для него совсем не существует. Это все, по его выводам, не соединяет людей, а разделяет, а он хочет, чтобы каждый жил для всех и все для одного... И это в нем так искренно, что он не хочет допускать никаких посторонних соображений. По его мнению, весь опыт жизни обманчив, — и самая рассудительность ненадежна: не стоит думать о том, что будут делать другие, когда вы будете делать им добро, а надо, ни перед чем не останавливаясь, быть ко всем добрым.

Он убежден, что все со временем захотят платить добром за добро, — и потому он исключает всякий суд и всякие наказания, всякие похвалы и всякие почести... Заслуги ума, трудолюбия, даже заслуги самоотвержения и любви — все это, по его мнению, не нуждается ни в каких наградах и даже страдает от них. Добро — само в себе награда. Журавский с его идеями освободить крестьян ничего не достигнет, а во всей деятельности Сперанского он считает за достойное внимания только то, что он умеет сносить с достоинством свое удаление.

Княгиню удивляло: как же этот человек был близок Сперанскому и Журавскому, которые имели совсем

другие взгляды и стремились к улучшениям путем государственных мер! Их намерения княгине казались прекрасными, и во всяком случае они были ей понятны, меж тем как все то, что сказал ей с полною откровенностью Червев, — это все изменяет и отменяет, все упраздняет и все ставит ни во что. А то, что он говорит, о том приходится выводить из его идей, что это утопии, что это неприложимо и не может держаться при всех других условиях общества и гражданственности.

Проведя все это в уме, она вслух договорила свою мысль:

— Это не лад, а разлад.

— Да, принесен «не мир, а меч», — спокойно отвечал ей Червев.

Княгиня прочитала в его глазах, что он понял все, что она молча продумала, и нимало этому не удивился и не рассердился. Это ему, очевидно, было за привычку: он словно ожидал того, что она ему сказала.

— Как же вводить молодых людей в эту жизнь с такими идеями? — спросила она.

— Не легко, — отвечал Червев.

— И как им будет жить?

— Трудно.

— Нельзя!

— Если соединять несоединимое, то нельзя, но если вести одну линию, то можно.

— Надо, значит, начать с того, что на многое, почитаемое за важное, взять и положить крест.

— Да, с этого должно начаться.

— А далее пойдет разлад со всем!

— Разлад только с тем, что не идет в лад с порядком, при котором лев не захочет вредить ягненку.

— Слова ваши режущи.

— Я с вами должен говорить откровенно: я ведь знал, что я вам не гожусь.

— Нет, я прошу вас дать мне подумать.

— И не думайте, я не гожусь. Вы верите в возможность мира при сохранении того, что не есть мир, а я не вижу, на чем может стать этакий мир. Меч прошел даже матери в душу.

— Вы строже, чем Савонарола!

— Я не говорю ничего своего.

— Да, но это ужаснее! Вы отнимаете у меня не только веру во все то, во что я всю жизнь мою верила, но даже лишаете меня самой надежды найти гармонию в устройстве отношений моих детей с религией отцов и с условиями общественного быта.

— Этой гармонии я не касаюсь.

— Но вы не верите в ее возможность?

— Воспитывать ум и сердце — значит просвещать их и давать им прямой ход, а не подводить их в гармонию с тем, что, быть может, само не содержит в себе ничего гармонического.

— Становясь на вашу точку зрения, я чувствую, что мне ничего не остается: я упразднена, я должна осудить себя в прошлом и не вижу, чего могу держаться дальше.

Червев улыбнулся доброй улыбкой и тихо сказал:

— Когда поколебались вера и надежда, остается *любовь*.

— Как еще любить и кого?

— Всех, но если вы истинно любите ваших детей...

— Без сомнения.

— И если верите тому, что́ открыл показавший путь, истину и жизнь...

— Верю.

— Тогда вы должны знать, что вам надо делать.

Княгиня задумалась и тихо проговорила:

— В душе моей я с вами согласна...

— Душа ведь по природе своей христианка.

— Но этот нож, этот меч, — это изменение всего...

— Изменение всего, но сначала всего в самом человеке.

— Да; только в самом себе... но... все равно... Вы обобрали меня, как птицу из перьев. Я никогда не думала, что я совсем *не* христианка. Но вы принесли мне пользу, вы смирили меня, вы мне показали, что я живу и думаю, как все, и ничуть не лучше тех, о ком говорят, будто они меня хуже... Привычки жизни держат в оковах мою «христианку», страшно... Разорвать их я бессильна... Конец!.. Я должна себя сломать или не уважать себя, как лгунью!

— После, быть может, будет иное.

— Нет, это будет вечный мой стыд, что вместо того, чтобы теперь привлечь к себе в дом человека как вы, —

я говорю ему как те, которые говорили: «Выйди от меня — я человек грешный».

— Вы искренни, и я вам благодарен, — отвечал Червев и встал с места.

— Но как же вы теперь будете устроены? — спросила, удерживая в своих руках руку его, княгиня, — и она с замешательством стала говорить о том, что почла бы за счастье его успокоить у себя в деревне, но Червев это отклонил, ответив, что он «всегда устроен».

И на этот раз он действительно уже был устроен и притом совсем необыкновенно: посетивший княгиню на другой день предводитель сообщил ей две новости: во-первых, присланное ему приглашение наблюдать, чтобы княгиня «воспитывала своих сыновей сообразно их благородному происхождению», а во-вторых, известие о том, что Червев за свои «завиральные идеи» послан жить под надзором в Белые берега.

Княгиня, по словам Ольги Федотовны, после этого в три дня постарела и сгорбилась больше, чем во многие годы. Она изменилась и в нраве: навсегда перестала шутить, никого не осуждала и часто, как в мечте, сама говорила с собою:

— Лучшего не стоим.

Дон-Кихот, Жиго и сама Марья Николаевна утратили свои живые роли и только имели по временам пребывание в протозановском доме. «Княгиня стала ко всем равна, и к ним, как к обыкновенным». Ласково, но коротко. На последовавшее затем вскоре распоряжение доставить князей для воспитания в избранное учебное заведение в Петербург она не возражала ни слова, но только не повезла их сама, а доставила туда с Патрикеем. В душе ее что-то хрустнуло и развалилось, и падение это было большое. Пало то, чем серьезные и умные люди больше всего дорожат и, обманувшись в чем, об этом много не рассказывают.

Я бы, кажется, имела основание уподобить состояние бабушки с состоянием известной сверстницы Августа Саксонского, графини Ко́зель, когда ее заключили в замке. Обе они были женщины умные и с большими характерами, и обе обречены на одиночество, и обе стали анализировать свою религию, но Ко́зель оторвала от своей библии и выбросила в ров Новый Завет, а бабушка

это одно именно для себя только и выбрала и лишь это одно сохранила и все еще добивалась, где тут материк?

Толкущему в двери разума — дверь отворяется. Бабушка достала себе то, что нужнее всего человеку: жизнь не раздражала ее более ничем: она, как овца, тихо шла, не сводя глаз с пастушьего посоха, на крючке которого ей светил белый цветок с кровавою жилкой.

Бывшие многочисленные знакомые оставили княгиню и скоро стали ее забывать. Поводом к тому послужило неизвестно откуда распространившееся известие, будто она «одержима черной меланхолией», что всем представлялось заразительным и опасным, вроде водобоязни. Опасность от меланхолии совсем иначе представлял себе Дон-Кихот Рогожин: он вспомнил из читанных им монастырских историй, какое происшествие случилось с медиком Яковом Несмеяновым, признанным за «меленхолика» и посланным в 1744 году в Москву, в Заиконоспасский монастырь, с тем чтобы с ним там «разговаривать и его усматривать: не имеет ли в законе божием сомнения». Рогожин испугался, что и у княгини напишут не *меланхолию,* а *«меленхолию»* и пошлют княгиню куда-нибудь, чтобы ее «усматривать», — и Дон-Кихот стал вести себя смирно и дожил век в Протозанове на страже, с решимостью умереть, охраняя княгиню, когда это понадобится. Надобности такой он, однако, не дождался и умер своею смертью, но, кажется, он умел заронить семя особливого страха и боязни в душу княгини. До этих пор всегда независимая и смелая во всех своих суждениях и поступках, она бледнела при одном напоминании имени Хотетовой и архимандрита Фотия и жаловалась Ольге, что в ней «развилась подозрительность и меланхолия». Таким образом, значит, общественные толки о ней оправдались, и эта смелая, твердая и чистая душа впала в слабость, утратила силу быть полезною другим и доживала жизнь, оберегая одну свою неприкосновенность. Она стала бояться тех, которые ее боялись, и Фотий начал являться ей во сне и стучать костылем. Ольга говорила, что бабушка, бывало, проснется и не спит, боясь, что он опять ей приснится, и целые дни потом молчит и ходит одна с собачкою в темных аллеях сада с таким печальным лицом, на которое жалко было смотреть, а ночью ей опять снился Фотий и опять грозил костылем.

Конечно, она не могла говорить с Ольгой всего, что думала, но, однако, говорила ей: «Я прожила жизнь дурно и нечестиво и зато бегаю как нечестивая, может быть ни единому меня гонящу. Меня барство испортило — я ему предалась и лучшее за ним проглядела». «Лучшее», по ее теперешним понятиям, была «истина», которая делает человека свободным, и при этом она вспоминала о Червеве. А когда Ольга говорила ей: «Ведь и вы то же самое знать изволите», она отвечала: «Знать я изволю, а следовать неспособна, и оттого я хуже тех, которые не знают». Ольга этого не понимала и, не зная что сказать, один раз сказала: «Бог даст доспеете». Бабушка ей отвечала: «Очень была бы рада». И радость эта была ей дарована.

У крестьян, отданных в приданое княжне Анастасии, были свои земли, купленные на господское имя, как это тогда водилось. Функендорф не признал их прав и все посчитал на себя. Бабушка увидала свою ужасную ошибку и тотчас же освободила людей своей части на легкий выкуп земель и все, что выручила, отдала обиженным Функендорфом людям, вознаградив их с излишком, а сама решилась жить нахлебницею у Марьи Николаевны. Моему отцу и дяде и их крестьянам стоило немалого труда упросить ее остаться в их доме и продолжать управлять их имением. Она сдалась более на просьбы крестьян и, «чтобы им не было худо», осталась в Протозанове «в гостях у сыновей» и жила просто, кушая вместе с Ольгою самое простое кушанье Ольгиного приготовления, ни о каких вопросах общего государственного управления не хотела знать и умерла спокойно, с твердостью, и даже шутила, что теперь опять ничего не боится и что Фотий на нее, наверное, больше грозиться не будет.

Червев кончал свое течение всех благополучнее: он, мимо воли своей, наконец сделался известен в свете. Несмотря на то, что к нему никого из шатких в вере людей не допускали, Патрикей не раз ездил узнавать по секрету, как он томится, и всякий раз привозил известие, что нет ему никакого томления. Червев почитал себя вполне благополучным и счастливым, что не был лишен света, воздуха и работы. О вине, за которую он прислан, ничего никому не было известно. Звали его «добрый бродяга». Строгость к Червеву применялась только в том, что его

не ставили работать вместе с простыми людьми из мирян. Для иноков же, которые были хорошо утверждены во всем, что им надобно знать, Червев не почитался нимало опасным. Летом он разбивал навоз и копал гряды, а зимою качал воду из колодца и чистил коровники.

Через несколько лет такой совершенно благополучной жизни Червев умер в коровнике, и сделал это так скрытно, что его недосмотрели и упустили его напутствовать. Червев, однако, и тут не был бесполезным жильцом: незадолго перед смертью он оказал обители ценную услугу и в этот раз явил себя миру со стороны до сих пор неизвестной. В проезд графини Хотетовой через Белые берега она остановила свое внимание на чистых, будто снегом натертых глазах Червева и прочла в них сокровенный дар пророчества. Она просила позволения с ним говорить, но в этом даже и ей было отказано. Тогда она обратилась к другому способу сношений, — просила передать Червеву написанный ею важный вопрос, с тем чтобы он написал ответ, за который она обещала вклад по сто червонцев за слово.

Братия передала это Червеву, и он, ничего не писавший со дня своего заключения в монастырь, сейчас же взял в руки карандаш и, не читая вопроса, написал на него ответ: «Поступай как знаешь, все равно — будешь раскаиваться».

Могила Червева цела и теперь. На ней есть крест с надписью: «Мефодий Червев». Хотели было ему надписать «раб божий», но вспомнили, что он «бродяга» и что вообще о нем есть что-то неизвестное, и не надписали.

ПАВЛИН

(РАССКАЗ)

Я был участником в небольшом нарушении строгого монастырского обычая на Валааме. На этой суровой скале не любят праздных прогулок: откуда бы ни приплыл сюда далекий посетитель и как бы ни велико было в нем желание познакомиться с островом, он не может доставить себе этого огромного удовольствия, — говорю *огромного*, потому что остров поистине прекрасен и грандиозные картины его восхитительны. На Валааме за обычай всякий паломник подчиняется *послушанию:* он должен ходить в церковь, молиться, трапезовать, потом трудиться и, наконец, отдыхать. На прогулки и обозревания здесь не рассчитано; но, однако, мне, в сообществе трех мужчин и двух дам, удалось обойти в одну ночь весь остров и запечатлеть навсегда в памяти дивную картину, которую представляют при бледном полусвете летней северной ночи дикие скалы, темные урочища и тихие скиты русского Афона. Особенно хороши эти скиты, с их непробудною тишью, и из них особенно поражает скит Предтечи на островке Серничане. Здесь живут пустынники, для которых суровость общей валаамской жизни кажется недостаточною: они удаляются в Предтеченский скит, где начальство обители бережет их покой от всякого нашествия мирского человека. Здесь теплят свои лампады люди, умершие миру, но неустанно молящиеся за мир: здесь вечный пост, молчанье и молитва.

Не зная направления валаамских тропинок, мы подошли к проливу, отделяющему островок Серничан от главного острова, и, пленясь густыми папоротниками, которыми заросла здешняя котловина, сели отдохнуть и заговорили о людях, избравших это глухое уединение местом для своей молитвенной и созерцательной жизни.

— Какие это люди, с какими силами и с каким прошлым приходят они сюда, чтоб погребсти себя здесь заживо? — воскликнул один из наших собеседников. — Я никак не могу иначе думать, что это должны быть какие-то титаны и богатыри духа.

— Да; и вы правы, — отвечал другой, — это богатыри, но только богатыри, мощные нищетою. Это зерна, которые уже *прозябли* и пошли в рост.

— А пока они прозябли?

Собеседник улыбнулся и ответил:

— Пока они прозябли... они лежали при дорогах, глохли под тернием и погибали, как вы, и я, и целый свет, пока ветер схватил их и бросил на добрую почву.

— Вы говорите так, как будто вы знали кого-нибудь из людей, имевших силу погребсти себя заживо в этих дебрях.

— Да, мне кажется, что я действительно знал такого человека.

— Он был умен?

— Да.

— И рассудителен?

— Гм!.. да. А впрочем, я о нем судить не берусь, но я его любил и очень уважаю его память.

— А он уже умер?

— Да.

— Здесь?

— Неподалеку, — ответил, снова тихо улыбаясь, собеседник.

— Жизнь такого человека всегда способна возбуждать во мне большой интерес.

— И во мне, и во мне тоже, — подхватили другие.

Дамы интересовались еще более мужчин, и одна из них, красивая блондинка с черными глазами, обратясь к этому нашему попутчику, сказала:

— Знаете ли, что вы сделали бы нам чрезвычайно большое одолжение, если бы здесь же, в тиши этой дебри,

где мы так неожиданно очутились, рассказали нам историю известного вам отшельника.

Другая дама и все мы присоединились к этой просьбе — и тот, к кому она относилась, согласился ее исполнить и начал:

I

Назад тому лет двадцать, когда я был школяром и ходил в одну из петербургских гимназий, мы с покойницей моей матушкой и ее сестрою, а моею теткой Ольгой Петровной, жили в доме моей другой богатой тетки по отцу. Хотя этой последней теперь уже нет в живых, но я все-таки не выдам ее настоящего имени и назову ее Анной Львовной. Дом ее стоит и теперь на том же месте, на котором стоял; но только тогда он был известен как один из бо́льших на всей улице, а нынче он там один из меньших. Громадные новейшие постройки его задавили, и на него никто более не указывает, как было в то время, с которого начинается моя история.

Начав свой рассказ не с людей, а с дома, я уже должен быть последователен и рассказать вам, что это был за дом; а он был дом страшный — и страшный во многих отношениях. Он был каменный, трехэтажный и с тремя дворами, уходившими один за другой внутрь, и обстроенный со всех сторон ровными трехэтажными корпусами. Вид его был мрачный, серый, почти тюремный. Впечатление, производимое им, было самое тягостное. Дом этот составлял часть приданого моей тетки, когда она выходила замуж за своего не совсем далекого родственника, очень много обещавшего в свое время, блестящего светского молодого человека, который, впрочем, кончил тем, что необыкновенно проворно спустил все незначительное свое и значительное женино состояние и протянул руки к остаткам ее приданого, то есть к этому дому. Такое поползновение муж моей тетки обнаружил в Париже, где супруги в то время жили и где Анна Львовна думала, что она блистает красотою и может удивить ею весь свет — если бы только на глазах у этого света не мелькала какая-то дама полусвета, с которою борьба была неудобна, да и невозможна, потому что роскошь сей последней была до того баснословна, что

самые солидные дамы интересовались: откуда всё это берется у этой куртизанки? Интересовалась, вероятно, этим и моя тетушка Анна Львовна и получила от своего мужа в ответ, что завидное положение проходимки зависит от щедрости какого-то разбогатевшего в индийской компании англичанина; но вскоре оказалось, что все это вздор и что богач-англичанин был не кто иной, как сам супруг моей тетушки, самым неосмотрительным образом распорядившийся ее состоянием в пользу этой темной звезды. Увлечение его зашло так далеко, что у них не осталось ничего, кроме петербургского дома, о котором я говорю. Узнав об этом, тетка Анна Львовна побесновалась, порыдала, а потом взялась за ум и проявила не только большую силу характера, но даже и порядочную долю жестокосердия: она уничтожила формальным порядком свои доверенности на имя мужа — и, бросив его в Париже на жертву кредиторам, укатила назад в Россию и поселилась в своем доме. Дом этот давал изрядный доход, так что тетка могла без нужды жить этими средствами и воспитывать сына Вольдемара, или, по-домашнему, Додю. Мужу она ничего не посылала и никогда о нем не говорила: так он где-то пропадал и, наконец, совсем пропал за границею в полной безвестности. Одни говорили, что он умер где-то в долговой тюрьме; другие уверяли, что служил в должности крупье в каком-то игорном доме. Но это для нас все равно. Тетка Анна Львовна к тому времени, когда я ее узнал, была женщина лет сорока пяти; она еще сохраняла следы довольно замечательной, хотя самой неприятной, сухой и жесткой красоты, составляющей принадлежность женщины русского бомонда. Анна Львовна жила в своем доме, занимая половину прекрасного бельэтажа. Это было большое помещение, которое давало тетушке возможность жить как должно большой даме, притом даме строгой и солидной, какою она слыла у огромного числа посещавших ее высокопоставленных людей. Она любила немножко рисоваться своим положением, жаловалась при случае на свою беззащитность и ограниченность вдовьих средств — и превосходно обделывала свои дела. Благодаря ее связям и ловкости воспитание сына ей ничего не стоило, она кроме того каким-то образом исходатайствовала себе очень порядочную субсидию за «беспримерное несчастие», а доходы

с дома копила. Анна Львовна была женщина очень расчетливая и, по правде сказать, весьма бессердечная, что вы, я думаю, можете отчасти заключить из ее поступка с мужем, которому она никогда не простила его вины и не помогла ему в его бедственном положении ни одним грошом. В доме тетки все ее боялись и трепетали: я это знал отлично, потому что, живучи в одном из флигелей ее дома, я мог наблюдать, как на нее смотрели люди. У тетки не было управляющего: она сама заведовала домом и была госпожою строжайшею и немилосерднейшею. У нее был порядок, что все жильцы должны были платить ей за квартиры за месяц вперед, и если кто не платил один день, тому сейчас же выставляли окна, а через два дня вышвыривали жильца вон. Льготы и снисхождения не оказывалось никому, и их никто из жильцов не пытался добиться, потому что все знали, что это было бы напрасно. Тетка правила мудро: она сама была для жильцов никогда не видима, и к ней никого из них не допускали ни под каким предлогом, — она только отдавала приказания, и немилостивые приказания эти приводились в исполнение. Говорили, что в исполнении этих приказаний никогда не допускалось ни малейшей поблажки, но тетка все-таки находила, что исполнители ее воли действовали еще довольно слабо, и переменила многих из них, пока не нашла, наконец, одного, который вполне удовлетворял ее немилосердной строгости. Этот замечательный человек был швейцар Павлин Петров, по фамилии Певунов, или попросту, как его звали, *Павлин*. Рекомендую этого человека особенному вашему вниманию, потому что, несмотря на его скромное положение, он будет героем начатого вам рассказа. По этому же самому я и опишу его вам несколько поподробнее и расскажу, как мы лично имели удовольствие познакомиться с этим антиком в пестрой ливрее.

II

Когда мы с матушкою поселились в маленькой квартирке одного из флигелей второго двора теткиного дома, Павлин Певунов уже лет шесть состоял у нее в должности швейцара и считался преданнейшим ей человеком и, что

называется, ее правою рукою. Насчет безграничного доверия Анны Львовны к Павлину и еще более насчет того, что он жил у нее бессменно много лет, тогда как до него никто из людей у нее не уживался, по дому ходили даже разные нелепые толки, основанные на самых глупых выводах и более всего на том, что Павлин, по мнению многих, был красавец. Опишу вам наружность Павлина в ту пору его жизни, как я его зазнал. Ему в то время было лет с небольшим за сорок, он был мужчина высокий, плотный и очень стройный; светлый блондин, с большими, очень приятными серыми глазами, прекрасным умным лбом, замечательною строгостию в лице и достоинством в движениях и во всей его в глаза бросавшейся многозначительной позитуре. Можно держать какое угодно пари, что ни в одной из столиц Европы не было и нет швейцара импозантнее Павлина. Я думаю, что он был бы еще важнее в какой-нибудь другой, более важной, не швейцарской ливрее; но, однако, и этот пестрый убор шел к нему чрезвычайно. В расшитом галунами длинном ярко-синем сюртуке с капюшоном, в широкой, убранной галуном перевязи, в трехугольной шляпе и с блестящею вызолоченною булавою в руках, Павлин был настоящий *павлин,* и притом самый нарядный павлин, способный поспорить с наилучшим экземпляром щеголеватой птицы, переделанной Юноною из Аргуса. По этой представительности Павлин мог бы получить место швейцара в любом из клубов или при каком-нибудь из самых блестящих посольств, но Павлин за этим не гнался и служил в довольно скромном и буржуазном доме моей тетки. Сюда он поступил на первое место в Петербурге, а менять места было не в его правилах. Павлин у тетушки содержался не в особой холе и, по обычаю буржуазных домов, нес на себе несколько обязанностей. Павлин был тетушкин Аргус: при его содействии она могла знать все, что только желала. Он, кажется, видел весь дом сквозь его каменные стены и знал, что делается в самых сокровенных его закоулках, — и это для всех было тем удивительнее, что Павлин не имел во всем доме ни с кем из прислуги никаких сношений. Он был очень горд и важен не только с вида, но и по характеру — самоуважающему, твердому и даже надменному. Павлин жил в небольшой, но очень чисто им содержимой комнате, скрытой

за колоннадою просторного парадного антре, где на небольшом возвышении между двух колонн стоял его трон, старинное черное кресло с медным драконом на высокой спинке. С тех пор, как Павлин поселился в своей комнате, у него не был никто из посторонних людей, и никому не было известно, что там у него за убранство? Два выходившие на улицу окна клетки Павлина были всегда задернуты чистою кисеею, на них стояли горшки с цветами — и если кому доводилось заглянуть в эти окна вечером, когда комната освещалась изнутри горевшею перед образником лампадою, то тот мог только видеть верх очень чистых, густою голубою краскою выкрашенных стен и ширмы, а более ничего невозможно было рассмотреть. Комната постоянно была заперта, и ключ от ее маленькой двери всегда был у Павлина в кармане. Досужих людей, которые под тем или другим предлогом пытались проникнуть в покой Павлина, он не допускал до этого самым решительным и бесцеремонным образом, так что его, наконец, все оставили, и никто в гости к нему не порывался. Что так тщательно хранил Павлин в своей вечно запертой комнате, — этого никто не мог отгадать, а так как нельзя же было оставить этого без объяснения, то учредившийся в доме наблюдательный комитет за Павлином открыл, что он тоже чрезвычайно бережлив, умерен в пище и не пьет ничего, кроме воды и молока, — поэтому комитет объявил, что Павлин «молокан». Это всем очень понравилось и удовлетворило общественную пытливость насчет личности Павлина настолько, что все почили в спокойной уверенности, что Павлин *гордец по религии*. Как во всяком вздоре есть своя доля истины, так было и здесь: Павлин действительно был заносчив и горд и не хотел допускать ни малейшего сближения с собою никого из служащих людей. Оно и было понятно: он был поставлен с ними в одну среду, но не имел с ними ничего общего ни по уму, ни по характеру. Прошлое его было мало известно: были слухи, что он из крепостных людей, служил камердинером у какого-то важного лица и лет пять тому назад откупился на волю, взнеся своему господину чуть ли не тысячу рублей серебром за одну свою гордую и суровую душу; но этим слухам не совсем доверяли. Гораздо охотнее верили чьей-то выдумке, что Павлин ограбил почту, убил шесть почтальонов и потом

добыл себе фальшивую бумагу, с которою и живет в швейцарах, храня в своей запертой каморке несметные сокровища ограбленной почты. Впрочем, и это, разумеется, рассказывали только стороною; сам же Павлин никогда ничего не говорил о своем прошлом. Жизнь свою он провождал однообразно и рассчитанно, как часы: рано утром он появлялся в антре, мел его и потом скрывался в свою комнату, где пил чай или кофе из какого-то особого самоварчика, которого устройство и способ кипячения оставался для всех секретом и предметом неразъяснимого любопытства. Затем Павлин выходил в одной ливрее на лестницу и отправлялся к тетушке; тут у них шел доклад или беседа, по поводу которой никто ничего достоверного не знал и все сплетничали невероятный, невозможный вздор. Беседа длилась около часа, и после нее Павлин снова появлялся на лестнице, но уже не с пустыми руками, а с домовою книгою, которую клал на столе под клеенку, надевал перевязь, брал в руки булаву и отпирал двери подъезда. Совершив эту церемонию, он садился в широкое, обитое красным сафьяном кресло и начинал просматривать домовую книгу, делая из нее карандашом отметки в особую тетрадку. Этим делом Павлин занимался до десяти. С последним ударом десятого часа он ставил к колонне булаву, сменял треугольную шляпу обшитою галуном фуражкою и в этой полуформе выходил через ворота на двор; мимоходом он молча ударял рукою в дворницкую дверь, и когда оттуда на этот знак тотчас же выскакивали два рослые парня, один с топором, другой с молотком и клещами, и оба ему низко кланялись, он отвечал им на их приветствие молчаливым поклоном и шел далее. Дворники, вооруженные топором и клещами, следовали за ним молча и в почтительном отдалении. Павлин направлял свои стопы туда, куда указывала ему раскрытая перед ним на руке квартирная книга.

Я вам едва ли сумею передать хоть слабую тень того, что́ такое производило на всех в доме это утреннее шествие Павлина по дому в сопровождении двух следовавших за ним ликторов. Из всех окон длинных флигелей внутреннего двора, занимаемых бедными жильцами, на Павлина устремлялись то злые, то презрительные, а чаще всего тревожные взоры; нередко вслед ему слыша-

лись бранные слова и ядовитые насмешки, еще чаще проклятия и слезные вопли; Павлин не обращал ни на что на это никакого внимания. Он совершал свое течение, как планета в ряду расчисленных светил по закону своего вращения, и не удостоивал никаких заявлений ни гнева, ни сожаления. Шествие это выражает, что Павлин идет собирать ежемесячную плату с бедных жильцов дробных квартир, на которые тетушка переделала все внутренние флигеля — в том основательном расчете, что дробные квартиры всегда приносят более, чем крупные, потому что они занимаются людьми бедными, которых всегда более, чем богатых, и которые не претендуют ни на вкус, ни даже на чистоту. А почему это шествие Павлина представлялось столь внушительным и возбуждало столько ужаса, мы сейчас увидим, если последуем за ним на одну из узких темных лестниц, по которым он взбирается в сопровождении своих ассистентов. Вот он останавливается у известного ему нумера и звонит у двери; ему не скоро отворяют, но он терпелив и не докучает; он слышит, как там шушукаются, бегают, что-то прячут и плачут — и все стоит, а потом звонит во второй раз, не особенно сильно, но так внушительно, что более не отпираться нельзя, и двери нехотя отпираются. Павлин снимает фуражку и спокойно входит в них со своею книгою, а сопровождающие его люди между тем ждут его на террасе. Если он минуты через три выходит назад, то вы непременно видите, что он кладет что-то за широкий обшлаг своей пестрой ливреи. Это он прячет хозяйские деньги и идет далее, в другую квартиру, для которой сегодняшний день есть тоже день очередной расплаты за месяц вперед. Дворники опять следуют за ним по пятам с топором и клещами и ждут его *распоряжений*. Все ждут этих распоряжений, и все молят бога, чтобы их не последовало. Но что же это за распоряжения?.. А вот что: вот Павлин, выйдя из одной квартиры, ничего за свой обшлаг не спрятал, а только кивнул головою, и сейчас же в одном из окон этой квартиры появляются две головы Павлиновых сопутников; топор и клещи работают с неописанною быстротою и ловкостью, рама исчезает — и в обезрамленное окно несется женский крик и детский плач, а Павлин течет далее, и течение его опять где-нибудь выражается исчезающею из окна рамою... И опять

крик и плач, и в пустые окна вырывается клубом незащищенная комнатная теплота, которую вымораживаемая бедность напрасно силится удержать и сберечь вывешиваемыми на рычагах и щетках лохмотьями...

Чем далее в глубь дворов и чем выше этажи по лестницам, тем эти в содрогание приводящие распоряжения Павлина повторяются чаще. Я хотел было сказать «и тем решительнее», но у Павлина ничего никогда не было малорешительно.

Обойдя все двери, в которые ему надлежало в этот день постучаться, он тек обратным течением, а дворники за ним несли выставленные рамы, которые Павлин собственною рукою запирал в особый чулан у себя под лестницею и затем спокойно садился в свое высокое кресло с бронзовым драконом на спинке и начинал читать *Пчелку* и другие газеты, которые получались в доме, проходя непременно предварительно через Павлиновы руки. Это чтение, по-видимому, очень его интересовало, и он занимался им во все свои свободные минуты. Просмотрев газеты и потом уже раздав их подписчикам, Павлин брался за чтение книг, преимущественно или даже исключительно переводных французских романов, которых, впрочем, он по гордости своей ни у кого не выпрашивал, а абонировался на них в библиотеке.

За этим занятием, кроме посетителей, которым Павлин должен был оказать то или другое содействие по должности швейцара, его за этим же занятием заставали другие посетители — это те жильцы, квартиры которых он подвергнул утром усиленной вентиляции через вынутые рамы.

Если неисправный жилец приносил деньги, Павлин молча брал их, отмечал в книге и дергал звонок, на который являлись дворники и, вынеся из чулана молча указанную им раму, отправлялись ее вставить. Если же жилец или жилица являлись с жалобою, пенями или просьбою льготы, то опять молчание, звонок, дворники — и проситель выводился, не услыхав в ответ на свои жалобы ни одного слова.

Так исполнял свою службу моей тетке ее знаменитый Павлин, с которым потом с самим судьба сыграла не менее знаменитую штуку, чем все разыгранные им с жильцами теткина дома.

III

Мы с матушкою и ее сестрою Ольгой Петровной, занимавшеюся при нездоровье maman моим воспитанием, имели в доме Анны Львовны небольшую квартирку по одной из лестниц второго двора. Я не вспомню теперь, сколько мы платили за нашу квартиру, и не могу сказать, как бы с нами было поступлено, если бы мы хотя один раз не сделали за нее своего взноса в срочное время. Вероятно, что, не щадя своего запропавшего мужа, Анна Львовна не обличила бы слабости и к его сестре, а моей матери, которая бог весть почему заблагорассудила жить в доме своей золовки, где нас на первом же шагу встретила памятная неприятность, при которой мы в первый раз познакомились с Павлином. Мы перебирались в тетушкин дом в самый рождественский сочельник. День был морозный и, по обыкновению в это время года в Петербурге, очень короткий, так что когда возы с нашею небогатою мебелью въехали на двор, настали уже сумерки. Матушка до этого времени сидела у тетки Анны Львовны, а мы с тетей Ольгой, которая терпеть не могла Анны Львовны, расхаживали по пустой квартире; но чуть прибыла наша мебель, матушка тоже пришла в свою квартиру, чтобы распорядиться, где ставить вещи. По ее словам, Анна Львовна сама посоветовала ей прийти для этого, и она пришла и сказала людям: «Вносите», но люди только переглянулись, а из-за плеч их вырос Павлин и за ним два его адъютанта с известными инструментами.

— Что тебе, батюшка, угодно? — спросила maman.

— Деньги пожалуйте за месяц, — отвечал Павлин, разворачивая перед maman свою книгу.

— Хорошо, батюшка мой, хорошо; я завтра утром пришлю, — отвечала maman с родственною короткостию, отстраняя от себя рукою и книгу и Павлина и подзывая своих слуг; но слуги не трогались, а Павлин едва заметно улыбнулся и отвечал, что он до завтра не может ничего отсрочивать, что деньги должны быть заплачены ему непременно сию же минуту.

Maman сочла это за невежливость: она так обиделась, что побледнела.

Павлин это заметил, и это ему, очевидно, было неприятно: он насупил брови и с некоторою нервною нетерпеливостью в голосе проговорил:

— Сударыня! Здесь такой порядок.

— Прекрасно, что у тебя такой порядок, но ведь ты же, я полагаю, можешь рассудить... — Матушка, горячась, теряла слова и запнулась.

Павлин ответил ей на ее последнее замечание:

— Могу-с.

— Ты знаешь, что Анна Львовна мне не чужая, а своя?..

— Знаю-с.

— А знаешь, так что... так чего же тебе?..

— Деньги-с... я без того не могу позволить вносить ваших вещей.

— Как не можешь позволить? Но неужто же вещам стоять ночь на дворе, и нам на полу спать?

— И вам не спать на полу, а вы потрудитесь отсюда уйти, или я сейчас велю выставить окна, — отвечал Павлин и, опять сделав нетерпеливое движение бровями, добавил: — У нас такой порядок.

Между прислугою и извозчиками, доставившими наши вещи, начались говор и смятение. Павлин стоял с книгою в передней и не обращал ни на что это никакого внимания.

— Но это смешно, — воскликнула maman, — я сейчас виделась с Анной Львовной, и она мне ни слова не сказала, что не верит мне до завтра... Засидевшись у нее, я опоздала взять в банке деньги. Но... но что за глупость! Я вовсе не хочу с тобой и рассуждать, — добавила рассерженная матушка и сказала, что она сейчас сама идет к Анне Львовне.

— Это будет напрасно-с, — сухо ответил Павлин.

— Ну, уж это не твое, батюшка, дело.

И она, взволнованная, накинула на себя платок и пошла к хозяйке, меж тем как Павлин, не покидая своего поста, сделал незаметный для нас знак своим ассистентам — и через минуту, к немалому нашему удивлению, из комнаты, назначавшейся для маменькиной спальни, потянул проницающий холод. Я, занимавшийся до сих пор рассматриванием пестрого убранства Павлина, оглянулся и увидел, что дворники несли в руках по одной

внутренней раме, а в то же время с другой стороны появилась maman и, вся дрожа от холода и негодования, сказала по-французски:

— Представь, Ольга, какова эта Анна Львовна? Вообрази: она меня не приняла!

Добрая тетя Ольга отвечала, что она этого и ожидала.

— Это ужасно! — отвечала maman. — Я уверена, что она дома, потому что нет четверти часа, как мы расстались; но мне сказали, что она уехала ко всенощной. Как она может быть у всенощной, когда здесь, в ее доме, так оскорбляют родню ее мужа? Уедем отсюда: пусть всё бросают на дворе, но я не хочу здесь жить, и моя нога более не будет в этом доме! Одевайся и уедем куда-нибудь в гостиницу. Я не могу одной минуты видеть этого негодяя!

Отпустив этот последний комплимент по адресу Павлина, моя нервная maman начала порывисто надевать на меня мое теплое платье. Между прислугою смятение еще более усиливалось; дворники, с вынутыми рамами в руках, тихонько пересмеивались; извозчики внизу кричали и шумели, ропща, что их долго не отпускают; по квартире расползался через выставленные рамы холод. Павлин стоял в своей строгой позитуре, и на лице его не было заметно ни малейшего беспокойства. Как ни странно может показаться вам мое сравнение, но он мне сразу напомнил тогда собою Гете, величавую и до холодности спокойную фигуру которого я знал по гравюрке, вклеенной в моей детской книжке. Павлина как будто вовсе не трогали мелкие страдания людей: он имел в виду одну какую-то общую гармонию того, что совершал и видел.

Но, помимо этих моих наблюдений, я не знаю, чем бы все это смешное и досадное замешательство с нами кончилось; вероятно, нас бы прогнали, если бы в дело не вмешалась тетка Ольга. Она отвела maman немножко в сторону и, говоря с нею по-французски, успела ее убедить, что дело от каприза ничего не выиграет и что мы почтенной Анне Львовне ничего не докажем, потому что она уже, вероятно, видела всякие доказательства в этом роде и ни одним из них не переубедилась.

— Но я уверена, что это не она, а этот грубиян, — молвила, смягчаясь, maman.

— А я уверена, напротив, что это именно *она,* а не «этот», как ты его называешь, «грубиян». Он мне кажется очень хорошим и честным человеком, потому что он точно исполняет то, что обязан исполнить; я это уважаю и ценю, — отвечала Ольга.

— Но что же нам делать? Это смешно: у меня недостает денег, я забыла их взять...

— Мы их достанем и заплатим.

— Где? Теперь банк закрыт, на дворе вечер, а у нас нет никого из знакомых (мы тогда только переселились в Петербург из провинции). Не у Анны же Львовны занимать, чтобы ей же заплатить.

— Нет, не у нее, — молвила тетя Ольга и с этим, подойдя к Павлину, сняла со своей руки два бриллиантовые кольца и спросила: — Не можете ли вы взять от нас это до послезавтра в залог? Послезавтра мы возьмем деньги и выкупим.

— Сударыня, я должен сейчас представить госпоже деньги, — отвечал Павлин с глубоким уважением к Ольге.

Отвечая ей на вопрос, он точно благодарил ее интонацией своего голоса за то, что она о нем сказала maman.

— Ну, пошлите заложить эти вещи в какую-нибудь лавку.

Павлин подумал — и, моргнув одному из своих дворников, велел ему исполнить требование Ольги, заложив ее кольца у какого-то известного ему лавочника, имя которого им названо было и потом для обстоятельности еще раз повторено.

Пока посланный дворник возвратился с деньгами, которых принес более, чем нам на этот случай было нужно, Павлин молча помогал другому вставить вынутые у нас рамы — и, получив, что̀ ему следовало, за квартиру, вежливо поклонился и вышел.

Тетка Ольга, обладавшая не только большим смыслом и добротою, но и превосходным веселым характером и остроумием, тотчас же по уходе Павлина начала очень забавно трунить над нашим минувшим затруднением и привела в самое веселое расположение не только

maman и меня, но даже всю нашу прислугу и извозчиков, которые, внося каждую вещь снизу в комнаты, не упускали случая отпускать разные остроты насчет Анны Львовны, величая ее чертовкой, и ведьмой, и другими лестными названиями.

Через час у нас вся мебель была поставлена на место, мелкие вещи более или менее были убраны, и квартира приведена в возможный порядок; а еще через другой час, который мы с матушкою и теткою провели во всенощной, мы застали нашу квартиру уже теплою и встретили праздник на своих чистых постелях. Через день кольца тетки Ольги, разумеется, были выкуплены, и мы зажили, но без решимости оставаться здесь долго, после встретивших нас на первых же шагах неприятностей. Maman говорила, что мы здесь не останемся долее месяца, а если она ранее найдет удобную квартиру, то мы переедем отсюда и ранее. Ей никто не противоречил, но другой удобной квартиры, к крайней досаде maman, не находилось, а та, в которой мы теперь жили, была тепла, суха и как нельзя более для нас удобна. К тому же суровый дом тетки Анны Львовны, благодаря царившему в нем строгому духу Павлина, отличался тишиною и опрятностью, на что тетка Ольга указывала maman и мало-помалу убедила ее не горячиться и не переезжать отсюда до лета.

— Мы ее этим не накажем, — говорила тетка Ольга, намекая на почтенную Анну Львовну, — а только себе наделаем хлопот и убытков. Стоит ли она этого?

Матушка мало-помалу согласилась, что Анна Львовна этого не стоит, и решилась остаться еще на месяц, но только с тем, чтобы «грубиян», то есть Павлин, не возмущал ее спокойствия и никогда не показывался к нам в квартиру.

Тетка Ольга взялась это устроить — и под тот день, когда нам предстоял второй месячный платеж, она сама занесла деньги в швейцарскую и вручила их Павлину.

С Анной Львовной не виделись ни maman, ни тетка Ольга, в отношениях которой к Анне Львовне я, при всей моей тогдашней неопытности, замечал неодолимое отвращение. Мы жили совершенно как чужие и вовсе не знакомые хозяйке люди, и это нас нимало не тяготило, —

ее это тоже, вероятно, не очень смущало. Мы видели из своих окон, как Павлин от времени до времени совершал свои роковые обходы по дому за сбором денег; после чего то в одной, то в другой квартире открывались прорехи; но это нас непосредственно не касалось, и мы к этому скоро привыкли и даже стали понемножку подсмеиваться. Что делать? Такова сила «чудовища-привычки». Мы смеялись не над горем вымораживаемых жильцов, а над тем способом, как это делалось среди многолюдного города, словно на постоялом степном дворе. Этот важный пестрый Павлин с физиогномиею и позитурою Гете, эти дворники с инструментами, напоминающие распинателей Иисуса Христа на картине Штейбена, и это быстрое выставление и вставление окон и полное равнодушие всех к этому самоуправству — все это в самом деле имело в себе что-то трагикомическое. К нам Павлин не появлялся, потому что в конце второго месяца тетка Ольга опять отвратила его появление, лично занеся ему деньги в его швейцарскую накануне срока; точно так же опять накануне заплатила она и на четвертый месяц, и такой порядок у нас установился, и благодаря ему мы продолжали жить в своей хорошей и удобной квартире, вовсе позабыв, что дом этот принадлежит Анне Львовне, по милости которой мы так оригинально встретили канун рождества. Мы вспоминали о ней, впрочем, когда видели из своих окон огни в ее парадных комнатах, но вспоминали так, мимоходом, равнодушно: «вот-де у нее гости» или что-нибудь подобное. Что же касается до Павлина, то я и сам не знаю, как это сталось, что имя его, бывши у нас долгое время под запретом, вдруг начало произноситься не только без раздражения и злобы, но даже с чем-то похожим на уважение.

IV

Если установившееся у нас доброе мнение о Павлине могло ему на что-нибудь пригодиться, то он обязан был за это тетке Ольге, к которой он при всякой встрече относился с бесконечной аттенцией и сам обрел у нее себе благоволение. Матушка шутя смеялась над тетей Ольгой,

что она совершила Даниилово чудо над зверем, поработив себе Павлина, но в этой шутке была своя доля истины: Павлин благоговел перед теткой, хотя к чести его надо сказать, что он, однако, и это благоговение выражал с полным сохранением своего неприступного достоинства. Он только кланялся ей гораздо ниже, чем прочим, и уступал ей дорогу почтительнее, чем самой Анне Львовне, которую он, по наблюдениям тетки Ольги, терпеть не мог и презирал. На чем она основывала эти свои выводы и заключения, никогда не говоря с Павлином, я не знаю, но в выводах этих чувствовалась правда. Из этого вы видите, что у нас почему-то постоянно занимались Павлином: он заинтересовал нас собою, не исключая даже и меня, засматривавшегося на его пеструю ливрею, и maman, начавшую симпатизировать ему за подмеченное в нем теткой Ольгой презрение к Анне Львовне.

Так шло довольно долго: мы всё продолжали жить в доме Анны Львовны и наблюдали Павлина издали, как вдруг совершенно неожиданно представился повод к ближайшему с ним знакомству. Это случилось таким образом, что maman, будучи недовольна кем-то из прислуги, нанимала другого человека. Вместо отходящего был отыскан и ангажирован другой, и на следующий день этот новый слуга должен был прибыть и вступить в отправление своей должности, но в предшествовавший этому дню вечер тетя Ольга получила с дворником конверт, надписанный на ее имя. Почерк был незнакомый и из нещегольских, каким пишут на Руси грамотные самоучки; в конверте оказалось письмо, писанное опрятно, на чистой бумажке, но тем же самоучковым почерком, и содержало оно в себе, сколько я помню, от слова до слова следующее: «Ваше Высокоблагородие Ольга Петровна! Госпожа ваша сестрица договорили себе прислугу (имя рек), но сей договоренный есть человек легкомысленный, а потому к доверенности ему ненадежный, о чем приемлю смелость вам для предосторожности доложить». Подпись: «швейцар Павлин Певунов». Тетка показала это письмо матушке, и та решила послушаться предостережения, которое делал Павлин, и договоренному легкомысленному слуге был послан отказ, а maman, идучи на свою обычную прогулку и встретив на дворе Павлина, поблагодарила его за доброжелательство. Антик снял свою шляпу

с галуном и ответил maman молчаливым, но вежливым поклоном. Вечером maman, сидя за чаем, сказала тетке Ольге:

— Но, однако же, нам все-таки нужен слуга. Господин Павлин нам одного опорочил, а где искать лучшего — не показал.

— Это и не его дело, — отвечала тетка.

— Знаю; но... он бы, я думаю, мог нам порекомендовать, если бы захотел.

— А ты его разве просила?

— Нет; да он, кажется, со мною и не желает говорить — взглянул оком по меньшей мере министерского величия и откланялся. Другое дело, — пошутила она, — если бы ты его об этом попросила: для тебя он, верно, за высокую для себя честь почтет оказать нам эту услугу.

Тетка приняла эту шутку с обыкновенно свойственною ей веселостью и так же шутя отвечала:

— Хорошо: я его попрошу.

На другой же день тетушка, идучи куда-то перед вечером, вместе со мною зашла в швейцарскую, где Павлин, по обыкновению, сидел один в своем кресле и читал перед зеленою лампою книгу.

Увидев тетку, он тотчас же положил на стол книгу, вежливо поклонился и, выпрямившись во весь свой длинный рост, принял позитуру Гете.

Тетушка высказала ему просьбу. Павлин сдвинул брови, подумал и отвечал:

— Нынче обстоятельных к своей должности слуг нет.

— Так вы и не можете нам никого рекомендовать?

— Не смею-с, потому что никого такого не предвижу.

Мы отошли ни с чем, и когда вернулись домой, то maman не мало потрунила над тетушкой, что власть сей последней над Павлином Певуновым не плодотворна и он все-таки грубый бирюк; но тетя и тут защищала его, говоря, что она и в этом его отказе видит только новое доказательство его обстоятельности и благоразумия: он осторожен, говорила она, потому что «обстоятельный человек». А знай он кого-нибудь, за кого бы мог поручиться, он бы, конечно, непременно порекомендовал.

И тетка не ошиблась: к ее вставанью на следующее утро опять появилось краткое письмо, которым Павлин, в лапидарном стиле, просил ее повременить дня два наймом слуги, ибо он получил какие-то сведения об известном «обстоятельном господском служителе, бывшем одних с ним господ».

Тут сказались настоящие чувства maman к Павлину: она перестала говорить о нем как о грубияне и очень обрадовалась, что может иметь слугу одной с ним школы, и изъявила согласие ждать рекомендованного Павлином человека хоть целый месяц. Но это было вовсе не нужно, потому что ожидаемое лицо явилось на другой же день и тотчас же было нанято и вступило в должность скромного лакея нашего скромного жилища.

Поставленный Павлином человек был несколько старше его и гораздо его простодушнее и добрее. Он даже совсем был добряк и имел веселый и открытый характер и необычайную кротость и исполнительность, чем и заслужил у нас сразу всеобщее доверие и расположение, хотя, разумеется, ему в этом немало содействовала рекомендация Павлина, оказавшего нам таким образом первую услугу.

Вскоре он сделал и другую: мы собирались на лето в деревню и грустили, что должны были оставить нашего любимого человека дома при квартире, и что же? Не успели мы об этом поговорить дома за нашим вечерним чаем, как утром опять к тетушке послание: Павлин, опять в том же лапидарном стиле, извещает, что нам отнюдь не нужно никого оставлять на лето в своей квартире, так как он, Павлин, «сам достаточно может ее досмотреть без всякого затруднения». Принять это одолжение было очень соблазнительно; это отлично улаживало все наши дела, и вопрос мог быть только в том, как вознаградить Павлина за его досмотр? К обсуждению этого вопроса был допущен наш слуга, но от него получился по этому поводу решительный протест.

— Павлин Петрович — человек амбиционный, — сказал он, — он это предоставляет из чести, и платою его можно несносно обидеть.

Так это и осталось: ни maman, ни тетка Ольга решительно не могли придумать, чем бы поблагодарить «нашего *доброго* Павлина».

Павлин у нас начал именоваться *«добрым»*. Так изменял он в наших глазах свою репутацию в преддверии наступающей эпохи, когда ему предстояло явить себя на искусе в борьбе чувств, ему, по-видимому, вовсе не свойственных.

V

Мы уехали и возвратились, застав свою нежилую во все время нашего отсутствия квартиру в чрезвычайном порядке, а из дверей в двери против нас в другой квартире появились новые жильцы. Это была молодая дама с престарелою матерью и шестилетнею дочерью, очень красивою девочкою. Нам, разумеется, до этих новых соседей не было никакого дела, но maman и тетка невольно обратили внимание на одну замечательную странность фамильной черты всех трех лиц наших новых соседок: все три они были в разных порах жизни, но у всех у них на лицах — в красоте меркнущей, цветущей и еще только распускающейся — была как бы растворена какая-то родовая печаль и роковое предназначение к несчастию.

Тетка Ольга первым делом позаботилась узнать, не бедны ли они, — и отрадно успокоилась, что у этой семьи есть кормилец; оказалось, что у молодой дамы есть муж, который служит полковым врачом, и они живут не нуждаясь. Тетка перекрестилась и сказала: «Слава богу». Это «слава богу» касалось и наших соседок и самой тетки, которая в первую же ночь по нашем возвращении в город видела во сне, будто к нашим соседкам пришел Павлин и его распинатели, и будто из их окон выкидывали все на двор, и в ту же пору со двора поехал гроб, на этом гробу сидела та прекрасная девочка с растворенною печалью в лице и чертами рокового несчастия, а за этим поездом очутился Павлин в своей пестрой ливрее с расписною перевязью и в шляпе. В одной руке у него будто была его блестящая булава и факел, а в другой — его собственная отрезанная голова, а вокруг него из-под земли выныривали какие-то бледно-розовые птицы: они быстро поднимались вверх, производя нестерпимый свист своими крыльями, а оттуда, с высоты, с этих крыльев сыпались белые перышки и по мере приближения к земле

обращались в перетлевший пепел. Минута — и от всей пестроты Павлинова убора уже не осталось и знака, а он стоял весь черный, как обгорелый пень, и был опять с головою, но с какою-то такою страшною головою, что тетушка пришла в ужас, закричала и проснулась, — но проснулась с убеждением, что она видела сон вещий, который не может пройти без последствий.

Тетка не ошиблась: ее сон был в руку, и непререкаемого Павлина ждало тяжкое и роковое испытание.

Дело началось с того, что, проснувшись однажды в жестоко холодное крещенское утро, мы увидали в квартире наших новых соседей три выставленные окна. Матушка и тетка тотчас же поняли, что это работа нашего *«доброго»* Павлина, и так и ахнули. На дворе, как я вам сказал, стояла жестокая стыдь, и нетрудно было себе представить, что́ теперь должны были переносить злополучные женщины, жилище которых добрый Павлин привел среди зимы на летнее положение. Очевидно, они должны были коченеть в своих комнатах без окон. Maman с свойственною ей нервностью страшно разгневалась; назвала несколько раз «доброго» Павлина палачом, жидом и разбойником и послала девушку просить соседок сделать ей одолжение занять на время одну из наших комнат, которая сию же минуту и была приготовлена к их принятию. Но девушка возвратилась с ответом, что самой соседней барыни нет дома, — что она куда-то ушла, а старушка мать ее благодарит за участие, но решительно отказывается принять матушкино предложение. Отказ старушки был мотивирован тем, что она ждет дочь и уверена, что та скоро возвратится с деньгами, тогда-де заплатим, и все опять будет в порядке. Maman опять послала второго посланца просить, чтобы к нам отпустили хоть маленькую девочку, которой вынутые из окон рамы угрожали простудою. Это посольство было задачливее: я точно сейчас вижу, как к нам привели шестилетнюю девочку с прехорошеньким, но будто отмеченным какою-то печатью несчастия лицом. Есть такие лица, есть: по крайней мере я не раз встречал их. Наша маленькая гостья, очевидно, неясно понимала тогда затруднительное положение своего семейства и, освободясь из шелкового ватошника, в котором ее привели в нашу переднюю, обратила свое внимание на то, чтобы взойти

с известною грациею и сделать реверанс, что ей вполне и удалось. Видно было, что о ее внешней благовоспитанности и манерах заботились, — впрочем, тогда дети, не умеющие войти и поклониться, еще не входили в моду, — фребелевских матерей у нас еще не было.

Пока мы обогревали девочку, которую звали Любою, ее мать, имени которой я теперь не помню, возвратилась домой. Наши видели, как эта молодая дама прошла к себе в квартиру, но, к величайшему нашему удивлению, она не спешила из квартиры прибежать или прислать за дочерью, и за нею, как бывало в подобных случаях, если недоимка была вымогнута, не несли выставленных рам... Все это были плохие знаки. Нетрудно было отгадать, что бедная соседка наша вернулась без денег: мать и тетя Ольга поняли это сию же минуту, и последняя, нимало не медля, бросилась в разоренную квартиру, а еще через минуту вернулась назад, щелкнула ключиком своей шкатулки и снова убежала к соседям. Десять минут спустя по двору подвигалась известная процессия: дворники, рамы, молотки, клещи, гвозди и жестяной жбан с замазкой, а за всем этим пестрый Павлин с его, до сих пор в трепет меня приводящею, платежною книгою. Было понятно, что добрая тетка Ольга нашла у себя нужные деньги и что соседки наши приняли их и заплатили за свою квартиру, которая немедленно же была приведена в порядок и топилась. Но как комнаты, оставаясь в течение нескольких часов без окон, значительно настыли, то maman и тетя не только не отпустили домой маленькой Любы, но залучили к себе на весь день и ее мать. Просили и бабушку Любы, но старушка вежливо благодарила, а ни за что не пошла и оставалась дома. Мать же Любы просидела у нас до полуночи и, горько плача, рассказала, что муж ее служит врачом в одном из находившихся тогда в Венгрии русских полков, что состояния у них никакого не было и нет; но что они жили без нужды до тех пор, пока муж ее не выступил с полком в поход. Сначала он присылал им на содержание, но вдруг два месяца замолк, и они не имеют о нем ни слуха ни духа.

— Бог весть, — говорила, рыдая, дама, — может быть... его уже нет в живых, или он в плену, или с ним случилось еще что-нибудь худшее — и тогда... мое бедное дитя... мое бедное дитя, что с ним будет?

Она взглянула на Любочку, которую я развлекал, усадив ее на кресло и стоя перед нею на коленях, и вдруг быстро отвернулась и, закрыв рукою глаза, молвила в каком-то вдохновении:

— Темно, темно: я не могу глядеть в эту темнь!

И она вдруг затрепетала, рванулась к ребенку и, прижав к груди своей ребенка, замерла.

Тетка Ольга знала более; она знала, что кормильца этих сирот уже не было на свете: его не то поразила венгерская пуля, не то прикончила лихорадка. И бабушка знала об этом и сказала это тетке Ольге с тем, чтобы она помогла ей открыть роковую весть бедной вдове и пособила бы ей принять весь ужас ее беспомощного положения.

Тетка, вероятно, исполнила как-нибудь это печальное поручение, хотя я не знаю, как и когда она это сделала, потому что моя впечатлительная и нервная maman после этого дня ни за что не хотела оставаться в нашей квартире, и мы вскоре же действительно выбрались в другой дом, где не было ни Павлина, ни жестоких порядков, которые он с такою суровостью приводил в исполнение.

VI

Maman, как очень многие впечатлительные женщины, более всего избегала сцен возмущавшего ее жестокосердия и заботилась о том, чтобы *не видать их;* но нервы тетки Ольги были крепче, и она не боялась становиться с горем лицом к лицу, а потому она и здесь не оставила наших злополучных соседок и навещала их с своей новой квартиры. Тонкая деликатность тетки, вероятно, не позволяла ей спросить у них: есть ли им чем заплатить за следующий, наступающий месяц, но она стерегла и подкараууливала, как им обойдется урочный день наступающего срочного платежа. Я помню, как она тревожно и с каким сердобольным беспокойством берегла в своей памяти этот день, страшась, как бы не просчитать его, и, дождавшись, когда он наступил, рано утром побежала в дом, где наши бедные соседки оставались во власти Павлина. Взбежав на двор, она прежде глянула на их окна... рамы

были на месте... Тетка успокоилась. Прошел и еще месяц — и тетка Ольга опять точно так же стерегла срочное число и опять с деньгами в кармане побежала к старым соседям, и опять все застала в полном порядке и спокойствии, какое было возможно в их стесненном положении. По крайней мере квартира была тепла, хотя, видимо, все мало-помалу пустела. На третьем месяце у этих бедных жильцов умерла старушка бабушка... Ходили странные слухи: говорили, будто она отравилась фосфорными спичками и сделала это в полной памяти и с знанием дела: она распустила фосфор не в воде и не в спирте, как это делает большинство отравляющихся этим способом, а в масле, в котором фосфор растворяется совершенно. Говорили, что она отравилась с единственной целью не обременять собою бедную дочь, которая не хотела ее оставить и бедствовала, давая дешевые уроки, тогда как она с одною девочкою могла бы поступить куда-нибудь классною дамою или гувернанткою. Бабушка хотела развязать своей дочери руки, и развязала их с удивительным спокойствием. Справедливы или нет были все эти толки об отраве — я наверное не знаю; но только старушку, однако, схоронили без всяких полицейских историй, а расчет ее оказался неверным: хотя она и развязала руки дочери, но дочь ее не получила желаемого места, — а напротив, бегая по своим дешевым урокам, совсем надломила свой потрясенный организм, после чего ей довольно было самой маленькой простуды, чтобы у нее развилась жестокая болезнь, менее чем в месяц низведшая эту бедную женщину в могилу.

Она умирала, не оставляя дочери ничего: ни имения, ни добрых людей, даже моей доброй тетки Ольги не было тогда в городе, потому что она об эту пору ездила в другой город к родным и возвратилась в очень скверный день, когда по грязному снегу ранним февральским утром на Волково кладбище тащились бедные дроги с гробом, у изголовья которого тут же, на дрогах, сидела заплаканная Люба, а сзади дрог шел... Павлин... Словом, все точь-в-точь, как тетка Ольга видела когда-то во сне. Павлин был с непокрытою головою, облаченный для сего печального случая в серую шинель на старом волчьем меху. Тетка Ольга ужасно встревожилась этим событием, и, переговорив с maman, решили взять сиротку Любу к нам,

пока удастся ее куда-нибудь устроить; но все это оказалось излишним: Люба была уже устроена, и, вероятно, не хуже, чем бы могли устроить ее мы с нашими весьма ограниченными средствами и без всяких сколько-нибудь веских и значительных связей. Виновником попечительных забот об осиротевшей девочке явился тот же самый Павлин, который два месяца тому назад вымораживал ее вместе с ее матерью и бабушкой.

Когда тетка Ольга, окончив свои переговоры с maman, пришла в швейцарскую Павлина, чтобы узнать от него, где Люба, она не нашла его, на его обычном кресле. Это было едва ли не первое нарушение Павлином своих обязанностей с тех пор, как он надел в этом доме пеструю ливрею и взял в руки блестящую булаву.

Осведомясь у кого попало о швейцаре, тетка узнала, что он уже возвратился с кладбища к себе и пронес туда на руках в свою комнату девочку.

Тетка, долго не раздумывая, направилась к неприкосновенному апартаменту Павлина и растворила дверь. Перед нею открылась очень маленькая комнатка, с диванчиком, на котором помещалась плачущая Люба, а перед нею стоял на коленях Павлин и переменял на ребенке промокшую обувь.

При входе тетки он встал и, вежливо поклонясь ей, сказал:

— Сударыня, верно, изволили пожаловать насчет барышни?

— Да, — отвечала тетка.

— Изволите желать взять их?

— Да.

— Как вам угодно.

Девочка тянулась к тетке, и мы ее взяли, но ввечеру того же дня к нам появился Павлин и просил доложить тетке, что он пришел переговорить о сироте.

Павлина позвали в зал, куда к нему вышла и тетка. Они говорили около получаса, по истечении которого Павлин ушел, а тетка возвратилась к maman в восторге от ума и твердости характера Павлина.

Павлин, явясь к тетке, объяснил ей, что желает взять Любу на свое попечение, но не настаивает на этом, если девочка может быть устроена лучше. А для того, чтобы дать тетке возможность судить о его средствах и благо-

надежности, он нашел нужным рассказать ей свое прошлое и представить нынешнее свое положение и планы насчет Любы. По его словам, он был крепостной человек, обучен музыке, но не любил ее, и из музыкантов попал в камердинеры, потом откупился дорогою ценою на волю сам, своею единственною душою; но после собрал трудами и бережливостью довольно большую для его положения сумму, он выкупил на волю свою старуху мать, сестру и зятя и снял им на большой тульской дороге хороший постоялый двор. Затем, считая себя обязанным помогать хозяйству этих родственников, он сам не женился и жил для родных; но назад тому с месяц он получил известие, что все его родные вслед друг за другом поумирали холерою. Оставаясь теперь совершенно одиноким и находя, что ему время для женитьбы уже прошло, Павлин выразил желание остаток дней своих посвятить сироте Любе, которая, по своему положению, сделалась ему чрезвычайно жалка.

Тетку мою так тронуло это доброе движение, что она подала Павлину руку и посадила его, чтобы он обстоятельно изложил ей свой план, которому думает следовать насчет Любы. Тетка была уверена, что степенный Павлин, решась взять дитя на свои руки, непременно имеет ясные намерения, которые и рассчитывает привести к выполнению, и она не ошиблась. Павлин действительно имел план, и притом весьма обстоятельный, удобоисполнимый и вполне отвечающий его солидному и твердому характеру. Он приготовился не только взять девочку и воскормить ее, но расчел весь путь, каким она должна была войти в жизнь и стать в ней твердою ногою. При этом он обнаружил в своем характере некоторые до сих пор еще не замеченные в нем черты, а именно: прямоту, скромность и презрение к тщеславным посягательствам человека на высший полет. Павлин избирал сироте, может быть, очень скромную долю: он сказал тетке, что намерен отдать Любу в школу к одной известной ему очень хорошей даме, где девочка года в четыре обучится необходимым, по его соображению, наукам, то есть чтению, письму, закону божию и арифметике, а также «историческим сведениям», а потом он отдаст ее учиться рукоделиям, а сам в это время к выходу ее из этой последней науки соберет ей денег, откроет магазин

и потом выдаст ее замуж за честного человека, «который ее мог бы стоить. Этак, — говорил он, — я располагаю, будет гораздо вернее, потому что к благородству, если удастся судьба, можно всегда очень легко привыкнуть, но самое первое дело человеку иметь средства на себя надеяться».

Тетке, которая всегда была сама очень умна и проста, этот простой и удобный план воспитания необыкновенно как нравился, но maman план Павлина не совсем был по мысли: она находила, что никто не имеет права таким образом «исковеркать будущность бедной сиротки против того, на что она имела право по своему происхождению». На этом maman и тетка никак не могли согласиться, и они, вероятно, долго бы спорили, если бы в дело не вмешался случай и не порешил все это по-своему: здоровье maman потребовало перемены климата, и она должна была уехать на год далеко из Петербурга к своему брату; меня отдали в Петербурге в пансион, а моя добрая тетка отъехала в иную сторону и устроилась особенным образом: она поступила в один уединенный женский монастырь на берегу Днепра за Киевом. Сиротку Любу таким образом волею-неволею пришлось вверить исключительным попечениям Павлина, которого рвение устроить это дитя и средства все это сделать были притом едва ли не далеко превосходнее наших. Притом же и нравственные ручательства, которые Павлин дал тетке при прощании с нею, значительно успокаивали ее за судьбу Любы. Павлин объяснился тетке в таком роде:

— Я знаю, сударыня, — сказал он, — что меня считают злым человеком, а это все оттого, что я почитаю, что всякий человек должен прежде всего свой долг исполнять. Я не жестокое сердце имею, а с практики взял, что всякий в своей беде много сам виноват, а потворство к тому людей еще более располагает. Надо помогать человеку не послаблением, так как от этого человек еще более слабнет, а надо помогать ему на ноги становиться и о себе вдаль основательно думать, чтобы мог от немилостивых людей сам себя оберегать.

И так maman и тетка, оплакав Любу, оставили ее Павлину на его произвол делать из нее женщину без

слабостей и способную саму себя оберегать, а вышло, что она — эта маленькая девочка — сделала из самого Павлина то, чем этот крепкий человек вряд ли думал сделаться.

VII

Время шло; Павлин воспитывал Любу точно так, как обещал моей тетке в первом их разговоре об этой сиротке. Пока я проводил последние годы в гимназическом пансионе, Люба училась в домашней школе у одной дамы, которой Павлин платил за учение и содержание своей питомки с свойственной ему аккуратностью. Здесь Люба, разумеется, не набралась больших знаний, но, однако же, все-таки узнала гораздо более, чем считал для нее нужным и полезным Павлин. Занятый своим делом, я было совсем позабыл о Любе, но, увидав ее случайно на улице вскоре после своего поступления в университет, я тотчас же ее вспомнил и очень ей обрадовался. Мне тогда было лет восемнадцать, а Любе шел четырнадцатый год. Она расцветала и обещала быть очень красивою девушкой, у нее выполнялась очень стройная и преграциозная, миньонная фигурка; головка ее была повита густыми волнующимися золотистыми волосами самого приятного цвета, и при этом — черные брови и длинные темные ресницы, из-под которых глядели два большие темно-синие глáза. Я так был поражен ее красотою, что противу воли моей не умел этого скрыть, и мы оба друг друга сконфузились и расстались, не успевши наговориться. Потом еще через год мы с нею снова встретились в церкви за ранней обедней, где она, еще более расцветшая, стояла впереди Павлина, глядевшего на нее, как мне тогда казалось, с глубочайшею нежностию. Восемь лет имели на Павлина небольшое влияние, но влияние не особенно разрушительное: он только начал седеть и потучнел, но все-таки был молодцом для своих пятидесяти лет. В его выходном костюме не было никакой разницы; Люба же у него была одета скромно, но очень опрятно и держалась барышней, — Павлин, в поношенной коричневой бекеше, казался ее дядькой. Он, как я вам сказал, стоял сзади Любы и держал на руке ее плащ и вязаную гарусную косыночку, которую та сняла, потому

что в церкви было довольно жарко. Жарко было всем, но казалось, что Любе было особенно знойно и томно: она краснела как маков цвет, и взгляд ее представлялся мне беспокойным и растерянным. И еще что было замечательнее, эта видимая напряженность ее состояния усиливалась по мере приближения службы к концу. Мне сдавалось, что в этой напряженности кое-что принадлежит моему неожиданному появлению перед Любой, так как она, увидав и очевидно узнав меня, не переставала наблюдать меня своими большими зрачками из-под густых и длинных темных ресниц. Последствия убедили меня, что я не ошибался; когда я по окончании обедни подошел к Любе, которой Павлин подавал в это время ее верхнее платье, напряженность ее достигла крайней степени: она мне едва кивнула головкой и, спешно одеваясь, все совала руку мимо рукава, меж тем как на опущенных книзу ресницах ее потупленных глаз сверкала большая полная слеза — слеза не умиленная и добрая, а раздражительная и досадливая. Люба, несомненно, страдала от того, что я видел ее с *лакеем,* но не в том положении, в каком лакей мог бы быть приятен для человеческой суетности. Павлин не показывал ни малейшего вида, что он это замечает, но я был уверен, что он все это видел и понимал; однако же он, по-видимому, не смущался, но делал свое дело, как всегда, точно и аккуратно, то есть в данном случае он одел Любу и оправил все на нее надетое не более как со вниманием служителя; а Любе, казалось, и это не нравилось: она, что называется, *пижонилась* — сторонилась от него, как голубенок от соседящегося к нему грача.

Во мне шевельнулись старые воспоминания: припомнилось уважение, которое моя добрая тетка выражала к этому суровому блюстителю всякого принятого на себя долга, — и мне стало досадно на Любу: я одновременно подал правую руку ей, а левую Павлину и, как умел, ласково сказал ему:

— Я очень рад, что вижу вас, Павлин Петрович, — простите, что подаю вам левую руку, но она ближе правой к сердцу.

Он сжал мою руку крепко-крепко, и мне показалось, что на глазах у него даже блеснула слеза, но не такая, как у Любы. Это не скрылось от Любиной наблюдательности, и потупленные глаза ее поднялись: она точно обра-

довалась, что между всеми нами тремя как будто восстановилось равенство, и просияла. Павлин опять был тот же по внешности, но было что-то такое, что и в нем сказалось тихо сдержанным удовольствием.

— Любовь Андревна-то-с, — заговорил он ко мне, выходя из церкви, — как переменились... выросли — совсем особенные стали против прежнего вида.

— Да, выросла и... — я хотел сказать, что она похорошела, но нашел, что не следует ей этого говорить, и добавил, что я едва узнал ее.

— Как же, — отвечал Павлин, — помните... ведь они тогда остались... совсем ребенком... А теперь им нынче уже пятнадцать лет.

Я очень некстати удивился, что будто уже со дня сиротства Любы идет десятый год. Тем это и кончилось; но в следующее воскресенье я опять свиделся с Любой и Павлином в той же церкви, и встречи эти пошли все чаще и чаще, пока, наконец, я однажды увидал Павлина в церкви без Любы и осведомился: что это значит?

— Они... Любочка, нездоровы-с, — отвечал швейцар, называвший Любу в ее присутствии не иначе, как Любовь Андревна.

Я спросил: что с нею такое случилось?

Павлин задумался и развел руками, а потом неохотно промолвил:

— Должно быть, что-нибудь от воображения.

— Разве, — говорю, — Любочка очень мнительна?

— Нет-с, если вы полагаете мнительность насчет болезни, то нет-с; на этот счет они не мнительны, а даже напротив... не занимаются собой; а... так... в характере у нее сохраняется что-то... этакое...

Мы на этом расстались и после долго не виделись, но вдруг совсем неожиданно в один осенний вечер ко мне приходит Павлин и с тревожным выражением сообщает, что Люба заболела.

— Пришла, — говорит, — в прошлую субботу ко мне вечерком на одну минуту и вдруг разнемоглась и всех перепугала. Анна Львовна своего доктора присылали; и даже сами приходили и молодой барин... но теперь ей лучше: спала немножко и, проснувшись, говорит: «Как бы мне хотелось что-нибудь о моей мамаше слышать». Сделайте милость, пожалуйте к ней посидеть. Она про вас

вспомнила — и я замечаю, что ей хотелось бы про детство свое поговорить, так как вы ее мать видели. Вы этим ей, больной, большое удовольствие можете принести.

Я встал и пошел.

— Только, знаете, если она будет много спрашивать, вы ей не всё говорите, — шепнул Павлин, вводя меня в заповедную дверь своей швейцарской комнатки.

Эта комната, которую я теперь видел в первый раз, была очень маленькая, но преопрятная и приютная; она мне с первого же взгляда напомнила хорошенькую коробочку, в которой лежит хорошенькая саксонская куколка: куколка эта и была пятнадцатилетняя Люба.

VIII

Павлин оставил нас здесь с Любою вдвоем, а сам пошел хлопотать о чае. Люба сидела в кресле, с ногами, положенными на скамеечку и укутанными стареньким, но очень чистым пледом. Я приветствовал ее выражением удовольствия, что она поправляется, и сел напротив ее через столик.

Она мне ничего не ответила, но вздохнула и сделала гримаску, которую я принял за выражение какого-нибудь болезненного ощущения, но это была ошибка: Люба хотела показать своею гримасою, что она недовольна и безутешна.

— Я вовсе не рада, что я выздоравливаю, — проговорила она мне наконец, надув свою губку.

— Не рады! Что же, вам нравится болеть? — отвечал я, стараясь настроить разговор на шутливый тон; но Люба еще больше насупилась и молвила:

— Нет, не болеть, а у...

— «У...»? — отвечал я с попыткою обратить дело в шутку. — Вам еще рано «у...»

— Я очень несчастна, — прошептала больная, и слезы ручьями полились по обеим ее щекам.

Я старался ее успокоить общими утешениями вроде того, что вся ее жизнь еще впереди и пройдет тяжелая полоса, наступит и лучшая, но она махнула мне ручкою и нетерпеливо сказала:

— Никогда мне ничего лучшего не будет.

— Почему?

— Так... мне это на роду написано.

Я посмотрел на нее и не нашелся, что ей отвечать: в ее словах звучало не минутное болезненное настроение, а в самом деле что-то роковое, и во всем существе ее лежало что-то неотразимое, феральное. Молодое ее личико напоминало мне лица ее бабушки и матери. Разговор наш прервался и не шел далее. Люба не выспрашивала меня о своем прошлом, как ожидал Павлин, а молчала и сердилась. На что? Очевидно, на свое положение. Кого же она в нем винила? Устроившее так провидение?.. Нет; у нее, кажется, был на уме другой виноватый — и этот виноватый, как мне показалось, был едва ли не Павлин. Подозрительность подсказывала мне, что, вероятно, между ними незадолго перед этим произошла какая-нибудь сценка, от которой Павлин растерялся и, не желая беспокоить Любу своим присутствием, а в то же время жалея оставить ее одну, позвал меня к ней сам, без всякого ее желания. Та же, может быть, не совсем основательная подозрительность подсказывала мне, что Павлин нажил себе в Любе напасть. Люба казалась мне девочкою не в меру чувствительною, претензионною и суетною, а я уже и тогда знал, что с такими существами серьезному человеку нелегко ладить. Мне сдавалось, что всё страдание Любы, главным образом, происходит от того, что она живет в швейцарской, а не в бельэтаже, и что она обязана благодарностью *лакею,* а не его госпоже... И вот, придя с тем, чтобы сожалеть Любу, я невольно начал жалеть Павлина. Он, казалось, уже пасовал перед нею и теперь чувствовал, что он прирожденный лакей, а она, всем ему обязанная, все-таки прирожденная барышня, в которой сила привычки заставляет его признавать существо, чем-то его превышающее. Люба тоже, несомненно, замечала это преобладание над своим воспитателем, но у нее не было великодушия, чтобы быть скромною и благодарною. Разговорившись со мною, она всего охотнее рассказывала лишь о том, что у нее сегодня и вчера была сама Анна Львовна и ее старший сын Вольдемар, тогда только что произведенный в корнеты одного из щегольских гвардейских кавалерийских полков. Надутая и молчаливая, Люба чрезвычайно охотно распространялась об их посещении и о том, что они «говорили с нею по-французски, потому

что не хотели, чтобы Павлин понимал их разговора», и при этом Люба со вниманием рассматривала и нюхала оставленный ей старою генеральшею флакон с ароматическим уксусом. После этого разговора я был окончательно убежден, что, чтобы вылечить Любу, надо бы ее только, как кошечку, перекинуть с места на место, то есть перенести из швейцарской в бельэтаж — и последствия невдалеке же показали мне, что я не ошибся.

Выздоровев и побывав в бельэтаже у генеральши, молоденькая Люба нашла отраду в том, чтобы хотя несколько часов в день не удаляться оттуда. В мастерскую, куда она была отдана Павлином, теперь ей было так тяжело идти, что при одной мысли об этом она снова разнемогалась. Павлин не знал, что ему с нею делать: он все только жаловался, говоря:

— Вот, бот люди!.. Гм... подруги... наговорили ей, знаете, про то, что она... благородная! Теперь не хочет! А что такое это благородство? — Пустяки.

Принудить же Любу, заставить, поневолить ее идти в мастерскую... на это непреклонная воля Павлина была бессильна. Взять же ее к себе и держать в своей каморочке он тоже находил неудобным и непристойным, так как каморка была тесна, а Люба была уже почти совсем взрослая девушка. Одним словом, дело гнуло совсем не туда, куда направлял его Павлин, — и что же вы думаете: как он нашелся уладить всю эту неладицу? Ручаюсь, что вы не отгадаете!.. Павлин через год женился на этой шестнадцатилетней Любе, на этой пустой и напыщенной девочке, которая его презирала со всею жестокостию безнатурности, — и вы были бы несправедливы, если бы хоть на одну минуту подумали, что Павлин Любу к этому прямо или косвенно чем-нибудь приневоливал. Нимало нет; молодая девушка сама этого захотела. А как ей это пришло в голову — про это я вам сейчас расскажу.

IX

Как иногда люди женятся и выходят замуж? Хорошие наблюдатели утверждают, что едва ли в чем-нибудь другом человеческое легкомыслие чаще проглядывает в такой ужасающей мере, как в устройстве супружеских

союзов. Говорят, что самые умные люди покупают себе сапоги с гораздо бо́льшим вниманием, чем выбирают подругу жизни. И вправду: не в редкость, что этим выбором как будто не руководствует ничто, кроме слепого и насмешливого случая. Так было и у Павлина с Любою.

Люба хотела только не идти в магазин, где какая-то девочка сказала ей грубость, и в этих целях «пижонилась» и, ластясь под крылышко Анны Львовны, жаловалась и горевала, что ей опять надо идти туда, где люди так необразованны и грубы, что не умеют ценить преимуществ ее происхождения, а, напротив, как бы мстят ей за него.

— Да и наверное они мстят тебе, — отвечала, глядя на Любу, Анна Львовна.

Они обе в это время сидели и работали у матового карселя в уютном кабинете.

— И чему этот Павлин хочет тебя еще учить? Не понимаю я этого! — продолжала Анна Львовна, взглянув на Любину работу, — по-моему, ты и теперь уже превосходная мастерица.

— *Он* хочет мне открыть магазин...

— *Он*... Позволь мне тебе сказать, что этот твой *он* — ужасный, пестрый, гороховый шут. Зачем он будет тебе открывать магазин?

— А что же ему со мной делать?

— Что делать?.. Очень просто; я не понимаю: зачем он на тебе не женится?

Девушка потупилась и промолчала. Она тогда еще едва ли думала о замужестве, но во всяком случае оно представлялось ей желанным вовсе не с Павлином. Генеральша видела, что высказанная ею мысль не приходила в голову Любы, но видела и то, что она ее, однако, не пугает и, по-видимому, довольно хорошо укладывается в ее голове.

— Конечно, так, — продолжала генеральша. — Ты думаешь, это легко быть модисткой, лгать всякой роже: «Это хорошо! Это вам идет!» да потрафлять на всякий каприз и становиться перед каждою на колени да мерку снимать?.. А между тем, выйди ты замуж... это гораздо лучше. Особенно если за него, за Павлина; тогда бы мы с тобой никогда не расставались: ты бы у нас при гостях разливала чай и кофе, я бы тебе что-нибудь платила,

на гардероб; а по вечерам мы бы с тобою сидели и вместе работали, ожидали бы, пока Володя приедет и расскажет нам, где что делается. Володя очень любит с тобою говорить, и ты всегда будешь как своя в нашем доме.

Люба, краснея, молчала, и на ресницах у нее стали поблескивать слезки, а генеральша продолжала:

— А то ты подумай, что же, если ты, открывши магазин, когда-нибудь и выйдешь хоть и за молодого человека, да за необразованного какого-нибудь, положим, хоть ремесленника или даже чиновника — ничего ведь из этого лучше не будет. Так в том кружке и погрязнешь. А за кого-нибудь другого, повыше, тебе выйти мудрено, потому что ты не так поставлена.

— Я это знаю, — произнесла, глотая слезы, Люба.

— Вот и прекрасно, что ты такая умница! А Павлин, как ты хочешь, он хоть и немолод, но человек редких правил, он тебя ни в чем не стеснит: я его более двадцати лет знаю, и всегда он честен, всегда умен, всегда в порядке и при том всем, хотя я не верю, что люди болтают, будто бы он нажил себе у меня порядочные деньги, но он человек очень бережливый, и какие-нибудь деньжонки у него непременно есть в запасе. Вот пусть он на тебя этот запасец-то и порастрясет. Да, мой друг, да! И ты этого стоишь. И оно, конечно, так все и будет, потому что же ему может быть приятнее, как не наряжать молоденькую и такую хорошенькую жену? Поверь-ка мне, что люди его лет гораздо надежнее, чем всякие вертопрахи вроде этого художника, который ходит снимать с меня портрет и все на тебя заглядывается.

Люба спламенела: она еще в первый раз слышала, что на нее заглядываются мужчины — и притом слышала это от такой солидной женщины, как генеральша, к которой молодая девочка стремилась, как травка к солнцу. Ей было приятно, что Анна Львовна ее так бережет, и Люба разнервничалась и, сбросив с колен работу, кинулась к ней на грудь и заплакала, лепеча:

— Заступитесь за меня, я вас во всем буду слушаться.

Анна Львовна отвечала ласками на ее ласки и продолжала ее наставлять и уговаривать и, наконец, заключила:

— Я только одного боюсь: может быть, Павлин в самом деле тебе кажется немножко стар?

Люба молчала.

— Может быть, тебе непременно хочется молоденького мужа?

— Ах, я ничего об этом не говорю, — перебила Люба.

— Ну и прекрасно, если ты этого не говоришь, так и дай бог добрый час.

Девочка испугалась, что все было так скоро кончено, и, краснея, поспешила сказать, что она ни за кого не пойдет замуж; но Анна Львовна пропела ей стишок из «Красного сарафана», что «не век-де пташечкой в поле распевать и златокрылой бабочкой порхать», и, рассмеявшись, приподняла рукою ее личико и спросила:

— Не хочешь ли ты в монастырь?

— Мне все равно, — отвечала шепотом Люба.

— О-о-о, лжешь; не те у тебя глазенки, чтобы идти в монастырь. Нет, ты там всех будешь смущать: мужчины, вместо того чтобы богу молиться, будут на тебя смотреть.

Девушка рассмеялась.

— А ты вот что... шутки в сторону, ты подумай, на что тебе решиться: я тебе об этом давно хотела сказать и теперь так серьезно говорю, потому что вижу, что ты нас очень полюбила...

— Я вас очень, очень люблю! — подтвердила Люба, покрывая поцелуями генеральшины руки.

— Да, и я понимаю, что, побыв с нами, ты в мастерскую к этим своим швеям решительно не можешь идти...

— Решительно не могу! Я скорее утоплюсь.

— Я все это понимаю; решительно все понимаю, но не знаю, зачем топиться: это грех. Павлину не делает чести, что он такой умный человек, а посылает тебя туда, где ты наслушиваешься всех этих нехристианских мыслей: я уже ему про это говорила...

— Вы ему говорили *про это?*

— Да; я ему говорила, и он тоже это понимает и согласен со мною, но ты посуди: куда же ему тебя деть? В самом деле, ведь с тобою очень трудно что-нибудь придумать: ты так воспитана, что гувернанткою ты не можешь быть, потому что мало знаешь; бонною при детях ты тоже еще не годишься, потому что очень молода; а ведь в швеи или в горничные тебя определить — это ему будет очень тяжело... Он о тебе все-таки заботился... Не правда ли?

Девушка уронила тихое: «Да».

— Ну, вот видишь, — продолжала генеральша, — я бы, положим, сама взяла тебя к себе жить...

Люба кинулась перед нею на колени и воскликнула:

— Ах, возьмите! возьмите! Бога ради возьмите!

— Но какая же будет у меня твоя роль?

— Это все равно; только бы у вас...

— Да и Павлин этого не захочет, он непременно найдет, что это нехорошо, и не захочет; к тому же у меня взрослый сын, мужчина. Положим, что он у меня добрый молодой человек и очень тебя любит, но все-таки ты теперь уже совершеннолетняя девушка, и это не идет. А раз что ты выйдешь за Павлина замуж... тогда все это прекрасно улаживается.

Девушка молчала, а Анна Львовна продолжала:

— Мой совет вот: послушайся меня и выходи за Павлина замуж, и ты будешь жить препокойно; а время свое ты будешь проводить у нас: я стара, и мне все простят эту слабость, что я тебя к себе приблизила.

Люба опять молчала.

— Ну, что же, надо говорить, а не молчать: быть так или нет?

Девушка опять припала к мягкой пухлой руке своей покровительницы и прошептала:

— Вы лучше знаете, что мне нужно: я на все согласна.

Так экспромтом подготовилось это несчастье для Павлина с Любою, в которую Павлин действительно был жестоко влюблен, но только не смел о ней думать. Когда же генеральша все это за него обдумала и прямо открыла перед ним двери рая, у него закружилась голова, он позабыл все доводы рассудка, заставлявшего его не мечтать о Любе.

Я как сейчас помню визит, которым он почтил меня, приглашая к Любе шафером. Павлин был неузнаваем: он просидел у меня с час и все делал в это время себе разные комплименты, чего с ним прежде никогда не бывало. Мысль, что его любит молодая девушка, очевидно, до того вскружила ему голову и развязала язык, что он сделался несносно болтлив и даже хвастлив, но, конечно, совершенно по-своему. Он и в этом порыве говорливости все стоял на почве долга.

— Я человек простой, — говорил он, — но я человек довольно начитанный, и я, изволите видеть, раньше времени себя не погубил. Я давно разве не мог бы жениться-с? Очень бы мог-с, и многие женщины мне к этому виды подавали, но я имел такой долг, чтобы этого не сделать. Проще сказать: я для родных этого не сделал. Глупые люди говорили, что родные мои будут мне неблагодарными родственниками, а я останусь на старость лет один. Что же, я никогда на это не уважал: я ведь родным помогал не из благодарности, а долг свой исполнял; я и Любовь Андревну воспитал совсем не из благодарности и не из каких-нибудь видов, а вышло вот, что счастье себе и подругу в них получил. Надо всегда делать все как должно, а уже оно само непременно все выйдет как следует, на настоящую пользу.

Этот обобщающий вывод меня чрезвычайно заинтересовал, и я с величайшим вниманием слушал, как Павлин все подводил под это правило: выходило, что он и окна у жильцов выставлял для блага человечества, в тех видах, что *она*, то есть Анна Львовна, жалости не знает и надо, чтобы на свете никто на жалостливых не рассчитывал, потому что их немного, да и в тех можно ошибиться, и «тогда хуже выйдет. А строгость лучше: при ней всяк о себе больше заботится и, злых людей опасаясь, лучшее себе во всем получает».

И за сим, менее чем через две недели после этого разговора, Павлин сделался мужем своей питомки Любы, а вскоре и очень большим страдальцем по ее милости и по милости других, не пощадивших ни его заслуг, ни его седин и достоинств его замечательного, твердого и честного характера.

X

Я не знаю, достаточно ли я обрисовал в начале своего рассказа генеральшу Анну Львовну? Вероятно, нет, и потому теперь еще раз обращусь к этому и вкратце скажу, что это была женщина не только сухая, своекорыстная и жесткая, но и едва ли не жесточайшая и расчетливейшая эгоистка в мире, способная не остановиться ни перед чем, ради самых ничтожных своих выгод. Она всегда была

готова с невозмутимейшим спокойствием приносить в жертву для самомельчайших своих расчетов и счастие и самую жизнь своего ближнего. То самое делала она и теперь, соединив пожилого Павлина узами брака с юною Любой. Анна Львовна знала, что Люба не может любить Павлина, и не ошибалась: ни лежавшая между супругами огромная разница лет, ни строгость Павлинова характера, ни его внешняя суровость — ничто не позволяло надеяться, что Люба рано или поздно привыкнет к своему мужу и станет питать к нему что-нибудь, кроме страха и отвращения — не столько как к старику, сколько как к лакею... Генеральша Анна Львовна сама хотя давно умерла для всяких увлечений, но все-таки она была женщина и знала, что в таком супружестве, какое она устроила для Павлина и Любы, у последней непременно будет много горьких минут если не бешеной, то тихой, но ядовитой тоски; а от тоски разовьется мечтательность, мечтательность воспитывает беспокойное воображение, а беспокойное воображение чего не нарисует и чего не подстроит? Анна Львовна знала, что в молодой голове с беспокойным воображением непременно скоро пойдут сравнения, — и как вообще никакая жизнь не может выдержать сравнений с пылкой мечтою, то мечта одолеет и... Люба увлечется и очутится в руках Анны Львовны. Вы не подумайте, пожалуйста, что я обмолвился, сказав вам, будто генеральше понадобилось, чтобы Люба попала в *ее руки*. Нет, ей действительно так было нужно. Чтобы скорее вести мою историю к концу, скажу вам прямо, что Анна Львовна, соединив Павлина с Любою, затеяла на их счет прежестокую игру, мысль и план которой внушили ей самые возвышенные чувства, именно *материнские*.

Володичка, служа в щегольском полку, стоил Анне Львовне дорого и вел себя рискованно. Анне Львовне хотелось его немножечко присадить дома, а как его присодишь, когда его тянет надесно и налево. Женить его было рано; вниманием светских женщин он хотя и хвастался, но на самом деле ни в чем подобном никогда никакого успеха не имел; иностранные дамы из «морских» и в те времена обходились так дорого их адораторам, что генеральша трепетала всякого слуха о сближении Володички с этими кровопийцами, — а между тем Володичка доказывал, что он, как русский барчук известного тона,

непременно должен жить как все «порядочные люди»; а для того чтобы жить так, — он, конечно, хотел обнаруживать покровительственные права на какую-нибудь женщину, которая была бы не хуже других за веселым столом у любого из «морских» рестораторов. Генеральша и сама понимала, что это настоящему светскому кавалеристу необходимо, и против этого не спорила; но это и тогда, как и теперь, стоило чертовски дорого, и вот... добрая мать, после долгих ночных дум и соображений, набрела на мысль, что у нее против всего этого есть под рукою универсальнейшее средство, и это средство есть Люба. Люба молода, хороша и пикантна, — и если ее немножечко *поразвить,* то она очень и очень может отслужить Доде службу за выездную даму; а что Додя влюбит ее в себя — в том может ли быть сомнение?

Он, на взгляд матери, был хорош собою — и хотя она считала его «дураком на службе», но у него такой красивый мундир, он умеет подбирать себе аккомпанемент и поет романсы вроде кружившего тогда женские головы песнопения об «удалом постояльце»:

— Как хорош, не правда ль, мама,
Постоялец наш удалый!
Мундир золотом весь шитый,
И как жар горят ланиты.
Боже мой! боже мой!
Ах, когда бы он был мой!

Анна Львовна знала, что того скудного обаяния, каким владел ее «дурак на службе», было много, слишком много для легкомысленной женщины, имеющей семнадцать лет от роду и мужа старика, которого она стыдится... Игра казалась беспроигрышною, и началась подтасовка и сдача на руки карт.

Прежде всего, чтобы повысить социальное положение Любы, обратились к шутке: ее все в доме звали «швейцаркой Любой». Это очень хорошо звучало и удачно маскировало ее лакейский марьяж. Все молодые люди, вертевшиеся в доме Анны Львовны, видели в Любе не молоденькую жену надутого швейцара Павлина, а что-то совсем особенное, стоящее совсем ни от кого независимо и... и привлекательно.

За Любой началось волокитство, умеренное и сначала благоприличное, но постоянное, упорное и неотвязчивое.

Ухаживали за нею без исключения все товарищи Доди. Любе не нравился из них никто; она довольна была всеми, кого видела в доме Анны Львовны, но, как говорили встарь поэты, сердце ее еще никого не избрало, и Павлин был счастлив. Счастлив чем? Разве Люба так любила и счастливила его? Нет; Люба была все та же: она от него только тщательно сторонилась и проводила все свое время у Анны Львовны за работою или разливанием кофе и чая, но Павлин безмерно любил ее и не желал ничего, кроме ее счастья. Для ее счастья было нужно не быть с ним — он и это принимал с удовольствием. Уязвленный страстью, Павлин совсем, что называется, ослеп и осуетился: его прирожденный демократизм стаял, как снег, и он сам хотя и не стыдился своей пестрой ливреи, но, видимо, желал, чтобы Люба забирала крылом повыше. Люба, знакомая с французским языком с детства и подучившаяся ему еще более в школе, а потом окончательно напрактиковавшаяся у Анны Львовны, радовала своего мужа тем, что она могла держать себя совсем как барышня, совсем как иностранка, — словом, швейцарка по всем статьям. В Павлине, который всего этого как бы сам желал, в то же время развивалась особенная, весьма странная робость, которую он чувствовал перед капризами Любы. Бедный старик, кажется, беспрестанно стеснялся тем, что она родовая барышня, а он лакей. Ему, вероятно, никогда и в голову не приходило, что он будет ее так любить и так ее стесняться, как это вышло. Он против этого нимало не восставал и не возмущался: напротив, ему даже нравилось служить Любе и во всем поблажать ей. Он рядил ее как куколку, рядил именно так, чтобы она походила не на швейцаршу, а на настоящую швейцарку. Это порядком опустошало мешок его заветных, но относительно, конечно, весьма незначительных сбережений; но он все это терпел безропотно и усугублял экономию на себя и на все те статьи, где мог заменить расходы личным трудом. Так, с женитьбою своею он хотя не ослабел в исполнении своих служебных обязанностей, но у него уже не оставалось так много времени для чтения романов, потому что чуть Люба, вставши и разодевшись утром, отправлялась наверх к Анне Львовне, Павлин убирал свою комнату, пересматривал женин гардероб и, наконец, брался приводить его

в порядок. Люба наверху шила для Анны Львовны разные broderie anglaise,[1] а Павлин, запершись на ключ в своей чистенькой каморочке, чистил женины сапожки, пришивал подпоровшуюся прюнель, закреплял пуговки и крючочки и грел в маленькой круглой печке плоильные щипцы и утюги, а когда они раскалялись — вытаскивал из-за шкафа гладильную доску, покрывал ее чистым закатником и начинал гладить и плоить ее рукавчики, юбки и манишки. Взявшись за эти занятия в видах экономии, Павлин скоро достиг в глаженье и плойке надлежащего совершенства, но сбережения от всего этого были ничтожны в сравнении с огромными расходами, каких требовало франтовство Любы и страсть Павлина утешать ее хорошими нарядами, о которых Люба его никогда не просила, но которыми влюбленный старик сам хотел ее забавлять и тешить.

При таком баловстве и холе Любе нетрудно было для всех посетителей дома Анны Львовны оставаться на счету интересной «швейцарки» — иностранки, которою заниматься в качестве хорошенькой, пикантной женщинки отнюдь не предосудительно: с нею говорили, смеялись, шутили и вообще обращались как с ровнею. Некто из приятелей сына генеральши, имевший небольшой талант грациозно рисовать карандашом женские головки, беспрестанно набрасывал во всех альбомах легкую белокурую головку швейцарки Любы. Головка эта ему особенно удавалась, и молодежь наперебой выпрашивала себе у автора эти приятные абрисы. Эскизы эти, расходясь по рукам jeunes dorés,[2] сообщали Любе довольно широкую популярность. Люба, сама того не зная и вовсе о том не заботясь, сделалась в некотором роде магнитом для очень многих молодых людей, желавших видеть оригинал художественного списка. Таким образом, у Любы являлось все больше и больше поклонников: за нею волочились, насколько это было удобно, и генеральша это видела и допускала. Что же касается до Павлина, то он обнаруживал в отношениях к своей молоденькой жене такую толерантность, какой не встретите у очень многих крикунов о независимости чувств и равноправии полов в рассуждении

---

[1] Английское шитье *(франц.)*.
[2] Золотой молодежи *(франц.)*.

свободы. Павлин, впрочем, предавался в это время некоторой суетности: он *молодился* и с этой целью достал где-то редкую, по его словам, книгу, из которой вычитывал замечательные вещи. Так, например, он однажды рассказывал мне, что «совсем утвердился в своих правилах насчет обязанности человека, который, если будет жить по нравоучению долга, то проживет на свете по меньшей мере сто лет». Свой век в пятьдесят лет Павлин рассматривал на основании той книги только как *совершеннолетие* и по той же книге уверял, что «умирают ранее ста лет одни глупцы, а болеют негодяи, которые практики жизни не понимают». Что же касается до него, то он, всеконечно, был глубоко убежден, что им эта «практика» вполне усвоена.

— Я, — говорил он, — никогда болен не был и не знаю, зачем болеть: живи как следует; не пей вина, ни кофею, не копти грудь табаком — и не заболеешь; спи без подушки в правильную линию — и не будешь гнуться; а ешь солонее и пей кислее, так и умрешь — не сгниешь.

Из этих сказов Павлина я познал тайны его обыденной гигиены и подумывал: вряд ли все это может нравиться молоденькой и свеженькой Любе?

Он нимало не претендовал, что Люба почти не жила в его швейцарском затворе, в котором с женитьбою Павлина появились новые занавесы, цветы и канарейки. Он даже не ревновал, когда выходящие от Анны Львовны молодые люди, принимая из его рук свои шинели, расточали неосторожно не совсем скромные похвалы красоте «швейцарки». Павлин при этих хвалениях только молчал и улыбался в свои густые светло-русые усы.

Благоразумный и рассудительный, но всегда строгий к себе и честный Павлин, не будучи способен ни к какому коварству и предательству, не подозревал его в других и потому, имея ум свой чистым и светлым, являлся совершенно слепым. Глядя на него, можно было проверить всю истинность слов Бэкона Веруламского о людях, которые, вследствие преобладания философского настроения, делаются совами, видящими только во мраке своих умозаключений и слепотствующими при свете действия, а особенно лишенными способности видеть то, что всего яснее и очевиднее. Как «сынове мира сего мудрее сынов света в роде своем» и как Павлин в своем роде

был сын света и слуга долга, то сынове мира его перемудрили и обокрали...

Люба была окончательно отвращена от мужа и затем, конечно, сбита с толку и обманута сама. Как это произошло — я не стану вам рассказывать, потому что сам при том не был и ни от кого этих подробностей не слыхал, да и, наконец, не все ли это равно нам, как это сделалось. Довольно того, что имеющий стадо овец таки взял и отнял последнюю у имевшего одну овцу.

XI

Вам, я думаю, едва ли нужно говорить, кто был виновником увлечения Любы? Нетрудно отгадать, что она, при всеобщем за нею волокитстве, должна была сделаться львиною долею Доди, которому особенно благоприятствовали на этот счет все домашние обстоятельства. Люба проводила с ним дни и ночи под одним кровом и... не столько увлеклась им, как спасовала и сдалась перед его настойчивостью. Она видела, что он готов мстить ей, нарушая дорогое ей расположение Анны Львовны; видела, что когда он супится и дуется на нее, это огорчает ее благодетельницу, и та плачет и страдает... Люба не нашлась как поступить иначе и отерла ее слезы. — Додя был малый пустой, он мотал деньги, когда они были, а когда их не было, добывал их под тройные векселя, и при всем том не имел дамы, которая бы слыла его фавориткою за ужинами. Люба ему представилась удобною для этой роли, и он ее к тому предназначил и довел. На этот выход ее снарядил и одел сам Павлин своими собственными руками (он мне впоследствии рассказывал об этом в одну прискорбнейшую минуту своей жизни).

Это был такой случай: на дворе стояла зима; в городе шли балы и маскарады, и Анна Львовна, желая доставить бедной Любе маленькое удовольствие, снарядила ее на один из костюмированных балов в дворянском зале. Об этом выезде Павлину было сказано чуть ли не за месяц, а в течение этого месяца в доме шли хлопоты о Любином костюме. В этих хлопотах принимали участие все, начиная от самой Анны Львовны до Павлина, который, сверх обыкновения, был постоянно отрываем от должности

и бегал с записками то в один, то в другой магазин за мелочами, требовавшимися к волшебному костюму Любы. Самым же выполнением костюма, требовавшим особых художественных соображений, заведовал в качестве главного художника друг и товарищ Доди, рисовавший такие удачные карандашовые портреты Любы. Все это, разумеется, сближало молодых людей до самой дружественной короткости и совсем затушевывало в головке Любы старого мужа-лакея. Наконец костюм был готов и вышел как нельзя более удачен. Павлин увидал жену, сходившую по лестнице сверху в сопровождении родственницы Анны Львовны и оберегавших Любу кавалеров, в числе коих были главный художник и Додя.

Люба была одета *Зарею:* на ней был легкий эфирный хитон из расцвеченной красками в тень дымки. Низ этого широкого, густыми складками платья был темен как ночь, но чем выше, тем темнота редела, облегчалась и переходила мягкими полутонами в другие, более легкие и яркие цвета, и с пояса вверх становилась уже такою воздушной и легкой, что фигура Любы словно утомилась и таяла, как облако, и посреди-то этого таяния светлая головка Любы сияла, венчанная лилией и красною розой; а за плечами у нее сквозили переливами света испещренные тысячью цветов восковые крылышки, в руках же у нее был золотой светоч, обвитый голубыми незабудками и махровым маком. Сон и пробуждения, темная дрема страстей и яркий разгар их — все знаменовалось в Любе приличными приспособлениями, и Павлин такою усадил ее в карету, а через четыре часа вынул ее из этой же кареты совсем другою: восковые крылья ее растаяли и изорвались, платье было изорвано, светоч растрепан и опален...

Люба, встретив мужа, не сказала ему ни слова; не хотела прикоснуться к приготовленной им для нее жареной курице и пастиле, а, сорвав с себя платье, бросилась в постель, обернулась к стене и, не двигаясь, пролежала в таком положении остаток ночи и весь следующий день. Павлин берег ее долгий сон, но берег его напрасно: Люба не спала, а она сначала долго плакала и потом лежала с красным, воспаленным лицом и сухими открытыми глазами, устремленными в одну точку.

Всякий мало-мальски наблюдательный человек, взглянув на эту женщину, не усомнился бы сказать, что у нее

через руки прошла большая игра, и это было верно. Люба сама хотела открыть что-то на этот счет Павлину, но передумала и, дождавшись вечера, оделась и пошла жаловаться на Додю Анне Львовне. Однако жалоба так дурно сочинялась в ее голове, что она и это отменила и ограничилась тем, что пожаловалась на Додю ему самому и... заключила мир поцелуем. Но любовь и обладание Любою было не все, чего требовалось Доде: мужчине таких свойств, как Додичка, в соотношениях с женщиною главнее всего щеголять любовницею, показывать ее и хвастать ею перед другими, чем Додичка, разумеется, и не преминул воспользоваться. Санки, на которых спускалась добродетель Любы, раскатились быстро книзу. Раз начатые выезды и веселости под маскою стали повторяться. Когда Павлин, дремля поздно вечером в своих креслах, поджидал запаздывающих жильцов парадной лестницы или укладывался без подушки на жесткий коник за колоннами, он и не подозревал, что в это время его жена отнюдь не скучает с Анной Львовной, а носится в черном домино по ярко освещенным маскарадным залам под руки с золотою молодежью, а в те часы, когда он пробуждается и посылает жене вверх на генеральшину половину мысленный привет, нежная Люба, с головкою, отуманенною парами шампанского, спускается неверными шагами с лестниц французского ресторана, а потом мчится на погромыхивающей бубенчиками тройке, жадно глотая распаленными устами свежий воздух и весело напевая шансонетки своему спутнику, прижимающему ее к своей груди под теплою шинелью.

Долгонько-с все это шло шито да крыто. Петербург не провинция, здесь попадается только тот, кому самому придет охота попасться. Одни сквозные ворота, которые пользовались таким благоуважением гоголевского Осипа, составляют, как известно, такой эффект в петербургской жизни, что с ними не пропадешь, и Люба дознала это опытом. Скоро оставив всякую застенчивость и позабыв внутренно мучиться тем, что она бесчестит седины мужа, она еще скорее перестала беспокоиться о том, как скрывать от него свое поведение. Обстоятельства так хорошо сложились, что, казалось, обманщице никогда нечего было опасаться. Старая генеральша так рано уходила в свою комнату и так плотно запирала за собою двери

из маленькой моленной, где спала на обитом мягким ковром оттомане Люба, что последней не стоило никакого труда встать, одеться в свои лучшие платья, которые по милости той же генеральши хранились в шкафах ее гардеробной. Анна Львовна или крепко спала, или была так занята своими счетами, что никогда не слыхала этих сборов. Более: она была так простодушна, что даже никогда невзначай им не помешала ни уходить, ни приходить. Люба с Додичкой спускались черною лестницею, проходили на улицу задними воротами, у которых их за углом ожидал отчаянный лихач или ухарская тройка — и след их стыл или заметался прахом. Дальше ночь-матка покрывала все гладко, а потом утром они возвращались тою же дорогою, один в свой кабинет, другая в образную, где могла, если хотела, поплакать перед слабо освещенными строгими, темными ликами фамильных икон. Но плакала ли перед ними Люба о своем низком падении? Верно, немножко поплакалось вначале, но зато очень много поплакала в конце своего яркого блистания в полусвете. Полусвет!.. этот мало пристойный, но крепко затягивающий круг, был затрогиваем очень многими писателями в литературах всех образованных стран света, не обходящихся без своей стороны полусвета, но едва ли он имеет где-нибудь полное, комплектное описание, которое могло бы знакомить с физиологиею его роковой и чудовищно затягивающей жизни. У нас он вовсе никем не изображен ни в одной мало-мальски живой и яркой картине.

XII

В полусвете страсти кишат и пылают часто гораздо сильнее, чем в свете, и наша Швейцарка увлеклась своей новой жизнью и играла видную роль в своей среде. Сначала Додичка ее насилу *вывез* в круг «морского плавания», — она так дичилась и конфузилась, что едва решилась на это только после клятв Доди, что это нужно для его бесценной карьеры. Она любила этого мальчишку и понимала, что ему недостает для его renommée [1] женщины, которою он мог бы щеголять, как щеголяют подобными

[1] Репутации, славы *(франц.)*.

женщинами другие, и Люба выступила на путь состязаний в полусвете. А потом тут вскоре замешалось самолюбие: Люба увидала, что Додя трусит и сомневается, может ли он предстать с нею, не опасаясь, что она будет хуже других, то есть покажется робче и неловче, заговорит не складнее, не остроумнее и преснее, чем известные в этом роде Irène Jacqueline, Fadette и Lisette? [1] Отнюдь не лишенная ума и проницательности, Люба заметила эту обидную неуверенность, в ней заговорила гордость суетной красавицы, и она во что бы то ни стало положила себе быть первою между теми последками, куда спускалась, и все, что она себе тогда в уязвлении своей гордости положила — то все так в совершенстве и исполнила. Додичке не приходилось краснеть за Любу: она сразу же вошла в свою роль и исполняла ее с таким апломбом, что самые кровные морские львицы французской породы должны были признать полный успех за madame Paulin. И была своя пора, своё время, что этим славным именем дышала вся атмосфера, окружающая известные кружки золотой молодежи. О madame Paulin говорили на «солнечной стороне», в театральных партерах, у буфетов ресторанов и на подъездах, где встречались знакомые амикошоны. Это сладостное имя, может быть, даже не раз долетало до ушей самого Павлина; но что ему было за дело до этого? он не знал, что оно значит.

Между тем успех Любы усиливался, темная слава ее росла; она уже не только заняла весьма видное место, но даже господствовала и царила в полусвете: проводить вечер с madame Paulin — это было высочайшее comme il ne faut pas, [2] прокатить ее на своей тройке — это было счастие, ужинать с нею en deux [3] — это такое блаженство, за которое многие не постояли бы за крупные суммы, но Люба была клад не купленный: она любила Додю и тем окончательно сбила его с толку. Он возмечтал о себе так высоко, что не умел сочинить себе цены, и возмнил, что для любой женщины нет человека его драгоценнее. Этим воспользовалась дышавшая на Любу зависть и злоба соперниц по полусвету: зазнавшегося Додичку коварно

---

[1] Ирена, Жакелина, Фадетта и Лизетта *(франц.)*.
[2] Здесь — пренебрежение правилами хорошего тона *(франц.)*.
[3] Вдвоем *(франц.)*.

приласкали и усыпили в коварных объятиях, и потом все это вывели наружу. Люба была уязвлена в самое сердце и стала мстить равнодушием. А между тем, пока она вела эту игру, Додичку трясли за карман, и трясли так немилосердно и ловко, что он не успел оглянуться, как погряз в самых запутанных долгах. Тут началась история обыкновенная, кончившаяся, однако же, не совсем обыкновенно. По мере того как средства Додички истощались, соперницы Любы охладевали к ее изменнику и, наконец, насытясь местию и не видя в Доде более ничего лестного, покинули его на жертву скорби и унижения. Между тем в это время с глаз Павлина начала опускаться завеса: Люба, обнаруживавшая так много способностей скрывать свою любовь, решительно оказалась бессильною так же скрытно переносить свое страдание: она, во-первых, сбежала из апартаментов своей благодетельницы и плотно поселилась у мужа. Этим шагом Люба, разумеется, не хотела начинать шагов бесповоротных к доброму житью, а желала только не видать некоторое время своего изменника: бедняжка надеялась дать ему этою порою почувствовать, что она к нему равнодушна и легко может обойтись без него... Потом, вероятно, ею опять ожидалось возвращение прошлых чувств и прошлых забав и наслаждений, а между тем по неискусности и неопытности Любы в этом деле музыка заиграла совсем не то, что бедная женщина написала на нотах. Павлин напряг ум и зрение, чтобы проникнуть, что за сокровенная, но злая скорбь мутит его жену? Доискиваясь этой разгадки, он сначала было подумал: не обидела ли Любу Анна Львовна, но Люба успела уверить мужа, что Анна Львовна ничего ей не сделала обидного. Тогда подозрения Павлина пошли по другому пути и все прямее и ближе к цели. — Он мекнул: не обидел ли его жену monsieur Woldemar? и сердце его упало в груди и заныло. В этом расстройстве он вдруг лицом к лицу столкнулся с бледным и расстроенным Додичкой, который возвращался откуда-то домой, что называется, не имея на себе зрака человеческого.

Павлин, встретив молодого человека и приняв брошенную им шинель, покачал вслед ему укоризненно головою и только что обернулся, чтобы продолжать уборку антре, как почувствовал бесцеремонный и тяжеловесный удар по плечу: он оглянулся и увидал двух полицейских

и одного плац-майора, которые, немножко стесняясь, немножко храбрясь, спросили Павлина: дома ли Анны Львовнин первенец. Получа утвердительный ответ, неожиданные гости пошли втроем по лестнице, а у дверей оставили двух солдат, квартального и бледного, встревоженного старичка с жидовским обличьем. Павлин понял, что тут что-то дело неладно, и хотел как-нибудь предупредить Анну Львовну, но полицейский пристав тотчас же заметил это и арестовал его.

Павлин несколько удивился, но удивление это еще более усилилось, когда он услыхал, что пристав вместе с тем распорядился, чтобы была арестована Люба, и тотчас же неожиданно начал делать обыск в его каморке.

Павлин было попытался сказать что-то в защиту своего жилища, но едва он вымолвил одно слово, как пристав ударил его по шляпе и крикнул:

— Что, у тебя шляпа к башке приросла, или ты боишься рога показать?

— Рога! — молвил растерянный Павлин.

— Да, рога, рога, — отвечал ему развязный офицер. — А ты, пестрый дурак, еще не знал до сих пор, что у тебя есть рога? Поклонись же за них своей миленькой жене и поцелуй у нее ручку, которая так ловко в чужие комоды ходит...

Павлин более ничего не слушал и не понимал: с него было много и того, что звучало в его ушах: «рога и комоды».

«Что сделала Люба? Что она могла сделать такого, за что бы ее обыскивали и, наконец... арестовали?»

Да, ее арестовали, и притом не одну, а вместе с Додичкой, только с тою разницею, что Додю повезли куда-то в карете, а ее квартальный увел в часть пешком с солдатом.

XIII

Павлин пришел в себя, когда ни Додички, ни жены его не было. Он тотчас же отправился в полицейскую часть, где получил объяснение, за что была арестована его жена, и ни с того ни с сего явился поздно вечером ко мне с просьбою дозволить ему переночевать у меня, так как он *боялся* ночевать в доме Анны Львовны, ибо,

«поняв все дело как следует, опасался, как бы не мог во гневе сделать чего не должно». Я, разумеется, ему в этом не отказал, и вот тут-то наступила довольно странная в моей жизни ночь, когда я в течение нескольких часов жил в недрах чужой души и сам ощущал то палящий жар ее любви и страдания, то смертный леденящий холод ее ужасного отчаяния. Павлин находился в состоянии сильнейшего возбуждения, но какого возбуждения? какого-то странного и непонятного. Я хотел бы для более точного определения наблюдаемого мною тогда состояния этого человека воспользоваться библейским выражением и сказать, что он был *восхищен* из самого себя и поставлен на какую-то особую степень созерцания, открывающего ему взгляд во что-то сокровенное. Если помните, в Эрмитаже, недалеко от рубенсовской залы, есть небольшая картинка Страшного суда, писанная чрезвычайно отчетливо и мелко каким-то средневековым художником. Там есть эмблематическая фигура, которая помещена в середине картины, так что ей одновременно виден вверх бог в его небесной славе, а вниз глубина преисподней с ее мрачным господином и отвратительнейшими чудищами, которые терзают там грешников. Всякий раз, когда я становлюсь перед этой картиной и гляжу на описанную мною фигуру, мне непременно невольно припоминается Павлин: так, мне казалось, схоже было его душевное состояние с положением этого эмблематического лица. Павлин, если так можно выразиться, страдал мучительно, но торжественно и благоговейно: он не пал духом, не плакался и не рыдал, но и не замкнулся в суровом и гордом молчании, в чем многие полагают силу характера. Напротив, он созерцал, откуда ниспал и куда еще глубже того мог погрузиться и низвесть с собою другое существо, — и он принял все над ним разразившееся, как вполне заслуженный им удар учительной лозы, и заговорил в самом неожиданном для меня тоне самоосуждения. Взойдя ко мне, он сел в моей зале без всякого моего приглашения и несколько минут провел в глубоком и тихом молчании, переводя глаза с предмета на предмет и потирая на коленях одну руку другою, а потом вдруг окинул меня тяжелым, как бы усталым взглядом и спросил:

— Слышали-с?

Я догадался, что он спрашивает о драматическом слу-

чае с его женою, и, чтобы не заставлять его попусту мучить себя повторением этого рассказа, отвечал ему утвердительно.

Он покачал в раздумье головою и тихо произнес: «Это ужасно!», а вслед за тем, как бы спохватясь, добавил живее: «Вы извините меня, что я так... сел...»

— Сделайте милость, Павлин Петрович!

— Колени гнутся-с... Все на ногах был... столько часов... Не мог успокоиться-с... пока ее не увидал... Все хотел утвердиться во всем.

— И что же: видели вы ее?

Он ничего не ответил, но склонил в знак согласия молча голову и через минуту начал таинственным шепотом:

— Благородная-с!.. Всю душу свою мне открыла... на груди моей плакала-с и прощения просила...

— Вы простили?

— То есть... в чем же-с? Она мне, открыв душу свою, в глубь меня зренье открыла, и я-с ужаснулся-с. Ее вина про себя, как легкий жаворонок, все пропела и под небом скрылась; а мой грех, как грач разботелый, понизу крячет и от земли не поднимется... Я сейчас ходил к духовному отцу, он меня утешал, говорит: «Ты закон сохранил, а она жена неверная». Позвольте!.. Это все смоковничье листье: ими я себя не закрою. Бог видит, где был я, когда к годам моим сопрягал ее юность? Я насильник: я вижу, что я пал, как гора, и рассыпался... Вы полагаете, что я тот, какой был вчера и третьего дня? Нет-с; ныне в день скорби господь мне явил свою милость: я внял, что я прах, что я весь образован из брения и что все вожди страстей могут орать и сеять на хребте моем: страсть, гордость, нечистота, и сластолюбие, и ревность, и... и... склонность к убийству... Ах! ах! ах!..

Он вскочил и, заметавшись по комнате, продолжал:

— Простите меня... Я... сам я теперь ничьего прощенья не стóю, а ради Христа... во имя Христово... простите!.. Я все говорю и... молчать не могу... Дух внутри... меня теснит, как вино неоткрытое, и... бьет в совесть и язык подвигает к гортани... Прошу... если со мной что случится... чтоб знали, что я ее погубил, а *она*... она только чувства любви укротить не могла... Обвиню ль ее в том... ее... слабый, скудельный сосуд, когда сам на нее, на весь ее юный век тем же грехом поползнулся... Прав господь...

меня наказуя: благословляю душу того и исполню все к счастию их.

— Что вы такое думаете?

— Я... я хочу сделать... чтобы я не мешал.

— То есть как же это?.. Умереть, что ли?

Он посмотрел на меня и вдруг неожиданно улыбнулся чрезвычайно странной улыбкой, давшей его гордому лицу такое доброе и прелестное выражение, какого я никогда на нем не видал, и проговорил:

— Умру-с и жив буду. Надо спасаться. Жену мою освободили-с: она ни в чем не виновата... Это *он* у одной... дамы драгоценности снес, а на Любу подозрение бросил... Да-с; но она его любит, и ей... тяжело... за него-с... Она дома теперь. Позвольте мне у вас немножко уснуть!

«Вино, верно, открылось, и дух его более не теснил». Он казался глубоко спокойным и, оставшись один в комнате, тотчас же лег на диван и заснул. Утром я еще спал, когда Павлин встал и, умывшись на кухне, ушел. Мой человек, по любопытству своему проследив Павлина, видел, что он пошел в церковь.

XIV

Тогда время в некоторых отношениях было не похоже на нынешнее: теперь в военном быту, что ни шаг, то суд, а тогда была пора иных распорядков: в полках строго блюлась репутация мундира, и принимались особые меры к ограждению этой *мундирной чести*. Судили одних солдат, да и то не всегда, а когда видели в том особенную надобность; благородных же персон более или менее высокого происхождения, обличенных в негодяйничествах вроде плутовства и воровства, большею частию сплавляли на страну далече и там навсегда или надолго прятали их от общественного внимания. Этого-де требовала честь мундира, и этим она будто бы и удовлетворялась. Нынче об этом, кажется, думают иначе. Нынче мне доводилось слышать от современных воинов насмешки над этой *честью мундира:* они говорят, что «мундир может приносить честь или бесчестье только тому портному, который его шил». Оно, конечно, такое суждение весьма реально и может быть и основательно, но я об этом судить

не берусь; в то же время, о котором я говорю, «оскорбившего мундир» старались поскорее размундирить и сослать с глаз долой.

Такая мера была приложена и к Додичке. Когда я, в то время еще довольно нетерпеливый, утром появился к огорченной ma tante[1] Анне Львовне, она уже была вставши и довольно грациозно сидела в глубоких креслах — и, изображая из себя невинную страдалицу, понемножечку плакала, обтирая платком глаза. Она была говорлива и даже красноречиво распространялась на тему о злонравном товариществе, которое будто бы подвело ее неосторожного Додю под незаслуженные им подозрения и погубило его при содействии отвратительнейшей женщины, молодой, но настолько развращенной, что она, забыв ласки ее, Анны Львовны, была в самой непозволительной близости *со всеми*...

Тут Анна Львовна, в подкрепление своей клеветы, несла всякий вздор, рисуя такие фантастические картины мнимой близости Любы «со всеми», что всякий поневоле убеждался, что все это вздор и клевета.

Однако Анна Львовна была благодарна богу и одному «священному», по ее словам, лицу за то, что если уже Додичке нет средств оправдаться, потому что он так хитро опутан коварством Любы, то по крайней мере его не отдают на суд всяких приказных, где бы он должен был стать наравне с другими, а жалеют его и посылают в небольшой городок N, *недалеко* за Уралом.

Анна Львовна уверяла, что Додичке там будет прекрасно, потому что о нем туда напишут, а она с своей стороны даст ему крест с мощами и пошлет много книг; а там его после непременно скоро и простят, и все это только послужит ему в жизни полезным уроком.

Исполнение подобных кар следовало тогда немедленно же вслед за распоряжением, и Анна Львовна, говорившая утром этого дня, что Додичка уедет, вечером уже возвращалась в карете с заплаканными глазами из-за рогатки, за которую борзая тройка умчала в телеге Додичку в сопровождении двух жандармов, имевших в суме предписание отвезти милого шалуна гораздо подальше, чем рассказывала утром Анна Львовна.

---

[1] Тетушке *(франц.)*.

Во весь этот день, приходя и уходя от Анны Львовны, я не видал ни Любы, ни Павлина, должность которого в этот суматошный день оставалась без отправления, и мне не у кого было о нем даже осведомиться. Не получил я о нем никаких слухов и во весь другой день, а к вечеру пошел без церемонии о нем справиться. Я узнал следующее: комната Павлина еще со вчерашнего дня оказалась пустою; имущество его найдено все брошенным зря и как попало, точно после воровского визита; ни Павлина, ни жены его нигде не было, и никто о них не мог дать никакого ни слуху, ни духу.

В общей суматохе прошедшего дня никто не видал, возвращалась ли Люба домой из-под ареста и приходил ли ночью домой Павлин. Один я мог свидетельствовать, что Павлин говорил мне, будто он отвел жену домой и будто желает освободить ее от греха и соблюсти свою душу; но что могли значить все эти его слова? Теперь им приписывались разные иносказательные значения, в истолковании которых казалось по временам что-то не совсем невероятное. «Отвел домой» — это, говорили, будто бы значит, что он ее прикончил и таким образом проводил в вечный дом; а пошел соблюдать свою душу, это он ушел куда-нибудь в пустыню, всего вернее куда-нибудь на Афон или на Валаам, где будто бы и насчет паспортов не очень строго, да и за женитьбу тоже не очень бракуют, а если хороший человек, то его не прогонят, и он там будет себе жить, и молиться, и действительно, хоть и убил жену, а душу свою соблюдет, потому что там всегда труд, песнопение, пост и до смерти жизнь без соблазна, а по смерти братский неугасимый канун. Как вы хотите, в этом было нечто столь вероподобное, что все так на этот рассказ и положились. Вдобавок же ко всему, недели через две или несколько позже где-то у Екатерингофа или в Чекушах волною прибило к берегу подвергшееся гнилости тело молодой женщины, лица которой узнать было невозможно, но на ней оказалось тонкое белье и черное шелковое платье, как раз такое, в котором видели в последний раз швейцарку Любу. Правда, что большинство черных шелковых платьев все похожи одно на другое, но подозрение не рассуждает: к молодой утопленнице никто не признавался ни из родных, ни из знакомых, и потому домашними Анны Львовны и ею самою

было решено и утверждено, что эта утопленница не кто иная, как несчастная Люба, жена свирепого и мстительного Рауля, швейцара Павлина Певунова, пропавшего без вести.

Это обстоятельство не прошло без последствий: погибшую женщину схоронили, и Анна Львовна была так добра, что отпустила для нее десять рублей на гроб и на помин души Любы. Таким образом, благодаря христианской заботливости Анны Львовны были устроены заупокойные молитвы о душе безвременно погибшей Любы, а полиция для очищения своей души учинила розыски о губителе. Отзывов о месте нахождения Павлина, однако же, ниоткуда не последовало. Наконец даже говорили, что будто бы какой-то переодетый квартальный ездил на Валаам, но и там не отыскал скрывающегося Павлина и не мог доставить его со святого острова в тюрьму. Больше искать его было негде, и поиски прекратились: времени ушло день за день много, и про Павлина забыли. И позабыли про него так хорошо, что не вспомнили о нем и до сих пор, кроме одного раза, когда в аукционной камере продавали неразворованные остатки имущества «безвестно пропавшего Певунова».

Но где же делись Павлин и Люба?

Для этого мы должны вернуться назад, к тому времени, когда потеряли их из виду.

Павлин, простясь со мною, прошел к жене никем не замеченный. Люба, увидя мужа, затрепетала. Она никогда не видала его таким добрым, и оттого он ей и показался таким страшным.

Он наскоро переоделся, одел жену, взял все, что находил нужным, и вывел Любу из дома Анны Львовны. Люба не сопротивлялась и понимала только одно, что ее куда-то везут. Павлин и Люба встретили ссыльного Додичку на первой станции. Люба не показывалась, но Павлин предстал моему милому кузену на крыльце, но предстал не в злобе оскорбленного мужа, а в великой кротости смирившего себя христианина, и сказал ему:

— Будьте милостивы и великодушны, скажите: любили ли вы мою жену?

— Да; что же тебе нужно? — отвечал Додичка, еще не отвыкший тогда чувствовать свое барское превосходство перед стоявшим против него лакеем.

— Я вам сейчас скажу, что мне нужно, — отвечал смиренный Павлин, — но вы извольте мне прежде ответить: любите ли вы ее и теперь?

— Да, люблю, ну и что же такое?

— Только-с, только-с всего, и она вас тоже любит, ужасно любит... и... и сама мне об этом сказала.

— Ты ее об этом спрашивал?

— Да-с; я ее об этом спрашивал, и она мне прямо во всем призналась и плакала... Что делать: я виноват за нее богу!

Додичка ушам своим не верил и не понимал, что это значит? А Павлин вышел в это время в соседнюю комнату и вывел оттуда за руку свою смущенную жену и сказал:

— Вот она-с; она мне больше не жена! Господь Иисус Христос разрешил человеку оставить жену ради греха... седьмой заповеди. Она мне в этом грехе созналась, и к тому же сами видите ее в том положении, что она будет матерью, а ребенку тому не я отец...

— Ну! — воскликнул, не понимая, чем это кончится, Додичка.

— По всему этому я ее по божественному закону от себя отпускаю... И как она вас столь преданною любовью любит, то берите ее и женитесь на ней!

— Ты с ума сошел! — оправился Додичка. — Как я могу на ней жениться?

— Почему же нет?.. Разве вам унизительно?.. Напрасно-с. Я бы ей даже не советовал выходить за вас, потому что я знаю, какой вы человек, и ей счастья с вами не будет, но и она сама это знает и все-таки вас в сердце имеет, так тут делать нечего... Ей бы надо в монастырь идти, а ее еще в пропасть тянет, так пусть же это будет хоть без греха и срама; а потому... женитесь!

— Но ты постой, Павлин, — залепетал, оправдываясь, Додичка, — я ведь совсем не то... не потому... а что ты жив еще...

— Да-с, я жив; я жив еще, и бог знает, сколько еще промаячу, но я рук на себя и для нее даже не наложу. Вчера я об этом думал, но...

При этих словах Люба взвизгнула и бросилась в темный угол с сжатыми у лица руками.

— Гм, видите! — молвил, болезненно улыбнувшись, Павлин, — она меня не любит, и ей за меня тяжко, а вам за нее словно бы нет, а между тем она вас все-таки любит... Люби она меня сотую долю так, как она вас любит, я бы даже ссылку с нею за рай почитал... Ну да что толковать!.. Все равно: извольте ее теперь взять, и поезжайте... и... женитесь на ней... я за этим буду наблюдать, и... если вы не сделаете, как я говорю, то... — он пригнулся к уху Доди и добавил: — не понуждайте меня ко греху: я теперь говорю вам смирно, как христианин, а то я вас убью; непременно-с убью, и сразу убью, где бы вы ни были, я вас найду и убью, за нее... за жену... за беззащитную... Везде... во храме господнем убью.

Павлин, должно быть, говорил это очень решительно или кузен мой был уже слишком большой трус, но только у него вдруг отпала всякая охота отказываться от женитьбы на Любе, и он изъявил на это свое полное согласие. Впрочем, возможно, что он дал это согласие, имея в уме твердое намерение никогда его не исполнить, тем более что имел основание рассчитывать на возможность скрыться от Павлина. В этих соображениях он только указал старику на то обстоятельство, что немедленное бракосочетание его с Любою невозможно, потому что жену живого мужа с другим не перевенчают, но Павлин отвечал:

— Ну, уж об этом вы не беспокойтесь, это мое дело: я к тому времени умру, а вас с ней перевенчают.

— Ты умрешь?

— Да; я умру.

«Умрет, а между тем хочет убивать меня, — думал Додя. — Бедный старик, как они, эти простые люди, иногда любят!.. Мне его даже жалко: он помешался».

XV

С этим они разъехались — и Додя, конечно, считал себя совершенно освобожденным и от наскучившей ему жены Павлина, которую он не прочь был показывать как свою любовницу, но никак не хотел иметь своею женою. Додя ехал хорошо. Так как он не был собственно осужденным

преступником и преступление его, хранясь под сурдинкой, давало ему полное основание выдавать себя за обыкновенного гвардейского шалуна, то он везде пользовался по пути снисхождением начальств, а сопровождавшие его жандармы, видя это снисхождение, мирволили ему еще более. Он путешествовал не спеша, не по срочному маршруту; останавливался в подорожных городах, принимал посещения и сам посещал лиц, вниманию которых был рекомендован доброжелателями Анны Львовны из Петербурга, и даже заживался кое-где под предлогом усталости и болезни. Будучи немножечко практиком, он даже научился извлекать некоторые выгоды из своего подневольного положения и, умалчивая о настоящей причине своего изгнания из столицы, давал чувствовать, что тут замешены каким-то боком деспотизм, преследующий его любовь к свободе. Это на Руси издавно служило в пользу всех обращающихся к этому средству практических людей, и Додя, интересничая своим страдальчеством *за свободу мысли,* даже имел некоторый успех у мужчин и легко входил в фавор у дам... Словом, все шло для нашего изгнанника как нельзя лучше, и он таким образом отбыл половину своего пути, как вдруг на самом перевале через Урал на него — как будто из вековечных снегов и туманов — глянул Павлин!.. Да ведь какой Павлин: грозный и неотразимый, видимый и незримый, действующий и несуществующий.

Знаете: когда читаешь в повести или романе какое-нибудь чрезвычайное событие, всегда невольно думаешь: «Эх, любезный автор, не слишком ли вы широко открыли клапан для вашей фантазии?» А в жизни, особенно у нас на Руси, происходят иногда вещи гораздо мудренее всякого вымысла — и между тем такие странности часто остаются совсем незамеченными. Я теперь припоминаю пресловутый роман «Что делать?» Когда его читали у нас с таким большим удовольствием и всеконечно еще с большею пользою, я, к удивлению моему, от очень многих слышал сомнение не в том: удобно ли жить втроем и будут ли у швей алюминиевые дворцы, а лишь только в том одном: возможно ли, чтобы просвещенный и гуманнейший герой устроил свою жену замуж за другого и потом сам появлялся перед нею для того, чтобы пить втроем чай? А то ли случается в жизни, если

живешь между живых людей, а не бесстрастных и бесхарактерных кукол? Первый мой Павлин совершил поистине нечто гораздо более замечательное, тем паче что этот Павлин был человек простой и любил свою жену понатуральнее, чем герой упомянутого мною, столь известного в летописях литературы, романа.

Додичка приехал в какой-то городок, которого я вам не назову, да тут и не в названии дело. Здесь мой милый кузен надеялся найти лиц, к которым он имел открывающие благоволение письма. Рассчитывая тут приотдохнуть и понежиться, он пристал за болезнию в единственной тамошней гостинице рядом со станцией и, послав жандарма с посланием по адресу, уже успел à la Хлестаков перемигнуться с какою-то соседкою из противоположного дома,— соседкою, лица которой он, к слову сказать, надлежащим образом не рассмотрел, потому что чуть она появилась у окна в комнате, снаружи, перед этим окном вдруг встал и начал протирать рукавом стекла высокий, лохматый, седой старик с огромною бородою и в неестественной, по понятиям Доди, оленьей шубе. И черт его знает, откуда он взялся? Додичка его, правда, слегка заметил сидящим у окна на заметенной снегом завалине, но он ему с первого взгляда показался более похожим на старого козла, чем на человека, — и вдруг это чучело вскакивает и ездит по стеклам своими лапами, точно нарочно для того, чтобы лишить доброго юношу возможности наслаждаться красотою соседки... И он таки своего достиг, этот старик: Додя не рассмотрел заинтересовавшей его соседки, но это, впрочем, ему было совершенно все равно: она ему понравилась по одному чутью — и с его стороны не было более никаких препятствий разыграть с ней мимолетную интрижку, тем более что соседка, сколько он мог судить, тоже им, вероятно, заинтересовалась. По крайней мере Додя имел основание так думать, потому что занимательная незнакомка, заметив его, очевидно не без умысла несколько раз мелькнула в окне. Досадно было только то, что она все мелькала немножко слишком быстро, так что Додя никак не мог ее хорошо рассмотреть. Но зато это, конечно, еще более раздражило его любопытство, и он присел к окну с твердою решимостию не встать с места, прежде чем ее хорошенько увидит. Дело было под вечер; один жандарм был в откомандировке с письмом, другой,

оставшийся для порядка на карауле после длинного переезда на тряском облучке, оглушительно храпел в передней на чемодане. Додя все сидел у окна и все дожидался, не покажется ли еще раз пояснее в окне его интересное vis-a-vis... Судьбе заблагорассудилось его побаловать: вот в окне блеснул слабый свет, на столе появилась зажженная свеча, а между нею и окном выдвинулся и стал силуэт женской фигуры. Опять весьма эффектное, но самое неудобное положение. Какая же женщина, желая показать себя, станет или сядет между темным окном и свечою, освещающею ее сзади? Очевидно, это или совершенная невинность, или уже очень опытная кокетка, желающая производить свои коварные упражнения над неопытным человеком. Но Додя — не провинциальная простофиля: он прошел хорошую петербургскую школу у женщин и, конечно, хотел считать себя человеком опытным: он не зажжет у себя огня, и соседке его нельзя будет видеть, занимается он ею или нет? Таким образом, если она не кокетка, а податливая романическая простушка, то она непременно попадется на эту удочку. Это ей покажется досадно: она не поостережется и, рассердясь, подойдет сама принять свою свечку — и тогда он ее увидит; а если она ловка и хитра, как... как, например, была в Петербурге эта Люба, от которой он, слава богу, так далеко теперь откатился, то тем лучше: она будет хорошо наказана за свою хитрость и может просидеть хоть до завтра, или пока этот ее седой козел закроет ставни... А кстати, где делся этот седой козел? Его что-то нет... Впрочем, легок оказался и он на помине: не успел сидящий во тьме Додя о нем подумать, как ему послышалось, будто скрипнула дверь его номера, и когда он обернулся, ожидая увидать перед собою посланного им с письмом жандарма, то, вместо этого вестника, перед ним стоял упомянутый козловатый старик. Он взошел тихо и, имея на ногах мягкие валеные сапоги, тихо же подошел к самому креслу Додички и остановился у него за плечами так близко, что когда мой кузен обернулся, то они стали нос к носу с таинственным пришельцем. Додя, как все наглые люди, был большой трус и, при подобной встрече невыразимо потерявшись, едва произнес упавшим голосом:

— Что вам здесь нужно?.. Эй ты!.. жандарм!

Но жандарм спал крепко и не слышал зова.

— Не беспокойтесь-с, — отвечал таинственный посетитель голосом, в котором не было ничего страшного, но от которого трусливого Додю забила лихорадка. — Не беспокойтесь, я к вам по маленькому делу не от себя...

— Павлин!.. Это ты?

— Тсс! позвольте... Что такое Павлин? никак нет; вы ошибаетесь, я не Павлин: не знаю никакого Павлина, я совсем другой человек, я мещанин Спиридон Андросов, простой мещанин... да-с, и со мною мой паспорт есть... хороший паспорт, законный: с печатью, и все проименовано. Спиридон Андросов, мастеровой, хожу для промысла и бумагу свою часто прописываю. Куда приеду, сейчас же ее прописываю... для осторожности тоже и здесь неделю тому назад прописал...

— Но это ты... ты сам Павлин! Разве я тебя не знаю?

— Никак нет, я Спиридон Андросов.

— Что же вам от меня нужно?

— Мне совершенно ничего; а я вам принес записочку, вот извольте получить.

— От кого это?

— От одной вдовы тут... да, молодая вдова... извольте прочесть: сами увидите, что тут такое.

Кузен мой за минуту пред сим был уверен, что перед ним стоит не кто иной, как окосматевший Павлин, но услышав соблазнительные слова о вдове и ее записке, он как-то все упустил из виду и торопливо зажег свечу, чтобы скорее прочитать бумажку, и вдруг неожиданно уронил ее снова; теперь не могло быть ни малейшего сомнения в том, что стоявший перед ним человек был Павлин Певунов. Он только чрезвычайно оброс седыми волосами вокруг всей головы и лица да вырядился в какой-то полуазиатский костюм, но тем не менее всякий, кто его знал, не мог бы не сказать, что это он, Павлин, сам, собственнейшею своею особой. И в его глазах ясно читалось, что он видит, что его узнали, и понимает, что не узнать его невозможно. Кузен мой ото всего этого так растерялся, что на сей раз уже громко закричал:

— Павлин... Что ты от меня хочешь, проклятый Павлин?.. — Но при этих его словах пришлец так сильно сдавил Додю в косточках руки, что молодой франт присел

книзу и пролепетал: «Ах ты, дерзкий!» и в растерянности опять взял оброненную им бумагу: это была церковная выпись из книги об умерших, где значилось, что около полутора месяца тому назад в таком-то городе скоропостижно умер и погребен царскосельский мещанин Павлин Петров Певунов, а вдове его, Любови Андреевой Певуновой, выдано в том сие свидетельство с подписью и печатью.

Так вот кто эта вдова! Эта вдова была не кто иная, как сама влюбленная в Додю Люба. Дело было поставлено круто и узловато — и результатом всего этого вышло, что Додичка, не доехав до места своего назначения, женился на «швейцарке Любе». Посягнул он на это, не оказав никакого сопротивления, а как будто даже и с удовольствием. Почему это произошел в нем такой куркен-переверкен — рассказать не умею, но думаю, что тут играли роль все большее и большее удаление его от дома и, по мере большего удаления, все более и более чувствуемое сиротство. Они-то, вероятно, пробудили в нем живые чувства к нежно любившей его женщине, а тут и ее красота, и романическое положение, а может быть, и угрожающие настояния Павлина, и суетная боязнь, как бы этот чудак не разгласил, за что Додичка сослан, и тем не сбил его с его политической позиции, — одним словом, все это вместе или порознь подвигнули моего кузена к тому, что он даже с удовольствием обвенчался с женою Павлина, а мещанин Спиридон Андросов был при их свадьбе и расписался свидетелем в обыскной книге. — Надеюсь, вы меня не станете расспрашивать: как же это могло статься, что Павлин похоронил самого себя и добыл в том свидетельство своей вдове? Эти вещи у нас не сказка, а побывальщина: умер на постоялом дворе прохожий, Павлин стакнулся с кем надо, сунул в суму покойника свой паспорт, а его бумагу взял себе, — вот и дело сделано. В Новороссийском крае когда-то при крепостных бегах это систематически делалось, и оттого там были не в редкость люди, которые по паспортам до полутораста лет доживали. Умрет Иван семидесяти лет, его паспорт берет сорокалетний Петр, и пошло продолжение возраста... Однако это более касается до наших статистиков, а я продолжаю, или, лучше сказать, оканчиваю мою повесть.

XVI

Молодые, поселясь в назначенном им для житья крохотном городишке, решительно не знали, чем им занять себя и что делать. Привязанность Любы не могла надолго осчастливить Додю, который в качестве петербургского светского юноши любил жизнь общественную и душа которого жаждала сильных ощущений. Не имея желания, а может быть, не находя в себе и силы отстать от этого образа времяпрепровождения, он и теперь в этом скверном своем положении отыскал каких мог подходящих ему по вкусам «политических» людей между насыльным сбродом, пьянствовал с ними простой водкой, играл на мелкие деньжонки в карты, дергал и передергивал, был часто бит и наконец, к великому своему, но едва ли сознаваемому им счастию, совсем убит в драке, за неправильно взятый с кону пятиалтынный. Во все время этой жизни, продолжавшейся около двух лет, Люба пила, что называется, горькую чашу жесточайшего страдания, но в этой унылой горести своей постоянно была поддерживаема письмами и деньгами Спиридона Андросова, который, как видно, не упускал ее ни на минуту из вида и был на страже ее спокойствия. Он определился где-то неподалеку на службу к какому-то золотопромышленнику и при отличной честности, умеренности и аккуратности, не изменившихся в нем с переменою имени, он скоро приобрел себе уважение и деньги, и из последних почти ничего на себя не тратил, а все берег для Любы. Не знаю, как Люба распоряжалася этими сбережениями, которые пересылал ей ее отставной муж, но, вернее всего, можно полагать, что если не все эти деньги, то по крайней мере большую их часть пропивал и проигрывал ее настоящий муж, совершенно распившийся и омужичивший Додичка. Говорили, что он отнимал у Любы все, иногда самыми грубыми требованиями, а в другой раз даже и побоями... Павлин все это знал, как будто он тут вот и жил с ними, но не смутил души Любы ни на одно мгновение и не воспользовался ее разочарованием в Доде для того, чтобы разлучить их друг с другом. Совсем напротив: Павлин поддерживал Любу большими и прекрасными письмами, которые по некоторому случаю сделались моим достоянием, и я храню их как редкий и превосходный образец

10*

простого, но глубокого философски-мистического умствования необразованного, но умного и могучего волею человека. Эти письма, писанные «от грешного раба к сострадающей Любови», имеют немножко характер посланий: в них автор говорит, как бы уже он свое все вынес, отстрадал и, быв искушен, сам теперь может помогать искушаемым. В некоторых из них, и даже очень во многих, Павлин ничего не пишет жене об интересе дня, а дает советы, убеждает ее быть терпеливою, благоразумною, доброю, неизменно верною и преданною избранному ею мужу. Если читать эти письма в хронологическом порядке и читать по времени их следования одного за другим, то в них невольно обращает на себя внимание постоянно усиливающийся дух религиозного мистицизма. Автор сначала как будто соболезнует доле Любы и говорит о необходимости терпения, потому что от нетерпения бывает еще горше; но потом он мало-помалу видоизменяет этот мотив и начинает ее убеждать, что она должна радоваться, если несчастна, и сам радуется, да радуется так, что вначале поневоле чувствуется смущение: не овладело ли душою автора низкое злорадство к очевидным несчастиям изменившей ему Любы; но потом, ближе вникая в дальнейшие письма, вы видите, что пером их сочинителя водит иное чувство, чувство какой-то совершенно особенной, прямо, можно сказать, неземной любви — и притом любви самой заботливой и самоотреченной, но строгой. Павлин учит Любу терпеть для блага других и для искупления своих заблуждений и, убеждая в этом доводами довольно старыми, издавна известными из книг духовного содержания, излагает эти доводы с такою живостью и непосредственным даром убедительного красноречия, что как бы придает им новую живую силу. Он несомненно заботится об одном: *возродить духом* погибающую Любу — и, вероятно, видя из ее ответных писем, что это озабочивающее его возрождение возможно, он принимает совсем отеческий тон и даже в самом обращении к ней употребляет слова «дочь моя». Последнее письмо с этим воззванием вначале исполнено своеобразнейшей и трогательной нежности, не поглощаемой покрывающим его общим локальным суровым колоритом: в этом письме Павлин, подписывающийся «Спиридоном Андросовым», пишет: «Не унывай: не нам, слабым, а святому апостолу

Павлу ангел сатаны был дан в плоть его, но он его победил, и ты победишь его силою, ибо уже и недолго остается».

Это «недолго» было пророчеством провидца, и Люба его так и приняла, когда, через несколько дней после получения этого письма от первого своего, умёршего миру, мужа, второй ее муж был избит в драке и умер у ее дверей, в которые не мог попасть спьяна. Она тотчас же известила об этом событии Павлина, и тот немедленно же явился к ней: они вместе похоронили как должно Додю и... вслед за тем немедленно же вместе исчезли. Куда? Никто этого не знал; но я вам расскажу то, чего и никто не знает: за Киевом, над Днепром, в темном дремучем бору есть бедный женский монастырек. Бедность и незначительность этой обители такова, что ее иначе и не называют, как *монастырек:* там некогда была начальницею моя тетка Ольга и там же была монахиня, потом схимница, Людмила. Она скончалась очень недавно, всего несколько лет тому назад, далеко еще не в преклонных годах, *ослепнув от слез.* Эта милая, чистая сердцем старица с *выплаканными глазами,* в орбиты которых у нее для благообразия были вставлены кругленькие перламутровые образки, была настоящий ангел кротости и милосердия; о доброте ее и всепрощающей христианской любви и теперь еще с умилением и слезами воспоминают не только сестры бедной обители и посещающие монастырек богомольцы, но даже евреи близлежащего торгового местечка. О ней известно, что она была вдова человека очень хорошей фамилии и поступила в монастырь, потеряв мужа, а привез ее сюда на собственной лошади очень издалека какой-то суровый человек — *молчальник,* от которого никто не слыхал ни одного слова. На могиле ее нет памятника, объясняющего ее происхождение, а стоит простой дубовый крест с надписью: «Схимонахиня Людмила, в мире грешная Любовь». Крест этот над нею поставил тот же схимник, приходивший в монастырек после смерти сестры Людмилы из далекой суровой обители, которой мне вам называть незачем. Не знаю также, нужно ли вам пояснять и то, что эта «схимонахиня Людмила, в мире грешная Любовь», была не кто иная, как наша знакомая швейцарка Люба; а схимник, который пришел и поставил на ее могиле крест, был Павлин,

иноческого имени которого я не знаю, а хоть и знаю, так не скажу. Вот какие тайны и какие характеры живут иногда в стенах наших монастырей.

— И этот схимник... как его? — заговорила одна из дам.

— Что такое?

— Он жив еще?

— Мне кажется; по крайней мере в прошлом году он был еще жив.

— И вы его видели?

Рассказчик сделал утвердительный знак головою.

— Где же? Неужто здесь, на этом острове, — на этом Валааме?

— Ну, не все ли это равно для вас, — воображайте его где хотите: он везде возможен,

ДЕТСКИЕ ГОДЫ

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ МЕРКУЛА ПРАОТЦЕВА)

I

Я думаю, что я должен непременно написать свою повесть, или, лучше сказать, — свою исповедь. Мне это кажется вовсе не потому, чтобы я находил свою жизнь особенно интересною и назидательною. Совсем нет: истории, подобные моей, по частям встречаются во множестве современных романов — и я, может быть, в значении интереса новизны не расскажу ничего такого нового, чего бы не знал или даже не видал читатель, но я буду рассказывать все это не так, как рассказывается в романах, — и это, мне кажется, может составить некоторый интерес, и даже, пожалуй, новость, и даже назидание.

Я не стану усекать одних и раздувать значение других событий: меня к этому не вынуждает искусственная и неестественная форма романа, требующая закругления фабулы и сосредоточения всего около главного центра. В жизни так не бывает. Жизнь человека идет как развивающаяся со скалки хартия, и я ее так просто и буду развивать лентою в предлагаемых мною записках. Кроме того, здесь, может быть, представит некоторый интерес, что эти записки писаны человеком, который не будет жить в то время, когда его записки могут быть доступны для чтения. Автор уже теперь стоит выше всех предрассудков или предвзятых задач всяких партий и направлений и ни с кем не хочет заигрывать; а это, надеюсь, встречается не часто. Я начну свою повесть с детства, с самых

первых своих воспоминаний: иначе нельзя. Англичане это прекрасно поняли и давно для осязательного изображения характеров и духа человека начинают свои романы с детства героев и героинь. Ребенок есть тот же человек в миниатюре, которая все увеличивается.

«Дитя — это отец будущего человека», — говорят любящие эффект французы, а здравый смысл наших предков еще глубже и проще выразил это поговоркою: «каков в колыбельку, таков и в могилку».

Итак, прежде чем вы наступите на мою отшельническую могилу, не откажитесь подойти к моей детской колыбели, — иначе, я боюсь, вы, как и другие, будете недоумевать: зачем я очутился в монастырской ограде?

Поэт Бенедиктов, произведениями которого я вдохновлялся в дни моей юности (я был юн тогда, когда еще юноши любили поэзию), однажды напугал меня. Вычитав у него, что «счастье наше» не что иное, как «перл, опущенный на дно», и что «кто лениво влагу тянет и боится, что хмельна», то, «слабый смертный, не достанет он жемчужного зерна», я пленился другим образцом, образцом человека, который, «согрев в душе отвагу, вдруг из чаши дочиста гонит жизненную брагу в распаленные уста». Я с детства уже приспособлялся припасть — и без передышки, без удержа, выпить мою чашу, достать со дна ее заветный перл, и я ее выпил и — слышу над собою:

Вот счастливец! дотянулся;
Чашу разом о земь хлоп...
Браво, браво! оглянулся,
А за ним отверзтый гроб.

Да, это так: за мной отверзтый гроб — и в виду его я обращусь к моей колыбели и попробую расставить легкие вехи для обозначения моих скитальчеств между двумя крайними точками бытия.

Я был странный путник: бодрый, но неудержимо стремящийся вперед, я беспрестанно терял тропу, путался, и когда я хотел поправиться, то выходило, что я не знал, куда повернуть, и еще хуже запутывался. Единственный поворот, сделав который я немножко ориентировался, это — тропа в скит. Только усевшись здесь, в этой старой вышке, где догорает моя лампада, после дум во тьме одиноких ночей, я приучил себя глядеть на все мое про-

шлое как на те блудящие огоньки, мерцающие порою над кладбищем и болотом, которые видны из моей кельи. Поздно вижу я, что искал света и тепла там, где только был один заводящий в трясину блеск, и что вместо полной чаши, которую я хотел выпить, я «вкушая вкусил мало меду и се аз умираю».

Но начнем ab ovo, [1] если не с самой колыбели, то хоть с той поры, как я себя помню. Это тоже в своем роде момент довольно оригинальный и, вероятно, не совсем такой, какой сберегся у каждого для первого воспоминания.

Я в первый раз сознал свою индивидуальность с довольно возвышенной точки: я держался обеими руками за нижнюю планку рамы и висел над тротуаром за окном пятого этажа.

Случай этот был некогда предметом больших толков одного густонаселенного польского города, где тогда стоял кавалерийский полк, которым командовал мой отец; руки мои ослабели и готовы были выпустить раму, вдруг меня за них кто-то схватил и втянул в комнату.

Для моих родных и домашних навсегда осталось тайною: как я очутился за окном. Прислуга, смотрению которой я был поручен, уверяла, что меня сманул и вытянул за окно бес; отец мой уверял, что виною всему мое фантазерство и распущенность, за которые моя мать терпела вечные гонения; а мать... она ничего не говорила и только плакала надо мною и шептала:

— Что такое делается в твоем маленьком сердчишке и в твоей головенке?

Но все это уже было, разумеется, после, а я буду последователен в этом рассказе.

Я вылез за окно и повис на подоконнике, когда родителей моих не было дома, — и оттого доставленный мною им сюрприз имел сугубый эффект: возвращаясь домой в открытой коляске, они при повороте в свою улицу увидали массу народа, с ужасом глядевшую на дом, в котором мы жили, — и, взглянув сами по направлению, куда смотрели другие, увидали меня висящего на высоте

[1] С начала *(лат.)*.

восьми сажен и готового ежеминутно оборваться и упасть на тротуарные плиты.

С матушкой сделался тяжкий и глубокий обморок, из которого ее едва могли вывесть, меж тем как отец в это время успел взбежать наверх в свою квартиру и, схватив меня за руки, спасти от неминуемого падения.

Я лучше и яснее всего в жизни помню вечер этого дня: я лежал в детской, в своей кроватке, задернутой голубым ситцевым пологом. После своих эквилибристических упражнений я уже соснул крепким сном — и, проснувшись, слышал, как в столовой, смежной с моею детскою комнатой, отец мой и несколько гостей вели касающуюся меня оживленную беседу, меж тем как сквозь ткань полога мне был виден силуэт матери, поникшей головой у моей кроватки.

— Этот мальчишка — какое-то замечательное явление в природе, — говорил мой отец и при том высказал опасение, что из меня со временем непременно выйдет какой-нибудь совершенно неспособный к жизни фантазер. — Всмотритесь вы в его глаза, — продолжал отец, — он все как будто что-то ловит взором и к чему-то стремится... И не забудьте, что этот взгляд у него таков с самой минуты его рождения. Я помню, когда меня привели к пеленальному столику, на котором его управляла бабка, — он не плакал, а превнимательно рассматривал ее лицо — и потом, переведя глаза еще выше, он начал еще внимательнее разглядывать пестрый трафарет комнатного карниза. Я тогда же сказал: «Э, да это, кажется, в свет пришел новый верхолет, которых и без него довольно».

— Однако вы могли в этом ошибиться, — отвечал ему один из гостей и друг нашего дома.

— Да, — отвечал отец, — но у меня верный глаз, и я не ошибся. Моя жена — даром, что она лютеранка, она верит в русского бога и привечает разных бродячих монахов и странников, которых я, между нами сказать, терпеть не могу; но представьте вы себе, что один из таких господ, какой-то Павлин, до сих пор иногда пишущий нам непостижимые письма, смысл которых становится ясен после какого-нибудь непредвиденного события, недели три тому назад прислал нам письмо, в котором между всяким вздором было сказано: «а плод, богу предназна-

ченный он ангелом заповест сохранить во всех путях, и на руках его возьмут, и не разбиется». Поверьте, я далек от суеверия и сам недавно проучил одного ксендза, который показывал фальшивое чудо, — но я уверен, что моему мальчишке, когда он остался один, здесь, в комнате, непременно что-нибудь померещилось — и он потянулся за этим видением и очутился за окном, где его могло сберечь только чудо.

Услыхав этот разговор, я начал припоминать, как это было, — и действительно вспомнил, что передо мною неслось что-то легкое, тонкое и прекрасное: оно тянуло меня за собою, или мне только казалось, что оно меня тянет, но я бросился к нему и... очутился в описанном положении, между небом и землею, откуда и начинался ряд моих воспоминаний.

II

Отцу, вероятно, очень не нравились и мой характер и моя наружность, по крайней мере я привык так умозаключать, судя по немногим моим столкновениям с виновником моего бытия. Если батюшке приходилось видеть меня, когда он был в духе, он обыкновенно брал меня за ухо и говорил:

— Учись, братец, всему полезному, а то, если будешь такой пустозвон, как отец, так я тебя в уланы отдам.

Я этого ужасно боялся и ревностно учился всему, чему меня учили.

Если батюшка был не в духе, — что с ним в последние годы его жизни случалось довольно часто, — то тогда он просто был страшен: он краснел в лице, метал ужасные взгляды, топотал ногами и рвал все, что ему попадалось под руку. Когда поднималась такая буря, все в доме проникались трепетом и старались, как птицы перед грозою, спрятаться куда попало, пока эта буря пронесется. С отцом на это время оставались только матушка да старый его денщик Окулов. Я не знаю, как они ладили с безмерною раздражительностию и вспыльчивостию моего отца, но помню, что при всей моей тогдашней младенческой малосмысленности я постигал их величие — и с благоговением смотрел в исполненные небесной кротости

глаза моей прекрасной матери и в маленькое сморщенное лицо денщика, худенького солдата Окулова.

Я не знаю, как мать и Окулов управлялись со вспыльчивостию моего отца, но только он им повиновался и успокоивался.

Но, наконец, выдался случай, который и их влияние сделал бесполезным; это было таким образом: отец мой получил полк, в котором прежде служил и с которым был во множестве сражений. Полк этот тогда только что возвратился из похода и находился в сильном беспорядке: люди были дурно одеты, лошади искалечены; а между тем ему через месяц назначен был осмотр от высокого лица, от которого всецело зависела вся отцова карьера. Матушку это ужасно встревожило. По обычаю полковых дам тогдашнего времени, она достаточно понимала требования и условия военной службы и знала анекдотически вспыльчивый характер лица, которому отец мой должен был вывесть на смотр свой расстроенный полк. Это был человек не злой и даже, пожалуй, по-своему добрый, но, к сожалению, чрезвычайно схожий по характеру с отцом моим: он был безумно горяч и в своем неистовстве весьма часто несправедлив. Матушка ждала больших неприятностей от встречи этих двух характеров в лице подчиненного и начальника. Плохой, богадельный вид полка должен был произвесть самое дурное впечатление, а никаких надежд нельзя было возлагать на то, что осматривающее лицо войдет в разбор причин, поставивших полк в такое положение. Отцу оставалось: или отказаться от полка, или же обмундировать и ремонтировать его на свой счет. Считая первое знаком недостойной трусости, отец решился на второе; но это требовало больших денег, которых у моего отца не было и которых он ни у кого не мог занять в стране, где к нам относились враждебно. Тогда мать, всегда бывшая утешителем ангелом всех скорбящих и сетующих, поехала со мною и с Окуловым в Лифляндию к бабушке, вдове барона, некогда служившего в русской службе. Об этой поездке и о самой Лифляндии я не сохранил много воспоминаний: помню только одно, что бабушка моя, баронесса, была чрезвычайно большая, полная женщина и что она очень любила всех мыть. У них была баня, в которой бабушка проводила целый субботний вечер: здесь она мыла головы не только двум

своим незамужним дочерям, а моим теткам, но и самому барону — своему мужу, а моему деду, которого я по этому случаю считал большим бесстыдником. После я, однако, узнал, что дед совсем не по своей охоте ходил в баню, где его бабушка мыла, а делал это, только уступая настоятельным требованиям баронессы, «для сохранения домашнего спокойствия».

Впрочем, я и сам тоже был в мытье у бабушки, разумеется совершенно против моей воли: помню, что мне это стоило много горючих слез, потому что я был от природы чрезвычайно стыдлив, и как меня ни уговаривали и ни упрашивали «утешить грос мутерхен», [1] — я не мог раздеться при женщинах. Возмутительная операция эта была совершена надо мною с самым грубым насилием и при таком численном превосходстве со стороны моих врагов, что я никак не мог не сдаться, хотя и бился до потери сознания. Бабушка и сама была еще необыкновенно сильна, но, не надеясь на себя, она призвала к себе на помощь троих здоровых белобрысых латышских девок, с длинными плоскими торсами на коротеньких ногах. Увидав этих моих мучительниц, я застонал и, зажмурив глаза, начал их брыкать ногами и плеваться, но их это нимало не испугало, и я был раздет ими донага, причем заявлял мой протест только плачем и стенаниями, на которые эти бесчувственные грации с рубенсовским колоритом тела не обращали никакого внимания и повлекли меня в баню, где меня ожидали сугубые муки. Обставленная тазами и лоханками, бабушка сидела на широкой скамье на самой середине бани, а по сторонам ее стояли еще две латышки с такими же, как первые, плоскими торсами и короткими ногами. Меня вели за обе руки и подпихивали сзади, так что я решительно ничем не мог защитить свою скромность и притом скоро перестал о ней заботиться, потому что подвергся мукам иного свойства. Теперь я страдал уже от того, что бабушка, принимаясь за мытье, действовала руками с каким-то невообразимым ожесточением, а в то же самое время, чтобы я не шевелился, она зажимала меня, как в тиски, между своими крепкими коленями, покрытыми на сей случай только одним мокрым холщовым фартуком. Этот мыльный фартук

---

[1] Бабушку (*нем.*).

своим прикосновением производил на меня такое отвратительное впечатление, что я бился и визжал как сумасшедший и, наконец, однажды ущипнул бабушку так больно, что она, выхватив меня из своих колен, зажала в них снова по другому образцу и отхлопала ладонью так больно, что я помню это о сю пору почти так же живо, как сочный, рубенсовский колорит латышских дев, на которых я нехотя смотрел, удивляясь занимательности некоторых их форм. Однако, хотя я тут и пострадал, но в общем ходе дел поездка в Лифляндию была удачна: бабушка была очень добра и ко мне, и к maman, и даже к отцову денщику Окулову, который пленил ее своею способностию к мытью и глаженью. Бабушка его за это так полюбила, что однажды велела ему прийти в кухню и там собственноручно вымыла ему голову, а на дорогу подарила фунт мыла. Но что всего важнее, это то, что отсюда мы возвратились к отцу с значительною суммою, которой было достаточно на то, чтобы привести наш полк в сколько-нибудь приличный вид. Деньги эти были выручены залогом довольно богатого имения, составлявшего собственность моей бабушки. Спешный залог был сделан на самых невыгодных и тяжких условиях, но тягость эта значительно уменьшилась несомненною надеждою скорой и легкой расплаты. Полк тогда давал командиру хорошие средства, которыми гнушаться было не в духе времени, а к тому же вскоре после смотра предстояло получение ремонтных денег, которые могли с излишком погасить всю сумму займа. Одним словом, во всем этом не предвиделось ни малейшего затруднения — и отец мой принялся за дело с свойственною ему неутомимою энергиею. В полковых швальнях и мастерских кипела горячая и безустанная работа, в которой, кроме своих людей, участвовали наемные мастера, каких только где-нибудь могли отыскать в окружной черте. Подручные люди отца оказывали ему самую ревностную помощь: одни закупали коней, другие занимались их выездкою и обучением, третьи — пригонкою вещей и амуниции и т. п. Времени до смотра оставалось очень немного, и потому многое делалось наспех, неаккуратно; на одно затрачивалось более, чем следовало, другое делалось кое-как. Будучи сам человеком очень честным, отец мой страдал излишнею доверчивостью и терпеть не мог никакой подозрительности; это благород-

ное свойство его души послужило ему немножко во вред: занятых сумм недостало, и матушка нашлась вынужденною взять еще несколько тысяч под вексель на покупку инструментов для полковой музыки. Но зато теперь уже все было произведено на славу и притом поспело в срок к своему времени. Я помню, как, перед самым смотровым днем, музыканты принесли к нам на двор старые, измятые и изломанные инструменты и вместо них взяли из высокой каменной кладовой блестящие новые трубы, на которых тут же и сыграли перед окнами матери «Коль славен наш господь в Сионе».

В прелестных глазах матери сияла беспредельная радость и благодарность небу, которое помогло ей все это устроить для спокойствия мужа. Она заплакала — и, выслав музыкантам вина и ассигнацию, бросилась на колени и, прижав меня к своей груди, стала молиться...

В эту минуту в ее комнату взошел отец: он был, по-видимому, чем-то очень озабочен и хотел было тотчас же выйти назад, — но, увидав молящуюся мать, сам стал возле нее на колени, положил молча земной поклон и, восклонясь, обнял матушку и меня и, поцеловав нас обоих, сказал:

— Каролина! это не может быть, чтобы ты была обыкновенная женщина.

— Кто же я? — спросила maman.

— Ты ангел, и даже, мне кажется, самый добрый ангел во всей вселенной. О, зачем на земле не все женщины подобны тебе, чтобы сделать землю раем для человека.

— Не говори этого, Павел, — отвечала матушка, — это лесть или заблуждение, но... — добавила она с такими особенными слезами, каких я никогда прежде не видывал, — но об одном тебя прошу: как бы ты ни увлекался всем тем, что тебе покажется прекрасным, не отнимай ни одной капли твоей любви от сына.

С этим матушка пододвинула меня рукою к отцу, а сама села в кресла и закрыла глаза своими нежными белыми руками.

Отец мой показался мне очень смущенным: он как будто застыдился чего-то по поводу приведенных мною кратких слов матери — и, небрежно обняв меня, поцеловал в голову и проговорил:

— Да, да; что же ты... я ведь его люблю... право, люблю! я, брат Меркул, тебя очень люблю, но только ты, пожалуйста, смотри не будь фантазер и учись всему полезному, а то я тебя в гусары отдам.

Эта небольшая семейная сцена имела важное влияние в моем развитии, как потому, что я из нее смутно уразумел тщательно скрываемую от меня драму моих родителей, так и потому, что это единственная и последняя сцена, в которой я видел моих родителей в таких задушевных отношениях.

Я во всю жизнь мою не переставал грустить о том, что детство мое не было обставлено иначе, — и думаю, что безудержная погоня за семейным счастием, которой я впоследствии часто предавался с таким безрассудным азартом, имела первою своею причиною сожаление о том, что мать моя не была счастливее, — что в семье моей не было того, что зовут «совет и любовь». Я не знал, что слово «увлечение» есть имя какого-то нашего врага.

Увлечения! Боже мой, как печальны ваши следствия и как поздно человек начинает понимать, что, поддаваясь вам без удержа, он оскорбляет не ту узкую мораль, которая в разные времена послушна разным велениям, а рушит вековечный завет, в разладе с которым нет места для счастья! Но об этом речь впереди; я могу себя утешить, что, занимаясь историей моей жизни, я еще не раз встречу удобный случай обратиться к этим мыслям, — а теперь буду непрерывно продолжать мое повествование, дошедшее до события, которое я должен назвать первою моею катастрофою.

III

Я не имел более ни времени, ни случая наблюдать отношения моих родителей, потому что отец мой скоропостижно умер на другой день после описанной мною сцены. С этого и началась та катастрофа, о которой я сказал в конце предыдущей главы.

На первый раз самое ужасное в этом несчастии была его неожиданность. Люди, которые всякий случай находят безразлично удобным для острот и насмешек,

говорили, что «полковник Праотцев зарезан на славу живой ниткой», но этот скверный каламбур имеет очень точный смысл.

Дело было так: полк отца вышел к смотру в таком блестящем состоянии, что осматривающему его лицу не оставалось ничего, кроме как хвалить и благодарить. Все шло как нельзя лучше, но вдруг... О ужас! вдруг высокая особа заметила, что на мундире одного из солдат ослабела пуговица. Были ли тому виною поспешность работы или прелая нитка, но только когда особа с безмерною радостью сделанного открытия дернула эту пуговицу, то злополучная оловяшка сию же минуту отвалилась. Особа вскипела и пошла дергать все ниже и ниже, шибче и шибче... За одною пуговицею последовала другая, третья: особа их рвала, рвала с солдат и, наконец, в неистовейшем бешенстве бросилась на самого моего отца с криком:

— Может быть, у вас и у самих все на живую нитку? — причем особа схватила отца за пуговицу; но отец быстро дал шпоры коню — и, отскочив в сторону, весь побагровел и ответил:

— Не троньте меня, ваше-ство: я щекотлив.

Особа повернула лошадь назад и понеслась, крича, по рядам:

— Скверно, мерзко: в сапожники вас; в сапожники!

Мать все это видела и слышала, стоя у открытого окна в зале, где был приготовлен обеденный стол для офицеров полка и для самой особы. Теперь этот стол был как насмешка над нашей семейной бедой. Но это еще было полгоря в сравнении с тем, что ждало нас впереди. Беды ревнивы и дружны — и не идут в одиночку, а бродят толпами. Прежде чем матушка могла сообразить и обдумать, как встретить отца, который должен был возвратиться в гневе, — двери залы растворились, и в них появился мой отец, поддерживаемый двумя денщиками. Он молча указал глазами на кресло — и, когда его посадили, сорвал с себя галстук и прохрипел:

— Попа!

Матушка кинулась к нему, а он схватил ее руку, прижал ее к лицу — и тотчас же умер под шепот отходной, которую начал читать над ним прибежавший полковой священник.

Так погиб от прелой нитки мой храбрый и честный, изрубленный в боях отец, которого я мало знал и черты которого в настоящее время едва могу воскресить в моей памяти. Едва помню его бравую военную фигуру, коротко остриженную голову, усы и бакенбарды с седыми концами, горячий цвет лица и синие глаза: вот и все.

Совсем не то с лицом матери. Мне даже становится совестно, что я не умел поровну разделить моих привязанностей между моими родителями, — но это уже так сложилось. Я беззаветно предал всю мою душу моей матери, небесный образ которой безвыходно живет в моей душе. Два раза в жизни, когда я терял его, я был на краю пропасти, и... тут снова являлся мне он, этот священный лик с светлыми кудрями Скиавонэ и с глубокими очами познавшего свет провидца. Отец мой был прав: матушка была бы красавица, если бы она не была ангелом. Впоследствии, встретив у Оригена предположения, что ангелы могут жить и в нашем обыкновенном человеческом теле, я всегда чувствовал, что я одного такого видел и еще его увижу: он меня не позабудет; он меня встретит, потому что... он моя мать!

Приводя себе на память впечатление, какое производила моя мать на людей, которые ее видели в первый раз, я всегда припоминаю мнение Сократа, что «познание есть только воспоминание того, что мы некогда знали». Впервые встречая мою мать, всякий чувствовал, что он ее будто когда-то уже встречал, и притом встречал в необыкновенную для себя минуту; каждому мнилось, что она ему или уже когда-то сделала, или еще сделает что-то доброе и хорошее. Одним словом, это было доброе, чудное лицо, о котором я не буду говорить более — как потому, что рискую никогда не кончить с этим описанием, так и потому, что вижу теперь перед собою этот священный для меня лик, с застенчивой скромностью запрещающий мне слагать ему мои ничтожные хвалы.

После смерти отца мы с матушкой остались не только нищими, но на нас лежала вина разорения моей престарелой бабки и теток, имение которых, заложенное для моего отца, было продано с молотка вместе с тою банею, где я так мученически страдал от бабушки и ее здоровых латышек, голые тела которых так жестоко смущали мою

скромность. Беды повисли над нами тучей: энергическая старуха бабка не вынесла своего горя — и когда ее стали выводить из ее родового баронского дома, она умерла на пороге. Мы этого не видали: мы с матерью тогда еще оставались в том самом городке, где скончался мой отец и откуда мою мать теперь не выпускали за ее долг по векселю, за деньги, взятые ею на покупку новых инструментов для полкового оркестра. Платить нам было не из чего, так как все наше имущество заключалось в небольших пожитках да тех старых трубах, которые были свалены в амбаре взамен взятых на место их новых. Кредиторы должны были убедиться в несостоятельности матушки и рассрочить ей долг на мелкие платежи, какие она надеялась производить из имевшегося в виду пенсиона за отцову службу.

Я, впрочем, не помню, как шли все эти переговоры и сделки, потому что едва ли не первым делом моей матери после того, как она овдовела, было отвезти меня в Петербург, где, при содействии некоторых доброжелателей, ей удалось приютить меня в существовавшее тогда отделение малолетних, откуда детей по достижении ими известного возраста переводили в кадетские корпуса. Зачисление в кадеты в те времена считалось вожделеннейшим устройством судьбы мальчика — и матушка, стало быть, могла за меня не беспокоиться: я непременно должен был выйти в офицеры, а это тогда было почти то же самое, что выйти в люди. По крайней мере это так принимали в тогдашней замундированной России. Пребывание мое в отделении малолетних и потом в одном из столичных кадетских корпусов преисполнено для меня самых разнообразных воспоминаний, между которыми грустных, конечно, гораздо более, чем веселых, но я не стану заносить их в свои записки. Мне противно положить своею рукою лишний камень в прибавку ко всей тягости, в таком изобилии набросанной на эти школы. Да и к чему бы это послужило? Масса описаний темных сторон нашей школьной жизни так велика, что я не вижу нужды увеличивать ее своими рассказами, тем более что я не могу сказать ничего нового и... должен сознаться, что я все-таки чувствую благодарность к этому заведению, которое призрело и воспитало меня так, как оно могло и как умело. Оставленный самому себе, на руки беспомощной матери моей,

я бы, конечно, был еще несчастливее — и потому мир тебе, мой детский приют, так часто видевший мои детские слезы!

Изо всей школьной жизни упомяну только об одном событии, вследствие которого я неожиданно расстался с стенами заведения и вылетел в жизнь ранее положенного срока, да притом совсем и не в том направлении, к которому специально готовился.

IV

Не знаю, как бы надлежало правильнее назвать происшествие, которое около двадцати пяти лет тому назад случилось в одном из петербургских корпусов, именно в том, где я воспитывался, но тогда это происшествие все, не обинуясь, называли «кадетским бунтом». Как могли бунтовать безоружные дети, это довольно интересно, и я очень удивляюсь, что в нынешних журналах, специально занятых оглашением нашей недалекой старины, до сих пор не встречается ни одного сказания об этом «кадетском бунте». Дело началось с того, что, попавшись в руки одному начальнику, чрезвычайному охотнику употреблять розги, мы вышли из терпения, и когда одного из наших товарищей секли перед фронтом, мы долго просили о пощаде ему, и когда в ответ на эту просьбу последовала угроза «всех перепороть», кто-то вдруг бросил в экзекуторов камень. За одним камнем, как водится, полетели другие, и так дружно, что некоторые начальствующие лица обратились в бегство, и экзекуция была временно приостановлена.

Началось следствие: приехало разное высокое начальство и допрашивало нас и в массе и поодиночке, но мы и не винились сами и не выдавали виновных.

При необыкновенно развитом тогда товариществе между кадетами дети давали собою образцы геройства для взрослых, и вот в награду за эту неустрашимость и благородство наше последовало распоряжение, во исполнение которого «все особенно упорные», в пример прочим, жестоко пострадали, то есть они были немилосердно перепороны, а потом исключены из корпуса и выпущены «для определения к статским делам».

В числе подвергшихся всем этим карам очутился и я. Я должен сказать, что все мы встретили эту немилость не только бодро, но даже обрадовались ей.

Блаженный возраст, в котором мы находились, душевная чистота и беззаботная, светлая вера в грядущее делали нам легким наш героизм, да притом же мы и не ясно понимали, что́ с нами делают. Нам необыкновенно отрадно было чувствовать себя «пострадавшими за благородное товарищеское дело», а к тому же и в положении, в которое мы попали, было столько разнообразия! Сначала нас, «как заразу», долго держали в карцере, где нам было превесело и куда к нам являлось разное самое высокое начальство и внушало нам необъятность наших вин и бездну, в которую мы низвергаем себя своею нераскаянностию. Все эти внушения нам казались смешными, и мы по выходе начальства осмеивали его речи в стихах, упражняясь в которых от безделья достигли в этом значительной ловкости. Потом, убедясь в нашей неисправимости, начальство призвало нас в залу и в сборе всех наших товарищей прочло нам приговор, которым мы исключались из заведения и выпускались с правом поступить на гражданскую службу, с весьма удлиненным сроком на получение первого классного чина.

Взрослым людям трудно себе представить то восторженное настроение, которое последовало за этой минутой.

— Теперь весь корпус смотрит на вас как на недостойных своих товарищей, — объявил нам директор, окончив чтение приговора.

Последнее слово нас было на минуту смутило, но, взглянув в глаза стоявших против нас развернутым фронтом кадет, мы увидели, что слова эти несправедливы, что «весь корпус» на нас действительно «смотрит», но смотрит совсем не как на недостойных товарищей, а, напротив, «как на героев», и когда нам дозволено было проститься с остающимися камрадами, то мы с таким жаром бросились в объятия друг другу, что нас нелегко было разнять.

— Вы герои! вы наши благородные рыцари! — кричали нам, осужденным, помилованные, между которыми большинство состояло из детей младшего возраста.

Их волею-неволею должны были простить, потому что между ними много было бесприютных сирот,

находившихся в таких летах, когда «определение к статским делам» еще невозможно. Поэтому их считали «повинившимися», несмотря на то, что они тоже, как и мы, не приносили повинной.

Но как бы там ни было, плотное слитие обеих сторон в объятиях, поцелуях, слезах показали начальству, что «оправданные» не презирали осужденных, и... начальство этим, кажется, было тронуто. Нам довольно долго не мешали изливать на прощании свои чувства, и когда, наконец, настало время это прекратить, «оправданным» опять скомандовали выстроиться во фронт, а нас, осужденных, построили колонною и скомандовали нам марш за двери.

Это было последнее командное слово, которое я слышал в воинском звании, но и оно было заглушено для всех нас массою детских голосов. Стоявшие в строю кадеты не удержались и дружным хором крикнули нам вслед:

— Прощайте, честные герои!

О, какая это была прекрасная минута! Мое сердце и теперь усиленно бьется и трепещет при воспоминании о ней; но что мы чувствовали тогда, когда перед нами распахнулись двери, выпускавшие нас в бесприютность? Я отказываюсь передать это...

Само начальство было, кажется, тронуто воодушевлявшим нас духом и, в ознаменование своего к нам благоволения, не вменило в вину нашим товарищам нарушения субординации, выразившееся их прощальным криком из строя.

Впрочем, может быть, начальство не хотело этого замечать и потому, что ему уже надоело возиться с нашими «бунтами», да и не в этом дело. Мир и покой всем им, устроившим такую нашу карьеру, а ты иди вперед, моя история.

Замыкая этим период моей жизни, протекший под попечительной опекой, перехожу к началу моего *житья на воле,* которою я умел пользоваться не благоразумнее, как та птичка, которую выпустил из клетки ребенок и которая на первой же кровле попала в лапы хищной кошки.

Впрочем, изгнав нас из залы, где мы были лишены кадетского звания, начальство еще не сразу покинуло нас на произвол судьбы. До этого еще должен был

пройти один небольшой интервальный акт, в продолжение которого мы чувствовали над собою руку пекшегося о нас правительства.

Нас не прогнали из корпусного здания, вероятно приняв во внимание, что нам решительно некуда было бы деться и все мы в первую же ночь непременно попали бы под опеку ночного полицейского дозора. Но как мы уже были не кадеты, то корпус находил невозможным предоставить в наше пользование ни одного из помещений, отведенных кадетам. Самое оставление нас в карцере было признано неудобным — и нас отвели в один из дальних корпусных флигелей, где в наше временное пользование были представлены три большие комнаты нижнего этажа.

Мебели здесь решительно никакой не было, но к ночи солдаты притащили сюда несколько старых, отслуживших срок матрасов и старый же, черный, изрезанный ножичками, небольшой стол.

Оглядевшись в своем новом жилье, мы тотчас же сделали дальнейшую рекогносцировку и открыли, что находимся в помещении совершенно изолированном, и притом без всякого контроля.

Это открытие необыкновенно нас обрадовало. Мы почувствовали себя на свободе и запели: «Цыгане вольною толпой по Бессарабии кочуют», потом собственными руками разложили матрасы рядом по полу и, улегшись на них впокатку, как попало, уснули крепким, сладчайшим и безмятежнейшим сном. Утром, когда мы еще спали, пришел к нам офицер с известием, что мы будем пользоваться здешним приютом до тех пор, пока начальство справит нам штатское платье и устроит нашу рассылку к родителям. Для последнего распоряжения от нас были потребованы сведения о том, куда кто может ехать, — и мы были расписаны группами по трактам.

Тут я впервые задумался над тем: куда я приеду? Матушка, которой я очень давно не видал, жила в Лифляндии на маленькой мызе, оставшейся ей и теткам после продажи их имения за отцов долг. Я начал размышлять: какова может быть жизнь моей матери в этом положении и как ее должно поразить мое появление? Рассуждая обо всем этом, я тихонько сплакнул и написал матушке всю горькую правду о постигшей меня участи. Я утешал ее,

что стану для нее жить и без устали работать, но овладевавшее мною при этом смущение еще более усиливалось; я вспомнил, что я ровно ничего не умею делать и в шестнадцать лет еду к матери не для облегчения ее участи, а скорее для усиления ее забот.

«Я ничему полезному не выучился — и даже в гусары не гожусь», — размышлял я, с ужасом припоминая себе отцовы слова. Я видел, что роковое предчувствие его надо мною уже начинает сбываться, что я действительно того и гляди буду фантазером и ничего путного в моей жизни не сделаю.

Но, к значительному облегчению или по крайней мере к отсрочке моих скорбей, я не мог долго держать нити моих печальных размышлений: жизнь, которую вели мы в нашем карантине, тому не благоприятствовала.

Нас, изгнанников, было около сорока человек, из которых кое у кого нашлись маленькие деньжонки, маленькие, разумеется, по теперешним нашим понятиям, но по-тогдашнему весьма достаточные для того, чтобы ходить в верхние места театров и покупать сообща другие недорогие удовольствия. В числе последних было вино, которое солдаты беспрепятственно приносили нам в нашу казарму. Многим вино было еще не по вкусу, и нашлось между нами немало таких, которые и вовсе не могли его пить, но положение дел было таково, что стало нужно приучаться. Непитущих, в числе которых был и я, прозвали «девчонками», — и зато те, которые не хотели быть девчонками, отличались, напиваясь до того, что мы нередко должны были отливать их водою.

Меж тем штатское обмундированье для нас было готово, и на завтра был назначен разъезд буйной компании (она стала теперь достойна этого названия). Интересуясь способом нашей рассылки, мы узнали, что начальство подрядило несколько «протяжных троечников», распределив их по трактам на большие города, куда лежал путь рассортированным на трактовые пункты пассажирам. Пользуясь полною свободою ходить куда хотим, мы, разумеется, сейчас же отправились на указанный нам постоялый двор, который был где-то в Гончарной улице, — и там, под темными навесами сараев этого двора, мы дружески познакомились с извозчиками, с которыми должны были ехать.

Тут я должен сказать, что я, к величайшему моему удовольствию, освободился от лифляндской группы, в которую был сначала записан, — и переписался в группу киевскую, потому что матушка, в ответ на мое письмо об исключении меня из корпуса, уведомила меня, что мне в Лифляндию ехать незачем, потому что там она не надеется найти для меня никакого дела, а что она немедленно же пользуется удобным случаем переехать в Киев, где один родственник моего отца занимал тогда довольно видную штатскую должность, — и мать надеялась, что он не откажется дать мне какое-нибудь место по гражданской службе.

Это было для меня чрезвычайно радостное известие; во-первых, я перестал завидовать нашим товарищам, которые ехали в славянском собратстве, между тем как я должен был тянуться с немцами; потом, вместо мызной мазанки в серой Лифляндии, я стремился к «червонной Украйне», под тень ее тополей и черешен, к ее барвинкам, к Днепру, к святыням Киева, под свод пещер, где опочили Антоний, Нестор и Никола-князь, сбросивший венец и в рубище стоявший у ворот Печерской лавры....

О боже, каким неописанным восторгом была полна душа моя при одной мысли, что я все это увижу! Я потерял всякое самообладание — и, точно опьянев от восторга, почти не обращал внимания на все, что вокруг меня происходило. Помню только, как мы с участливостью осматривали большие, крытые троечные телеги, в которых нам надлежало ехать; садились в них, вылезали и снова садились; делили между собою места; осматривали лошадей, ценили их, определяли их достоинство, силу и характер; потом отправились с своими будущими возницами в какой-то грязненький трактир, где пили чай и водку. На этот раз нас угощали мужики, и мы все пили, — даже те, кто никогда не брал в рот капли вина, должны были выпить по две или по три полурюмки сладкой водки.

Через час мы все были пьяны, и не знавшие что с нами делать мужики запрягли парою одну из своих крытых телег, упаковали нас туда как умели и отвезли в корпус.

Мы этому нимало не противились; мы уже освоились с своим безначальным положением и привыкли считать

себя вольными казаками, над которыми нет старшего. А потому нас нимало не пугала мысль, что мы явимся в корпус в таком развращенном и омерзительном виде. Мы ехали, распевая с присвистом военные песни и дрянные романсы, обнимались, барахтались, кривлялись, делали ручки проезжавшим дамам и вообще вели себя как настоящие пьяницы. Дома солдаты нас едва уложили, а утром едва добудились. На дворе уже стояли, погромыхивая тяжелыми бубенцами, толстоногие тройки с расписными дугами, и в комнату к нам полоз едкий дымок тютюну, который курили ожидавшие нас у дверей извозчики.

Сердце ёкнуло: наше пришло до нас.

— Господи, что-то будет?

Солдаты начали выносить наши пожитки и размещать их по телегам, кто к которой был расписан. Шум, говор, беготня, движение — все это при моей больной с похмелья голове представлялось мне как волны хаоса.

Пришел корпусный батюшка, покропил нас водой; потом казначей дал нам по двадцати семи рублей пятидесяти копеек денег на дорогу, и нагруженные нами повозки, съехав с казенного двора, тяжело застучали по мостовой, медлительно подвигаясь к пестрым бревнам заставы.

Впереди был длинный, очень длинный путь, о котором не могут составить себе даже приблизительно верного понятия люди, доезжающие нынче от Петербурга до Киева в трое суток, и вдобавок без всяких приключений. Тогда было не то, особенно с такими солидными путешественниками, каковы были мы.

V

Нам, по нашим расчетам, на этот переезд требовалось не менее месяца, а наш извозчик утешал, что, может быть, потребуется еще и поболее.

Извозчик для едущих на протяжных — это совсем не то, что кондуктор для нынешнего путешественника, несущегося по железной дороге. С извозчиком седоки непременно сближались и даже сживались, потому что протяжная путина — это часть жизни, в которой люди делили вместе

и горе, и радость, и опасности, и все его досады. «Вместе мокли и вместе сохли», как выражается извозный люд. Наш извозчик, отправленный везти молодых господчиков по киевскому тракту, был небольшой, но очень крепкий, коренастый мужик из Новгородской губернии. Звали его Кирилл. Он был раскольник, но, вероятно, очень плохой, потому что и пил, и курил, и сам себя называл «попорченным»; но он был очень веселый и, казалось, добрый малый, от сообщества которого мы пророчили себе дорогой немало удовольствий. Они тотчас и начались. Выехав с нами из Петербурга за Московскую рогатку, Кирилл остановил у какого-то домика лошадей и объявил, что здесь живет его приятель Иван Иванович Елкин, к которому если не заехать и ему как следует не поклониться, то нам в дороге не будет никакой спорыньи.

Мы не прекословили и зашли: это был кабак, в котором, разумеется, никакого Ивана Ивановича не было, а сидел простой целовальник. Здесь мы, по настоянию Кириллы, все выпили: кто мог — водки, а кто не мог пить водки, тот пил пиво или мед.

Совершив такое возлияние путевому божеству, все мы охмелели и, едучи, сначала пели свои военные песни и романсы, а потом заснули.

Нас в повозке помещалось восемь человек, но как мы были все люди небольшие и покладливые, а к тому же и пожитками не обремененные, то особого стеснения не чувствовали. Но, несмотря на то, что мы соблюли обычай, указанный нам Кириллою, и, войдя к Ивану Ивановичу Елкину, совершили в честь его возлияние, путь наш не спорился: мы ехали, разумеется, шагом, делая не более пятидесяти верст в день, с передневками через два дня в третий. Это всякому должно бы показаться чрезвычайно утомительным и скучным, но нас все занимало: и новые люди и новые места, — и мы не погоняли нашего возницу, а добивались только одного, чтобы передневки приходились в городах или по крайней мере в хороших местах, которые мы осматривали, купались и спали. — К Иванам Ивановичам Елкиным, которых по дороге было чрезвычайно много и которые все оказывались добрыми приятелями Кирилла, мы уже более не заходили — потому ли, что многим из нас пришлось дорогою порядочно переболеть после петербургских оргий, или потому, что

на нас очень хорошо действовала природа и новость места и людей, которых мы «изучали» с отменною охотою и внимательностию.

Кирилл, который любил выпить, но считал неуместным делать это на свои деньги, покрепившись дня два и видя, что из нас ему нет сотоварищей и хлебосолов, поднялся на штуку: он отделил у себя на козлах так называемую «беседочку», в которую постоянно присаживал кого-нибудь из прохожих, и выручаемые этим путем деньги считал позволительным вручать Ивану Ивановичу Елкину. Пассажиров этих он набирал везде: по дороге и на ночлегах по постоялым дворам, откуда мы обыкновенно съезжали чрезвычайно рано. Чтобы не тревожиться утром, а также чтобы не платить особых денег за ночлег, мы все спали в повозке, — и Кирилл, съезжая со двора, не будил нас; а обеденный покорм, длившийся часа четыре, мы нередко держали у дороги на лесных опушках или где-нибудь над рекою, в которой непременно купались и иногда по нескольку раз в самое короткое время.

Сколько-нибудь замечательных происшествий с нами никаких не происходило, но только во всех в нас в течение немногих дней, проведенных в пути, как-то смелее и резче начала обозначаться наша индивидуальная разность. В корпусе мы все в общих чертах характера и взглядов походили друг на друга, — все мы были *кадеты,* а теперь, хотя мы оставались в своей же однокашнической компании, в нас обозначались будущие фаты, щеголи, которые будут пускать пыль в глаза, и задумчивые философы с зародышем червя в беспокойном, вдаль засматривающем воображении. Вскоре эта разновидность обнаружилась в весьма осязательной для нас форме.

В Твери штат наш должен был уменьшиться. Здесь нам надлежало высадить одного товарища по фамилии Волосатина, отец которого служил председателем какой-то из тверских палат.

По этому случаю мы сделали в Твери дневку — и высаженный здесь товарищ наш приехал к нам на постоялый двор в дрожках, запряженных парою лошадей, и пригласил нас всех от имени своего отца на вечер.

Этот товарищ был из тех, которые подавали надежду сделаться щеголями и франтами, — и два часа времени, проведенные им в разлуке с нами в доме своего отца, без-

мерно подвинули в нем вперед эту наклонность. Он звал нас приветливо, но с заметною небрежностью, и говорил с нами не слезая с дрожек, на которых сидел в щеголеватом новом платье, с тросточкою в руках, — тогда как мы толпились вокруг него все запыленные и в истасканных дорожных куртках.

Он наслаждался своим превосходством и без церемонии сказал нам:

— Только, приглашая вас к себе в дом, я надеюсь, что вы понимаете, что вам надо будет привести себя в порядок и хорошенько приодеться, а не валить толпою как попало; у нас будут гости и будут танцевать: вот я для этого даже сейчас и еду купить себе и сестре перчатки. Советую всем вам, кто хочет танцевать, тоже запастись хорошими перчатками, — иначе нельзя.

— Боже мой! как это хорошо: будут танцевать!

— И у него есть сестра!

— Да одна ли сестра — верно, будет и еще много дам! — воскликнули разом несколько голов после того, как товарищ покатил, обдав нас целым облаком пыли, — и все мы кинулись к своим узелкам, в которых был увязан наш штатский гардероб, построенный военным портным.

Восторг был всеобщий, но непродолжительный, потому что один из товарищей, имевший в задатке червя самолюбия, объявил, что он не пойдет, потому что Волосатин приглашал нас очень обидным тоном.

Тон! мы, недавние бесцеремонные товарищи, вырывавшие недавно из рук друг у друга кусок пирога или булки и не стыдившиеся выпрашивать один у другого самых ничтожных мелочей, — уж теперь разбирали *тон!* Да и как еще разбирали? хоть бы какому записному дипломату или светскому критику.

Вот свет! вот его первое наитие, неизвестно откуда забравшееся в нашу телегу, и тут же рядом несостоятельность его законов перед шепотом жгучих сил доброй молодости.

— Да, — заговорили мы, — мы все согласны, Волосатин скотинка: он очень форсит, обидел нас, но все-таки он наш товарищ, и мы дурно сделаем, если пренебрежем его приглашением. Он один виноват; а мы, если не пойдем, — мы покажем, что и мы сами невежи и не знаем, как

должно, светских приличий. Приняв приглашение, надо идти.

— Мы оскорбим его отца, который нас звал и который, может быть, очень заслуженный человек.

— Какой черт «заслуженный»! просто какой-нибудь приказный.

— Но мы теперь и сами пр... То есть мы все теперь статские, — отвечали мы со вздохом.

— И, наконец, он говорил, там есть у него сестра, а разве можно оказать невежливость женщине.

Эта «сестра», мне кажется, очень много значила для всех нас: всем нам было приятно называть молодое женское лицо... сто́ики не устояли. Мы решили перчаток не покупать, потому что такой экстренный расход был нам не по карману, — но, принарядясь в свои сюртуки, отправились в качестве нетанцующих на вечер, который для меня имел очень серьезное значение с довольно неприятными последствиями.

VI

К немалой нашей досаде выходило, что все мы довольно поотвыкли от женского общества, которое видели еще детьми и в которое совсем не умели вступить теперь, находясь в своей странной неопределенной поре и в своем неопределенном положении «нетанцующих кавалеров».

Самый первый шаг вступления в освещенный зал путал и сбивал все наши светские соображения, а к тому же мы никого не знали в том доме, куда нам предстояло предстать, и вдобавок нас некому было отрекомендовать и представить.

Положение было трудное, и оно еще усложнялось тем, что когда мы явились в дом — до нашего слуха долетели звуки вальса, и сквозь неплотно притворенные двери передней, где мы стояли, ожидая Волосатина, видны были мелькающие пары.

Волосатин, за которым мы послали человека, не выходил к нам, и его невозможно было ждать, потому что, по словам лакея, он танцевал, — невозможно было и стоять без толку и движенья в передней, тем более что какой-то пожилой господин, которого мы все приняли за хозяина,

проходя через переднюю в зал, пригласил нас войти и, взойдя сам впереди нас, поцеловал руки двух дам, сидевших ближе ко входу.

Мы длинною вереницею вступили за ним и, следуя во всем его примеру, начали по очереди подходить к ручкам всех дам. Неуместный прием этот, которым мы по неопытности своей подражали взошедшему перед нами другу дома, обратил на нас всеобщее внимание, — и я, шедший впереди лобызающей руки шеренги, видя смущение девиц и насмешки мужчин, не знал, как мне остановиться и куда вести за собой свой гусек. Я желал бы быть лучше поглощенным землею, как вдруг, приклонясь к руке одной молодой бледной блондинки с добрыми голубыми глазами, я почувствовал, что рука ее, ускользнув от моих губ, легла на мое плечо, и сама она добрым, дружеским шепотом проговорила мне:

— Давайте лучше вальсировать!

Я подхватил ее — и сначала неловко, а потом с достаточною смелостию сделал с ней тур и посадил ее на место.

В этой умеренности мною, по счастию, руководило правило, по которому нам на балах запрещалось делать с дамами более одного тура вальса, — и то изо всей нашей компании знал это правило один я, так как на кадетских балах для танцев с дамами отбирались лучшие танцоры, в числе которых я всегда был первым. А не знай я этого, я, вероятно, закружился бы до нового неприличия, или по крайней мере до тех пор, пока моя дама сама бы меня оставила.

Но, по счастию, опытность спасла меня, а моему примеру последовали и другие мои товарищи, которых я увидел вальсирующими, когда опустил свою даму.

— Сядьте возле меня, — пригласила меня моя дама.

Я млел: она мне казалась прекрасною и такою доброю, что я ее уже бесповоротно полюбил.

— Мой брат говорил мне, что вам далеко еще ехать... — начала она.

Ее брат! Великий боже! это *она* и есть, она, сама она, его сестра! О, вы, души моей предчувствия, сбылись: недаром меня влекло сюда; недаром... нет, недаром: я был влюблен, и притом не только бесповоротно, но и смертельно влюблен!

Я только хотел бы знать ее имя и... хотя приблизительно: на сколько лет она меня старше?

Желания мои сбылись: ко мне подошел наш блестящий товарищ Виктор Волосатин — и, отведя меня в угол, где были сбиты в кучу все прочие товарищи моего бедствия, сказал:

— Надо же быть таким пошлым дураком, как ты, чтобы, войдя в зал, начать прикладываться к ручкам всех дам, и потом еще вальсировать в три па и без перчаток... Это можно в корпусе, но в свете так не поступают.

Я было привел в свое оправдание пример взошедшего передо мною старичка, но Волосатин еще раз назвал меня дураком и растолковал, что тот старичок — его дядя, который держит себя здесь по-родственному, между тем как я...

Ну да, я сам знал, что сделал ужасный и непростительный поступок и достоин за то всякой кары, а потому и не возражал и не обижался дружеским выговором, тем более что все это была такая мелочь в сравнении с любовью, которою я пламенел к его прекрасной и доброй сестре, которая (это очень большой секрет) *сама ангажировала меня на мазурку.*

От этой радости я просто был как в чаду и целый вечер ни с кем не танцевал ни одного танца, а все смотрел из-за мужчин *на нее.* И что же вы думаете? — *она* меня понимала: она тоже не танцевала и отказывала всем, кто к ней подходил. Это было мне очень приятно, и верное сердце мое слало ей тысячу благословений. Не сводя с нее глаз, я все находил ее прекраснее и прекраснее, и она в самом деле была недурна: у нее были прелестные белокурые волосы, очень-очень доброе лицо и большие, тоже добрые, ласковые серые глаза, чудная шея и высокая, стройная фигура, а я с детства моего страстно любил женщин высокого роста, чему, вероятно, немало обязан стройной фигуре А. Паулы Монти, изображение которой висело на стене в моей детской комнате и действовало на развитие моего эстетического вкуса.— К тому же сестра Волосатина мне нравилась своим поведением; она не вертелась, как все девицы, а все более сидела со старушками и добродушно сносила тормошения беспрестанно подбегавшей к ней кучерявой брюнетки, к которой несколько из моих това-

рищей относились с ангажементами и получали отказ. Эта кичливая и ветреная особа все танцевала с франтами, которые, по моему мнению, не имели ровно никаких достоинств.

Вечер прошел — и моя блондинка сама отыскала меня глазами и сама выбрала для нас скромное место, устроив предварительно несколько пар для моих товарищей, у которых все-таки не оказалось ни одной такой красивой дамы, как моя, а что всего важнее: я не думаю, чтобы чья-нибудь другая дама умела вести такой оживленный разговор. Она все время мазурки проговорила со мною про корпус, интересовалась нашею историею, нашею прошлою жизнью и наконец, заговорив о моих планах на будущее, сказала, что мне еще необходимо много учиться.

Это меня немножечко обидело, но у меня был готов ответ, что условием исключения нас из корпуса было воспрещение нам поступать в какие бы то ни было учебные заведения и обязательство вступить немедленно в статскую службу. Но у нее тоже не стояло дело за ответом.

— Учиться везде можно, — отвечала она, — даже и в тюрьме и на службе — и учиться непременно должно не для прав и не для чинов, а для самого себя, для своего собственного развития. Без образования тяжело жить.

Мне помнится, что я под конец мазурки дал ей слово, что буду учиться, и именно так, как она мне внушала, то есть не для получения привилегий и прав, а *для себя,* для своего собственного усовершенствования и развития.

Странная, прекрасная и непонятная женщина, мелькнувшая в моей жизни как мимолетное видение, а между тем мимоходом бросившая в душу мне светлые семена: как много я тебе обязан, и как часто я вспоминал тебя — предтечу всех моих грядущих увлечений, — тебя, единственную из женщин, которую я любил, и не страдал и не каялся за эту любовь! О, если бы ты знала, как ты была мне дорога не тогда, когда я был в тебя влюблен моей мальчишеской любовью, а когда я зрелым мужем глядел на женщин хваленого позднейшего времени и... с болезненною грустью видел полное исчезновение в новой женщине высоких воспитывающих молодого мужчину инстинктов и влечений — исчезновение, которое восполнят разве *новейшие* женщины, выступающие после отошедших новых.

Возвратясь с вечера, который нам показался прекрасным балом, я во всю остальную ночь не мог заснуть от любви, и утро застало меня сидящим у окна и мечтающим *о ней*. Я обдумывал план, как я стану учиться без помощи учителей, сделаюсь очень образованным человеком и явлюсь к ней вполне достойный ее внимания. А пока... пока я хотел ей написать об этом, так как я был твердо уверен, что одна подобная решимость с моей стороны непременно должна быть ей очень приятна.

Но Кирилл уже запрягал своих лошадей — и товарищи встали и начали пить чай и собираться в путь. Письмо надлежало отложить.

Мы сели — и я уезжал без малейшей надежды узнать даже имя своей дамы, как вдруг недалеко около заставы нас обогнал Волосатин. Он ехал с мальчиком купаться и вез перед собою на беговых дрожках закрытую салфеткою корзину.

— Эй вы, путешественники! — крикнул он нам, — вот моя старшая сестра шлет вам пирогов, ватрушек и фруктов. Поделитесь, да не подеритесь, потому что она любит мир и любовь. А тебе, Праотцев, она, кроме того, посылает вот эту какую-то книжицу: это, вероятно, за твою добродетель, что ты вчера с нею от души отплясывал.

Я взял с благоговением поданную мне им запечатанную в бумагу книжечку, но был оскорблен тоном, каким он говорил о сестре.

Я даже не удержался и поставил ему это на вид, но он нагло расхохотался и отвечал:

— Да ты уж не влюблен ли в Аню? а? Сознавайся-ка, брат, сознавайся! Ведь это с вами, философами, бывает, но только жаль, что сестре скоро тридцать лет, а тебе шестнадцать.

«Тридцать! — подумал я, — это немножко неприятно».

А Волосатин продолжал хвастать своею другою сестрою, Юленькой, той самой кучерявой брюнеточкой, которая вчера беспрестанно подлетала к старшей сестре и тормошила ее, — и затем он уехал, рассказав предварительно, что эта хваленая его сестра выходит замуж за адъютанта и что он сам, вероятно, когда-нибудь женится на красавице.

Кто-то из нас, шутя, назвался к нему на свадьбу.

— Позови, мол, нас, когда будешь жениться.

Но Волосатин в ответ на это с оскорбительною практичностью заметил, что это будет видно, смотря по тому, кто из нас как сумеет себя устроить в обществе.

Ему казалось, что он себя уже отлично устроил, и товарищи вслед ему назвали его «отвратительным фатишкою», — но мне до этого не было никакого дела, потому что я был влюблен и желал обращаться в сферах по преимуществу близких к предмету моей любви. Я быстро распаковал привезенную Волосатиным корзину, стараясь как можно более съесть присланных его сестрою пирогов, чтобы они не доставались другим, а между этим занятием распечатал подаренную ею мне книгу: это был роман Гольдсмита «Векфильдский священник».

Я в первый раз имел в руках это сочинение и прочел его с величайшим удовольствием, сократившим для меня время путешествия до Москвы.

В Москве нас ждал маленький сюрприз.

С тех пор, как мы отказались заходить за своим Кириллом к Ивану Ивановичу Елкину, возница наш значительно к нам охладел и даже сделался несколько сух и суров, из чего мы дерзнули заключить, что этот добрый человек не столько добр, сколько лукав и лицемерен. Но ему самому мы ничем не обнаруживали нашего открытия, потому что все мы, несмотря на военное воспитание, кажется, его порядком побаивались. В Москве же он нас напугал, и довольно сильно.

VII

Так как мы сами себе мест для остановок не выбирали, а подчинялись в этом опытности и произволу Кирилла, то и в Москве нам пришлось пристать там, где он хотел. Здесь нам послужил пристанищем простой постоялый двор где-то у Рогожской заставы. Нам, впрочем, это было все равно, потому что помещением для нас, как я выше сказал, во всю дорогу служила повозка, а расстояния для нас тогда не существовали, да и притом для нас в Москве всякое место было свято и интересно. При одной мысли, что мы «в Москве», ни у одного из нас не было другого намеренья, как бежать, смотреть, восторгаться

и падать ниц (без всякого преувеличения, мы непременно хотели хоть несколько раз *упасть ниц,* но нам удалось сделать это только в соборах, потому что на площадях и на улицах такое желание оказывалось совершенно неудобоисполнимым). Путешествовали мы по Москве по образу пешего хождения и вообще очень экономничали, так как видели впереди еще очень большой путь, а денег у нас было мало; какова же была наша досада, когда в Москве нам пришлось прожить вместо одного дня целые четыре, потому что наш Кирилл с первого же вечера пропал, и пропадал ровным-ровнехонько четверо суток! Мы сами поили и кормили его лошадей и нетерпеливо поджидали его по целым дням, сидя за воротами на опрокинутой колоде, но Кирилл как в воду канул. В отчаянии от того, что с нами будет, так как деньги казна отдала Кирилле и никто другой нас до Киева не повезет, мы жестоко приуныли. Самая Москва потеряла для нас свою цену: все наши обозрения ограничились побегушками первого дня, и затем мы не осмотрели великого множества мест, к которым влекли нас прочитанные в корпусе романы Лажечникова, Масальского и Загоскина. Все мы страшно упали духом, а некоторые из нас даже малодушно плакали и тем наводили на других еще большее уныние, дошедшее, наконец, до всеобщего отчаяния и страха. К кому мы ни обращались за сведениями о своем вознице, все это было напрасно: никто не давал нам никакого определительного ответа; но, наконец, какой-то извозчик сжалился и, стребовав с нас рубль за открытие томившей нас тайны, сообщил нам, что Кирилл «водит по Москве медведя».

Эта невероятная новость нас в одно и то же время и обрадовала, и встревожила, и огорчила: как-де это не стыдно Кириллу, человеку столь обстоятельному и староверу, позабыть свое дело и предаться такому пустому, шарлатанскому занятию, как вождение медведя?

— Он может погибнуть, — предполагали мы и с минуты на минуту ожидали, что кто-нибудь привезет на двор и бросит его несчастный труп, растерзанный медведем.

Но, наконец, к ночи четвертого дня Кирилл явился — мрачный и тяжелый, но живой, хотя, впрочем, с несомненными знаками только что перенесенной тягостной борьбы с медведем: армяк и рубашка на одном плече у него были

прорваны насквозь, и сквозь прореху виднелось голое тело с страшным синяком, лицо возле носа было расцарапано и покрыто черными струпьями, а на шее под левым ухом в складках кожи чернела засохшая кровь.

Взглянув на него, мы не стали его укорять и только полюбопытствовали: правда ли, что он все это время водил медведя?

— Водил, чтоб его, проклятого, черт ободрал! — отвечал Кирилла и, уткнувшись лицом в сено, захрапел.

Мы тоже не стали его ни о чем более расспрашивать и поскорее улеглись спать в своей повозке, а утром были пробуждены зычным криком, который раздавался из хозяйских комнат. В этом крике среди многих других голосов мы могли различать и голос нашего Кириллы.

— Не водить было тебе, подлец, медведя! не молоденький ты, чтобы баловствами заниматься! — выкрикал хозяин.

— Что делать: господь попустил! — отвечал Кирилла.

— Так вот за то теперь и оставь нам на прокормление пристяжную.

— Помилуй! — просил Кирилл, — мне без третьей лошади все равно что пропасть!

— Ничего; пусть тебя палач плетью помилует, а ты оставляй пристяжную, да и все тут: я уж два года на тебе сорок рублей жду, а ты всякий раз как приедешь — опять за свою привычку: по Москве медведя водить! Нет; иди, иди, запрягай пару, а левую оставь; не велики твои господчики — парой их довезешь.

Кирилл жалостно просил пощады и клялся, что ему парой нас не довезть, потому что ближе к Киеву пойдут большие пески, и парой ни за что телегу не выволочь; но дворник был неумолим и настаивал на том, чтобы третью лошадь оставить ему: мы-де ею тут твоего медведя покормим.

Все это нас ужасно смутило: нам представлялось и жалостное наше путешествие на несчастной паре вместо тройки, и потом нам чрезвычайно жалко было обреченной на съедение медведю лошади, так как мы уже успели сильно сдружиться с Кириллиными конями — и особенно с левым буланым мерином, у которого был превеселый нрав, дозволявший ему со всех, кто к нему подходил, срывать шапки, и толстая широкая спина, на которой мы

по очереди сиживали в то время, когда буланый ел на покорме под сараями свой овес.

Меж тем как мы волновались подобными чувствами — до нашего слуха долетели другие голоса, касавшиеся уже непосредственно нас самих: кто-то давал Кирилле мысль прижать нас и потребовать от нас доплаты к сумме, следовавшей ему за наш провоз; но Кирилл энергически против этого протестовал и наотрез отказался нас беспокоить, объявив, что он всю плату получил сполна и что это дело казенное — и он «мошенства» ни за что сделать не хочет, а скорее пойдет куда-то к начальству и скажет: так и так, и т. д.

Мы далее не вслушивались — и, тронутые благородством Кириллы, решились скорее выручить его необходимою суммою, для чего с каждого из нас семерых нужно было около шести рублей ассигнациями. Мы уже развязали свои мешки и складывали эту значительную по нашим средствам сумму, как вдруг она оказалась вовсе не нужною, потому что утихший на мгновение крик снова раздался с удвоенной силой, и Кирилл слетел с шумом и грохотом с крыльца, проворно схватил под уздцы свою уже запряженную тройку и свел ее со двора, а потом вскочил на облучок и поехал рысью.

Считая такую скорую езду делом совершенно необыкновенным, мы выглянули из-под рогож нашей повозки на своего возницу — и, увидав его в какой-то ажитации, снова попрятались.

Я, может быть, дурно делаю, вдаваясь во все мелочи нашего первого путешествия, но, во-первых, все это мне чрезвычайно мило, как одно из самых светлых моих юношеских воспоминаний, а во-вторых, пока я делал это путешествие, оно, кажется, не знаю почему, делало грунт для образования моего характера, развитие которого связано с историею бедствий и злоключений моей последующей жизни.

Московский медведь, оставшийся для нас мудреною загадкой, по-видимому произвел весьма сильное впечатление и на самого Кириллу, который совершенно утратил на время свою веселость и, сделавшись чрезвычайно молчаливым, все выбирал пальцами подлинявшие у него в бороде волосы. На прорехи своего платья и раны своего лица он не обращал никакого внимания, несмотря на то,

что количество повреждений на его лике, кажется, несколько усилилось после его объяснений с московским дворником, от которого он спасся какою-то неизвестною нам находчивостью.

Три дня после выезда нашего из Москвы он все спал: спал на стоянках, спал и дорогою — и с этою целию, для доставления большего удобства себе, никого не подсаживал в беседку, а лежал, растянувшись вдоль обоих мест на передке. Лошадьми же правил кто-нибудь из нас, но, впрочем, мы это делали более для своего удовольствия, так как привычные к своему делу кони сами знали, что им было нужно делать, и шли своею мерною ходою.

В Туле мы высадили еще одного товарища, а в Орле двух — и остались вчетвером, из которых одному надлежало остаться в Глухове, другому в Нежине, а мне и некоему поляку Краснопольскому вдвоем ехать до Киева. Но, однако же, не все мы доехали до мест своего назначения: нам суждено было погубить дорогою своего нежинского товарища, маленького Кнышенко. Это — небольшое, но очень трагическое происшествие, которое чрезвычайно меня поразило, особенно своею краткою простотою и неожиданностью.

Я, конечно, знал, что все люди смертны, но я... все-таки думал, что такое солидное дело, как умирание, должно происходить с некоторою подготовкою, вроде того как было с отцом, апоплексическому удару которого предшествовал нравственный удар.

VIII

В Туле и Орле мы были беспокойны, как бы наш Кирилл опять не повел медведя, так как он нам уже рассказывал, что́ это такое значило, — и мы из слов его узнали, что в вождении медведя никакой настоящий зверь этой породы не участвовал, а что это было не что иное, как то, что Кирилл, встретясь в Москве с своими земляками, так сильно запил, что впал в потемнение рассудка и не помнит, где ходил и что делал, пока его кто-то из тех же земляков отколотил и бросил у ворот постоялого двора, где мы его ждали в таком ужасном перепуге и тоске.

Однако и в Туле и в Орле Кирилл показал характер и удержался, да и вперед обещал быть воздержен и даже выражал твердое намерение, довезя нас до Киева, оставить навсегда свой извозчичий промысел и ехать домой, где у него была жена, которая всегда могла его от всяких глупостей воздержать. Теперь он жил в некотором умиленном состоянии и, воздыхая, повторял прекрасную пословицу, что «земляной рубль тонок, да долог, а торговый широк, да короток».

Пословицу эту мы хвалили, но все-таки нас пугала мысль: не пропил ли Кирилл в Москве все деньги, данные ему за наш провоз, — и мы хотели узнать: будет ли ему с чем доставить нас до Киева? Много церемониться было не из чего — и мы откровенно выразили ему наши опасения; но Кирилл нас тотчас же благородно успокоил, и притом сделал самому себе некоторый комплимент, сказав, что он водил медведя, держа рассудок в сумке, и пил только на чужой счет своих земляков, а все деньги забил в сапоги под стельку, — и потому когда товарищи захотели снять с него и пропить те сапоги, то он тут сейчас очувствовался и вскричал караул, но сапог снять не дал, а лучше согласился претерпеть неудовольствие на самом себе, что и последовало.

Мы проехали всю Орловскую губернию, встретили в Упорое у сада графа Гейдена первые тополи — и, налюбовавшись ими, вскоре перевалили за широкую балку, посредине которой тек маленький ручеек, служивший живым урочищем, составляющим границу Великой России с Малороссиею.

Теперь переезд этот ничего не значит для путешественника, да и он совершается совсем не в том месте, где мы перебирались из страны «неба, елей и песку» в страну украинских черешен. Железная дорога оставила далеко в бок характерную местность тогдашней переправы и получившую очень характерное название «Пьяная балка». Здесь на одном пологом скате была великорусская, совершенно разоренная, деревушка с раскрытыми крышами и покосившимися избами, а на другом немножко более крутом и возвышенном берегу чистенький, как колпик, малороссийский хуторок. Их разделяла только одна «Пьяная балка» и соединял мост; затем у них все условия жизни были одни и те же: один климат, одна почва, одни

перемены погоды; но на орловской, то есть на великорусской, стороне были поражающие нищета и голод, а на малорусской, или черниговской, веяло иным. Малороссийский хутор процветал, великорусская деревня извелась вконец — и невозможно было решить: чего еще она здесь держится? В этой деревне ни один проезжий или прохожий не останавливались — как потому, что здесь буквально не было житья в человеческом смысле, так и потому, что все население этих разоренных дворов пользовалось ужаснейшею репутациею.

По одну сторону «Пьяной балки» была дорогая и скверная откупная водка, по другую дешевая и хорошая. На самом мосту стоял кордон, бдительно наблюдавший, чтобы великоруссы не проносили к себе капли малороссийской водки; но проносить ее в желудке кордон не мог возбранить — и вот почему балочники Орловской губернии были так отчаянно бедны: они постоянно все, что могли, тащили к жидам на малороссийскую сторону и там пропивали все дочиста.

В самой балке всегда стояли караваны телег: все извозчики и не извозчики, всякая христианская душа считала необходимостью, сделав шаг за малороссийский рубеж, сейчас же здесь намертво напиться дешевою водкой, — и оттого здесь постоянно бывали ссоры, драки и даже нередко убийства, о которых мы много наслышались от Кириллы, говорившего о «Пьяной балочке» с восторгом, по меньшей мере приличествовавшим разве, например, приближению верующего к Палестине.

— Ах! — восклицал он, осклабляясь и простирая руки в том направлении, где была «Пьяная балка». Восхваляя это место, он в восторге своем называл его не местом, а местилищем, и говорил, что «там идет постоянно шум, грохот, и что там кто ни проезжает — сейчас начинает пить, и стоят под горой мужики и купцы и всё водку но́сят, а потом часто бьются, так что даже за версту бывает слышен стон, точно в сражении. А когда между собою надоест драться, то кордонщиков бьют и даже нередко убивают».

Эта картина, по-видимому, совершенно пленила нашего Кирилла, у которого на лице уже проходили следы московского вождения медведя, и мы опасались, не разрешил бы он в «Пьяной балке» снова; но он категорически

отвечал, что хотя бы и желал, так не может, потому что он дал самому богу зарок водки не пить, а разве только попробует наливки, что и исполнил тотчас же, как мы перетащились за логовину на черниговскую сторону.

Всего безобразия этой «Пьяной балки» я решительно не могу описать: это одно бы составило ужаснейшую картину отвратительнейшего жанра. Везде стояли и бродили омерзительно пьяные мужики, торчали опрокинутые возы, раздавались хриплые голоса; довелось нам даже слышать и те стоны, которые в восторге описывал Кирилл, учинившийся здесь пьяным как стелька.

Мы были этим несказанно удивлены, но он нам самым обстоятельным образом разъяснил, как случилось, что данный богу зарок не помешал ему натянуться. Выходило, что, давая зарок, он умышленно разумел одну лишь водку настоящего белого цвета, а ни о каких иных напитках не упоминал и потому всяким иным напитком с чистою совестью мог напиваться.

Путешествуя далее до ночлега, он останавливался уже у всякой корчмы и все пил «чвертку красненькой», причем несколько раз снова начинал нам объяснять, как он умен и предусмотрителен в том отношении, что дал зарок богу не пить простой *белой* водки, а насчет «цветной или красненькой ничего касающего не обещал». Это его так утешило и придавало ему такую отвагу, что он даже утверждал, что бог с него «никакой правы не имеет взыскивать насчет того, о чем у них договора не было».

Пропив один день, он продолжал то же самое и на другой и все более и более входил в стих — и, досадуя, что его никто не потчует, возымел намерение «хорошо проучить чертовых хохлов», которые, по его мнению, были до жалости глупы.

Скоро к тому представился случай: мы проезжали какое-то село в большой праздник. В корчме была масса народа. Кирилл остановил лошадей, зашел в корчму и пропал там.

Подождав его около четверти часа, двое из наших пошли его вызвать, но возвратились с известием, что наш возница затеял какую-то штуку с хохлами и ни за что не хотел выходить из корчмы.

Штука эта состояла в том, что Кирилл спросил у шинкарки чвертку водки — и, не выпив сам ни одной капли,

распотчевал ее на трех ближайших малороссийских мужиков. Те, ничего не подозревая, выпили, а теперь Кирилл объявил им, что и они в свою очередь каждый должен его попотчевать. Мужики, почесавшись, затребовали каждый по чвертке, а наш Кирилл, слив все это в одну посуду, поблагодарил и выпил, уже на сей раз совсем позабыв свой зарок не пить белой.

При безобразном пьянстве нашего провожатого мы кое-как добрались до Королевца, маленького грязного городишки, где тогда шла ярмарка и где Кирилл снова «надул проклятых хохлов», но уже на этот раз его находчивость избрала орудием для обмана нас самих. Он устроил все это так обдуманно, смело и тонко, что мы ничего не могли понять до тех пор, пока он выполнил весь свой коварный умысел, чрезвычайно нас тогда обидевший и опечаливший, а нынче, когда я пишу эти строки, заставляющий меня невольно улыбаться.

Надо сказать, что между нами тремя, которых вез теперь Кирилл, был некто, которого я назову Станиславом Пенькновским. Этот молодой поляк был годами двумя нас постарше, высок ростом, довольно мужественен, красив собою, при этом большой франт — и, по польскому обычаю, франт довольно безвкусный.

Подчиняясь своей страсти к щегольству, он в Москве купил у какого-то своего земляка венгерку с шнурами и кутасами, яркоцветные широкие шаровары и красную турецкую ермолку с синею шелковою кистью; в этом странном наряде он и ехал, постоянно высовываясь из повозки.

Кирилл, как только его голова немножко поправилась после московского пьянства, обратил внимание на этот наряд и многократно его одобрял, а потом, вероятно вследствие долгих соображений, нашел случай его утилизировать. Началось это с того, что чуть где-нибудь на мосту случалась беспорядица и давка — Кирилл просил Пенькновского высунуться и покричать, что тот с удовольствием и исполнял, делая нередко и даже несколько более того, о чем просил его Кирилл. Так, Пенькновский зачастую, не ограничиваясь криком из телеги, выскакивал вон — и, выхватив у Кирилла его длинный троечнический кнут, хлестал им встречных мужиков и их лошадей, отчего последние метались в стороны и нередко валили

и опрокидывали возы, мимо которых мы потом с торжеством проезжали среди мужиков, снимавших в страхе свои шапки и, вероятно, славших нам тысячи проклятий. Но как бы там ни было, а Пенькновский везде по дороге производил очень большой эффект — и Кирилл, находя в этом немалую для себя выгоду, очень часто его хвалил и даже угощал пивом и водкою.

Так было во все время путешествия по Великой России.

Въехав в Малороссию, Кирилл начал еще более льстить пану Пенькновскому и уверял, что ему стоит показаться, так дураки хохлы для него все с себя поскидают.

Пенькновскому необыкновенно нравилось, что он играет такую заметную роль, и он по приглашению Кириллы начал с ним заходить во всякую корчму. И что же выходило? Действительно, чуть, бывало, Пенькновский взойдет и сядет, а Кирилл шепнет одно слово шинкарю или шинкарке, как те тотчас подают им обоим наливки, сколько они хотят, а также давали и закусок и ни за что не требовали ни гроша, а только, выпроваживая их, — тихонько вслед им плевали.

Я и мой другой товарищ понять не могли: за кого это нас принимают? Пенькновский же уверял нас, что все это, вероятно, происходит оттого, что он будто бы похож на казацкого атамана, в чем его в свою очередь уверил льстивый и коварный Кирилл. Так мы доехали до Королевца, где суждено было произойти развязке этого пошлого и смешного анекдота.

IX

Ярмарка в Королевце стояла на единственной немощеной и чрезвычайно грязной городской площади. Я уже теперь не помню, около каких это было чисел, но знаю, что время было осеннее.

Постоялые дворы вокруг площади все были заняты — и Кирилл, не въезжая никуда на двор, остановился за углом одного дома у самой площади, выпряг здесь своих коней и, растянув хрептуг, поставил их к корму, а сам приступил к Пенькновскому с просьбою пройтись

по базару. Кирилл сказал, что ему надо купить для себя пару бубенчиков и что будто бы ему гораздо сподручнее сделать это приобретение вместе с Пенькновским.

Пенькновский не отказался, и они пошли; а я и другой мой товарищ, маленький Кнышенко, заинтересованные тем, неужели им и бубенчики достанутся даром, — следили за ними издали.

Пенькновский в своем пестром, в глаза кидающемся наряде шел впереди, — а Кирилл, обыкновенно обращавшийся с нами запанибрата, здесь вдруг как будто проникся к Пенькновскому крайним и самым подобострастным почтением. Он шел сзади и тщательно оберегал, чтобы его кто не толкнул, а между тем постоянно шептал что-то на стороны встречным людям, которые тотчас же со страхом расступались и, крестясь, совали Кирилле кто грош, кто бублик, и потом, собираясь толпою, издали тянулись за ними со страхом, смешанным с неодолимым любопытством.

До нашего слуха долетало какое-то чуждое слово, значенья которого мы не понимали, но видели, что вереница, следовавшая за Пенькновским, все увеличивалась. Посреди торга толпа сгустилась до невозможности, и сидевшие тут на земле торговки с яблоками, булками и плоскою королевецкою колбасою начали подавать сопровождавшему Пенькновского Кирилле — каждая от своих щедрот: кто булку, кто пару яиц, кто еще что было под рукою; притом опять каждая, подав эту жертву, набожно крестилась и с отвращением плевала в сторону.

На площади внятнее прогудело опять то же слово, чуждое и незнакомое нам; слово это было «кат».

— Ката везут, московского ката в Киев везут: жертвуйте кату, щобы милостивейше бил! — шептали со всех сторон — и жертвы до того увеличились, что Кирилл уже был значительно ими обременен и, заметив нас, передал нам долю своего сбора, после чего и от нас тоже все отшатнулись, и пронеслось:

— А се его ученики. Они еще бити не можут, а тильки привязуют.

И нам пошла особая, добавочная жертва!

Положение выходило престранное и, как мы понимали — не совсем ладное; но Пенькновский, обаянный своим великолепием, идучи впереди, ничего этого не слыхал.

Он зашел в балаган и купил или даром взял бубенчики, положил их в карман и, погромыхивая ими, пошел еще с бо́льшим эффектом; зашел в палатку, где продавали вино и где были разные пьяные люди. Однако, несмотря на то, что все эти люди были пьяны, чуть только они взошли и Кирилл кивнул им головою на Пенькновского — они перестали шуметь и потребовали для него непокупного вина. Кирилл оставил здесь Пенькновского, а сам, изрядно пьяный, вернулся к телеге с целым ворохом разных закупок и гостинцев. Он живой рукой заложил лошадей — и мы подъехали к куреню, где оставался великолепный Пенькновский.

Услышав звон наших новых бубенчиков, он вылез изпод грязной палатки — и мы поехали.

У нас был целый сбор пирогов, рыбы, колбас, яиц, вина, репы, табаку и моркови, которую немилосердно хрястал подгулявший Кирилл; но тут вдруг случилось неожиданнейшее и казуснейшее происшествие: не успели мы отъехать и трех верст от города, как нас обогнал тарантас, запряженный тройкою лошадей: в нем сидел какой-то краснолицый господин, а на козлах, рядом с кучером, солдатик с нагайкою через плечо. Нам было велено остановиться — и краснолицый господин с военною осанкою потребовал от нас наши паспорта.

Мы развязали сумочки и предъявили наши бумаги. Военный господин просмотрел их — и непосредственно за тем, сбив с Кириллы шапку, начал таскать его за вихры и бить по щекам, а потом бросил его на землю и крикнул:

— Откройся!

Кирилл открылся, и солдатик снял с плеча нагайку и начал его бить, меж тем как чиновник приговаривал:

— Вот тебе, подлецу, за московского ката! — Кирилле за это досталось по нашему счету около ста нагаек. Затем краснолицый господин сел в тарантас, а солдатик вскочил на козла, и они уехали, а мы в страхе подняли Кириллу и начали приводить в порядок его туалет.

Кто был этот быстрый на руку королевецкий начальник — это так и осталось нам неизвестно, но мы ему были очень благодарны, что он проучил Кириллу, а главное — открыл нам, что коварный мужичонко выдавал нашего

великолепного товарища за московского палача, которого он будто бы везет в Киев польскую графиню наказывать, а нас двух выдавал за его учеников.

Все мы этим очень обиделись, а Пенькновский потребовал от Кирилла объяснений: неужто он смел называть его палачом? Но жестоко выпоронный Кирилл, хрустя во рту оставшеюся у него морковью, отвечал:

— Ну так что же тебе из того за беда?

— Как что за беда? Я не хочу быть палачом.

— Ну, не хочешь, так и не будешь.

— А как же ты смел меня называть палачом?

— Эко важность какая: как смел? Антиресуются: что такого за пестрого черта везешь? Я и сказал, что везу палача в Киев; за то же тебе ничего, — только через это везде одно почтенье получал, а меня за тебя понапрасно отодрали.

Пенькновский пожал плечами — и, быстро сбросив с себя свои яркие шаровары, сказал нам:

— Господа, мы одурачены.

Мы согласились; но нашли, что все-таки Кирилле досталось хуже всех, потому что у нас пострадала репутация, а у него спина, от которой он жестоко кряхтел и несколько дней не мог разогнуться. Мы же с своей стороны дали друг другу слово, что эта история останется между нами. Ныне я впервые нарушаю это слово, но делаю это, впрочем, с совершенно покойной совестью, потому что оба лица, которым я обязался молчанием, уже давно погибли от двух случайностей: Кнышенко утонул в реке Сейме, а погибель последнего, то есть Пенькновского, дело позднейшей эпохи; но маленький Кнышенко утонул на третий же день после описанного королевецкого события — и утонул этот бедный ребенок неожиданно, весело и грациозно, как жил, но, однако, его смерть была для меня ужасным, потрясающим событием. Она дала мне первый повод к несколько рановременным размышлениям о непрочности всего земного и о тщете и несбывчивости самых ближайших надежд. Это сделалось потом моей болезнью, которая мне во многом вредила и во многом была полезна.

Кнышенко был добрый и очень нежный мальчик: он пламенно любил свою мать, говорил о ней с восторгом

и стремился к ней с какою-то болезненною страстностью. У него была тетрадка, в которой он ежедневно зачеркивал дни разлуки, — и, не зачеркнув только трех дней, расстался с нею навеки. Я видел в этом злую насмешку рока.

Кнышенко умер таким образом: мы приехали в красивое местечко Батурин, бывшую столицу Мазепы, где есть развалины гетманского дома и опустелый дворец Разумовского. Обежав все достопримечательности этого местечка, мы, несмотря на позднее время года, вздумали сами половить в реке Сейме здешних знаменитых раков. Раздевшись, мы спустились в воду и стали шарить под корчами и береговыми уступами. Кнышенко при этом трунил над «катом» Пенькновским, который оказывался чрезвычайно неловким в ловле, между тем как Кнышенко оказывался очень ловок в труненье, — и так допек Пенькновского своими насмешками, что тот бросился на него с поднятым кулаком. Кнышенко начал отбивать его, поднимая в лицо его тучу брызг и... вдруг исчез в облаке этих брызг и более не показался. Он, вероятно, оступился и попал в один из глубоких тинистых омутков, которых в этой реке чрезвычайно много; а может быть, с ним случился удар, так как все мы после королевецкой оргии все-таки были еще немножко пьяны.

История эта наделала нам множество тяжелых и самых неприятных хлопот и продержала нас в Батурине около четырех суток, пока утопленника достали, вскрыли и похоронили.

В эти дни мы, разумеется, совсем протрезвились, и бедная душа моя, открыв всю бездну своего глубокого падения, терзалась немилосердно. В погибели Кнышенко я видел несчастие, которое ниспослано нам в наказание за наше бесчинное поведение: за питье сладкой водки и наливок, и в особенности за оскорбление нравственности вольным обхождением с королевецкими ярмарочными красавицами. Расстроенные кутежами, нервы мои помогли моему страданию, а вдобавок Кирилл в это время, вероятно, вспомнил советы, данные ему в Москве, чтобы он поприжал нас, — и вот он вздумал теперь воспользоваться сделанною нам задержкою и, придравшись к ней, потребовал с нас возмещения его убытков в размере целых ста рублей (разумеется, ассигнациями).

Не знаю, как бы я отнесся к такому нечестному и наглому требованию при других обстоятельствах, но в эту пору я был рад всякой новой каре — и с удовольствием отдал все свои деньги до последней копейки, так что «кату» уже пришлось дополнить очень немного.

Ехали мы после этого скучно: в повозке для нас двух открылся простор, пользуясь которым Пенькновский все спал врастяжку, а я вздыхал и размышлял о том, как поразит весть о смерти Кнышенко его родителей, которые, вероятно, нас встретят в Нежине. Я часто плакал и молился, чтобы бог дал мне благодать слова, способного хотя немного облегчить скорбь бедных родителей моего товарища. Я все подыскивал удобных изречений для выражения той моей мысли, что их сыну, может быть, совсем не худо, потому что мы не знаем, что такое смерть: может быть, она вовсе не несчастие, а счастие.

Впоследствии, встретив эту самую мысль у Сократа в его ответной речи судьям, приговорившим его к смерти, я был поражен: откуда мог взять эту мысль я, будучи мальчиком и невеждою. Но тем не менее, как бы там ни было, а *мы сошлись с Сократом* в то время, когда я знал о «великом старце» только то, что, судя по виденным некогда бюстам этого мудреца, он был очень некрасив и, очевидно, не имел военной выправки, без которой человеку трудно держать себя с достоинством в хорошем обществе.

Со мной происходил ужасно тяжелый нравственный переворот, достигший, наконец, до такого экстаза, что я не видел средств оставаться в живых — никому не открыв всей мрачной бездны моего падения. Я хотел бы написать об этом матушке, но мне показалось, что она, как близкое лицо, не перенесет всего ужаса, каким должна была объять ее чистую душу моя исповедь. Я решил подождать, пока приеду, и тогда лично открыть матери снедающую меня скорбь, не иначе как с немедленным же обетом посвятить всю мою остальную жизнь исправлению моих недостоинств и загладить их подвигами добра и самопожертвования.

Подвиги — это была моя всегдашняя мечта; самоотречение и самопожертвование — это *идея,* в которую более или менее ясно отформировалось это упоительное и нетерпеливое мечтание.

Смешно; но тот сделает мне большое одолжение, кто не станет смеяться над этими смешными порывами, так как я не знаю ничего лучше их, — и горе тому, кто не вкушал сладостного желания страдания за других! Он не знал лучшего и чистейшего удовольствия, какое возможно человеку испытать на земле.

Но возвращаюсь к тогдашним моим затруднениям в потребности исповеди и в обретении благодатных слов, которые могли бы облегчить скорбь родителей, потерявших сына.

Я этим был так занят, что, молясь о помощи свыше, начал ощущать вблизи себя в повозке чье-то присутствие — присутствие многих, очень многих существ, которые ехали со мною и понимали мои думы, в глубочайшей тайне хранимые от моего возницы и оскверненного товарища.

Мы приехали в городок Борзну, на который теперь более тоже не лежит главный путь к Киеву. Эта Борзна — до жалости ничтожный и маленький городок, при первом взгляде на который становится понятен крайний предел того, до чего может быть мелка жизнь и глубока отчаянная скука. Не тоска — чувство тяжелое, но живое, сочное и неподвижное, имеющее свои фазы и переходы, — а сухая скука, раздражающая человека и побуждающая его делать то, чего бы он ни за что не хотел сделать.

Мне казалось, что эта скука точно здесь висит в воздухе, и не успел я стать на ноги, как она уже охватила меня, точно спрут или пиевра, и неодолимо начала присасываться к моему сердцу. Я вышел за ворота постоялого двора — и, взглянув на пустую площадь и на украшавшую ее тюрьму, ощутил неодолимую потребность бежать и скрыться. Мой извозчик, мой товарищ, самая телега, в которой я путешествовал, — были мне противны, они служили мне напоминанием тягостных и отвратительных событий. У меня уже была *испорченная жизнь* — и мне хотелось оплакать и сбросить ее. Я увидал где-то за соломенными крышами стройные конусы зеленых, в ряд вытянутых тополей — и бросился к ним, надеясь найти тут отдых от сжимавшей мое сердце тоски, и я бежал не напрасно. Виденные мною деревья стояли в ряд, окаймляя забор, за которым ютился довольно чистенький

домик с надписью, возвещавшею, что здесь помещается городская больница.

Это было претихое место, как раз идущее под стать моему настроению. Между тополями и темным забором была довольно глубокая заросшая травою канава, в которую я юркнул, как хорь, — и, упав на ее дно, лег лицом ниц к земле и заплакал.

Я оплакивал свою *погибшую жизнь,* свое глубокое нравственное падение, страшно расстроившее мое воображение и нервы и доведшее меня до отчаяния, что я, сопричастясь бездне грязных пороков, уже недостоин и не могу взглянуть в светлые глаза моей матери, — что я лишил себя права обнять ее и принять ее поцелуй на мое скверное лицо, которое действительно осунулось и жестоко изменилось. Это произошло от большого нравственного страдания и мук, которые я испытывал, казня себя за всю развращенность, столь быстро усвоенную мною с тех пор, как я очутился на воле. Оплакивая в канаве свое падение, я проникался духом смирения: я порицал свободу (и это так рано!), и жаждал какой-то сладкой неволи, и тосковал о каком-то рабстве — рабстве сладком, добром, смирном, покорном и покойном, — словом, о рабстве приязни и попечительности дружбы, которая бы потребовала от меня отчета и нанесла бы мне заслуженные мною укоры, нанесла бы тоном глубоким и сильным, но таким, который бы неизбежно смягчался и открывал мне будущее в спокойном свете. Но где же такой друг, перед которым бы я мог подвергнуть себя такому сладостному самобичеванию? — Где? Великий боже! меня словно осыпало горячим песком: как же я смею роптать, что у меня нет друга! Как мог я в эти минуты позабыть о *ней,* о той доброй сестре моего тверского товарища, которая умела так ловко поправить мою ошибку на вечере у их отца и так великодушно меня обласкала и прислала мне на дорогу книгу и пирогов? Разве это еще не дружба, и притом не более чем обыкновенная дружба — дружба с женщиной!

О, какое это было сладостное воспоминание! я почувствовал в сердце болезненно-сладкий укол, который, подыскивая сравнение, могу приравнивать к прикосновению гальванического тока; свежая, я лучше бы хотел сказать: *глупая* молодая кровь ртутью пробежала по моим жилам,

я почувствовал, что я люблю и, по всей вероятности, сам взаимно любим... Иначе это не могло быть! Я вскочил на ноги, схватился руками за грудь и зашатался. Мне показалось, что в этой сорной канаве я как будто снова нашел мою потерянную чистоту, — и вот я, упершись руками в края канавы, выскочил и бросился бежать со всех ног в город. Здесь я купил в лавке бумаги и конверт и сел за столом в кухне писать письмо к моей пафосской богине, в которой женщина для меня нимало не затмевала божественный, мною созданный образ; я любил ее, но не иначе, как смертный может любить богиню, — и не предполагал, чтобы несомненная ее любовь ко мне имела другой характер, не соответствующий разнице наших отношений.

Я хотел бы слушать ее, но слушать как внушение; я хотел бы даже прикоснуться к ней, но не иначе, как прикоснуться устами к краю ее одежды.

То, что я танцевал с нею, представлялось мне ужасным оскорблением ее величия — и я с этого начал мое весьма почтительное, но безмерно глупое письмо.

Совершая этот безумный поступок, я находил его прекрасным и не видал никакой неловкости в том, что пишу в неизвестный мне дом, к совершенно почти незнакомой мне девушке.

Но тем хуже было для меня — по всем ужасным последствиям этого, в любовном бреду совершенного, поступка.

X

Письмо выходило чрезвычайно пространное и, как мне тогда казалось, необыкновенно трогательное и задушевное. В последнем, я думаю, я нимало не ошибался, потому что искреннее меня тогда не могла быть и сама отвлеченная искренность. Начав, как я сказал выше, с того, что возвел Nathalie Волосатину в сан богини, я просил у нее прощения в том, что огорчил ее моею невоспитанностью, — и далее пространно описывал ей мое душевное состояние и объяснял причины, от которых оно произошло, то есть я выисповедался, что пил вино и вообще *пал;* но однако, по счастию, я еще как-то удержался —

и, скорбя о своем падении, ничего не открыл насчет королевецких ярмарочных дам под шатрами, а объяснил ужас и низость своего падения экивоками. Я просил сестру Волосатина обдумать мое ужасное положение и применить ее нежность — если не ко мне, то по крайней мере к ее брату, моему товарищу, который по его летам и неопытности мог подвергнуться тем же искушениям, какими был искушен и я, и потом мог подпасть под те же муки раскаяния, какими я страдаю. Все, чего я хотел от нее для себя, я выпрашивал у нее для ее брата и потому считал его в это время моим лучшим другом и так к нему и относился в письме, которое перед выездом своим из Борзны сдал на почту.

Но зачем я все это сделал? Этот поздний вопрос возник во мне почти немедленно же после того, как соломенные борзенские кровли утонули в туманной черте горизонта и я остался сам со своими думами. Мало-помалу мною начали овладевать сомнения: позволительно ли было с моей стороны такое письменное обращение к девушке, которую я видел всего один вечер? После некоторых соображений мне начало казаться, что это не совсем позволительно, — и чем я более размышлял, тем эта непозволительность становилась все яснее и возмутительнее. К тому же я теперь не мог отвечать за каждое выражение моего письма, потому что хотя у меня и было черновое, но я, переписывая его набело, кое-что изменил и — как мне теперь казалось — во многих местах весьма прозрачно обнаруживал свою возвышеннейшую любовь к моей корреспондентке. А что, если это письмо попадется кому-нибудь из ее семейных, или она сама покажет его своему брату? О, какой стыд и ужас! Как они будут надо мной смеяться? Или вдруг ее отец напишет об этом моей матери и, пожалуй, приложит в подлиннике мое письмо?.. Великий господи! мне показалось, что я этого не вынесу, — и для спасения своей чести мне тогда по меньшей мере должно будет застрелиться.

Я умолял Кирилла вернуться назад в Борзну с тою целию, чтобы выпросить у почтмейстера назад мое письмо, но Кирилл, сделавшийся после постигшей его под Королевцем неприятности чрезвычайно мрачным, не хотел меня слушать. Вообще теперь при выезде из городов он обнаруживал большую торопливость и беспокойство

и ни за что не хотел остановиться; да к тому же я и сам скоро понял, что возвращение было бы теперь бесполезно, потому что я подал письмо перед самым отправлением почты, которая теперь мчит мое письмо на север, — меж тем как я, злополучный, сам неуклонно тянусь на юг, где, однако, меня найдет и постигнет какое-то роковое и неотразимое последствие посланной корреспонденции.

Никакая помощь, никакая поправка были невозможны, — и я, упав на дно телеги, сгорал со стыда и не видел никакого спасения от неминуемого позора, в неотразимости которого меня совершенно уверило мое беспокойное воображение.

Но, впрочем, как застрелиться мне очень не хотелось, то я скоро занялся подыскиванием другого подходящего средства, обратясь к которому я только умер бы для людей, а для самого себя был бы жив.

Передо мной мелькнул монастырь — и я счел эту мысль за благодетельное наитие свыше.

«Что же, — думал я, — мне действительно остается одно: скрыться навсегда в стенах какого-нибудь монастыря и посвятить всю будущую мою жизнь искуплению безрассудств моей глупой молодости».

В святой простоте ума и сердца, я, находясь в преддверии лабиринта, думал, что я уже прошел его и что мне пора в тот затон, куда я, как сказочный ерш, попал, исходив все океаны и реки и обив все свои крылья и перья в борьбе с волнами моря житейского. Я думал, что я дошел до края моих безрассудств, когда только еще начинал к ним получать смутное влечение. Но как бы там ни было, а желание мое удалиться от мира было непреложно — и я решил немедленно же приводить его в действие.

«Постригусь, — думал я, — и тогда извещу матушку, что я уже не от мира сего, а причина этого навсегда останется моею глубокою тайною».

В Нежине я убежал в какой-то городской монастырь и потребовал, чтобы меня проводили к настоятелю, но настоятель был в отлучке, и в его отсутствии монастырем правил монах, которого мне назвали отцом Диодором.

Мне было некогда ждать — и я потребовал, чтобы обо мне доложили отцу Диодору; а сам остался в монастырском дворике. Я хотел избежать встречи с родными

покойного Кнышенки, для которых не выдумал никакого утешительного слова, потому что мою сократовскую мысль о том, что смерть, может быть, есть благо, всякий раз перебивали слова переведенной на русский язык греческой песенки, которую мне певала матушка. В этой песне поется, как один маленький мальчик осведомляется у матери: зачем она грустит об умершей его сестрице, маленькой Зое, которая, по собственным же словам матери, теперь «уже в лучшем мире, где божьи ангелы живут и ходят розовые зори». И что же? бедная мать, зная такие хорошие слова утешения для других, сама не утешается ни светом зорь, ни миром ангелов и грустит, что

У бедной нет там мамы,
Кто смотрел бы из окна,
Как с цветком и мотыльками
Забавляется она.

Я чувствовал, что на такую грусть решительно ничего не ответишь, и бежал от разрывающей душу печали. Потом, во-вторых, я был уверен в живой для себя потребности беседы с духовным лицом насчет своего намерения поступить в монастырь.

Но представьте же себе, что случилось здесь с этим моим намерением! Холодный осенний ветер, юлою вертевшийся на небольшом монастырском дворе, привел меня в отвратительнейшее, беспокойное состояние. Невольно наблюдая мятущееся беспокойство вне келий, я проникал моим воображением внутрь их и убеждался, что здесь везде непокой и смятенье, — что за всякою этой стеною, перед каждой трепещущею лампадой трепещет, мятется и ноет человеческий дух, подражая смятению, вою и досаждающему шуму этого ветра.

Отцу Диодору было лучше бы не принимать меня, но обстоятельства так благоприятствовали моему ходатайству, что я был допущен в очень большую и довольно хорошо убранную келью, где во второй — следовавшей за залой — комнате увидал на диване свежего, здорового и очень полного грека в черной полубархатной рясе с желтым фуляровым подбоем и с глазами яркими, как вспрыснутые прованским маслом маслины. Перед почтенным иноком стояла старинная бронзовая чернильница и такой же бронзовый колокольчик, а сбоку его в кресле

сидела розовая дама, перед которою на столе были расставлены четыре тарелки, из коих на одной были фиги, на другой фундуки, на третьей розовый рахат-лукум, а на четвертой какое-то миндальное печенье и рюмка с санторинским вином, распространявшим по комнате свой неприятный аптечный запах.

Эта обстановка немножко не совсем шла под стать моему аскетическому настроению, для собеседования о котором я сюда явился.

Отец Диодор (это был он), встретя меня, показал на кресло vis-à-vis с угощавшейся у него дамой и спросил меня с сильным греческим акцентом, что́ мне от него нужно.

Я весьма несмело объяснил с замешательством, зачем пришел. Инок слушал меня, как мне показалось с первых же моих слов, без всякого внимания, и во все время — пока я разъяснял мрачное настроение души моей, требующей уединения и покоя, — молча подвигал то одну, то другую тарелку к своей гостье, которая была гораздо внимательнее к моему горю: она не сводила с меня глаз, преглупо улыбаясь и чавкая крахмалистый рахат-лукум, который лип к ее розовым деснам.

Когда речь моя была кончена, великолепный отец Диодор позвонил в колокольчик и велел вошедшему служке «цаскум на кофе».

— С молёком или без молёком? — вопросил молодой вертлявый греческий служка.

— Без никому, — отвечал инок Диодор и опять начал угощать свою гостью, не обращая никакого внимания ни на самого меня, ни на мои остающиеся без разрешения вопросы, о которых я и сам в эти минуты перестал думать и рассуждал: зачем эти два грека говорят между собою по-русски, когда им, очевидно, гораздо удобнее было бы объясняться по-гречески?

Меж тем служка подал чашку кофе и графинчик рому, выражавший собою, как видно, то «без никому», о котором сказал ему монах.

Я кофе выпил, но от рому отказался, несмотря на то, что меня им сильно потчевали и сам отец Диодор и его гостья, говорившая очень мягким, добрым голоском на чистом малороссийском наречии, которое мне очень нравилось всегда и нравится поныне. Но мне нужно было

не угощение, а ответ на мои скорбные запросы, — а его-то и не было. Монах и дама молчали, я ждал ответа — и ждал его втуне. Тогда я решился повторить свой вопрос и предложил его в прямой форме, требующей прямого же ответа.

— Это вы надо презде спросить с папиньком, с маминьком.

Я сказал, что мой отец умер.

— Спросить с маминьком, — отвечал отец Диодор и сейчас же вышел в другую комнату, откуда, впрочем, через минуту снова появился и пригласил туда и меня и свою даму.

Здесь нам открылся довольно хорошо сервированный стол, уставленный разными вкусными блюдами, между которыми я обратил особенное внимание на жареную курицу, начиненную густой манной кашей, яйцами и изюмом. Она мне очень понравилась — и я непритворно оказал ей усердную честь, запивая по настоянию хозяина каждый кусок то сладким люнелем, то санторинским, которое мало-помалу все теряло свой вначале столь неприятный для меня запах, а под конец даже начало мне очень нравиться.

Я приходил в прекрасное настроение духа, совсем не похожее на то, в каком я явился в греческую обитель, — и замечал, что то же самое происходило и с моим хозяином, который сначала молчал и как будто тяготился мною, а теперь сделался очень приветлив и даже очень говорлив.

XI

Достопочтенный отец Диодор вообще очень плохо выражался по-русски, но говорил охотно. Подыскивая слова, он в интервал причмокивал и присасывал, сластил глазами, помогал себе мимическими движениями лица и изображал руками все то, что, по его мнению, было недостаточно ясно выражено его словом.

— Пцю, пцю, пцю, — зачмокал он вдруг, сам начиная говорить о моем желании поступить в монастырь,— желание, которое он ни одобрял, ни порицал, но проводил ту мысль, что мне в монастырь собираться рано:

что прежде надо «всего испитать». «Всего, пцю, пцю, пцю, всего, всего», — смаковал он, показывая руками во все стороны: на вино, на курицу и на даму.

Присутствовавшая при этом гостья однако, улыбаясь, заметила, что если все испытать, то тогда, пожалуй, в монастырь «и не захочется»; но отец Диодор утверждал, что человеку есть определение, которого он никак не избегнет, и при этом ставил себя в пример. Он рассказал следующее:

— Нас было цетыре братьи, — начал он, — и ми все, все как есть, посли на царский слузба и били воины. Старсий брат, Костаки, посол митос пехотос ццццю... вот так! (монах, сжав кулак, выпустил средний и указательный пальцы, промаршировал ими по столу и опять произнес: «Вот так». Этим он наглядно изобразил, что такое пехота, и потом продолжал:) Другой брат, Дмитраки, посол в кавалерия (причем отец Диодор посадил два пальца своей правой руки на указательный левой — и, сделав на них маленький объезд вокруг тарелки, пояснил: «Вот так, кавалерия». Затем снова рассказ:) третий, Мануэлес, посол митос артилериос (при этом правый кулак отца Диодора быстро вскочил на левый и поехал на нем по столу, как на лафете, а третий палец он выставил вперед и очень наглядно изобразил им сидящую на лафете пушку). Пуски, пуски! — заговорил, указывая на этот палец, отец Диодор, — вот так: пуски! — И вслед за сим он, весь сугубо оживившись, воскликнул: — А я, самый маленький, самый мизинцик, посол митос флётос, — вот так.

Тут рассказчик эффектно положил кисть одной руки на другую, так что большие пальцы приходились с двух противоположных сторон — и, подвигая ладонями по воздуху, греб большими пальцами, точно веслами, и приговаривал:

— Флёт, вот так: флёт! И, — продолжал Диодор, — когда я просол насквозь весь целый свет, то у меня били все разные ордены и кресты, дазе с этой сторона (он указал рукою от одного своего плеча на другое), и одна самая больсая крест не уместился и тут повис, — заключил он, показав, что орденский крест, для которого уже не было места у него на груди, кое-как должен был поместиться на шее.

Но несмотря на всю эту массу почестей, отец Диодор, однако, попал в монахи, и указывал мне на это, как на знак воли промысла, а потом пошел еще храбрее и храбрее: он рассказывал нам о храбрости давних и недавних греческих греков вроде Колокотрони, Ботцариса и Бобелины, а от них непосредственно переносился к нашему балаклавскому баталиону, героизм которого выходит еще грандиознее.

— О, наса балаклавской баталион, великая баталион, она никому не спигался, — восторженно говорил Диодор и при этом рассказал, что будто бы этот славный баталион греческих героев когда-то однажды на смотру одному очень, очень великому лицу показал, что такое значит греки. Это было так, что будто бы очень, очень великое лицо, осматривая разные войска, приветствовало всех словами: «Здорово, ребята!», и все русские войска на это приветствие, конечно, отвечали радостным криком: «Здравия желаем, вашество». Но когда великая особа крикнула тоже «здорово, ребята» баталиону, то греки будто только посмотрели один на другого, почмокали и, покачав головами, перешепнулись: «Что мы за ребята? мы греки, а не ребята», и промолчали. Видя это, очень великий начальник снова повторил: «Здорово, ребята», но мудрые греки снова переглянулись и снова нашли, что они не ребята, и потому опять не откликнулись. Тогда будто бы очень великий человек «бил не глупый в своя голова» и, догадавшись, сказал «зласковым» голосом:

«Калисперос,[1] греки!»

А те вдруг, как один полозили:

«Калякалитрум,[2] ваше-ство!» так вот что значит грецеский целовек! Грецеский целовек самая умный целовек! — похваливал мне своих соотчичей подгулявший отец Диодор — и я не знаю, про какие бы еще греческие чудеса он мне не рассказал, если бы служка не доложил, что к монастырю подъехала наша повозка и мои спутники зовут меня ехать.

В самом деле, на дворе уже вечерело, и я простился с хлебосольным Диодором и уехал, напутствованный его благословением, просфорою, бутылкою санторинского

[1] Добрый вечер (*новогреч.*).

[2] Желаем здравствовать (дословно: всего наилучшего — *новогреч*).

вина и уверением, что всякому человеку положен свой предел, которого он не обежит.

— Если будет предел, то и зенисся, и будет у тебя орден с энта сторона до энта сторона, а одна не поместится и тут на шее повиснет, а все церный клобук попадес, — уверял он меня напоследях, и уверял, как я теперь вижу, чрезвычайно прозорливо и обстоятельно; но тогда я его словам не поверил и самого его счел не за что иное, как за гуляку, попавшего не на свое место.

Полагаю, что причина подобного легкомыслия с моей стороны должна была заключаться в крайней сжатости и небрежности преподавания священной истории в нашем корпусе.

Но в те юные годы и при тогдашней моей невежественности и неопытности я ничего этого не понимал и пророчества отца Диодора пустил по ветру вместе со всеми его нескладными рассказами о его братьях, отличавшихся в пехоте, при пушках, и во флоте, и о всей греческой храбрости и о находчивой политичности знаменитого, но уже более не существующего в России греческого балаклавского баталиона.

Но, как бы то ни было, внутренний голос внутреннего чувства обманул меня уже два раза: раз в канаве, когда я почувствовал возрождение к новой жизни и тотчас же сделал новую глупость, написав письмо в Тверь, — второй раз теперь в монастыре, где я мечтал встретить успокоение и нашел рахат-лукум и прочее, что мною описано.

«Где же, где же покой?» — допрашивал я себя, доканчивая свое путешествие грустный и унылый. Я был в отчаянии, что только лишь едучи к месту своего назначения я уже перепортил всю свою жизнь: я находил, что эта жизнь жестоко меня обманула; что я не нашел в ней и уж конечно не найду той правды и того добра, для которых считал себя призванным. Я боялся, как бы после всего этого мне не довелось еще открыть, что и мать моя, может быть, не совсем такое глубокое и возвышенно-благородное создание, каким я себе ее воображал. По мере своего собственного падения я все более и более раздражался и делался мизантропом. В этом лежал задаток моего спасения.

Природа моя требовала реакции, но возбуждение ее должно было прийти откуда-то извне.

В таком именно состоянии был я, когда увидел блестящий крест Киевской печерской лавры и вслед за тем передо мною открылись киевские высоты со всею чудною нагорною панорамою этого живописного города. Я с жадностию обозревал это местоположение и находил, что братья Кий, Щек и Хорев обладали гораздо более совершенным вкусом, чем основатель Москвы боярин Кучка и закладчики многих других великорусских городов. При самом первом взгляде на Киев делается понятно, почему святые отшельники нашей земли избирали именно это место для перехода с него в высшие обители. Киево-печерская вершина — это русская ступень на небо. Здесь, у подножия этих гор, изрытых древлерусскими христианскими подвижниками, всякий человек, как у подножья Сиона, становится хоть на минуту верующим; необходимость глядеть вдаль и вверх на эти уносящиеся под небо красоты будит душу — и у нее, как у отогревающегося на подъеме орла, обновляются крылья.

Сухменная философия моя развеялась под свежим ветром, которым нас охватило на днепровском пароме, и я вступил на киевский берег Днепра юношею и сыном моей родины и моей доброй матери, которую так долго не видал, о которой некогда столь сильно тосковал и грустил и к ногам которой горел нетерпением теперь броситься и, обняв их, хоть умереть под ее покровом и при ее благословении.

Я не замечал, в каком состоянии находились мой Кирилл и мой товарищ в то время, когда мы проезжали низкие арки крепостных ворот, и сам себя не помню, как благодаря Кириллиной расторопности и толковитости мы остановились у одного низенького домика, на окнах которого я увидал в тамбур вязаные белые шторы, какие любила по вечерам делать моя матушка, а за ними вдали, на противоположной стене, в скромной черной раме давно знакомую мне гравюру, изображавшую Фридриха Великого с его штабом.

Не было никакого сомнения, что здесь, именно здесь, живет моя прелестная мать.

Я взвизгнул, затрясся и, свалившись с телеги, бросился к низеньким желтым дверям, но они были заперты. Еле держась на дрожавших ногах, я стал отчаянно стучать в них, и... мне сначала показалось в ближайшем окне

бледное, как бы испуганное лицо: затем послышался шум, за дверью пронеслись быстрые легкие шаги, задвижка щелкнула — и я упал на грудь высокой доброй старушки, черты которой только могли *напомнить* мою мать.

XII

Я не помню, как исчезли с моих глаз Кирилл и мой Пенькновский, — но они во всяком случае сделали это как-то так хорошо и деликатно, что ни одной минуты не помешали мне любоваться священными чертами лица моей неимоверно постаревшей матери.

Тому, кто не знал ее шесть лет назад, в ее нынешнем благородном, полном возвышеннейшего выражения лице все-таки было бы трудно угадать ту очаровательную, неземную красавицу, какою она была в роковой год смерти отца. Нежно-прозрачное лицо ее теперь было желто — и его робко оживлял лихорадочный румянец, вызванный тревогою чувств, возбужденных моим прибытием; златокудрые ее волосы, каких я не видал ни у кого, кроме путеводного ангела Товии на картине Ари Шефера, — волосы легкие, нежные и в то же время какие-то смиренномудрые, подернулись сединою, которая покрыла их точно прозрачною дымкой; они были по-старому зачесаны в локоны, но этих локонов было уже немного — они уже не волновались вокруг всей головы, как это было встарь, а только напоминали прежнюю прическу спереди, вокруг висков и лба, меж тем как всю остальную часть головы покрывала черная кружевная косынка, красиво завязанная двумя широкими лопастями у подбородка. Рост и фигура, превосходной формы руки и строгий постав головы на античной, слегка лишь пожелтевшей шее — были все те же; но губы побледнели, и в голубых, полных ласки и привета глазах блуждал какой-то тревожный огонь.

Не сводя глаз с матушкиного лица, я созерцал ее в безмолвном благоговении, стоя перед нею на коленях и держа в своих руках ее руки. Матушка сидела в кресле и также молча смотрела то на меня, то на небольшой акварельный портрет, который стоял возле нее на крышке ее открытой рабочей шкатулки.

Это был портрет моего покойного отца, на которого я теперь был поразительно похож — и хотя в этом обстоятельстве не было ничего удивительного, но матушка была этим, видимо, сильно занята. Высвободив из моих рук свои руки, она в одну из них взяла этот портрет, а другою приподняла волоса с моего лба — и, еще пристальнее взглянув мне в лицо, отодвинулась и прошептала:

— Какое полное повторение во всем!

В этом восклицании мне послышалось что-то болезненное, что-то такое, чему мать моя как будто в одно и то же время и радовалась и ужасалась. Она, должно быть, и сама это заметила и, вероятно сочтя неуместным обнаружение передо мною подобного чувства, тотчас же подавила его в себе — и, придав своему лицу простое выражение, договорила с улыбкою:

— Если заменить этот пушок на твоей губе густыми усами, бросить несколько седых волос в голову и немножко постарить лицо, ты был бы настоящий двойник твоего отца. Это обещает, что ты будешь иметь недурную наружность.

Желая блеснуть умом и серьезностью, я кашлянул и хотел сказать, что наружность не много значит; но матушка точно прочла мою мысль и ответила на нее, продолжая речь свою:

— Хорошая форма имеет много привлекательного, — сказала она, — в хорошей форме надо стараться иметь и хорошее содержание, — иначе она красивая надпись на дурном товаре. Ты, впрочем, очень счастлив — рано испытав несчастие; я уверена, что оно дало тебе хороший урок.

Это меня ужасно тронуло — и я еще жарче припал к матушкиным рукам, и на них из глаз моих полились обильные слезы.

— Ты не плачь, — продолжала матушка нежным и ласковым, но как будто несколько деловым тоном, — тебе теперь нужны не слезы, а душевная бодрость. Ты лишен самого величайшего блага — правильного образования; но бог милосерд, может быть мы не только ничего не потеряем, а даже выиграем. А о том, что ты потерял несколько прав или служебных привилегий, — не стоит и думать. Все дело в облагорожении чувств и просвещении ума и сердца, чего мы с тобою и станем достигать, сын мой, и в чем, надеюсь, нам никто не помешает.

Я вздрогнул: это были почти те же самые слова, какие я слышал в Твери от сестры Волосатина, которой я написал и послал свое глупое письмо. Ненавистное воспоминание об этом письме снова бросило меня в краску, и я, продолжая стоять с поникшею головою перед моей матерью, должен был делать над собою усилие, чтобы понимать ее до глубины души моей проникавшие речи.

А матушка все продолжала ласкать меня своею рукою по лицу и по голове — и в то же время излагала мне, что́ ею уже предпринято для того, чтобы прерванное образование мое не остановилось на этом перерыве, и что́ она еще намерена сделать в этих же целях. Передо мною открывался обширный и обстоятельно обдуманный план, который показывал мне, что я жестоко ошибался, почитая себя уже совсем вырвавшимся на волю, — и в то же самое время этот план знакомил меня с такою стороною ума и характера моей матери, каких я не видал до сих пор ни в одном человеке и уже никак не подозревал в моей maman, при мечтах и размышлениях о которой передо мною до сих пор обыкновенно стояли только нежная заботливость и доброта. Едучи к ней из корпуса, я хотя и не был намерен отвергать ее материнского авторитета, но все-таки в сокровеннейших своих мечтах я лелеял мысль, что мы с нею встретимся и станем жить на равной ноге, даже, пожалуй, с некоторым перевесом на мою сторону, так как я *мужчина*. Теперь на деле на первых же порах выходило совсем другое: я видел, что я еще мальчик, судьбою которого намерена властно распоряжаться хотя очень добрая и попечительная, но в то же время неуклонно твердая воля.

Матушка сообщила мне, что, приехав месяц тому назад в Киев, она уже устроила, что дядя даст мне место в своей канцелярии, но что это место будет, разумеется, самое незначительное и по моим обязанностям и по вознаграждению, которое я буду получать за мою службу.

— Но это и справедливо и прекрасно, — говорила она, подняв меня с полу и занявшись приготовлением для меня чая из чистенького томпакового походного самовара моего отца — самовара, который подала очень опрятно одетая пожилая женщина в темном платье и в белом чепце. — Это *справедливо*, — продолжала maman, — потому что ты, не будучи подготовлен ни к какой полезной

деятельности, не можешь претендовать на лучшие места, которые должны принадлежать достойнейшим; и это *прекрасно,* потому что при незначительных обязанностях по службе у тебя будет оставаться много времени на полезные занятия для обогащения сведениями твоего ума и развития твоего сердца.

В способах достижения этого развития и обогащения матушка явилась такою же основательною, как и во всем том, что я от нее уже слышал. Усадив меня сбоку от себя за стол, к корзинке с булками и стакану чая, она сообщила мне, что, уладив мое поступление на службу (к чему я был обязан при моем исключении из корпуса), она обратилась к сведущим людям, с помощию которых так же тихо и благонадежно устроила для меня возможность заниматься науками. Она сказала мне, что и самый город Киев она выбрала для нашего житья, во-первых, потому, что не хотела, чтобы я проводил юность между чужеземным населением в Лифляндии, которая хотя и была ее родиной, но для меня не годится. Maman высказала, что, будучи сыном русского человека, я должен взрасти и воспитаться в преданиях и симпатиях русского края, а потом она указала вторую причину выбора Киева; эта причина заключалась в том, что здесь есть университет, который она назвала источником света, проливающим свои лучи на все, что становится в возможной к нему близости.

Я все это слушал с напряженным вниманием, хотя и не совсем ясно понимал, какое просветительное влияние может иметь университет чрез одно пребывание с ним в более или менее близком соседстве... Но матушка и это точно сейчас же прозрела, и как бы в скобках разъяснила мне распространение в обществе добрых и высоких идей просредством обращения с просвещенными людьми, руководящими образованием университетского юношества.

Меня поражала и эта простота и ясность ее взгляда и ее спокойное savoir faire,[1] с которым она все располагала, как будто играла по нотам. Особенно же меня удивила ее прозорливость, с какою она словно читала в уме моем и тотчас спешила разъяснить все, что мне было неясно. Но что всего более на меня действовало — и действовало благотворнейшим образом — это определенность

[1] Знание дела *(франц.).*

ее суждений, полных, точных, основательных, так что к ним не нужно было просить у нее никаких прибавлений, точно так же как от них ничего нельзя было бы отнять без ущерба их полноте и положительности.

Самые мельчайшие детали составленного ею для меня плана уложены были в такой незыблемый кодекс, что совершеннее его в этом роде уже, кажется, ничего нельзя было придумать.

Да простит мне читатель (если таковой будет у моих записок), да простит он мне, что я ниже этих строк сейчас приведу в дословном изложении разговор, последовавший между мною и моей матерью.

Нет нужды, что в нем не будет эффектных crescendo[1] и forte,[2] а все просто и плавно, как бесстрастный диалог. Я его упомнил весь, от слова до слова, в течение очень многих лет, а это несомненное ручательство, что в нем есть *нечто,* способное врезаться в память.

XIII

— Ты будешь спать вот там, — сказала матушка, указав мне на небольшую комнату влево от гостиной, где мы пили чай, — а вот здесь направо — точно такая же моя комната. Тут все наше помещение, каким мы можем располагать, и нам большего не нужно, — миллионы людей, гораздо более нас имеющие права на большие удобства, лишены и таких. Это очень жалко, но пособить этому не в наших силах, а притом же это, верно, так нужно и так угодно богу.

Она при этом слегка наморщила свой античный лоб и подавила вздох, который свидетельствовал, что она искренне смущается тем, что у нее с сыном есть для двоих три комнатки, между тем как у других, более нас достойных, — этого нет.

Затем она продолжала:

— Сегодня ты отдохнешь от дороги, и мы кое-куда сходим: не в люди, а в церковь, где ты должен помолиться за своего отца и попросить себе благословения на твои

---

[1] Усиление звучности (*итал.;* муз. термин).

[2] Громко, в полную силу звука (*итал.;* муз. термин).

начинания; потом я тебе покажу город, который имеет очень много интересных мест и прекрасных видов. Позже, перед вечером, к нам придет один новый друг, профессор духовной академии Иван Иванович Альтанский; это очень умный, скромный и честный человек, при котором я прошу тебя держать себя в разговорах скромно и рассудительно. Лучше всего говори меньше и больше слушай его: это самое умное правило, сохраняющий которое никогда не кается. В десять часов Иван Иванович от нас уйдет: он очень аккуратен, и это его час, а он так благоразумен, что не отступает без нужды от своих правил. Нынче мы ради дня твоего приезда позволим себе полениться, а с завтрашнего дня и мы будем подражать доброму примеру Ивана Ивановича и начнем блюсти свое правило. Мы будем вставать не очень рано — не ранее семи часов. Это вовсе не обременительно, а, напротив, даже здорово, да и ты, я думаю, точно так же вставал и в корпусе?

— Да-с, maman, — отвечал я, кашлянув, и эти почти первые слова, произнесенные мною в доме моей матери, прозвучали так младенчески робко, что я даже сконфузился детской интонации, с которою их выговорил, и снова откашлялся, стараясь показать, что ребячливость моего голоса произошла от случайности, а вместе с тем и освежить гортань на случай уместного произнесения нового слова.

— Вот и прекрасно, — продолжала мать, — значит, вставанье в семь часов не будет для тебя обременительно?

— Нисколько, maman.

— В полчаса ты окончишь свой туалет...

— О, maman, даже гораздо скорее.

— В излишней поспешности нет нужды, да и в ней мало толку. Нужно делать все в свое время, тогда у человека достанет времени все сделать чинно и спокойно; в половине восьмого мы, стоя вместе, прочтем главу из немецкой библии. Это моя всегдашняя лютеранская привычка с детства, которую я удержала и приняв православие. К тому же это будет тебе некоторою практикою в немецком языке, который ты должен знать как из уважения к национальности твоей матери, так и потому, что он имеет обширную и едва ли не лучшую литературу...

— Но, maman, — перебил я, покраснев от своей смелости, — разве вы православная? (Я знал, что мать моя

при жизни отца была лютеранкой — и действительно очень изумился, когда она упомянула вскользь о своем православии.)

— Да, — отвечала матушка, — бог один, и христианство полно и совершенно в учении всех церквей, — по крайней мере я имею такое мнение об этом предмете, — но я нашла, что матери все-таки гораздо удобнее исповедовать ту веру, в учении которой она должна воспитать своих детей. Я православная потому, что таким должен быть ты. Но это мое дело, а мы будем знакомиться с нашим уставом, которому я положила следовать. Окончив чтение библии, мы будем пить наш чай; потом девятый час пройдет в занятиях греческим языком, который очень интересен и изучение которого тебя, конечно, чрезвычайно займет. От девяти до десяти мы будем заниматься историей, — я хочу проверить твои знания, и за этим же легким предметом ты немножко отдохнешь от первого урока. Затем одиннадцатый час отдадим латинскому языку и потом будем завтракать, после чего ты будешь ходить на службу. Что ты там будешь делать в канцелярии — я этого, конечно, не знаю, но старайся, разумеется, все, что тебе поручат, делать усердно и аккуратно. Я думаю, что ты будешь просто переписывать какие-нибудь бумаги. Ничего, не пренебрегай и этим; все, что человек себе усвоил, ему на что-нибудь пригодится, особенно же тебе практика в письме может быть очень полезна. Сколько я могла заметить по твоим письмам, у тебя довольно неразборчивый почерк, а это очень дурно и невежливо: благовоспитанный человек всегда должен писать так, чтобы чтение его письма не затрудняло читающего. Или ты, может быть, только ко мне так небрежно писал?

— Maman, как вы это можете думать?

— Нет, я этого и не думаю, а я только проверяю тебя. Извини меня: ведь мы давно не видались. Но я продолжаю: в три часа ты будешь возвращаться — и это будет час нашего обеда; потом ты имеешь целый час в твое собственное распоряжение. В пять часов будет приходить Иван Иваныч, и у вас с ним начнется урок по математике и по всем другим наукам, в которых я не могу быть тебе полезна. По его словам, тебе не тяжело будет заниматься два часа, а он такой знаток в этом деле, что его во всем надо слушаться. Притом же он так талантливо препо-

дает, что мне будет большим удовольствием присутствовать при вашем уроке.

— О, maman, вы так милостивы! — пролепетал я, чувствуя, что у меня горят уши и заплетается язык от страха перед этой строгой программой, ожидающей меня размеренной и развешенной жизни.

Но матушка отклонила от себя мою благодарность и сказала, что она намерена это делать для себя самой, потому что не знает лучшего удовольствия, как учиться.

Впоследствии я узнал, что в этом случае она говорила мне правду только отчасти; то есть она действительно любила учиться, но главная ее цель присутствовать при всех моих занятиях заключалась в поощрении меня к тем довольно утомительным трудам, на которые она меня обрекала.

А труды эти были еще не все исчислены: у нее еще был supplément[1] моего дня, который она оставляла pour la bonne bouche.[2] Supplément этот заключался в том, что в восьмом часу к нам будет ежедневно заходить дочь моего профессора Ивана Ивановича, молодая девушка Хариточка, о которой maman отозвалась с необыкновенною теплотою, как о прелестнейшем во всех отношениях создании.

— Она здесь по соседству берет от семи до восьми часов уроки музыки и пения, — объяснила maman, — а потом заходит ко мне — и мы с нею час занимаемся английским языком, что мне доставляет большое удовольствие, потому что мой маленький друг Харита — очаровательнейшее дитя, и притом занятие с нею мне доставляет практику в английском языке, который я, ни с кем не говоря на нем, могла бы рисковать позабыть. Теперь, — добавила матушка, — я надеюсь, этот риск немножко уменьшится, потому что ты за компанию с Харитой, конечно, захочешь быть моим вторым учеником, и потом мы, вероятно, скоро найдем возможность сделать этот язык нашим домашним разговорным языком вперемежку с французским, на котором будем объясняться до обеда. Если бог нам поможет, все это пойдет стройно и превесело, а в то же время

---

[1] Дополнение *(франц.)*.
[2] На закуску *(франц.)*.

это сблизит тебя с достойнейшим семейством Альтанского, который вызвался давать тебе почти даровые уроки, потому что он не хочет брать деньги, а будет заниматься с тобой за мои уроки его дочери. Видишь ли, как твоя мать с божиею помощью успела все это устроить ко всеобщей выгоде и удовольствию.

— О, превосходно, maman, превосходно!

— Да; и у нас еще от половины девятого часа до полуночи всякий день будет оставаться целая бездна свободного времени для удовольствий. В это время Харита нам всегда что-нибудь сыграет на фортепиано... Ты узнаешь его или нет, наш старый фортепиано? он довольно пожил и поездил по свету, но еще служит — и мы на нем себе недурно аккомпанируем и поем сообща маленькие трио и романсы. У Ивана Ивановича очень недурной баритон, а у тебя, вероятно, тоже найдется какой-нибудь голосок, потому что... у твоего отца был прекрасный голос, а ты во всем на него похож. Но если бы и не так, для домашнего пения в своем кружке можно петь и с незначительным голосом, — тут все дело в некотором уменье, а я в этом кое-что смыслю и помогу тебе. В десять часов наши гости обыкновенно уходят к себе: Иван Иванович приготовляется к лекциям, а Харита распоряжается хозяйством, так как она, бедняжка, имела несчастие год тому назад осиротеть после смерти матери. Мы же с тобой с этих пор вольные казаки: ты мне часок почитаешь какую-нибудь русскую повесть или роман, а в одиннадцать мы разойдемся по своим комнатам, чтобы час перед сном иметь время обдумать проведенный день и написать, если нужно, какие-нибудь письма нашим далеким друзьям, которых не можем видеть. Ведь у тебя, надеюсь, завязаны какие-нибудь связи с лицами, переписка с которыми может доставить тебе удовольствие?

Это был ужасный вопрос, при котором я, разумеется сию же минуту вспомнил мое борзенское послание к тверской барышне и хотел бы провалиться сквозь землю.

— Mais oui, mais comment donc, mais sans doute, maman...[1] то есть нет, maman... я никому не обещал, —

[1] Ну, конечно, ну как же можно, ну без сомнения, мама... (*франц.*).

пролепетал я, краснея и тупя в стол глаза, со страхом, что моя мать прочтет в них беспощадный мой позор и бесчестие.

Но, увы, — весь этот маневр был совершенно напрасен: чем я тщательнее старался быть скрытным, тем легче и яснее читала мать сокровенную тайну души моей.

XIV

Матушка, разумеется, не могла точно отгадать сущности моих корреспондентных чудотворений любовного характера, но ясно видела, что простой вопрос ее смутил меня, — и я чувствовал, как ее умный, проницательный взгляд упал на мое лицо и пронзил меня до самого сердца, занывшего и затрепетавшего от страха, что, если моя пошлая выходка как-нибудь откроется... Что, если матушка узнает, что я влюблен... или был влюблен, потому что теперь уже во мне не оставалось и следа моей любви к тридцатилетней тверской барышне, а все существо мое было поглощено и проникнуто страхом и благоговением к другой женщине, которая шестнадцать лет тому назад дала мне бытие и теперь давала мне *жизнь*.

Однако безмерное материнское милосердие смилостивилось надо мною, — и матушка, не предлагая мне никакого нового вопроса о корреспонденциях, заметила только, что переписка — очень важная вещь, и притом вещь очень полезная, ибо ею поддерживаются отношения с людьми и, кроме того, она лучше всего способствует к приобретению навыка к хорошему изложению своих мыслей.

С этим maman встала из-за стола, за которым поила меня чаем; а я, чтобы оторвать разговор от тягостной для меня темы о переписке, поспешил вильнуть в сторону и осведомиться: чего же будут стоить мои уроки латинского и греческого языка?

— А ничего, кроме одного нашего доброго желания, — отвечала мать, покрывая полотенцем чайную шкатулку, в которую замкнула ложечки.

— Как ничего, maman? кто же будет меня даром учить по-латыни и по-гречески?

— Пока ты не выучишься этим языкам больше меня, я сама буду с тобою ими заниматься.

— Вы, chère maman! [1]

— Mais oui, moi-même, mon fils. [2] Что же это тебя так удивляет?

— Maman... простите меня... но разве дамы знают по-латыни и по-гречески?

— Да, которые учились — те, я думаю, знают.

— А вы разве учились, maman?

— Наверно.

— Я этого не думал... я не помню, чтобы вы знали по-латыни и по-гречески.

— Ты и не можешь этого помнить, потому что я училась им в самые последние годы в Лифляндии. У меня там почти не было никакого дела, — и я, чтобы не скучать, нашла удовольствие заниматься двумя этими языками, которые теперь, кроме удовольствия знать их, доставляют мне и пользу: я могу им выучить тебя, а это не шутка — так как без них перед тобою никогда бы не открылся во всей полноте прелестный классический мир с его нерушимыми образами и величавым характером его жизни.

— Но, maman, ведь это такая ученость!

— Совсем нет: знание языков отнюдь еще не ученость, а только средство к достижению учености, которую, если мне поможет бог и твое усердие, я хочу дать тебе в неизменное утешение твоей жизни.

И с этими словами матушка удалилась в свою комнату, чтобы надеть шляпу, а я подошел к окну и стал, отуманенный и оглушенный всем тем, что видел, слышал, понимал и предчувствовал.

Где этот корпус, его казарма, Кирилл, моя тверская любовь, Пьяная балочка, утопленник Кнышенко, и палач Пенькновский, и отец Диодор с его дамою и рахат-лукумом? — Все это точно было уже бог знает как давно, да даже всего этого как будто бы и совсем не было. Трезвая речь моей доброй матери, каждое слово которой дышало такою возвышенною и разумною обо мне попечительностию и заботою, была силоамскою купелью, в которой я окунулся и стал здоров, и бодр, и чист, как будто только слетел в этот мир из горних миров, где не водят медведей

---

[1] Дорогая мама *(франц.)*.

[2] Ну конечно, я сама, мой сын *(франц.)*.

и не говорят ни о хлебе, ни о вине, ни о палачах, ни о дамах, для счастья которых нужен рахат-лукум, или «рогатый кум», как мы его называли в своем корпусе. На меня отовсюду веяло здоровым стремлением к неутомимой, энергической деятельности и любовью к созерцательной мудрости, — и чистый источник всего этого было столь близкое мне существо, как моя мать. Боже мой, как я ею гордился! О, как я ее буду любить и лелеять! Она была несчастлива: я это помню; но зато теперь... Душа моя вскипела высочайшим восторгом, в горле, как клубок, шевельнулись спазмы, —и я, не удержавшись, громко зарыдал и, услыхав за собою шаги моей матери, бросился перед нею на пол — и, обняв ее колени, облил ноги ее моими чистыми покаянными слезами, каких не мог добыть ни в борзенской канаве, ни в нежинском монастыре.

Матушка подняла меня с полу, заставила выпить стакан воды, потом нежно прижала меня к груди и, поцеловав в лоб, сказала:

— У тебя есть сердце: это меня радует; но этого еще мало, чтобы не делать зла.

— Что же нужно, maman? Дайте мне все то, что нужно, чтобы не сделать никому никакого зла.

— Проси об этом его! — отвечала мать и, указав на небо, велела подать себе руку.

Мы вышли *под руку,* как пара совершенно равных друг другу людей. Мой рост уже совершенно позволил мне вести ее под руку: я был кавалер, она моя дама, — и, вспоминая теперь всю прошедшую жизнь мою, я уверен, что рука моя, на которую впоследствии опиралось немало дам, никогда уже не вела женщины столь возвышенной и прекрасной, несмотря на тогдашние тридцать шесть лет, которые имела моя превосходная мать.

Начав мое целение на коленях перед нею, с глазами, опущенными вниз, я теперь шел с нею успокоенный и твердый, устремляя очищенный слезами взгляд на небо с непоколебимою верою, что для меня будут отверзты сферы наивысшего и наичистейшего счастья, потому что со мною, как с Товием, идет мой Рафаил, который научит меня достать желчь, нужную для просветления мысленных глаз моих.

Но было уже одно проклятое, ненавистное обстоятельство, которое и в эти минуты смущало, томило и даже

просто угнетало меня: это обстоятельство опять-таки заключалось в том же роковом борзенском письме, которого неотвязное предчувствие заставляло меня страшно бояться, и, как ниже увидим, совершенно справедливо.

XV

Когда мы с матушкой вышли для первой прогулки моей по Киеву, день был пасмурный, но очень тихий и приятный. На зданиях и на всех предметах лежал мягкий и теплый серо-желтоватый колорит. Все имело свой цвет, но, как говорят живописцы, все по колерам было точно слегка *протерто* умброю.

Мы зашли в Софийский собор, где я впервые увидел мощи и приложился к ним вместе с матерью. Тут же мы осмотрели гроб Ярослава и древние фрески, которые только тогда очищали от слоя штукатурки и реставрировали. Из Софийского собора мы прошли на террасу Андреевской церкви. Я пришел в большой восторг от легкого фасада этого грациозного храма и особенно от вида, который отсюда открывается на Подол и пологую часть заднепровья. Отсюда мы зашли в Трехсвятительскую церковь, по преданиям строенную еще до принятия Владимиром христианской веры, и потом перешли в Михайловский монастырь.

Здесь матушка направилась в очень темный уединенный уголок под арками и, став на колени, сказала мне:

— Помолись о твоем отце.

Мы помолились тихо, но, мне кажется, очень усердно, хотя нам никто не пел ни панихиды, ни молебнов.

Я заметил это, но не подал матери никакого знака — и хорошо сделал: впоследствии я скоро убедился, что, приняв православие, она удержала в себе очень много лютеранского духа и верила в доступность неба для адвокатуры. Но о верованиях матушки еще придется говорить гораздо пространнее, а потому на этом остановимся.

Окончив свое паломничество, мы отправились к католической горе, откуда открылся новый превосходный вид на другую часть города и Днепра.

Матушка беспрестанно рассказывала мне значение каждой местности и каждого предмета, причем я мог убедиться в большом и весьма приятном, живом знании ею истории, что меня, впрочем, уже не удивляло, потому что я, проведя с нею два часа, получил непоколебимое убеждение, что она говорит только о том, что основательно знает.

Поворачивая с площадки к небольшому спуску, который вел к стоявшему тогда на Крещатике театру, мы на полугоре повстречали молодую девушку в сером платье, завернутую в большой мягкий, пушистый платок. На темно-русой головке ее была скромная шляпочка, а в руке длинный черный шелковый зонтик, на который она опиралась и шла тихо и как будто с усталостью.

Не знаю, почему она обратила на себя мое большое внимание, но это внимание еще более увеличивалось, когда я заметил, что она нам улыбается и что на ее улыбку такою же улыбкою отвечает моя мать.

Наконец мы встретились — и девушка, не кланяясь матери и не говоря ей никакого приветствия, прямо спросила:

— Дождались?

— Как видишь, мой друг, — отвечала, кивнув на меня головою, матушка, и они обе подали друг другу руки, причем девушка поднесла руку матери к своим губам и поцеловала ее, а потом протянула свою ручку мне и с прелестной ласковой улыбкой молвила:

— Мы с вами непременно должны подружиться: я люблю вашу maman, как родная дочь, и хочу, чтобы вы любили меня как сестру.

Я очень неловко поклонился и еще неловче пожал поданную мне ручку в темной перчатке.

— Это мой молодой друг, дочь профессора Ивана Ивановича Альтанского, о которой я тебе говорила, — сказала мать.

— А вы уже успели обо мне говорить? — подхватила, улыбаясь, девушка и тотчас же, оборотясь ко мне, добавила: — Катерина Васильевна так меня избаловала, что я боюсь забыться и начать думать, что я в самом деле достойна ее внимания; но вы, как мой непременный друг и нареченный брат, пожалуйста, спасайте меня от само-

обольщения и щуняйте за мои пороки, которых во мне ужасная бездна.

— Например? — спросила, нежно и с наслаждением на нее глядя, мать.

Девушка рассмеялась и, сдвинув почти прямолинейно лежавшие густые темные брови, проговорила:

— За примером ли дело? вот первый пример: моя невоздержность: я хожу сегодня по воздуху, когда мне позволено выходить только в солнечные дни. Это гадко.

— А зачем ты это делаешь, Харита?

— Ужасно скучно, — отвечала она, и по молодому лицу ее точно пробежало облако, но сейчас же развеялось, и девушка, улыбаясь, отнеслась ко мне с словами: — видите, какая я пустая: жалуюсь на скуку и сама смеюсь. Вы, однако, не торопитесь делать заключения, что я сумасшедшая. Когда вы познакомитесь с нашей прекрасной малороссийской поэзией, на чем я по праву дружбы буду непременно настаивать, то вы увидите, что тут нет необходимости: у нас воспевают такое «лихо», которое «смеется». А впрочем, я не задерживаю вас, — прощайте до вечера.

Она пожала нам руки и пошла в гору, к монастырю, а мы вниз, к Крещатику, но матушка, сделав несколько шагов, остановилась и оборотилась назад.

Альтанская была от нас в нескольких шагах и тоже, словно по какому-то предчувствию, оборотилась — и они перемолвились с моею матерью молчаливыми взглядами, из которых я тогда не понял ничего.

Лицо матери выразило неудовольствие и даже гневливость.

— Неужто ничего? — спросила с негодованием мать.

— Ни-ч-е-г-о, — отвечала, растягивая слово, девушка и, улыбнувшись, добавила: — Ничего, Катерина Васильевна, ничего, да и не будет ничего.

Последние слова она проговорила скоро и, кивнув нам головкой, быстро завернулась и пошла торопливой походкой дальше.

По мере того, как она поднималась на гору, легкий, едва заметный ветерок обхватывал ее крепче и, приминая покрывавшую ее серую пушистую шаль к ее молодому, стройному телу, обрисовывал ее фигуру мягкими плав-

ными линиями, благодаря которым контур точно сливался с воздухом и исчезал в этом слиянии.

— Это *она,* maman? — спросил я, когда мы пошли своей дорогой.

— Да, она, — отвечала с некоторой сухостью мать.

— Харит. . . то есть, однако, как же это, maman, ее настоящее имя?

— Харитина... Харитина Ивановна.

— Харитина?

— Да.

— Возможно ли это, maman?

— А почему же нет?

— Такая прекрасная девушка...

— Ну — и что далее?

— И между тем... такое имя!

— Какое же? чем оно тебе не нравится?

— Оно тривиально.

— Тривиально? Нимало, ты, верно, не то хотел сказать.

— Нет, maman, я именно хотел сказать это самое.

— Ну, тогда мне должно будет пожалеть, что ты употребляешь слова, не понимая их значения. Объясни мне, что выражается словом «тривиально».

Я не мог этого объяснить и молчал. «Нехорошо, гадко, простонародно, неблагозвучно», — думал я, но все это было не то, что я разумел под словом «тривиально», значения которого действительно не понимал.

— Вот видишь ли, как опасно говорить о том, чего обстоятельно не знаешь, — сказала матушка и, объяснив мне происхождение латинского слова «trivialis» в смысле чего-то пошлого и беспрестанно встречающегося, добавила, что имя Харитина в этом смысле гораздо менее тривиально, чем множество других беспрестанно нам встречающихся имен.

Тогда я, желая поправиться и точнее выразить свою мысль, сказал, что имя Харитина, по моему мнению, неблагозвучно, но матушка доказала мне, что это имя хорошо и по смыслу, который в себе заключает, и приятно по звучности.

— Х-а-р-и-т-и-н-а! — произнесла она эллинским произношением, так что буква *и* после *р* слилась в устах в гортанный *эй,* — прекрасный звук, а значение еще

лучше; Харитина значит — *полна благодати.* Для такой неоцененной девушки, как та, которую мы встретили, я бы затруднилась выбрать лучшее имя, способное полнее выражать ее свойства. В уменьшительной же и в ласкательной форме здесь в Малороссии из этого имени делают *Христя,* — это уж просто прелестно...

— Да, это в самом деле хорошо, — отвечал я, начиная чувствовать, что имя Харитина в самом деле получило для меня с материных слов совсем другой вкус и аромат.

— Эге! да ты уступчив; это прекрасно, спорливость — черта, удаляющая человека от истины. Но сознавшись, спеши же брать назад слово, а то это сознание будет мало полезно.

— Беру, maman, и даже охотно беру, но только позвольте мне еще предложить вам один вопрос — опять об именах же. Она... эта девушка назвала вас два раза Катериной Васильевной? Что это значит, maman?

— Не все ли равно, что Катерина Васильевна или Каролина-Вильгельмина? — перебила матушка, — для тебя мое имя просто *мать.*

И после этих слов она заговорила со мною опять о городе. Ориентируя меня по отношению к более интересным местам, она показала мне, где сад, где лежит мой путь в канцелярию, где почта, — и при последнем указании добавила:

— Идучи на службу, ты будешь заходить на почту отдавать мои письма — это немножко облегчит нашу Бригиту, у которой с твоим приездом прибавляется дела.

Я, разумеется, изъявил радостное согласие править эту почтовую службу — и мы, завершив большую прогулку, возвратились домой, где нас ждал в средней комнате накрытый на два прибора стол. Обед состоял из двух скромных, но вкусных блюд, и яблока вместо десерта. За столом нам служила та же Бригита, то есть та же женщина в темном платье и белом чепце, которая принесла самовар в минуту моего приезда и которая была нашей кухаркой и горничной.

После обеда матушка удалилась в свою комнату и, сев в старое глубокое кресло, закрыла пальцами рук глаза, — я не мог понять, погрузилась ли она в тихий сон

или в глубокую думу; но поспешил воспользоваться минутою свободы, чтобы удовлетворить образовавшейся за дорогу страстишке покурить. Я тихонько зажег папироску и долго простоял с нею у открытой форточки, а потом почувствовал неодолимый позыв ко сну и, прислонясь к подушке, мгновенно уснул. Я спал глубоко и крепко, но, казалось, сквозь сон слышал, как мать входила в мою комнату и, притворив форточку, разгоняла что-то по воздуху носовым платком. От этого представления ко мне привязалось какое-то беспокойное сновидение, под наитием которого я проснулся. На дворе было уже темно, но в мою комнату по полу ползло откуда-то густое, желто-пунцовое освещение. Сначала я не мог понять, что это за свет, но потом отгадал, что это, вероятно, где-нибудь топится печка.

Тишина была мертвая: ни шелеста, ни звука — так что мне даже стало страшно — и я, осторожно спустившись с постели, начал осматриваться.

В простом кирпичном камине, который был устроен в матушкиной комнате, ярко горели дрова — и от них-то и шло то пунцовое пламя, которое, пробегая через всю нашу зальцу, тушевалось концом света по полу моей комнаты. На этот счет я не ошибся, но что касается самого характера окружающего меня безмолвия, то я не разгадал его: это не была *мертвая тишина,* а, напротив, это было безмолвие глубокого чувства и живой грусти, которых я, однако, не мог понять, хотя и видел их в образе очень грациозной и одухотворенной группы.

Матушка сидела перед огнем в своем кресле и, опустив книзу глаза, грустно смотрела на ярко освещенную огнем голову Хариты, которая полулежала на разостланной у ног матери на полу козьей шкуре и, обхватив руками матушкины колена, прислонилась к ним головою. Мне было как нельзя лучше видно все ее лицо, обращенное в ту сторону, откуда я наблюдал ее. Свет падал на обе эти фигуры неровно: опущенное книзу лицо матушки было в мягком спокойном полутоне, меж тем как голова и вся фигура Альтанской точно горели в огне. Одни ее ноги, уходя к рампе камина, терялись и точно будто исчезали в тени.

Не было ли это освещение прообразованием того, что происходило тогда в сердцах этих двух существ, одного

уже полуотстрадавшего и гаснущего, а другого полного жизненного разгара, но уже во всю мочь сердца вкушающего священную сладость страдания.

Они ничего между собой не говорили; но, как мне показалось, обе они вместе думали об одном и том же. Стоя в молчании у своей двери, я хорошо видел их лица — и был поражен тем, что при первой встрече с Альтанскою не заметил ее прекрасной, характерной красоты. Изо всего ее лица я тогда рассмотрел только большие серые глаза с длинными черными ресницами и черные же прямолинейные брови. Теперь я видел весь овал ее немножко продолговатого лица и поражен был строгою гармоничностью его линий и горячо-бледным матовым цветом щек, по которым, как бриллиант, искрились и играли перед огнем две слезинки.

«Как она прекрасна, и о чем она может так грустить и плакать? Матушка непременно должна все это знать», — думал я и тоже во что бы то ни стало хотел это узнать, с тем чтобы, если можно, сделаться другом этой девушки. Ведь она сама же просила меня об этом. А я хотел умереть за нее, лишь бы она так не грустила и не плакала.

«Но кто же мог быть виновником этих ее страданий? О, с каким бы удовольствием я сделал ему теперь самую невозможную дерзость! Но что он и где он?»

Среди этих мечтаний, в продолжение которых я был как бы в легком бреду под обаянием темных бровей Хариты, входная дверь в залу из передней отворилась — и на пороге ее показалась высокая, немножко сгорбленная мягкая фигура в длиннополом сюртуке и огромном высоком галстуке, высоко подпиравшем продолговатую седую голову с такими же прямолинейными бровями, как у Хариты.

«Это ее отец!» — воскликнул я в себе, пораженный большим сходством лица взошедшего старика с лицом только что рассмотренной мною девушки. Не с ним ли мне и придется за нее сражаться? Досадно! это будет не совсем удобно, потому что матушка при мне наговорила этому старику бездну самых лестных похвал и избрала его быть моим просветителем. Однако посмотрим. Чтобы быть благородным — не надо ничем дорожить, кроме

чести. Семья с ранних лет зародила во мне эту склонность, корпусное сотоварищество ее воспитало; раннее изгнание закрепило, а что сделали из него последующие обстоятельства — о том речь впереди.

XVI

Я жестоко ошибся насчет старика Альтанского, которого узнал с первого на него взгляда. Этот человек никого не обижал и не мог ни для кого быть причиною ни малейших несчастий.

Матушка зажгла одну из стоявших у нее на камине свеч, а Харита, воскликнув: «Вот и мой старенький тату пришел», кинулась к нему на шею — и, нагнув к себе его голову за затылок, поцеловала его два раза в лоб и в высокую светлую лысину.

Профессор был человек рослый и широкий, но не полный, а скорее худой и костистый. При своей несколько высокой и продолговатой голове он имел длинный прямой нос, немного отвисшую нижнюю губу и очень большие серые глаза, сильно напоминавшие глаза дочери. Но что всего более делало их похожими друг на друга — это та же прямолинейная бровь. Я говорю не *брови,* а именно *бровь,* потому что обе брови у профессора соединялись над глазами в одну непрерывную линию. Обыкновенно такие брови придают лицу выражение твердое, энергическое и решительное, — и такое выражение было у отца и у дочери Альтанских, но только у обоих у них оно смягчалось бесконечною добротою, которая в лице отца дышала совершенным младенчеством. В его глазах были даже те светлые блики, которые бывают в глазах у младенцев и которые в глазах его дочери перешли в проницающую лучистость. Ей словно дано было читать в глубине души других людей, тогда как сам профессор смотрел только внутрь самого себя, где у него был богатый склад наблюдений, опыта и знаний.

В обхождении старик Альтанский был прост и удивительно открыт и приветлив. Не успела матушка меня ему представить, как он сию же минуту заговорил со мною точно со старинным другом, и притом с таким, который

во всем был ему по всему равен. В разговоре, начатом непосредственно за его приходом и продолжавшемся около полутора часа, я не ощутил никакой разницы между его многоученостию и моим круглым невежеством. Он никого не оспаривал и не *проводил* никаких идей, но все, что при нем говорилось, — невольно как-то выравнивалось и округлялось по превосходной и совершеннейшей форме. О предстоящих моих с ним занятиях он не сказал ни слова — и даже когда матушка отрекомендовала меня, сказав:

— Вот ваш ученик.

Он, ласково пожав мне руку, тихо ответил:

— Друг, а не ученик.

Затем весь остальной разговор, сверх всякого моего ожидания, шел о предметах, о которых я не имел тогда никакого понятия; но это Альтанского, по-видимому, нисколько не смущало. Он говорил с матушкою о правительстве, к чему начальный повод дало мое исключение. В словах матушки я успел уловить в этом разговоре немало желчной иронии, с которой она отзывалась о правительственной системе того времени, а Иван Иванович, точно Тацит, облегчал ее суждения.

Много лет прошло с тех пор, как я полуребенком слышал эту первую политическую беседу, и я бы, кажется, легко мог про нее позабыть, — но вещее пророчество ее, так поразительно сбывшееся на моем веку, не обмануло и мою голову — и тогда-то, при тягостнейших обстоятельствах моей жизни, я вспомнил слова Альтанского, и как еще вспомнил!

Уходя домой, Альтанские упросили матушку дать мне два дня льготы от учения, а с меня взяли слово завтра утром прийти к ним. Матушка согласилась и, проводив их, спросила меня:

— Мой сын! Ты, кажется, куришь?

Я сконфузился и потупил глаза.

— К чему это так рано? — продолжала матушка, — я не думаю, чтобы эта бездельная привычка портить воздух, необходимый для нашего дыхания, могла приносить очень много удовольствия; но если уже ты хочешь курить, то, пожалуйста, не скрывайся и кури при мне. Это по крайней мере не будет тебя приучать иметь от матери тайны.

«Ужасная вещь! — думал я, — бедная матушка и в помышлении не содержит, какие я имею от нее тайности».

Я чувствовал порядочную усталость, но, улегшись в постель, не мог уснуть и все обдумывал какой-нибудь план, как бы загарантировать себя от получения ответа на мое послание в Тверь. Я придумал идти завтра на почту и подкупить почталиона, чтобы, в случае получения письма на мое имя, он не приносил его мне домой, а оставил у себя, пока я не приду за ним. Это меня очень успокоило — и я уже хотел повернуться к стене и заснуть, как вдруг в это время заметил, что свет в матушкиной комнате еще не погас. Сначала мне показалось, что это горит лампада, но, привстав и поглядев в дверь, я увидал, что то горела под абажуром свеча, перед которою матушка сидела за столиком, как была одетая днем, и писала. Прошел час, огонь не гас, и писание матери не прекращалось. Теперь, насторожив ухо, я даже слышал, как быстро скрипело в ее руке перо, — и, по непонятному предчувствию, это позднее писание получило в моих глазах какое-то особенное, важное значение. Я был убежден, что она пишет что-нибудь касающееся до меня; но что это могло быть такое и к кому она могла писать? Размышляя об этом и не придя ни к какому выводу, я заснул все при том же свете, а утром, когда матушка, напившись чаю, посоветовала мне сходить засвидетельствовать свое почтение Альтанскому, я получил от нее довольно тяжелый запечатанный конверт, с тем чтобы я зашел и отдал его на почту.

Поручение это было мне очень кстати, потому что я, как выше сказано, намерен был обделать на почте свое собственное дело; но мне, однако, это не удалось, потому что, зайдя по дороге к Альтанским на почту, я на самом крыльце почтового дома столкнулся с Харитиною Альтанской. Она тоже пришла сюда отправить письмо, которое мне очень хотелось видеть, для того чтобы узнать, кому оно посылается. По тем же предчувствиям мне казалось, что письмо, которое было теперь в руках Альтанской, содержало развязку ее тайны, как письмо матери хранило другие тайны, — и я, вынув из кармана матушкино письмо, прежде чем отдать его приемщику, прочел: *«Филиппу Кольбергу в Петербург»*.

Что необыкновенного можно найти в таком простом имени, как *«Филиппу Кольбергу в Петербург»,* где такое множество всяких *бергов?!* — но вы не можете себе представить, как меня поразило это имя и как оно мне понравилось. Читая впоследствии письмо Гейне к автору *Лалла Рук,* где поэт говорит, что, не знав самого сочинения, готов признать его превосходным, потому что у него такое прекрасное название, — я вспомнил, что то же самое было со мною, когда я в первый раз узнал сладостное имя Филиппа Кольберга. Кто мог быть этот человек, которому не ставят на письме никакого титула, а просто пишут одно его короткое имя: «Филипп Кольберг», тогда как всякому человеку прибавляется хоть «благородие» или хоть «милостивое государство»? Неужто он не имеет никакого права даже на самый скромнейший из них? Неужто он просто какой-нибудь ремесленник? Но не может быть, чтобы мать моя писала такие большие письма какому-то простому ремесленнику, и притом... и притом я был уверен, что имя «Филипп Кольберг» не может принадлежать человеку малообразованному. Я получил неодолимую и притом чуждую всяких сомнений веру, что человек, носящий это имя, должен быть какой-то превосходнейший человек, которому нет никого подобного на свете.

Но зато эти размышления над письмом, а частию и присутствие здесь девицы Альтанской было причиною, что я не успел не только переговорить с почтальоном насчет ожидаемого мною ответа на мое послание в Тверь, а даже совсем позабыл об этом неприятном обстоятельстве и не тревожился им, пока оно дало мне себя почувствовать.

XVII

Всего более в эту пору меня занимало, что я по глубокому и, как после оказалось, совершенно безошибочному предчувствию попал в самый центр сокровеннейших тайн двух милых мне женщин, из которых притом одна была моя мать.

Правда, что вместе с этим открытием (предчувствия мои я могу считать и не предчувствиями, а проницатель-

ностию, и потому выводы этой проницательности принимать за открытия) — и этим именно открытием я наносил своему сердцу небольшую рану, потому что после вчерашнего вечернего созерцания Харитины Альтанской я уже снова начинал чувствовать, что во мне зашевелилось нечто подобное тем возвышенным, конечно любовным, тревогам, какие я испытал в Твери. Теперь, когда обнаружилось, что на свете несомненно существует кто-то, которому она пишет и притом сама собственноручно отправляет на почту свои письма, — я видел необходимость переменить позицию и уж строго держаться роли друга, чего мне, признаться сказать, не особенно хотелось, так как Харита была не то что тверская барышня: той было тридцать лет, и она приходилась наполовину меня старше, между тем как этой шел девятнадцатый год, и, стало быть, я был моложе ее только тремя годами. Но, однако, я утешался тем, что буду хранить ее тайну.

Что же относится до тайны матери, то тут я предчувствовал одно, что тут пылает какая-то купина, пламень которой должен быть для меня свят, и сказал своему пытливому уму: «Не касайся семо».

Все это я обдумал, идучи рядом с Альтанской, которая, овладев мною, вела к отцу. Мы шли с нею в полном молчании и не мешали друг другу. Это был для меня первый опыт приятного молчания, и он мне чрезвычайно удался и полюбился.

Они жили в небольшом сереньком домике с стеклянною галереею, в конце которой была дверь с небольшою медною дощечкою, на которой вместо имени профессора значилась следующая странная латинская надпись: «Nisi ter pulsata aperietur tibi porta, honestus abeas», то есть: «Если по троекратном стуке дверь тебе не отворится, то знай честь и отходи прочь».

Харитина постучала трижды в эту дверь, она нам отворилась, и мы вошли в очень скромное помещение.

Старый профессор собирался на лекцию, но встретил меня очень ласково, наскоро закусил с нами и ушел, поручив меня попечениям дочери; но бедной девушке было, кажется, совсем не до забот обо мне. Она, видимо, перемогалась и старалась улыбаться отцу и мне, но от меня не скрылось, что у нее подергивало губы — и лицо

ее то покрывалось смертною бледностию, то по нем выступали вымученные сине-розовые пятна.

Простодушный младенческий взгляд старика, кажется, ничего этого не замечал в то время, когда он навязывал меня на руки дочери, но я был гораздо прозорливее и практичнее и поспешил как можно скорее оставить ее в покое.

Не помню, какой я именно выбрал предлог для того, чтобы ей откланяться, — но она сделала эту выдумку совершенно излишнею. Вместо ответа на мое прощанье она взглянула на меня полными слез глазами и, крепко стиснув мою руку, произнесла по-малороссийски:

— Спасибо вам, сердце! Маму вашу поцелуйте.

Я понял, что Харитина уразумела мою деликатность и, оценив ее, платит мне трогательнейшею откровенностью, — и с гордым спокойствием держал мою роль, сказав ей прежним спокойным тоном:

— Прощайте, Харитина Ивановна.

— Ивановна! — отвечала она, удерживая мою руку в своей руке. — Не зовите меня Харитиной Ивановной: нехай я буду для вас просто ваша Христя.

— Извольте.

— Ну так скажите мне: «Помилуй тебя боже, моя милая Христя».

Я повторил ее задушевные слова и поцеловал ее руку.

— Вот это так — по-нашему, — отвечала она и, выпустив мою руку, сама дала мне знак скорее уходить, что я немедленно и исполнил, но сейчас же снова очутился в большом затруднении. Проходя по стеклянной галерее, я по какому-то невольному побуждению взглянул в окно комнаты, в которой оставил Христю, — и увидел, что бедная девушка лежала ниц на полу и, вытянув крепко схваченные руки, с таким усилием удерживала свои рыдания, что ее спину и плечи судорожно вело и коробило, меж тем как тонкие белые пальцы нежных рук посинели и корчились.

Первая мысль моя была вернуться к ней и помочь ей встать и перейти на постель; потом я это отменил и хотел послать ей из кухни их прислугу; но еще через минуту нашел, что и это, вероятно, было бы ей неприятно. Мне показалось, что ее, неведомое мне, гордое, молчаливое горе должно ожесточаться от всякого непрошенного и —

увы — всегда бессильного участия. Я готов был сам зарыдать и, надвинув шапку, опрометью выбежал на улицу, по которой не успел сделать и десяти шагов, как меня нагнал мой приятель Пенькновский.

XVIII

Мой грандиозный коллега был теперь в новой, слишком для него просторной, поношенной венгерке с шнурами, в четырехугольной польской шапочке и с хлыстом в руках.

Полный своей скорби за Христю, я хотел от него убежать, но это было невозможно.

— Здравствуй, Праотцев! — вскричал он, хватая меня за руку. — Вот я думал, что мы с тобой уже совсем расстались, а между тем опять привелось...

— Отчего же совсем расстаться? — отвечал я, стараясь скрыть свое волнение.

— А так, брат... знаешь, у нас того... Э, да ты, кажется, чего-то плакал? Ты — вечная плакса.

— Вовсе я не плакал и не плакса, — отвечал я и начал расспрашивать его, что такое у них «того»...

— Тссс! говори тише! у нас в доме говорят про страшные дела: в Австрии революция.

— Ну, а вам что за дело до Австрии?

— Да это тебе нет дела, потому что ты русский, а там, братец, венгерцы воюют.

— Так что же такое?

— Как что? — это старые наши польские союзники: polak z wegrem dwa bratanki, jak do szabli, tak do szklanki.[1] Они нам свои.

Я этому несколько удивился, потому что венгерцы, в моем тогдашнем понимании, были те люди, которые носят по селам лекарственные снадобья да янтарные четки и крестики; но Пенькновский разъяснил мне, что есть еще и другие венгерцы — очень храбрые, и что вот с теми-то он как нельзя более заинтересован в их революции.

— Неужто же ты, мол, пойдешь в их революцию?

---

[1] Поляк с венгром — братья, как по оружию, так и за бутылкой. *(Перев. Н. С. Лескова.)*

— Нет, честное слово — пойду: если все пойдут, так и я пойду. Но помни, брат Меркул, — заключил он, остановясь и схватив обе мои руки, — помни, что мы все-таки товарищи, и если мы встретимся друг с другом с оружием в руках в бою, я закричу: «Скачи мимо!» и тебя не ударю.

— И я тоже, и я тебя ни за что не ударю, — отвечал я.

— Щадить друг друга, щадить, как должно благородным людям и однокашникам. Слышишь?

— Хорошо, непременно пощажу, — отвечал я.

— Махни саблей — и мимо.

— Махну — и мимо.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Руку от сердца!

Я подал руку.

Заключив этот союз взаимной пощады, мы крепко стиснули друг другу руки и поцеловались, что, впрочем, не обратило на нас особенное внимание прохожих — вероятно потому, что в тогдашнем ополяченном киевском обществе поцелуи при уличных встречах знакомых мужчин были делом весьма обыкновенным.

Затем Пенькновский открыл мне, что он на войне не будет никого бить из товарищей и только возьмет в плен нашего военачальника, а потом полюбопытствовал, куда лежит мой путь, — и, узнав, что я иду домой, вызвался меня проводить и дорогою спросил: «Что говорят у вас про венгерскую революцию?»

— У нас об этом ничего не говорят, — отвечал я.

— Это нехорошо; это нехорошо, Праотцев!

— Что такое?

— Зачем ты скрываешь?

— Уверяю тебя.

— Так о чем же вы разговариваете?

— Ну вот! Будто только и разговора, что про революцию?.. У матери бывают разные ученые люди и профессора, и она сама знает по-латыни и по-гречески...

— Фуй, какая скука!

— Нимало; напротив, мы вчера обсуждали правительство и очень приятно провели время. Я люблю такие разговоры.

— Ну, уж я думаю! Не притворяйся, брат, умникомто! Что там может быть приятного с профессорами?

А к нам к отцу вчера пришли гости, молодые чиновники из дворянского собрания и из гражданской палаты, и все говорили, как устроить республику.

Я удивился и спросил, про какую он говорит республику.

— Известно, какая бывает республика! всем вместе будет править и король и публика, — отвечал весело Пенькновский, и так как в это время мы не только дошли до нашей квартиры, но вступили в самые сени, то он снова потребовал мою руку и, прощаясь, сказал:

— Ты приходи как-нибудь ко мне: я тебя познакомлю с моим отцом, у меня отличный отец; он титулярный советник, и у него есть седло, и две винтовки, и сабля, — и, представь себе, что он служит в гражданской палате и как две капли воды похож на Кошута. Когда начнется революция, он непременно хочет быть нашим полководцем, и все чиновники на это согласны, но ты, сделай милость, пока никому своим об этом не говори.

Я дал слово держать это дело в большом секрете — и мы благополучно расстались бы на этом, если бы матушка, встретив меня у порога залы, не спросила, с кем я говорил, — и, узнав, что это был мой корпусный товарищ, не послала меня немедленно воротить его и привести к ней.

Исполняя это приказание без особенной радости, я, однако, ведучи под руку Пенькновского, успел ему шепнуть, чтобы он не открывался при матушке, что он революционер.

XIX

Пенькновский обещал мне быть скромным насчет Венгрии и прекрасно исполнил свое обещание, но зато во всем другом обличил перед maman такую игривую развязность, какой я от него никак не ожидал: он пустился в рассказы о нашем прошлом и представлял ей не только корпусное начальство, но и директоршу и офицерских жен; делая при этом для большей наглядности выходы из открытых дверей маминой спальни, он вдруг появился оттуда в матушкином спальном чепце и ночном пеньюаре.

Серьезная мать моя чрезвычайно оживилась и много смеялась; но лукавый дернул Пенькновского вспомнить

про извозчика Кириллу и рассказать, как он заезжал к Ивану Ивановичу Елкину и как королевецкое «начальство» отпороло его на большой дороге нагайкою.

Матушка встревожилась, что я был свидетелем такой грубой сцены.

— За что же это с ним так поступили? — спросила maman.

— А-а, не беспокойтесь, сударыня, он этого слишком стоил! — воскликнул мой Пенькновский. Я так и замер от страха, что он, увлекшись, сам не заметит, как расскажет, что Кирилл предательски выдавал его за палача, который будет в Киеве наказывать жестоко обращавшуюся с крестьянами польскую графиню; но мой речистый товарищ быстро спохватился и рассказал, что Кирилл будто бы, напившись пьян, зацепил колесом за полицеймейстерскую коляску.

Я был необыкновенно удивлен этой смелою и находчивою ложью Пенькновского, а матушка, наморщив брови, проговорила, что она просто представить себе не может, как это можно было отправить нас, детей, с одним пьяным мужиком.

— Как же, это просто ужасно! — поддерживал Пенькновский. — Этот мужик был совершенно ужасный пьяница, и притом... и притом... он постоянно пил водку и говорил всякий вздор.

— Вы могли бог весть чего наслушаться!

— Помилуйте, да он нас водку учил пить...

— И неужто же из вас кто-нибудь его в этом слушался? — воскликнула в сдержанном ужасе мать, но Пенькновский пресмело ее на этот счет успокоил.

— Нет, — отвечал он, — нет; то есть я и ваш сын — мы его не слушались, потому что я сам не пил и удерживал вашего сына, но другие... Положим, что это не совсем хорошо выдавать товарищей, но, презирая ложь, я не могу отрицать, что другие, которые меня не слушались, те пили.

При этом он подмигнул мне — и так неловко подмигнул, что матушка это заметила. Впрочем, научась в один день наблюдать ее страшную проницательность, я видел, что она еще во время самого рассказа Пенькновского ему уже не верила и читала истину в моих потупленных глазах; но она, разумеется, прекрасно совладала собою —

и с спокойствием, которое могло бы ввести в заблуждение и не такого дипломата, как Пенькновский, сказала:

— Я вам очень благодарна за ваш прекрасный пример и совет, которыми вы сберегли моего сына от порока, одна мысль о котором должна быть противна честному человеку.

— Как же: я его всегда оберегал, — отвечал Пенькновский; а матушка сказала, что она будто бы очень рада, что я имел себе такого благоразумного и строгого товарища.

Пенькновскому эти слова были все равно что обольстительный фимиам, в сладком дыму которого он ошалел до того, что вдруг, приняв, вероятно, свою ложь за истину, возмнил себя в самом деле моим нравственным руководителем, — начал рассказывать, будто бы он всегда за мною наблюдал и в дороге и в корпусе и тогда-то говорил мне то-то, а в другой раз это-то и т. п. Самая хвастливая и наглая ложь лилась у него рекою и приводила меня в такое смущение, что я молчал и не перебил его ни одним словом даже тогда, когда он, истощив поток своего красноречия насчет своих превосходств, вдруг перешел к исчислению моих пороков, которые, по его словам, парализировали его влияние и часто мешали мне усвоить ту безмерную пользу, какую могли мне преподать его советы.

— Хорошо его зная, я могу сказать, что он еще не совсем дурной мальчик, — говорил он, указывая на меня искоса глазами, — но у него есть этакое, как бы вам сказать... упрямство. Да, именно упрямство! Я ему всегда говорил: «Слушай меня во всем, потому что ты должен меня слушать!» Но он один раз послушается, а другой раз нет. — Что, брат? — отнесся он непосредственно ко мне, — я тебе говорил, что я ничего не скрою и все это со временем расскажу твоей maman! Да; родители о нас должны всё знать — и уж ты сердись или не сердись на меня, а я теперь это делаю для твоей же пользы.

— Вы знаете, — продолжал он, снова обращаясь к maman, — в Твери один наш товарищ...

— Послушай! — вскричал я, не вытерпев и сквозь слезы.

— Что, брат? Нет, уж извини: расскажу. В Твери один наш товарищ, Волосатин, пригласил нас к себе на вечер, который давал его отец, и ваш сын там так неприлично

повел себя... просто так неприлично, что будь это в другом месте — я не знаю, что бы могло выйти!

Maman вся вспыхнула и кинула на меня молниеносный взгляд, но, вероятно, встретив мой взгляд, потерянный, перепуганный и умоляющий, сейчас же успокоилась. А беспощадный Пенькновский продолжал и благополучно окончил свой рассказ о том, как я, войдя впереди всех товарищей в большую залу, «как сумасшедший бросился целовать руки у всех женщин».

— Это очень просто, maman, — отвечал я, — я никогда не бывал на балах и думал, что это так принято.

— Ну да, — тихо уронила матушка совсем успокоенным голосом — и, как я был несомненно убежден, в знак своего неосуждения меня за рассказанную неловкость подала мне ключик от своего туалета и велела подать ей оттуда батистовый носовой платок.

В этом незначительном поручении я увидал знак снисходительного ее ко мне благоволения (так умела она выражать все одним тоном своего прекрасного голоса, что слова ее, кроме своего банального, прямого выражения, имели еще иное, тайное, иносказательное — и именно такое, какое она хотела передать ими тому, кто должен был уразуметь в них смысл, непонятный для других). Я именно внял этому смыслу и, выйдя в ее комнату за ее платком, вздохнул от радости, что дело мое поправлено и что матушка на моей стороне, а не на стороне доносившего на меня Пенькновского.

Между тем сей последний, пока я возился у матушкиного комода, вспомнил, что ему пора домой. К неописанному моему удовольствию он начал прощаться с матушкой и опять оттенил меня особенным образом, попросив матушку отпускать меня изредка к нему, на его ответственность, на что матушка и согласилась, — а Пенькновский принял это согласие за чистую монету и, поблагодарив матушку за доверие, закончил обещанием приводить меня назад домой под его собственным надзором.

Тут я уже просто сробел перед этою его выходкой и мысленно дал себе слово никогда к нему не ходить, хоть мать моя выразила мысль совершенно противную, сказав, что она будет очень рада этому, потому что эти проводы, конечно, доставят ей удовольствие часто видеть Пенькновского и ближе с ним познакомиться.

Это я счел уже со стороны maman за непонятную для меня искренность, которая меня очень покоробила, между тем как Пенькновский был в восторге — и, надевая в передней свое пальто, весело прошептал мне:

— А что же ты мне не показал: где ваши ученые? Нет их, что ли?

— Нет, — отвечал я сухо.

— А когда они приходят?

— Вечером.

— Вечером. Ну, пускай их ходят вечером! а ты теперь, кажется, ясно можешь видеть, что все дело заключается не в учености, а в практике.

«Провалился бы ты куда-нибудь со всей твоей практикой!» — подумал я и едва удержался от желания сказать ему, что требую назад свое слово не сражаться с ним, когда встретимся на войне, и махать саблей мимо. Энергически захлопнув за ним двери, я вернулся в комнаты и почувствовал, что я даже совсем нездоров: меня знобило, и в левом ухе стоял болезненно отзывавшийся в мозгу звон.

Лицо мое, вероятно, так ясно передавало мое состояние, что матушка, взглянув на меня, сказала:

— Ты, кажется, не совсем здоров, дитя мое?

— Да, maman, — отвечал я, — мне что-то холодно, и я чувствую звон в ушах.

— Это тебе надуло в голову, когда ты вчера курил у форточки. Поди ляг в свою постель и постарайся успокоиться: сегодня вечером ты должен идти к твоему дяде, а завтра подашь ему просьбу о принятии тебя на службу в его канцелярию.

— Как, maman, я должен идти к нему без вас?! — воскликнул я, почувствовав некоторый страх при мысли о свидании с статским генералом, занимавшим, по тогдашним моим понятиям, чрезвычайно важную должность.

— Да; ты должен идти один, — отвечала матушка и рассказала мне, что когда я утром ходил к Альтанским, мой двоюродный дядя, этот важный статский генерал, был у нее и передал свое желание немедленно со мною познакомиться. — А знакомиться с ним, — добавила maman, — тебе гораздо лучше один на один, чем бы ты

выглядывал, как цыпленок, из-под крыла матери. Притом же тебе надо привыкать к обхождению с людьми и уметь самому ставить себя на настоящую ногу; а это приобретается только навыком и практикой.

«Опять практика!» — подумал я, упав в постель с тревожною мыслию, что вокруг меня что-то тяжело и совсем не так, как бы мне хотелось. А отчего мне было тяжело и как бы я хотел учредить по-иному — этого я не знал; но только воображение несмело и робко, словно откуда-то издалека, нашептывало мне, что моя maman, без сомнения, строгая, нравственная и в высшей степени благородная, но сухая женщина, — и я вдруг вспомнил об отце и, кусая концы носового платка, который держал у лица, тихо заплакал о покойном. Мне показалось, что мы с отцом «терпим одинакую участь» от тяжести живо нами сознаваемого высокого, но уж слишком авторитетного превосходства матери, между тем как есть же на свете кто-нибудь, к кому она мягче и снисходительнее. Письмо к Филиппу Кольбергу, которое я отдал утром на почту, мелькнуло перед моими глазами, — и сам Филипп Кольберг, которого я никогда не видел, вдруг нарисовался в моих мысленных очах так ярко и отчетливо, что я склонен был принять это за видение — и затем начался сон, который во всяком случае был приятнее описанного бдения. Мне снилось, будто Филипп Кольберг, высокий, чрезвычайно стройный и сильный человек с длинными темно-русыми кудрями, огромными густыми усами и густой же длинной эспаньолеткой, смотрел на меня умными, энергическими, как небо голубыми глазами — и, сжимая мою руку, говорил:

— Да; ты отгадал: я люблю твою мать, я люблю ее, люблю, люблю как херувим любит бога, потому что видеть его благость и величие и не любить его невозможно, и мы с тобою сольемся в этой любви и полетим за нею в ее сфере. Гляди!

Он указал мне на плывущую в эфире яркую, светлым теплым пламенем горящую звезду, в сфере которой мы неслись неведомо куда, и вокруг нас не было ничего ни над нами, ни под нами — только тихая лазурь и тихое чувство в сердцах, стремящихся за нашею звездою.

XX

Проснувшись, я услыхал, что матушка была не одна: с нею был профессор Альтанский, и они вели между собою тихую, спокойную беседу.

Я был несколько удивлен этому спокойствию и подумал: неужто профессор ничего не знает о том, как страдает его дочь и в каком она нынче была положении. Да и прошло ли это еще? Или, может быть, это им ничего?

И затем у меня пошел ряд самых пустых мыслей, с которыми я делал свой туалет, вовсе не думая о том, куда я собираюсь и как буду себя там держать.

Когда я был совсем готов, матушка позвала меня к себе — и, не трогаясь с места, сказала мне:

— Ну-ка, покажись, как ты одет...

Я стал.

— Повернись.

Я повернулся спиной.

— Молодец! — заметил, глядя на меня, Альтанский.

— Молодец-то он молодец, — ответила, как мне показалось, не без гордости maman, — но я вижу, что у этого молодца скверно сшито платье.

И с этим она, вздохнув, встала и своими руками перевязала на моей шее галстук иначе, чем он был завязан, поправила воротнички моей рубашки и, перекрестив меня, велела идти.

— Не сиди долго, — сказала она в напутствие.

— Нет, maman.

— Однако и не спеши: это надо соображать по приему — как держат себя хозяева. Да говори почаще Льву Яковлевичу «ваше превосходительство».

При этом губы матушки сложились в несколько презрительную улыбку, а профессор громко откашлялся и плюнул.

Я никак не могу утверждать, что этот плевок относился непосредственно к «его превосходительству», но maman, вероятно, в виду этой случайности сейчас же нашла нужным добавить, что Лев Яковлевич очень не злой человек и имеет свои заслуги и достоинства, а жена его Ольга Фоминишна положительно очень добрая женщина, и дети их тоже очень добрые, особенно старшая

дочь Агата, которую maman назвала даже натурою превосходною, благородною и любящею.

Путь мой был невелик — и я через десять минут очутился на большом дворе, по которому бродили молча какие-то необыкновенно смирные, или привычные к незнакомым посетителям, собаки. Их что-то было много, и все они откуда-то вставали, переходили через светлую полосу, которая падала от одного из освещенных окон, и исчезали во тьме. В дворе стоял большой одноэтажный дом и множество флигелей, построенных углами и зигзагами. Все это, несмотря на сумрак, представляло очень оживленную массу: во флигелевых окнах светились огни, а за углами во всех темных впадинах шевелились какие-то тени — и их было так много, что они становились для меня страшнее, чем собаки, на добродушие которых я начал доверчиво полагаться. Все эти тени, населяющие двор моего родственника и покровителя, были жиды, которые каждый день под сению сумерек в обилии стекались сюда, неся с собой разновидные дары для приобретения себе дядиной благосклонности. Они-то — эти всеведущие потомки Израиля — и указали мне путь, каким я должен был проникнуть в святилище, куда их по очереди и лишь за деньги впускал дядин камердинер.

Хотя генерала Льва Яковлевича мне никто не рекомендовал с особенно дурной стороны, но я не был расположен составлять о нем хорошее мнение: его дом с каким-то огненным трясением во всех окнах, его псы, сумрачные жиды, а особенно его низенький камердинер Иван с узким лисьим лицом и широким алчным затылком — все это производило во мне отталкивающее впечатление. Несмотря на свою тогдашнюю молодость и неопытность, я во всем этом обонял какой-то противный букет взятки, смешанной с кичливой заносчивостью и внутренним ничтожеством. Лев Яковлевич с виду не похож был на человека, а напоминал запеченный свиной окорок: что-то такое огромное, жирное, кожистое, мелкощетинистое, в светлых местах коричневое, а в темных подпаленное в виде жженой пробки. Вся эта жирная, массивная глыба мяса и жиру была кичлива, надменна, раздражительна и непроходимо глупа. Лев Яковлевич был до того самообольщен, что он даже не говорил по-

человечески, а только как-то отпырхивался и отдувался, напоминая то свинью, то лошадь.

При моем вступлении в его кабинет он сидел в глубоком кресле за столом и, продув что-то себе в нос, запырхал:

— А?.. как?.. что такое?..

Я ничего не понимал, но заметил, что у этого окорока засверкали под бровями его гаденькие глазки, а камердинер, подскочив ко мне, строго проговорил:

— Отвечайте же, сударь. Разве вы не видите, что генерал сердятся?

— Я ничего не понял... вы мне расскажите, — начал было я, но этот гордый холоп, махнув презрительно рукой и пробурчав: «Да уж молчите, когда не умеете», подошел ко Льву Яковлевичу.

Став за его креслом, Иван фамильярно поправил сзади гребешочком его прическу и молвил с улыбкой:

— Они боятся перед вашим превосходительством.

— А... как?.. что?.. мм... да... чем?... зачем мне?.. зачем?.. чем... ем... м?...

— К генеральше проводить прикажете?

— А?.. да... м...мм... к Ольге Фоминишне... да.

— Идите! — скомандовал мне лакей и, выведя меня через две застланные коврами комнаты, ткнул в третью, где за круглым чайным столом сидело несколько меньших окорочков, которые отличались от старшего окорока тем, что они не столько не умели говорить, сколько не смели говорить.

Из всех этих отрождений Льва Яковлевича я не мог никого отличить одного от другого: все они были точно семья боровых грибов, наплодившихся вокруг дрябнувшего матерого боровика. Все они были одной масти и одного рисунка — все одинаковы и ростом, дородством, лицом, красотою; все были живые друг друга подобия: одни и те же окорочные фигуры, и у каждого та же самая на светлых местах коричневая сальнистая закопченность.

При виде этой многочисленной, мирно и молчаливо сидящей за чайным столом семьи я здесь оказался столь же бестолковым со стороны моего зрения, как за минуту перед сим был бестолков на слух: у Льва Яковлевича я не мог разобрать, что такое он гнусит, а тут никак не мог произвести самого поверхностного полового отличия. Без

всяких шуток, все представлявшиеся мне существа были до такой степени однородны и одновидны, что я никак не мог отличить среди них мужчин от женщин. Мать, дочери, сыновья, свояченица и невестка — все это были на подбор лица и фигуры одной конструкции и как будто даже одного возраста: вся разница между ними виделась в том, что младшие были поподкопченнее, а старшие позасаленнее. Но вот одно из этих тяжелых существ встало из-за стола, — и я, увидав на нем длинное платье, догадался, что это должна быть особа женского пола. Это так и было: благодетельная особа эта, встретившая и приветствовавшая меня в моем затруднительном положении посреди комнаты, была та самая Агата, о доброте которой говорила maman. Эта девушка представила меня и другим лицам своего семейства, из которых одно, именно: свояченица генерала, Меланья Фоминишна, имела очевидное над прочими преобладание; я заметил это из того, что она содержала ключи от сахарной шкатулки и говорила вполголоса в то время, как все другие едва шептали. Меланья Фоминишна дала мне возле себя место и налила чашку чая — что я, будучи очень неловок и застенчив, считал для себя в эту минуту величайшим божеским наказанием. Но, к моему благополучию, чай оказался совсем холоден, так что я без особых затруднений проглотил всю чашку одним духом — и на предложенный мне затем вопрос о моей maman отвечал, что она, слава богу, здорова. Но, вероятно, как я ни тихо дал этот ответ, он по обычаям дома все-таки показался неуместно громким, потому что Меланья Фоминишна тотчас же притворила дверь в кабинет и потом торопливо выпроводила меня со всеми прочими в комнату девиц, как выпроваживают детей «поиграть». Здесь мне показывали какие-то рисунки, рассматривая которые я мимоходом заметил, что у второй дочери генерала на одной руке было вместо пяти пальцев целых шесть.

Но внимание мое от этого шестого пальца вскоре было отвлечено появлением в комнате молодого, очень стройного и приятного молодого человека, которому все подавали руки с каким-то худо скрываемым страхом.

— Ах, Серж! здравствуйте, Серж! — приветствовали его дамы и девицы и тотчас же искали случая от него отвернуться, чем он, по-видимому, нимало не стеснялся

и обращался с ними с каким-то добродушным и снисходительным презрением.

Он мне очень понравился — и я, продолжая рассматривать картинки, с удовольствием поглядывал на этого нового посетителя, совсем не похожего ни на кого из серых членов генеральской семьи. В его милом лице и приятной фигуре было что-то избалованное и женственное.

Серж сел в уголок дивана — и, красиво сложив на груди руки, закрыл глаза или притворился спящим.

Во все это время мы и здесь всё продолжали шептать, но тут вдруг вошел камердинер Иван и объявил, что генерал велел мне завтра явиться в палату.

Это известие подействовало на всех самым ободряющим образом, и обе дочери генерала сразу спросили:

— Папа уехал?

— Уехали, — небрежно отвечал камердинер и, добавив, что лошадей велено присылать только в двенадцатом часу, хотел уже уходить, как вдруг Серж возвысил голос и громко велел подать себе стакан воды.

Повелительное обращение Сержа произвело самое радостное впечатление: все лица оживились; голоса стали громче и смелее — и шестипалая девица села за рояль и начала играть, а другая запела. Сыновья ходили вдоль по комнате, а сама генеральша, усадив меня в угол большого дивана, начала расспрашивать: как мы с матушкою устроились и что думаем делать? Я со всею откровенностью рассказал ей известные уже мне матушкины соображения — и генеральша, а вслед за ней и все другие члены ее семьи находили все это необыкновенно умным и прекрасным и в один голос твердили, что моя maman — необыкновенно умная и практичная женщина. Я заметил, что ничего не говоривший и, по-видимому, безучастный Серж при первых словах о моей maman точно встрепенулся и потом начал внимательно слушать все, что о ней говорили, а при последних похвалах ее практичности — встал порывисто с места и, взглянув на часы, пошел к двери.

— Серж, вы будете закусывать? — спросила его вслед Меланья Фоминишна.

— Нет, — отвечал он голосом, который мне тоже очень понравился.

— Оставить вам?

— Нет, ma tante, нет, — не оставлять.

— Но вы придете ночевать?

Серж остановился, улыбнулся и, низко поклонясь Меланье Фоминишне, произнес:

— Приду, ma tante, на сон грядущий получить ваше святое благословение.

С этим он вышел.

— Шут, — молвила ему вослед Меланья.

— А зачем вы его расспрашиваете? — прошептала одна из девиц.

— Отчего же?

— Разве вы не знаете, какой он?

— Что мне за дело, как он отвечает: я исполняю свой долг.

— А я — что вы хотите — я очень люблю Сережу, — протянула генеральша, — когда он приедет из своей Рипатовки на один денек, у нас немножко жизнью пахнет, а то точно заиндевели.

Генеральша мне показалась очень жалкою и добродушною, и я в глубине души очень расположился к ней за ее сочувствие к Сержу, насчет которого она тотчас же объяснила мне, что он ее племянник по сестре Вере Фоминишне и фамилия его Крутович, что он учился в университете, но, к сожалению, не хочет служить и живет в имении, в двадцати верстах от Киева. Хозяйничает и покоит мать.

Меланья Фоминишна, очевидно, иначе была настроена к Сержу и по поводу последних слов сестры заметила:

— Да; не дай только бог, чтобы все сыновья так покоили своих матерей!

— Отчего же, Melanie?

— Так; будто вы не знаете?

Melanie говорила генеральше «вы», хотя, видимо, и ставила ее ни во что.

— Я, право, не знаю, — отвечала генеральша, — по-моему, он — добрый сын, очень добрый и почтительный, а уж как он в субординации держит этого дерзкого негодяя нашего Ваньку, так никто так не умеет. Видели: не смел ему прислать воды с Василькою, а небось сам подал и не расплескал по подносу, как мне плещет. Я всегда так рада, что он у нас останавливается. А что касается

до Сережиных увлечений... кто же молодой не увлекался? Ему всего двадцать пять лет.

— Пора жениться.

— И не беспокойтесь так много, он, бог даст, на *ней* и не женится!

— Почему вы это знаете?

— Не женится, Melanie, не женится. Серж упрям, как все нынешние университетские молодые люди, и потому он вас с сестрой Верой не слушался. Что же в самом деле: как вы с ним обращались? — сестра Вера хотела его проклинать и наследство лишить, но ведь молодые люди богу не верят, да и батюшка отец Илья говорит, что на зло молящему бог не внемлет, а наследство у Сережи — отцовское, — он и так получит.

— Какие вы мысли проповедуете, Ольга, и еще при детях!

— Что же я такое проповедую, Melanie: я говорю правду, что вы не так действовали, чтобы их разъединить, — и Серж упрямился; а Каролина Васильевна практическая, и уж если сестра Вера поручила ей устроить это дело, так она устроит. Каролина Васильевна действует на нее, а не на него: это и умно и практично.

Практичность матушки сделалась предметом таких горячих похвал, что я, слушая их, получил самое невыгодное понятие о собственной практичности говоривших и ошибся: я тогда еще не читал сказаний летописца, что «суть бо кияне льстиви даже до сего дне», и принимал слышанные мною слова за чистую монету. Я думал, что эти бедные маленькие люди лишены всякой практичности и с завистью смотрят на матушку, а это было далеко не так; но об этом после.

В десять часов на стол была подана нарезанная ломтями холодная отварная говядина с горчицей, которую все ели с неимоверным и далеко ее не достойным аппетитом, так что на мою долю едва достался самый крошечный кусочек. Затем, тотчас же после этого ужина, я откланялся и ушел домой, получив на прощанье приглашение приходить к ним вместе с maman по воскресеньям обедать.

Очутясь на тихих, озаренных луною улицах, я вздохнул полною грудью — и, глядя на открытую моим глазам с полугоры грандиозную местность Старого Киева,

почувствовал, что все это добро зело... но не в том положении, в котором я был и к которому готовился.

Прославляемая «практичность» матушки приводила меня в некоторое смущение и начала казаться мне чем-то тягостным и даже прямо враждебным. Рассуждая о ней, я начинал чувствовать, что как будто этот бедный Серж тоже страдает от этой хваленой практичности. Боже мой, как мне это было досадно! Да и один ли Серж? А отец, а я, а Христя?.. мне показалось, что мы все страдаем и будем страдать, потому что мы благородны, горячи, доверчивы и искренни, меж тем как она так практична!

Я был очень огорчен всем этим и шел опустив голову, как вдруг из-за угла одного дома, мимо которого пролегала моя дорога, передо мною словно выросли две тени: они шли в том же направлении, в котором надлежало идти мне, и вели оживленный разговор.

Из этих двух теней одна принадлежала мужчине, а другая женщине — и в этой последней я заподозрил Христю, а через минуту убедился, что я нимало не ошибся: это действительно была она. Но кто же был мужчина? О! одного пристального взгляда было довольно: это был Серж.

Убедясь в этом, я чувствовал, что у меня екнуло сердце, и уменьшил шаг. Я сделал это вовсе не с целью их подслушивать, а для того, чтобы не сконфузить их своим появлением; но вышло все-таки, что я мимовольно учинился ближайшим свидетелем их сокровеннейшей тайны — тайны, в которой я подозревал суровое, жесткое, неумолимое участие моей матери и... желал ей неуспеха... Нет; этого мало: я желал ей более, чем неуспеха, и почувствовал в душе злое стремление стать к ней в оппозицию и соединиться с партиею, которая должна расстроить и низвергнуть все систематические планы, сочиненные ее угнетающею практичностью.

XXI

Первые звуки разговора, которые долетели до меня от этой пары, были какие-то неясные слова, перемешанные не то с насмешкою, не то с укоризной. Слова эти принадлежали Сержу, который в чем-то укорял Христю

и в то же время сам над нею смеялся. Он, как мне показалось, держал по отношению к ней тон несколько покровительственный, но в то же время не совсем уверенный и смелый: он укорял ее как будто для того, чтобы не вспылить и не выдать своей душевной тревоги.

Христя отвечала совсем иначе: в голосе ее звучала тревога, но речь ее шла с полным самообладанием и уверенностию, которые делали всякое ее слово отчетливым, несмотря на то, что она произносила их гораздо тише. Начав вслушиваться, я хорошо разобрал, что она уверяла своего собеседника, будто не имеет ни на кого ни в чем никакой претензии; что она довольна всеми и сама собой, потому что поступила так, как ей должно было поступить.

Серж опять искусственно рассмеялся.

— Что же? я радуюсь, что ты так весел, — молвила в ответ на это Христя, но мне показалось, что эта неуместная веселость ее обидела, и она тихо сняла руку с его локтя.

— Зачем же ты отнимаешь у меня свою руку? — спросил Серж.

Христя промолчала.

— Слышите ли вы, Харитина Ивановна? — повторил он шутливо, — я вас спрашиваю: зачем вы отнимаете у меня свою руку?

— Так нам обоим удобнее идти, чтобы не сбить друг друга в грязь.

— Это острота или каламбур?

— Право, ни то, ни другое, Серж, и вы бы мне, кажется, могли поверить, что мне едва ли до острот.

— Но кто же, кто всему этому виноват? — вскричал нетерпеливо Серж.

— Никто не виноват! все это идет само собою так, как ему должно быть.

— Мать моя, наконец, ведь согласна на нашу свадьбу. Что же еще тебе нужно?

Христя молчала.

— Неужто тебя могут останавливать или стеснять глупые толки этого кабана, моего дяди, или моих дур-тетушек? Где же твои уверения, что тебя не может стеснять ничье постороннее мнение? Ты, значит, солгала,

когда говорила, что любишь меня и тебе все равно, хоть бы весь мир тебя за это возненавидел...

Христя снова промолчала и ступала тихо и потерянно глядя себе под ноги.

— Между тем, мне кажется, я сделал все, — продолжал Серж, — ты желала, чтобы я помирился с тетками, и я для тебя помирился с этими сплетницами... И даже более: ты хотела, чтобы в течение года, как мы любим друг друга, с моей стороны не было никакой речи о нашей свадьбе. Я знал, что это фантазия; вам угодно было меня испытать, удостовериться: люблю ли я вас с такою прочностию, какой вы требуете?

— Да, Серж.

— И что же? как это мне ни казалось вздорным...

— Нет, это не вздор, — перебила тихо Христя.

— Ну, и прекрасно, что не вздор, — и я все это исполнил: целый год я не говорил тебе об этом ни одного слова (Христя вздрогнула). Наконец, — продолжал Серж, — когда, по прошествии этого года моего испытания, мать моя по своим барским предрассудкам косо смотрела на мою любовь и не соглашалась на нашу свадьбу, ты сказала, что ни за что не пойдешь за меня против ее воли; я и это устроил по-твоему: мать моя согласна. Ты теперь не можешь сказать, что это неверно, потому что она сама тебе об этом писала, даже более: она лично говорила об этом твоему отцу; и, наконец, еще более: я настоял, чтобы она сама была у вас, и она одолела свою гордость и была у вас, и была с тобою как нельзя более ласкова...

Христя перебила его — и, протянув ему руку, произнесла:

— Да; благодарю тебя, Серж, это все правда: ты очень добр ко мне, и я не заслужила того, что ты для меня делал.

— Нечего про то говорить: заслуживаешь ли ты или не заслуживаешь; когда люди любят друг друга, тогда нет места никаким счетам; но речь о том, что всему же на свете должна быть мера и свой конец.

— Ах да, и они для нас уже исполнились.

— Ну, я этого не вижу, ты не идешь к концу, а, напротив, все только осложняешь.

— Нет, Серж.

— Как же нет? когда я уезжал отсюда неделю тому

назад, ты просила меня верить, что теперь уже все кончено и решено, что я должен быть покоен, а тебе нужно только несколько дней, чтобы выбрать день для нашей свадьбы; но прошел один день — и я получаю от тебя письмо с просьбою не приезжать неделю сюда. Привыкнув к твоим капризам, я смеялся над этим требованием, но, однако, и его исполнил. В эти восемь дней ты что-то писала maman... Что ты такое ей писала?

— Оставь это, Серж.

— Нет: я хотел бы это знать, что у тебя за тайны от меня с моей матерью?

— Я ей кое в чем открылась.

— Открылась? в чем?

— Это моя тайна, Серж!

— «Открылась»... «тайна»... Господи, что за таинственность!

— Оставь это, бога ради; я открыла ей мои душевные пороки.

— Изволь. Я не знаю, что заключалось в твоем письме; ты лжешь, что ты открыла какие-то пороки, потому что твое письмо привело мать в совершенный восторг. Я думал, как бы она с ума не сошла; она целовала твое письмо, прятала его у себя на груди; потом обнимала меня, плакала от радости и называла тебя благороднейшею девушкой и своим ангелом-хранителем. Неужто это все от открытия тобою твоих пороков?

Христя молча пошатнулась и схватилась рукою за стену.

— Что с тобою? — спросил Серж.

— Ничего; я поскользнулась. Не обращай на это внимания, продолжай, — меня очень интересует, что говорила обо мне твоя мать?

— Ничего более, как она от тебя в восторге и ни за что не хотела показать мне твоего письма.

— Вот видишь ли, как хорошо я умею утешить!

— Да оно и должно бы быть все хорошо; но что же значит твое вчерашнее письмо, чтобы я не приезжал еще две недели, и твоя записка, которую я нашел у тетушки Ольги Фоминишны: что еще за каприз или тайна, что не хочешь пускать меня к себе в дом?

— Да, это тайна, Серж.

— Опять тайна! — новая или все та же самая, что сообщалась матери?

— Почти та же самая.

— И ты ее, вероятно, решилась мне открыть?

— Да; я решилась. Я хотела сделать это, но не так скоро. Я хотела собраться с силами, — но ты не послушал меня, приехал — и мне ничего не остается, как сказать тебе все. Я знала, что ты пойдешь к нам, и решилась ждать тебя здесь... на дороге.

Он пожал плечами и с неудовольствием произнес:

— Тайна с открытием на уличном тротуаре... Это оригинально!

— Да, Серж, да: оригинально, глупо, все что ты хочешь, — но здесь я открою ее, здесь или где попало, но не там, не в нашем доме, где меня оставляют силы, когда я подумаю о том, что̀ я должна тебе сказать.

Серж остановился и выпустил ее руку.

— Нет, будем идти, — настояла Христя и, потянув его за руку, заговорила часто и скороговоркой: — между нами, Серж, все должно быть кончено... все... все... все... надежды, свидания... любовь... Все и навсегда.

— Так ты это серьезно говоришь?

— Серьезно, Серж, серьезно; я не могу быть твоею женою... я не могу поступить против твоей совести... Да; против совести, Серж, потому что я... люблю другого, Serge.

И она вдруг схватила обе его руки, жарко их поцеловала — и, подняв к небу лицо, на котором луна осветила полные слез глаза, воскликнула: «Прости! прости меня!» и бросилась бегом к своему дому.

Молодой человек кинулся за нею — и, нагнав ее, остановил на калитке.

Я не слыхал первых слов их объяснения на этом пункте, а когда я подошел, они уже снова расставались.

— И вы запрещаете мне встречаться с вами? — спрашивал Серж.

— Да; я прошу... я не могу этого запретить, но я прошу об этом, — отвечала Христя голосом, в котором уже не было слышно недавнего волнения.

Он несколько патетически произнес: «Прощайте!» и, встряхнув ее руку, пошел назад.

Я прислонился за темный выступ забора — и, пропустив его мимо себя, видел, как он остановился и, вздохнув, словно свалил гору, пошел бодрым шагом.

Христя еще стояла на пороге и все смотрела ему вслед. Мне казалось, что она тихо и неутешно плакала, и я все хотел к ней подойти, и не решался; а в это время невдалеке за углом послышались голоса какой-то большой шумной компании, и на улице показалось несколько молодых людей, в числе которых я с первого же раза узнал Пенькновского. Он был очень весел — и, заметив в калитке женское платье Христи, кинулся к ней с словами:

— Позвольте вас один раз поцеловать!

Калитка в ту же минуту захлопнулась, и опомнившаяся Христя исчезла как раз в тот момент, когда я подскочил, чтобы защищать ее от наглости Пенькновского, который, увидя меня, весело схватил меня за руку и вскричал:

— Ага! а ты это, брат, что тут по ночам делаешь?

— Я провожал мою мать, — отвечал я, боясь, чтобы самое имя Христи не стало ему известно.

— А-а! мать... Так это здесь была твоя мать?

— Да, моя мать.

— Да куда же это она шла? Разве это ваш дом?

— Нет, не наш, а тут одна наша знакомая больна.

— Фу, черт возьми, какая глупость! И чего же это, однако, твоя мать стояла на калитке?

— Она меня крестила.

— Крестила тебя! Это какие пустяки! Ну зачем... зачем она тебя крестила?

— На ночь. Она всегда меня крестит.

— Ах, черт возьми! Но ты ради бога же не говори ей, что это я к ней подлетел.

Я дал слово не говорить.

— А ты как думаешь: узнала она меня или нет? — беспокойно запытал Пенькновский.

— Нет, — отвечал я, — я думаю, что она не узнала.

— И мне кажется, не узнала... довольно темно, да и я немножко пьян, а ведь я ей наговорил, что в рот ничего не беру. Ты, однако, смотри, это поддерживай.

— Как же: непременно!

— Да, а то это выйдет не по-товарищески. А у нас, брат, сейчас были какие ужасные вещи! — и Пенькнов-

ский, поотстав со мною еще на несколько шагов от своих товарищей, сказал о них, что это всё чиновники гражданской палаты и что у них сейчас был военный совет, на котором открылась измена.

— Как измена? кто же вам изменил?

— Один подлец дворянский заседатель. Он подписал на революцию сто рублей и на этом основании захотел всеми командовать. Мы его высвистали, и отец час тому назад выгнал его, каналью. Даже деньги его выбросили из кассы, и мы их сейчас спустим. Хочешь, пойдем с нами в цукерню: я угощу тебя сладким тестом и глинтвейном.

Я поблагодарил его и отказался.

— Ну как хочешь! — сказал Пенькновский, — а то бы пошел, и отлично бы накатились. Но все равно, иди домой и непременно разведай завтра, узнала ли меня твоя мать — и если узнала, ты побожись, что это не я.

— Пожалуй.

XXII

Так, в такой обстановке и среди таких элементов я ориентировался в живописном городе, который почитается колыбелью просвещения для всего русского народа, — и, по стечению обстоятельств и по избранию моей матери, в течение десяти лет кряду был моею житейскою школою.

Это десять многознаменательных для меня лет, окончательно сформировавшие мой характер.

После того, что я описал, я непосредственно заболел; поводом к этому недугу, как матушка отгадала, действительно была простуда, полученная мною во время курения у форточки.

У меня сделалась лихорадка и колотье в ушах — болезнь, конечно, не важная, но, однако, она мешала моим и служебным и учебным занятиям. Первый блин шел комом; я только начал уроки, только подал просьбу об определении меня на службу, и сейчас же слег.

В это время, помимо болезни, со мною случилось еще две неприятности: во-первых, Кирилл явился ко мне прощаться, а как я тотчас не встал с постели, то его приняла матушка и дала ему рубль, и этим бы все могло благополучно и кончиться; но, тронутый этою благодатью,

Кирилл захотел блеснуть умом и, возмнив себя чем-то вроде Улисса, пустился в повествование о том, как мы дорогой страждовали и как он после многих мелких злоключений был, наконец, под Королевцем крупно выпорон.

Услыхав из своей комнаты, что дело дошло до королевецких происшествий, я чрезвычайно оробел, а когда матушка вдобавок к этому еще спросила: за что же именно его так обидели, страх мой уже не знал пределов, — но коварный мужичонка отлично нашелся. Немножко помямлив и почесавшись, он с достоинством отвечал:

— Эх, государыня-матушка, если всю правду говорить, как перед богом, то, вздохнув ко всевышнему, ничего я больше за собою не знаю, как это господь наказал меня за мое лакомство.

— За какое лакомство? — сказала maman.

— А что я о ту пору, лба не перекрестя, морковь ел.

После такого объяснения Кирилл был отпущен, и эта беда сплыла, но зато на место ее близилась другая: через несколько дней, во время самого жестокого пароксизма лихорадки, в доме получилось на мое имя письмо. Находясь в нестерпимом жару болезни, я ничего не понял: ни адреса на конверте, ни того, что стояло на вынутом мною листке; бумага трепетала в моей руке, и строки тряслись и путались, а глаза ничего не видали. Тогда матушка, вынув из моих дрожащих рук это письмо, взглянула на первые его строки и вся изменилась в лице, воскликнув:

— Боже мой! кто это смеет тебе писать такое письмо?

— Что там такое, maman? — осведомился я, едва шевеля своими смягнущими губами.

— Письмо начинается со слов: «Праотцев, ты дурак!»

«Плохо!» — подумал я, заключая по слогу, что это, верно, энергическая Тверь сносится с вежливым Киевом!

— Тебя бранят, — продолжала матушка, показывая мне листок, на котором я теперь при новом толчке, данном всем моим нервам, прочел несколько более того, что было сказано: «Праотцев! ты дурак и подлец...» Дальше нечего было и читать: я узнал руку Виктора Волосатина и понял, что это отклик на мою борзенскую корреспонденцию к его сестре, потому что вслед за приведенным приветствием стояли слова: «Как смел ты, мерзавец, писать к моей сестре». Читая эти слова, я вспомнил, что их точно

так же читает теперь и моя мать, и потому быстро разорвал письмо и, отвернувшись к стене, проспал целые сутки.

Когда я проснулся опять, был день в той же передобеденной поре, около которой вчера было получено тверское бранное послание. К этой поре у меня обыкновенно начинался лихорадочный пароксизм; но, однако, проснувшись теперь, я этого не ощущал. Тверская встрепка меня вылечила: я с горя переспал болезнь.

Осмотревшись, я увидал, что со мною в комнате никого нет, но невдалеке в матушкиной комнате шел тихий разговор. Этот разговор, который, впрочем, гораздо удобнее назвать медицинским рассуждением, происходил между maman и одним — в то время очень молодым — университетским профессором и касался меня.

Матушка жаловалась, что я, на ее взгляд, очень нервен и впечатлителен и что она этого боится, а медик отвечал:

— Да нет, он довольно хорошо построен, но он на длинных ножках, а уж этакие, разумеется, всегда немножко валки.

— То-то, мне кажется, он слаб, — шептала maman.

— Да я вам и говорю: люди на длинных ножках всегда несколько кволы. Коротконожки гораздо прочнее, но уж этого не переделаешь: кто на каких ножках заведен и пущен, тот на таких и ходит. Впрочем, будьте покойны: все хорошо, а я спешу заехать к Льву Яковлевичу.

Maman спросила: кто у них болен?

— Кажется, все вдруг, — отвечал доктор и добавил, что он был у них ночью и теперь снова спешит, потому что там весь дом в тревоге.

— Боже мой! что же это такое? а я не могу за болезнию сына их навестить.

— Да и не спешите: тревога пустая, и ничего опасного нет; вчера к ним приехал их племянник Серж и разругал их за что-то по правам родства.

— Ах, какая досада! они и так его не жалуют.

— Да, даже самого Льва Яковлевича назвал дикой свиньей, а с тем от этого сделался обморок, но то не важно: он на коротеньких ножках и скоро поправится.

С этим доктор взошел на прощанье взглянуть на меня — и как я притворился спящим, то он только указал

матери на мои закрытые одеялом ноги — и, прошептав, что лучше было бы, если бы они были покороче, уехал.

Между тем я во все это время с напряженным вниманием рассматривал из-под своих ресниц собственные ноги врача и нашел, что они у него чрезвычайно пропорциональны.

Освободясь от этого визита, я снова открыл глаза и стал размышлять: действительно ли бо́льшая или меньшая длина ног может иметь такое важное влияние на судьбу человека, или же господин доктор напирает на это только потому, что у самого у него прекрасные ноги и ему выгодно обращать на них косвенным образом всеобщее внимание.

В эту самую минуту к моему изголовью присела с вязаньем в руках матушка и, взглянув на мое задумчивое лицо, спросила:

— О чем ты размышляешь, дитя мое?

Я сконфузился и покраснел.

— Если это секрет, то не говори.

— Нет, maman, какой же секрет!..

И я рассказал ей, что мне пришло в голову по поводу докторского рассуждения о ногах.

— Зачем же так думать? — отвечала maman, — наш доктор очень хороший и умный человек.

— Да; он мне кажется слишком практичный, maman.

— «Слишком практичный»... что ты под этим разумеешь?

— Он... он из тех людей, которые делают только то, что им приятно или выгодно.

— Значит, по-твоему, быть практичным — все равно, что быть эгоистом?

— Да, maman... То есть позвольте, я это хорошенько не обдумал.

— Так обдумай.

Матушка, не переставая работать длинными деревянными спицами своего филейного вязанья, сосчитала ряд петель — и потом, не ожидая моего ответа, заговорила, что я сужу чрезвычайно односторонне и неправильно: что быть практичным — это еще отнюдь не значит быть себялюбивым эгоистом; но что, кроме того, в свете часто без разбора называют *практическими* людей, которые просто *разумны* и поступают умно не вследствие большой

практики, а вследствие хорошей обдуманности и ясного понимания дела. Она мне, как профессор, разъяснила, что *практически* можно знать определенное число тех вещей, в которых человеку прежде уже довелось иметь опыт, а *разумно* постигать можно все доступное разумению всесторонних свойств предмета, среди действия и условий времени и места. И вслед за тем maman, как будто пожелав еще более пояснить сказанное мне живым примером, улыбнулась и добавила:

— Вот, например, когда ты шел в голове целовавших дамам ручки кадет или писал письмо о своем душевном состоянии, ты был *непрактичен,* — ты это сделал потому, что не знал, что это не принято и не делается.

— Да, maman, да, — уверяю вас, что потому.

— Ну да, и вот потому-то это, не заключая в себе ничего особенно дурного и глупого, только непрактично; а твой тверской товарищ, который прислал тебе обидное письмо за твою ласковость, сделал гораздо худший поступок — уже не практический, а неблагоразумный: он тебя обижает за то, что ты ласкаешься... Это обозначает плохую голову и нехорошее сердце...

— Он светский, maman.

— Не думаю: светские люди стараются быть сдержанными; а люди практические — если хотят кого обидеть, то не бранятся с первых строк, потому что тогда благоразумные люди далее не читают. Кстати, извини меня: я бросила это глупое письмо в печку.

Я обнял матушку и припал головою к ее плечу.

Меня обуревали самые смешанные чувства: я был рад, что ненавистное письмо, которого я так долго ждал и опасался, — теперь мне уже более не страшно; я чувствовал прилив самых теплых и благодарных чувств к матери за деликатность, с которою она освободила меня от тяжких самобичеваний за это письмо, представив все дело совсем не в том свете, как оно мне представлялось, — а главное: я ощущал неодолимые укоры совести за те недостойные мысли, какие я было начал питать насчет материного характера. Я видел, что она добрая и благоразумная, а совсем не *практическая,* как о ней толкуют, — и мне ее стало бесконечно жалко. Я прижался к ней еще теснее и прошептал:

— Простите меня, maman!

Она взяла мое лицо в обе свои руки и спросила:

— В чем, дитя мое?

— Maman, мне это страшно сказать вам.

Матушка, видимо, встревожилась, а когда я к этому прибавил, что вина моя заключается в моем легкомыслии, с которым я позволил себе осуждать ее в своем уме, — она даже побледнела и не могла произнесть ни одного слова.

В моих мыслях мелькнул Филипп Кольберг, и я увидал, что начал пренеловкую речь, и поспешил поправиться.

— Maman, я роптал на вас: вы мне казались очень практичными, — проговорил я, потупив глаза.

— Вот что!

И матушка приподняла мою голову, посмотрела мне в глаза — и, спокойно улыбнувшись, обняла меня и прижала к сердцу.

Я слышал, как это сердце билось, и чувствовал, что оно бьется для меня, меж тем как если бы оно было практичнее — ему никто не смел бы помешать воспользоваться своим правом биться еще для кого-нибудь другого, и при этой мысли я опять почувствовал Филиппа Кольберга — он вдруг из какого-то далека насторожил на меня свои смелые, открытые глаза, которых я не мог ничем прогнать, — и только в ревнивом страхе сжал матушку и в ответ на ее ласки шептал ей:

— Maman, друг мой! вы моя самая умная, самая добрая мать. Скажите же мне, что вы меня простили.

— Ото всего сердца прощаю и извиняю.

«Прощаю и извиняю», — подумал я... — Отчего не просто прощаю?»

— О чем ты задумался? — спросила maman.

Я не вытерпел и отвечал:

— Я думаю о том, maman, зачем вы прибавили, что не только прощаете, но и извиняете меня. Разве это не все равно?

Она опять улыбнулась и сказала:

— Нет, это не все равно: прощение дается даром, по снисходительности того, кто прощает; а извинение вызывается причинами, которые заставляют не считать вину виною. Но ты, однако, очень пытлив — это хорошее качество, оно может вести к широкому разумению; но надо,

чтобы при этом не было беспокойного воображения, которое всегда ведет к напрасным тревогам и ошибкам.

Все это для меня было чрезвычайно ново — и я с восторгом чувствовал, что матушка вводит меня в сознание простых, но важных житейских истин, и гордился ею самою и ее умом. В самом деле, каждое из ее слов раскрывало передо мною в самой малой вещи весьма сложные идеи, объяснение которых было мне чрезвычайно приятно: я вкушал в эти минуты священную сладость просвещения ума и сердца. Относясь еще вчера весьма пассивно к матушкиному проекту моих усиленных научных занятий, я теперь уже осуждал себя за это равнодушие — и теперь сам страстно желал учиться, и учиться не для чего-нибудь корыстного, не для чинов, не для званий или денежных выгод, а именно для самих знаний, для постигания всего того, что при незнании и необразованности проходит у человека незамеченным и ничтожным, меж тем как при глубоком разумении жизни в ней все так осмысленно, так последовательно, причинно и условно, что можно властвовать жизнью, а не подчиняться ей. Одним словом: задушевный, хотя, как всегда, сдержанный разговор, который я имел с матушкою в этот вечер, оставил своим следствием то, что во мне вспыхнула жажда знаний, — и я с этих пор без перерыва много лет сряду рыскал и шарил везде, где надеялся найти какое-нибудь новое знание.

Я не дожидался полного моего выздоровления — и прежде, чем недовольный моими ногами доктор разрешил мне выходить из моей комнаты, я доставил maman и Ивану Ивановичу Альтанскому случай не раз повторить мне, что оба они мною очень довольны. Мое прилежание и быстрота, с которою я одолевал самим мною выпрашиваемые и удвоиваемые себе уроки, приводили и maman и профессора в удивление. О напоминаниях учиться не бывало и речи, и я уже слышал только одни удерживанья.

— Не спеши, мой друг, не спеши, — говорил мне, самодовольно улыбаясь, Альтанский. — Не опережай времени. Успеем: ты еще молод для серьезных занятий.

— У тебя ноги длинны, всего вдруг не поднимешь, — шутила на ту же тему maman.

Но я ничему этому не внимал и погрузился в книги и ученье, как мышь в кадку с мукою, откуда выглядывал на свет божий робко, изредка, с застенчивою дикостью

и большою неохотою. Притом же, удерживая сравнение себя с утонувшею в муке мышью, я должен сказать, что, найдя вкус и удовольствие в занятиях науками, я и наружу выглядывал, как бы обсыпанная мукою мышь, и уже в столь ранние мои годы начал казаться изрядным чудаком. Но буду по возможности держаться в своем повествовании порядка.

XXIII

Выздоровев, я немедленно определился на службу, но о службе моей я не стану распространяться: это была канцелярская служба, как большинство служб этого рода, то есть служба весьма необременительная — и для меня, как для «генеральского родственника», даже совсем легкая. Сам генерал не обращал на меня ни малейшего внимания, а ближайшее мое начальство (купно до столоначальника) всячески мне вольготило, конечно не потому, чтобы тем хотели сберечь мне мое время для других, более приятных и полезных занятий, а с другою целию, которой я тогда не понимал. Чиновники, меряя меня на свой аршин, предполагали во мне опасного конкурента на должности и потому заботились не допускать меня до ближайшего изучения тайн канцелярской науки. Я обыкновенно переписывал каждый день набело две-три бумаги и затем всегда с большим удовольствием уходил домой, где меня ожидали добрые друзья и научные занятия, которым я, как выше сказано, неустанно предавался с страстным увлечением и, разумеется, содержал это в полнейшем секрете от моих служебных товарищей, с которыми, впрочем, вообще я не имел ничего общего, кроме встреч в канцелярии.

Генерал Лев Яковлевич в начале моего служебного поприща раза два осведомлялся обо мне, что я делаю; но потом такая внимательность ему, вероятно, надоела — и он уже более никогда не интересовался моими служебными успехами. Матушка это видела, но, зная, что мне еще рано служить и что я служу, только подчиняясь моей суровой доле, она даже радовалась, что я пребывал вне всяких надежд на повышение по службе, но зато ничего и не заимствовал и не усвоивал себе из той чиновничьей

среды, в которую меня довольно надолго забросила житейская волна.

Знакомств мы никаких не делали, как потому, что жили на весьма ограниченные средства, так и потому, что не чувствовали в них ни малейшей надобности. Из дома мы выходили чрезвычайно редко — и то только разве к генералу Льву Яковлевичу, который, имея некоторые фамусовские черты, требовал, чтобы я у него по праздникам обедал, что мне, впрочем, всегда было сущим наказанием. Матушку же туда довольно часто вызывали, но это тоже делалось не по любви и расположенности к ней, а в целях весьма практических, так как воинственный статский генерал, зная, что матушка была дружественно знакома с домом барона К., у которого Лев Яковлевич служил в маленьком чине, конфузился ее и при ней не позволял себе дебошировать в той степени, до которой он порой доходил в своей семье, находясь на свободе без посторонних свидетелей. При этом я хочу заметить, что он, однако, никогда не дрался, а только шумел, гремел, стучал кулаками, источая потоки самой находчивой брани, называя больную жену «мокробиотикой», старшую дочь «уродом», а свояченицу «чертовой перечницей» и другими сему подобными лестными кличками. При maman он так не ругался.

Матушка очень тяготилась необходимостью посещать этот дом, но, однако, не отказывалась — сколько по своей доброте и миролюбию, столько же и потому, что считала нужным удерживать эти отношения для моей пользы. Другой дом, где мы бывали, был дом Альтанских: сюда мы ходили с удовольствием, но гораздо реже, потому что и профессор и его дочь (роман которой до сих пор остается неразъясненным в моих записках) были ежедневно у нас. Совместные занятия науками, совместная задушевная, умная и приятная беседа у камина и совместный чай, а потом легкий ужин ломтем холодного мяса — были нашим режимом, в котором мы сблизились и слились до неразрывного душевного согласия, взаимной привязанности и единства.

В этом тесном кружке нам не нужно было никакого более просторного мира, хотя мы отсюда часто обозревали весь мир и передвигали перед собою его картины при различных освещениях. В характере наших собеседо-

ваний было замечательно то, что лица в наших разговорах играли относительно очень небольшую роль; мы почти никогда не говорили о *ком*-нибудь, а всегда о *чем*-нибудь — и потому разговор наш получал форму не осуждения, а рассуждения, и через это беседе сообщался спокойный, философский характер, незаметно, но быстро давший моему уму склонность к исследованию и анализу.

Отправление в каждой беседе от живых и часто, по-видимому, ничтожных явлений частной жизни к вопросам общего значения — делало эту беседу столь легкою и доступною, что я, самый младший и невоспитанный член нашего кружка, сам не заметил, как начал свободно понимать все, что мне доводилось слышать, и чувствовал себя в силах ставить иногда более или менее уместно свое слово. Если мнение мое не служило к разъяснению вопроса, то оно нередко было поводом к указанию не бывшего до тех пор на виду возражения со стороны непросвещенного разума.

Голос мой, в своем роде, был нечто вроде *голоса из толпы,* на который всегда давался терпеливый и разумный ответ, всегда шедший мне — представителю толпы — на добрую потребу.

XXIV

Первое, что мне припоминается, — это беседа в тот самый вечер, когда между мною и матушкою произошло сердечное примирение после моих мысленных против нее раздражений.

Мы сидели в полном сборе все вчетвером, то есть я, еще немножко больной и помещавшийся в глубоком кресле, моя maman, профессор и его дочь, которая появилась к вечеру с несколько бледным, но твердым лицом.

Матушка, налив всем нам чаю, молвила, что у нее сегодня очень радостный день, — что она сегодня сделала дорогую находку или приобретение.

— Разве вы выходили сегодня? — спросила ее Христя.

— Нет, не выходила: я нашла мою находку у себя дома.

— Что же это такое?

Матушка отвечала, что она нашла сердце своего сына и приобрела его доверие.

Я покраснел.

— Но разве его сердце не всегда вам принадлежало? — продолжала Христя.

— Да; он меня любит, и он был *уверен* в моей любви, но с сегодняшнего дня все, что мне принадлежало от него *по вере,* он отдал мне *по убеждению.* Это мне очень дорого — и я высоко буду ценить этот день. Это мой праздник.

Я покраснел еще более.

— Не стыдись, пожалуйста, моей благодарности, — продолжала maman, — я знаю, что присутствовать на своей собственной цензуре очень неприятно, особенно когда нас в глаза хвалят; но я все это говорю не в похвалу тебе, а просто открываю тебе мою высшую радость. Приобрести твою откровенность — это все, чего я могла желать и молить у бога, и он все это дал мне.

Я смутился: на душе моей лежала целая тьма тайн, которых я не открыл и не решился бы открыть моей матери; но эти ее слова, послужив мне укором, возбудили во мне такой азарт покаяния, что я заговорил:

— Нет, maman, я вам еще не все открыл! — и затем я начал порывисто и страстно при всех приносить подробное покаяние во всех моих путевых проступках, не умолчав даже о том, что встретил под ярмарочными шатрами в Королевце женщин и после того не мог помыслить: как я предстану матери и обниму ее.

Это сделалось так внезапно, что не приготовленные к тому Альтанские скромно потупили глаза, а Христя даже хотела выйти; но maman остановила ее за руку и, склонив голову, внимательно и, казалось, покойно слушала мою исповедь.

Когда я кончил и заключил словами:

— Maman, прошу вас, перемените обо мне ваше доброе мнение, — я его не стою...

Матушка помолчала минуту, а потом начала спокойным и ровным голосом:

— Нет, если ты открыл все это с тем, чтобы не возвращаться к тому, в чем ты осудил себя, то ты стоишь доброго мнения.

— О да, maman, я гнушаюсь моим прошлым!

— Поди же и обними меня.

Это был такой красноречивый ответ на мое сомнение о праве обнять ее, что я кинулся ей на шею и, обняв ее, зарыдал.

— Перестаньте: вам еще вредно так сильно волноваться! — прозвучал в это время надо мною нежный голос Христи, и когда я, услыхав этот голос, поднял свое лицо, добрая девушка и мать обняли меня и обе поочередно поцеловали.

Эти чистые поцелуи были целением от моей королевецкой проказы — и притом каким святым и плодотворным целением! Ими один порок был навсегда опозорен передо мною и вырван из моего сердца.

— Еще, maman, — продолжал я в своем покаянном азарте, — я должен вас предостеречь: я скрыл от вас, что мой товарищ Пенькновский совсем не такой, каким он себя вам представил: он меня ни от чего не удерживал.

Но матушка остановила меня знаком и не позволила более рассказывать.

— Я все это считала возможным, — сказала она, — но твоего товарища осуждать нельзя — этот бедный молодой человек живет без доброго руководства.

— Колеблемая ветром трость, — тихо поддержал Альтанский и, вынув из кармана круглую табакерку, отошел с нею к окну, добавив: — панское сердечко — шляхетска кровь.

— Да; к тому же он имеет несчастие быть поляком и потому заслуживает извинения, — подсказала maman.

Помня недавний разговор о значении слов *прощать* и *извинять,* я тотчас же поспешил вдуматься: почему польское происхождение может заставить не только *прощать* пороки по милости, но даже извинять их по какому-то праву на снисхождение, и я решительно недоумевал, но матушка мне это тотчас разъяснила.

— Поляки потеряли свою самостоятельность, — продолжала она, — а выше этого несчастия нет; все народы, теряя свою государственную самостоятельность, обыкновенно теряют доблести духа и свойства к его возвышению. Так было с великими греками, римлянами и евреями, и теперь то же самое в наших глазах происходит с поляками. Это ужасный урок.

— Да; сей урок учит любить свой народ, дабы не видать его в униженном уделе побежденных, — вмешался Альтанский.

— Вы прекрасно сказали, — отозвалась мать и добавила: — но мне кажется, что этот урок тоже учит и снисхождению, какое вызывает участь побежденных?

— Да, да; тоже и этому. Fortuna belli artem victas quoque docet.[1]

— Но позвольте, maman, — заговорил я, — я, право, не знаю, как мне быть; но мне кажется, что я не должен от вас скрывать, что Пенькновский сказал мне, будто они хотят делать революцию.

Maman сдвинула брови и переспросила меня, так ли я ей выразился; а когда я повторил ей мои слова, она сухо ответила, что это непременно вздор.

— И на что им революция?

— Не знаю, — говорю, — maman; они, кажется, хотят сделать республику.

— Республика!.. Какая может быть республика у пустых и глупых людей?

— Не знаю, maman, но он мне говорил, что будет такая республика, где король и публика.

Мать промолчала, но профессор, сильно зарядив нос табаком, проговорил с легкою насмешкою:

— Республика — где король и публика, а республиканция — где нет королю вакансии.

Мне показалось, что профессор слегка шутил не над одним Пенькновским, но и над словами матери, которая тоже сделалась с ним на несколько минут суше, чем обыкновенно, и сказала, что, обращая все в шутку, можно довести до того, будто польская республика была не что иное, как котлета с горошком, которую скушали, и ее как не бывало.

— Нет, доказать, что ее как не бывало, невозможно, — отвечал профессор, — потому что кто ее скушал, те от этого располнели; но можно доказать, что пустые люди, принимаясь за хорошую идею, всегда ее роняют и портят.

С этим профессор простился, оставив матушку примиренною с его мнением, а меня с открытием, что и он и

---

[1] Судьба учит военному искусству даже побежденных *(лат.)*.

мать моя в душе республиканцы, и притом гораздо большие, чем Peнькновский, но совсем не такие, как он и его заговорщики.

Я не понимал, что́ бы такое моя мать и Альтанский могли сделать для *великой идеи,* но был уверен, что они бы ее ни за что «не уронили и не испортили».

Впоследствии я убедился, что соображения мои верны, и притом, изучая характеры и взгляды этих лиц, я открыл, что у матушки были перед профессором значительные преимущества возвышенного, но пылкого духа, тогда как профессор относился ко всему с спокойным величием мудреца. Эта разность в характерах порождала между ними легкие столкновения, разрешавшиеся чрезвычайно своеобычно. Когда матушка высказывала мысли, подобные тем, какие мною приведены выше по поводу разговора о Пенькновском, профессор обыкновенно отходил с своею табакеркою к окну и, казалось, думал совсем о другом, но уловив какое-нибудь одно слово, вдруг подбирал к нему более или менее удачную рифму и отзывался шутливо в стихотворной форме, вроде:

«В республиканции нет королю ваканции».

Так как он употреблял этот прием, очевидно, с добродушною иронией над всем слышанным, то матушке это не очень нравилось — и она, при всем своем самообладании, в подобных случаях обнаруживала легкое раздражение. Вообще же, хотя maman отзывалась об Альтанском не иначе как с величайшею похвалою, я чувствовал, что все ее похвалы относятся только к его светлому уму, непрекаемой честности и большим сведениям, но что в нем было нечто такое, что ей не совсем нравилось, и что если бы от нее зависело отлить человека в идеальную форму, то этой формой не во всем послужил бы избранный ею мне наставник.

Альтанский был ученый бурсак, матушка — просвещенная баронесса; эта разница лежала между ними всегда при всем видимом сходстве их убеждений и при несомненном друг к другу уважении. Старый ученый считал мою мать женщиною, выходящею далеко вон из ряда, но... все-таки иногда давал ей свои рифмованные ответы, смысл которых обозначал, что он считает то или другое ее положение не достойным ответа более серьезного.

Между тем они были друзьями — и это меня чрезвычайно удивляло, так как я имел совсем иное понятие о взаимном отношении дружественных между собою людей.

Совсем не то установилось в отношениях Альтанского ко мне и в отношениях моей матери к Христе. Профессор, окончив со мною урок, часто и подолгу еще оставался за тем же столом и беседовал со мною. Окончив занятия в форме строго научной, он давал мне сладчайшую умственную пищу, продолжая разговор о том же предмете в форме легкой и приятной, всегда вызывающей на размышления и дающей для них обильную пищу. И здесь уже не было никакого места рифмоплетению, если только maman не вмешивалась в дело; но всякое более или менее продолжительное вмешательство с ее стороны тотчас же вызывало у профессора наружу и его стихи и его табакерку.

Maman это заметила — и, в противность своему обещанию, перестала присутствовать при наших уроках, а потом предложила, чтобы я для большего удобства Альтанского сам ходил к нему на дом, что и мне самому было чрезвычайно приятно, так как дома у себя старик был еще дружественнее и сообщительнее. Уроки шли долго, но мне казалось, что время за ними летело на крыльях; а беседы, которыми Альтанский заключал эти уроки, портили все расписание часов, сделанное для меня матушкою. Французскому и английскому языку оставалось очень немного часов, потому что почти все вечернее время, после занятий с Альтанским классиками, я проводил у него, уносясь восторженными мечтаниями во времена давно минувшие, в мир великих мудрецов и доблестных героев. Христя в эти самые часы обыкновенно брала свои музыкальные уроки и потом занималась с maman по-английски, а мы с стариком оставались двое в его оригинальном большом кабинете, куда не допускался никто из непосвященных, хотя бы даже для того, чтобы обместь пыль, которая лежала на всем густыми слоями или висела космами. Альтанский никому не дозволял нарушать тот беспорядок, в котором он один, к неописанному моему удивлению, всегда быстро умел находить все, что ему было нужно.

Я позволю себе, в виду сверкающих седин, еще на минуту завернуть в этот задумчивый и пыльный кабинет,

куда я прятался от людей, чтобы лучше их видеть и понимать.

Мы садились здесь за свои занятия час спустя после обеда и выходили отсюда, когда бог полагал на сердце.

Заходило солнце, спускались сумерки, восходила луна, и серебристый свет ее тихо ложился на пыльный, до полу покрытый толстым фризом и заваленный фолиантами стол, а мы всё беседовали. Я где-нибудь сидел в углу, а сухой старик ходил — и ровною, благородною ораторскою речью повествовал мне о деяниях великих людей Греции, Рима и Карфагена. И я все это слушал — и слушал, часто весь дрожа и замирая от страстного волнения.

Однажды, весь взволнованный рассказом Альтанского о суде над Сократом и весь преисполненный гнева и досады, я сорвался с места и схватил Альтанского за руку, как бы желая его остановить, но он спокойно обнял меня своею другою рукою и увлек вперед. Мы ходили обнявшись — и беседа, не прекращаясь, лилась и лилась своей чередою.

— Ты дрожишь, — сказал он в заключение, обратясь ко мне и впервые заговорив со мною на *ты*. — Ты дрожишь от негодования на людскую несправедливость: слагай это в своем сердце.

— Я этого не позабуду, — отвечал я, сжимая до крови ногтями грудь под сорочкой.

Старик остановился и, посмотрев на меня, спросил:

— Какого духа ты теперь исполнен?

— Я умереть хочу за справедливость, — прошептал я.

— О добрый юноша! — воскликнул старик, — справедливость покуда лишь *хорошая идея*, осуществления которой в толпе нет, точно так же, как не может ее быть у тирана. Смирись перед этим — и поди в кухню и поставь самовар.

И когда я пошел буквально исполнить то, что мне сказано, старик уснул — и я застал его спящим на диване, всего озаренного янтарными лучами заходящего солнца.

«Так-то мирен закат твой, — подумал я, — каков-то задастся он мне?» — и при этом мне вдруг чудилось, что мне еще куда-то надо сбежать отсюда до заката; в открытую форточку врывалась свежая струя и куда-то

манила... Куда?.. Но я отвращался от этой взманы и учился, учился все больше и служил моему учителю все покорнее и смиренней. Я с каким-то сладким раболепством исполнял при нем разные послуги: ходил покупать ему нюхательного табаку, бегал на Подол за особыми булками, которые в вечеру выносили на базар две известные в то время киевские пекарки, Поднебесная и Керасовна, и аккуратно чистил клетку его седого бердичевского соловья.

Зато и сам Альтанский не чинился со мною — и в то время, как употреблял меня вместо отдыха на побегушки и ставленья самовара, он сам садился к окну и при свете сумерек или при слабом блеске луны царапал в моей тетради мысли, которые хотел водворить в душе моей, чтобы поставить меня «господином, а не рабом жизни».

Успехи я делал невероятно быстрые, но влияние их на меня было несколько странно; я чувствовал себя очень слабым на моих длинных ножках.

Однако об этом невдалеке речь впереди.

XXV

Отношения maman и Христи являли другую картину; по моим замечаниям, maman не без некоторой горечи видела мое исключительное пристрастие к Альтанскому, но нежно любила его дочь. Однако, как они ни были друг к другу нежны, казалось, что между ними нет той тесноты духовного единения, какая образовалась у нас с Иваном Ивановичем. Чтобы характеризовать их отношения, я могу сказать, что матушка любила Христю, а та ее... тоже любила, но гораздо менее, чем уважала.

Я это замечал и очень сожалел мою бедную maman, у которой была какая-то несчастная привилегия, при всех правах на всеобщую любовь, внушать людям всевозможные возвышенные чувства, кроме одной любви. Ей безусловно верили, на нее полагались, ее уважали, и все от нее ждали поступков самых благородных и прекрасных, но я никогда не знал тех, кто бы ее беззаветно любил настоящею любовью, туне приемлемою и туне даваемою, — единою, как мне кажется, истинною любовью...

Мне сдавалось, что матушка это знает, — да и могло ли это быть иначе при той проницательности, с которою она читала в сердцах людей? Я уверен, что это было так, — и этому более всего приписываю ее постоянную тихую грусть, отражавшуюся в ее взгляде.

Прекрасный и в то же время мучительный взгляд этот стал мне особенно чувствителен в то время, когда между мною и Альтанским началось дружеское, сердечное слияние, — и я начал до такой степени страдать от этого взгляда, что однажды, когда мы сидели с maman вдвоем, я вдруг кинулся к ней, схватил ее за руки — и, покрывая их поцелуями, воскликнул:

— Maman, друг мой, отчего вы так грустно смотрите?

Но описанного мною взгляда уже как бы не было: матушка смотрела на меня прямыми, добрыми и спокойными глазами и, поправив мои волосы, поцеловала меня в лоб и сказала:

— О, дитя мое, я совсем не грущу, я знаю, что ты меня много любишь, и я очень счастлива; но ты сам очень много трудишься — и я прошу тебя, оставь книгу и пройдись к Альтанским: посиди с Иваном Ивановичем — это тебя успокоит.

— Нет; я ни за что на свете не пойду от вас, maman, я хочу быть с вами.

— Но, друг мой, мне нужно сходить посидеть вечерок у твоего дяди, а как тебе там нечего делать, то ты можешь с бóльшим удовольствием провести это время у Альтанских, а потом, если хочешь, можешь попозже зайти за мною.

Я хотел возражать, но матушка, закрыв мне с улыбкою рот своею ладонью, поцеловала меня в голову и вышла в свою комнату, чтобы надеть шляпу. Потом я проводил ее до дому дяди, а сам, отправясь к Альтанскому, и не заметил, как время ушло за полночь, и я не поспел проводить maman.

Матушка не сделала мне ни малейшего упрека за это; напротив, спросив: весело ли мне было? и получив от меня утвердительный ответ, она сказала, что очень рада, что я умею находить удовольствие в беседах с таким рассудительным человеком, как старик Альтанский.

Все это у нее выходило так невозмутимо ровно, но во всем этом я чувствовал жгучие мучения ревности

и святые, беззаветные уступки любви. Обо всем этом я скорбел и влекся силою неодолимого тяготения по усвоенному направлению — и не мог восполнить потребности любви в благородном и великодушнейшем сердце моей матери.

Мучась тем, что я не могу полюбить ее более, чем умею, я чувствовал безмерную радость, когда брал из рук почталиона и подавал ей в неделю раз письмо из Петербурга, надписанное по-русски, но высоко-немецким почерком: я по предчувствию и по наведению знал, что эти письма приходят от Филиппа Кольберга, — и мудрено было, чтобы я в этом ошибался, потому что при появлении каждого такого письма, приходившего с немецкою аккуратностию в воскресный день, раз в неделю, maman теряла свою внешнюю спокойность — и, перечитывая написанное по нескольку раз, погружалась в тихое, но восторженное созерцание или воспоминание чего-то чудно-прекрасного и... *была счастлива.*

Я выводил, что когда maman чувствовала себя *счастливою* — это значит, что она чувствовала себя *любимою,* и непременно любимою возвышенно, искренно, прекрасно, одним словом, любимою гораздо более, чем любили ее все мы, здесь ее окружающие, и я за это безмерно любил тогда неизвестного мне Филиппа Кольберга.

Но тем не менее я жил все-таки тем же порядком и не умел стать в лучшие отношения к maman. Впрочем, мне ничего иного и не оставалось, потому что матушка сама утверждала этот порядок, столь далеко отступающий от порядка, продиктованного для меня ею в первый день моего прибытия. Я делал усилия изменить это, но безуспешно — ибо хотя я просил ее восстановить именно тот порядок, который она сочинила и который не практиковался, а с самых же первых дней уступил место другому, но матушка решительно отвергла мои представления и отвечала, что это невозможно и не должно быть, потому что нынешний, органически возникший порядок жизни ей кажется гораздо лучше и целесообразнее.

— К тому же, — добавила она, — если бы ты теперь был более со мною, а менее с Иваном Ивановичем, то помимо того, что я не могу принести для твоего развития той пользы, какую приносит он, но мы с тобою поступили

бы неблагодарно по отношению к такому достойному старику, как Альтанский, и огорчили бы его.

— Какое же огорчение, maman! — я у него только отнимаю время.

— Нет, мое дитя, это не совсем так, — отвечала матушка, — ты Ивана Ивановича не обременяешь. Поверь мне, что я в этом кое-что понимаю: Иван Иваныч — это то, что в какой-то басне представлено под видом лани, которая, лишась своих детей и имея полное вымя молока, искала какого-нибудь звереныша, чтобы он отдоил это отягощающее ее молоко, — ты для него этот звереныш, и притом очень добрый, а со временем будешь и благодарный.

— Maman, друг мой, но я боюсь, что вы ошибаетесь: у него и без меня такая бездна слушателей в его духовной академии.

— Это ничего не значит. Там у него слушатели, которым он говорит только то, что *обязан* говорить по требованиям службы; а тебя он учит, как внушает ему его любовь к просвещению и истине. Ты — счастливец, сын мой: ты имеешь редкого образователя, трудов которого нельзя оплатить никакими деньгами. Дорожи им и уважай его, потому что это такой честный и свободномыслящий человек, значение которого ты поймешь только со временем.

Что мне оставалось делать, как не продолжать катить мою жизнь по тем колеям, на которые она стала, само собою сорвавшись с колей, намеченных для меня матушкой.

Я так и делал: я, если так можно выразиться, все больше и больше *прилеплялся* к моему наставнику, учился у него с чрезвычайно быстрыми и прочными успехами и заправлялся в беседах с ним на особый лад, который впоследствии привел меня к большому разладью.

XXVI

Слова матушки были справедливы: любя Альтанского, я в ту пору все-таки еще не понимал, коего духа он был человек, — это пришло ко мне гораздо позже, когда его уже не стало. В те же юные мои годы, к которым

относится эта часть моих воспоминаний, я ощущал одно, что он был для меня какой-то сосуд, заключающий целебную смесь, которую, однако, надо было пить умеючи, потому что малейшее усиление приема вместо пользы, покоя, здоровья развивало во мне мучительный душевный недуг.

Легкая форма его бесед, с тонкою критикою истории культуры, зароняла во мне мысль, что жизнь современного общества, которая делалась доступною моему ведению, идет не по тому течению, которое может вывесть человечество к идеалу. Идеал этот представляло мне христианство, которое все будто бы уважают, но к которому, однако, никто сильно и искренно не стремится. Что это за ложь? как повернуть, чтобы это пошло иначе?

Альтанский мне об этом *пока* еще ничего не говорил, но я из наведений заключал, что выплыть к этому идеалу можно только гребя против уносистого течения себялюбивых, низменных страстей.

Это — образец тревоги от бесед; но злополучная натура моя разыгрывалась так, что ее преисполняли тревогой даже самые строгие занятия точными науками. Что бы я ни постигал, в голове моей вдруг мгновенно зарождалась беспокойная мысль: а что, если к этим уже известным мне положениям возникнет такое или иное неизвестное? И я начинал об этом думать и наяву и в сновидениях. Иные из этих беспокойств занимали меня так сильно, что задумчивый вид мой, который я принимал под их неотступным давлением, обращал на себя внимание матушки — и она, вся бледная и встревоженная, говорила:

— Боже мой! что такое делается с тобою, дитя мое?

— Ничего, maman, — отвечал я, — я не могу себе кое-чего решить.

— Чего? скажи мне, что ты хочешь себе решить?

Я конфузился, но большею частию открывал, что меня тревожит.

Это всегда был более или менее вздор, но порою довольно оригинальный.

Так, я помню, что вскоре же после начала моих занятий с Альтанским, когда он поправлял мои познания в географии, я впал в задумчивость оттого, что никак не мог себе представить: как привести в соотношение

с действительным временем часы в кармане путешественника, если этот путешественник поедет вокруг света по дороге, которую проложить прямо вдоль по равноденственной линии? Как: тогда сколько ни уходи время, а всё должен быть полдень... всё двенадцать часов...

Мой череп ломило от этого целый день — и я едва мог успокоиться и позабыть эту головоломную по тогдашнему моему состоянию дилемму.

Позже, когда мы начали заниматься историею и все опять шло как нельзя лучше, мне опять пришло в голову:

«Ну, прекрасно, — думал я, — теперь, когда свет простоял вот такое-то количество лет, человек в течение своей жизни может изучить историю человечества и передавать ее другому. Но ежели же сегодняшний момент жизни есть только утро существования нашего рода и впереди стоят миллионы миллионов лет... Какая же голова в конце этого долгого века будет в силах выучить и удержать в памяти все, что случилось от доисторических времен? К чему тогда весь летописный труд, архивы, к чему сама история и жажда знаний, когда всего этого позднейший человек не в состоянии будет усвоивать? а что он будет не в состоянии — это верно», — и... — опять головная боль, досада и беспокойное томление до полного упадка духа.

Наконец, однажды я окончательно испугал мать: это случилось тотчас, чуть я только коснулся логики и философии. Я опять зафантазировался — и когда матушка умоляла меня рассеяться, я, после продолжительной потери аппетита и глубочайшей сосредоточенности в себе, открылся ей, что терзаюсь неотвязною мыслию: отчего все умные люди не соберутся в одно место и не устроят такого государства, где бы или государь философствовал, или же бы где философ царствовал.

Выслушав эти слова, maman посмотрела мне в глаза и сказала, что мне решительно надо отдохнуть от наук.

Я выразил недоумение и заметил ей, что я не устал.

— Не устал, но у тебя слишком беспокойно разыгрывается воображение.

— Чего же вы боитесь, maman, моего воображения?

— Я боюсь... Да, я кое-чего боюсь.

— Но бога ради: чего именно? скажите мне, изъясните мне вред моего беспокойного воображения, — может быть, мне это поможет.

— Вред беспокойного воображения заключается в том, что оно создает призраки, и с ним ничего нельзя знать основательно.

— О, вы правы, maman!

И я схватил обеими руками свою голову — и, облокотясь на стол, залился горькими слезами.

Матушка встревожилась.

— Какая причина твоего отчаяния? — запытала она, отнимая руки мои от лица.

— Maman, вы верно сказали: я никогда не буду ничего знать основательно — я это чувствую, и это меня убивает.

Она старалась меня успокоить тем, что знания не даются вдруг, а на приобретения их нужно продолжительное время; но я не внял сим утешениям: я *чуял* правду.

— Нет, нет, — отвечал я, давяся слезами, — не утешайте меня, maman: я никогда этого не достигну... Вы сами сказали, что у меня беспокойное воображение, и я никогда... никогда... не буду ничего понимать ясно.

И тут уже я так разрыдался, что матушка бросилась поить и брызгать меня водою, меня раздели и положили в постель, в которой я опомнился через полтора месяца, изнеможденный, бледный, худой, с обритым теменем и растравленными ранами на спине и на затылке.

У меня было воспаление мозга, и я несколько дней находился на краю гроба; молодая натура моя вынесла эту опасную болезнь — и я после кризиса очнулся, но неблагонадежные тонкие ноги не в силах были держать моего исхудалого тела, и распаленная страстною жаждою знаний голова моя была не в силах работать.

Я лежал в постели, пользуясь безотходным вниманием матери и Христи, которые поочередно не оставляли меня ни на минуту, — и в это-то время, освобожденный от всяких сторонних дум и забот, я имел полную возможность анализировать взаимные отношения этих двух женщин и уяснить себе Христин роман, на который натолкнулся в первое время моего приезда и о котором позабыл в жару рассказа о своих ученых успехах.

Теперь время это поправить и рассказать кстати о деятельности моего интересного приятеля, пана Пенькновского, с которым тоже этой порою стряслись немалые беды.

XXVII

Я начну не по порядку, то есть с Пеньковского.

Напоминаю читателю, что мы в последний раз видели этого находчивого юношу на улице, тотчас после того, как известный ему дворянский заседатель, пожертвовав сто рублей, хотел быть королем публики и, потрясенный этим открытием, Пенькновский возымел намерение поцеловать Христю Альтанскую, а потом напиться глинтвейну.

С тех пор Пенькновский бывал у нас нередко; но я, при своих постоянных увлечениях то романами, то ученостию, решительно не могу дать отчета, как он появился в нашем доме, несмотря на то, что оставался при убеждении, будто он предлагал поцелуй maman. Кажется мне однако, что maman сама облегчила ему его затруднительное положение: делая однажды свою послеобеденную прогулку вблизи дома, она встретила Пенькновского, и, попеняв ему, что он нас позабыл, зазвала его напиться чаю. Мне помнится, будто он рассказывал что-то в этом роде, но наверное помню только то, что однажды мы с Иваном Ивановичем, окончив свои занятия, пришли вместе к нам и, снимая в сенях калоши, услыхали чей-то громкий голос. Альтанский, который терпеть не мог встречи с новыми людьми, хотел было сейчас же уйти, но, к счастию, я, прислушавшись, узнал голос Пенькновского, и мы вошли.

Когда я отворил дверь, Пенькновский стоял посреди комнаты и старался в одном лице изображать несколько лиц, соединенных в одной общей сцене.

Он помещался спиною к двери, в которую взошли мы, и, обращаясь к сидевшим на диване матушке и Христе, говорил:

— Вот так, смотрите: отец шел вот так по той дорожке, а Б... вот так по этой... Тут они встретились, поговорили, и Б... его взял за усы и повел... Вот по аллее, вот точно таким образом.

При этом Пенькновский взял себя левою рукою за губу — и, подвигая перед собою вперед эту руку, тянулся за нею, как бы нехотя, по комнате.

— Вот, — картавил он по причине зажатой в руке губы, — вот как он вел: но тут мой отец вдруг вот так...

Пенькновский освободил губу, поцеловал свою руку и весело расхохотался.

Христя тоже смеялась, но maman казалась смущенною и, ничего не ответив, заговорила о чем-то с Альтанским. Ей, кажется, очень не хотелось, чтобы Пенькновский продолжал свой рассказ, и тем более, чтобы он повторял его при Альтанском; но мой друг был не из таковских, чтобы его удержать, — и чуть только я успел ему заметить, что давно его не видал, как он сейчас же захохотал и понес:

— Когда тут, любезный друг, видеться! Я вот сейчас только рассказывал, что с нами было...

Maman встала и вышла в свою спальню, а Пенькновский весело продолжал:

— Ты ведь помнишь, о чем я тебя просил никому не сказывать?

— Помню.

— Ну так это теперь более не секрет, потому что с такими негодяями, как дворянский заседатель, ничего нельзя делать. Ты помнишь, что он за свои сто рублей хотел быть королем?

— Помню.

— Вообрази же, что он, мерзавец, выдумал: пользуясь тем, что он имеет деревню, он составил против нас аристократическую партию, чтобы осмеять отца, — и когда мой отец выходил из костела, их несколько человек подскочили к жандарму, который зовет экипажи, и говорят: «Зови Войцицкого кочь!» — это заседателя. Тот позвал; а они опять: «Зови пана Кошута калоши!» — Тот, разумеется, и пошел во всю глотку орать: «Пана Кошута калоши под-д-да-а-ва-а-ай», а отец соскочил с крыльца да хлоп заседателя в морду. А тот к полицеймейстеру, и рассказал, что мой отец похож на Кошута, а полицеймейстер Б..., а Б... встретил отца на гулянье в саду, взял рукой вот так за усы: «Пане Кошут, говорит, что это у вас такое?», а отец мой — он ужасно какой находчивый —

он нимало не смешался и говорит: «Это вата», а тот его прямо за усы и повел перед всей публикой по аллее.

— Будто так прямо за усы и повел? — переспросил удивленный Альтанский.

— Честное слово вам даю, совершенно взял вот так за усы, но отец его в руку...

— Укусил или плюнул?

— Поцеловал! — с гордостью воскликнул Пенькновский.

Альтанский отошел к окну и громко щелкнул по табакерке.

— О, он ужасно находчив: он поставил Б... в самое мудреное положение — тот его сейчас и выпустил.

— Ваш отец молодец, — протянул Альтанский и забурчал: «Наш отец, молодец, сел в конец, взял ларец», и, вдруг повернувшись лицом, добавил: «Прощайте».

С этим он всем нам подал руку и торопливо и наскоро, кроме одного Пенькновского, руку которого он пожал теплее и с видимым участием. И странное дело: это участие, которое, разумеется, не скрылось от взошедшей в минуту прощания maman, было как бы поводом к тому, что она вдруг сделалась гораздо суше в обращении с Пенькновским и во все остальное время, пока он тут вертелся, даже избегала вести с ним разговор.

Таковы были эти два лица: моя мать и Альтанский, на которых я смотрел как на образцы. Имея одни и те же симпатии и антипатии, они, однако, ни в чем не могли сойтись, как скоро доходило до дела, и при горячей любви друг к другу и взаимном уважении к одним и тем же принципам и идеям они отвращались от всякого взаимодействия в духе этих идей.

Мать моя была не одна возмущена тем, что Б. провел за усы киевского Кошу́та, — Альтанскому это было еще более противно; но как матушка этим возмущалась, то Альтанский старался скрыть свое негодование и рифмовал «отец, молодец, наконец и ларец». С другой стороны, матушка, презирая ничтожный польский характер, отразившийся между прочим в поступках старого Пенькновского, всегда считала обязанностью относиться к полякам с бесконечною снисходительностию, «как к жалкому народу, потерявшему национальную самостоятельность», что, по ее мнению, влекло за собою и потерю

лучших духовных доблестей; но чуть только Альтанский, питавший те же самые чувства, но скрывавший их, дал волю своему великодушию и с состраданием пожал руку молодому Пенькновскому, который кичился позором своего отца, — матери это стало противно, и она не могла скрывать своего презрения к молодому Кошуту.

Христя, когда мы с нею были одни, часто смеялась над этою страстью наших стариков противоречить друг другу.

Впрочем, и мы с Христею были в некотором смысле то же самое, что ее отец с моею матерью: я дружески полюбил ее с первой же встречи с нею и очень высоко чтил ее, но мы не сходились теснее, чем мною описано. Эта малороссийская девушка с характером глубоким, сильным и сосредоточенным была со мною очень ласкова, и, как, вероятно, читатели помнят, она даже сама предложила мне свою дружбу; но я пользовался ее дружелюбием, а никакими правами дружбы от нее не пользовался — и это незаметно, но скоро меня от нее отодвинуло. Мы с нею встречались всегда искренно и даже с радостью — и говорили обо всем, кроме того, о чем мне сначала очень бы хотелось с нею поговорить, то есть о ней самой и о ее любви к Сержу. Но этого никогда не случалось, — сначала я не смел к этому приблизиться, а потом у меня явилось опытное заключение, что Христя, при всех своих достоинствах, о которых говорила моя мать и которые я сам признавал в ней, была страшно горда и ни под каким видом никому не позволила бы прикоснуться к ее горю. В этом заключалась разъединявшая нас разница: я любил высказаться и искал сочувствия; она любила молчать и ничьего сочувствия не требовала. Та откровенность, которую я мог заметить у нее в отношении к maman в первые дни моего приезда, была коротким, временным явлением, вызванным роковым значением тогдашней критической минуты, — но и то это была не откровенность, а совсем другое. Решась по особым, достойным внимания причинам разорвать свою условленную свадьбу с Сержем, Христя искала в maman даже не поверки своих мыслей, а орудия; но раз что она, терзаясь и мучась, как я описал, все это исполнила, в обхождении ее с maman произошла быстрая перемена: Христя бесцеремонно замкнулась в самой себе. Было

время, было несколько таких дней, когда мне казалось, что Христя даже избегала свиданий с матушкой и переносила их с большим для себя принуждением; maman, несомненно, это замечала и казалась огорченною. Однако же это прошло — и у моей постели обе они снова между собою сблизились. Не знаю, было ли у них какое-нибудь объяснение, но я застал между ними полнейшую bonne intelligence, [1] хотя мой глаз, или, вернее сказать, мое чувство, приученное уже во всем видеть недостаток гармонии, открывало мне и здесь что-то не то, что бы мне хотелось видеть в их взаимных отношениях. Мне сдавалось, что Христя позволяла себя ласкать maman не по потребности сердца, а только как бы из снисхождения к обычаю и потому что это ей ничему не мешало.

Скоро явилась возможность убедиться, что я не ошибаюсь на этот счет, — и я запишу здесь открытия, какие являл мне сложный характер этой девушки, втихомолку разыгравшей свой страстный роман в то время, когда все мы считали его безвозвратно поконченным и даже позабытым ею самою.

XXVIII

Много ли, мало ли времени прошло с тех пор, как я был свидетелем разлуки Христи с Сержем, но у нас в доме никогда не говорили об этом человеке, и я ни разу не слыхал, чтобы сама Христя произносила его имя. Прошел год и половина другого, как вдруг я однажды неожиданно услыхал в канцелярии, что племянник моего генерала женится на одной очень богатой девушке из довольно знатной фамилии.

Меня это заинтересовало, и я, пустясь в расспросы, узнал, что предполагаемая невеста Сержа считается очень высокою и даже лестною для него партиею, которой этот молодец ни за что бы не сделал, если бы в устройстве этого брака не принимало участие самое высшее лицо в городе, имевшее особое попечение о матери Сержа. Все это я не преминул, возвратясь домой, сообщить моей матушке и был немало удивлен, что она

[1] Хорошее взаимопонимание *(франц.)*.

выслушала мое донесение как весть неприятную, но давно ей известную; она сдвинула с неудовольствием брови и сказала:

— Только будь, сделай милость, осторожен и не говори об этом ни одного слова при Христе.

Maman, однако, сделалась очень озабочена: вечером этого дня она куда-то ходила и не возвращалась довольно долго, так что пришедшая без нее Христя не дождалась ее. Мы пили с Христей чай двое и напрасно искали нашего серебряного сливочника и сухарницы, которые стояли на горке, но которых теперь там не было. Затем Христя так и ушла, не дождавшись maman, а maman, возвратясь около одиннадцати, показалась мне еще более взволнованною и сказала:

— Знаешь, сын мой, мне необходимо съездить по нашим делам в Одессу.

— Надолго, maman?

— Нет, недели на две или на три; но мне немножко нездоровится, и я боюсь ехать одна, а тебя мне жаль отрывать от твоих занятий; я хочу просить Христю: верно, она не откажется со мною прокатиться.

— Да, я думаю, что она не откажется, — отвечал я, — она вас здесь ждала, и мы с нею пили чай.

— Ах, вы уже пили чай!..

— Да, пили; но только никак не могли найти сливочника и сухарницы. Где вы там их поставили?

Maman как будто немножко смешалась и, ответив скороговоркою:

— Все равно: они отыщутся, — поцеловала меня в лоб и ушла в свою комнату.

Я не сомневался, что она пишет письмо к Филиппу Кольбергу — и, по обыкновению, заснул прежде, чем у ней погас огонь. Утром я получил для отправления письмо, надписанное тому, кому я догадывался.

Все время, проведенное мною в этот день на службе, я продумал об этом моем знакомом незнакомце, об этом Филиппе Кольберге, без отчета которому моя maman не проводила ни одного дня и регулярно получаемые письма которого всегда брала трепещущей рукою и читала по нескольку раз с глубоким и страстным вниманием, а иногда даже и со слезами на своих прекрасных глазах. Характер этих отношений никогда не переставал интере-

совать меня, а в этот день я был почему-то особенно имп занят и в таком настроении прямо со службы защел к Альтанским. Христя была дома одна и шила.

Мне она с первого взгляда показалась очень спокойною и даже веселою, но чуть я полюбопытствовал: знает ли она, что maman хочет просить ее съездить с нею в Одессу, в ней произошла самая неприятная перемена: она двинула своими прямыми бровями и резко ответила:

— Да, я это знаю: Катерина Васильевна уже приходила ко мне с этим великодушным предложением.

— Что же: вы, конечно, едете?

Но Христя вдруг вся вспыхнула от этого невинного вопроса и проговорила:

— С какой же это стати?.. Напротив, я вовсе не еду: на мне еще не лежит крепостной обязанности исполнять все, что нравится вашей maman.

Этот тон и грубая форма ответа до того смутили меня, что я начал извиняться за мой вопрос и потом нетвердо проговорил:

— Поверьте, Христя, maman, вероятно, никак не думала вас огорчить этим предложением: я думаю, что ей только хотелось соединить свое удовольствие с удовольствием, которое эта поездка могла принести вам... Вы ее извините: она добрая.

— Очень добрая, только обо всем у Филиппа Кольберга спрашивается, — перебила Христя с тем же худо сдерживаемым азартом.

Это имя прозвучало для моего слуха каким-то страшным глаголом и мучительно отозвалось в моем сердце: я хотел броситься на Христю... и не знаю, что сделать с нею, но потом сдержал себя и только взглянул на нее с укоризною. Христя, конечно, поняла мое состояние и поспешила поправиться.

— У Катерины Васильевны самое главное дело во всем этом поступить великодушно и написать об этом Филиппу Кольбергу.

Я молчал и нетерпеливо мял в руках мою фуражку.

Христя продолжала тоном, который зазвучал еще мягче:

— Вы разве не знаете, что все, что делается с людьми, которые имеют счастие пользоваться каким-нибудь вни-

манием вашей maman, должно быть во всех подробностях известно какому-то господину Филиппу Кольбергу? Вы его знаете?

— Не знаю.

— И я не знаю; а между тем он есть, он существует — и правит и вами и мною.

— Я знаю только то, что моя мать в переписке с человеком, носящим имя, которое вы сейчас назвали... но что мне за дело до того, о чем эта переписка? Я моей матери не судья.

— О боже! Да ее не в чем и судить!.. Успокойтесь, друг мой, я понимаю, что я говорю с сыном о матери! И потому-то я так и говорю, что я знаю, что Катерина Васильевна не может быть судима: она превыше всякого человеческого суда, но...

Христя развела руками и, вздохнув, добавила:

— Но не слушайте меня, пожалуйста, я говорю вздор, потому что мне тяжело.

— Что же вас тяготит?

Христя пожала плечами и, вновь схватив свою на минуту отброшенную работу, тихо уронила:

— Так... сама не знаю... Людям, пока они живы, тяжко с ангелами.

И она, прилегши лицом к шитью, начала откусывать нитку, а сама плакала и горела.

Я глядел на нее и перестал сердиться.

«Что же, — думалось мне, — она говорит то самое, что не раз против воли вертелось в моей собственной голове: моя maman превосходная женщина, но она так высока и благородна, что с ней именно тяжело стоять рядом».

— Ее превосходство как-то давит меня, — проговорила в это время, словно подслушав мою мысль, Христя.

Я встрепенулся.

— Меня, меня, одну *меня!* — повторила с ударением, стянув узелок, Христя. — Это не может касаться никого другого, кроме меня, потому что я... презлая и прескверная.

Она вздрогнула и замолчала.

— Maman вовсе вас не считает такою и очень вас любит, Христя.

— Знаю.

— И потому она к вам участлива, может быть, более, чем вы хотите.

— Знаю, все знаю, и я совсем не участием тягощусь: оно мне дорого, и я люблю ее... но...

— В чем же дело?

Христя вся вспыхнула и, быстро сбросив на пол работу, вскочила с места — и, став посреди комнаты, закрыла глаза, не ладонями, а пульсами рук, как это делают, плача, простонародные малороссийские девушки.

— Все дело в том, — воскликнула она, — что я люблю, люблю без разума, без памяти люблю!..

Эти слова были вместе вопль, стон и негодование души, не одолевающей силы своей страсти.

— Меня надо не жалеть, а... проклясть меня! — заключила она, дернув себя за волосы, и упала головою в угол кресла.

XXIX

Я, разумеется, поняв, что речь, сделав такой рикошет против воли автора, касается не любви Христи к моей maman, а чувств ее к другому лицу, сказал:

— Христя! милая Христя!.. прошу вас — успокойтесь! Может быть, все устроится.

С этим я подал ей воды, которой она выпила несколько глотков и, возвратив мне стакан, поникла головою на руку и, крепко почесав лоб, проговорила:

— Ничто не может устроиться: я сама все расстроила.

— Зачем же вы расстроили?

— Так было надо: ваша maman все знает. Так было надо... и я о том не жалею; но когда мне по нотам расписывают: *как* это надо терпеть, — в меня входит бес, и я ненавижу всех, кто может то, чего я не могу... Это низко, но что с этим делать, когда я не могу! Я им завидую, что они дошли до того, что один пишет: «Gnaedige Frau», [1] а другая, утешаясь, отвечает: «Ich sehe, Sie haben sich in Allem sehr vervollkommnet». [2]

Христя произнесла обе эти немецкие фразы с напы-

---

[1] Милостивая государыня *(нем.)*.

[2] Я вижу, что вы во всем очень усовершенствовались *(нем.)*.

щенною декламациею, с какою говорят немецкие пасторы и актеры, и, нетерпеливо топнув ногой, докончила:

— А я родом не така! Да, я не такая, я этого не могу: я оторвала от сердца все, что могла оторвать; а что не могу, так не могу. Отказаться можно, а перестать любить нельзя, когда любится.

— Это правда.

— Ага! вот то-то и есть, что правда! А любишь, так никак себя и не усмиришь.

— Да и не усмиряйте.

— Да я и не стану. О, вы мне поверьте! — добавила Христя, неожиданно улыбнувшись и протягивая мне руку: — вы непременно будете несчастный человек, да что же! — это и прекрасно.

Я рассмеялся.

— Да, *так,* — продолжала Христя. — Да и о чем хлопотать: все равно и они несчастны. Они прекрасные люди, только немножко трусы: им все Erwägung [1] снится, а все это вздор; мы будем смелее, и пусть нас не уважают. Не правда ли? Если мы никому не делаем зла, — пусть нас не уважают, а мы всё будем любить то, что любили. Так или нет?

— Право, Христя, не знаю.

— Вздор; убей меня бог, знает! — отнеслась она безлично с веселыми, вверх устремленными глазами, которые вслед за тем быстро вперила в мой взгляд и с комическою настойчивостью произнесла:

— Dites moi tout ce que vous aimez. [2]

— Tout le monde, [3] — отвечал я.

— Ну а я этот tout le monde терпеть не могу: лживый, гнусный, лицемерный — ни во что не верит и все притворяется... Фуй, гадость! Я люблю знаешь кого?

Я кивнул головой.

— Да, — отвечала на этот знак Христя, — я его люблю — очень, очень люблю; а он скверный человек, нехороший, чепурной, ему деньги нужны, он за деньги и женится, но со мною бы никогда не был счастлив, потому

---

[1] Здесь: осторожность, благопристойность, общественное уважение *(нем.)*.

[2] Скажите мне, что вы любите *(франц.)*.

[3] Весь мир *(франц.)*.

что я простая, бедная... Да, да, да... он только не знал, как от меня отвязаться... Что же, я ему помогла!

— Я это знаю, как вы сделали.

— Знаешь?!

— Да.

Я рассказал ей, как подсмотрел и подслушал ее разговор с Сержем.

— Ну да, — отвечала она спокойно, — я все ему соврала на себя. Никого я, кроме его, не люблю, но это так нужно, пусть его совести полегчает. Ему нужно... Он не может не жить паном — и пусть живет; пусть его все родные за это хвалят, что он меня бросил. А они врут, бо он меня не бросит; бо я хороша, я честная женщина, а его невеста поганая, дрянная, злая... тпфу! Он не ее, а меня любит; да, меня, меня, и я это знаю, и хоть он какой ни будь, а я все-таки его люблю, и не могу не любить, и буду любить. И что мне до всякого Erwägung? Тпфу!.. я над собой вольна и что хочу, то и сделаю.

Я несмело спросил: что такое она хочет сделать? Но Христя молча улыбнулась и, сделав гримаску, сказала:

— Вот я яка!..

Она обращалась со мною странно: вполовину как с ребенком, лепету которого не придают большого значения; вполовину как с другом, от которого ждала сочувствия и отзыва.

Эта откровенность после пасмурной речи, которою начался наш разговор, увлекала меня за Христею в ее внутренний мир, где она жила теперь вольная, свободная и чем-то так полно счастливая, что я не мог понять этого счастья.

— Полно же; слышите вы: годи нам журитися — пусть лихо смеется!.. *Он* женится... он женится, — повторила она как бы с угрозою и, стукнув рукою, добавила: — а ко мне вернется.

Этот вечно памятный мне разговор с Христей, который она вела со мною под тягостнейшими впечатлениями своей неласковой доли и притом незадолго до катастрофы, которую пророчески назнаменовала себе, произвел на меня такое сильное впечатление, что когда я пришел домой, матушка, сидевшая за писанием, взглянув на меня, спросила:

— Ты видел Христю?

— Да, maman.

— Что с нею?

— Кажется, ничего.

Maman вздохнула, хрустнула тонкими пальцами своих рук и приказала подавать мне обедать, сама не села за стол, но продолжала писать.

«Конечно, к Филиппу Кольбергу, — подумал я, впервые сидя один за обеденным столом. — Верно, Христя с матушкою говорила еще откровеннее, чем со мной, — и вот эта теперь все описывает. Что это, в самом деле, за странная переписка?»

Я уже в глубине души словно смеялся над этою перепискою — и, получив на другой день конверт со знакомою надписью, подумал, что если в самом деле матушка заботится о том, чтобы всех, кого она любит, воспитывать и укреплять в своем духе, то она едва ли в этом успевает. По крайней мере Христя серьезно шла бунтом против ее морали, да и я чувствовал, что я... тоже склонен взбунтоваться.

XXX

Так как Христя решительно отказалась ехать в Одессу, то и матушка туда не поехала — и наш серебряный молочник с сухарницею, отправлявшиеся гостить к занимавшемуся ростом помощнику письмоводителя рекрутского присутствия, через месяц возвратились назад, а к этому времени подоспела и свадьба Сержа, которой maman, кажется, совершенно напрасно опасалась для Христи. Эта мудреная девушка более уже не впадала в такую раздражительность, какую я описал в предшествовавшей главе. Напротив, Христя вела себя чрезвычайно ровно и даже казалась очень спокойною, но только она как будто бежала из своего дома и все старалась оставаться как можно более у нас.

Maman, разумеется, была с ней в крайней степени предупредительна и ласкова — и в это время сделала шаг к иным отношениям со мною. Однажды, когда Христя ушла с отцом домой, maman сказала мне:

— Ты уже в таких летах, дитя мое, что я могу тебе рассказать историю нашей бедной Христи. Она превосходная, благороднейшая и очень гордая девушка.

— Я это знаю, maman.

— Да; она когда-то, до твоего приезда, часто бывала у твоего дяди и там встречалась с Сержем. Ты видишь, что она почти красавица, — и Серж не мог ее не заметить...

— Еще бы, maman!

— Да, он оценил ее достоинства и полюбил ее.

— Я все это знаю, maman.

— Знаешь? Ну, прекрасно! Но этот брак не мог состояться, потому что и мать Сержа и твой дядя желали ему другой партии, которую он теперь и делает. Это так выходило нужно по их соображению.

— Да, — отвечал я, — им нужно взять богатую невесту и породниться с большими домами.

— Может быть; но я должна сказать, что Серж был довольно благороден и он не хотел этого брака, а уступил только настояниям и обстоятельствам...

— То есть это так, maman, что Христя сама его обманула.

Maman взглянула на меня с удивлением и после маленькой паузы отвечала:

— Да; но ты, однако, знаешь более, чем я предполагала. Христя поступила возвышенно, великодушно и благоразумно, потому что мать Сержа считала бы брак сына с нею семейным несчастием... У них запутаны дела, и его мать... она через это лишилась бы возможности поправить их расстроенные дела.

— Но позвольте, maman, ведь это низко?

— Да, мое дитя, это не высоко; но зато Христя поступила очень благоразумно и великодушно, что отказалась от Сержа.

— Почему, maman? он ее любит.

— Потому, что у него натура похожа на придорожную землю в притче: он ее любит, и теперь он ее может любить как недосягаемое и прекрасное; но если бы она была его, он начал бы сожалеть о выгодах, приобретаемых его нынешней женитьбой.

— Так он пустой человек?

— Да; он ее не стоил.

— Но она не перестает и не перестанет его любить.

Maman опять приостановилась и, еще более удивляясь, сказала:

— Мой сын! но откуда тебе это все известно?

— От самой Христи, maman.

— От самой Христи? Я думала, что ты так проницателен, — и хотела сказать, что ты, может быть, ошибаешься, но если Христя тебе сама сказала...

— Да; она мне это сказала.

— Ну, в таком случае ты знаешь гораздо более, чем я, — отозвалась maman — и она мне показалась в эту минуту чрезвычайно жалкою, как будто для нее в жизни все кончено и она отрешена от нее. Так она была чутка и так немного надо было, чтобы причинять ей чувствительнейшие раны.

Тут вскоре была Сержева свадьба, на которой maman не была по причине ее весьма основательной болезни; но, однако, мы об этой свадьбе имели самые подробные сведения от друга моего Пенькновского: он попал туда как-то в качестве ловкого танцора и оказался большим наблюдателем, а также талантливым, и притом весьма правдивым, рассказчиком. Принесенный им к нам отчет был так полон, что мы знали всё, начиная от мелочей столового меню до путешествия Пенькновского под стол, что случилось с ним будто бы в жару танцев и не по его, конечно, воле, а потому что он разлетелся, и у него лопнула штрипка, и он упал. О женихе и невесте он не говорил ни слова — и это было очень удобно: Христя, слушавшая рассказ Пенькновского о его падении под стол, помирала со смеха, точно все это было не на Сержевой свадьбе. Так все это прекрасно разыгрывалось, что лучше и желать было невозможно. Молодые уехали в деревню, потом переехали в город, и снова откочевали на лето в деревню, и опять появились на зиму в город. Ушли два года, в течение которых утекло немало воды: Христя постарела, пожелтела и поблекла; у меня вокруг всего лица засел мягкий, но густой пушок, довольно красиво оттенявший мои смуглые щеки; а кто более всех и выгоднее всех изменился в эти года, так это Пенькновский; он стал атлет и красавец, приобрел себе массу знакомств и усвоил большую обходительность. Меня он считал самым жалким ничтожеством и, обращаясь со мною свысока, обыкновенно подавал мне два пальца. Христю не только не тревожили, но даже, по-видимому, вовсе не занимали странные известия, которые начал до-

ставлять нам из дома Сержа Пенькновский, имевший счастие обратить на себя внимание Сержевой матери и учинившийся у нее каким-то секретарем фактотумом. Пенькновский доносил, что дела у молодых пошли неладно, что супруга Сержа своевольна, зла, капризна и самовластна.

— A do tego wszystkiego trzeba wam dodać, że ona jest i bardzo głupa, [1] — говорил Пенькновский, привыкший уже считать себя поляком.

Это были общие характеристики, но вслед за тем Пенькновский появлялся к нам от времени до времени, никем не прошенный, сообщал нам скандалы и частного свойства, между которыми иные были весьма возмутительны и представляли положение Сержа очень жалким; но сам Серж, кажется, никому ни на что не жаловался и тщательно скрывал от всех свое горе.

Со временем он, вероятно, несколько попривык к своему положению, а чужие люди перестали им интересоваться. Так ушли еще два года, как опять внезапно к нам появился Пенькновский и сообщил при Христе, что жена Сержа, заплатив какой-то значительный долг за него или за его мать, сделала ему столь сильную неприятность, что он схватил шапку, выбежал вон из дома и не возвращался до утра.

— И это у них теперь часто будет повторяться, — заключил Пенькновский, и заключил не опрометчиво, потому что один раз вскоре после того, идучи вместе с Христей, мы заметили впереди себя одинокую фигуру, в которой Христя не замедлила узнать Сержа и, сжав мою руку, дала знак идти тише.

Мы прошли за ним в небольшом от него расстоянии несколько улиц. На дворе был поздний серый вечер, покрапывал дождь, и улицы были почти пусты. Серж шел тихо, понурив голову и часто останавливался; — мы всё издали за ним следовали — и я не заметил, как очутились в улице, где была квартира Альтанских.

И что же? Серж, взойдя в эту улицу, тихо пошел по противоположной стороне и, наконец, остановился под темным забором.

---

[1] А ко всему этому следует вам добавить и то, что она очень глупа (*польск.*).

Христя вздрогнула — и через минуту, схватив меня за руку, тихо скользнула в свою калитку, вбежала в комнату и, схватив карандаш и бумагу, написала дрожащею рукою несколько строк и подала их мне с словами:

— Идите и отдайте это ему.

— То есть Сержу? — переспросил я.

— Да; то есть ему, — повторила она, снова меня передразнивая, — подите и отдайте! Или нет, стойте: вы не слуга мой, а друг, и потому вы должны знать, что́ вы несете.

Она вырвала из моих рук записку, развернула ее и сказала:

— Прочтите.

Я прочел следующее:

«Если вы несчастливы и я могу что-нибудь для вас сделать, то я ни перед чем не остановлюсь. Я хочу вас видеть».

— Да, пусть он ко мне придет. Что вы на меня так смотрите?

— Я ничего...

— А ничего, так идите и скажите, чтобы он к нам пришел... по-старому... завтра... я его ждать буду.

И с этим она повернула меня и почти насильно выпроводила за двери.

Серж по-прежнему стоял на улице, но когда я стал приближаться, он тронулся с места и хотел уйти. Я ускорил шаг и, нагнав его, слегка тронул его за руку и подал письмо, которое он взял молча и нетерпеливо бросился с ним к фонарю.

Меня душили слезы: я чувствовал, что сейчас, сию минуту, совершится какое-то великое и тяжкое горе, и, тихо зарыдав в рукав, побежал домой, чтобы ничего более не знать и не видеть.

XXXI

Описанное мною событие имело свои большие последствия, которые не могли долго скрываться: Серж сделался ежедневным гостем дома Альтанских, он у них обедал, у них сидел вечера и вообще проводил у них почти все свое время.

Я очень скоро узнал об этом, но молчал и ничего не говорил maman, от которой это также не скрылось и заставило ее сильно страдать. Она была так сконфужена, что даже перестала писать Филиппу Кольбергу, а только стала очень часто нюхать спирт и проливать на сахар гофманские капли. К этому подоспела простуда, и maman заболела. Тут Христя меня удивила: она была до того к нам невнимательна, что даже не приходила навестить maman. С того вечера, как я отдал Сержу ее записку, она почти совсем не появлялась в нашем доме, но старик Альтанский ходил к нам по-прежнему, и в нем вообще не было заметно ни малейшей перемены ни в каком отношении: он был так же спокоен, так же, как и прежде, шутил и так же занимался со мною классиками и математикой.

Частые визиты женатого Сержа к Христе, по-видимому, не смущали старика и даже, может быть, совсем не останавливали на себе его внимания, как некогда не останавливало внимания исчезновение этого молодого человека. Христя теперь, как и всегда, пользовалась неограниченнейшею свободою — и я страшился, что покровительствуемая этою свободою страстная ее любовь, вероятно, сделала в это время большие и бесповоротные шаги. Наблюдая мою мать, я подозревал, что и она опасается точно того же. Мне даже казалось, что это, собственно, было и причиною ее болезни.

Я и не ошибался.

Однажды Альтанский присел после занятий со мною к изголовью maman, сказав:

— Ах, я и позабыл: у меня есть к вам записочка от дочери.

И он подал maman распечатанную записку, которую та взяла дрожащими руками и, пробежав ее, потребовала у меня свой бювар, сунула туда полученную записку и, написав ответ, велела мне его запечатать.

Я взял бювар в свою комнату и имел нескромность прочесть и Христину записку и материн ответ. Христя писала следующее:

«Катерина Васильевна! Вы должны иметь обо мне самое дурное мнение, и мне хочется сказать вам, что я его вполне стою: *я пропала!* Мое последнее поведение всякому дает право думать обо мне как о самой недо-

стойной женщине — и я сама прежде всего считаю себя недостойною доброго расположения и сообщества такой почтенной и горячо мною любимой женщины, как вы. Вот почему я не иду к вам — и, зная, что вы больны по причине, которую боюсь отгадать, решилась просить вас об одном: не считайте меня холодною и неблагодарною, не умеющею понимать и ценить вашей расположенности».

Maman на это отвечала коротким словом: «Приди ко мне, друг мой, моя милая Христя, я люблю тебя, я жду тебя со всем нетерпением и встречу тебя с верным тебе сердцем».

Я запечатал это письмо и отдал его Альтанскому, а не более как спустя один час в сенях наших дверей послышался стук щеколды, и в дверях залы появилась Христя.

Она была одета очень небрежно, в каком-то старом черном изношенном платье, и покрыта с головы таким же черным платком; но лицо ее, хотя и было бледнее обыкновенного, казалось спокойным и даже счастливым.

Застав меня одного в зале, она, ни слова не говоря, подала мне руку, улыбнулась и поцеловала меня в лоб; я ей хотел что-то сказать, но она закрыла мне рот и пошла скорыми шагами к матушкиной комнате, но вдруг на самом пороге двери остановилась, закрыла ладонями глаза и опустилась на колени.

— Боже мой! друг мой! Христя! Ты ли это? — воскликнула, быстро вскочив и севши в кровати, maman.

— Да; это я... посмотрите на меня, бога ради! — отвечала, не поднимаясь и не открывая глаз, девушка.

— Зачем же ты там стала? О господи! Иди, иди ко мне, или я не выдержу...

— Вы меня не презираете?

— Нет, нет: я жалею тебя, я люблю тебя, я хочу плакать с тобой!

Христя вскочила и, бросившись к maman, обняла ее, а я поспешил уйти в свою комнату и запер за собою двери.

Я долго сидел у себя, тяжело облокотясь головою на руки, и думал, что это за свет, что его за законы, ради которых лучшее гибнет, принося себя в жертву худшему, — и в душе моей восставало смутное недовольство жизнью, которой я не понимал, но уже был во вражде

с нею за эту Христю. *Я понимал, что она сделала,* и она мне казалась героинею — и притом такою искреннею, такою прекрасною, что я готов был за нее умереть; а когда я перестал философствовать и сделался снова свидетелем разговора, который она вела с матушкою, добрые чувства мои к ней еще более усилились.

Христя не приводила никаких аргументов в свое оправдание: она все брала на себя и говорила только одно, что она «не могла» совладеть с собою.

— Как же ты думаешь теперь жить?

— Никак. Зачем думать: ничего не выдумаешь.

— Но твой отец?

— Отец мой меня любит.

— Но его годы, его взгляды...

— Не смущайте меня: я теперь счастлива, я любима, и вы меня не отвергаете — а более мне ни до кого нет дела.

— А общество, а свет?

— А что они мне дали? чем я им обязана? Не говорите мне о них: их суд мне не нужен; я чувствую наслаждение презирать его.

— Мой друг, это не так легко.

— Легко ли, трудно ли, мне об этом теперь уже поздно думать.

— А собственная совесть?

— Совесть? она чиста. Я никого не погубила и не погублю: я отреклась от прав на почет и уважение и взяла себе бесславие — и я снесу его.

— Зачем?

— Чтобы сделать хоть немного счастливее того, кого я люблю и кто свыше меры несчастлив.

— А бог! а бог! ты забыла о нем, мое бедное дитя?

— Чей бог?

— Мой, твой, бог твоего отца.

— Бог ваш меня простит, потому что вы, будучи его творением, меня простили.

— Словом, ты не чувствуешь в своем сердце на себя никакой грозы?

— Никакой.

— И ничего не боишься?

— Ничего ровно. Я счастлива.

— О боже! — воскликнула maman. — Как прав, как прав мой друг, который предрекал мне все это!

— О ком вы говорите?

— Ты его не знаешь: его здесь нет.

— Его здесь нет; но я все равно его знаю: это тот, кого зовут Филипп Кольберг?

— Да; это он.

— Что он вам предрекал на мой счет?

— Когда мы познакомились с тобой и я писала ему об этом и описывала твое положение и твой характер, он отвечал мне: «Остерегайтесь поддерживать гордость этой девушки: такие характеры способны к неудержимым жертвам — и в этой жертве все их оправдание». Я его не послушалась, я укрепляла в тебе твою решимость отказать Сержу, потому что я предвидела твое положение в этой напыщенной семье...

— И не жалейте об этом, — перебила Христя, — вы укрепили меня в самую важную минуту и спасли меня от положения тяжкого, которого я бы не снесла — и умерла бы ненавистною себе и ему; меж тем как теперь я счастлива и умру счастливою.

— К чему же речь о смерти?

— О! я скоро, очень скоро умру!

— Зачем такая мысль?

— Она меня радует: я хочу умереть скорей, скорей...

— Зачем?

— Зачем? О, вы ли об этом спрашиваете? затем, чтобы не надоесть и... умереть любимою! Неужто вы не чувствуете, какое это блаженство?

Maman промолчала.

— О, я жалею вас, если вы этого не знаете, — продолжала девушка.

— Нет, я это знаю, — ответила тихо maman, — но...

— Но, я знаю, что вы скажете, — перебила Христя, — вы скажете, что можно умереть любимою, сохранив себе уважение, то есть не сделавшись любовницею?

— Да.

— Отвечу вам: пускай это вместит, кто может; я же не могла, и спросите этого доброго Кольберга... Я думаю, что он добрый?

— Как ангел.

— И он, конечно, умен?

— О, очень умен.

— Ну так спросите его: осудит ли он меня или нет, что я пожертвовала собою, зная все... зная даже то, что меня долго любить не будут. Но я вам говорю: я предупрежду это несчастие и умру любимая.

— Какая ты славная и какая несчастная, Христя!

Она засмеялась и проговорила:

— Славная? да, я прославилась; молчите обо мне: прячьте мою славу, пока ее не выдаст всем мое открытое бесславие.

Вышла пауза — и я понимал, что они в это время должны были молча глядеть друг на друга: мать моя с ужасом, а Христя со спокойствием, которое вызывало этот ужас.

Я стал тихонько на колени перед висевшим в моей комнате изображением Христа и, горько рыдая, просил его:

— Омой, омой грех ее твоею кровию!

Более я ничего об этом дне не помню.

XXXII

Роман Христи скоро получил огласку. Это и не могло быть иначе, потому что поведение страстно влюбленного в нее Сержа обличало его ежеминутно — и в глазах его домашних и в глазах посторонних, которым была охота что-нибудь видеть. Я не знаю, было ли Христе что-нибудь известно о том, что о ней толковали, но полагаю, что нет, потому что она решительно умерла и погреблась для всего мира. Кроме ее собственного дома, ее нигде нельзя было видеть: к нам она приходила, вся закутанная, поздно вечером и уходила ночью, да и то это продолжалось только до тех пор, пока maman была больна; но как только maman начала выходить, Христя с тех пор к нам уже не показывалась. Еще оставалась у нее церковь, так как Христя, несмотря на свое своеволие, была очень набожна, но она избрала для своего моления самую уединенную церковь и там пряталась от всех взоров. Вообще прятанье сделалось у Христи какою-то страстью и наводило на меня лично очень неприятное впечатление:

укрывающаяся Христя была точно олицетворение нечистой совести, что вовсе не шло к ней, тем более что она, судя по ее недавнему объяснению с maman, считала свою совесть совершенно чистою.

А время все шло своим чередом, дни уходили за днями; Христя все так же старалась быть невидимой, и мы виделись с нею очень редко, а с Сержем никогда; но укрепившийся в фаворе женской половины этого дома Пенькновский ретиво доносил нам, что там идут ужасные сцены и что жена и мать Сержа задумали какой-то план мщения. План этот, как вскоре обнаружилось, состоял в том, что высокий покровитель семьи Сержа, при котором сей последний был записан на службе, дал ему поручение в Петербург. Серж было восстал против этого и подавал просьбу в отставку, но просьбы этой от него не приняли, а Христя убедила его не поднимать спора и ехать. Он ее послушался и уехал, кажется, точно так же легко, как прежде послушался ее и женился на другой. И в том и в другом случае, слушая ее, он слушался собственных своих задушевных и тайных желаний, которые Христя только умела отгадывать и предлагать в виде своих просьб.

Итак, он уехал в Петербург, а мы придвинулись к Христе, которая была очень спокойна и даже как бы довольна, что осталась одна, — обстоятельство, которое меня еще сильнее навело на мысль, что Христя только бодрится, а в существе очень страдает от невыносимой тяжести положения, которое себе устроила, очертя ум и волю. Она внутренно подобрала себя к рукам, — стала гораздо порядочнее и спокойнее в поступках, и в мыслях, и даже по внешности: ее костюм и ее комнаты — все это приняло прежний стройный характер, который было совершенно утратился и исчез во дни ее безумных увлечений.

Так прошло более месяца, как вдруг случились у нас два происшествия: первое заключалось в том, что к родным Сержа пришла будто бы весть, что он в Петербурге имел неприятную историю с братом своей жены и опасно занемог. При рассказах об этом чего-то, очевидно, умышленно не договаривали, и в городе от этих недомолвок пошли толки, что у Сержа была дуэль и что он опасно ранен. Жена его немедленно поскакала в Петербург.

Христя, до которой дошла эта новость, сначала было очень испугалась, но потом подумала, успокоилась и сказала, что все это неправда.

Еще месяц спустя получилось известие, что Серж уехал для пользования за границу.

Христя, услыхав об этом, сказала:

— Ну вот *это* правда!

И вслед за тем она получила от Сержа письмо, в котором тот каялся, что роковая судьба заставляет его подчиниться тяжелым обстоятельствам; что он два года должен прожить с женою за границею, потому что иначе теща лишит его значительной доли наследства, но что он за всем тем останется верен своему чувству к Христе и будет любить ее до гроба.

Христя все это приняла с улыбкою и перенесла с таким спокойствием, что казалось, будто она вовсе даже нимало и не страдала. А вслед за тем вскоре произошло событие в другом роде, которое ее даже заставило хохотать и долго было у нас причиною немалого смеха.

Виновником этого веселого события был мой добрый друг Пенькновский.

Я уже сказал, что он пользовался большим фавором на женской половине Сержева дома. Как началось их знакомство и дружество — я не знаю; но когда мы стали обращать на это внимание, то дела уже стояли так, что Пенькновский был в их доме своим человеком, и притом человеком самым необходимым. Теща, мать и жена Сержа, до самого отъезда к мужу, без церемонии употребляли моего друга на разные посылки и послуги и удостоивали при этом своей особой доверенности, которою он и умел пользоваться с делающим ему честь тактом. Посещая нас и принося нам разные непрошенные вести из дома Сержа, он выуживал, где мог, разные сплетнишки о Христе — и, снабжая их своими комментариями, сносил туда. Он же оказывал самое ревностное и в то же время самое осторожное содействие в устройстве спасительной высылки Сержа за границу и потом остался утешать двух старух: родную мать Сержа — здоровую, толстую и чернобровую старуху Веру Фоминишну — и его тещу Марью Ильинишну, старуху менее старую, высокую, стройную и сохранившую следы некогда весьма замечательной красоты.

Эта последняя была женщина светская, — по-своему очень неглупая, щедрая, даже расточительная; она занялась Пенькновским с знанием дела: экипировала его со вкусом и так выдержала в отношении всей его внешности, что в одно прекрасное утро все мы, невзначай взглянув на моего друга, почувствовали, что он имеет неоспоримое право называться замечательным красавцем.

В самом деле, его высокий рост, крупная, но стройная и представительная фигура, прекрасные светло-русые, слегка вьющиеся волосы, открытое высокое чело, полное яблоко голубых, завешенных густыми ресницами глаз и удивительнейшей, античной формы большая белая рука, при мягкости и в то же время развязности манер, быстро им усвоенных под руководством изящной и любившей изящество тещи Сержа, обратили его в какого-то Ганимеда, затмевавшего своей весенней красотой все, что могло сколько-нибудь спорить о красоте.

Он это чувствовал и сознавал — и необыкновенно легко обучился держать себя с большой важностью. Состоя на одних со мною правах и потому будучи обязан служить приказным, он, однако, бросил свою гражданскую палату — и, переместясь в аристократическую канцелярию к начальнику, ведшему за усы его отца, взирал свысока на всех заседателей и надсмотрщиков, которых мог обогнать одним шагом. Ему теперь все улыбалось — и он полнел, добрел и ликовал, и отнюдь не подозревал, что в это самое время ему готовился урок непрочности земного счастия. Среди самых цветущих дел он получил смертельный удар, заключавшийся в том, что убогонькая жена моего дяди внезапно подавилась куриною косточкою и умерла, — а дядя мой, от которого, по выражению лица, у которого служил Пенькновский, «взятками пахло», чтобы отбить от себя этот дурной запах, сделал предложение Марье Ильинишне и получил ее руку быстро и бесповоротно. Этим политическим фортелем дядюшка, сблизясь с главным начальником края, укрепил себя на своем кресле, так как оно под ним довольно шаталось, — а бедный Пенькновский очутился без шпаги. В дом дяди его не пускали, а тайно благодетельствовать Марья Ильинишна или не хотела, или он сам считал неудобным участвовать в этой тройной игре. Словом, дела его приняли вдруг самый дурной оборот: аристократиче-

ская канцелярия не давала ему ничего, кроме каких-то весьма отдаленных видов; но как было их дождаться, когда скупой отец не давал ему ни гроша, а сам он не умел добыть трудом ни копейки.

Всякий бы на месте Пенькновского стал в тупик, и с ним случилось то же самое, но только с тою разницею, что он скоро нашелся, как поправить свои обстоятельства, и притом способом самым прочным и капитальным.

Раз, в праздничный день, он приходит к нам, по обыкновению, развязным щеголем и франтом, и, предложив maman руку, просил ее его выслушать. Они вдвоем вышли в зал, а я остался в матушкиной комнате, где грелся перед камином; но не прошло и десяти минут, как матушка вдруг вошла торопливой походкой назад. Она имела вид встревоженный и смущенный и, плотно затворив за собою дверь, сказала мне:

— Выйди, сделай милость, к нему и скажи, что я почувствовала себя дурно и легла в постель.

Я смотрел на maman молча, изумленными глазами, но она еще настойчивее повторила мне свое поручение и закопалась в мелких вещицах на своем туалете, что у нее всегда выражало большое волнение.

Я вышел в зал и увидел перед собою представительного Пенькновского, ощутил всю трудность возложенного на меня поручения, тем более что не знал, чем оно вызвано. Одну минуту мне пришло в голову, уж не сделал ли он предложения моей maman, но, вспомнив, что он в последнее время усвоил себе привычку говорить с женщинами с особенной тихой развязностью, я счел свою догадку преждевременной и просто попросил его в свою комнату.

— В твою комнату? зачем это? — спросил он меня с легкою гримаской; но, услыхав от меня то, что я должен был ему передать по поручению maman, он вдруг смялся, и на выхоленном лице его мелькнули черты, которые я видел на нем, когда обнаружилось, что Кирилл водил его под видом палача по королевецкой ярмарке.

— Послушай, — сказал он мне в одно и то же время и рассеянно и строго, — я вправе от тебя, однако, потребовать одного, чтобы ты сказал: понимаешь ли ты, что это обида...

— Ей-богу, ничего я не понимаю, — отвечал я по истине.

— Я объявляю твоей матери, что я женюсь на ее знакомой, — и так или иначе делаю ей все-таки честь: прошу ее быть моею посаженою матерью; а она вдруг, представь себе: молча смотрит на меня целые пять минут... заметь, все молча! Потом извиняется, быстро уходит и высылает ко мне тебя с этим глупым ответом, что она нездорова... Знаешь, милый друг, что если бы я не уважал ее и если бы это не в такое время, что я женюсь...

— На ком же, на ком ты женишься? — перебил я.

— А я, любезный друг, женюсь на Вере Фоминишне.

— На какой Вере Фоминишне?

— На Крутович.

— На вдове?!

— Ну да, на вдове.

— На матери Сержа?

— Ну да; на его матери.

— И Серж должен будет называть тебя mon père? [1]

У меня задергало щеки, и я не выдержал и расхохотался.

— Вот сейчас и видно, что ты еще дурак! — сказал Пенькновский, которому и самому было и смешно и конфузно; но он, однако, на меня не рассердился и ушел, удостоив меня чести приглашением в шаферы.

Когда мы вечером пришли к Христе и я рассказал ей эту историю, она смеялась до упаду и до истерики, сколько над chère papa, [2] как стали мы называть Пенькновского, столько же и над maman, которая сама шутила над замешательством, в которое поставил ее Пенькновский этою, по ее словам, «противною свадьбою».

Мы по этому случаю так много смеялись и были так веселы, что и не думали ни о положении Христи, ни о том, что над самими над нами, может быть, тоже висит какая-нибудь внезапность, способная переконфузить нас более, чем замужество одной старухи сконфузило Пенькновского и в то же время дало ему счастливую мысль самому скорее жениться на другой.

---

[1] Мой отец *(франц.)*.
[2] Дорогой папа *(франц.)*.

XXXIII

Ночью от этого усиленного смеха Христе сделалось внезапно так худо, что она присылала за maman, — и я не слыхал, как maman к ней ходила и возвратилась, — да, собственно, я не знал даже, что такое и было с Христею, и не видал ее после того в течение довольно продолжительного времени. Это случилось главным образом оттого, что я ездил по службе в один довольно далекий великороссийский город за принятием медной монеты. Поручение это было пустое и весьма нелестное, так как его мог бы исполнить всякий солдат; но maman оно очень нравилось — и даже я уверен, что она сама и схлопотала мне эту посылку.

Впрочем, выехав из Киева после продолжительного здесь сидения, я и сам был очень доволен случаю проветриться. Новые места и новые люди всегда меня интересовали — и на этот раз я ими очень занялся и провел несколько времени в дороге и при приеме денег очень приятно. Поневоле освободясь от книг, я сопричащался к жизни чужих мне людей и нашел это очень приятным, тем более что куда я ни появлялся и с кем ни сходился, мне казалось, что все меня очень ласкали и любили. Словом, я был очень счастлив — и этим счастьем дышали все письма, которые я писал матушке, описывая в них в подробности все мои думы и впечатления. Отпуском меня отсюда не торопились: денег, за которыми я приехал, не было в сборе, — их свозили в губернский город из разных уездов; все это шло довольно медленно, и я этим временем свел здесь несколько очень приятных знакомств; во главе их было семейство хозяина, у которого я пристал с моими двумя присяжными солдатами, и потом чрезвычайно живой и веселый живописец Лаптев, который занимался в это время росписскою стен и купола местного собора и жил тут же, рядом со мною, в комнате у того же самого небогатого дворянина Нестерова. Живописец Лаптев был человек маленького роста, с веселыми карими глазками, широкой чистой лысиной, через которую лежала одна длинная прядь черных волос, с открытым лицом и курносым носом, несколько вздернутым и как бы смеющимся. Одним словом: физиономия презамечательная и очень располагающая. Он имел от роду лет

тридцать пять, происходил откуда-то из мещан; провел всю свою жизнь в занятиях церковною живописью, был очень умен и наблюдателен; любил кутнуть и считал себя знатоком церковного пения, постоянно распевал разные херувимские и концерты, но пел их не сплошь, а только одни басовые партии, отчего, если его слушать из-за стены, выходило похоже на пение сумасшедшего. Он то вырабатывал свою ноту, то вдруг останавливался, воображая мысленно, как поют в это время другие голоса, считал в уме такт — и, дождавшись времени, вдруг опять хватал свою ноту и орал часто весьма немилосердно.

На этом мы с ним и познакомились; он, встретив меня, однажды спросил: не мешает ли он мне заниматься? на что я ему и отвечал, что он мне не мешает, но что я удивляюсь, как ему не мешает сумасшедший, который у нас где-то кричит.

— А-а! этот сумасшедший? Ну, я к нему уже привык, — отвечал, добродушно смеясь, Лаптев.

— Разве вы давно здесь живете?

— Нет, я-то здесь недавно, но он-то со мною уже давно; одним словом: этот сумасшедший я сам. Хе-хе-хе-хе! — засмеялся он, как засыпал мелким горошком, и, обняв меня с искренней дружбой, добавил: — не конфузьтесь, приятель дорогой, не конфузьтесь! вы не первый сочли меня за сумасшедшего; почитайте меня таким, ибо я и в самом деле таков: пою и пью, священные лики изображаю и ежечасно грешу: чем не сумасшедший...

Вечером этот веселый человек, придя с работы из церкви, взманил меня идти с ним в театр, где очень плохая провинциальная труппа разыгрывала *Каменного гостя.* И представление и обстановка были крайне незамысловаты, но меня они, однако, удовлетворяли или по крайней мере приводили в некоторый трепет; а Лаптев, который оказался большим театралом, по возвращении домой необыкновенно заинтересовал меня рассказами о столичных театрах и актерах, из которых он очень многих близко знал. От актеров он перескочил к певцам, от певцов к живописцам и скульпторам — и, рисуя одну за другою картины артистических нравов, увлек меня этим бытом до восхищения и восторга, выразившегося тем, что я вскочил с места и расцеловал его.

Он мне казался умен и прекрасен: чуя в нем биение пульса, присущее художественной натуре, я ощутил в своей душе ближайшее родство с ним — родство и согласие, каких не ощущал до сих пор ни с кем, не исключая maman, Христи и профессора Альтанского.

«Гармония — вот жизнь; постижение прекрасного душою и сердцем — вот что лучше всего на свете!» — повторял я его последние слова, с которыми он вышел из моей комнаты, — и с этим заснул, и спал, видя себя во сне чуть не Апеллесом или Праксителем, перед которым все девы и юные жены стыдливо снимали покрывала, обнажая красы своего тела; они были обвиты плющом и гирляндами свежих цветов и держали кто на голове, кто на упругих плечах храмовые амфоры, чтобы под тяжестью их отчетливее обозначалися линии стройного стана — и все это затем, чтобы я, величайший художник, увенчанный миртом и розой, лучше бы мог передать полотну их чаровничью прелесть.

О юность! о юность благая! зачем твои сны уходят вместе с тобою? Зачем не повторяются они, такие чистые и прекрасные, вдохновляющие, как этот сон, после которого я уже не мог уснуть в эту ночь, встал рано и, выйдя на коридор, увидал моего Лаптева. Он стоял и умывался перед глиняным умывальником и, кивнув мне головою, спросил:

— Или не поспалось?

— Да, не поспалось, — отвечал я, — мне приснился хороший сон, и заспать его не хочется.

— А что за сон такой снился? Пойдемте-ка ко мне чай пить, да расскажите про него, протобестию.

Мы взошли в комнату, и я рассказал мой сон.

— Важно! — отвечал, выслушав меня, Лаптев, — сон хоть куда: хоть заправскому Рафаэлю. А знаете ли, что сей сон обозначает?

— Нет, не знаю.

— А я знаю и сейчас расскажу: он значит, что, во-первых, у вас художественная жилка есть, и ей надо дать пожить: пусть она, каналья, немножечко побьется, а во-вторых... который вам год?

— Девятнадцать.

— Гм! возраст бедовый: тоже своих прав требует. Мне в эти годы тоже, черт возьми, вдохновенные штучки

снились, и я таких-то Лурлей у отца в лавке на стенах углем производил, что ай-люли! Только меня за это батька потягом по спине катал!

— За что же?

— Чтобы стен, говорили, не портил. Эх, да, сударь, да: искусство — это такая вещь, что не дается, пока за него не пострадаешь. Музы ревнивы, проклятые: пока ото всего не отвернешься да не кинешься им в ноги, дескать «примите к себе в неволю», до тех пор всё отворачиваются.

— И с вами так было?

— Да, и со мною так было: отец мой в городе лавчонку имел и меня к этому же промыслу приучал, а я всё рожи по стенам чертил, — он меня, покойник, за это и драл, дай ему бог царствие небесное. А потом он умер, матушка меня к чужому лавочнику в такую же науку отдала: я опять рожи чертить да к звукам прислушиваться. Хозяин уйдет из лавки пообедать, а я стаканы на полке расставлю, подберу их под тон, да и валяю на них палочкой «Всемирную славу». Да раз, эту «Всемирную славу» исполняя, в такой азарт пришел, что забирал, забирал всё forte fortissimo, да все эти стаканы и поколотил. Бросил их в корзинку, а они, дьяволы, так сладостно зазвенели, что я сгреб один пятифунтовик да еще в корзинку... Ах, хорошо!.. Я еще десятифунтовик — еще лучше дребезг: точно из оратории какой-нибудь на разрушение мира... Я и ну катать, — да потом как опомнился, что такое натворил, — шапку в охапку, да марш большою дорогою через забор в Москву, разгонять тоску.

— Ну-с?

— Ну-с, и поступил к живописцу, да лучше его писать стал — он меня выгнал; я в Петербург, чуть в Академию не попал.

— И отчего же вы не попали? — воскликнул я с глубоким сожалением.

— Дурак был, — отвечал Лаптев, — слюбился да женился — муза сейчас и взревновала и наплевала мне в голову, а баба ребят нарожала — и вот я, лысый, нынче лажу по лесам да куполы расписываю и тем свой гарем питаю.

Лаптев замолчал и стал собираться на работу.

Я ушел от него, и мне сделалось невыносимо скучно — точно я расстался с каким-то ближайшим и драгоценнейшим мне существом. Повторяю опять, что хотя я в этом влечении и узнавал знакомые черты пылкости и восторженности моей натуры, но это было совсем не то, что я чувствовал некогда к матери или Альтанскому. Все то было сухо, строго и подчинялось разуму, меж тем как тут меня охватывало что-то неодолимое и неодолимою же тайною властью влекло к Лаптеву. В нем я видел, или, лучше сказать, чувствовал, посланца по мою душу из того чудного, заветного мира искусства, который вдруг стал мне своим — и манил и звал меня к себе, привечая и ластя... и я стремился к нему, дрожа, и млея, и замирая от сладостной мысли быть в нем известным, знаменитым... славным...

Бедный Лаптев уже представлялся мне чем-то жалким, добрым, но мизерным: крохотною козявочкой, которую я опережу одним взмахом крыла, крыла молодого, невыщипанного, бодрого и самонадеянного.

Я от природы имел способность к музыке, как и к живописи. Еще в корпусе, находясь в числе певчих, я выучил вокальные ноты под руководством регента и самоучкою приспособился к пониманию музыкальных нот, но не умел играть ни на одном инструменте, кроме сигнального рожка, на котором при удобных случаях вырабатывал кусочки, едва удобные на этом бедном инструменте. Рисовал же я хорошо и карандашом и красками, то есть, разумеется, хорошо для кадета, а не для живописца, но я надеялся быстро усовершенствоваться. При достаточной скромности я все-таки был так самонадеян, что считал себя способным сразу сделать громадные успехи, на которые позволяли мне рассчитывать мое относительно уж не узкое развитие, вкус и знания, каких не было у Лаптева.

Долговременное неупражнение себя в искусствах стало передо мною живым и нестерпимым укором, и я страстно рванулся наверстать все это — и, ни минуты более не размышляя, бросился бегом в церковь, где работал с своими подмастерьями Лаптев.

Живописец сидел высоко в люльке и писал в парусе купола евангелиста.

Увидев меня, он захохотал опять тем же своим, как горох дробным смехом и крикнул:

— А что: не сидится, кортит?

— Скучно, — отвечал я, — пришел посмотреть.

— Чего же даром смотреть: полезайте, работу дадим. — Ей, Архип! — крикнул он живописцу, писавшему драпировки другого евангелиста, — дай-ка этому барину горшок с бramротом, — пусть его фон затирает.

— Испортит, — отвечал из-под паруса угрюмым басом Архип, большой человек, чрезвычайно похожий на отставного солдата.

— Нет, не испорчу, — отвечал я.

— Кусков наваляете — после сбивай их мастихином.

— Ничего, ничего: дай ему краски, — отозвался Лаптев и снова захохотал.

Я взлез, взял кисть и пошел затирать фон вокруг подмалеванного контура евангелиста Иоанна, и исполнил это немудреное дело прекрасно.

Лаптев, очевидно давший мне эту работу для шутки, взглянув на нее, улыбнулся и не без удивления сказал:

— Хорошо.

На другой день я сделал ту же работу в другом парусе и украдкою позволил себе положить небольшие блики на спускающейся вниз руке евангелиста, которая казалась мне неестественно освещенною.

Лаптев это заметил и, еще более удивляясь, сказал:

— Вон оно, Архип, барин-то как может. Ему можно дать в твоем парусе драпировки подмалевать.

В этом парусе был изображен евангелист Иоанн, как он обыкновенно пишется — с орлом у плеча, но с перстом, уставленным в лоб.

Я не видал ровно никакого смысла в этом упертом в лоб пальце у евангелиста, который писал вдохновением, для выражения которого здесь и представлен орел. Такое сложное и натянутое сочетание мне очень не нравилось — и я не преминул сообщить Лаптеву мою мысль.

Он задумался — и потом, согласясь со мною, крикнул:

— Архип! слышь, барин-то дело говорит: зачем евангелист палец в лоб упер?

— А куда же прикажете ему его упереть? — сердясь, отвечал Архип.

Лаптев рассмеялся и проговорил:

— Вам нас уже не переучить.

И с этим мы с ним ушли, а когда я на другой день пришел в церковь, то он, предупредительно встретив меня, сказал:

— Садитесь-ко вот тут со мною, а то они сердятся.

Я помогал Лаптеву недели две, и во все это время он, как назло, не говорил со мною ни одного слова об искусстве, а между тем я видел, что он считает меня далеко не чуждым этому призванию.

Меня это немножко досадовало, тем более что я, со свойственною мне страстностью, весь предался работе и не заметил, как, словно тать в нощи, подкрался день моего отъезда назад, в великолепно скучающий Киев, к моей чинной и страдающей матери, невозмутимому и тоже, кажется, страдающему профессору Альтанскому и несомненно страдающей, хотя и смеющейся Христе.

У меня сжалось сердце: мне стало необыкновенно жалко всех их, и в то же самое время мне было страшно возвращаться в этот кружок, который мне казался теперь таким унылым и скучным... Я представил себе en détail[1] свой дом, дом Альтанских, все эти милые мне, но как бы не моего письма лица, и потом... служба... канцелярия с ее стертыми, как старые пятиалтынные, лицами и запахом спертого воздуха и папирос... и мне хотелось куда-то бежать. Куда? Да не все ли равно: хоть под паруса церкви на люльку Архипа, хоть на подмостки театра в тоге командора, словом, куда бы ни было, но только туда, где бы встретить жизнь, ошибки и тревоги, а не мораль, вечную мораль добродетели и забот о своем совершенстве... Это все мне ужасно надоело, и... я, к стыду моему, понял, что это значит: я не мог лукавить с самим собою, я должен был сознаться себе, что мне наскучило быть с матерью, что мне не хочется уже к ней возвращаться, и я заплакал... от стыда своей неблагодарности и от досады, что я беден, ничтожен, что я не могу обеспечить мою мать всем нужным и сам броситься в какую-то иную жизнь... Я не знал какую именно, но знал, что она должна быть совсем не похожа на ту, которую я проводил до сих пор

---

[1] Детально (*франц.*).

и которую уважал... Я хотел попробовать жизни — уважения не достойной: я чувствовал, что это влечение во мне становится неодолимо.

Лаптев был человек очень умный, и при всей своей малообразованности он был настоящий «художник в душе» (что я считаю гораздо понятнее, чем, например, «гусар в душе»). Он понял, какой червяк забрался в мою душу, и порешил помочь мне его выкурить; но ошибся в расчете и вместо одного горя отпустил со мною на дорогу два, из коих одно было злее другого, хотя оба они выводили меня на одну торную дорогу, к глубочайшему раздору с собою и с миром, от которого скрыла меня черная мантия и воскрылия клобука — моего духовного шлема.

XXXIV

Вскоре же после описанной мною сцены и незадолго до моего отправления Лаптев зашел ко мне утром в субботу и говорит:

— Вот что-с, мой милостивый государь, не вам одним плохо спится, а и мне тоже стало не спаться — и в этом виноваты вы.

Я удивился.

— Да так-с, — продолжал Лаптев, — глядя на вашу страсть, я чувствую, что у меня старые пульсы заколотились. Что проку скрывать и молчать: я вам должен сказать, что вы мне напомнили мои юные годы, когда я на стенах углем рисовал и стаканы бил. Это, знаете, штука не бесстрашная — потому я с вами несколько дней и не говорил об искусстве.

— Я вас не понимаю, — отвечал я, — чего же вы испугались?

— И не удивляюсь-с, и не удивляюсь, что вы меня не поняли! Искусство... искусство, ух, какая мудреная штука! Это ведь то же, что монашество: оставь, человек, отца своего и матерь, и бери этот крест служения, да иди на жертву — а то ничего не будет или будет вот такой богомаз, как я, или самодовольный маляришка, который что ни сделает — всем доволен. Художнику надо вечно хранить в себе святое недовольство собою, а это мука, это

страдание, и я вижу, что вы уже к нему немножко сопричастились... Хе, хе, хе! — я все вижу!

— Отчего же, — говорю, — вы это видите? я ведь вам, кажется, ничего такого не говорил, да и, по правде сказать, никаких особенных намерений не имею. Я поучился у вас и очень вам благодарен — это даст мне возможность доставлять себе в свободные часы очень приятное занятие.

Лаптев замотал головой.

— Нет, — закричал он, — нет, атанде-с; не говорить-то вы мне о своих намерениях не говорили, это точно — и, может быть, их у вас пока еще и нет; но уж я искушен — и вы мне поверьте, что они будут, и будут совсем не такие, как вы думаете. Где вам в свободные часы заниматься! На этом никак не может кончиться.

Меня очень заняла эта заботливость обо мне веселого живописца — и я, испытуя его пророческий дух, спросил:

— А как же это кончится?

— А так кончится, что либо вы должны сейчас дать себе слово не брать в руки кистей и палитры, либо вас такой черт укусит, что вы скажете «прощай» всему миру и департаменту, — а это пресладостно, и прегадостно, и превредно.

Я рассмеялся.

— Тсс! тсс! — остановил меня серьезно Лаптев, — я с вами дружески говорю... потому что я вас полюбил и считаю обязанностью спасти вас от опасности. Вы не смейтесь над этим: я ведь рукомеслом богомаз, а у меня внутри художественный чертенок все-таки жив... Я полюбливаю людей... так, ни за что. Взгляну в харицу — и если замечу, что на ней зрак божественный отсияевает... я и пропал: пристращусь, полюблю, и иногда черт знает до чего люблю. Вот так и с вами: ишь у вас мордоплясия-то какая. Ах ты, каналья, какой он прекрасный!

И находившийся в своем удивительном художественном восторге Лаптев вдруг вскочил с места, пребольно ущипнул меня с обеих сторон под челюстями и, нежно поцеловав в лоб, договорил:

— Как же ты не художник, когда душа у тебя — вся душа наружи — и ты все это понимаешь, что со мною делается? Нет; тебя непременно надо спасти и поставить на настоящую дорогу.

— Сделайте милость, — отвечал я, — я не прочь, только дорога-то для меня уже выбрана: я должен служить и сидеть в канцелярии.

И при этом я рассказал ему о тех привилегиях, которые я получил в напутственное благословение при исключении меня из корпуса с обязательством служить восемь лет до первого чина.

Лаптев изрыгнул целый поток самой злой брани, но потом успокоился и сказал, что и это ничего; что восемь лет пройдут, как уже часть их прошла — и тогда только настанет для меня пора настоящего выбора.

— Вам будет двадцать пять лет, — заговорил он, — и вы будете чином коллежский регистратор, это еще чуть-чуть не китайский император: с этакими началами черт бы ее побрал, госпожу службу! Вот тогда-то вы и шатнетесь, а куда шатнуться — это надо знать. Надо делать славу или деньги: это большой расчет. Мой вам совет: делайте деньги.

— Покорно вас благодарю.

— Нет, кроме всяких шуток. Тогда и поэзия и искусство, все в мире мило будет, а иначе беда. Я об этом и хлопочу: вас надо отучить от искусства.

— Как же вы это сделаете?

— А уже я сделаю! Не беспокойтесь: я муж искушенный; у меня есть на это верное средство. Я затем к вам и пришел. Вы скоро уезжаете, я не хочу, чтобы вы уехали с тем, как теперь заправились. Вы ведь, небось, думаете, что вы видели искусство и искусника. Э, нет, отец родной, вы видели не искусника, а черта в стуле! А вот я вам покажу настоящее искусство и настоящего искусника, так вы и поймете, что до него ух как далеко ехать! Да-с, всякая охотишка отпадет, как посмотришь, сколько нужно грабаться на верхушку, с которой все видно станет. Мне счастливая мысль пришла: сегодня суббота, завтра воскресенье, а послезавтра праздник, а потом именинница Борисоглебская гостиница: мои молодцы попируют, а потом станут зубы располаскивать и работать дня четыре не будут. Здесь в городе и мне и вам страшно скучно — и я хочу вам предложить небольшую прогулочку за город, но только ручаюсь вам, что прогулка будет первый сорт, с сопряжением пользы и удовольствий.

Я пожелал что-нибудь подробнее знать об этой прогулке, на которую звал меня Лаптев.

— Видите, — отвечал он, — тут в восемнадцати верстах от города есть село Кротово. Кличка у него ничего особенного не обещает, но само оно чрезвычайно красиво: раскинуто на берегу Оки и все в садах и парках, а что самое главное — так там такая господская усадьба, что перед нею куда твой Петергоф! Да, именно Петергоф, потому что там, в Кротове, даже есть такие собрания произведений искусства, что все пальчики оближешь: вот их-то я вам и хочу показать. Сам Павел Дмитрич Кротов — антик, который надо продавать на золотники: он рассорился со всем Петербургом, уехал к себе в Кротово и никого видеть не хочет, да нам до него и дела нет; а у него есть галерея — дивная галерея, картины всех школ и едва ли не в наилучших образцах, и вдобавок в куполе над библиотекою теперь у него пишет что-то al fresco[1] один известнейший немецкий художник: мне страсть хочется это видеть, да и вам советую: во-первых, огромное наслаждение, и притом несметная польза.

— Какая же?

— А вот там увидите. Так, значит, едем?

— Извольте.

Лаптев выбежал и через несколько минут забарабанил пальцами по стеклам моего окна и закричал:

— Подвода готова!

Я бросился к окну и увидел у ворот настланную соломою крестьянскую тележонку, в которой были запряжены худой рослый караковый мерин и толстоногая буланая кобылочка, под выменем которой сосал пегий жеребенок.

«Так вот экипаж, на котором мы поедем в кротовский храм искусства! — неважно!» — подумал я, находя эту телегу и сбрую, а особенно пристяжную кобылку с жеребенком, не особенно изящными; но делать было нечего: «важнее» нам не на чем было ехать, да и к тому же я скоро сообразил, что по-деревенски это ничего не значит. И с этим я, не только радостный, но даже торжествующий, вскочил в тележку рядом с моим Лаптевым, и мы

---

[1] В виде фрески (*итал.*).

поехали, конвоируемые сзади жеребенком, который, чувствуя впереди вольный воздух полей, заливался тонким и веселым жеребячьим ржанием.

Минуты этого отъезда, равно как и всего этого путешествия, я никогда не позабуду. По самым странным стечениям обстоятельств этот выезд был моим исходом из отрочества в иной период жизни, который я опишу когда-нибудь, более собравшись с силами, а теперь, подходя к этому рубежу, намечу только ту странную встречу в Кротове, которая была для меня вехою, указавшею мне новый путь и новые страдания.

XXXV

Село Кротово действительно было, что называется, «прелестный уголок»: оно очаровало меня еще издали его далеко открывшимися видами — и я находил, что мой Лаптев не только ничего не преувеличил, подмалевывая мне картины Кротова, но даже был немножко излишне скромен в своих похвалах. Село лежало в удолье вдоль быстрого ручья, вливавшегося в русло Оки под прямым углом, а барская усадьба была в стороне, над самыми берегами реки, по которой ползли струга с своими разноцветными значками. Издали виднелся большой каменный дом с куполом и флагштоком, на котором, впрочем, флага не было, хотя владелец жил тут. Половина дома была не отделана и, по-видимому, заброшена, что придавало в моих глазах всему зданию свою особенную поэзию. Дом в самом деле похож был на зáмок, вокруг которого веяло чем-то мрачным, таинственным.

Река подходила под самый парк и так терялась в темной тени отражавшихся в ней деревьев, что казалось, будто деревья эти ссунулись в воду. Я не знал, как мы переберемся через эту реку: моста нигде не было видно, и ни живой души нигде не шевелилось; но пока я размышлял об этом затруднении, наш извозчик сложил у рта трубкой свои ладоши и протрубил какой-то гулкий звук, в ответ на который на том берегу что-то щелкнуло, и из темени густых теней пополоз на шестах небольшой паром, сколоченный из двух плоскодонных лодок.

Мы переехали и, очутясь под самым парком, хотели подниматься на гору, как один из наших перевозчиков остановил нас и велел подвязать колокольчик.

— Зачем это?

— Барин не любит: у нас для того больше и моста нет, и с того конца тоже человек приставлен... наблюдает.

Мы сняли колокольчик и стали подыматься по довольно крутому взвозу, который шел в огиб парка и постоянно держал нас в каком-то секрете от за́мка и других строений, так что мы чем ближе к ним приближались, тем меньше их видели. Все это на меня действовало каким-то подготовляющим образом; мне неведомо почему начало казаться, что я потерял в моем сознании меру времени и связь событий: я никак не мог себя уверить, что мое имя есть точно мое, что я имею мать, которой имя и лицо такое, какое оно есть, и что я ее покинул в том, а не в другом месте, и что этому прошло уже несколько времени, а все это случилось не сейчас, не сию минуту... Меня это даже испугало: мне показалось, что нечто подобное должен чувствовать человек, когда он начинает терять рассудок, и между тем я не мог искать на все это ответа у моего Лаптева, потому что я не мог бы рассказать ему моего состояния, — и я с прозорливостью провидца сознавал, что он меня не поймет и ничего мне не в силах будет ответить.

Я взглянул на него и увидел, что он сидел в своем камлотовом плаще и, высоко задрав голову, что-то в себя тянул носом.

— Что вы делаете? — спросил я.

— А воздухец кушаю: вы разве не чувствуете, какой воздух? ведь это, батенька, почкой пахнет, а в почке весь эликсир жизни: мне, знаете, даже спать захотелось.

— Вот как!

— Да что же: я всегда возобновляюсь этим, и вам тоже советую, а вот мы и въезжаем на двор.

Я взглянул вперед и удивился: обогнув парк и взъехав на террасу, мы вдруг очутились у двух каменных столбов, заменявших ворота, и затем нам открывался двор не двор — скорее целая площадь, размеры которой в моих глазах показались чудовищными, вероятно от странного фокусного освещения. Солнце совсем уже село, и запад, облитый багровым светом, гас, но, угасая, он еще освещал

неотделанную половину дома и светил через незарамленные окна этой части на двор, тогда как во всех других окнах было темнешенько... Престранный это имело вид: точно дом этот словно многоглазое чудовище, у которого когда одни глаза спят, то другие смотрят. Я был тогда очень молод, очень мечтателен и склонен к фантастическому, а к тому же в этот день легко чувствовал себя в особенном настроении и очень предался мечтам, которые осетили меня, чуть только я коснулся головою подушки, которую подкинула мне вместе с простынею и одеялом какая-то женщина.

Мы, кажется, приехали не вовремя: в доме что-то такое происходило, что приятелю Лаптева было недосужно принять нас, а вдобавок ко всему для нас не оказалось и особого помещения, и мы должны были довольствоваться комнатою в неоконченной части дома. Здесь нам сделали на сене постель, на которую я и бросился, меж тем как Лаптев пошел любоваться какими-то видами, представлявшими, по его словам, большой эффект при лунном освещении. Я за ним не последовал, тем охотнее, что никакой луны не было — и я считал затею Лаптева о прогулке пустою фантазиею, а потому, проводив его, я уснул глубоким и сладким сном, но... вдруг совершенно неожиданно проснулся — точно меня кто в бок толкнул; я открыл глаза: луна светила в окно, обливая длинную анфиладу огромных опустелых палат бледным дрожащим светом. Сон мой был так крепок, что и проснувшись, я еще никак не мог прийти в себя и понять, где я и что перед собою вижу? Я только оглянулся на постели и, увидав, что Лаптева нет возле меня, подумал, что его со мною и не было: все действительное мне представлялось сном, и один сон был как будто действительностию. Бессилие разобрать что-нибудь в этом действовало на меня самым угнетающим образом — и я лежал точно в какой летаргии, тяжело устремив свой усталый, пристальный взгляд в одно место перед собою. Какое это было место — спросите меня, я не знаю; надо полагать, что эта была стена под высокою аркою, куда свет луны попадал каким-то рефлексом и печально обливал изображение... Какое это было изображение? Это были какие-то фигуры, из которых я не узнавал ни одной, кроме той, которой не мог не узнать, потому что это... была моя мать. Чем я присталь-

нее в нее вглядывался, тем она становилась яснее: это была она, я теперь ясно видел ее стройную фигуру, ее небесные черты и эти ее превосходные золотистые волосы, в которых только не было нынешних белых нитей. Что это такое было: сон, видение или картина? Кто мог изобразить эту картину, для которой моя мать послужила идеалом, и, наконец, что представляет вся эта сцена, в которой все казалось живым и движется, опять кроме *ее,* кроме этой святой для меня фигуры, которая стояла неподвижно, склонив под чем-то свою головку — знакомое, прелестное движение, к которому я так привык, наблюдая ее в те минуты, когда она слушала о чьем-нибудь горе и соображала: как ему помочь и не остаться к нему безучастным...

Я боялся не только встать, но даже пошевельнуться, а меж тем лунный свет все становился слабее, и видение темнело и меркло и словно переносилось со стены внутрь души моей: я стал припоминать, как я был неправ против матери; как я тяготился даже ее чистотою и неотступным ко мне вниманием, — словом, как мне хотелось выйти из-под ее опеки, и... мне вдруг показалось, что я из-под нее вышел, что матери моей более нет во всем ее существе, а она остается только в моей памяти, в моем сознании и в моем сердце.

Я повернулся к стене и заплакал: спал или не спал я после этого — не знаю, но только я слышал, как пришел Лаптев, как он долго зажигал свечу отсыревшими спичками, и все шепотом на что-то ворчал, и очень долго укладывался, и потом опять встал, скрипел что-то дверями, вероятно запирал их, и снова ложился. Все это мне ужасно надоело. Утром я встал очень рано: часов с нами не было, они остались с прочими нашими вещами внизу, в жилых покоях управителя, — но по солнцу я видел, что еще очень рано, и, вскочив, тотчас же наскоро оделся и вышел на цыпочках, чтобы найти мое ночное видение.

Приотворив с усилием двери, с которыми так долго возился ночью Лаптев, я пролез в них и остановился; передо мною был огромный круглый зал, недостроенный, но скорее заброшенный и теперь, по-видимому, вновь реставрируемый, — по крайней мере я так заключил по загромождавшим его подмосткам, из-за которых выглядывали на меня побледневшие головы фресок. Я повел

глазами вокруг, боясь найти и боясь потерять облик, которого искал, — и вот он: я увидел его там же, вверху ниши стрельчатой арки, и, не помня себя, побежал вверх по зыбким подмосткам. Я был уже почти наверху, почти у самого изображения моей матери, как вдруг вздумал взглянуть вниз... земля подо мною вертелась, прямые доски косили и выгибались под моими ногами, — я как-то повернулся субочь на одной ноге и почувствовал, что меня как будто что-то приятно щелкнуло по темени и затем вдруг встряхнуло и вытянуло... Это было так неприятно, что я открыл глаза — и увидал какого-то высокого брюнета с прекрасным чужеземным лицом, и сейчас же позабыл и себя, и его, и в пределах земных все земное. Когда я пришел в себя, была теплая синяя ночь; комната, в которой я лежал, была не высока, но воздух в ней был необыкновенно легок и пропитан каким-то тонким, живительным ароматом. Я по всей строгой истине решительно не мог сказать, где я нахожусь. Все мои чувства были в совершенном разброде, но я ощущал какую-то невыразимо приятную тишину и разлитый в воздухе запах сирени — и, тихо приподнявшись, сел на постели. В открытое окно глядел месяц и мерцали с синего неба яркие звезды, а внизу на подоконнике лежали сиреневые грозды. Что же это: где я, наконец?.. Я никак ничего не мог вспомнить, но в это время за ковром, которым была завешена стена у моей постели, послышался вздох, глубокий, теплый, куда-то рвущийся вздох, и раздались щиплющие за сердце металлические звуки цитры. Опытная и искусная рука играла хорошо знакомый мне мотив псалма из старой гугенотской библии, которая не сходила со стола моей матери.

«Все она, и все она! Кто же это здесь ею занят?» — мне показалось необходимостью узнать это теперь же, сейчас, сию минуту, и я тронулся и пошел нетвердыми шагами, держась рукою стены. Мне что-то попадалось под руку — я что-то обходил, за что-то зацеплялся и снова освобождался и, наконец, очутился в совершенно тесном пространстве, которое, вероятно, должно было быть коридором. Но что это за коридор? Я чувствовал под ногами обитый ковром пол и обтянутые какою-то материею стены, и ничего более. Куда ни двинешься — все то же самое. Но вот снова щипнула цитра, и еще, и еще,

и свежий, крепкий, мужественный баритон запел: «Eternel, aie pitié de moi, car je suis sans aucune force! Eternel, retourne-toi, garantie mon âme».[1] Это было опять ее пение, ее манера; я не выдержал и куда-то подвинул вперед руки и остановился; тяжелый ковер, преграждавший мне путь, поднялся и открыл обширную комнату, меблированную в старинном французском вкусе. Все окна ее также выходили в сад и были растворены; свет и аромат в нее лил еще раздражительнее, и тут на длинной софе с золоченым загибом сидел у небольшого легкого столика... тот, кого я видел в последний раз, когда потерял сознание: высокий мужчина с полуседою головою — и он пел этот чудный псалом.

Ковер, которым я двинул, заставил его оглянуться, и глаза наши встретились.

— Богу хвала: вы живы! — воскликнул он по-французски и, вскочив с места, заключил меня в свои объятия и, посадив в кресло, подал мне стакан воды с каплей какого-то вина.

— Жив? — спросил я, — разве я был болен?

— Да; вы лежали долго.

— Долго?

— Да; об этом после...

— Что же было со мною?

— Вы оступились с высокого места.

— Помню. Что же, я расшибся?

— Нет; вы только получили большое сотрясение.

— Кто спас мне жизнь?

— Конечно, тот, кто вам дал ее.

— Но я помню ваше лицо...

— Я был там.

— Кто же вы?.. Как ваше имя?

— Мое имя Филипп.

— О, вы Кольберг!

— Я Кольберг, я тот, которого мать ваша считает своим другом, но теперь пока это все: пока более ни слова. Слушайте меня: мы здесь одни, во всем имении нет ни хозяина, ни управителя, ни Лаптева, который привел вас;

---

[1] Предвечный, смилуйся надо мною, ибо я совсем без сил! Предвечный, обрати ко мне свой лик, спаси мою душу! *(франц.)*.

все они разъехались кто куда: я один ждал вас и дождался. За все это я попрошу у вас повиновения.

— Я должен повиноваться.

— Да; и *она* так хочет... она этого даже просила.

— Вы получили письмо от матушки?

— Да.

— Нельзя ли его видеть?

— Нет; его нельзя видеть, — отвечал Кольберг, — и вы должны не повторять этой просьбы до тех пор, когда я сам найду нужным это исполнить.

XXXVI

Он не скоро это исполнил — и зачем он исполнил это? О, сколько было бы лучше, если бы я никогда не узнал того, что сделалось с теми, кого любил я, в мое отсутствие.

С этой поры я видел Кольберга всякий день — и, глядя на его вдохновенное лицо, думал:

«Что за тайна связывает этого человека с моею матерью: может быть, она его любила, когда еще не была женою моего отца; может быть, он о сю пору ее любит».

— Господин Кольберг! — спросил я его однажды, когда мы сидели вдвоем: я читал книгу, а он рисовал карандашом эскиз будущей картины.

Он обернулся.

— Знаете, что я хочу вас спросить?

— Нет, не знаю.

— Не будет ли на этой картине, которую вы сочиняете, лицо моей матери?

— Будет.

— Зачем вы его так часто рисуете?

— Потому, что оно прекрасно.

И он положил карандаш и закрыл руками глаза.

— Господин Кольберг! — продолжал я.

— Спрашивайте.

— Как это было?

— Что?

— Maman и вы...

Он рассказал мне странную историю, в которой сам играл роль жалкую, а моя мать, по обыкновению, святую и миссионерскую: он был дерптский студент, бурш, кутила и демократ; мать — христианка. Он был происхождения ничтожного; она — баронесса. Он за нее сватался — ему отказали, — он не переставал ее любить, искал забвения в искусстве, искал смерти на баррикадах, и остался жив для того, чтобы встретить ее вдовою. Он снова предложил ей руку и снова получил отказ, но на этот раз уже не от ее родителей, а от нее самой.

— И вы знаете, кто этому был виноват? — заключил он, — виновник всего этого *вы.*

— Я!

— Да; она отвечала мне: «И половина сердца не может отвечать целому, а мое целое принадлежит все моему сыну». Взамен любви она предложила мне свою дружбу, и я жил ею, но когда ее не стало, я буду жить любовью к вам!

— Кого не стало? — вскрикнул я.

— Кого!.. *дружбы,* — отвечал Кольберг, по-видимому, совершенно спокойно, но я видел, что он лжет, и спросил:

— Разве вы поссорились с maman?

— Да, мы разладили.

— На чем?

— Я вам это скажу завтра.

Я с нетерпением ждал этого завтра и не знал, как начать, но Кольберг предупредил меня сам и довольно грубо; он сказал мне:

— Вы теперь достаточно сильны, чтобы узнать о том, что случилось...

— С maman!

— Нет; с девушкою, которую зовут...

— Христя!

— Да.

— Что с нею?

— Ровно ничего.

— Как это?

— Ее больше нет.

— Она умерла?

— Умерла. Хотите прочесть об этом?

— Очень хочу.

И я взял из его рук письмо maman от довольно давней уже даты и прочел весть, которая меня ошеломила. Maman, после кратких выражений согласия с Кольбергом, что «не все в жизни можно подчинить себе», справедливость этого вывода применяет к Христе, которая просто *захотела погибнуть,* и погибла. Суть дела была в том, что у Христи явилось дитя, рождение его было неблагополучно — и мать и ребенок отдали богу свои чистые души.

«Я укоряю себя за эту девушку, — писала maman, — я слишком высоко подняла в ней тон — и это ее сгубило. Принимая вещи обыденнее, она была бы счастливее, и...»

Тут что-то было далее, но Кольберг, следивший за моим чтением, вынул на этом месте из моих рук письмо и сказал:

— Остальное к делу не идет.

Я совсем оправился и стал собираться домой. Кольберг возвращался в Петербург. Мы расстались в городе очень дружно — и на прощание он взял с меня слово, что если мне когда-нибудь понадобится друг, то я не стану искать никого другого, кроме его. Я дал ему это слово.

— А на дорогу совет, — добавил он, — не поднимайте очень высоко тона...

— Не понимаю, — говорю.

— Берите жизнь попроще, а то спутаетесь и других спутаете. Я пострадал от этого, — смотрите вы не пострадайте, — зато и выработал себе консерв.

— Какой консерв?

— Морали: я согласен, что не делать того другому, чего себе не желаешь — мало; слова нет, что мало, потому что это одно отрицание зла, но не добро, — а вот как: faites ce que vous voulez qu'on vous fasse [1] — и больше этого ничего не нужно. Прощайте.

Я ехал благополучно до самого Киева и уже переменял лошадей на последней станции, как вдруг смотритель мне подал пакет. Я взглянул на адрес и узнал руку Кольберга, а распечатав, нашел то же материно письмо, которое уже было в моих руках и не дочитано на букве «и».

«Дочитайте!» — подписал на нем Кольберг.

---

[1] Поступайте так, как бы вы хотели, чтобы с вами поступали *(франц.)*.

«Принимая вещи обыденнее, она могла бы быть счастливее, и это приложимо ко многим. Я часто думаю, что в христианском мире установился несколько неправильный взгляд на нашу собственную жизнь: отчего, изводя себя по мелочам ради той или другой идеи, мы не вправе делать того же самого en gros?[1] Я этого решительно не понимаю: те, которые клали под топор свою голову за какую-нибудь высокую идею, разве в сущности не те же самоубийцы? Если сохранение жизни важнее всего, то они должны были ее сохранить, и тогда у нас не было бы тех идеалистов, которыми хвалится и ими живет, не доходя до крайней низости, весь род человеческий. Не укоряйте меня, мой друг, что все эти мысли приходят мне, когда я думаю о моем сыне: он теперь прожил уже срок своего наказания, получает чин и был бы свободен: он бы уехал к вам, вы бы открыли дорогу его художественному развитию, между тем как со мною он погибнет здесь среди удушливой атмосферы канцелярской, но почем знать — может быть, со временем сживется с нею и позабудет все, что я старалась в него вдохнуть... Эта мысль не дает мне покоя, и я чувствую, что я с нею не справлюсь: мое счастье развязать ему крылья и благословить его полет, искупив свое самовластие над собою карою, какой буду заслуживать».

Внизу этого рукою Кольберга было отмечено: «С тех пор писем не было».

Вы можете вообразить, в какое состояние пришел я, прочитав это письмо! Вообразите же другое мое состояние, когда я, входя в свою квартиру, не встретил моей матери... Я не спросил никакого объяснения у нашей служанки и бросился к Альтанскому.

Это был вечер: старик сидел дома, все в том же кресле, и в том же халате, и за теми же классиками.

— А, друг мой! это ты! Ну что же: ты приехал все-таки не поздно, чтобы узнать свое горе.

— Моя мать... — мог я только проговорить.

— Твоя мать кончила с собою (он не сказал мне, как она отравилась). Она увлеклась своим самоотвержением...

— О, я знаю это! знаю! и это я во всем виноват.

---

[1] В большом, в крупном *(франц.)*.

— Чем же?

— Я не умел скрыть, что мне скучно, что меня манит что-то иное, — и я потерял ее, а с ней все, что было мне мило.

— Что же, она, значит, своего достигла: теперь она для тебя никогда не умрет.

Он более не утешал меня, да я и не требовал утешения: я провел несколько дней, молясь на могиле матери, и уехал отсюда навсегда, к Кольбергу. Более мне ничего не оставалось делать: я был выбит из старой колеи и должен был искать новой.

— Я не могу быть ученым, как вы, — сказал я Альтанскому, — в душе моей горит другой огонь: огонь жизни; я хочу служить искусству.

— И служи ему, — отвечал он в час нашей разлуки, когда я в последний раз поцеловал его в бледные уста.

Он остался на берегу Днепра, а я уехал к Кольбергу. С тех пор я уже не видал старика, он умер — не от грусти, не от печали одиночества, а просто от смерти, и прислал мне в наследие своих классиков; а я... я вступил в новую жизнь — в новую колею ошибок, которые запишу когда-нибудь; конечно, уже не в эту тетрадь, заключающую дни моего детства и юношества, проведенные между людьми, которым да будет мирный сон и вечная память.

НА КРАЮ СВЕТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ранним вечером, на святках, мы сидели за чайным столом в большой голубой гостиной архиерейского дома. Нас было семь человек, восьмой наш хозяин, тогда уже весьма престарелый архиепископ, больной и немощный. Гости были люди просвещенные, и между ними шел интересный разговор о нашей вере и о нашем неверии, о нашем проповедничестве в храмах и о просветительных трудах наших миссий на Востоке. В числе собеседников находился некто флота капитан Б., очень добрый человек, но большой нападчик на русское духовенство. Он твердил, что наши миссионеры совершенно неспособны к своему делу, и радовался, что правительство разрешило теперь трудиться на пользу слова божия чужеземным евангелическим пасторам. Б. выражал твердую уверенность, что эти проповедники будут у нас иметь огромный успех не среди одних евреев и докажут, как два и два — четыре, неспособность русского духовенства к миссионерской проповеди.

Наш почтенный хозяин в продолжение этого разговора хранил глубокое молчание: он сидел с покрытыми пледом ногами в своем глубоком вольтеровском кресле и, по-видимому, думал о чем-то другом; но когда Б. кончил, старый владыка вздохнул и проговорил:

— Мне кажется, господа, что вы господина капитана напрасно бы стали оспаривать; я думаю, что он прав:

чужеземные миссионеры положительно должны иметь у нас большой успех.

— Я очень счастлив, владыко, что вы разделяете мое мнение, — отвечал капитан Б. и, сделав вслед за сим несколько самых благопристойных и тонких комплиментов известной образованности ума и благородству характера архиерея, добавил:

— Ваше высокопреосвященство, разумеется, лучше меня знаете все недостатки русской церкви, где, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные и очень добрые, — я этого никак не стану оспаривать, но они едва ли понимают Христа. Их положение и прочее... заставляет их толковать всё... слишком узко.

Архиерей посмотрел на него, улыбнулся и ответил:

— Да, господин капитан, скромность моя не оскорбится признать, что я, может быть, не хуже вас знаю все скорби церкви; но справедливость была бы оскорблена, если бы я решился признать вместе с вами, что в России го́спода Христа понимают менее, чем в Тюбингене, Лондоне или Женеве.

— Об этом, владыко, еще можно спорить.

Архиерей снова улыбнулся и сказал:

— А вы, я вижу, охочи спорить. Что с вами делать! От спора мы воздержимся, а беседовать — давайте.

И с этим словом он взял со стола большой, богато украшенный резьбою из слоновой кости, альбом и, раскрыв его, сказал:

— Вот наш господь! Зову вас посмотреть! Здесь я собрал много изображений его лица. Вот он сидит у кладезя с женой самаритянской — работа дивная; художник, надо думать, понимал и лицо и момент.

— Да; мне тоже кажется, владыко, что это сделано с понятием, — отвечал Б.

— Однако нет ли здесь в божественном лице излишней мягкости? не кажется ли вам, что ему уж слишком все равно, сколько эта женщина имела мужей и что нынешний муж — ей не муж?

Все молчали; архиерей это заметил и продолжал:

— Мне кажется, сюда немного строгого внимания было бы чертой нелишнею.

— Вы правы может быть, владыко.

— Распространенная картина; мне доводилось ее

часто видеть, по преимуществу у дам. Посмотрим далее. Опять великий мастер. Христа целует здесь Иуда. Как кажется вам здесь господень лик? Какая сдержанность и доброта! Не правда ли? Прекрасное изображение!

— Прекрасный лик!

— Однако не слишком ли много здесь усилия сдерживаться? Смотрите: левая щека, мне кажется, дрожит, и на устах как бы гадливость.

— Конечно, это есть, владыко.

— О да; да ведь Иуда ее уж, разумеется, и стоил; и раб и льстец — он очень мог ее вызвать у всякого... только, впрочем, не у Христа, который ничем не брезговал, а всех жалел. Ну, мы этого пропустим; он нас, кажется, не совсем удовлетворяет, хотя я знаю одного большого сановника, который мне говорил, что он удачнее этого изображения Христа представить себе не может. Вот вновь Христос, и тоже кисть великая писала — Тициан: перед господом стоит коварный фарисей с динарием. Смотрите-ка, какой лукавый старец, но Христос... Христос... Ох, я боюсь! смотрите: нет ли тут презрения на его лице?

— Оно и быть могло, владыко!

— Могло, не спорю: старец гадок; но я, молясь, таким себе не мыслю го́спода и думаю, что это неудобно? Не правда ли?

Мы отвечали согласием, находя, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно, особенно возносся к нему молитвы.

— Совершенно с вами в этом согласен, и даже припоминаю себе об этом спор мой некогда с одним дипломатом, которому *этот* Христос только и нравился; но, впрочем, что же?.. момент дипломатический. Но пойдемте далее: вот тут уже, с этих мест у меня начинаются одинокие изображения господа, без соседей. Вот вам снимок с прекрасной головы скульптора Кауера: хорош, хорош! — ни слова; но мне, воля ваша, эта академическая голова напоминает гораздо менее Христа, чем Платона. Вот он, еще... какой страдалец... какой ужасный вид придал ему Метсу!.. Не понимаю, зачем он его так избил, иссек и искровянил?.. Это, право, ужасно! Опухли веки, кровь и синяки... весь дух, кажется, из него выбит, и на одно страдающее тело уж смо́треть даже страшно... Перевернем скорей. Он тут внушает только сострадание,

и ничего более. — Вот вам Лафон, может быть и небольшой художник, да на многих нынче хорошо потрафил; он, как видите, понял Христа иначе, чем все предыдущие, и иначе его себе и нам представил: фигура стройная и привлекательная, лик добрый, голубиный взгляд под чистым лбом, и как легко волнуются здесь кудри: тут локоны, тут эти петушки, крутясь, легли на лбу. Красиво, право! а на руке его пылает сердце, обвитое терновою лозою. Это «Sacré coeur», что отцы иезуиты проповедуют; мне кто-то сказывал, что они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изображение; но оно, впрочем, нравится и тем, которые думают, что у них нет ничего общего с отцами иезуитами. Помню, мне как-то раз, в лютый мороз, довелось заехать в Петербурге к одному русскому князю, который показывал мне чудеса своих палат, и вот там, не совсем на месте — в зимнем саду, я увидел впервые этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе, перед которым сидела княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановка: пальмы, аурумы, бананы, щебечут и порхают птички, и она мечтает. О чем? Она мне сказала: «ищет Христа». Я тогда и всмотрелся в это изображение. Действительно, смотрите, как он эффектно выходит, или, лучше сказать, износится, из этой тьмы; за ним ничего: ни этих пророков, которые докучали всем, бегая в своих лохмотьях и цепляясь даже за царские колесницы, — ничего этого нет, а только тьма... тьма фантазии. Эта дама, — пошли ей бог здоровья, — первая мне и объяснила тайну, как находить Христа, после чего я и не спорю с господином капитаном, что иностранные проповедники у нас не одним жидам его покажут, а всем, кому хочется, чтобы он пришел под пальмы и бананы слушать канареек. Только он ли туда придет? Не пришел бы под его след кто другой к ним? Признаюсь вам, я этому щеголеватому канареечному Христу охотно предпочел бы вот эту жидоватую главу Гверчино, хотя и она говорит мне только о добром и восторженном раввине, которого, по определению господина Ренана, можно было любить и с удовольствием слушать... И вот вам сколько пониманий и представлений о том, кто один всем нам на потребу! Закроем теперь всё это, и обернитесь к углу, к которому стоите спиною: опять лик Христов, и уже на сей раз это именно не лицо, — а лик. Типическое русское изображение гос-

пода: взгляд прям и прост, темя возвышенное, что́, как известно, и по системе Лафатера означает способность возвышенного богопочтения; в лике есть выражение, но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера? — это осталось их тайной, которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. Просто — до невозможности желать простейшего в искусстве: черты чуть слегка означены, а впечатление полно; мужиковат он, правда, но при всем том ему подобает поклонение, и как кому угодно, а по-моему, наш простодушный мастер лучше всех *понял* — кого ему надо было написать. Мужиковат он, повторяю вам, и в зимний сад его не позовут послушать канареек, да что́ беды! — где он каким открылся, там таким и ходит; а к нам зашел он в рабьем зраке и так и ходит, не имея где главы приклонить от Петербурга до Камчатки. Знать ему это нравится принимать с нами поношения от тех, кто пьет кровь его и ее же проливает. И вот, в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христова изображения, и народный дух наш, может быть, ближе к истине постиг и внутренние черты его характера. Не хотите ли, я вам расскажу некоторый, может быть не лишенный интереса, анекдот на этот случай.

— Ах, сделайте милость, владыко; мы все вас просим об этом!

— А, просите? — так и прекрасно: тогда и я вас прошу слушать и не перебивать, что́ я начну сказывать довольно издали.

Мы откашлянулись, поправились на местах, чтобы не шевелиться, и архиерей начал.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лет назад: это будет относиться к тому времени, когда я еще, можно сказать довольно молодым человеком, был поставлен во епископы, в весьма отдаленную сибирскую епархию. Я был от природы нрава пылкого и любил, чтобы у меня было много дела, а потому

не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначению. Слава богу, думал я, что мне хотя для начала-то выпало на долю не только ставленников стричь да пьяных дьячков разбирать, а настоящее живое дело, которым можно с любовию заняться. Я разумел именно то наше малоуспешное миссионерство, о котором господин капитан изволил вспомнить в начале нашей сегодняшней беседы. Ехал я к своему месту, пылая рвением и с планами самыми обширными, и сразу же было и всю свою энергию остудил и, что еще важнее, — чуть-чуть было самого дела не перепортил, если бы мне не дан был спасительный урок в одном чудесном событии.

— Чудесное! — воскликнул кто-то из слушателей, позабыв условие не перебивать рассказа; но наш снисходительный хозяин за это не рассердился и отвечал:

— Да, господа, обмолвясь словом, могу его не брать назад: в том, что со мною случилось и о чем начал вам рассказывать — не без чудес, и чудеса эти начали мне являться чуть не с самого первого дня моего прибытия в мою полудикую епархию. Первое дело, с которого начинает свою деятельность русский архиерей, куда бы он ни попал, конечно есть обозрение внешности храмов и богослужения, — к этому обратился и я: велел, чтобы везде были приняты прочь с престолов лишние евангелия и кресты, благодаря которым эти престолы у нас часто превращаются в какие-то выставки магазина церковной утвари. Заказал себе столько ковриков с орлецами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своих местах, чтобы не шмыгали у меня с ними под носом, подбрасывая их под ноги. С усилием и под страхом штрафов воздерживал дьяконов не ловить меня во время служения за локти и не забираться рядом со мною на горнее место, а наипаче всего не наделять тумаками и подзагривками бедных ставленников, у которых оттого, после приятия благодати святого духа, недели по две и загорбок и шея болит. И никто из вас мне не поверит, сколько все это стоит труда и какие приносит досады, особенно человеку нетерпеливому, каким я тогда был и остаюсь таковым же, к моему стыду, отчасти и доселе. Окончилось с этим, — надо было приниматься за второе архиерейское дело первой важности: удостовериться, умеют ли причетники читать хоть уж если не по писаному, то по крайней мере

по печатному. Эти экзамены долго меня заняли и сильно досаждали мне, а порою и смешили. Безграмотный, или по крайней мере *«неписьменный»,* дьячок или пономарь и теперь еще, пожалуй, отыщется в селе или в уездном городишке и внутри России, что и оказалось, когда им, несколько лет тому назад, пришлось в первый раз расписываться в получении жалованья. Но тогда, — во время óно, да еще в Сибири, — это было явление самое обыкновенное. Я их велел учить; они на меня, разумеется, плакались и прозвали меня «лютым»; приходы жаловались, что нет чтецов, что архиерей «церкви разоряет». Чтó тут делать! я стал отпускать на места таких дьячков, которые хоть на память читать умели, и — о боже! — что за людей я видел! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже... какие-то одержимые. Один вместо «приидите, поклонимся цареви нашему богу», закрыв глаза, как перепел, колотил: «плитимбоу, плитимбоу» и заливался этим так, что удержать его было невозможно. Другой — уже это именно был одержимый, — он так искусился в скорохвате, что с каким-нибудь известным словом у него являлась своя ассоциация идей, которой он никак не мог не подчиняться. Такое слово для него было, например, «на небеси». Начнет читать: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси...» и вдруг у него что-то в голове защелкнет, и он продолжает: «да святится имя твое, да приидет царствие». Что я с этим тираном ни мучился, все было тщетно! Велел ему по книге читать, — читает: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси», но вдруг закрыл книгу и пошел: «да святится имя твое», и залопотал до конца, и возглашает: «от лукавого». Только тут и остановиться мог: оказалось, что он не умеет читать. За грамотностью дьячков очередь переходит к благонравию семинаристов, и опять начинаются чудеса. Семинария была до того распущена, воспитанники пьянствовали и до того бесчинствовали, что, например, один философ при инспекторе, кончая вечерние молитвы, прочел: «упование мое — отец, прибежище мое — сын, покров мой — дух святый: троица святая, — *мое вам почтение»;* а в богословском классе другая история: один после обеда благодарит, «яко насытил земных благ», и просит не лишить и «небесного царствия», а ему из толпы кричат: «Свинья! нажрался, да еще в царство небесное просишься».

Надо было подыскать как можно скорее инспектора, подходящего под мой дух, — тоже лютого; при большой спешности и небольшом выборе попался такой: лютости в нем оказалось довольно, но уже зато ничего другого не спрашивай.

— Я, — говорит, — ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу...

— Хорошо, — отвечаю, — примись по-военному...

Он и принялся и с того начал, что молитвы распорядился не читать, но петь хором, дабы устранить всякие шалости, и то петь по его команде. Взойдет он при полном молчании и, пока не скомандует, все безмолвствуют; скомандует: «Молитву!» и запоют. Но этот уже очень «по-военному» уставил; скомандует: «Молит-в-у-у!» Семинаристы только запоют «Очи всех, господи, на тя упов...» — он на половине слова кричит: «Ст-о-ой!» и подзывает одного:

— Фролов, поди сюда!

Тот подходит.

— Ты Багреев?

— Нет-с, я Фролов.

— А-а: ты Фролов?! Отчего же это я думал, что ты Багреев?

Опять хохот, и опять ко мне жалобы. Нет, вижу — не годится этот с военными приемами, и нашел кое-как цивилиста, который был хотя не столь лют, но благоразумнее действовал: перед учениками притворялся самым слабым добряком, а мне все ябедничал и повсюду рассказывал ужасы о моем зверстве. Я это знал и, видя, что эта мера оказывается действительною, не претил его системе.

Насилу этих своею «лютостию» в повиновение привел, в зрелом возрасте чудеса пошли: доносят мне, что в соборного протоиерея воз сена в середину въехал и не может выехать. Посылаю узнавать; говорят: действительно так. Протопоп был тучный; после обедни крестил в купеческом доме и вдоволь облепихою угостился, а что от этой облепихи, что от другой тамошней ягоды, дикуши, хмель самый тяжелый и глупый. То и с этим сталось: пришел домой, часа четыре заснул, встал и, выпив жбан квасу, лег грудью на окно, чтобы поговорить с кем-то, кто внизу стоял, и вдруг... воз с сеном в него въехал. Ведь все это глупое такое, что даже противно сделается, а разделается,

так, пожалуй, еще противней станет. На другой день келейник подает мне сапоги и докладывает, что «слава богу, говорит, из отца протопопа воз с сеном уже выехал».

— Очень рад, — говорю, — таковой радости; но подай-ка мне эту историю обстоятельно.

Оказывается, что протопоп, имевший двухэтажный дом, лег на окно, под которым были ворота, и в них в эту минуту въехал воз с сеном, причем ему, от облепихи и от сна до одури, показалось, что это в него въехало. Невероятно, но, однако, так было: credo, quia absurdum.[1]

Как же сего дивотворного мужа спасли?

А тоже дивотворно: встать он ни за что не соглашался, потому что в нем воз сидит; лекарь не находил лекарства против сего недуга. Тогда шаманку призвали; та повертелась, постучала и велела на дворе воз сена наложить и назад выехать; больной принял, что это из него выехало, и исцелел.

Ну, после этого делайте с ним что хотите, а он свое уже сделал: и людей насмешил, и шаманку призвал идольскими чарами его пользовать; а такие вещи там не в мешочке лежат, а по дорожке бежат. «Что-де попы, — они ничего не значат и сами наших шаманов зовут шайтана отгонять». И идут себе да идут этакие глупости. Долго я приправлял, как мог, сии дымящие лампады, и приходская часть мне через них невыносимо надокучила; но зато настал давно желанный и вожделенный миг, когда я мог всего себя посвятить трудам по просвещению диких овец моей паствы, пасущихся без пастыря.

Забрал я себе все касающиеся этой части бумаги и присел за них вплотную, так что и от стола не отхожу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ознакомясь с миссионерскими отчетностями, я остался всею деятельностью недоволен более, чем деятельностью моего приходского духовенства: обращений в христианство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этих обращений значилась только на бумаге.

[1] Верю, потому что нелепо (*лат.*).

На самом же деле одни из крещеных снова возвращались в свою прежнюю веру — ламайскую или шаманскую; а другие делали из всех этих вер самое странное и нелепое смешение: они молились и Христу с его апостолами, и Будде с его буддисидами да тенгеринами, и войлочным сумочкам с шаманскими ангонами. Двоеверие держалось не у одних кочевников, а почти и повсеместно в моей пастве, которая не представляла отдельной ветви какой-нибудь одной народности, а какие-то щепы и осколки бог весть когда и откуда сюда попавших племенных разновидностей, бедных по языку и еще более бедных по понятиям и фантазии. Видя, что все, касающееся миссионерства, находится здесь в таком хаосе, я возымел об этих моих сотрудниках мнение самое невыгодное и обошелся с ними нетерпеливо сурово. Вообще я стал очень раздражителен, и данное мне прозвище «лютого» начало мне приличествовать. Особенно испытал на себе печать моего гневливого нетерпения бедный монастырек, который я избрал для своего жительства и при котором желал основать школу для местных инородцев. Расспросив чернецов, я узнал, что в городе почти все говорят по-якутски, но из моих иноков изо всех по-инородчески говорит только один очень престарелый иеромонах, отец Кириак, да и тот к делу проповеди не годится, а если и годится, то, хоть его убей, не хочет идти к диким проповедовать.

— Что это, — спрашиваю, — за ослушник, и как он смеет? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но экклезиарх мне отвечает, что слова мои передаст, но послушания от Кириака не ожидает, потому что это уже ему не первое: что и два мои быстро друг за другом сменившиеся предместника с ним строгость пробовали, но он уперся и одно отвечает:

— «Душу за моего Христа положить рад, а крестить там (то есть в пустынях) не стану». Даже, говорит, сам просил лучше сана его лишить, но туда не посылать. И от священнодействия много лет был за это ослушание запрещен, но нимало тем не тяготился, а, напротив, с радостью нес самую простую службу: то сторожем, то в звонарне. И всеми любим: и братией, и мирянами, и даже язычниками.

— Как? — удивляюсь, — неужто даже и язычниками?

— Да, владыко, и язычники к нему иные заходят.

— За каким же делом?

— Уважают его как-то исстари, когда еще он на проповедь ездил в прежнее время.

— Да каков он был в то, в прежнее-то время?

— Прежде самый успешный миссионер был и множество людей обращал.

— Что же ему такое сделалось? отчего он бросил эту деятельность?

— Понять нельзя, владыко; вдруг ему что-то приключилось: вернулся из степей, принес в алтарь мирницу и дароносицу и говорит: «Ставлю и не возьму опять, доколе не придет час».

— Какой же ему нужен час? что он под сим разумеет?

— Не знаю, владыко.

— Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, роде лукавый, доколе живу с вами и терплю вас? Как вас это ничто, дела касающееся, не интересует? Попомните себе, что если тех, кои ни горячи, ни холодны, господь обещал изблевать с уст своих, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой экклезиарх оправдывается:

— Всячески, — говорит, — владыко, мы у него любопытствовали, но он одно отвечает:«Нет, говорит, детушки, это дело не шутка, — это страшное... я на это смотреть не могу».

А что такое страшное, на это экклезиарх не мог мне ничего обстоятельного ответить, а сказал только, что «полагаем-де так, что отцу Кириаку при проповеди какое-либо откровение было». Меня это рассердило. Признаюсь вам, я недолюбливаю этот ассортимент «слывущих», которые вживе чудеса творят и непосредственными откровениями хвалятся, и причины имею их недолюбливать. А потому я сейчас же потребовал этого строптивого Кириака к себе и, не довольствуясь тем, что уже достаточно слыл грозным и лютым, взял да еще принасупился: был готов опалить его гневом, как только покажется. Но пришел к моим очам монашек такой маленький, такой тихий, что не на кого и взоров метать; одет в облинялой коленкоровой ряске, клобук толстым сукном покрыт, собой черненький, востроличенький, а входит бодро, без всякого подобострастия, и первый меня приветствует:

— Здравствуй, владыко!

Я не отвечаю на его приветствие, а начинаю сурово:

— Ты что это здесь чудишь, приятель?

— Как, — говорит, — владыко? Прости, будь милостив: я маленько на ухо туг — не все дослышал.

Я еще погромче повторил.

— Теперь, мол, понял?

— Нет, — отвечает, — ничего не понял.

— А почему ты с проповедью идти не хочешь и крестить инородцев избегаешь?

— Я, — говорит, — владыко, ездил и крестил, пока опыта не имел.

— Да, мол; а опыт получивши, и перестал?

— Перестал.

— Что же сему за причина?

Вздохнул и отвечает:

— В сердце моем сия причина, владыко, и сердцеведец ее видит, что велика она и мне, немощному, непосильна... Не могу!

И с сим в ноги мне поклонился.

Я его поднял и говорю:

— Ты мне не кланяйся, а объясни: что ты, откровение, что ли, какое получил или с самим богом беседовал?

Он с кроткою укоризною отвечает:

— Не смейся, владыко; я не Моисей, божий избранник, чтобы мне с богом беседовать; тебе грех так думать.

Я устыдился своего пыла и смягчился, и говорю ему:

— Так что же? за чем дело?

— А за тем, видно, и дело, — отвечает, — что я не Моисей, что я, владыко, робок и свою силу-меру знаю: из Египта-то языческого я вывесть — выведу, а Чермного моря не рассеку и из степи не выведу, и воздвигну простые сердца на ропот к преобиде духа святого.

Видя этакую образность в его живой речи, я было заключил, что он, вероятно, сам из раскольников, и спрашиваю:

— Да ты сам-то каким чудом в единение с церковью приведен?

— Я, — отвечает, — в единении с нею с моего младенчества и пребуду в нем даже до гроба.

И рассказал мне препростое и престранное свое происхождение. Отец у него был поп, рано овдовел; повенчал какую-то незаконную свадьбу и был лишен места, да так,

что всю жизнь потом не мог себе его нигде отыскать, а состоял при некоей пожилой важной даме, которая всю жизнь с места на место ездила и, боясь умереть без покаяния, для этого случая сего попа при себе возила. Едет она — он на передней лавочке с нею в карете сидит; а она в дом войдет — он в передней с лакеями ее ожидает. И можете себе вообразить человека, у которого этакая была вся жизнь! А между тем он, не имея уже своего алтаря, питался буквально от своей дароносицы, которая с ним за пазухою путешествовала, и на сынишку он у этой дамы какие-то крохи вымаливал, чтобы в училище его содержать. Так они и в Сибирь попали: барыня сюда поехала дочь навестить, которая была тут за губернатором замужем, и попа с дароносицей на передней лавочке привезла. Но как путь был далекий, да к тому же еще барыня тут долго оставаться собиралась, то попик, любя сынишку, не соглашался без него ехать. Барыня подумала-подумала — и, видя, что ей родительских чувств не переупрямить, согласилась и взяла с собою и мальчишку. Так он сзади за каретою переехал из Европы в Азию, имея при сем путевым долгом охранять своим присутствием привязанный на запятках чемодан, на котором и самого его привязали, дабы сонный не свалился. Тут и его барыня и его отец умерли, а он остался, за бедностию курса не кончил, в солдаты попал, этап водил. Имея меткий глаз, по приказанию начальства, не целясь, вдогон за каким-то беглым пулю пустил и без всякого желания, на свое горе, убил того, и с той поры он все страдал, все мучился и, сделавшись негодным к службе, в монахи пошел, где его отличное поведение было замечено, а знание инородческого языка и его религиозность побудили склонить его к миссионерству.

Выслушал я эту простую, но трогательную повесть старика, и стало мне его до жуткости жалко, и чтобы переменить с ним тон, я ему говорю:

— Так, стало быть, это, что подозревают, будто ты чудеса какие-нибудь видел, это неправда?

Но он отвечает:

— Отчего же, владыко, неправда?

— Как?.. так ты видел чудеса?

— Кто же, владыко, чудес не видел?

— Однако?

— Что однако? Куда ни глянь — все чудо: вода ходит в облаке, воздух землю держит, как перышко; вот мы с тобою прах и пепел, а движемся и мыслим, и то мне чудесно; а умрем, и прах рассыпется, а дух пойдет к тому, кто его в нас заключил. И то мне чудно: как он наг безо всего пойдет? кто ему крыла даст, яко голубице, да полетит и почиет?

— Ну, это-то, мол, мы оставим другим рассуждать, а ты скажи мне, не виляя умом: не было ли с тобою в жизни каких-либо необычайных явлений или чего иного в сем роде?

— Было отчасти и это.

— Что же такое?

— Очень, — говорит, — владыко, с детства я был взыскан божиею милостию и недостойно получал дважды чудесные заступления.

— Гм? рассказывай.

— Первый раз это было, владыко, в сущем младенчестве. В третьем классе я был еще, и очень мне в поле гулять идти хотелось. Мы, трое мальчишек, пошли у смотрителя рекреацию просить, да не выпросили и решились солгать, а зачинщик всему тому я был. «Давай, говорю, ребята, всех обманем, побежим и закричим: отпустил, отпустил!» Так и сделали; все с нашего слова и разбежались из классов и пошли гулять и купаться да рыбчонку ловить. А к вечеру на меня страх и напал: что мне будет, как домой вернемся? — запорет смотритель. Прихожу и гляжу — уже и розги в лохани стоят; я скорей драла, да в баню, спрятался под полок, да и ну молиться: «Господи! хоть нельзя, чтобы меня не пороть, но сделай, чтобы не пороли!» И так усердно об этом в жару веры молился, что даже запотел и обессилел; но тут вдруг на меня чудной прохладой тихой повеяло, и у сердца как голубок тепленький зашевелился, и стал я верить в невозможность спасения как в возможное, и покой ощутил и такую отвагу, что вот не боюсь ничего, да и кончено! И взял да и спать лег: а просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятишки весело кричат: «Кирюшка! Кирюшка! где ты? вылезай скорей, — тебя пороть не будут, ревизор приехал и нас гулять отпустил».

— Чудо, — говорю, — твое простое.

— Просто и есть, владыко, как сама троица во единице — простое существо, — отвечал он и с неописаннейшим блаженством во взоре добавил:

— Да ведь как я, владыко, его чувствовал-то! Как пришел-то он, батюшка мой, отрадненький! удивил и обрадовал. Сам суди: всей вселенной он не в обхват, а, видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальчонке подполз в дусе хлада тонка и за пазушкой обитал...

Я вам должен признаться, что я более всяких представлений о божестве люблю этого нашего *русского бога,* который творит себе обитель «за пазушкой». Тут, что нам господа греки ни толкуй и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и бога через них знаем, а не они нам его открыли; — не в их пышном византийстве мы обрели его в дыме каждений, а он у нас свой, притоманный и по-нашему, попросту, всюду ходит, и под банный полочек без ладана в дусе хлада тонка проникнет, и за теплой пазухой голубком приоборкается.

— Продолжай, — говорю, — отец Кириак, — о другом чуде рассказа жду.

— Сейчас и про другое, владыко. Это было, как я стал уже дальше от него, помаловернее, — это было, как я сюда за каретою ехал. Взять меня надо было из российского училища и сюда перевести перед самым экзаменом. Я не боялся, потому что первым учеником был и меня бы без экзамена в семинарию приняли; а смотритель возьми да и напиши мне свидетельство во всем *посредственное.* «Это, говорит, нарочно, для нашей славы, чтобы тебя там экзаменовать стали и увидали, каковых мы за посредственных считаем». Горе было нам с отцом ужасное; а к тому же, хотя отец меня и заставлял, чтобы я дорогою, на запятках сидя, учился, но я раз заснул и, через речку вброд переезжая, все книжки свои потерял. Сам горько плачучи, отец прежестоко меня за это на постоялом дворе выпорол; а все-таки, пока мы до Сибири доехали, я все позабыл и начинаю опять по-ребячьи молиться: «Господи, помоги! сделай, чтобы меня без экзамена приняли». Нет; как его ни просил, посмотрели на мое свидетельство и велели на экзамен идти. Прихожу печальный; все ребята веселые и в чехарду друг через дружку прыгают, — один я такой, да еще другой, тощий-претощий, мальчишка сидит, не учится, так, от слабости, говорит: «лихорадка забила».

А я сижу, гляжу в книгу и начинаю в уме перекоряться с господом: «Ну что же? думаю, ведь уж как я тебя просил, а ты вот ничего и не сделал!» И с этим встал, чтобы пойти воды напиться, а меня как что-то по самой середине камеры хлоп по затылку и на пол бросило... Я подумал: «Это, верно, за наказание! помочь-то бог мне ничего не помог, а вот еще и ударил». Ан смотрю, нет: это просто тот больной мальчик через меня прыгнуть вздумал, да не осилил, и сам упал и меня сбил. А другие мне говорят: «Гляди-ка, чужак, у тебя рука-то мотается». Попробовал, а рука сломана. Повели меня в больницу и положили, а отец туда пришел и говорит: «Не тужи, Кирюша, тебя зато теперь без экзамена приняли». Тут я и понял, как бог-то все устроил, и плакать стал... А экзамен-то легкий-прелегкий был, так что я его шутя бы и выдержал. Значит, не знал я, дурачок, чего просил, но и то исполнено, да еще с вразумлением.

— Ах ты, — говорю, — отец Кириак, отец Кириак, да ты человек преутешительный!.. — Расцеловал я его неоднократно, отпустил и, ни о чем более не расспрашивая, велел ему с завтрашнего же дня ходить ко мне учить меня тунгузскому и якутскому языку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Но отступив со своею суровостию от Кириака, я зато напустился на прочих монахов своего монастырька, от коих, по правде сказать, не видал ни Кириакова простодушия и никакого дела на службу веры полезного: живут себе этаким, так сказать, форпостом христианства в краю язычников, а ничего, ленивцы, не делают — даже языку туземному ни один не озаботился научиться.

Щунял я их, щунял келейно и, наконец, с амвона на них громыхнул словом царя Ивана к преподобному Гурию, что «напрасно-де именуют чернецов ангелами, — нет им с ангелами сравнения, ни какого-либо подобия, а должны они уподобляться апостолам, которых Христос послал учить и крестить!»

Кириак приходит ко мне на другой день урок давать и прямо мне в ноги:

— Что ты? что ты? — говорю, подымая его, — учитель благий, тебе это не довлеет ученику в ноги кланяться.

— Нет, владыко, уж очень ты меня утешил, так утешил, что я и в жизнь не чаял такого утешения!

— Да чем, — говорю, — божий человек, ты так мною обрадован?

— А что велишь монахам учиться, да идучи *вперед учить, а потом крестить;* ты прав, владыко, что такой порядок устроил, его и Христос велел, и приточник поучает: «идеже несть учения души, несть добра». Крестить-то они все могучи, а обучить слову нéтяги.

— Ну, уж это, — говорю, — ты меня, брат, кажется, шире понял, чем я говорил; этак ведь, по-твоему, и детей бы не надо крестить.

— Дети христианские другое дело, владыко.

— Ну да; и предков бы наших князь Владимир не окрестил, если бы долго от них научености ждал.

А он мне отвечает:

— Эх, владыко, да ведь и впрямь бы их, может, прежде поучить лучше было. А то сам, чай, в летописи читал — все больно скоро варом вскипело, «понеже благочестие его со страхом бе сопряженно». Платон митрополит мудро сказал: «Владимир поспешил, а греки слукавили, — невежд ненаученных окрестили». Что нам их спешке с лукавством следовать? ведь они, знаешь, «льстивы даже до сего дня». Итак, во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся. Тщетно это так крестить, владыко!

— Как, — говорю, — тщетно? Отец Кириак, что ты это, батюшка, проповедуешь?

— А что же, — отвечает, — владыко? — ведь это благочестивой тростью писано, что одно водное крещение невежде к приобретению жизни вечной не служит.

Посмотрел я на него и говорю серьезно:

— Послушай, отец Кириак, ведь ты еретичествуешь.

— Нет, — отвечает, — во мне нет ереси, я по тайноводству святого Кирилла Иерусалимского правоверно говорю: «Симон Волхв в купели тело омочи водою, но сердце не просвети духом, и сниде, и изыде телом, а душою не спогребеся, и не воста». Что окрестился, что выкупался, все равно христианином не был. Жив господь и жива душа твоя, владыко, — вспомни, разве не писано:

будут и крещеные, которые услышат «не вем вас», и некрещеные, которые от дел совести оправдятся и внидут, яко хранившие правду и истину. Неужели же ты сие отметаешь?

Ну, думаю, подождем об этом беседовать, и говорю:

— Давай-ка, — говорю, — брат, не иерусалимскому, а дикарскому языку учиться, бери указку, да не больно сердись, если я не толков буду.

— Я не сердит, владыко, — отвечает.

И точно, удивительно был благодушный и откровенный старик и прекрасно учил меня. Толково и быстро открыл он мне все таинства, как постичь эту молвь, такую бедную и немногословную, что ее едва ли можно и языком назвать. Во всяком разе это не более как язык жизни животной, а не жизни умственной; а между тем усвоить его очень трудно: обороты речи, краткие и непериодические, делают крайне затруднительным переводы на эту молвь всякого текста, изложенного по правилам языка выработанного, со сложными периодами и подчиненными предложениями; а выражения поэтические и фигуральные на него вовсе не переводимы, да и понятия, ими выражаемые, остались бы для этого бедного люда недоступны. Как рассказать им смысл слов: «Будьте хитры, как змии, и незлобивы, как голуби», когда они и ни змеи и ни голубя никогда не видали и даже представить их себе не могут. Нельзя им подобрать слов: ни мученик, ни креститель, ни предтеча, а пресвятую деву если перевести по-ихнему словами *шочмо Абя,* то выйдет не наша богородица, а какое-то шаманское божество женского пола, — короче сказать — *богиня.* Про заслуги же святой крови или про другие тайны веры еще труднее говорить, а строить им какую-нибудь богословскую систему или просто слово молвить о рождении без мужа, от девы, — и думать нечего: они или ничего не поймут, и это самое лучшее, а то, пожалуй, еще прямо в глаза расхохочутся.

Все это мне передал Кириак, и передал так превосходно, что я, узнав дух языка, постиг и весь дух этого бедного народа; и что всего мне было самому над собою забавнее, что Кириак с меня самым незаметным образом всю мою напускную суровость сбил: между нами установились отношения самые приятные, легкие и такие шутливые, что я, держась сего шутливого тона, при конце

своих уроков велел горшок каши сварить, положил на него серебряный рубль денег да черного сукна на рясу и понес все это, как выученик, к Кириаку в келью.

Он жил под колокольнею в такой маленькой келье, что как я вошел туда, так двоим и повернуться негде, а своды прямо на темя давят; но все тут опрятно, и даже на полутемном окне с решеткою в разбитом варистом горшке астра цветет.

Кириака я застал за делом — он низал что-то из рыбьей чешуи и нашивал на холстик.

— Что ты это, — говорю, — стряпаешь?

— Уборчики, владыко.

— Какие уборчики?

— А вот девчонкам маленьким дикарским уборчики: они на ярмарку приезжают, я им и дарю.

— Это ты язычниц неверных радуешь?

— И-и, владыко! полно-ка тебе все так: «неверные» да «неверные»; всех один господь создал; жалеть их, слепых, надо.

— Просвещать, отец Кириак.

— Просветить, — говорит, — хорошо это, владыко, просветить. Просвети, просвети, — и зашептал: «Да просветится свет твой пред человеки, когда увидят добрыя твоя дела».

— А я вот, — говорю, — к тебе с поклоном пришел и за выучку горшок каши принес.

— Ну что же, хорошо, — говорит, — садись же и сам при горшке посиди — гость будешь.

Усадил он меня на обрубочек, сам сел на другой, а кашу мою на скамью поставил и говорит:

— Ну, покушай у меня, владыко; твоим же добром да тебе же челом.

Стали мы есть со стариком кашу и разговорились.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Меня, по правде сказать, очень занимало, что такое отклонило Кириака от его успешной миссионерской деятельности и заставило так странно, по тогдашнему моему взгляду — почти преступно или во всяком случае соблазнительно относиться к этому делу.

— О чем, — говорю, — станем беседовать? — к доброму привету хороша и беседа добрая. Скажи же мне: не знаешь ли ты, как нам научить вере вот этих инородцев, которых ты все под свою защиту берешь?

— А учить надо, владыко, учить, да от доброго жития пример им показать.

— Да где же мы с тобою их будем учить?

— Не знаю, владыко; к ним бы надо с научением идти.

— То-то и есть.

— Да, учить надо, владыко; и утром сеять семя, и вечером не давать отдыха руке, — всё сеять.

— Хорошо говоришь, — отчего же ты так не делаешь?

— Освободи, владыко, не спрашивай.

— Нет уж, расскажи.

— А требуешь рассказать, так поясни: зачем мне туда идти?

— Учить и крестить.

— Учить? — учить-то, владыко, неспособно.

— Отчего? враг, что ли, не дает?

— Не-ет! что враг, — велика ли он для крещеного человека особа: его одним пальчиком перекрести, он и сгинет; а вражки мешают, — вот беда!

— Что это за *вражки?*

— А вот куцые одетели, отцы благодетели, приказные, чиновные, с приписью подьячие.

— Эти, стало быть, самого врага сильней?

— Как же можно: сей род, знаешь, ничем не изымается, даже ни молитвою, ни постом.

— Ну, так надо, значит, просто крестить, как все крестят.

— Крестить... — проговорил за мною Кириак, и — вдруг замолчал и улыбнулся.

— Что же? продолжай.

Улыбка сошла с губ Кириака, и он с серьезною и даже суровою миной добавил:

— Нет, я скорохватом не хочу это делать, владыко.

— Что-о-о!

— Я не хочу этого так делать, владыко, вот что! — отвечал он твердо и опять улыбнулся.

— Чего ты смеешься? — говорю. — А если я тебе велю крестить?

— Не послушаю, — отвечал он, добродушно улыбнувшись, и, фамильярно хлопнув меня рукою по колену, заговорил:

— Слушай, владыко, читал ты или нет, — есть в житиях одна славная повесть.

Но я его перебил и говорю:

— Поосвободи, пожалуйста, меня с житиями: здесь о слове божием, а не о преданиях человеческих. Вы, чернецы, знаете, что в житиях можно и того и другого достать, и потому и любите всё из житий хватать.

А он отвечает:

— Дай же мне, владыко, кончить; может, я и из житий что-нибудь прикладно скажу.

И рассказал старую историю из первых христианских веков о двух друзьях — христианине и язычнике, из коих первый часто говорил последнему о христианстве и так ему этим надокучил, что тот, будучи до тех пор равнодушен, вдруг стал ругаться и изрыгать самые злые хулы на Христа и на христианство, а при этом его подхватил конь и убил. Друг христианин видел в этом чудо и был в ужасе, что друг его язычник оставил жизнь в таком враждебном ко Христу настроении. Христианин сокрушался об этом и горько плакал, говоря: «Лучше бы я ему совсем ничего о Христе не говорил, — он бы тогда на него не раздражался и ответа бы в том не дал». Но, к утешению его, он известился духовно, что друг его принят Христом, потому что, когда язычнику никто не докучал настойчивостью, то он *сам* с собою размышлял о Христе и призвал его в своем последнем вздохе.

— А тот, — говорит, — тут и был у его сердца: сейчас и обнял и обитель дал.

— Это опять, значит, все дело свертелось «за пазушкой»?

— Да, за пазушкой.

— Вот это-то, — говорю, — твоя беда, отец Кириак, что ты все на пазуху-то уже очень располагаешься.

— Ах, владыко, да как же на нее не полагаться: тайны-то уже там очень большие творятся — вся благодать оттуда идет: и материно молоко детопитательное, и любовь там живет, и вера. Верь — так, владыко. Там она, вся там; сердцем одним ее только и вызовешь, а не разумом. Разум ее не созидает, а разрушает: он родит

сомнения, владыко, а вера покой дает, радость дает... Это, я тебе скажу, меня обильно утешает; ты вот глядишь, как дело идет, да сердишься, а я все радуюсь.

— Чему же ты радуешься?

— А тому, что все добро зело.

— Что такое: добро зело?

— Все, владыко: и что нам указано и что от нас сокрыто. Я думаю так, владыко, что мы все на один пир идем.

— Говори, сделай милость, ясней: ты водное крещение-то просто-напросто совсем отметаешь, что ли?

— Ну вот: и отметаю! Эх, владыко, владыко! сколько я лет томился, все ждал человека, с которым бы о духовном свободно по духу побеседовать, и, узнав тебя, думал, что вот такого дождался; а и ты сейчас, как стряпчий, за слово емлешься! Что тебе надо? — слово всяко ложь, и я тож. Я ничего не отметаю; а ты обсуди, какие мне приклады разные приходят — и от любви, а не от ненависти. Яви терпение, — вслушайся.

— Хорошо, — отвечаю, — буду слушать, что ты хочешь проповедовать.

— Ну, вот мы с тобою крещены, — ну, это и хорошо; нам этим как билет дан на пир; мы и идем и знаем, что мы званы, потому что у нас и билет есть.

— Ну!

— Ну а теперь видим, что рядом с нами туда же бредет человечек без билета. Мы думаем: «Вот дурачок! напрасно он идет: не пустят его! Придет, а его привратники вон выгонят». А придем и увидим: привратники-то его погонят, что билета нет, а хозяин увидит, да, может быть, и пустить велит, — скажет: «Ничего, что билета нет, — я его и так знаю: пожалуй, входи», да и введет, да еще, гляди, лучше иного, который с билетом пришел, станет чествовать.

— Ты, — говорю, — это им так и внушаешь?

— Нет, что им это внушать? это я только про себя так о всех рассуждаю, по Христовой доброcти да мудрости.

— Да то-то; мудрость-то его ты понимаешь ли?

— Где, владыко, понимать! — ее не поймешь, а так... что сердце чувствует, говорю. Я, когда мне что нужно сделать, сейчас себя в уме спрашиваю: можно ли это сде-

лать во славу Христову? Если можно, так делаю, а если нельзя — того не хочу делать.

— В этом, значит, твой главный катехизис?

— В этом, владыко, и главный и не главный, — весь в этом; для простых сердец это, владыко, куда как сподручно! — просто ведь это: водкой во славу Христову упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову нельзя, человека без помощи бросить нельзя... И дикари это скоро понимают и хвалят: «Хорош, говорят, ваш Христосик — праведный» — по-ихнему это так выходит.

— Что же... это, пожалуй, хоть и так — хорошо.

— Ничего, владыко, — изрядно; а вот что мне нехорошо кажется: как придут новокрещенцы в город и видят всё, что тут крещеные делают, и спрашивают: можно ли то во славу Христову делать? что им отвечать, владыко? христиане это тут живут или нехристи? Сказать: «нехристи» — стыдно, назвать христианами — греха страшно.

— Как же ты отвечаешь?

Кириак только рукой махнул и прошептал:

— Ничего не говорю, а... плачу только.

Я понял, что его религиозная мораль попала в столкновение с своего рода «политикою». Он Тертуллиана «О зрелищах» читал и вывел, что «во славу Христову» нельзя ни в театры ходить, ни танцевать, ни в карты играть, ни многого иного творить, без чего современные нам, наружные христиане уже обходиться не умеют. Он был своего рода новатор и, видя этот обветшавший мир, стыдился его и чаял нового, полного духа и истины.

Как я ему это намекнул, он мне сейчас и поддакнул.

— Да, — говорит, — да, эти люди плоть, — а что плоть-то показывать? — ее надо закрывать. Пусть хотя не хулится через них имя Христово в языцех.

— А зачем это к тебе, говорят, будто инородцы и до сих пор приходят?

— Верят мне и приходят.

— То-то; зачем?

— Поспорят когда или поссорятся, и идут: «Разбери, говорят, по-христосикову».

— Ты и разбираешь?

— Да, я обычай их знаю; а ум Христов приложу и скажу, как быть.

— Они и примут?

— Примут: они его справедливость любят. А другой раз больные приходят или бесные, — просят помолиться.

— Как же ты бесных лечишь? отчитываешь, что ли?

— Нет, владыко; так, помолюсь, да успокою.

— Ведь на это их шаманы слывут искусниками.

— Так, владыко, — не ровен шаман; иные и впрямь немало тайных сил природных знают; ну да ведь и шаманы ничего... Они меня знают и иные сами ко мне людей шлют.

— Откуда же у тебя и с шаманами приязнь?

— А вот как: ламы буддийские на них гонение сделали, — их, этих шаманов, тогда наши чиновники много в острог забрали, а в остроге дикому человеку скучно: с иными бог весть что деется. Ну я, грешник, в острог ходил, калачиков для них по купцам выпрашивал и словцом утешал.

— Ну и что же?

— Благодарны, берут Христа ради и хвалят его: хорош, говорят, — добр. Да ты молчи, владыко, они сами не чуют, как края ризы его касаются.

— Да ведь как, — говорю, — касаются-то? все ведь это без толку!

— И, владыко! что ты всё сразу так сунешься! Божие дело своей ходой, без суеты идет. Не шесть ли водоносов было на пиру в Канне, а ведь не все их, чай, сразу наполнили, а один за другим наливали; Христос, батюшка, сам уже на что велик чудотворец, а и то слепому жиду прежде поплевал на глаза, а потом открыл их; а эти ведь еще слепее жида. Что от них сразу-то много требовать? Пусть за краек его ризочки держатся — доброту его чувствуют, а он их сам к себе уволочет.

— Ну вот, уже и «уволочет»!

— А что же?

— Да какие ты слова-то неуместные употребляешь.

— А чем, владыко, неуместное, — слово препростое. Он, благодетель наш, ведь и сам не боярского рода, за простоту не судится. Род его кто исповесть; а он с пастухами ходил, с грешниками гулял и шелудивой овцой не брезговал, а где найдет ее, взвалит себе, как она есть, на святые рамена и тащит к отцу. Ну а тот... что

ему делать? — не хочет многострадального сына огорчить, — замарашку ради его на двор овчий пустит.

— Ну, — говорю, — хорошо; в катехизаторы ты, брат Кириак, совсем не годишься, а в крестители ты, хоть и еретичествуешь немножко, однако пригоден, и как себе хочешь, а я тебя снаряжу крестить.

Но Кириак ужасно взволновался и расстроился.

— Помилуй, — говорит, — владыко: к чему тебе меня нудить? Да запретит тебе Христос это сделать! И ничего из этого не последует, ничего, ничего и ничего!

— Отчего же это так?

— Так; потому что сия дверь для нас затворена.

— Кто же ее затворил?

— А тот, который имеет ключ Давидов: «Отверзаяй и никтоже отворит, затворяяй и никтоже отверзет». Или ты Апокалипсис позабыл?

— Кириак, — говорю, — многия книги безумным тя творят.

— Нет, владыко, я не безумен, а ты меня если не послушаешь, то людей обидишь, и духа святого оскорбишь, и только одних церковных приказных обрадуешь, чтобы им в своих отчетах больше лгать да хвастать.

Я его перестал слушать, однако не оставлял мысли со временем его перекапризить и непременно его послать. Но что бы вы думали? — ведь не один простосердечный ветхозаветный Аммос, собирая ягоды, вдруг стал пророчествовать, — и мой Кириак мне напророчил, и его слова «да запретит тебе Христос» начали действовать. В это самое время я, как нарочно, получил из Петербурга извещение, что, по тамошнему благоусмотрению, у нас в Сибири увеличивается число буддийских капищ и удваиваются штаты лам. Я хоть и в русской земле рожден и приучен был не дивиться никаким неожиданностям, но, признаюсь, этот порядок contra jus et fas[1] изумил меня, а что гораздо хуже, — он совсем с толку сбивал бедных новокрещенцев и, может быть, еще большей жалости достойных миссионеров. Весть с этим радостным событием, во вред христианству и в пользу буддизма, как вихрем разнеслась по всему краю. Для ее распространения скакали лошади, скакали олени, скакали собаки, и Сибирь

[1] Против закона и справедливости *(лат.)*.

оповестилась, что «все преодолевший и все отвергший» бог Фо в Петербурге «одолел и отверг и Христосика». Торжествующие ламы уверяли, что уже все наше верховное правительство и сам наш далай-лама, то есть митрополит, приняли буддийскую веру. Перепугались миссионеры, известясь о сем; не знали, что им делать; иные из них, кажется, отчасти сомневались: уж и впрямь не повернуло ли в Петербурге дело на ламайскую сторону, как оно в то тонкое и каверзливое время поворачивало на католическую, а ныне, в сию многодумную и дурашливую пору, поворачивает на спиритскую. Только нынче оно, разумеется, совершается спокойнее, потому что теперь кумир хотя и ледащенький выбран, но зато теперь и против этого рожна прать никому не охота; а тогда еще этой хладнокровной выдержки недоставало во многих и, в числе прочих, во мне грешном. Я не мог равнодушно смотреть на моих бедных крестителей, которые *пешком* плелись из степей ко мне под защиту. Им одним по всему краю не было ни лошадиной клячи, ни оленя, ни собаки, и они, бог их знает как, лезли пешие по сугробам и пришли оборванные, обмаранные, истинно уже не как иереи бога вышнего, а как настоящие калеки-перехожие. Чиновники и зауряд все управление без зазрения совести покровительствовали ламам. Мне приходилось сражаться с губернатором, чтобы сей христианский боярин хотя малость остепенял своих пособников, дабы они по крайней мере не совсем открыто радели буддизму. Губернатор, как водится, обижался, и у нас с ним закипела жестокая стычка; я ему на его чиновников жалуюсь, — он мне на моих миссионеров пишет, что «никто-де им не мешает, а они-де сами ленивые и неискусные». А мои дезертировавшие миссионеры, в свою очередь, пищат, что им хотя, точно, рты тряпками не затыкают, но нигде ни лошадей, ни оленей не дают, потому что по степям всюду все люди лам боятся.

— Ламы, — говорят, — богаты — они чиновников деньгами дарят, а нам дарить нечем.

Что же мне было можно им в утешение сказать? Синоду, что ли, обещать представить, чтобы лавры и монастыри, имея «деньги многи», поделились с нашею бедностию и какую-нибудь сумму на взятки приказным отпустили, но боялся, что в больших залах в синоде это,

чего доброго, за неуместное сочтут и, помолясь богу, во вспомоществовании на взятки мне откажут, пожалуй. А к тому же еще и это средство в наших руках могло быть ненадежно: апостолы мои в самих себе такую слабость мне открыли, которая, в связи с обстоятельствами, получила очень важное значение.

— Нас, — говорят, — за дикарей жалость берет; из них с этой возней совсем последний толк выбьют; нынче мы их крестим, завтра ламы обращают и велят Христа порицать, а за штраф все что попало у них берут. Обнищевает бедный народ и в скоте и в своем скудном разуме, — все веры перепутал и на все колена хромает, а на нас плачется.

Кириак этою борьбою очень интересовался и, пользуясь моим расположением, не раз останавливал меня вопросами:

— Что тебе, владыко, вражки пишут? — или:

— Что ты, владыко, вражкам написал?

Раз даже он явился ко мне с просьбою:

— Посоветуйся со мною, владыко, как будешь вражкам писать?

Это было по случаю тому, что губернатор мне ставил на вид, что в соседней епархии, при тех же обстоятельствах, в каких я находился, проповедь и крещение совершаются успешно, причем указывал мне на какого-то миссионера Петра из зырян, который целыми массами крестит инородцев.

Такое обстоятельство меня смутило, и я спросил соседнего архиерея: так ли это?

Тот отвечал, что действительно у него есть зырянин, поп Петр, который два раза ездил на проповедь и в первый раз «все кресты раскрестил», а во второй вдвое больше крестов взял, и опять недостало, — с одного на другого на шеи перевешивал.

Кириак как это услышал, так и всплакался.

— Боже мой, — говорит, — откуда еще ко всем бедам пришел сюда сей коварный строитель? Он Христа в его же церкви да его же кровью затопит! Ох, беда! помилосердуй, владыко, — проси скорее архиерея, чтобы он унял своего слугу верного — оставил бы в церкви сил хоть на семена.

— Ты, — говорю, — отец Кириак, вздор говоришь; могу ли я от столь хвальной ревности человека удерживать?

— Ах, нет, — молит, — владыко, проси; ведь это тебе непонятно, а я так знаю, что́, значит, теперь там в степях делается. Это все не Христу, а вражкам его служба там идет. Зальют, зальют они его, голубчика, кровью и на сто лишних лет от него народ отпугают.

Я, разумеется, Кириака не послушал, а напротив — написал к соседнему архиерею, чтобы он дал мне своего зырянина на подержание, или, как сибирские аристократы по-французски говорят: «о прока́». Сосед мой архиерей в это время уже, отбыв сибирскую епитимью, перемещался в Россию и не постоял за своего досужего крестителя. Зырянин был мне прислан: такой большебородый, словоохотливый и, что называется, весь до дна маслян. Я его сейчас же отправил в степь, а недели через две от него уже и радостные вести имел: доносил он мне, что крестит народ на все стороны. Одного он опасался: достанет ли у него крестов, которых забрал с собою весьма изрядную коробку? Из сего я, не ошибаяся, мог заключить, что улов в мережи сего счастливого ловца попадает чрезвычайно обильный.

Вот, думаю, когда я достал себе, наконец, к этому делу настоящего мастера! И очень был этому рад, да и как рад-то! Откровенно скажу вам — с самой казенной точки зрения, — потому что... и архиерей ведь тоже, господа, человек, и ему надокучит, когда одна власть пристает: «крести», а другая — «пусти»... Ну их совсем! скорей как-нибудь кончить в одну сторону, и как попался ловкий креститель, так пусть уже зауряд все крестит, авось и людям спокойнее станет.

Но Кириак не разделял моего взгляда, и раз иду я вечером через двор из бани и встречаю его; он остановился и приветствует меня:

— Здравствуй, владыко!

— Здравствуй, — говорю, — отец Кириак.

— Хорошо ли вымылся?

— Хорошо.

— А зырянина-то отмыл ли?

Я рассердился.

— Это, — говорю, — что за глупость?

А он опять про зырянина.

— Он безжалостный, — говорит, — он и у нас теперь так крестит, как за Байкалом крестил; его крестников через это только мучают, а они на Христа, батюшку, плачутся. Грех всем вам, а тебе больше всех грех, владыко!

Я Кириака счел за грубияна, но слова-то его мне все-таки в душу запали. Что, в самом деле? он ведь старик основательный, — на ветер болтать не станет: в чем же тут секрет? — как, в самом деле, взятый мною «о проќа» досужий зырянин крестит? Я имел понятие о религиозности зырян; они по преимуществу храмоздатели — церкви у них повсюду отличные и даже богатые, но из всех глаголемых христиан на свете они, должно сознаться, самые внешние. Ни к кому столько, как к ним, не идет определение, что у них «бог в одних лишь образах, а не в убеждениях человека»; но ведь не жжет же этот зырянин дикарей огнем, чтобы они крестились? Быть этого не может! В чем же тут дело? Отчего зырянин успевает, а русские не умеют, и отчего я этого о сю пору не знаю?

«А все оттого, владыко, — пришло мне на мысль, — что ты и тебе подобные себялюбивы да важны: «деньги многи» собираете да только под колокольным звоном разъезжаете, а про дальние места своей паствы мало думаете и о них по слухам судите. На бессилие свое на родной земле нарекаете, а сами всё звезды хватать норовите, да вопрошаете: «Что ми хощете дати, да аз вам предам?» Берегись-ка, брат, как бы и ты не таков же стал?»

И ходил я, ходил этот вечер с своею думою по моей пустой скучной зале и до тех пор доходился, пока вдруг мне пришла в голову мысль: пробежать самому пустыню.

Таким образом я надеялся уяснить себе если не все, то по крайней мере очень многое. Да, признаюсь вам, и освежиться хотелось.

Для совершения этого пути мне, при моей неопытности, нужен был товарищ, который хорошо бы знал инородческий язык; но какого же товарища лучше желать, как Кириака? И, не откладывая этого по своей нетерпеливости в долгий ящик, я призвал Кириака к себе, открыл ему свой план и велел собираться.

Он не противоречил, а, напротив, казалось, был даже очень рад и, улыбаясь, повторял:

— Бог в помощь! Бог в помощь!

Откладывать было незачем, и мы на другое же утро раным-рано отпели обеденку, оделись оба по-туземному и выехали, держа путь к самому северу, где мой зырянин апостольствовал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лихо прокатили мы первый день на доброй тройке и всё беседовали с отцом Кириаком. Любезный старик рассказывал мне интересные истории из инородческих религиозных преданий, из коих меня особенно занимала повесть о пятистах путешественниках, которые под руководством одного книжника, по-ихнему — «обушия», пустились путешествовать по земле в то еще время, когда «победивший силу бесовскую и отринувший все слабости» бог Шигемуни гостеприимствовал «непочатыми яствами» В Ширвасе. Повесть эта тем интереснее, что в ней чувствуется весь склад и дух религиозной фантазии этого народа. Пятьсот путников, предводимые обушием, встречают духа, который, чтобы устрашить их, принимает самый ужасный и отвратительный вид и спрашивает: «Есть ли у вас такие чудовища?» — «Есть гораздо страшнее», — отвечал обуший. «Кто же они?» — «Все те, которые завистливы, жадны, лживы и мстительны; они по смерти становятся чудовищами гораздо тебя страшнее и гаже». Дух скрылся и, превратясь где-то в человека, такого сухого и тощего, что даже жилы его пристали к костям, опять появился пред путниками и говорит: «Есть ли у вас такие люди?» — «Как же, — отвечает обуший, — гораздо суше тебя есть — таковы все, любящие почести».

— Гм! — перебил я Кириака, — это, — говорю, — смотри, уже не на нас ли, архиереев, мораль пущена?

— А бог весть, владыко, — и продолжает: — По некотором времени дух явился в виде прекрасного юноши и говорит: «А вот такие у вас есть ли?» — «Как же, — отвечает обуший, — между людьми есть несравненно тебя прекраснее, это те, которые имеют острое понятие и, очистив свои чувства, благоговеют к трем изяществам: богу, вере и святости. Сии столь тебя красивее, что ты пред ними никуда не годишься». Дух рассердился и стал экза-

меновать обушия другими манерами. Он зачерпнул в горсть воды: «Где, говорит, больше воды: в море или в горсти?» — «В горсти более», — отвечал обуший. «Докажи». — «Ну и докажу: по видимому судя, кажется в море действительно более воды, чем в горсти, но когда придет время разрушения мира и из нынешнего солнца выступит другое, огнепалящее, то оно иссушит на земле все воды — и большие и малые: и моря, и ручьи, и потоки, и сама Сумбер-гора (Атлас) рассыпется; а кто при жизни напоил своею горстью уста жаждущего или обмыл своею рукою раны нищего, того горсть воды семь солнц не иссушат, а, напротив того, будут только ее расширять и тем самым увеличивать...» — Право, как вы хотите, а ведь это не совсем глупо, господа? — вопросил, приостановясь на минуту, рассказчик, — а? Нет, взаправду, как вы это находите?

— Очень не глупо, совсем не глупо, владыко.

— Признаюсь вам, и мне это показалось, пожалуй, толковее иной протяженной проповеди об оправдании... Ну, впрочем, не все об этом. Потом повели мы долгие беседы о том, какой способ надо предпочесть всем другим для обращения дикарей в христианство. Кириак находил, что с ними надо как можно меньше обрядничать, потому что они иначе самого Кириака с его вопросами превзойдут о том: можно ли того причащать, кто яйцом в зубы постучит; да не надо много и догматизировать, потому что их слабый ум устает следить за всякою отвлеченностью и силлогизацией, а надо им просто рассказывать о жизни и о чудесах Христа, чтобы это представлялось им как можно живообразнее и чтобы их бедной фантазии было за что цепляться. Но главное: все на то напирал, что «кто премудр и худог, тот пусть покажет им от своего жития доброго, — тогда они и Христа поймут, а иначе, говорит, плохо наше дело, и истинная наша вера, хоть мы ее промеж них и наречем, то будет она у них под началом у неистинной: наша будет нареченная, а та действующая, — что в том добра-то, владыко? Посуди: к торжеству Христовой веры это будет или к ее унижению? А еще того горше, как от нашего что возьмут, да не знать, что из него сделают. Нечего спешить нарекать, а надо насаждать; другие придут — будут поливать, а возрастит сам бог... Не так ли, владыко, апостол-то учил, а? Вспомни его,

должно быть так: а то, гляди, как бы не поспешить, да людей не насмешить и сатану не порадовать».

Я, по правде сказать, внутренно во многом с ним соглашался и не заметил, как в простых и мирных с ним разговорах провел весь день до вечера; а с тем и наш конный путь кончился.

Переночевали мы с ним у огонька в юрте и на другое утро покатили на оленях.

Погода стояла чудесная, и езда на оленях очень меня занимала, хотя она, однако, не совсем отвечала моим о ней представлениям. В детстве моем я очень любил смотреть на картинку, где был представлен лапландец на оленях. Но те олени, на картинке, были легкие, быстроногие, как вихри степные неслись, закинув назад головы с ветвистыми рогами, и я, бывало, все думал: «Эх, кабы хоть раз так прокатиться! Какая это, должно быть, приятная быстрота при такой скачке!» А на деле же оно выходило не так: передо мною были совсем не те уносистые рогатые вихри, а комолые, тяжеловатые увальни с понурыми головами и мясистыми, разлатыми лапами. Бежали они побежкой нетвердою и неровною, склонив головы, и с такою задышкою, что инда с непривычки жалость брала на них смотреть, особливо как у них ноздри замерзли и они рты поразинули. Так тяжело дышат, что это густое дыхание их собирается облаком и так и стоит в морозном воздухе полосою. И эта езда и грустное однообразие пустынных картин, которые при ней открываются, производят такое скучное впечатление, что даже говорить не хочется, и мы с Кириаком, едучи два дня на оленях, почти ни о чем и не беседовали.

На третий день к вечеру и этот путь прекратился: снега́ стали рыхлее, и мы заменили нескладных оленей собаками — такие серенькие, мохнатые и востроухие, как волчки, и по-волчьи почти и тявкают. Запрягают их помногу, штук по пятнадцати, а почетному путнику, пожалуй, и больше зацепят, но салазки такие узенькие, что двоим рядом сидеть невозможно, и мы с отцом Кириаком должны были разделиться: на одних приходилось ехать мне с проводником, а на других — Кириаку с другим проводником. Проводники оба казались равного достоинства, да и с обличья их одного от другого даже и не отличишь, особенно как своими малицами закутаются, — точно бан-

ные обмылки: что́ один, что́ другой — в обоих одна красота. Но Кириак нашел в них разницу и непременно настаивал, чтобы усадить меня с тем, который казался ему надежнее; а в чем он видел эту надежность — не объяснил.

— Так, — говорит, — владыко: ты в этом крае неопытнее меня, так ты с этим поезжай. — За это я его не послушал и сел с другим. Поклажу свою мы разделили: я взял себе в ноги узелок с бельем да с книгами, а Кириак надел на себя мирницу и дароносицу да взял в ноги кошель с толокном, сухой рыбкой и прочей нашей незатейливой походной провизией.

Уселись мы так, подоткнулись малицами, сверху по коленам оленьими кожами застегнулись и поскакали.

Езда эта была гораздо быстрее, чем на оленях, но зато сидеть так худо, что у меня с непривычки через час же страшно спину разломило. Погляжу на Кириака — он сидит как воткнутый столбушек, а я так и вихляюсь по сторонам — все баланс хочу удержать, и за этой гимнастикой даже не мог и поговорить с моим проводником. Узнал только, что он крещеный, и окрещен недавно моим зырянином, а поэкзаменовать его не успел. К вечеру я так измучился, что совсем держаться не мог и пожаловался Кириаку.

— Плохо, — говорю, — меня что-то сразу уже очень расшатало.

— А все это оттого, — отвечает, — что ты меня не слушал, — не с тем едешь, с которым я тебя сажал: этот лучше правит, покойнее. Яви ласку: пересядь завтра.

— Хорошо, — говорю, — изволь, пересяду, — и точно, пересел, и опять едем.

Не знаю: понавык ли я за прошлый день держаться на этих рожнах или действительно этот проводник лучше своим орстелем правил, только мне спокойнее ехалось, так что я даже мог и побеседовать.

Спрашиваю его: крещеный он или нет?

— Нет, — отвечает, — бачка, моя некрещена, моя счастливая.

— Чем же ты так счастлив?

— Счастливая, бачка; меня, бачка, Дзол-Дзаягачи дала, бачка. Она меня, бачка, бережет.

Дзол-Дзаягачи у шаманистов такая богиня, дарующая детей и пекущаяся будто бы о счастии и здоровье тех, которые у нее вымолены.

— Так что же, — говорю, — а почему же не креститься-то?

— А она, бачка, меня не дает крестить.

— Кто это? Дзол-Дзаягачи?

— Да, бачка, не дает.

— Ага, ну, хорошо, что ты мне это сказал.

— Как же, бачка, хорошо?

— Да вот я тебя за это, назло твоей Дзол-Дзаягачи, и велю окрестить.

— Что ты, бачка? зачем Дзол-Дзаягачи сердить? — она рассердится — дуть станет.

— Очень она мне нужна, твоя Дзол-Дзаягачи: окрещу, да и баста.

— Нет, бачка, она не даст обижать.

— Да какая тебе, глупому, в этом обида?

— Как же, бачка, меня крестить? — мне много обида, бачка: зайсан придет — меня крещеного бить будет, шаман придет — опять бить будет, лама придет — тоже бить будет и олешков сгонит. Большая, бачка, обида будет.

— Не смеют они этого делать.

— Как, бачка, не смеют? смеют, бачка, всё возьмут; у меня дядю, бачка, уже разорили... Как же, бачка, разорили, и брата, бачка, разорили.

— Разве у тебя есть брат крещеный?

— Как же, бачка, есть брат, бачка, есть.

— И он крещеный?

— Как же, бачка, крещеный, два раза крещеный.

— Что такое? два раза крещеный? Разве по два раза крестят?

— Как же, бачка, крестят.

— Врешь!

— Нет, бачка, верно: он один раз за себя крестился, а один раз, бачка, за меня.

— Как за тебя? Что ты это за вздор мне рассказываешь?

— Какой, бачка, вздор! — не вздор: я, бачка, от попа спрятался, а брат за меня крестился.

— Для чего же вы так смошенничали?

— Потому, бачка, что он добрый.

— Кто это: брат-то твой, что ли?

— Да, бачка, брат. Он сказал: «Я все равно уже пропал — окрещен, а ты спрячься, — я еще окрещусь»; я и спрятался.

— И где же он теперь, твой брат?

— Опять, бачка, креститься побежал.

— Куда же это его, бездельника, понесло?

— А туда, бачка, где ныне, слыхать, твердый поп ездит.

— Ишь ты! Что же ему до этого попа за дело?

— А свои у нас там, бачка, свои люди живут, хорошие, бачка, люди; как же? ему, бачка, жаль... он их жалеет, бачка, — за них креститься побежал.

— Да что же это за шайтан, этот твой брат? Как он это смеет делать?

— А что, бачка? ничего: ему, бачка, уж все равно, а тех, бачка, зайсан бить не будет, и лама олешков не сгонит.

— Гм! надо, однако, твоего досужего брата на примету взять. Скажи-ка мне, как его зовут?

— Куська-Демяк, бачка.

— Кузьма или Демьян?

— Нет, бачка, — Куська-Демяк.

— Да; по-твоему чище, — Куська-Демяк или медп пятак, — только это два имени.

— Нет, бачка, одно.

— Я тебе говорю — два!

— Нет, бачка, одно.

— Ну, тебе, видно, и это лучше знать.

— Как же, бачка, мне лучше.

— Но это его Кузьмой и Демьяном при первом или при втором крещении назвали?

Вылупился и не понимает; но, когда я ему повторил, он подумал и ответил:

— Так, бачка: это как он за меня крестился, тогда его стали Куська-Демяк дразнить.

— Ну, а после первого-то крещения вы как его дразнили?

— Не знаю, бачка, — забыл.

— Но он-то, чай, это знает?

— Нет, бачка, и он позабыл.

— Быть, — говорю, — этого не может!

— Нет, бачка, — верно, позабыл.

— А вот я его велю разыскать и расспрошу.

— Разыщи, бачка, разыщи; и он скажет, что позабыл.

— Да только уже я его, брат, как разыщу, так сам зайсану отдам.

— Ничего, бачка; ему теперь, бачка, никто ничего, — он пропащий.

— Через что же это он пропащий-то? Через то, что окрестился, что ли?

— Да, бачка; его шаман гонит, у него лама олешки забрал, ему свой никто не верит.

— Отчего не верит?

— Нельзя, бачка, крещеному верить, — никто не верит.

— Что ты, дикий глупец, врешь! Отчего нельзя крещеному верить? Разве крещеный вас, идолопоклонников, хуже?

— Отчего, бачка, хуже? — один человек.

— Вот видишь, и сам согласен, что не хуже?

— Не знаю, бачка, — ты говоришь, что не хуже, и я говорю; а верить нельзя.

— Почему же ему нельзя верить?

— Потому, бачка, что ему поп грех прощает.

— Ну так что же тут худого? неужто же лучше без прощения оставаться?

— Как можно, бачка, без прощения оставаться! Это нельзя, бачка. Надо прощенье просить.

— Ну так я же тебя не понимаю; о чем ты толкуешь?

— Так, бачка, говорю: крещеный сворует, попу скажет, а поп его, бачка, простит; он и неверный, бачка, через это у людей станет.

— Ишь ты какой вздор несешь! А по-твоему это небось не годится?

— Этак, бачка, не годится у нас, не годится.

— А по-вашему как бы надо?

— Так, бачка: у кого украл, тому назад принеси и простить проси; человек простит, и бог простит.

— Да ведь и поп человек: отчего же он не может простить?

— Отчего же, бачка, не может простить? — и поп может. Кто у попа украл, того, бачка, и поп может простить.

— А если у другого украл, так он не может простить?

— Как же, бачка? — нельзя, бачка: неправда, бачка, будет; неверный человек, бачка, везде пойдет.

«Ах ты, — думаю, — чучело этакое неумытое, какие себе построения настроил!» — и спрашиваю далее:

— А ты про господа Иисуса Христа-то что-нибудь слыхал?

— Как же, бачка, — слыхал.

— Что же ты про него слыхал?

— По воде, бачка, ходил.

— Гм! ну, хорошо — ходил; а еще что?

— Свинью, бачка, в море топил.

— А более сего?

— Ничего, бачка, — хорош, жалостлив, бачка, был.

— Ну, как же жалостлив? Что он делал?

— Слепому на глаза, бачка, плевал, — слепой видел; хлебца и рыбка народца кормил.

— Однако ты, брат, много знаешь.

— Как же, бачка, — много знаю.

— Кто же тебе все это рассказал?

— А люди, бачка, говорят.

— Ваши люди?

— Люди-то? Как же, бачка, — наши, наши.

— А они от кого слышали?

— Не знаю, бачка.

— Ну, а не знаешь ли ты, зачем Христос сюда на землю приходил?

Думал он, думал, — и ничего не ответил.

— Не знаешь? — говорю.

— Не знаю.

Я ему все православие и объяснил, а он не то слушает, не то нет, а сам всё на собак погикивает да орстелем машет.

— Ну, понял ли, — спрашиваю, — что я тебе говорил?

— Как же, бачка, понял: свинью в море топил, слепому на глаза плевал, — слепой видел, хлебца-рыбка народца дал.

Засели ему в лоб эти свиньи в море, слепой да рыбка, а дальше никак и не поднимется... И припомнились мне Кириаковы слова о их жалком уме и о том, что они сами не замечают, как края ризы касаются. Что же? и этот, пожалуй, крайка коснулся, но уж именно только

коснулся — чуть-чуть дотронулся; но как бы ему более дать за нее ухватиться? И вот я и попробовал с ним как можно проще побеседовать о благе Христова примера и о цели его страдания, — но мой слушатель все одинаково невозмутимо орстелем помахивает. Трудно мне было себя обольщать: вижу, что он ничего не понимает.

— Ничего, — спрашиваю, — не понял?

— Ничего, бачка, — всё правду врешь; жаль его: он хорош, Христосик.

— Хорош?

— Хорош, бачка, не надо его обижать.

— Вот ты бы его и любил.

— Как, бачка, его не любить?

— Что? ты можешь его любить?

— Как же, бачка, — я, бачка, его и всегда люблю.

— Ну вот и молодец.

— Спасибо, бачка.

— Теперь, значит, тебе остается креститься: он и тебя спасет.

Дикарь молчит.

— Что же, — говорю, — приятель: что ты замолчал?

— Нет, бачка.

— Что такое: «нет, бачка»?

— Не спасет, бачка; за него зайсан бьет, шаман бьет, лама олешков сгонит.

— Да; вот главная беда!

— Беда, бачка.

— А ты и беду потерпи за Христа.

— На что, бачка, — он, бачка, жалостливый: как я дохнуть буду, ему самому меня жаль станет. На что его обижать!

Хотел было сказать ему, что если он верит, что Христос его пожалеет, то пусть верит, что он же его может и спасти, — но воздержался, чтобы опять про зайсана да про ламу не слушать. Ясно, что Христос у этого человека был в числе его добрых, и даже самых добрых божеств, да только не из сильных: добр, да не силен, — не заступается, — ни от зайсана, ни от ламы не защищает. Что же тут делать? как дикаря переуверить в этом, когда Христову сторону поддержать не с кем, а для той много подпор? Католический проповедник в таком случае схитрил бы, как они в Китае хитрили: положил бы Будде

к ногам крестик, да и кланялся и, ассимилировав и Христа и Будду, кичился бы успехом; а другой новатор втолковал бы такого Христа, что в него и верить нечего, а только... думай о нем благопристойно и — хорош будешь. Но тут и это трудно: чем этот мой молодец станет раздумывать, когда у него вся думалка комом смерзлась и ему ее оттаять негде.

Припомнилось мне, как Карл Эккартсгаузен превосходно, в самых простых сравнениях умел представлять простым людям великость жертвы Христова пришествия на землю, сравнивая это, как бы кто из свободных людей, по любви к заключенным злодеям, сам с ними заключался, чтобы терпеть их злонравие. Очень просто и хорошо; но ведь у моего слушателя, благодаря обстоятельствам, нет бóльших злодеев, как те, от кого он бегает из страха, чтобы его не окрестили; нет у него такого места, которое могло бы произвести ужас в сравнении с страшным местом его всегдашнего обитания... Ничего с ним не поделаешь, — ни Массильоном, ни Бурдалу, ни Эккартсгаузеном. Вон он тебе тычет орстелем в снег да помахивает, рожа обмылком — ничего не выражает; в гляделках, которые стыд глазами звать, — ни в одном ни искры душевного света; самые звуки слов, выходящих из его гортани, какие-то мертвые: в горе ли, в радости ли — все одно произношение, вялое и бесстрастное, — половину слова где-то в глотке выговорит, половину в зубах сожмет. Где ему с этими средствами искать отвлеченных истин, и что ему в них? Они ему бремя: ему надо вымирать со всем родом своим, как вымерли ацтеки, вымирают индейцы... Ужасный закон! Какое счастье, что он его не знает, — и знай тычет себе орстелем — тычет направо, тычет налево; не знает, куда меня мчит, зачем мчит и зачем, как дитя простой душою, открывает мне, во вред себе, свои заветные тайны... Мал весь талант его и... благо ему: мало с него спросится... А он все несется, несется в безбрежную даль и машет своим орстелем, который, мигая перед моими глазами, начал действовать на меня как маятник. Меня замаячило; эти мерные взмахи, как магнетизерские пассы, меня путали сонною сетью; под темя теснилась дрема, и я тихо и сладко уснул — уснул для того, чтобы проснуться в положении, от которого да сохранит господь всякую душу живую!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Я спал очень крепко и, вероятно, довольно долго, но вдруг мне показалось, что меня как будто что-то толкнуло и я сижу, накренясь набок. Я в полусне еще хотел поправиться, но вижу, что меня опять кто-то пошатнул назад; а вокруг все воет... Что такое? — хочу посмотреть, но нечем смотреть — глаза не открываются. Зову своего дикаря:

— Эй ты, приятель! где ты?

А он на самое ухо кричит мне:

— Прочкнись, бачка, — прочкнись скорей! застынешь!

— Да что это, — я говорю, — не могу глаз открыть?

— Сейчас, бачка, откроешь.

И с этими словами — что бы вы думали? — взял да мне в глаза и плюнул и ну своим оленьим рукавом тереть.

— Что ты делаешь?

— Глаза тебе, бачка, протираю.

— Пошел ты, дурак...

— Нет, погоди, бачка, — не я дурак, а ты сейчас глядеть станешь.

И точно, как он провел мне своим оленьим рукавом по лицу, мои смерзшиеся веки оттаяли и открылись. Но для чего? что было видеть? Я не знаю, может ли быть страшнее в аду: вокруг мгла была непроницаемая, непроглядная темь — и вся она была как живая: она тряслась и дрожала, как чудовище, — сплошная масса льдистой пыли была его тело, останавливающий жизнь холод — его дыхание. Да, это была смерть в одном из самых грозных своих явлений, и, встретясь с ней лицом к лицу, я ужаснулся.

Все, что я мог проговорить, это был вопрос о Кириаке — где он? Но говорить было так трудно, что дикарь ничего не слышал. Тут я заметил, что он, говоря мне, нагибался и кричал мне под треух в самое ухо, и сам я под треух ему закричал:

— А где наши другие сани?

— Не знаю, бачка, — нас разбило.

— Как разбило?

— Разбило, бачка.

Я хотел этому не верить; хотел оглянуться, но никуда, ни в одну сторону не видать ничего: кругом ад темный и

кромешный. Под самым моим боком у саней что-то копошилось, как клуб, но не было никаких средств видеть, что это такое. Спрашиваю дикаря, что это. Тот отвечает:

— А это, бачка, собачки спутались — греются.

И вслед за тем он сделал в этой тьме какое-то движение и говорит:

— Падай, бачка!

— Куда падать?

— Вот сюда, бачка, — в снег падай.

— Погоди, — говорю.

Мне еще не верилось, что я потерял своего Кириака, и я привстал из саней и хотел позвать его, но меня в то же мгновение и сразу же задушило, точно как заткнуло всего этою ледяною пылью, и я повалился в снег, причем довольно больно ударился головой о санную грядку. Подняться у меня не было никаких сил, да и мой дикарь мне не дал бы этого сделать. Он придержал меня и говорит:

— Лежи, бачка, смирно лежи, не околеешь: снег заметет, тепло будет; а то околеешь. Лежи!

Ничего не оставалось, как его слушаться; и я лежу и не трогаюсь, а он сволок с салазок оленью шкуру, бросил ее на меня и сам под нее же подобрался.

— Вот теперь, — говорит, — бачка, хорошо будет.

Но это «хорошо» было так скверно, что я в ту же минуту должен был как можно решительнее отворотиться от моего соседа в другую сторону, ибо присутствие его на близком расстоянии было невыносимо. Четверодневный Лазарь в Вифанской пещере не мог отвратительнее смердеть, чем этот живой человек; это было что-то хуже трупа — это была смесь вонючей оленьей шкуры, острого человечьего пота, копоти и сырой гнили, юколы, рыбьего жира и грязи... О боже, о бедный я человек! Как мне был противен этот, по образу твоему созданный, брат мой! О, как бы охотно я выскочил из этой вонючей могилы, в которую он меня рядом с собою укладывал, если бы только сила и мочь стоять в этом метущемся адском хаосе! Но ничего похожего на такую возможность нельзя было и ждать — и надо было покоряться.

Мой дикарь заметил, что я от него отвернулся, и говорит:

— Погоди, бачка, ты не туда морду клал; ты вот сюда клади морду, вместе дуть будем — тепло станет.

Это даже слушать казалось ужасно!

Я притворился, что его не слышу, но он вдруг как-то напружинился, как клоп, перекатился чрез меня и лег прямо нос к носу, и ну дышать мне в лицо с ужасным сапом и зловонием. Сопел он тоже необычайно, точно кузнечный мех. Я никак не мог этого стерпеть и решил добиться, чтобы этого не было.

— Дыши, — говорю, — как-нибудь потише.

— А что? ничего, бачка, я не устану: я тебе, бачка, морду грею.

«Мордою» его я, разумеется, не обижался, потому что не до амбиции мне было в это время, да и, повторяю вам, у них для оттенка таких излишних тонкостей, чтобы отличать звериную морду от человеческого лица, и отдельных слов еще не заведено. Все морда: у него самого морда, у жены его морда, у его оленя морда, и у его бога Шигемони морда, — почему же у архиерея не быть морде? Это моему преосвященству снести было не трудно, но вот что трудно было: сносить это его дыхание с этой смердючей юколой и каким-то другим отвратительным зловонием — вероятно, зловонием его собственного желудка, — против этого я никак не мог стоять.

— Довольно, — говорю, — перестань; ты меня согрел, теперь более не сопи.

— Нет, бачка, сопеть — теплей будет.

— Нет, пожалуйста, не надо: и так надоел, — не надо!

— Ну, не надо, бачка, не надо. Теперь спать будем.

— Спи.

— И ты, бачка, спи.

И в эту же секунду, как это выговорил, точно муштрованная лошадь, которая сразу в галоп принимает, так и он сразу же уснул и сразу же захрапел. Да ведь как же, злодей, захрапел! Я, признаюсь вам, с детства страшный враг сонного храпа, и где в комнате хоть один храпливый человек есть, я уже мученик и ни за что уснуть не могу; а так как у нас, в семинарии и академии, разумеется, было много храпунов, и я их поневоле много и прилежно слушивал, то, не в смех вам сказать, я вывел себе о храпе свои наблюдения: по храпу, уверяю вас, все равно как по голосу и по походке, можно судить о темпераменте и о характере человека. Уверяю вас, это так: задорный человек — он и храпит задорно, точно он и во сне сердится;

а товарищ у меня по академии весельчак и франт был — так тот и храпел как-то франтовски: этак весело как-то, с присвистом, точно в своем городе в собор идет новый сюртук обновлять. Его, бывало, даже из других камер слушать приходили и одобряли его искусство. Но теперешний мой дикий сосед такую положительную музыку завел, что я никогда ни такого обширного диапазона, ни такого темпа еще не наблюдал и не слыхивал: точно как будто сильный густой рой гудит и в звонкий сухой улей о стенки мягко бьется. Прекрасно эдак, солидно, ритмически и мерно: у-у-у-у-бум, бум, бум, у-у-у-у-бум, бум, бум... По моим наблюдениям, надлежало бы вывести, что это действует человек обстоятельный, надежный; но, лиха беда, мне не до наблюдений было: он так одолел совсем, разбойник, этим гулом! Терпел, терпел я, наконец не выдержал — толкнул его в ребра.

— Не храпи, — говорю.

— А что, бачка? зачем не храпеть?

— Да ты ужасно храпишь: спать мне не даешь.

— А ты сам захрапи.

— Да я не умею храпеть.

— А я, бачка, умею, — и опять сразу в галоп загудел. Что ты с этаким мастером станешь делать? Что уж тут с таким человеком спорить, который во всем превосходит: и о крещенье больше меня знает, по скольку раз крестят, и об именах сведущ, и храпеть умеет, а я не умею; — во всем передо мною преферанс получает, — надо ему и честь и место дать.

Попятился я от него, как мог, немножко в сторону, провел с трудом руку за подрясник и пожал репетир: часы прозвонили всего три и три четверти. Это, значит, еще был день; вьюга, конечно, пойдет на всю ночь, может быть и больше... Сибирские вьюги ведь продолжительны. Можете себе представить, каково иметь все это в перспективе! А между тем положение мое все становилось ужаснее: сверху нас, верно, уже хорошо укрыло снегом, и в логове нашем стало не только тепло, а даже душно; но зато и отвратительные, вонючие испарения становились все гуще, — от этого спертого смрада у меня занимало дыхание, и очень жаль, что это сделалось не сразу, потому что тогда я не испытал бы и сотой доли тех мучений, которые ощутил, приведя себя в память, что с моим отцом Кириаком

пропала и моя бутылка с подправленною коньяком водою и вся наша провизия... Я ясно видел, что если я не задохнусь здесь, как в Черной пещере, то мне, наверно, грозит самая ужасная, самая мучительная из всех смертей — голодная смерть и жажда, которая уже начала надо мною свое терзательство. О, как я теперь жалел, что не остался мерзнуть наверху и залез в этот снежный гроб, где мы двое лежали в такой тесноте и под таким прессом, что все мои усилия приподняться и встать были совершенно напрасны!

С величайшим трудом я доставал из-под своего плеча кусочки снегу и жадно глотал их один за другим, но — увы! — это меня нимало не облегчало: напротив, это возбуждало у меня тошноту и несносное жжение в горле и желудке, а особенно около сердца; затылок у меня трещал, в ушах стоял звон, и глаза гнело и выпирало на лоб. А между тем докучный рой гудел все гуще и гуще, и все звонче пчелки бились об улей. Такое ужасное состояние продолжалось, пока часовой репетир сказал семь, — и затем я больше ничего не помню, потому что потерял сознание.

Это было величайшее счастие, какое могло посетить меня в моем настоящем бедственном положении. Не знаю, отдыхал ли я в это время сколько-нибудь физически, но я по крайней мере не мучился представлением о том, что меня ожидало впереди и что в действительности по ужасу своему должно было далеко превзойти все представления встревоженной фантазии.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Когда я пришел в чувства, пчелиный рой отлетел, и я увидел себя на дне глубокой снежной ямы; я лежал на самом ее дне с вытянутыми руками и ногами и не чувствовал ничего: ни холоду, ни голоду, ни жажды — решительно ничего! Только голова моя была до того мутна и бестолкова, что мне порядочного труда стоило привести себе на память все, что со мною произошло, и в каком я теперь нахожусь положении. Но, наконец, все это выяснилось, и первая мысль, которая мне пришла в эту пору,

была та, что мой дикарь очнулся ранее меня и улизнул один, а меня бросил.

Оно, по здравому суждению, ему так бы и стоило со мною сделать, особенно после того, как я ему вчера нагрозил и его крестить и брата его Кузьму-Демьяна разыскивать; но он, по своему язычеству, не так поступил. Чуть я, с трудом двинув моими набрякшими членами, сел на дне моей разрытой могилы, как увидел я его шагах в тридцати от меня. Он стоял под большим заиндевелым деревом и довольно забавно кривлялся, а над ним, на длинном суку, висела собака, у которой из распоротого брюха ползли вниз теплые черева.

Я догадался, что это он жертву, или, по-ихнему, таилгу, принес, и, по правде сказать, не возроптал, что это жертвоприношение его здесь задержало, пока я проснулся, и помешало ему меня бросить. А я вполне был уверен, что этот язычник непременно должен был иметь такое нехристианское намерение, и завидовал отцу Кириаку, который терпит теперь свою беду по крайней мере хоть с человеком крещеным, который все же должен быть благонадежнее моего нехристя. И от тяжкого ли моего положения, что ли, во мне родилось даже такое подозрение, что не слукавил ли со мною отец Кириак и, предусматривая все больше меня ему известные случайности сибирских путешествий, под видом доброжелательства подсудобил мне язычника, а себе отобрал христианина? Не похоже это, конечно, было на отца Кириака, и мне даже и сейчас, когда я это вспоминаю, стыдно становится сей моей подозрительности; но что делать, когда она явилась?

Вылез я из снежной ямы и стал подбираться к моему дикарю; он услыхал, как снег захрустел под моими ногами, и обернулся, но сейчас же опять стал продолжать по-прежнему свои тайнодействия.

— Ну, не довольно ли тебе кивать-то? — сказал я, постояв возле него с минуту.

— Довольно, бачка, — и сейчас же пошел к саням и начал цеплять в шорки остальных собачонок. Закладка была готова, и мы поехали.

— Кому ты это там таилгу дал? — спросил я его, махнув назад головою.

— А не знаю, бачка.

— Да собачку-то ты кому пожертвовал: богу или черту — шайтану?

— Шайтану, бачка, как же — шайтану.

— За что же ты его угостил?

— А за то, бачка, что он нас не заморозил: я ему, бачка, за это собачку дал, — пусть его лопает.

— Гм! да он-то пусть лопает, — не облопается, а собачонку жаль.

— Чего, бачка, жаль: собачка плохая, скоро бы дохнуть стала; ничего, бачка, — пусть его берет — лопает.

— Да; так ты с расчетом: дохленькую ему дал...

— Как же, бачка.

— А скажи, пожалуйста: куда мы это теперь едем?

— Не знаю, бачка, — след ищем.

— А где мой поп — товарищ?

— Не знаю, бачка.

— Как же нам его найти?

— Не знаю, бачка.

— Может быть, он замерз?

— Зачем, бачка, замерз: снег есть — не замерзнет.

Я вспомнил опять, что с Кириаком есть еще и бутылка с согревающим питьем и провизия, и — успокоился. Со мною ничего этого не было, а я теперь охотно поел бы хоть собачьей юколы, но боялся о ней спросить, потому что не уверен был, есть ли она с нами.

Целый день мы кружили как-то зря; я это видел — если не по бесстрастному лицу моего возницы, то по неспокойным, неровным и тревожным движениям его собак, которые всё как-то прыгали, суетились и беспрестанно метались из стороны в сторону. Моему дикарю с ними было много хлопот, но его неизменное бесстрастное равнодушие не покидало его ни на минуту: он только работал своим орстелем как будто с несколько большим вниманием, без которого нам, конечно, в этот день сто раз быть бы выброшенными и остаться либо среди степи, либо где-нибудь под лесами, мимо которых мы проезжали.

Но вот вдруг одна собачка ткнулась мордою в снег, дрыгнула задними лапами и пала. Дикарь, разумеется, лучше меня знал, что это значит и какою угрожает нам новою бедою, но не выразил ни страха, ни смущения: так же, как и всегда, он твердою, но бесстрастною рукою застре-

мил в снег свой орстель и дал мне держать этот якорь нашего спасения, а сам поспешно сошел с саней, вынул изнемогшего пса из хомутика и потащил его взад, за сани. Я думал, что он хочет пришибить и закинуть куда-нибудь этого пса; но, оглянувшись, увидел, что и эта собака уже висит на дереве, и из нее опять ползут вниз кровавые черева. Отвратительное зрелище!

— Это что опять? — крикнул я ему.

— А шайтану ее, бачка.

— Ну, брат, довольно будет с твоего шайтана; много ему по две собаки на день есть.

— Ничего, бачка, пусть лопает.

— Нет, не «ничего», — говорю, — а если ты их так будешь колоть, то ты их всех шайтану переколешь.

— Я, бачка, ему тех даю, которые дохнут.

— А ты бы их лучше покормил.

— Нечем, бачка.

— Вот оно что! — это сказалось то самое, чего я и боялся.

А короткий день уже опять клонился к вечеру, и остальные собачонки, видимо, совсем устали, из сил выбились и начали как-то дико похаркивать и садиться. И вдруг еще одна пала, а прочие все, как по уговору, все сразу сели на хвосты и завыли, точно тризну по ней правили.

Дикарь мой встал и хотел вздернуть шайтану третью собаку, но я ему этого на сей раз уже решительно не позволил. Так надоело мне на это смотреть, да и казалось, что эта мерзость как будто увеличивала ужас нашего положения.

— Оставь, — говорю, — и не смей трогать: пусть издыхает, как ей пришлось.

Он и спорить не стал, но зато с обычным ему самым невозмутимым спокойствием выкинул самую неожиданную штуку. Он молча застремил свой орстель впереди саней и всех собачонок, одну за другою, отцепил и пустил их на волю. Оголодалые псы словно забыли истому: они взвизгнули, глухо затявкали и понеслись всей стаей в одну сторону и в минуту же скрылись в лесу за дальним перелогом. Все это сталось так скоро, как в сказке об Илье Муромце сказывается: «Как садился Илья на коня, все видели, а как уехал, того никто не видал». Наша двигательная сила нас оставила: мы *опешили;* от десятка наших еще так недавно

бодрых собачонок при нас оставалась только одна, издохшая, которая валялась у наших ног в своем хомутишке.

Дикарь мой стоял на этом позорище, облокотясь на свой орстель, и с тем же бесстрастием смотрел себе на ноги.

— Зачем ты это сделал? — воскликнул я.

— Пустил, бачка.

— Вижу, что пустил; а придут ли они назад?

— Нет, бачка, не придут, — они одичают.

— Для чего же, для чего ты их спустил?

— Лопать, бачка, хотят, — пусть зверька изловят, — лопать будут.

— А мы с тобою что будем лопать?

— Ничего, бачка.

— Ах ты, изверг!

Он, верно, не понял и ничего мне не отвечал, но воткнул в снег свой орстель и пошел. Никто бы не отгадал, куда и зачем он от меня удалился. Я его окликал, звал его вернуться назад, но он, только взглянув на меня своим тупым взглядом, прорычал: «Молчи, бачка», и побрел дальше. Скоро и он исчез за опушкой, и я остался один-одинешенек.

Надо ли вам распространяться о том, как ужасно было мое положение, или, может быть, вы лучше поймете весь этот ужас из того, что я не думал ни о чем, кроме того, что я голоден, что мне хочется не есть, в человеческом смысле желания пищи, а жрать, как голодному волку. Я вынул мои часы, подавил репетир и был поражен новым сюрпризом: мои часы стояли — чего с ними никогда не случалось на заводе. Дрожащими руками я вложил в них ключ и удостоверился, что они стали потому, что весь завод сошел; а они ходили около двух суток на одном заводе. Это мне открывало, что мы, ночуя под снегом, пролежали в своей ледяной могиле *более чем сутки!*.. Сколько же? — может быть двое, может быть трое? Я более не удивлялся, что я так мучительно страдаю от голода... Я, значит, не ел по крайней мере третьи сутки и, сообразив это, почувствовал свой терзающий голод еще ожесточеннее.

Есть, что-нибудь есть! — нечистое, гадкое, лишь бы есть! — вот все, что я понимал, отчаянно водя вокруг себя полными нестерпимой муки глазами.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Мы стояли на плоском возвышении; за нами была огромная, безбрежная степь, а впереди бесконечное ее продолжение; вправо обозначалась занесенная снегом низменность и перевал, за которым далеко синела на горизонте гряда леса, куда скрылись наши собаки. Влево шла другая лесная опушка, вдоль которой мы ехали, пока вся наша сбруя не расстроилась. Сами мы стояли как раз под большим сугробом, который, видно, намело на пригорок, покрытый высокими, под самое небо уходящими пихтами и елинами. Томимый голодом, я стыл, сидя на краю саней, и, не обращая внимания ни на что окружающее, не заметил, когда здесь очутился возле меня мой дикарь. Я не видал ни того, как он подошел, ни того, как он молча сел рядом со мною; теперь же, когда я обратил на него внимание, он сидел, поставив орстель в колена, а руки завел за теплую малицу. Ни одна черта его лица не изменилась, ни один мускул не двигался, и глаза не выражали ничего, кроме тупой и спокойной покорности.

Я взглянул на него и ни о чем его не спросил, а он, как до сих пор никогда первый не заговаривал, и теперь не заговорил. Так мы и осмеркли, так и просидели рядом бесконечную темную ночь, не сказав друг другу ни одного слова.

Но чуть на небе начало слегка сереть, дикарь тихо поднялся с саней, заложил руки поглубже за пазуху и опять побрел вдоль по опушке. Долго он не бывал назад, я долго видел, как он бродил и все останавливался: станет и что-то долго-долго на деревьях разглядывает, и опять дальше потянет. И так он, наконец, скрылся с моих глаз, а потом опять так же тихо и бесстрастно возвращается и прямо с прихода лезет под сани и начинает там что-то настроивать или расстроивать.

— Что ты, — спрашиваю, — там делаешь? — и при этом неприятно открываю, как у меня спал и даже совсем переменился мой голос, между тем мой дикарь как прежде говорил, так и теперь так же, перекусывая звуки, отрывает.

— Лыжи, бачка, достаю.

— Лыжи! — воскликнул я в ужасе, тут только во всем значении поняв, что такое значит «навострить лыжи». — Зачем ты лыжи достаешь?

— Сейчас убегу.

«Ах ты, разбойник», — думаю. — Куда же ты побежишь?

— На правую руку, бачка, убегу.

— Зачем же ты туда побежишь?

— Лопать тебе принесу.

— Врешь, — говорю, — ты меня здесь кинуть хочешь. Но он нимало не смутился и отвечает:

— Нет, я тебе лопать принесу.

— Где же ты мне лопать возьмешь?

— Не знаю, бачка.

— Как же не знаешь: куда же ты бежишь?

— На праву руку.

— Кто же там, на правой руке?

— Не знаю, бачка.

— А не знаешь, так чего же ты бежишь?

— Примету нашел — чум есть.

— Врешь, — говорю, — любезный, ты меня одного здесь бросить хочешь.

— Нет; я лопать принесу.

— Ну, ступай, только уж лучше не ври, а иди себе куда знаешь.

— Зачем, бачка, врать, нехорошо врать.

— Очень, брат, нехорошо, а ты врешь.

— Нет, бачка, не вру! поди со мной; я тебе приметку покажу.

И, зацепив лыжи и орстель, он поволок их за собою и меня взял за руку, привел к одному дереву и спрашивает:

— Видишь, бачка?

— Что же, — говорю, — дерево вижу, — больше ничего.

— А вон, на большом суку, ветка на ветке, — видишь?

— Ну что же такое? вижу, есть ветка, — верно, ветер ее сюда забросил.

— Какой, бачка, ветер; это не ветер, а добрый человек ее посадил, — в ту руку чум есть.

Ну, очевидное дело, что или он меня обманывает, или сам обманывается; но что же мне делать? — силой мне его не удержать, да и зачем я его стану удерживать? Не все ли равно, что одному, что вдвоем умирать с холоду и голоду? — Пусть бежит и спасается, если может спастись, — и говорю ему по-монашески: «Спасайся, брат!»

А он спокойно отвечает: «Спасибо, бачка», и с этим утвердился на лыжах, заложил орстель на плечи, шаркнул раз ногой, шаркнул два — и побежал. Через минуту его уже и не видно стало, и я остался один-одинешенек среди снега, холода и совсем уже изнурившего меня мучительного голода.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Небольшой зимний сибирский день я пробродил около саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холод пересиливал несносные муки голода. Ходил я, разумеется, потихоньку, потому что и сил у меня не было, да и от сильного движения скорее устаешь, и тогда еще скорее стынешь.

Бродя всё вблизи того места, где меня кинул мой дикарь, я не раз подходил и к тому дереву, на котором он мне указывал приметную ветку: прилежно я ее рассматривал и все еще более убеждался, что это просто ветка, заброшенная сюда ветром с другого дерева.

— Обманул, — говорил я себе, — обманул он меня, да и не поставится ему это в грех: зачем ему было пропадать вместе со мною, без всякой для меня пользы?

И нужно ли вам рассказывать, как тяжело и мучительно долог мне казался этот куцый день? Я не верил ни в какую возможность спасения и ждал смерти; но где она? зачем медлит и когда-то еще соберется припожаловать? Сколько я еще натерзаюсь, прежде чем она меня обласкает и успокоит мои мучения?.. Скоро я стал замечать, что у меня начинает минутами изнемогать зрение: вдруг все предметы как бы сольются и пропадут в какой-то серой мгле, но потом опять вдруг и неожиданно разъяснит... Кажется, это происходит просто от усталости, но не знаю, какую роль здесь играет перемена в освещении: чуть освещение переменится, становится снова видно, и видно очень ясно и далеко, а потом опять затуманит. На часок выпрыгнувшее за далекими холмами солнышко стало обливать покрывавший эти холмы снег удивительно чистым розовым светом, — это бывает там перед вечером, после чего солнце сейчас же быстро и скрывается, и розовый свет тогда сменяется самою дивною синевою. Так

было и теперь: вокруг меня вблизи все засинело, как будто сапфирною пылью обсыпалось, — где рытвинка, где ножной след или так просто палкою в снег ткнуто — везде как сизый дымок заклубился, и через малое время этой игры все сразу смеркло: степь как опрокинутою чашей покрыло, и потом опять облегчает... сереет... С этою последнею переменою, как исчез и сей удивительный голубой свет и перебежала мгновенная тьма, на моих усталых глазах в серой мгле пошли отражаться разные удивительные степные фокусы. Все предметы начали принимать невероятные, огромные размеры и очертания: наши салазки торчали как корабельный остов; заиндевелая дохлая собака казалась спящим белым медведем, а деревья как бы ожили и стали переходить с места на место... И все это так живо и интересно, что я, несмотря на мое печальное положение, готов был бы во все это с любопытством всматриваться, если бы не одно странное обстоятельство, которое меня отпугнуло от моих наблюдений и, пробудя во мне новый страх, оживило с ним вместе и инстинкт самосохранения. Пред моими глазами, вдали, в полутьме, что-то мелькнуло, как темная стрела, потом другая, третья, и вслед за тем в воздухе раздался протяжный жалобный вой.

Я мигом сообразил, что это или волки, или наши отпущенные собаки, которые, вероятно, ничего съедомого не нашли и зверя не затравили, а, истомясь голодом, вспомнили о своей околевшей подруге и хотят воспользоваться ее трупом. Во всяком случае те ли это или другие, оголодавшие ли псы или волки, но они моему преосвященству спуска не дадут, и хотя мне, по разуму, собственно было бы легче быть сразу растерзанным, чем долго томиться голодом, однако инстинкт самосохранения взял свое, и я с ловкостью и быстротою, каких, признаться сказать, никогда за собою не знал и от себя не чаял, взобрался в своем тяжелом убранстве на самый верх дерева, как векша, и тогда лишь опомнился, когда выше было некуда лезть. Передо мною открывалась целая необъятность и снега и темного, как густая накипь, неба, на котором из далекой непроглядной тьмы зарделись красноватые, безлучные звезды; а пока я окинул все это взглядом, внизу, почти у самого корня моего дерева, произошла какая-то свалка: рванье, стон, опять

потасовка, и опять стон, и вот опять во тьме мелькнули вроссыпь стрелы, и сразу все стихло, как будто ничего и не бывало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слышал и свой собственный пульс внутри себя и свое дыхание: оно как-то шумит, как сено, а если сильно вздохнуть, то точно электрическая искра тихо пощелкивает в невыносимо разреженном морозном воздухе, таком сухом и таком холодном, что даже мои волосы на бороде насквозь промерзли, кололись, как проволоки, и ломались; я даже сейчас чувствую озноб при этом воспоминании, которому всегда помогают мои с той поры испорченные ноги. Внизу, может быть, было немножко теплее, а может быть, и нет; но я во всяком случае не верил, что нашествие хищников там не повторится, и решил до утра не сходить с дерева. Это было не страшнее, чем закопаться под снегом с моим зловонным товарищем, да и вообще что уже могло быть страшнее всего моего теперешнего положения? Я только выбрал поразбросистее разветвление и уселся на нем, как в довольно спокойном кресле, так что если бы даже мне и вздремнулось, то я ни за что не упал бы; а впрочем, для большей безопасности я крепко обхватил один сук руками и завел их обе поглубже за малицу. Позиция была хорошо выбрана и хорошо устроена: я сидел, как примерзлый старый сыч, на которого, вероятно, похож был и с виду. Часы мои давно уже не шли, но отсюда для меня были прекрасно открыты Орион и Плеяды — эти небесные часы, по которым я теперь мог вести счет времени моих мучений. Я этим и занялся: сначала вычислил себе приблизительно данную минуту, а потом так просто, без всякой цели, долго-долго глядел на эти странные звезды на совершенно черном небе, пока они стали слабеть, и из золотых сделались медными, и, наконец, совсем потемнели и сгасли.

Настало утро, такое же серое и безрадостное. Мои часы, поставленные мною по расположению Плеяд, показали девять. Голод все ожесточался и мучил меня неимоверно: я уже не чувствовал ни томящего запаха яств и никакого воспоминания о вкусе пищи, а у меня просто была голодная боль: мой пустой желудок сучило и скручивало, как веревку, и причиняло мне мучения невыносимые.

Без всякой надежды найти что-нибудь съестное я спустился с дерева и стал бродить. В одном месте я поднял на снегу еловую шишку. Сначала думал, не кедровая ли и нет ли в ней орешков, но оказалось просто-напросто обыкновенная еловая шишка. Я разломил ее, достал из нее зернышко и проглотил, но смолистый запах был так противен, что и пустой желудок не принял этого зерна, и оттого боли мои только усилились. В это время я заметил, что около наших брошенных саней в разных направлениях было множество недавних следов и что наша дохлая собака исчезла. За нею теперь, очевидно, был на очереди мой труп, на который сбежатся те же волки и так же скоро и хищно его между собою разделят. Только когда же это будет? Неужели еще сутки? А ну как еще более? — Нет. Я припомнил себе одного фанатика-запощеванца, который заморил себя голодом во славу Христову; он имел дух отмечать дни своего томления и насчитал их девять... Это ужасно! Но тот голодал в тепле, а я подвергаюсь всему при жестоком холоде, — это, конечно, должно делать большую разницу. Силы мои меня совсем оставили, — я уже не мог согревать себя движением и сел на сани. Даже сознание моей участи меня как будто покинуло: я чувствовал на веках моих тень смерти и томился только тем, что она так медленно уводит меня в путь невозвратный. Вы поймете, что я так искренно желал уйти из этой мерзлой пустыни в сборный дом всех живущих и нимало не сожалел, что здесь, в этой студеной тьме, я постелю постель мою. Цепь мыслей моих порвалась, кувшин разбился, и колесо над колодцем обрушилось: ни мыслей, ни даже обращения к небу в самых привычных формах — нечего, негде и нечем стало почерпнуть. Я это сознал и вздохнул.

Авва, отче! не могу даже изнести тебе покаяния, но ты сам сдвинул светильник мой с места, сам и поручись за меня перед собою!

Это была вся моя молитва, которую я мог собрать в уме моем, и затем ничего не помню, как шел этот день. Всеконечно, с твердостию могу уповать, что он был такой же точно, как и тот, что минул. Казалось мне только, что я в этот день видел будто бы вдали от себя два живые существа, и это будто были две какие-то птицы; они мне казались ростом с сорок и ста́тью похожие

на сороку, но с скверным лохматым пером, вроде совиного. Перед самым закатом солнца они слетели откуда-то с дерева на снег, походили и улетели. Но, может быть, мне это только казалось в моих предсмертных галлюцинациях; однако казалось это так живо, что я следил за их полетом и видел, как они где-то вдали скрылись, как будто растаяли. Усталые глаза мои, дойдя до этого места, так на нем и стали, и остолбенели. Но что бы вам думалось? — вдруг я начинаю замечать в этом направлении какую-то странную точку, которой, кажется, здесь прежде не было. Притом же казалось, что она как будто движется, — хоть это было так незаметно, что движение ее скорей можно было отличать внутренним чутьем, а не глазами, но я был уверен, что она движется.

Надежда на спасение заговорила, и все муки мои не в силах были перекричать и заглушить ее; точка все росла и все яснее и яснее определялась на этом удивительно нежно-розовом фоне. Мираж ли это, столь возможный в сем пустынном месте, при таком капризном освещении, или это действительно что-то живое спешит ко мне, но оно во всяком случае летит прямо на меня, и именно не идет, а летит: я вижу, как *оно* чертит, наконец различаю фигуру — вижу у нее ноги, — я вижу, как они штрихуют одна за другою и... вслед за тем снова быстро перехожу от радости к отчаянию. Да; это не мираж — я его слишком явно вижу, но зато это и не человек, как и не зверь. Вообще на земле нет во плоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное, фантастическое видение, какое на меня надвигало, словно сгущаясь, складываясь, или, как господа спириты говорят ныне, «материализуясь» из игривых тонов мерзлой атмосферы. Или меня обманывает мой глаз и мое воображение, или кто что ни говори, а это дух. Какой? Кто ты? Неужто это мой отец Кириак спешит мне навстречу из царства мертвых... А может быть, мы оба уже *там?..* неужто я уже и кончил переход? Как хорошо! как любопытен этот дух, этот мой новый согражданин в новой жизни! Опишу его вам как умею: ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была облечена в хитон серебряной парчи и вся искрилась; на голове огромнейший, казалось, чуть ли не в сажень вышины, убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был

бриллиантами или точно это цельная бриллиантовая митра... Все это точно у богато убранного индийского идола, и, в довершение сего сходства с идолом и с фантастическим его явлением, из-под ног моего дивного гостя брызжут искры серебристой пыли, по которой он точно несется на легком облаке, по меньшей мере как сказочный Гермес.

И вот, пока я его рассматривал, он, этот удивительный дух, все ближе, ближе, и — вот, наконец, совсем близко, и еще момент, и он, обрызгав всего меня снежной пылью, воткнул передо мною свой волшебный жезл и воскликнул:

— Здравствуй, бачка!

Я не верил ни своим глазам, ни своему слуху: удивительный дух этот был, конечно, он — мой дикарь! Теперь в этом нельзя было более ошибаться: вот под ногами его те же самые лыжи, на которых он убежал, за плечами другие; передо мною воткнут в снег его орстель, а на руках у него целая медвежья ляжка, совсем и с шерстью и со всей когтистой лапой. Но во что он убран, во что он преобразился?

Не дожидая с моей стороны никакого ответа на свое приветствие, он сунул мне к лицу эту медвежатину и, промычав:

— Лопай, бачка! — сам сел на сани и начал снимать с своих ног лыжи.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Я припал к окороку, и грыз и сосал сырое мясо, стараясь утолить терзавший меня голод, и в то же время смотрел на моего избавителя.

Что это такое было у него на голове, которая оставалась все в том же дивном, блестящем, высоком уборе, — никак я этого не мог разобрать, и говорю:

— Послушай, что это у тебя на голове?

— А это, — отвечает, — то, что ты мне денег не дал.

Признаюсь, я не совсем понял, что́ он мне этим хотел сказать, но всматриваюсь в него внимательнее — и открываю, что этот его высокий бриллиантовый головной убор есть не что иное, как его же собственные длинные воло-

сы: все их пропушило насквозь снежною пылью, и как они у него на бегу развевались, так их снопом и заморозило.

— А где же твой треух?

— Кинул.

— Для чего?

— А что ты мне денег не дал.

— Ну, — говорю, — я тебе, точно, забыл денег дать, — это я дурно сделал, но какой же жестокий человек этот хозяин, который тебе не поверил и в такую стыдь с тебя шапку снял.

— С меня шапки никто не снимал.

— А как же это было?

— Я ее сам кинул.

И рассказал мне, что он по приметке весь день бежал, юрту нашел — в юрте медведь лежит, а хозяев дома нет.

— Ну?

— Думал, тебе долго ждать, бачка, — ты издохнешь.

— Ну?

— Я медведь рубил, и лапу взял, и назад бежал, а ему шапку клал.

— Зачем?

— Чтобы он дурно, бачка, не думал.

— Да ведь тебя этот хозяин не знает.

— Этот, бачка, не знает, а другой знает.

— Который другой?

— А тот хозяин, который сверху смотрит.

— Гм! Который сверху смотрит?..

— Да, бачка, как же: ведь он, бачка, все видит.

— Видит, братец, видит.

— Как же, бачка? Он, бачка, не любит, кто худо сделал.

Рассуждение весьма близкое к тому, какое высказал св. Сирин соблазнявшей его прелестнице, которая манила его к себе в дом, а он приглашал ее согрешить всенародно на площади; та говорит: «Там нельзя; там *люди увидят»*, а он говорит: «Я на людей-то не очень бы посмотрел, а вот как бы нас бог не увидал? Давай-ка лучше разойдемся».

«Ну, брат, — подумал я, — однако и ты от царства небесного недалеко ходишь»; а он во время сей краткой моей думы кувыркнулся в снег.

— Прощай, — говорит, — бачка, ты лопай, а я спать хочу.

И засопел своим могучим обычаем.

Это уже было темно; над нами опять разостлалось черное небо, и по нем, как искры по смоле, засверкали безлучные звезды.

Я тогда уже немножко препитался, то есть проглотил несколько кусочков сырого мяса, и стоял с медвежьим окороком на руках над спящим дикарем и вопрошал себя:

«Что за загадочное странствие совершает этот чистый, высокий дух в этом неуклюжем теле и в этой ужасной пустыне? Зачем он воплощен здесь, а не в странах, благословенных природою? Для чего ум его так скуден, что не может открыть ему творца в более пространном и ясном понятии? Для чего, о боже, лишен он возможности благодарить тебя за просвещение его светом твоего евангелия? Для чего в руке моей нет средств, чтобы возродить его новым торжественным рождением с усыновлением тебе Христом твоим? Должна же быть на все это воля твоя; если ты, в сем печальном его состоянии, вразумляешь его каким-то дивным светом свыше, то я верю, что сей свет ума его есть дар твой! Владыко мой, како уразумею: что сотворю, да не прогневлю тебя и не оскорблю сего моего искреннего?»

И в этом раздумье не заметил я, как небо вдруг вспыхнуло, загорелось и облило нас волшебным светом: все приняло опять огромные, фантастические размеры, и мой спящий избавитель представлялся мне очарованным могучим сказочным богатырем. Я пригнулся к нему и стал его рассматривать, словно никогда его до сей поры не видел, и что я скажу вам? — он мне показался прекрасен. Мнилось мне, что это был тот, на чьей шее обитает сила; тот, чья смертная нога идет в путь, которого не знают хищные птицы; тот, перед кем бежит ужас, сокративший меня до бессилия и уловивший меня, как в петлю, в мой собственный замысл. Скудно слово его, но зато он не может утешать скорбное сердце движением губ, а слово его — это искра в движении его сердца. Как красноречива его добродетель, и кто решится огорчить его?.. Во всяком разе не я. Нет, жив господь, огорчивший ради его душу мою, это буду не я. Пусть плечо мое отпадет от спины моей и рука моя отломится от моего локтя, если

я подниму ее на сего бедняка и на бедный род его! Прости меня, блаженный Августин, а я и тогда разномыслил с тобою и сейчас с тобою не согласен, что будто «самые добродетели языческие суть только скрытые пороки». Нет; сей, спасший жизнь мою, сделал это не по чему иному, как по добродетели, самоотверженному состраданию и благородству; он, не зная апостольского завета Петра, «мужался ради меня (своего недруга) и предавал душу свою в благотворение». Он покинул свой треух и бежал сутки в ледяной шапке, конечно, движимый не одним *естественным* чувством сострадания ко мне, а имея также religio, — дорожа *воссоединением* с тем хозяином, «который сверху смотрит». Что же я с ним сотворю теперь? возьму ли я у него эту религию и разобью ее, когда другой, лучшей и сладостнейшей, я лишен возможности дать ему, доколе «слова путают смысл смертного», а дел, для пленения его, показать невозможно? Неужто я стану страхом его нудить или выгодою защиты обольщать? Никогда, да не будет он как Еммор и Сихем, обрезавшиеся ради дочерей и скотов Иаковлевых! Скотов и дочерей верою приобретающие — не веру, а дочерей и скотов только приобрящут, и семидал от рук их будет тебе яко же и кровь свиная. А где же мои средства его воспитать, его *просветить,* когда нет их, этих средств, и все как бы нарочито так устроено, чтобы им не быть в моих руках? Нет; верно, прав мой Кириак: здесь печать, которой несвободною рукой не распечатаешь, — и благ мне по мысли пришел совет Аввакума пророка: «Аще умедлит, потерпи ему, яко идый приидет и не умедлит». Ей, гряди, Христос, ей, гряди сам в сие сердце чистое, в сию душу смирную; а доколе медлишь, доколе не изволишь сего... пусть милы ему будут эти снежные глыбы его долин, пусть в свой день он скончается, сброся жизнь, как лоза — дозревшую ягоду, как дикая маслина — цветок свой... Не мне ставить в колоды ноги его и преследовать его стези, когда сам Сый написал перстом своим закон любви в сердце его и отвел его в сторону от дел гнева. Авва, отче, сообщай себя любящему тебя, а не испытующему, и пребудь благословен до века таким, каким ты по благости своей дозволил и мне, и ему, и каждому по-своему постигать волю твою. Нет больше смятения в сердце моем:

верю, что ты открыл ему себя, сколько ему надо, и он знает тебя, как и всё тебя знает:

> Largior hic campos aether et lumine vestit
> Purpureo, solemque suum, sua sidera norunt![1] —

подсказал моей памяти старый Виргилий, — и я поклонился у изголовья моего дикаря лицом донизу, и, став на колени, благословил его, и, покрыв его мерзлую голову своею полою, спал с ним рядом так, как бы я спал, обнявшись с пустынным ангелом.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Досказывать ли вам конец? Он не мудренее начала.

Когда мы проснулись, дикарь подладил под меня принесенные им лыжи, вырубил мне шест, всунул в руки и научил, как его держать; потом подпоясал меня веревкою, взял ее за конец и поволок за собою.

Спросите: куда? — Прежде всего за медвежатину долг платить. Там мы надеялись взять собак и ехать далее; но поехали не туда, куда вначале влекла меня моя неопытная затея. В дымной юрте нашего кредитора ждало меня еще одно поучение, имевшее весьма решительное значение на всю мою последующую деятельность. В том было дело, что хозяин, которому мой дикарь шапку покинул, совсем не на охоту в то время ходил, когда прибегал мой избавитель, а он выручал моего Кириака, которого обрел брошенного его крещеным проводником среди пустыни. Да, господа, тут в юрте, близ тусклого вонючего огня, я нашел моего честного старца, и в каком ужасном, сердце сжимающем положении! Он весь обмерз; его чем-то смазали, и он еще жив был, но ужасный запах, который обдал меня при приближении к нему, сказал мне, что дух, стерегший дом сей, отходит. Я поднял покрывавшую его оленью шкуру и ужаснулся: гангрена отделила все мясо его ног от кости, но он еще смотрел и говорил. Узнав меня, он прошептал:

— Здравствуй, владыко!

---

[1] Пышнее здесь эфир одевает пространства в убранство пурпурного света, и познают люди здешние солнце свое и звезды свои (*лат.*).

В несказанном ужасе я глядел на него и не находил слов.

— Я ждал тебя, вот ты и пришел; ну, слава богу. Видел степь? Какова показалась?.. Ничего — жив будешь, опыт иметь будешь.

— Прости, — говорю, — меня, отец Кириак, что я тебя сюда завел.

— Полно, владыко. Благословен будь приход твой сюда; опыт получил, и живи, а меня скорей исповедуй.

— Хорошо, — говорю, — сейчас; где же у тебя святые дары, — они ведь с тобой были?

— Со мной были, — отвечает, — да нет их.

— Где же они?

— Их дикарь съел.

— Что̀ ты говоришь!

— Да!.. съел! Ну, что говорить, — темный человек... спутан ум... Не мог его удержать... говорит: «Попа встречу — он меня простит». Что говорить?.. все спутал...

— Неужто же, — говорю, — он и миро съел!

— Все съел, и губочку съел, и дароносицу унес, и меня бросил... верит, что «поп простит»... Что говорить?.. спутан ум... простим ему это, владыко, — пусть только нас Христос простит. Дай слово мне не искать его, бедного, или... если отыщешь его...

— Простить?

— Да; Христа ради прости и... как приедешь домой, гляди, вражкам ничего о нем не сказывай, а то они, лукавые, пожалуй, над бедняком-то свою ревность покажут. Пожалуйста, не сказывай.

Я дал слово и, опустясь возле умирающего на колени, стал его исповедовать; а в это самое время в полную людей юрту вскочила пестрая шаманка, заколотила в свой бубен; ей пошли подражать на деревянном камертоне и еще на каком-то непонятном инструменте, типа того времени, когда племена и народы, по гласу трубы и всякого рода муссикии, повергались ниц перед истуканом деирского поля, — и началось дикое торжество.

Это моление шло за нас и за наше избавление, когда им, может быть, лучше было бы молиться за свое от нас избавление, и я, архиерей, присутствовал при этом молении, а отец Кириак отдавал при нем свой дух богу и не то молился, не то судился с ним, как Иеремия пророк,

или договаривался, как истинный свинопас евангельский, не словами, а какими-то воздыханиями неизглаголанными.

— Умилосердись, — шептал он. — Прими меня теперь как одного из наемников твоих! Настал час... возврати мне мой прежний образ и наследие... не дай мне быть злым дьяволом в аде; потопи грехи мои в крови Иисуса, пошли меня к нему!.. хочу быть прахом у ног его... Изреки: «Да будет так»...

Перевел дух и опять зовет:

— О доброта... о простота... о любовь!.. о радость моя!.. Иисусе!.. вот я бегу к тебе, как Никодим, ночью; вари ко мне, открой дверь... дай мне слышать бога, ходящего и глаголющего!.. Вот... риза твоя уже в руках моих... сокруши стегно мое... но я не отпущу тебя... доколе не благословишь со мной всех.

Люблю эту *русскую* молитву, как она еще в двенадцатом веке вылилась у нашего Златоуста, Кирилла в Турове, которою он и нам завещал «не токмо за свои молитися, но и за чужия, и не за единыя христианы, но и за иноверныя, да быша ся обратили к богу». Милый старик мой Кириак так и молился — за *всех* дерзал: *«всех,* — говорит, — благослови, а то не отпущу тебя!» Что с таким чудаком поделаешь?

С сими словами потянулся он — точно поволокся за Христовою ризою, — и улетел... Так мне и до сих пор представляется, что он все держится, висит и носится за ним, прося: «благослови *всех*, а то *не отстану»*. Дерзкий старичок этот своего, пожалуй, допросится; а тот по доброте своей ему не откажет. У нас ведь это все in sancta simplicitate[1] *семейно* со Христом делается. Понимаем мы его или нет, об этом толкуйте как знаете, но а что мы живем с ним запросто — это-то уже очень кажется неоспоримо. А он попросту сильно любит...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Я схоронил Кириака под глыбой земли на берегу замерзшего ручья и тут же узнал от дикарей гнусную новость, что мой успешный зырянин крестил... стыдно сказать — с *угощением,* попросту — с водочкой. Стыдом это

[1] В святой простоте *(лат.)*.

в моих глазах все это дело покрыло, и не захотел я этого крестителя видеть и слышать о нем, а повернул назад к городу с решимостью сесть в своем монастыре за книги, без коих монаху в праздномыслии — смертная гибель, а в промежутках времени смирно стричь ставленников, да дьячих с мужьями мирить; но за святое дело, которое всвяте совершать нельзя кое-как, лучше совсем не трогаться — «не давать безумия богу».

Так я и сделал — и вернулся в монастырь умудренный опытом, что многострадальные миссионеры мои люди добрые и слава богу, что они такие, а не иные.

Теперь я ясно видел, что добрая слабость простительнее ревности не по разуму — в том деле, где нет средства приложить ревность разумную. А что таковая невозможна — в этом убеждала меня дожидавшаяся меня в монастыре бумага, в коей мне сообщалось «к сведению», что в Сибири, кроме пятисот восьмидесяти буддийских лам, состоящих в штате при тридцати четырех кумирнях, допускаются еще ламы сверхштатные. Что же? ведь я не Канюшкевич или не Арсений Мациевич, — я епископ школы новой и с кляпом во рту в Ревеле сидеть не хочу, как Арсений сидел, да от этого и проку нет... Я принял известие об усилении лам «к сведению» и только вытребовал, как мог поскорее, к себе назад из степей зырянина и, навесив ему за успехи набедренник, яко меч духовный, оставил его в городе при соборе ризничим и наблюдателем за перезолоткою иконостаса; а своих лениветьких миссионеров собрал да, в пояс им поклонясь, сказал:

— Простите меня, отцы и братия, что вашу доброту не понимал.

— Бог, — говорят, — простит.

— Ну, мол, спасибо, что вы милостивы, и будьте отныне везде и всегда паче всего милостивы, и бог милосердия будет на делах ваших.

И с тех пор во все мое остальное, довольно продолжительное пребывание в Сибири я никогда не смущался, если тихий труд моих проповедников не давал столь любимых великосветскими религиозными нетерпеливцами эффектных результатов. Когда не было таких эффектов, я был покоен, что «водоносы по очереди наполняются»; но когда случайно у того или у другого из миссионеров являлась вдруг большая цифра... я, признаюсь вам,

чувствовал себя тревожно... Мне припоминался то мой зырянин, то оный гвардейский креститель Ушаков либо советник Ярцев, которые были еще благопоспешнее, понеже у них, якоже и во дни Владимира, «благочестие со страхом бе сопряжено», и инородцы у них, еще до приезда миссионеров, уже просили крещения... Да только что же из всей их этой борзости и «благочестия со страхом сопряженного» вышло? — Мерзость запустения стала по святым местам, где были купели сих борзых крестильников, и... в этом путалось все — и ум, и сердце, и понятия людей, и я, худой архиерей, не мог с этим ничего сделать, да и хороший ничего не сделает, пока... пока, так сказать, мы всерьез станем заниматься верою, а не кичиться ею фарисейски, для блезира. Вот, господа, в каком положении бываем мы, русские крестители, и не оттого, чай, что не понимаем Христа, а именно оттого, что мы его понимаем и не хотим, чтобы имя его хулилось во языцех. И так я и жил уже, не лютуя с прежнею прытью, а терпеливо и даже, может быть, леностно влача кресты, от Христа и не от Христа на меня ниспадавшие, из коих замечательнейшим был тот, что я, ревностно принявшись за изучение буддизма, сам рачением моего зырянина прослыл за потаенного буддиста... Так это при мне и осталось, хотя я, впрочем, ревность своего зырянина не стеснял и предоставлял ему орудовать испытанными, по своей верности, приемами князя Андрея Боголюбского, о коих выкликал над его гробом Кузьма-домочадец: «придет, дескать, бывало, язычник, ты велишь его весть в ризницу, — *пусть смотрит на наше истинное христианство*». И я зырянину предоставил кого он хочет водить в ризницу и все собранное там от нашего с ним «истинного христианства» со тщанием показывать... И было все это хорошо и довольно действенно; наше «истинное христианство» одобряли, но только, разумеется, может быть моему зырянину казалось скучно по два да по три человека крестить, да и впрямь оно скучно. Вот и до настоящего русского слова договорился: «скучно»! Скучно, господа, тогда было бороться с самодовольным невежеством, терпевшим веру только как политическое средство; зато теперь, может быть, еще скучнее бороться с равнодушием тех, которые, заместо того чтобы другим светить, по удачному выраже-

нию того же Мациевича, *«сами насилу веруют...»* А вы ведь, современные умные люди, всё думаете: «Эх, плохи наши епархиальные архиереи! Что они делают? Ничего они, наши архиереи, не делают». Не хочу за всех заступаться: многие из нас действительно очень немощны стали: под крестами спотыкаются, падают и уже не то, что кто-нибудь — заправский воротила, а даже иной pора mitratus[1] для них в своем роде владыкой становится, и все это, разумеется, из того, «что ми хощете дати», но а спросил бы я вас: что́ их до этого довело? Не то ли именно, что они, ваши епархиальные архиереи, обращены в администраторов и *ничего* живого не могут теперь делать? И знаете: вы, может быть, большою благодарностию им обязаны, что они в эту пору ничего не делают. А то они скрутили бы вам клейменым ремнем такие бремена неудобоносимые, что бог весть, расселся ли бы хребет вдребезги или разлетелся бы ремень пополам; но мы ведь *консерваторы:* бережем, как можем, «свободу, ею же Христос нас свободи», от таковых «содействий»... Вот, господа, почему мы слабо действуем и содействуем. Не колите же нам глаз бывшими иерархами, как св. Гурий и другие. Св. Гурий умел просвещать — это правда; да ведь он для того и ехал-то в дикий край хорошо оснаряжен: с наказом и с правом «привлекать народ ласкою, кормами, *заступлением* перед властями, *печалованием* за вины перед воеводами и судьями»; «он *обязан был»* участвовать с правителями в совете; а ваш сегодняшний архиерей даже с своим соседом архиереем не волен о делах посовещаться; ему словно ни о чем не надо думать: за него есть кому думать, а он обязан только все принять *«к сведению»*. Чего же вы от него хотите, если ему ныне самому за себя уже негде стало печаловаться?.. Эх, твори, господи, волю свою... Что́ может еще делаться, то как-то пока само делается, и я это видел под конец моего пастырства в Сибири. Приезжает раз ко мне один миссионер и говорит, что он напал на кочевье в том месте, где я зарыл моего Кириака, и там, у ручья, целую толпу окрестил в «Кириакова бога», как крестился некогда человек во имя «бога Иустинова». Добрый народ у костей доброго старца

---

[1] Митрофорный священник *(лат.)* — то есть священник, награжденный митрой.

возлюбил и понял бога, сотворившего сего добряка, и сам захотел служить богу, создавшему такое душевное «изящество».

Я за это велел Кириаку такой здоровый дубовый крест поставить, что от него не отрекся бы и галицкий князь Владимирко, вменявший ни во что целование креста малого; воздвигли мы Кириаку крест вдвое больше всего зырянина, — и это было самое последнее мое распоряжение по сибирской пастве.

Не знаю, кто этот крест срубит или уже до сих пор и срубил его: буддийские ли ламы или русские чиновники, — да, впрочем, это все равно...

Вот вам рассказ мой и кончен. Судите всех нас, в чем видите, — оправдываться не стану, а одно скажу, что мой простой Кириак понимал Христа, наверно, не хуже тех наших заезжих проповедников, которые бряцают, как кимвал звенящий, в ваших гостиных и ваших зимних садах. Там им и присутствовать, среди жен Лотовых, из коих каждая, каких бы словес ни наслушалась, в Сигор не уйдет, а, пофинтив перед богом, доколе у нас очень скучненько живется, при малейшем изменении в жизни опять к своему Содому обернется и столбом станет. Вот в чем и будет заключаться весь успех этой салонной христовщины. Что нам до этих чудодеев? Они хотят не понизу идти, а поверху летать, но, имея, как прузи, крыльца малые, а чревища великие, далеко не залетят и не прольют ни света веры, ни услады утешения в туманы нашей родины, где в дебрь из дебри ходит *наш* Христос — благий и добрый и, главное, до того терпеливый, что даже всякого самого плохенького из слуг своих он научил с покорностью смотреть, как разоряют его дело те, которые должны бы сугубо этого бояться. Мы ко всему притерпелися, потому что нам уже это не первый снег на головы. Было и то, что наш *«Камень веры»* прятали, а *«Молот»* на него немецкого изделия всем в руки совали, и стричь-то и брить-то нас хотели, и в аббатиков переделать желали. Один благодетель, Голицын, нам свое юродское богословие указывал проповедовать; другой, Протасов, нам своим пальцем под самым носом грозил; а третий, Чебышев, уже всех превзошел и на гостином дворе, как и в синоде, открыто «гнилые слова» изрыгал, уверяя всех, что «бога нет и говорить о нем глупо»...

А кого еще вперед сретать будем и что нам тот или другой новый петух запоет, про то и гадать нельзя. Одно утешение, что все они, эти радетели церкви русской, ничего ей не сделают, потому что не равна их борьба: церковь неразорима, как здание апостольское, а в сих певнях дух пройдет, и не познают они места своего. Но вот что, господа, мне кажется крайне бестактно, — это то, что иные из этих, как их ныне стали звать, лица высокопоставленные, или широкорасставленные, нашей скромности не замечают и ее не ценят. Это, поистине скажу, неблагодарно: им бы не резон нарекать на нас, что мы терпеливы да смирны... Будь мы понетерпеливее, так, бог весть, не стали бы сожалеть об этом очень многие, и больше всех те, иже в трудех не суть и с человеки ран не приемлют, а, обложив туком свои лядвии, праздно умствуют, во что бы им начать верить, чтобы было только о чем-нибудь умствовать. Поцените же вы, господа, хоть святую скромность православия и поймите, что верно оно дух Христов содержит, если терпит *все,* что богу терпеть угодно. Право, одно его смирение похвалы стоит; а живучести его надо подивиться и за нее бога прославить.

Мы все без уговора невольно отвечали:

— Аминь.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАХУДАЛЫЙ РОД
(ЧЕРНОВЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ 3-й ЧАСТИ)

ОДИН ИЗ МОГИКАН
(Князь Кис-ме-квик)

Очерк

В нем были слабости,
Была и добродетель:
О первых знает всяк, —
Последней бог свидетель.

Эпитафия

I

Я не могу сказать о нем, что его «схоронили и позабыли», потому что он умер только вчера, а ⟨позабыли его⟩ гораздо ранее. Его свеча догорала тихо и одиноко, может быть и она немножко коптила, потому что на ней собралось немало нагара; но все-таки он досидел при ней до своей поздней ночи и видел все без очков и довольно ясно. Она погасла четыре дня тому назад в его небольшой оригинальной квартире, где он проводил свою оригинальную жизнь. Это было здесь, в Петербурге, которого он не только не любил, но даже ненавидел, а под конец даже и презирал и как бы в наказание за то осужден был провести здесь свои последние годы — годы упадка своих сил, значения и состояния, которые он растратил многоразличными способами. К последней поре у него оставалось только то, что теперь едва ли что-нибудь стоит: именно честь и независимость убеждений да те слабости, на которые намекает сочиненная мною ему эпитафия.

А было время, и относительно весьма недавнее время, когда его очень знали и одни его очень любили, другие

им хвастались, третьи его побаивались и не было никого, кто бы его не уважал... в душе. О, разумеется, только в душе! Но, однако, и так не было ни одного человека, который бы решился громко возражать против того, что князь Яков Львович Протозанов, или, как его в шутку звали, «князь Кис-ме-квик», самый добрый и благородный человек, какого только можно пожелать встретить. А он, по правде говоря, был человек довольно обыкновенный и ума не самого дальнего, но было в нем *нечто* такое, что делало его весьма милым, интересным и замечательным явлением в преходящей жизни.

Он именно был *явление,* и сам смотрел на себя как на странное явление. Странного в нем было много, и, между прочим, то, что он не только понимал в совершенстве себя и свое время, но даже превосходно судил о том, чего не понимал вовсе.

— Ma foi,[1] — говаривал он иногда, — я говорил так и вижу, что это так следовало; а по правде сказать вам, я об этом никогда не думал и сам этого не понимаю.

Если бы он был так пуст, чтобы заниматься спиритизмом, он мог бы подозревать в себе медиумизм, а если бы он был тщеславен и любил громкие слова, то он мог бы говорить, что у него, как у Сократа, был свой демон. Но у него ничего не было: ни демона, ни медиумизма, — у него было свое чутье и благородство.

О, если бы вы знали, читатель, как мило мне вспомнить в это немилое время о прекрасном человеке, которого так недавно скрыла могила в бедной части петербургского кладбища, скрыла его навсегда, вместе с его оригинальными выходками и его забавными тайнами и слабостями его до последней минуты увлекавшегося сердца, — вы, наверно, простили бы мне, что я говорю о нем так неспокойно.

Кто не очень спешит позабыть наше прошлое и особенно то в нашем прошлом, что не обязывает нас клеймить отцов своих темною укоризною, в виду нашего превосходства, того я зову помянуть со мною дядю Якова.

Начнем ab ovo.[2]

---

[1] Честное слово *(франц.)*
[2] С начала *(лат.)*.

Он родился князем; и жил и умер, храня свой титул не как титул, но и как родовое достоинство. Он начал русским барином, — а кончил испанским дворянином и «сохранился» в это время, когда так мало мастеров сохраняться во всей чистоте при всей бедности.

Не морщите носа, читатель, потому что «это опять дворянская история». Это просто человеческая история, которая, может быть, прежде всего не понравится тем, в чью пользу вы ее предполагаете. Во всяком случае поверьте, она стоит того, чтобы я вынул на часок милого старика из его глазетового гроба, спрыснул на него живою водою и показал его вам, как живого, во всех характерных фазах его жизни.

II

Еще раз: ab ovo!

Князь Яков был «ровесником века». Так как он никогда не лгал, то я могу с его же слов сообщить вам, что он родился в ночь на первое число генваря 1801 года. В минуту своего рождения он не представлял ничего необыкновенного, разумеется если не принимать во внимание того, что он, по словам наблюдавшей его бабушкиной фаворитки Ольги Федотовны, появясь на свет, ни за что не хотел плакать. Белый свет ему, вероятно, не показался настолько черным, чтобы испугаться его и раскричаться, в чем, впрочем, некоторые видят особое символическое значение. Дядя проманкировал этим и за то был побуждаем к исполнению сей необходимой формальности щекотанием бородкою гусиного пера в носике. Это ему не понравилось, и он согласился заплакать, чем и доказал, что насилия в какой бы то ни было легчайшей форме он не будет считать за удовольствия. По гороскопу, составленному общим собранием многих женщин, купавших младенца в корытце у теплой лежанки, было решено, что это пришел в свет жилец очень спокойный и веселый, который будет любить жизнь и прогостит на земле долго, а потом умрет и никому ничего не оставит.

Последнее обстоятельство казалось не только несколько странным, но даже почти невероятным, потому что новорожденный был наследник обширных имений,

оставленных ему предками и умноженных его матерью, княгинею Варварою Никаноровною Протозановою; но тем не менее все были уверены, что всё непременно случится так, как было выведено в гороскопе. Ошибка была невозможна: все видели, что младенец держал ручки просто и ни за что не хотел сжимать кулачков, насильно сделанные из его ручек горсточки тотчас же расправлялись, — а это редкий, но зато несомненный признак нестяжательности и даже расточительности. Гороскоп был верен, и князь Яков оправдал его своею жизнию.

О раннем детстве его не сохранилось преданий: я слыхал только, что он был дитя ласковое, спокойное и веселое: очень любил мать, няньку, брата с сестрою и имел смешную для ранних лет манеру задумываться, удаляясь в угол и держа у своего детского лба свой маленький указательный палец, — что, говорят, было очень смешно, и я этому верю, потому что князь Яков и в позднейшее время бывал иногда в серьезные минуты довольно наивен.

До восьми лет он жил с своим младшим братом Димитрием и сестрою княжною Настасьею Львовною под единственным надзором их матери, княгини Варвары Никаноровны, про которую по всей истине позволительно сказать, что ее можно было послать командовать полком и присутствовать не только в сенате, но даже и в синоде, и она нигде бы себя лицом в грязь не уронила. Про нее, впрочем, кое-что известно из записок ее внучки, княжны Веры, но я не буду о ней распространяться, потому что это повело бы меня далеко в протозановскую хронику, которую я писать не намерен. Мой «сюжет», как говорят некоторые провинциальные дамы, просто один князь Яков. Другие лица должны входить в мой очерк настолько, насколько они нужны мне для освещения лица и душевной, или, лучше сказать, нравственной, физиономии князя Якова.

III

Княжна Анастасия была лет на восемь старше братьев и воспитывалась, по некоторым обстоятельствам, против воли матери, в институте. Это была старая история; другая касающаяся ее история заключалась в том, что

княжна шестнадцати лет, опять не по желанию матери, вышла замуж за лихой памяти старого графа Функендорфа, который сделал немало зла семье Протозановых.

Муж Варвары Никаноровны, князь Лев Протозанов, был убит в Отечественную войну, в геройской схватке, которую он с горстью отчаянных храбрецов учинил под влиянием раздражения, произведенного на него долго длившимися неудачами его отряда. Он был человек гордый и благородный и умер с стоическим спокойствием, которое дали ему всегда жившая в протозановском роде вера в бога и непоколебимая уверенность в благоразумии и твердости княгини Варвары Никаноровны. Лишенная возможности воспитать дома дочь, потому что должна была уступить желанию императрицы Марии Феодоровны видеть в институтах дочерей хороших фамилий, княгиня надеялась, что по крайней мере мальчиков она воспитает у себя дома, вдали от «растлевающего петербургского влияния»; но и в этом она ошиблась. Из большой благодатной тучи, которую она скопляла в надежде излить ее растительным дождем на юную ниву, сверкнул маленький гром и разбросал всю затею вроссыпь. Княгиня очень долго и тщательно выбирала сыновьям воспитателя, и выбрала человека необыкновенного: это был некто Мефодий Мироныч Червев, отставной семинарский преподаватель, который не ужился на службе и был изгнан за какой-то неудобный образ мыслей. В чем именно состоял этот образ мыслей, это разве могло быть известно княгине, которая знала Червева более, чем все другие, да, может быть, друзьям его юности, в числе которых были такие замечательные люди, как Сперанский. Впрочем, последние знали его в ранней поре, когда он, быть может, еще не совсем определился и выяснился, вдали от всякого светского коловращения. В доме княгини он пострадал за политику, хотя я имею твердое основание предполагать, что он политикою никогда не интересовался и даже едва ли не считал ее чем-то недостойным и презренным. По некоторым чертам его жизни, по признакам того духа и религиозных воззрений, которые он посеял в своих воспитанниках, и особенно по оставшимся после него немногим книгам его скудной библиотеки, я думаю, что

он был если не совсем мартинист, то держался воззрений мистиков. Он был христианин, и даже, как все о нем говорят, большой христианин: любил духовное чтение, духовную беседу и вел чисто *(не окончено)*.

Г⟨ЛАВА⟩ I

Занимаясь долго своею младшею линиею протозановского рода, я не могла параллельно вести описания судьбы старшей линии, во главе которой был дядя князь Яков Львович, «граф Кис-ме-квик».

Дядя хотя женился и с разрешения матери, но женитьбою своею едва ли мог похвалиться. Он был так благороден, что никогда на это не жаловался, но тем не менее никто не сомневался, что он свою жену и «в фаворе не имел» и не уважал, а, напротив, едва ли не презирал, и очень глубоко.

Почтительное и теплое письмо, присланное бабушке Александрою Ярославовною, когда она рекомендовалась свекрови в качестве избранницы ее сына, было сочинено самим дядею, которому вдобавок стоило изрядных усилий убедить свою невесту переписать и послать это письмо княгине Варваре Никаноровне. Дядя сам признался в этом матери на другой же день после того, как привез к ней в Протозаново свою молодую жену. Бабушка, посмотрев на невестку, которая как вошла, так, повидавшись, тотчас же попросила позволения удалиться привести в порядок свой туалет, сказала сыну:

— То письмо... которое она мне перед выходом замуж послала: ею оно было писано, или... Кто его сочинял?

— Я, матушка, сочинял, — отвечал дядя.

— Гм... я так и сужу, что ты...

— Alexandrine, матушка, женщина очень добрая... вы сами увидите.

— Да; в тебе всегда были чувства хорошие. Это и Козьма Романыч ценил, а впрочем, пойдем, я тебя с дороги сама чаем напою, пока жена в уборы оденется.

Дядя заметил, что Александра Ярославовна с первого раза не понравилась его матери, и был как на иголках в течение долгого часа, который бабушка провела с ним

за чаем в ожидании невестки. Туалет дядиной супруги был всегда очень продолжителен, и на этот раз она с ним хотя и спешила, но все-таки не умела кончить его раньше часа. Это с бабушкиной точки зрения было «невозможно»: делая все не спеша, но скоро, бабушка, встав с постели, в десять минут была готова принимать кого угодно, и долгая трата времени на туалет ей казалась ужасною глупостью, — и эта-то «глупость» предъявилась ей в приезжей невестке с первой же минуты.

Дядя видел, что мать недовольна, что задушевная беседа, которая у них началась было за чаем, обрывается, и, встав, попросил позволения ее на минуту оставить.

— Иди, мой друг, — отвечала княгиня, — только не хочешь ли ты торопить жену, — так это напрасно. Она у тебя, верно, франтиха?

— Да, матушка, она любит одеться, но я, право, не знаю... что это... так долго.

— И не знай, батюшка, лучше: это не мужское дело, как баба одевается; ей здесь новый самовар подадут, а мы с тобой пока пройдемся, я тебе хозяйство покажу: я тут без вас много кой-что построила. Скоро будем делиться; вам все надо видеть.

И они вышли, немало походили и, придя назад, тогда только застали Александру Ярославовну за чаем: она была в свежем утреннем туалете, сделанном ей в Париже, и, встав приветствовать бабушку, поцеловала ее сжатыми губами не в уста, а в щеку. Для простой и прямой во всех своих действиях княгини все эти чопорности были не по нутру, и она только крепилась ради сына, чтобы не дать заметить, как ей все это неприятно.

Весь первый день они провели вместе, и дядя мучился, видя, как у матери с женою ни одна беседа не вяжется. К обеду приехали из Оптухи мой отец и мать: братья в парадной же кинулись друг другу на шею и от радости заплакали, жена дяди со всеми повидалась, сдержанно наблюдая тон и приличие. От внимания бабушки не ускользнуло, что Александра Ярославовна, здороваясь с maman, тоже подставила ей свое лицо боком и этим приемом заставила поцеловать себя в щеку. Но, однако, княгиня и на этот раз ей смолчала, но только сказала в своей спальне maman:

— Никогда ее больше не целуй — не стоит, — а дядю потом спросила:

— Что, твоя жена брезглива или так фуфырится?

Дядя сконфузился и спросил:

— Из чего вы это заключаете?

— Так и я и Паша ее поцеловать хотели, так она отворачивается.

— Ах, это-то!.. Да; у нее такая привычка.

— Очень скверная привычка.

— Матушка, ведь это многие...

— Брезгливы бывают?

— Да.

— Ну, батюшка, мало ли каких не бывает... Впрочем, лишь бы она тобою не брезговала, а нам ее поцелуи не нужны.

Однако решительного охуждения невестке бабушка, говорят, никогда не изрекала и на вопрос моего отца: как ей Александра Ярославовна нравится? — коротко отвечала:

— Ничего... joli[1]-мордочка.

С этих пор «жоли-мордочка» в интимном домашнем круге заменяло собственное имя чопорной дядиной жены, которой никто в доме не любил за ее надутость и противную щепетильность.

— Все, бывало, так и ощипывается, чтобы никто до нее не дотронулся, — передавала Ольга Федотовна, приходившая, впрочем, в наибольший ужас от того, что́ Александра Ярославовна делала, заботясь о своей красоте. — Она-то и мылась и гладилась по целым дням, и все не по-людски, а в особом виде: ногти одни по целому часу в кипяченом теплом вине держала, чтобы были розовы, а на ночь и руки и лицо каким-то жиром намазывала и так и спала в перчатках, и чтобы, боже сохрани, никто к ней подойти не смел, а утром всякий день приказывала себе из коровьего молока ванны делать и вся в молоко садилась. Княгиня, узнав об этом, приказала, чтобы ей ванну молоком наливали, но сами сказали: «Мерзость какая» — и плюнули, потому что хоть она, положим, и хороша была, но все же княгиня в свое время двадцать раз ее была красивее, а никогда ничего такого

---

1 Хорошенькая (*франц.*).

не делалось. Разве когда очень с дороги лицо обветреет, так вином, на свежих огурцах настоенном, оботрутся, да и все, а это, чтобы в молоке плавать... боже сохрани! Бабушке даже было неприятно, что в людях во всех, по дворне и по деревням, через это молоко разговор пошел: что как ей это не грех божий дар поганить, который бы детям в пищу пошел. Но она, кроме себя, ни о ком не думала.

Все эти мелочи скоро сделали, что Александра Ярославовна не успела оглянуться, как сделалась в доме самым неприятным гостем. И мой отец с матерью, и сам дядя, зная бабушкин характер, стали ежеминутно опасаться, как бы не произошло домашней сцены, которая поставит сына с матерью в неприязненные отношения. Опасность эта была тем вероятнее, что дяде невозможно было скрывать капризов своей жены: все замечали, что Александра Ярославовна частенько по целым дням не говорила с мужем ни одного слова и даже не отвечала на его вопросы, которые он ей предлагал, чтобы скрыть существующие неудовольствия. Наконец, однажды бабушка, встав по своему обыкновению ранее всех в доме и подняв штору, неожиданно увидала дядю Якова на балконе в халате с одеялом и подушкою под мышкой. Он, очевидно, собрал сам свою постель и хотел с нею уходить, но бабушка его остановила: она постучала ему в окно и, торопливо раскрыв раму, спросила: что это значит?

Дядя, сконфузясь, отвечал, что ему будто с вечера показалось в комнате душно и он перешел на балкон.

— Где же ты, на полу, что ли, спал?

— Нет — на диванчике.

— Ну, сделай милость, вперед так не делай: на голом диванчике нехорошо спать, да он и короток, и по утрам иногда нехорошие росы бывают, а если когда тебя из спальни выгонят, так ты в другие комнаты переходи.

— Ах, матушка! мне людей стыдно! — не стерпев, отвечал дядя.

Бабушка не стала ему более ничего говорить, но отец мой по-братски спросил брата: счастлив ли он с своею женою?

— Да, ничего, — отвечал дядя.

— А женился ли бы ты на ней теперь еще раз, если бы тебя разженили?

— Ну, знаешь... не знаю, что тебе на это отвечать.

— А не знаешь, так, значит, не женился бы.

— Пожалуй.

В той же дружеской и братской беседе дядя объяснил моему отцу и оригинальную причину: почему он женился на Александре Ярославовне.

— Во-первых, — сказал он, — ты тут ранее меня женился, а я всё... Знаешь эти мои увлечения красотою... надоело, думаю: возьму и себе женюсь, но а главное, у нее эта головка... и ты, я думаю, заметил, как она ее высоко носит... шейка этак приветно обрисовывается, и она тогда темный жемчуг тут под душкой носила.... просто прелесть.

Отец мой, по веселости нрава, смеясь, передал этот рассказ бабушке, но та, выслушав его, насупила брови и отвечала:

— Дурак — и поделом ему и мука.

Но этот случай при всей своей комичности имел ту выгоду, что сцены между дядею и его матерью более нельзя было опасаться, так как бабушка хотя и назвала дядю «дураком», но преисполнилась к нему нежнейшего сожаления, которое потом сохраняла во всю жизнь и под влиянием его если не оправдывала, то по крайней мере извиняла его слабость. Бабушка после этого только скорее заспешила разделом, о котором нечего много рассказать: он был сделан с тем же благородством, как и выдел княжны Анастасии: моему отцу достались Ретяжи, в которых он уже и жил до раздела, дяде Якову Конубрь, а бабушка оставалась в Протозанове, от которого она хотя и отказывалась, предоставя детям по жребию делить деревни, в которых были господские дома, но и дядя и отец слышать об этом не хотели и просили мать почтить их позволением оставить в ее владении Протозаново, к которому она привыкла.

Таким образом, вместо одного протозановского гнезда на небольшом одно от другого расстоянии завелись четыре: старое бабушкино в Протозанове, наше в Ретяжах, дяди Якова в Конубре и тетушки Анастасии Львовны в Разновилье. Круг был большой: одно родство составляло само по себе целое общество, если бы только в нем, кроме числа и удобства соотношений, была внутренняя склейка; но ее-то и недоставало. Не в похвальбу нам, рус-

ским, надо сознаться, что у нас ее вообще мало: чуть у нас что вкупе не заладится, мы не станем подкреплять лады, а скорее все в стороны — без злобы, без ненависти, но в стороны. Не знаю, надо ли это относить более к нашим достоинствам или к недостаткам, но знаю, что этим уравновешивается наша малоспособность к дружбе малоспособностью к упорной вражде, что, по-моему, тоже не худо. Русский человек вообще не злопамятлив: он прощает обиду скорее и легче, чем иной иностранец; мести он почти никогда не делает своею задачею и охотно мирится с тем, в чьем обидном поступке видит след запальчивости, неосновательной подозрительности или иной случайности, зависящей от обстоятельств и слабостей человеческих, которым в мягкосердной Руси дается так много снисхождения; но когда хороший русский человек встречает в другом обидный *закал,* он скажет: «Бог с ним» и предоставляет другим проучить его, а сам от такого сейчас в сторону.

Это, конечно, не достоинство, если смотреть на дело только со стороны требований жизни гражданственной, но зато это порука в пользу любви русского человека к тишине и созерцательному настроению, которое он ограждает своею уступчивостью по изречению: «будь ты мне как мытарь», то есть как чужой, как человек, с которым я ничем не связан, кроме закона человеколюбия. Что до меня, то я, признаюсь, люблю эту черту нашего народа и когда слышу жалобы на его рыхлость и нецепкость, я спокойно пускаю эти песни мимо моих ушей, потому что знаю в нем нечто высшее, чем цепкость, — это нечто, с избытком вознаграждающее ее *(не окончено).*

ГЛАВА

Дядя, князь Яков Львович, уцелел от бурь, которые разметали и развеяли дом моего отца. Он служил в Петербурге в пешей гвардии тоже не до большого чина и так же, как мой отец, не подавал надежд к продолжению военной карьеры. Как он проводил свое время в Петербурге, это мне не совсем известно, но судя по тому, что он был знаком почти со всеми современными ему знамени-

тостями, надо полагать, что он жил не исключительно в свете и среди своих военных товарищей, а держался умных кружков: он лично знал Жуковского, Пушкина, Дельвига, Гоголя, Каратыгина и Брюллова, ходил в дом к Толстым, где перезнакомился со всем тогдашним художественным миром и сам с успехом занимался как дилетант и живописью и ваянием, что необыкновенно шло его изящной натуре. Шумного разгула и кутежей, которые тогда были в моде, дядя бегал: оргии ему были противны, но он платил дань своему веку страшною влюбчивостью, не знавшею у него никакой меры и границ. Под робкою застенчивостью в его сердце таилося целое неугасимое пламя нежных увлечений, которые у него были так разносторонни, что он сам часто не знал, но все они непременно были сопряжены для него с большими историями. Пока он был холост, он на каждой своей привязанности хотел жениться. Бабушка вспоминала это время с неподдельным ужасом.

— Отпустила его, — рассказывала она, — еще ребенком и все думаю: дитя, учится, а мое дитя вдруг мне пишет письмо: «Маменька! Я не смею вам лгать, я был у нашего инспектора: меня приглашали на вечер танцевать с девицами, и я видел, мамаша, его дочь и объяснился с нею. Она, мамаша, прекрасная девушка и очень меня любит. Ей теперь уже четырнадцать лет, но ее родные это скрывают и говорят, будто только двенадцать, но все равно мы дали друг другу слово, что пока я выйду в офицеры, она будет меня ждать, а тогда прошу у вас позволения мне на ней жениться, потому что я уже дал честное слово и не могу взять назад». Я оставляю это письмо без ответа, как будто его и не получала, а тут, гляжу, вслед за ним другое, пишет: «Маменька! Я прошу у вас прощения, если я вас напрасно побеспокоил моими чувствами к дочери инспектора: ей действительно оказалось всего двенадцать лет, и даже неполных, так что ее отвезли в институт и она, по слухам, оказалась мне неверною, потому что обожает учителя математики, по предмету, который мне кажется всех более противен; а позвольте мне лучше считать своею невестою Иванову Оленьку, из городских барышень, которая тогда была у инспектора на вечере». Ну, вижу, сынок мой не шутя затеял кружиться, и отписала ему, чтобы старался учиться

наукам и службе, а о пустяках, подобных городским барышням, не смел думать, а он и в этот тон ответ шлет: «Правы, — говорит, — вы, милая маменька, что, не дав мне благословления, даже очень меня пожурили: я вполне того был достоин и принимаю строгое слово ваше с благодарностью. Действительно, все городские барышни любви не заслуживают, и Ольга Иванова, о которой я вам писал, на прошлой неделе уже вышла замуж за нашего полицеймейстера и на третий день прислала нам на весь класс сладких пирожков, но я их есть не стал и отдал свою долю товарищам. Я думаю, маменька, гораздо лучше жениться на девушке самого простого круга, потому что такая больше и вернее может любить».

Бабушка опять отвечала сыну, чтобы он учился и никого не смел любить без ее позволения, а в противном случае грозила ему сообщить об этом его начальству. Дядя примолк и напугал мать безвестностью, которая разрешилась тем, что *(не окончено)*.

Они жили в своих родовых же имениях довольно далеко от нас и навещали нас редко. Дядя приезжал раза два летом и иногда гостил у нас по неделе, а тетка появлялась к нам положительно один раз в год, к Прасковьину дню, когда maman была именинница. Тетушка была женщина небольшого роста, немножко зеленоватая и по виду слабая, но этот вид был обманчив: при видимой слабости она обладала большою подвижностью и какою-то неугомонною юркостью. Тетушке обыкновенно сопутствовал ее муж Николай Егорович, для которого у нас обыкновенно топили баню и жарили самых больших коропов. Он был атлетического сложения и имел прекрасные большие карие глаза и бархатную бороду; одевался в армяк и в шелковые рубашки; любил париться, попивать слегка водочку и есть, а все остальное время читал или молчал и сопел да сучил ножками, как дитя, у которого резь в желудке. Говорил он редко, и то очень мало и в случае крайней необходимости. Эти гости гостевали у нас сутки, много двои, и уезжали: maman их очень слабо удерживала. Мне казалось, что она их не любила: я всегда замечала, как ее коробило, когда тетушка, только оправясь с дороги, оставляла с maman своего интересного мужа, а сама на-

чинала ревизовать все закоулки дома и вступала в интимнейшие разговоры с слугами. Maman, не переносившая по своей нервной раздраженности никакого скрежета и скропа, в одни эти сутки разболевалась и при всяком удобном случае выходила в свою комнату, чтобы принять лаврово-вишневых капель, а выпроводив chère tante[1] и ее скрипучего мужа, запиралась на целые сутки в своей спальне. Впрочем, мы, дети, хотя и знали, что maman не благоволила к тетушке Клеопатре Львовне, но не понимали тогда причин этого неблаговоления и даже любили ее и радовались ее приезду. Нам нравилась ее приветливость и постоянное стремление интересоваться нами и нашим житьем-бытьем. Мы в своей детской простоте все это принимали тогда за выражение чистейшего участия и охотно отвечали тетушке на все ее вопросы, но отвечали, однако, так неудовлетворительно, что она часто пожимала на нас плечами и говорила, что она отроду не видала подобных нам неразвитых детей. Незначительное исключение в этом роде она делала только в пользу брата Валерия, которого она, как и многие другие, находила если не развитее нас, то по крайней мере далеко нас сведущее.

За эти похвалы Валерию maman супила на него брови и после отъезда Павлыганьевых обыкновенно несколько дней показывала младшему брату некоторую сухость, делавшуюся особенно заметною потому, что брат Валерий, похожий лицом и нравом на maman, пользовался особенною ее нежностью и слыл у нас за ее фаворита, которому ни в чем почти не было отказа.

Дядя Яков Львович Протозанов был совсем не то, что тетушка Клеопатра Львовна, и в самой наружности их было разве только то общее, что дядюшка, как сам он о себе выражался, был «нарочито невелик» и звал себя «Закхеем-мытарем». И он впрямь воплощал великий и благородный дух евангелистского мытаря, который при своем малом росте взлез на дерево, чтобы увидать того, которому ангел пустыни считал себя недостойным развязать ремня у сандалий. Приземистая, маленькая, но довольно кругленькая фигурка дяди Якова Львовича была какой-то конкрет недостижимого величия духа и благородства чувств и мыслей, которые он вырабатывал не головою,

[1] Дорогую тетушку (*франц.*).

а точно принес их откуда-то готовые из других, высших, надземных сфер. К его великому счастию или к несчастию он не был умен, то есть не мог щеголять ни витиеватой речью, ни соображениями, требующими каких-нибудь сложных комбинаций, но, терпеливо выслушав, что ему говорили, всегда решал быстро и высказывал свое мнение всем и каждому прямо в глаза и с полнейшею откровенностью.

— Это благородно и великодушно, — заключал он обыкновенно свой совет или свой приговор и более не распространялся; и тот, кто его спрашивал или желал знать о каком-нибудь деле его мнение, никогда не осмеливался вызывать его развивать его мотивы, потому что знал, что в словах «это благородно и великодушно» содержалась вся квинтэссенция его логики. Что не было «благородно и великодушно», то, очевидно, было в глазах Якова Львовича предосудительно и низко, а он от людей, имеющих такие свойства, отворачивался и не презирал их только потому, что это, по его мнению, было «неблагородно и невеликодушно презирать человека, имевшего несчастие получить дурное направление».

Дядя был богат, то есть он имел вдвое больше деревень и земель, чем имели, например, мы, считавшиеся в своем краю вообще в числе очень состоятельных дворян. Но дела дяди, кажется, были довольно расстроены, о чем мы довольно рано получили сообщение от тетушки Клеопатры Львовны, которая нашла нужным открыть это брату Валерию. Сам дядя, разумеется, никогда не говорил о своих делах: это было mauvais ton,[1] нестерпимый для его гордого благородства и достоинства. У него была очень большая семья, состоявшая из жены, за которою он взял очень большое приданое, и детей, между которыми были уже взрослые; но, к величайшему нашему недоумению, мы никого из его семейства никогда у себя в доме не видали и сами к ним не ездили.

Тетушке Клеопатре Львовне как-то раз посчастливилось сообщить брату Валерию, что это не всегда так было; что когда был жив папа, то и мама с папою часто езжали к Якову Львовичу и его жена Софья Сергеевна приезжала к нам, и не одна, а с детьми, из которых уже два сына офи-

---

[1] Дурной тон *(франц.)*.

церы и одна дочь замужем, но с тех пор, как папа умер, все это переменилось, и Яков Львович стал посещать maman один, а она к нему ездила только в его городской дом, где он проводил довольно значительную часть своего времени, живучи здесь без семьи, которая жила частию в деревне, а еще более за границей. Сам Яков Львович был только раз за границею, и то довольно давно, тотчас по выходе своем в отставку из военной службы, и с тех пор его во второй раз туда не тянуло. Европа произвела на него нехорошее впечатление: он находил, что там «мещанство кишит везде, кроме разве одной Англии»; но и Англия для него не годилась, во-первых, потому, что он не знал английского языка, а учиться не хотел, ибо находил, что это поздно и напрасно, так как против этого вооружилась сама природа, даровавшая Якову Львовичу миниатюрный ротик с пухленькими губками сердечком, благодаря чему он постоянно говорил немножко присюсёкивая и не мог «сделать рот квадратом», что, по его мнению, было решительно необходимо для того, чтобы говорить по-английски. А говорить с «гордою нациею» на ее языке нехорошо и кое-как Яков Львович не мог, потому что у него гордости было не менее, чем у всей той нации, гордости которой он опасался. Кроме того, дядя подыскивал в себе и другие причины к тому, чтобы не обольщаться Англиею и со стороны строя ее жизни. Отвращаясь от всего сколько-нибудь грубого и жестокого, Яков Львович не уважал патриархов жизнеописания, которых в юности своей прочел в библии, и с тех пор не любил весь еврейский род, и считал себя сыном *Завета Нового,* и находил, что из *Ветхого Завета* ему нечем руководиться, даже не исключая десяти заповедей, так как в Новом Завете была *одиннадцатая,* заключавшая в себе все десять старых. Это была «заповедь новая: да любите друг друга».

— Исполняя одну эту заповедь, — говорил дядя, — можно не согрешать против всех десяти старых, — и с тех пор о тех не заботился.

— В Англии же, — говорил он, — всякий человек читает библию и, принимая ее не исторически, а религиозно, воспитывает в себе дух не евангельский, а политический,— что, по мнению дяди, мешало истинному преуспению в духе учения Христова.

По всему этому, отпуская семью в Европу «к мещанам», он сам стоически держался родного края, *служа обществу*. Он был сначала выбран дворянством в посредники полюбовного размежевания и прославился своею полезнейшею деятельностью. Люди, которые испокон века вели между собою мелкие и непримиримые вражды и при прежних посредниках выходили на межи только для того, чтобы посчитаться при сторонних людях, застыдились дяди и стали смолкать перед его энергическими словами:

— Вы неправы: это нехорошо, это неблагородно; это невеликодушно-с!

Вначале всех удивляло, что не находится ни одного смелого человека, который бы решился «оборвать» дядю, хотя молодцы «обрывать», разумеется, были и тогда, как и теперь в них нет недостатка, но на дядю не нашлось такого молодца. В маленьком Закхее было нечто такое, что защищало его от всякого покушения сделать ему грубость: люди, приходившие с ним в соприкосновение, чувствовали, что его не достанешь, потому что они стоят на земле, между тем как он взлез на дерево, и это высокое, крепкое и сеннолиственное дерево есть беспристрастнейшая *правда*, во имя которой он режет всем без лицезрения: «это неблагородно, невеликодушно», и сам поднимается на ней все выше и выше, как гений на облаке.

Прошел срок служения Якова Львовича в этой скромной должности, и он размежевал весь свой участок и получил по представлению губернатора орден, но все забывал поехать за его получением. На следующее трехлетие дворяне другого участка поднесли ему на подносе все свои шары, но *поднялась губерния* и упросила Якова Львовича отказаться от меньшего дела в пользу большего, к которому зовет его общий голос и надежды.

— Я слуга общества, и распоряжайтесь мною, как вам угодно. К чему поставите, господа дворяне, то за святой долг почту справить по истине и разумению, какие имею,— отвечал он.

Якова Львовича избрали совестным судьею. Он был очень доволен этим избранием. Мирить людей и прекращать *по совести* щекотливые дела, деликатность свойства которых с уважением обходит самый закон, — это было всего более по сердцу дяде, и он поблагодарил дворянство за честь и принял должность.

Первым его делом было очистить суд от неудобных людей и дать другим жалованье из своего кармана, «чтобы не брали взяток», — за чем он смотрел зорко и строго. Потом он обновил помещение, придав ему характер не пугающий, а тихий и располагающий к мысли о вреде вражды и о святости тишины мира. Прямо на стене, в виду его и тех, кто предстанет к нему на суде, он утвердил лучшим художником написанную икону Христа с благословляющей десницей и евангелием, на разогнутой странице которого читалось: «Научитеся от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой». Устроив это так, чтобы этот аксессуар религии доминировал в судилище над всеми по положению установленными атрибутами, Яков Львович потребовал, чтобы его заседатель духовного звания сидел с ним за столом безотлучно по правую его руку, а чтобы не терпел урона в своих доходах, Яков Львович и ему положил от себя вознаграждение, разумеется не скудною рукою, и затем, обставясь как надо, сел на судейское кресло.

Судил он, говорят, удивительно. Предания о его милосердии, не враждовавшем со справедливостью, и о необычайном такте, изумлявшем всех своею аристократическою тонкостью, живы в нашей местности до сих пор. Несмотря на то, что с тех пор произошло столько больших реформ и перед глазами людей прошло столько новых деятелей, самый низший слой населения не забыл еще, каков был «истовый совестный судья Яков Львович Протозанов». Я не знаю всех его дел, за которые его так возлюбили, да и где и зачем мне перечислять их, но, верно, они действительно были хороши: иначе любящий правду добрый народ не помнил бы дядю так долго. Знаю только одно, что дядя, не имевший, по мнению умных людей, никакого права гордиться особенно замечательными умственными способностями, удивлял этих умников, показывая им, что есть нечто такое, что выше ума и за чем ум должен стоять на запятках. В моей памяти сохранился один случай, который, вероятно, еще у многих был свеж в памяти во время моего детства, потому что тогда об этом много говорили. Я запишу этот рассказ, как его слыхала, — он может служить прекрасным образцом, как Яков Львович судил и как он наказывал и миловал.

Дело было в том, что в городе жила престарелая вдова купчиха, у которой были два сына и замужняя дочь. Старушка имела неразделенный с детьми капитал и заветное право разделить им детей, когда сама того пожелает. Но такое желание ей, по русскому купеческому обычаю, долго не приходило, а между тем в это время зять ее погорел.

Жалея дочь и внучат, старушка построила им на пожарище дом и дала из общего капитала денег на оборот, разумеется с тем, чтобы зять, поправясь, возвратил деньги обратно, а при этом поручилась за него еще кое-кому и сторонним людям, имевшим к ней доверие. Зять накупил тысяч на двадцать хлеба, половину на деньги, половину в долг под тещину поруку; снарядил на ее же кредит баржи и отправился от пристани вниз по реке, но, как известно, беда одна не любит ходить, а всегда ведет за собою другую, и зять нашей старушки потонул, спасая груз своего разбившегося каравана, и сразу нанес семейству старушки такой удар, что дела их зашатались. Всего оставшегося состояния едва ли достало бы на покрытие долга по поручительствам матери за зятя, а тут еще на руки братьев падала овдовевшая сестра и ее сироты. Сыновья бросились собирать себе на головы горящие уголья: посоветовавшись между собою и не найдя никаких поводов к несогласному действию, они объявили матери, что ее добрая воля была награждать их сестру свыше законной меры, да еще второй раз давать зятю на разживу и поручаться за его долги; что они во всем этом неповинны и отвечать последними остатками состояния не желают, а берут их себе, так как эта малая частица их собственными трудами заработана, а матери предоставляют ведаться с кредиторами покойного зятя, как она знает. Имея все дела и средства в своих руках, они так и сделали, как говорили, и выдали старушку головою ее кредиторам, а те, чтобы заставить сыновей расплатиться за мать, посадили ее в тюрьму. Между детьми и кредиторами объявилась игра, в которой на ставке стояла престарелая мать первых, и она бог весть бы докуда просидела и, может быть, и умерла бы в тюрьме, потому что и та и другая из играющих сторон обличали большой такт и выдержку: кредиторы томили старушку в тюрьме, надеясь добиться, что дети сжалятся над нею и отдадут деньги, а дети были

еще тверже в своем намерении не платить денег и оставить мать в тюрьме. Дело это длилось довольно долго: обе стороны стояли на своем, а старушка сидела в остроге. В городе об этом много говорили, так как это был дом довольно известный и старушку знали с хорошей стороны и сожалели ее, но в мире купеческом, где на первом плане интересы торговые, а нравы довольно жестокие, не осудили и сыновей, которые капитал берегли, а помирились с этим как есть и только изредка посматривали: кто кого в этом споре переспорит? Но со стороны старушки явилась неустойка: ей надоело томиться в тюрьме, и она стала просить детей ее выкупить, — те этому не вняли и прислали ей, вместо выкупа, калачей да икорки. Бедная старушка, наконец, потеряла терпение и подала на сыновей жалобу и просила, чтобы ее рассудили с ними и заставили их выкупить ее из тюрьмы. Эта просьба старушкою была подана прокурору на первой неделе великого поста, и о ней вдруг заговорили, как о событии, выходящем вон из ряда; а на сынков стали покашиваться, но как раз целый год прошел, пока проходили разные процедуры и старушка из тюрьмы доказывала своим свободным детям, что у них еще есть деньги и что так как они не делились, то она в этих деньгах имеет часть. Дети доказывали другое — что все, чем они теперь владеют, заработано ими самими и матери их в этом никакой части нет. Дело это, начавшее опять возбуждать общее внимание всей губернии, было перенесено в совестный суд, где председал Яков Львович. Дядя получил его незадолго перед масленицей и отнесся к нему с особенной серьезностью: он несколько дней читал его, запершись в своем кабинете, и потом вышел к семье мрачный и растроганный и все заговаривал о неблагодарных детях. Потом он, по местному обычаю, принял «прощеные визиты», которые у нас купечество делает на масленице всем крупным должностным лицам, развозя огромные «прощеные хлебы», и сам отдал эти визиты и разослал еще бо́льшие постные хлебы с изюмом, провел последний масленичный вечер с архиереем, с которым они друг к другу питали взаимное уважение, и затем в течение четырех первых дней первой недели поста, как приезжал со службы, уединялся в свой кабинет, и входивший к нему туда слуга не раз заставал его перед образом. Дядя был религиозен, но мало

набожен, и потому молитвенное настроение его было в своем роде необычайностью.

В пятницу же дядя встал раньше, чем всегда привык, и сделал довольно продолжительную утреннюю прогулку в санях, потом торопливо позавтракал и поехал в суд, где под стать ему все было несколько иначе настроено. Пустынный закоулочек, где помещался суд, был оживлен мелькавшими по нем то здесь, то там фигурами, которые прохаживались, очевидно ожидая здесь чего-то важного и торжественного, — так серьезны были их лица. Чем ближе к дому суда, тем улица люднее, и, наконец, у самых дверей — толпа. Кучер крикнул свое «па-ади», и люди распахнулись и, открыв головы, молча пропустили Якова Львовича, который также молча ответил им большим поклоном и, поднявшись по лестнице вверх, пробежал, ни на кого не глядя, через переднюю, где в ожидании открытия заседания стояли разные вызванные к разбору люди: одни из них были на свободе, другие под караулом. В числе первых, между прочим, были два купца, сыновья несостоятельной старушки, в числе последних их мать, на которую Яков Львович бросил мимоходом взгляд, полный глубокого сострадания, и, переодевшись в канцелярии за ширмою из домашнего платья в мундир, сел на свое председательское кресло и открыл присутствие. С усвоенным в этой должности навыком и обстоятельностью дядя быстро окончил с делами, которые секретарь по его распоряжению доложил прежде дела старушки и ее сыновей, а потом дошло дело и до них. Это случилось как раз в то время, когда в церквах оканчивалась великопостная обедня и народ, выслушав покаянные молитвы, расходился перед исповедью по домам, но множество людей по пути завернуло в сторону, чтобы постоять на улице перед дверями суда, откуда должны будут выйти сыновья и мать. Увеличенная этою прибылью толпа стояла тихо и серьезно, ожидая справедливого дядиного суда: Яков Львович это видел и сам еще более собрался со всеми своими силами и одухотворился правдою. Выпустив из присутственной комнаты последних лиц, за которыми наступала очередь разобрать дело старушки, он помедлил некоторое время и сидел молча, с целью восстановить в себе все свои духовные силы и призвать спокойную

ясность своему рассудку, и затем велел ввести мать и детей, которые стали в ряд перед зерцалом закона, портретом царя и освещенным лампадою ликом небесного судии, под которым внизу помещался судия земной. Во все время чтения доклада дядя не опускал руки, в которой держал свой золотой лорнет, и смотрел в него на лица подсудимых. Мать стояла убитая и подавленная горем и обидой, — сыновья, белые, выхоленные купцы, с спокойным фарисейским смирением. Доклад был в их пользу: как Яков Львович ни хорошо знал и понимал дело и как он ясно ни чувствовал неправоту детей, он должен был согласиться, что они мастерски скрыли концы и им нечего было бояться закона: перед ним они были правы. Мать просила подвергнуть их очистительной присяге, с перезвоном колоколов и со всею процедурою, которая простым людям представляется такою могущественною против человека, затворившего свою совесть зову чести. Яков Львович молчал и только с состраданием смотрел на мать: он знал, что торговая совесть этих белых, мягкотелых сыновей ее не запнется и под перевод колоколов, повторит то же самое, что говорят они теперь, и тогда дело только будет хуже в том отношении, что они явятся чистыми перед всеми людьми своего круга, которые так или иначе нынче в чистоте их сомневаются.

Яков Львович принял другое намерение: он не обратился к системе слабых и затемненных улик, а воззвал к совести детей, к их чувству, к их нравственному долгу спасти мать. Белое тело ничего этого не пропускало к сердцу, несмотря на то, что дядя говорил прекрасно и с одушевлением, слова его, выходя из уст, стыли в воздухе и терялись в пространстве. Тогда Яков Львович обратился к последнему средству: к страху суда божия. Хорошо зная священное писание, он устыжал детей словами Христа, осуждавшего принесение в дар самому богу того, что нужно в пользу родителей, но и это все осталось бессильным.

— Это так-с, — говорили сыновья, — но как мы в этом не причинны...

— Нет, вы причинны, поступая против матери не по учению Христа, вы снова самого его распинаете!

Сыновья молчали.

— Так что же: хотите вы распять или хотите пустить его?

Скупые дети пожали плечами и опять проговорили то же самое, что они в этом не причинны.

Тогда Яков Львович окончательно убедился в их недоступности слову и обратился к поучению их делом — живым примером, которого никто не ожидал, а жестокие дети всех менее.

— Кончено! — воскликнул дядя и, обратясь к иконе Христа, воззвал:

— Ежечасно распинаемый жестокосердием людей, господи! дозволь мне хотя на единую эту минуту быть сыном твоим. Я беру эту мать во имя твое!

И с этим он выложил из своего бумажника на стол всю сумму долга ничего в эти минуты не понимавшей старушке и, взяв ее почтительно за руку, проговорил:

— Я буду твоим сыном: иди, благослови дом мой и живи со мною.

Кредиторы получили свои деньги, а Яков Львович провел с собою растерявшуюся старушку через крестившуюся и благословлявшую их толпу народа и увез эту *свою мать* в дом свой, где поместил ее с дочерью и внучатами и тем посылал блюда с своей кухни, а самоё нареченную мать сажал с собою за стол в почетном конце.

Благородный и энергический поступок этот стяжал дяде огромную славу и любовь всех сословий. Имя Якова Львовича произносилось всеми с благословениями, куда бы он ни поехал, его выбегали смотреть, и все незнакомые люди снимали перед ним шапки. Жестоким сыновьям старушки зато не было житья: с той самой минуты, как Яков Львович усыновил себя их матери, они не смели нигде показаться, не рискуя быть обруганными и даже побитыми. Как они ни пробовали поправить свое положение в обществе, — это им не удавалось, и они, наконец, предстали тайком к тому же Якову Львовичу с просьбою возвратить им мать.

— Она в моем доме не пленница: просите ее, если она пойдет, я ее держать не смею.

Сыновья пали в ноги старушке, та долго не хотела идти к ним, но, наконец, объявила, что если они заплатят за нее деньги, то она пойдет, а без того она в себе не вольна.

Скупые дети подумали два дня и принесли дяде все сполна деньги, которые он заплатил. Денег этих было, кажется, до десяти тысяч.

Яков Львович подумал и принял деньги, но не положил их в свой карман, а сказал:

— Это благородно, и я эти деньги беру, но превзойти вам меня в благородстве стати не вижу и потому кладу их навечно капиталом в гимназический пансион, и пусть на них воспитываются три бедные ученика во имя вашей родной и моей нареченной матери.

Как он это решил, так и сделал, и в нашей местной гимназии и теперь на этот капитал содержатся три ученика, а к самой старушке Яков Львович пребыл с истинно сыновним почтением до самой ее смерти: он ездил ее поздравлять с праздниками, навещал больную и схоронил ее, как будто она и в самом деле была его родная мать, а он ее настоящий сын. Он не забыл ее и после смерти — молился о ней и всегда свято хранил оставленный ему покойницею в благословение образ Николы, с которым дядя не расставался по вере, что эта икона полна для него благодатных токов материнского благословения.

И точно: если всеобщее почтение есть дар благословенный, то благодать его не капала, а лилась на дядю. Он был во всеобщем мнении настоящий благородный господин своего слова и по высокой своей аристократической прямоте и честности первый человек во всей губернии. ⟨В⟩ первые же наступившие выборы уезд поднес ему шары на уездное предводительство, но губерния опять поднялась и упросила его быть предводителем благородного сословия всей губернии.

Яков Львович благодарил за честь и принял эту высокую и много значившую в тогдашнее время должность: он и ее занял не для проформы и комеражей, а высоко и твёрдо понес свое знамя. Он ревниво оберегал право дворян и лез из себя вон в заботах о дворянских сиротах. Он откапывал для них, где только мог, средства и вакации и всюду втирал их, давая родителям деньги на дорогу из собственного кармана; добавлял жалованья чиновникам опек, строго следил за ревизиями попечительских отчетов, но в то же время вел нескончаемые войны с дворянами за крестьян. Чуть до ведома его достигало известие о каком-нибудь неуместном обращении помещика

с крестьянами, он сейчас или ехал туда сам, или писал: «Это неблагородно, это невеликодушно». Обращаясь с таким горячим заступничеством за крестьян к дворянину, он настойчиво требовал, чтобы замеченная им нестройность более не повторялась, и угрожал, что иначе он от него «отречется и сам предаст на расправу чиновникам», что, по его словам, было «стыд, срам, позор, бесчестие».

Дворяне, избравшие Якова Львовича с таким восторженным единодушием, начали пожиматься и стали поговаривать, что он слишком большой хлопотун и на предводительской должности тяжеленек. Прошел еще годик, и у дяди среди самих дворян завелись враги, составившие к концу его служебного срока против него сильную партию, которая без всякой застенчивости распространяла слух, что дяде на второй срок губернским предводителем не бывать.

До Якова Львовича, разумеется, доходили эти слухи, но он не обращал на них ни малейшего внимания и продолжал верно служить своему долгу. Но интрига тоже не дремала, и дворяне мало-помалу начали обходить его и забегать с жалобами к губернатору, от которого, по вековечному антагонизму двух этих властей, стали приходить к Якову Львовичу колкие запросы, а Яков Львович давал на них еще более колкие ответы. Чиновники и интригующие дворяне, работая заодно против своего предводителя, втянули его в открытую вражду с представителем администрации и не упускали ни одного случая разжигать их друг против друга. Вскоре это дошло до того, что Яков Львович и губернатор перестали друг другу кланяться, но дядя, разумеется, не пасовал и шел все тем же раз им избранным честным путем к избранной и предначертанной цели. Он только избегал всяких столкновений с губернатором и ко дню открытия «маленьких выборов» забывал в деревне мундир и потому поручал открытие заседания уездному предводителю, а потом немедленно вступал в должность и руководил делами с своею обычною энергиею; но за два дня до закрытия собрания, перед тем, когда дворяне езжали откланиваться губернатору, Яков Львович заболевал и на поклон не ездил.

Так губернатор, долгое время негодуя на дядю, все-таки был перед ним не в авантаже; но, наконец, выпал такой случай, которого Яков Львович не мог предвидеть,

да хотя бы и предвидел, то по своей врожденной аристократической деликатности не мог его предотвратить.

Дело началось с того, что в губернском городе ожидался высочайший проезд. Яков Львович, желая при встрече государя доставить ему по возможности приятное воспоминание о чувствах дворян, был озабочен, чем бы вызвать у императора милостивое одобрение, которое всецело бы должно было принадлежать дворянству, а не всем тем, кого в общей массе представит губернатор? Тогда во многих местах учреждались кадетские корпуса, которым государь благоволил как рассадникам подготовленных к службе молодых офицеров. Это как нельзя более подходило к мыслям Якова Львовича, который решительно не знал уже, куда ему девать дворянских детей, остающихся по бедности их родителей без всякого образования. Учреждение корпуса на счет дворян стало жаркою мечтою дяди: этим разом достигались две цели, и обе первостепенной важности: государю будет доставлено удовольствие, непосредственными виновниками которого будут дворяне, а бедные дети получат большой безвозмездный воспитательный приют.

Сказано — сделано: собрав каких мог наскоро дворян, дядя предложил свою мысль, а чтобы побудить дворянство к принятию ее, тут же предложил пятую часть всей стоимости будущего корпуса принять на свой счет.

Дворяне, рады не рады, были готовы, и пожертвование на корпус было принято, причем также было установлено, как это представить государю. Яков Львович не хотел говорить об этом государю на общем представлении, когда губернатор по заведенному обычаю отрекомендует их словами: «Губернский предводитель и дворянство». Нет, Яков Львович хотел представить это дело в дворянском доме и не от своего одного лица, а от всего сословия, которое избрало его своим представителем. Он снесся, с кем нужно было, в Петербурге и, получив уведомление, что государь удостоит чести принять от дворян бал в их дворянском собрании, считал это дело налаженным как нельзя лучше и хлопотал только о том, чтобы бал был достоин места, где дается, и высокого гостя, в честь которого он готовится.

Яков Львович со всех концов губернии, из всех захолустий выписывал заслужоных дворян и представительных

дам; назначил хозяйкою очаровательную красавицу — жену одного из уездных предводителей, и, наконец, все было готово, а через день примчавшийся запыленный курьер возвестил, что государь у заставы.

Забывая ради такой встречи все мелкие счеты с губернатором, Яков Львович стоял впереди собранных дворян в большой зале губернаторского дома с богатым вызолоченым блюдом и хлебом-солью от земства. Поднося эту хлеб-соль, он надеялся уловить возможность просить государя осчастливить своим посещением дворянский бал и там тогда от имени всех дворян просить о разрешении построить корпус. Но все это вышло не так. Не успел государь вступить в зал, губернатор общим представлением репрезентовал ему «предводителя и дворян» и тут же с оника отрапортовал, что дворяне просят позволения устроить на их счет корпус.

Государь сказал «спасибо» дворянству и протянул ласково руку губернатору.

Яков Львович не верил своим ушам и глазам, а губернатор в это время взял из его рук блюдо и поднес государю хлеб-соль.

Дядя всем этим был так смешан и переконфужен, что не сказал ни слова и молча удалился из губернаторского дома, где оставшиеся там некоторое время дворяне благодарили губернатора за столь ловкое и находчивое представление.

Узнав об этом, Яков Львович только улыбнулся и сказал:

— Они мне этим напоминают того израильтянина, который накликал беду на Моисея за то, что тот заступился за их собрата. Ничего, они, как и те, должны будут сорок лет путаться на одном месте, прежде чем дети их будут пригодны для земли обетованной.

Отбыв бал, на котором ничего не оставалось представить интересного государю, и выпроводив его из губернии, Яков Львович сейчас же уехал к себе в деревню и оттуда прислал просьбу об отставке, которой очень многие были рады, и дядя скоро получил увольнение.

Но не все же у Якова Львовича были враги: были у него между дворянами и большие почитатели, которые ценили его благородство и заслуги и, вспомнив о нем перед новыми выборами, приехали к нему с просьбою, чтобы

он позволил себя баллотировать, но дядя на этот раз оказался непреклонным и объявил, что он «сильно занят разведением тюльпанов и ни для чего не решится их оставить».

Этим служебная деятельность этого благородного и энергичного человека кончилась, и он, не корча из себя униженного и оскорбленного, сидел у себя в деревне, занимаясь действительно разведением разноцветных тюльпанов, и с самым веселым смехом рассказывал гостям, как находчивый губернатор не только вырвал у него тайну из души, но даже вынул блюдо с хлебом из рук. И если кто-нибудь говорил:

— Как же вы это, Яков Львович... Зачем же вы ему дали блюдо?

— А что, батюшка, делать: очень ловко вынул, — отвечал дядя и потом добавлял: — Нельзя-с: не драться же мне с ним было, да еще пред лицом государя? — стыд, срам, позор, бесчестие!

Однако прошло несколько лет, и Яков Львович мало-помалу снова был втянут в некоторую общественную деятельность, но не служебную, от которой он раз навсегда отказался в пользу тюльпанов и, выбрав эти цветки сначала только предлогом к отговорке, впоследствии пристрастился к ним на самом деле. Но он не мог отказаться от опекунства над дворянскими сиротами, которых добрые люди опскали подчас очень немилосердно. Такой отказ был бы «невеликодушен», а дядя ничего невеликодушного не мог себе позволить, и потому он не успел оглянуться, как у него на руках явилась целая куча сирот с их плохими, сиротскими делишками, и потом что ни год, то эта «поистине огромная опека» у Якова Львовича возрастала и, наконец, возросла до того, что он должен был учредить при своей вотчинной конторе целое особое отделение для переписки и отчетности по опекунским делам. Таким образом, перестав быть губернским предводителем, он сделался настоящим «губернским опекуном», что было немножко в противность правил, определяющих число опек, вверяемых в одни руки, и в противность выгодам охотников живиться по этой части. Благородные дворяне этого сорта слали на Якова Львовича ябеды и доносы, но он с своею чистою, как хрусталь, совестью ничего этого не боялся, а только супился и говорил:

— Peur![1] Совсем захудал род дворянский. С ним теперь стен Иерихона не рушишь.

И, не надеясь, конечно, дожить до новых времен, когда иные поколения вырастут в духе и силе, с которыми можно будет идти в обетованную землю, он смотрел сквозь запотелое стекло на все проделки пожертвованного поколения и не ужасался даже, как они, забывая святые заветы своего избранничества, мешались в тине самых низких страстей с «необрезанными сердцами».

Яков Львович, не будучи большим политиком, взирал на своих сверстников, которые его выдавали «крапивному семени», как на людей растленных в египетском рабстве мысли, и ничего не ожидал от их детей, как от детей рабов, которые если и почувствуют вкус к свободе, то не сумеют отличить ее от своеволия.

— Вольноотпускные рабы родят нахалов, — говорил он.

Ему на это обыкновенно предлагали вопрос: кого же родят нахалы?

Он на это не любил давать ответа, но, пожимая плечами, говорил:

— Им надоест путаться в степи, и они захотят оседлости и будут уважать право гражданства, когда оно им трудом достанется.

— Это вы опять всё приравниваете к евреям в пустыне?

— Да! я иначе этого не понимаю.

— А кто же в таком случае будет их Навин и Холев, которые укажут им, как надо выгнать хананеев?

— А их Холев будет добрый старичок, которого зовут у людей Образование, — отвечал без размышленья Яков Львович и тут только против обычая своего распространялся о собственном плохом образовании и еще более о жалком общем уровне образованности дворян, которых, по его словам, должны были загнать семинаристы.

Но из этого, однако, не следовало, чтобы дядя Яков Львович, при таком взгляде на образование и при живом сознании его необходимости и значения для худающего рода, принял надлежащие меры к тому, чтобы дать наилучшее образование собственным своим детям. Нет; этого

---

[1] Страх, ужас *(франц.)*.

не было, и, к чести дяди, этого не было не по его вине. Я не знаю, делал ли он какие-нибудь пробы к тому, чтобы поставить эту часть у себя дома на серьезную ногу, но она стояла у него не лучше, как в большинстве дворянских домов, где нимало не замечали упадка нравов и не боялись захудалости, которую провидел своим инстинктом немудрый дядя Яков Львович.

Воспитанием его собственных детей руководила жена его, Софья Сергеевна, урожденная княжна Делибашева, женщина сухая и надменная и, может быть, не особенно умная, но во всяком случае совершенно бесстрастная и в своих воззрениях узкая, но упрямая. Софья Сергеевна, конечно, сознавала, что она не сделала никакого mésalliance,[1] выйдя замуж за Якова Львовича, потому что род Протозановых, хотя и не княжеский, был гораздо древнее и почетнее ее предков, пришлых азиатских князьков Делибашевых, но зато она была непоколебимо убеждена во всех иных своих превосходствах над дядею. Во-первых, она находила, что она без сравнения его умнее и — что главнее всего — светее. В этом она была необыкновенно довольна собою и гордилась своим уменьем постоянно держать свои отношения к своим светским знакомым в одинаковой ровности. Она знакомилась с строгим выбором, которым руководили *самые светские* соображения: то есть тетушка принимала тех, кто был принят в домах, светскость которых казалась ей самою чистопробною. Таких домов, разумеется, было немного, и притом все они находились не у нас в провинции, где жил безвыездно дядя, а в Петербурге, в Москве и за границею, куда Яков Львович не заглядывал. На этом основании Софье Сергеевне в деревне не с кем было жить, и она здесь не жила, а если изредка и гащивала дома, то велась только с теми, кого знала в других местах. Дядиных знакомых из местного дворянства она почитала за ничто и, встречая их в доме мужа в свои редкие гостинки, едва удостоивала их взгляда и самого осторожного слова. Осторожность свою в этих, по ее словам, «тяжелых сношениях» она ставила выше всего, потому что подозревала, что «эти люди способны ссориться и мириться», тогда как Софья Сергеевна никогда ни с кем не ссорилась и потому, следовательно,

---

[1] Брак, неравный в социальном отношении (*франц.*).

ни с кем и не мирилась. И то и другое было противно ее светским привычкам, совершенно заменявшим ей натуру. В том кружке, который Александра Ярославовна считала своим, у нее не было ни приятелей, ни недругов, а были знакомые, которых она нимало не отличала одного от другого по каким-нибудь их душевным достоинствам. Ей было все равно, каковы их нравы и задачи: она блюла только их светское положение, — даже не род, а именно одно положение в данную пору. С тех пор как она вышла замуж за Якова Львовича, который имел за собою двадцать восемь поколений, восходящих до Рюрика, но тем не менее вел себя, по ее мнению, вульгарно и не только знался с людьми, способными «ссориться и мириться», но и сам иным благоволил, с другими не ладил, не разбирая их положения, и не ладил бог весть из-за чего, по побуждениям, которых Наталья Ярославовна не только не могла понять, но даже не допускала, чтобы что-нибудь подобное могло иметь в жизни место и значение. Она знала, что есть кружок людей, которые называют себя *светом,* и что она тоже принадлежит к этому кружку и не обязана никому ничем помогать, ни сама ожидать от кого бы то ни было никакого участия, но что тем не менее связи ее с этим кружком, основанные на однородности вкуса и стремлений, как нельзя более прочны и не разорвутся и не поколеблются ни для кого и ни для чего. Все живущее вне этой избранной сферы никаким образом ни на минуту не занимало головы Александры Ярославовны; весь этот *не свет,* в ее понятиях, существовал только для того, чтобы *свет* оттуда мог каким-то неизвестным ей, но, конечно, совершенно законным образом взимать деньги на свой прожиток. Как это делается? — она об этом не размышляла и боялась размышлять, потому что, испытывая иногда некоторое неудовольствие при платеже денег и требовании их вновь от дяди, она догадывалась, что и дядя их тоже от кого-нибудь требует, а это во всяком случае очень неприятно, тем более что ему, может быть, приходилось иметь в этих случаях сношения с такими людьми, с которыми можно ссориться и мириться.

Эта невзначай посетившая Александру Ярославовну мысль сослужила ей и дяде неоценимую службу, умирив их семейные отношения; поняв необходимость известных соотношений к тому, что *не свет,* тетушка Александра

Ярославовна почувствовала к этому самую неприятную гадливость и зато вместе с этим ощутила сострадание к дяде Якову Львовичу, который должен был со всем этим ужасом ведаться. К тому же на глазах ее промелькнуло чье-то разорение, происшедшее, как она слышала, от невнимания к своим делам... Александру Ярославовну это испугало: она впервые сообразила, что не всегда можно только черпать, а надо порою и думать об источнике, и она вздохнула и не только помирилась с тем, что дядя сидит в деревне и хозяйничает, но даже рассудила, что нет худа без добра, и слава богу, что дяде охота возиться с мужиками и дворянчиками.

Так они органически поделили свое существование, и ни одному из них никогда в мысль не приходило что-нибудь в этих отношениях переиначивать: тетушка думала, что она «свет», и терпела дядю, который, по ее мнению, не принадлежал свету, а какие мысли имел на ее счет дядя? — об этом никто не знал и не смел судить, потому что на этот счет от прямодушнейшего Якова Львовича никакой хитрец ничего не мог выпытать.

Чтобы он любил и уважал свою жену, это было довольно трудно допустить, тем более что, по мнению очень многих людей, против первого существовали будто бы некоторые доводы, а второе представлялось сомнительным, потому что дядя, с его серьезною преданностью общественным делам, вряд ли мог уважать брезгливое отношение к ним Александры Ярославовны, которая не только видела в чуждательстве от русского мира главный и основной признак русского аристократизма, но даже мерила чистоту этого аристократизма более или менее глубокою степенью безучастия во всем, что не касается света.

Она была типическая представительница известной светской фракции своего века, — он тоже; но таких, как она, остается еще много, а таких, как он, я не вижу.

Воспитанием и образованием детей, которые всегда находились безотлучно при тетушке Александре Ярославовне во всех ее блужданиях по белому свету, она руководила как знала. Дядя в это решительно не мешался и даже не показывал ни малейшего вида, что он в этом отношении чем-нибудь недоволен. Я не думаю, чтобы ему их воспитание нравилось; нет: он, как я уже позволила

себе о нем выразиться, будучи лицом, которое неизвестно откуда принесло с собою в жизнь огромный запас превосходных правил и истин, не мог быть доволен тем, что делала из его детей его собственная жена. Дядя, без сомнения, не хотел в это вмешиваться, потому что не ожидал от такого вмешательства ничего хорошего. Я имею основание так думать по одному намеку, который остался у меня в памяти из разговора его с maman об одном семействе, где отец безмолвствовал, видя, что мать ведет воспитание детей несоответственным образом.

Maman осуждала такой образ действий этого отца, но дядя вступился за него и сказал:

— Вы несправедливы к нему, сестра: неужели вы думаете, что какое-нибудь одною рукою направленное воспитание будет хуже разновилья на разные стороны? А по моему мнению, когда не дал бог в этом случае родителям одного взгляда, то тот, кто умнее и больше любит своих детей, должен уступить тому, кто несговорчивее и упрямее. Пусть лучше хоть не совсем лучшее да стройно уляжется, чем навалить в сердца и в умы все копром да в кучечку, кто что успеет пихнуть им в головы. А притом же, — добавлял он, — неужто же хорошо и для самих детей полезно знать, что один из родителей не одобряет, что с ним делает другой, да еще может быть из-за этого отец с матерью и ссорится? Нет; что до меня, то я так не думаю и хотя такие уступки считаю очень тяжкими, но одобряю их в интересах самих же детей.

Я не сомневаюсь, что в этих словах Якова Львовича заключалось его правило, которым он руководился, снося с затаенной скорбью в молчании досаду, которую причиняло ему пустое, светское воспитание его детей, при котором все внимание прилагалось к образованию стереотипности во взглядах и в манерах, вместо разумного облагораживания которых прививалась манерность пред ровными и пренебрежительное неряшество пред тем, что почему-нибудь кажется ниже нас. Держась строго своей системы невмешательства в это без сомнения больное для него дело, дядя, однако, был сильно встревожен, заметив, что образовательная сторона его детей ограничивается почти исключительно обучением их знанию языков, которое велось чрезвычайно основательно, но затем все прочее оставляло в пробеле. Увидав это, дядя не выдержал

своей роли и в ужасе заметил, что такое образование равносильно круглому невежеству; что знание языков важно как средство, при пособии которого человек может с большим успехом приобретать другие знания, которые, собственно, только и начинают образование ума; но, встретив в ответ на это сухую, исполненную жалости к его заблуждениям улыбку своей жены, он оставил и это так, как оно есть, но впоследствии был несколько несправедлив, никогда не прощая детям их невежества и осмеивая его в глаза им иногда тонко, а иногда и довольно зло. Но тетку Александру Ярославовну, дошедшую с летами до того, что она не знала, что яйца, которые она кушала, могут нести простые крестьянские куры, он никогда за эту струну не трогал и был образцом супружеской о ней заботливости и почтения, которого строго требовал для нее и от всех других, а особенно от своих детей.

«Мать детьми не судима», — это было его правило, которое он внушал всем своим бесчисленным опекаемым полусиротам.

Так шли его домашние дела, в которых он по основательным или неосновательным своим соображениям ничего изменить не мог или не надеялся. Сам же он во все это время по-прежнему был занят общественным служением в тех мирных пределах, в которых оно ему было доступно как опекуну и дворянину с веским шаром на выборах, где он многим казался смешным серьезностью, с которою относился к избранию людей на самые маленькие и, по всеобщему понятию, ничтожные места. Для него ничто, касающееся общества, не было ничтожеством, и он клал свой шар при выборе губернского предводителя и председателя палаты с одинаковым строгим обсуждением, как и при выборе попечителя запасных сельских магазинов.

— Все важно-с; все важно! — говорил он с надвинутыми от сосредоточенности бровями и действительно с такою серьезностью относился ко всякой общественной мелочи, с какою и тогда и после никто другой на моих глазах не относился к вещам самым крупным. Недаром привычку называют чудовищем; еще лучше, кажется, называть ее натурою, так как она имеет характер некоторой натурности, даже у совершенно безнатурных *(не окончено)*.

ТЕМНЯК

(РАННЯЯ РЕДАКЦИЯ РАССКАЗА «НА КРАЮ СВЕТА»)

Ясным теплым вечером, в виду заходящего за Волгою солнца, мы сидели за чайным столом в скромной деревянной беседке архиерейского сада. Разговор шел о русском христианском миссионерстве: собеседники сравнивали относительно малые успехи наших миссионеров с большим числом приобретений римской церкви и соболезновали об очевидных преимуществах, какие имеют последние. Старый архиепископ Н., тогда уже больной и немощный, сидел в своем глубоком кожаном кресле с откидным пюпитром и, слушая нас, сам не принимал никакого участия в нашем разговоре. Но вдруг, когда мы, осудив своих миссионеров, почитали вопрос уже совершенно исчерпанным, он улыбнулся и молвил:

— Я все слушал вас, господа, и молчал и не скрою от вас, что это молчание было мне очень приятно: оно мысленно перенесло меня в довольно отдаленную эпоху моей жизни, когда я смотрел на миссионерское дело так, как вы теперь смотрите, и сердился, и негодовал, и укорял людей, но потом... изменил свой взгляд по весьма памятному мне случаю, о котором я до сих пор никому не рассказывал, а вот теперь, если хотите, расскажу, — случай небезынтересный и поучительный.

Мы, разумеется, поклонились и просили рассказать, и старый владыко начал:

— Дело это относится ко времени моего служения в отдаленном сибирском краю, куда я приехал прямо после моей хиротонии. Там я имел под своим начальством и епархиальное духовенство и миссионеров, обязанных проповедовать слово божие северным кочевым народцам. Осмотревшись у себя на епархии, я был всем недоволен, а особенно моими миссионерами: успехи их были те самые скудные, которые вы так строго осуждаете. И то большая часть людей, которых они нынче обращали в христианство, завтра снова возвращалась в язычество. Да и вся паства-то у меня оказывалась полуязыческая: за пределами городов и поселков, где жили ссыльные, почти повсеместно держалось оскорбительное двоеверие: крещеные молились и Христу и своим идолам, а верили в этих последних положительно больше, чем в Христа. Все это скоро стало мне очень хорошо известно и немало меня сердило и озабочивало: я тогда был еще довольно молод и ревнив, может быть, не по разуму: горячился и сердился на своих миссионеров и неспособен был терпеливо слушать их необстоятельные объяснения, часто державшиеся всё того, что ничего-де им не растолкуешь, станешь им говорить: «Будьте хитры, как змии, незлобивы, яко голуби», а они ничего не понимают, потому что ни змеи, ни голубя не видали и представить их себе не могут, да и слов тех на их языке нет. Я им внушал, что дело проповеди не в этих тонкостях, и вообще пробирал их, и налег я на них очень сильно, что они меня невзлюбили, но стали стараться, а дело между тем всё не клеится: как я его застал при моем приезде, таково оно было и через год. Да еще то прибавилось, что кого мне один миссионер покажет окрещенным, тех, смотрю, через некоторое время другой опять язычниками числит и себе приписывает их обращение: так что я уже не только на деле, а и на бумаге-то толку не доберусь. Все это меня стало выводить из терпения, и я вздумал во что бы то ни стало удостовериться, что за причина, что слово божие не вселяется в эти простые души, которые мне были уже известны своею удивительною незлобивостью, с которою они переносили, а может быть и до сих пор переносят, самое дурное обращение. Все это я знал от крещеного самоеда, у которого их языку учился. На дворе стояла жестокая зима; дела у меня по моей тщедушной епархии

было немного; всех ставленников я перестриг; всех пьяных и сварливых дьячков как умел разобрал, ученый труд никакой как-то в голову не шел; а без дела я не любил оставаться, да и просто вам сказать: не сиделось мне что-то в моем маленьком монастырьке, в тесной и душной келье. Вот и пришла мне тут в один зимний вечер отважная мысль.

«А что, — вздумал я себе, — вместо того, чтобы мне здесь слоняться из угла в угол под этими низкими сводами, навещу-ка я сам мать-пустыню, пробегу-ка я сам по дальним окраинам моей паствы да взгляну, что там за непостоянные люди живут и как за них надо умнее взяться».

Характер у меня тогда был живой, а на подъем я всегда был лёгок: что сказано, то и сделано. Позвал я к себе тут же ночью одного молодого иеромонаха Петра, который все у меня в миссионеры просился, но я его не пускал, потому что всё мне на него наговаривали опытные старики, что он будто «суетен» — отличиться хочет. Ну, а тут я раздумал, что не напрасен ли этот наговор, да мне к тому же ретивый товарищ был и нужен. Вот я призвал этого отца Петра, и говорю ему:

— Ну, отец Петр, ты все охотился в край идти поапостольствовать, я вздумал тебя пустить. Поди-ка скоро потеплее изготовься, мы с тобою утром далеко вместе поедем.

Я себе так решил, что разделим мы с этим отцом Петром труд пополам: я буду учить, а он крестить, и посмотрим, что выйдет. И в ту же самую ночь перед утром оделись мы поплотнее по-туземному, захватили с собою коекаких съестных припасов: сухарей, рыбы, да гороху, да ромку фляжку про жестокую стыдь — и поехали.

Выехали мы из города в больших санях и никому не сказавшись, куда мы едем, да и сопутник-то мой настояще ничего не знал про мою затею. Мне это так нравилось скрывать от него свой план как можно секретнее. Проехали мы сутки на конях, и весь конный путь кончился: побежали мы по насту на оленях. Езда эта для меня была новость, чрезвычайно меня занимала: я еще в детстве помню, как у нас в доме у отца картинка висела, где лапландец на оленях скакал, и мне всегда представлялось огромное удовольствие этой быстрой скачки. Но на деле

оно выходило, однако, не так приятно: передо мною действительно были олени, но совсем не те, быстрые и красивые олени моего детства, а неловкие, с разлатыми лапами, бежали они тяжело и нетвердо, понурив голову и с задышкою, ноздри у них замерзают, и они дышат ртом, и так и бегут все рот открывши, и от этого их тяжелого дыхания в мерзлом воздухе пар собирался и так за нами и полз облаком. Совсем даже смотреть на них жалко, и вообще все не так, как было у нас дома на картинке. Ну, вот пробежали мы на олешках, и на них нельзя стало дольше ехать: запрягли собачонок, — собачонки этакие серые, лохматые, много на волков схожи. Салазки длинные, а помещение на них короткое: сам сядешь, да поводырь впереди прилепится, а более и места нет. Пришлось нам с отцом Петром разделиться и ехать порознь на двух санях: в одни сани запрягли одиннадцать собак и в другие одиннадцать. Расселись мы так: на одних я да самоед, да со мною узелочек с крестом, с книгами да с облачением, а на других отец Петр с подводчиком и с ними наш кошель с съестной провизией. Ничего, сначала гоже показалось: приладились, малицами подоткнулись и едем; а я все то по сторонам гляжу, то возницу своего рассматриваю: сидит как столбик, и на чем он сидит, не поймешь: весь как кукла скутан, лицо как грязный обмылок серый, глаз нет, — только щелки какие-то, нос сучком, рот — ящичком: выражения никакого, словно никогда он не знал никаких страстей и ни горя, ни радостей. Пробежали первый день бодро и другой ничего, только мой отец Петр стал покряхтывать: я, чтобы его подбодрить, посмеиваюсь, а он жалуется, что от долгого сиденья будто поясницу очень разломило. Ну, сиденье, разумеется, не то, что дома в вольтеровом кресле с газетою: торчишь столбушком и туда-сюда покачивает, того гляди, как бы не вывалиться; однако я все продолжал свою усталость скрывать и над товарищем подтрунивать:

— Эх, ничего, — говорю, — отец Петр: потрудись, друже: слово-то божие проповедовать, ведь это не то, что в теплой трапезе за горшком со снеткою сидеть: помужествуй!

Но он, вижу, унывает и говорит, что:

— Я ведь, — говорит, — не каменный.

— Не каменный, — отвечаю, — да Петр, будь же камнем и жди, что на тебе оснует господь.

Но он, вижу, от моих слов не ободряется и на следующем привале еще больше раскряхтелся. А я опять шучу и говорю:

— Ах ты, отец Петр, отец Петр; имя у тебя славное, а тем только ты и выходишь Петр, что ты мне соблазн.

Говорю это ему с веселою шуткою и сам все бодрюсь, а того и не думаю: какое не ему, а мне готовится нравоучение в сем соблазне.

На третий день, однако, и я сильно ослабел, все стало меня в этот день с самого утра ко сну клонить: качаюсь, качаюсь — и задремлю, и опять проснусь и опять покачаюсь, — лицо с бородою в оленью малицу поплотнее задвину и опять сплю. И вдруг просыпаюсь и вижу, что я, должно быть, долгонько проспал, потому что вокруг совсем серо. Пустил я руку за пазуху, пожал репетир, — ударило всёго два часа. Два часа, а совсем темно! Что такое, думаю, за лихо, а раскрыл пошире глаза, то и вижу, что на степи метет.

— Ведь это метель метет? — спрашиваю у своего самоеда.

— Метет, бачка, — отвечает, а сам все вперед смотрит и орстелем помахивает.

— Ты смотри же, — говорю, — ладно ли мы едем.

— А как же, — говорит, — я смотрю, — и опять тычет в снег орстель.

— А задние-то за нами ли?

— За нами, бачка, за нами.

— Близко?

— Близко, бачка: вот они.

Так твердо говорит, что я сам и не обернулся, чтобы удостовериться, а еду себе да рассуждаю: «Что же, на то, мол, она Сибирь, чтобы метель повидать, а от дождя же не в воду бежать, да и некуда. А потому же, видно, и опасности никакой нет», потому что дикарь-то мой уж очень спокойно мне отвечал на мои вопросы — так спокойно, что вот теперь этому делу минул уже не один десяток лет, а я точно сейчас слышу его голос, веселый, полный и уповательный. Они ведь обыкновенно скверно говорят — невнятно: половину слова во рту произносят, а половину и до рта не допускают, а где-то в глотке ска-

зывает, — надо больше тон, чем звук понимать, а тон был самый успокоительный.

— Ладно, — говорит, — бачка, ничего, хорошо едем.

Превосходно это его спокойствие на меня действовало, и я успокоился и, чего бы вы, вероятно, никак не ожидали, начал опять спать, и уже на сей раз как заснул, то и не знаю сколько я проспал; но только пробуждение мое было самое невеселое: чувствую я, что совсем я валюсь и снег самый дробный да как ледышки острый — так мне всюду и жигает. Хочу глаза открыть, но веки смерзлись и не открываются; а между тем меня кто-то сильно, как медведь, за плечи трясет, так что мне и взаправду показалось, уж не у зверя ли я в лапах? Но через минуту вдруг мелькнула мне другая мысль: думаю, чего доброго это меня мой самоед завез в какую-нибудь трущобу и убить хочет. И в этом помыслил: дай же я притворюсь, будто сплю, авось отец Петр подъедет и мне помощь подаст. Но только отца Петра нет. Думаю, верно и его другой дикарь прикончил, а мой самоед все меня сильнее толкает и кричит:

— Прочкнись, бачка, прочкнись, а то совсем застынешь.

А это, вижу, дело на иную стать: надо ему отвечать.

— Что такое, — говорю, — в чем дело?

— Дело такое, — отвечает, — смять большая пошла — путь потеряли.

— Ах ты, мол, пустоша этакой, как ты путь потерял?

— А так, бачка, видишь, — говорит, — вихря кругом вертит, собачка следа не чует.

Помочил я теплой слюной веки — смотрю, а темень, как в пекле, страшная, и метель метет несусветная. Самоед мой со своим орстелем стоит возле меня, а собачонки все кучкой под салазки сбились и всё теснее жмутся, как меня не выбросят.

«Лихая беда!» — думаю, и все опять мне в голову лезет пустая мысль, что это он меня нарочно завез не знать куда и убить хочет. «Знает он, — думаю себе, — что я архиерей, и, верно, пришла ему злая мысль: стукнет меня орстелем по маковке да скинет с саней, а самого поминай как звали». Так этого и жду, и таю в себе эту мысль, а сам спрашиваю:

— Где же, — говорю, — мы теперь?

— А я, — отвечает, — этого, бачка, и сам не знаю.

— Как же, — говорю, — ты не знаешь? — ведь ты поводырь.

— А что, — говорит, — поводырь, а видишь, вокруг все вертит, — собачка за ветром следок сгубила.

«Ах ты, горе мое», — думаю. — Где же наши задние сани?

— Нет их, бачка: в ветру пропали.

— Как пропали?

— Разбило, — говорит, — нас, — пропали.

— Пропали? Ну так, брат, когда они пропали, так и мы же с тобою пропадем.

— Зачем, — отвечает, — бачка, пропадем: это как захочет.

— Кто как захочет?

— А тот, кто больше-то нас: мы ведь в его воле.

— Да; вот, мол, ты как рассуждаешь, — а самому, знаете, стыдно стало: я архиерей, еду им веру проповедовать, и сам сразу сробел и отчаялся, а он меня уповать учит. «Стыдно, — думаю, — тебе, владыко, и счастье твое, что тебе краснеть только не перед кем».

— Кричи, — говорю, — их; может быть услышат.

— Где, бачка, кричать, видишь, какой буран, — ничего слыхать будет.

И, точно, вой бури ужаснейший. Я повернулся сам на санях, хотел крикнуть, но только рот раскрыл, как меня и задушило, — ветром как во все нутро заткнуло. Зато в глазах словно какой-то внутренний свет блеснул, и показалось мне, что вблизи нас что-то темное, как стена высится.

— Что это, — спрашиваю, — впереди чернеется?

— А это, — говорит, — бачка, лес, я нарочно тебя к лесу завез: вылезай скорей.

«Ну, — думаю, — так и есть, что он хочет мне карачун задать».

— Чего, — говорю, — вылезать?

— А в снежок ляжем да обоймемся: тепло будет.

Что делать? — надо его слушаться.

Выполз я из-под застега, а он оборотил санки, поставил ребром куда мало шло к затиши и говорит:

— Вались, бачка, в снег, я тебя греть стану.

Не охота мне была в снег нырять, а однако согнул колени и прилег, а самоед на меня оленьи кожи накинул, что на дне в санях лежали, и сам сюда же под них подобрался и говорит:

— Вертись, бачка, ко мне рылом, — обнимемся.

Вы этого «рыла», обращенного к моей чести, не принимайте за грубость: у них многих слов нет. «Лицо» — это для них слишком большая тонкость, а морда да рыло употребляется для всех без различия сотворенных и в шестой день и в пятый.

Нечего было делать: обернулся. Запах от него несносный: и потная грязь, и рыбий вонючий жир, и все, кажется, мерзости вместе обоняешь, тут еще он чего-то сопит и все в лицо мне дует.

— Не сопи, — говорю, — зачем ты мне в лицо сопишь?

— А я это нарочно, — отвечает, — морду тебе, бачка, отдуваю. Согреешься, спать будешь.

«Ну, куда тут, — думаю, — спать: и студено и волжко под шкурою, и от него тот дух тяжелый промялый⟨?⟩ и рыбой и кислятиной».

Лежу, задыхаюсь, а он захрапел. Досадно мне, мочи нет, стало, что он спит, а от спертого дыханья сделалось во всем такое раздражение, что и сказать вам не могу. В нетерпении толкнул я самоеда и говорю ему нетерпеливо: «Не спи!»

— А зачем, — говорит, — бачка, не спать: теперь тепленько; бачка, спи, а то ша⟨й⟩таны всю ⟨ночь⟩ разберут.

«Ну да, — думаю, — вот тебе и довод: непременно бы надо спать, чтобы ша⟨й⟩танам ночь не дать, да не спится». Попробую, думаю, с ним поговорить, спрашиваю его:

— Скажи ты мне: ты крещеный или нет?

— Я-то, — отвечает, — нет, бачка, я счастливый; я некрещеный, — за меня старший брат крестился.

— Как за тебя крестился?

— Так, бачка: крестился.

— Да разве это можно?

— Можно, бачка.

— Врешь ты.

— Нет, бачка, можно.

«Ну, — думаю, — тебе, видно, больше моего об этом известно: тебе и книги в руки».

И зашла у нас тут под этим шатром беседа: я не верю ему, как это можно, чтобы у него был брат, который за него крестился. А он уверяет, что этот брат и не за него за одного, а и еще за третьего своего брата тоже крестился. Я не верю, а он уверяет:

— Нет; это, бачка, справедливо так, как я тебе сказываю: он за всех крестился.

— Да зачем же это?

— А он нас, — говорит, — жалеет, потому что кого родные жалеют, так прячут, а сами за них крестятся, и меня прятали; а как попы приедут да станут скликать, брат опять заместо меня креститься ходил.

— Он, — говорю, — стало быть, у тебя добрый, брат-то?

— А как же, бачка, добрый, — он и за нас за обоих братьев открестился.

— Гм; открестился!

— Открестился, бачко, открестился.

— И что же, — говорю, — теперь он, окрестясь, веру держит?

— Как же, бачка, держит: его теперь Кузьма-Демьян дражнют.

— Это его так зовут: Козьма Демьян?

— Так, бачка, зовут: Кузьма-Демьян.

— Какая же, — говорю, — у него больше вера?

— А все одну, — говорит, — бачка, веру, все одну веру держим: молимся.

— Богу молитесь?

— Ему, бачка, ему.

— И крещеные и некрещеные вместе?

— Да, бачка, да, все вместе, ведь всё одно: у всех он один.

— Один — бог-то?

— Один, бачка, один.

— Ты это твердо знаешь?

— Как же, бачка, не знать: твердо знаю.

— А для чего ты его прямо не называешь бог, а всё этак, не произнося его имени, говоришь?

— А на что же его, бачка, произносить? — не надо.

— Как не надо?

— Не надо, бачка, не годится.

— Да почему?

— Потому, что мы того, бачка, не стоим.

— А кто тебе все это сказал?

— А?

— Кто сказал?

— Никто, бачка, не сказал: сам знаю.

«Что же, — думаю, — разум прежде слова явился», и пока об этом его состоянии помечтал да хотел его подробно пораспытать, какие еще у него о боге понятия, а он опять захрапел. Мне же хоть глаза выколи: ни на минуту заснуть не могу, и ноги и руки одеревенели, и около сердца нестерпимый мучительный жар собирается и неодолимая жажда.

Я повернул голову, захватил губами снежку и начал его сосать: делается будто легче немножечко, но только на одну минуту, а там опять жжет, и вдруг среди этих-то мук, словно как из ада, наскочила новая: *есть захотелось.* И тут я с ужасом вспомнил, что весь мой съестной запас был с отцом Петром. Все ужасы голодной смерти мне так и полезли в голову, а аппетит растет с каждым мгновением и уже, кажется, мучить начинает. Прошедший день я за своею дремотою ни маковой росинки в рот не брал, а теперь как освежил снежком горло, так и горит в желудке и щемит. Не могу удержать своих мыслей, которые все летят с бурею к кошелю с хлебом и сухой рыбкой... Смерть, просто смерть! И давай я опять будить своего товарища. Насилу растолкал и спрашиваю: «Нет ли у тебя, приятель, что-нибудь поесть?»

— Нет, — говорит, — бачка, ничего нет.

— А дай же мне хоть собачьего корму.

— И собачий корм, — отвечает, — на тех санях.

— Так что же, — говорю, — ведь эдак мы с тобою друг друга съедим.

— Нет, бачка, зачем человека есть, — не надо.

— Ну так голодною смертью умрем!

— А это, бачка, как старик позволит, так и околеем.

— Про какого ты старика бурчишь?

— А что над нами-то, бачка.

— Так это ты его стариком зовешь?

— А как же, бачка: ведь он давно, бачка, живет.

— Давно, брат: прежде всех.

— Да, бачка, давно, а ты, бачка, теперь спи: во сне есть не манится, — и опять захрапел.

Но куда тут спать: двинул я в отчаянии от себя подальше прочь своего самоеда, чтобы меня по крайней мере рыбьим жиром не душило, прокопал под шкуру малую дырочку, и стал дышать через снег, и опять было забредил наяву съестным, но потом стал думать о давно, давно мною в юности читанной чужеземной книжечке «Старик — везде и нигде» и сравнивать мысли того автора с теми, что думает мой самоед, и незаметно для себя уснул. И не сумею вам сказать: сколько я проспал, но только во всяком случае более суток, потому что, когда я, проснувшись, опустил руку к часам, то они стояли: я попробовал их ключом и удостоверился, что они не испорчены, а весь завод сошел. На небе было что-то непонятное: не то день, не то светило северное сияние, — так мерцало что-то из-за леса. Буря же стихла, и самоед мой, проснувшийся раньше меня, уже ворочался около наших салазок: шкуры он с меня, верно, давно стащил, и намостил их опять на саночки, и собачонок в упряжь цепляет. А я вижу себя, что лежу в глубокой снеговой яме, как меня тут заметало, пока я спал, и опять подумал: «Не хочет ли он меня бросить?»

«В таком разе, — думаю, — я очень вовремя проснулся», — и сейчас же встал на ноги и зашатался: так они ослабели от голода ли, или я намучил их, валяясь в сырости и в неудобном положении, потому что все в комок гнулся от холода.

Однако, как меня ни шатало, я выкарабкался и подхожу к своему дикарю: он на меня взглянул, как всегда глядел своими разбегающимися щелками, и говорит:

— А я тебя, бачка, сейчас только будить хотел.

Признаюсь, я ему не вполне поверил и, ничего не отвечая, присел на санки, но ног закинуть как нужно на сани не в состоянии. Самоед это заметил и, ни слова не говоря, помог мне: усадил и малицею вокруг подоткнул, — и мы поехали.

Из всех дней, которые я провел в этом погибельном пути, этот день, по-моему, был самый тягостный: едем, вижу, сами не знаем куда, самоед молчит, а я его уже не спрашиваю, потому что и так мне ясно, что мы путаем. Собачонки же все нюхают и вертятся и повизгивать начали. Визжат они прескверно, как-то будто похаркивают, а в этой мертвой, пустынной тишине эти звуки далеко

разносятся. Только вдруг одна собачонка упала и завертелась. Я сначала не понял, что это значит, и никакой этому не придал важности, но удивился только, что мой самоед сунул мне орстель и говорит: «Держи, бачка, сильней», а сам спрыгнул проворнее, чем всегда сходил, снял с этой собачонки хомут и веревочку и потянул ее за шиворот к дереву. Я не мог наблюдать, что он там делает, потому что другие собачонки дергали и я, понимая опасность, из всех сил в снегу орстель держал, как мне было самоедом указано.

Но только слышал, как там собачонка жалостно визгнула, и самоед мой уже опять на месте: взял у меня из рук орстель — и покатили.

Я оглянулся назад и вижу: собака висит на обынделом суку, за задние ноги привязана, а нутро у нее все выпущено — одной раной зияет.

— Это, — спрашиваю, — ты ее в жертву, что ли, принес?

— Да, бачка, — отвечает, — пусть и шайтан съест: она спотыкаться стала.

Я еще пошутил:

— Что же, — говорю, — ты ему самую дохлую дал?

— А что, бачка: ничего.

— Да, ничего, — говорю, — он больше и не стоит.

Он не отвечал, и опять едем.

Соображаю, что если уже и на собак голод стал так действовать, то смерть нас где-нибудь недалеко ждет. Собрал я все мужество, чтобы встретить ее, эту мучительную голодную смерть среди ледяной пустыни. Но едва ли его и надо было собирать — тут все как-то в сборе было, и ум, и глупость, и тупость рассуждения: состояние совсем особенное — состояние какой-то затерянности. И самый голод, кажется, не так чувствуешь, как он обыкновенно ощущается, когда есть хочется, а тут только чувствуешь, что тебе все нутро ведет, как кожух перед огнем в кучу собирает, и равнодушие ко всему бесконечное — даже к собственной судьбе своей, — избавления жарко пожелать не можешь. Пришел было на минутку я в себя, как у нас другая собачонка закувыркалась, — и самоед и эту в жертву принес, и опять погрузился в отупение. Часы я свои утром завел и наугад их поставил, да и не смотрю на них, потому что пользы нет, а день был морозный,

красный, и стало склонять к вечеру. Мы неслись через безбрежную холмистую снеговую степь и вдруг, поднявшись из одного удолья, опять вылетели на лесную опушку, и тут у нас третья собачонка закувыркалась. Самоед встал, ее приколол, а других выпряг и молча сел на краек саней; взял орстель, в колени зажал, руки за пазуху в малицу спрятал, а голову опустил.

— Что же, — говорю, — брат, что же это такое будет: здесь, что ли, наша смерть?

— Не мешай, — отвечает, — бачка: я молюсь.

И вдруг встал, приложил к уху рукавицу и все слушал, слушал что-то сперва в одну сторону, потом в другую, и пошел. И как пошел, так и нет его, и нет, да и только. Сижу я один на салазках и гляжу, как еще одна собачонка закувыркалась, а остальные вокруг нее сидят да харчат, а потом вдруг все как схватятся и гурьбой так варом и заварили в сторону и пропали, — верно зверя почуяли.

«Ну, — думаю, — теперь уже и спасаться не на чем», и сижу опять на своем месте, и слышу, что в лесу как будто что-то хрустнуло, и еще, и еще ближе: верно, зверь, — ан наместо того мой дикарь.

— Здравствуй, — говорит, — бачка.

— Где ты ходил? — говорю ему с укоризною.

А он отвечает:

— Примет искал.

— Примет пустых ты в лесу необитаемом искал, а тут все наши живые собачонки убежали.

— А пусть ее, бачка, собачка уйдет, зачем же ей издыхать: она зверя затравит, жива станет.

— Ну да, — отвечаю, — она жива станет, а мы место ее не будем жить.

— Нет, бачка, будем.

— Перестань, — говорю, — врать.

— Нет, будем, бачка.

— Отчего же так будем? Кто тебе это сказал?

А он мне вместо ответа пальцем вверх показывает.

— Глянь, — говорит, — на это дерево!

Я поглядел, — дерево как дерево, — ничего особенного нет. Говорю ему:

— Я ничего не вижу.

— Как же не видишь, — отвечает, — а вон на одной ветке снежку мало.

Стал я опять смотреть: ель как ель — вся в инее и ветвей на ней не счесть сколько и все одинаковы — все снегом убраны под навесами и врозь торчат.

Что он мне ни показывал, как ни толковал, никак я его приметы отличить не мог, а он утверждает, что:

— Вот это, — говорит, — веточка не с этого дерева.

— Ну так что же, — говорю, — это ее ветер занес.

— Нет, — говорит, — бачка, это ее человек посадил: я далеко ходил смотрел, там еще есть такая приметка: тут, бачка, чум есть.

И с этим нагинается под салазки и лыжи достает.

— Бога ты бойся, — говорю, — неужто ты хочешь бежать?

— А как же, бачка, надо бежать.

— А я как же буду?

— А ты, бачка, на древо полезай — сиди; а то тебя ночью волк разорвет.

— Да ты далеко ли побежишь-то?

— Далеко, бачка, далеко: палка далеко кажет.

— Ты, — говорю, — меня бросить хочешь.

— Нет, — отвечает, — бачка, зачем бросать: я тебе есть принесу.

«Что же мне с ним делать, — думаю, — силою мне его при себе не удержать, да и незачем: если псы, свою жизнь спасая, хозяина бросили, почему же ему, язычнику, меня, христианина, не кинуть?»

А пока я так рассуждал, он уже лыжи приснастил и говорит:

— Прощай, бачка! Жди! — да как двинул ногой, так враз на сажень отлетел, а через минуту и с глаз скрылся.

Остаюсь я один умирать: сижу на краю саней, как ворон на нырище, и стыну.

Пока вечерело, глядел на околевавшую собачонку и все думал, что вот скоро и мне то самое достанется, а тем временем стемнело, и потом вдруг вызвездило: небо совсем черное, как темный шатер раскинут, а звезды красные, горят, и, кажется, очень низко; а света от них нисколько. Унылость безмерная, тишина жуткая: я был в каком-то бесчувствии и не страдал и не заметил, как взошло солнышко. Оно показалось красное в южной стороне, очень далеко и быстро стало на своем зените, а ничего не оживило: и все тот же сумрачный предрассвет-

ный свет. Прилетели и сели неподалеку какие-то белые степные птицы — расхаживают, машут крыльями и что-то рассаживаются. Рассадятся и опять начинают друг через дружку перелетывать, и таким манером все дальше и дальше — и совсем исчезли. Опять ни следа жизни; однако это был обман: на ветвях одной сосны мое внимание привлекли какие-то комочки; я стал всматриваться, что бы это такое пристало и снегом облипло, ан вдруг один комочек встрепенулся, и оказалась какая-то птаха вроде сороки. Потормошилась она и опять нахохрилась, села и опять сидит неподвижно, как окоченевшая. А между тем день уже пошел к вечеру, и тут моим глазам явилась картина, которой описать не сумею, но и забыть не смогу. Дело было в игре света — как только солнце взяло на склон, пошли фокусы: снега стали отливать розовым, особенно по склонам, а вблизи откуда-то взялся синеватый свет. В воздухе он и везде по снегу, и особенно где лощинка или яминка, так там и выстлал густой, густой синевою; во всякой трещинке в снегу сине: где ногой ступишь, и тот в следу уже синеет; палкой ткнешь — и там сине и как будто какой-то тонкий голубой пар клубит, — полагаю, должно быть, какое-то фосфорическое явление. И вот тут-то, в этом обманном свете, я испытал на себе влияния самые странные: мое зрение тоже меня стало обманывать. Все не в свою величину стало казаться: те две сороки, о которых я раньше говорил, на снег сели и показались мне такие огромные, что даже смотреть страшно; а моя издохшая собачонка что твой белый полярный медведь лежит. Но солнце село, и снова быстро стало темнеть: самоеда моего нет. Незадолго перед сим так легко синевшие ущелия первые стемнели и покрылись мраком, на равнинах заклубилась белая мгла, и, чего вчера не было, — недавно столь нежно-розовые скалы гор засеребрились. Я взглянул вверх и увидал над собою луну. Не знаю, которая картина была величественнее: дневная или ночная, но знаю, что ни той, ни другой я не мог тогда любоваться, как любуюсь ими ныне в воспоминании. Эта ночь для меня была смерть, и я, признаюсь, ждал ее, как желанную, и молил, да придет она скорее, чтобы еще не мучиться. Во весь этот день я съел только несколько семечек из еловой шишки, чтобы хоть обмануть желудок, и хотел пойти поднять еще одну шишку, которую заметил

днем вблизи моей собаки. Но лишь я сделал сюда шаг, как меня остановило неожиданное появление в воздухе чего-то, по-видимому, очень большого, что плавало именно как раз над павшей собакою. Я сообразил, что это какая-то хищная ночная птица, и вспомнил, что мне говорил самоед, что сюда придет еще и волк. Инстинкт самосохранения заставил меня подумать о совете сего жестокого самоеда, и я стал выбирать дерево, на которое удобнее влезть и переночевать. Выбирал, выбирал глазами: все кажутся одинаковы, никак не решусь, которое предпочесть; но среди этих соображений вдруг мне показалось, что вдали во мгле по полю как будто какой мяч промахнул. «Это, — думаю, — непременно волк: надо улепетывать». И вот я полез на сосну. Откровенно сказать, это мне не легко далось. В ребячьи годы я когда-то проворен и охоч был и в воду нырять и на деревья лазить, да ведь то были другие годы, да наряда на мне такого не было; а тут сапоги чуть не по полупуду, да ватный подрясник, да оленья шуба: совсем неспособно, а к тому же и отощал — ослабел. Однако как-то изловчился, и архиерейство мое, вспоминая ребячьи ухватки, пыхтя долезло по стволу до первых сучьев, а там уже легче пошло. Все я хотел выбрать себе, где бы получше усесться, чтобы было обо что опереться спиной, и, поднимаясь с сука на сук все выше и выше, — и сам того не заметил, как очутился на самом верху сосны. И снега, и неба передо мною открылось необъятно много: вижу и серебряные вершины гор, и белую мглу плоскостей, и тьму долин и лесов, а над головою блестели созвездия Ориона и Плеяды, эти ночные небесные часы, и Млечный Путь, протянувшись из конца в конец через все небо, как холст висит. Картина опять великолепная, а при ней тишина безмолвная и тягостная: отдыхая на суке от своей усиленной гимнастики, я слышал только свой собственный пульс и изнуренное дыхание. Затем, не знаю как сказать, что за состояние было, но, должно быть, я спал, и в этом-то состоянии вдруг услыхал как будто человеческий стон, и на минуту проснулся и увидел внизу под деревом как бы тени какие-то, — шмыгнули они как-то туда-сюда, рванули что-то и унеслись. Я сметил, что это, должно быть, волки моих собачек забирали, и сейчас же опять впал в это непонятное состояние — как бы заснул. Просыпаюсь — уже утро: опять

солнце всходит, как вчера выходило: день стоит, а все еще дня ждешь. Сил совсем не стало, а голод еще мучительнее. Я стал спускаться с дерева: на снегу действительно было много следов, и собачки мои исчезли, — только два-три клочка серой шерсти валялись. Мучительно было на все смотреть и как-то безразлично: нашел я сосновую шишку, достал из нее несколько семечек и проглотил: смола-смолой, а никакого питания нет, даже и обманчивого, и ходить более сил нет. Стал я, как истукан, и стою, гляжу вдаль и решительно уже ни о чем не думаю и о спасении своем не помышляю, а только начали мне вспоминаться тут давние дела и давние годы, когда я тоже, мнилось, погибал и мне являлась чудесная помощь.

Видел я самого себя мальчиком; на дворе стояло чудесное лето: так и тянуло за город гулять, а я в пестрядинном халате хожу по вытоптанному училищному двору с книжечкой, и страстно мне хочется в лес. Открыл я эту мысль товарищу — ему захотелось, а он другим сказал и зажег всех одним огнем: все в лес хочем. И выбрали мы тут депутацию идти к начальству рекреации просить. Я — зачинщик, первый и проситься пошел. Взял я с собою трех товарищей из первого десятка лучших учеников и являемся к смотрителю. А на училищном дворе у нас было такое расположение, что смотрительский флигель стоял на одной стороне, а на другой училищный корпус, около которого все и жмутся, а мы вчетвером несмелыми стопами движем к смотрителю. Смотритель был [монах] грозный, и мы его жестоко боялись. Держим друг дружку за руки, но на крыльцо к нему боимся идти, а стали против окон, и как он выглянул, мы к нему с просьбою: «Отпустите!» Не в добрый час попали: он нас обругал и велел в класс идти. Тут у меня откуда ни возьмись и отвага:

— Стой, — говорю, — братцы, — ничего, нам будет рекреация, только сейчас все веселыми притворитесь, побежим и закричим: отпустил!

Так и сделали, бежим и кричим: «Айда, ребята! отпустил, отпустил!»

Подтверждения, разумеется, никто не спрашивал, — все так и сыпнули, сторожа в воротах смяли и выскочили на выгон, — и поминай как нас звали. Смотритель выбежал на крыльцо, кричит, руками машет: «Вернуть, вер-

нуть их, таких-сяких», да кто нас вернет, когда мы уже, как дикие жеребята, удрали.

День целый мы гуляли, купались, рыбку ловили, кашу варили, и всем нам было очень весело: уворованная рекреация удалась лучше всех дозволенных, но только у меня, который был всему делу виною, к полудню стало сердце щемить. Стало приходить в голову: «А что-то мне будет, как придется домой возвращаться?» Что далее, то хуже это меня мучит, а к вечеру обуяла меня истома, что точно душа с телом расстается, — так страшна мне казалась неотвратимая расправа. Не помню сам, как я вернулся в училище, и только что переступил порог каморы, как первое, что вижу, — стоит лохань, и из нее торчат два огромных пука розог. Глянул на товарищей, а те все побледнели и шепчут мне: «Это тебя драть будут». Не взвидел я света, шмыгнул назад и хотел в реку бежать утопиться, но наместо того, не знаю как, явился в смотрительской кухне. Должно быть, я прощения хотел просить, но как тут никого не было, то я упал на колени перед образом и стал жарко молиться. Но вдруг, услыхав смотрительский голос, оробел, схватил с кухонной полочки икону, и выбежал с нею вон, и очутился под полком смотрительской бани. Баня эта стояла далеко на огороде, и все мы ее очень боялись: по общему у нас поверью, тут жили злые духи. Это было место надежное: к бане обыкновенно никто ночью не приближался, но у меня один страх одолел другой, и я сам не заметил, как очутился в бане, да еще в самом опасном ее месте, под полком, где собственно и полагалось самое гнездо живущего здесь злого духа. Под этим высоким темным полком мне было прекрасно: никакого страха я не чувствовал; утвердил там в уголке на земле унесенный из кухни образ и начал перед ним опять молиться. Все звал простым детским языком богородицу: «Благодетельница, матушка, голубушка, заступись за меня!» и вдруг почувствовал, что все кончено: что она меня услыхала и мне больше ничто не угрожает, и с этим уснул, только слышу кто-то меня зовет. Вслушиваюсь и узнаю голоса товарищей, которые, бог их знает почему, узнали, что я в бане, и кричат: «Выходи скорей: тебя не будут сечь, — к нам ревизор приехал». И точно был ревизор, и меня не секли, а смотрителя сменили. В этом событии все мы видели чудо, и оно мне вспомни-

лось здесь вместе с другим, не менее памятным мне событием. Отца моего перевели для пользы службы в другой город, я был тогда в пятом классе и считался первым учеником, но когда мне пришлось брать из семинарского правления свидетельство, ректор мне объявляет, что мне напишут: во всем успехи *посредственные*. Мне это так обидно показалось, что я заплакал, а ректор говорит:

— Ты, братец, не малодушествуй, не плачь, — говорит, — это мы общим советом так положили не для того, чтобы тебя обидеть, а для нашей славы. Если бы мы написали, что ты у нас первым учеником был, так они бы тебя без экзамена приняли, а теперь экзаменовать станут и подумают: если у них средственные таковы, то каковы же лучшие? Это нам слава будет, а ты постарайся.

Поехал я стараться. Ехали мы по-тогдашнему долго, с дневками да покормками, и это мне не в тягость было, а, напротив, даже очень занимало, но только за этим путем я совсем от наук отстал и, как по приезде на место мне назначили явиться на экзамен со всеми четвероклассниками, на меня напал страх неописанный. И я стал просить угодника, которого мощи в том городе: «Помоги да помоги, чтобы меня без экзамена приняли». В день несколько раз к нему с этой мольбой обращаюсь, и ночью в тонком сне ему об этом молюсь, и в знамение, что молитва моя услышана, все жду того дивного покоя, который я ощущал после своей детской молитвы под банным полком. Но вожделенный покой не приходит, и я стал переговариваться в мыслях моих с угодником даже укоризненно: «Что же, мол, я тебя прошу, а ты мне не помогаешь?» А экзамен все ближе и ближе и, наконец, совсем день его подошел, — нет помощи. Иду на экзамен и думаю: «Ну, угодник божий, я ли тебя не просил, и вот ты мне не помог: не верю теперь, что ты помочь можешь».

Пришел в этом ожесточении и сижу в каморе с новыми своими товарищами, и ждем только экзаменаторов. Все эти ребята веселы, потому что знают, как их спросят и что они отвечать станут, и потому шумно в чехарду играют — друг через дружку прыгают. За партами только я да другой мальчишка, — такой немощный, слабый и зеленый. Посмотрел я на него, а он на меня и говорит:

— Зачем ты в чехарду не идешь?

Я отвечаю, что мне некогда, а вот, мол, зачем ты не играешь?

— Где мне, — говорит, — играть: я и ходить не могу, — меня три месяца лихорадка бьет: я умру.

Я посмотрел на него: совсем мертвец сидит. А тут мне пить захотелось, я встал и только на середину каморы отошел, как вдруг меня сзади кто-то бросил с ног о плитяной пол. Я оглянулся, а это тот лихорадочный перепрыгнуть через меня вздумал. И что это ему вздумалось — в ум себе не возьму, но только хотел свою книгу поднять, а у меня рука мотается. Посмотрели — сломана. Отнесли меня в больницу и положили, а через час сюда инспектор приходит и говорит мне:

— Ну что, брат, делать, теперь тебя нельзя экзаменовать: мы тебя уже без экзамена приняли.

«Вот тебе, мол, угодник свое дело и сделал», а за дерзость свою я целый месяц со сломанною рукою пролежал и только в окно посматривал, как другие на зеленом выгоне играли. А дни, как назло, стояли чудесные — и я, замерзая, словно чуял все их тепло, и, кажется, никогда иллюзия лета не была мне так осязательна, как в этой зиме смерти. До того осязательна, что она точно начала согревать этот нежно-розовый снег, и я начинаю верить, что я не погибну здесь, а избавлюсь. Как и чем? — сам не знаю, но избавлюсь, и смотрю вдаль острым, внимательным взглядом, и точно вижу против солнечного заката далеко, далеко по надгорью какую-то точку... Малая точка, но подвижная: все как-то как черточки чертит, чертит, и всё ближе, ближе, и приближается и растет... Что это такое — разобрать не могу, но, кажется, человек. Скользнула эта фигура по розовому нагорью к скату, где свет смирней, — вижу, несомненно человек, но вместо головы у него что-то высокое этакое и белое, даже искрится. Точно идол индейский: и руки вижу, и в них шест и еще что-то... Узнаю: это мой Кузьма-Демьян летит на лыжах; через плечо у него веревка, на ней волочит за спиной другие лыжи; руки перед собою держит, будто поднос подает, а на них лежит четверть медвежатины, совсем в шерсти. Глазам своим не верю, что это спасение мне пришло, а он говорит:

— Здравствуй, бачка! — и с этим бросил шест в снег, а медвежатину мне прямо к носу: — Лопай, — говорит, — бачка.

Я припал к тому месту, где отрез был, и начал мерзлое мясо зубами рвать и сосать. А самоед этим временем лыжи снимает. Я смотрю[1] на него и все никак не могу понять, что это у него на голове, и спрашиваю его об этом. А он отвечает:

— А это, — говорит, — то, что ты мне забыл денег дать.

Я, признаюсь, не совсем его понял, но всматриваюсь и вижу, что это у него его долгие волосы так все снегом пропушены и стоймя смерзлись.

— Как же, — говорю, — ты свой треух потерял?

— Нет, — говорит, — его не потерял, а я его там оставил, где тебе медведя взял.

— Да, — говорю ему, — это я худо сделал, что я тебе денег не дал. Но что же это за жестокий хозяин был, что он тебе не поверил и треух с тебя снял?

А он заступается.

— Нет, — говорит, — с меня треух никто не снимал, — я его сам положил.

— Это зачем?

— Надо, — говорит, — так было.

И рассказывает, что он прибежал по своим приметкам к чуму и нашел там убитого медведя, а хозяев нет, верно опять на охоту ушли.

— Ну я, — говорит, — думаю, может быть он не скоро повернет, а ты тут с голоду околеешь, отрубил у зверя лапу да лыжи взял, а ему треух покинул.

— Напрасно, — говорю, — покинул: мы ему деньги отдадим.

— А нельзя, бачка, он вернется — сомневаться будет.

— Ну, — говорю, — пусть бы мало и посомневался: не велика беда.

— Как, — отвечает, — бачка, не велика: а тот-то Хозяин?

— Какой?

---

[1] Зачеркнуто: «на него и думаю: «Ах ты, невер, невер: спас ты мою жизнь!»

— А что сверху глядит: он ведь все видит и обижаться станет, что я человека смутил.

— А ты, говорю, очень того Хозяина уважаешь?

— Как же, бачка, не уважать: он олешков дает [и собачку кормит]... А я, бачка, не спал, теперь спать буду.

И как кувырнулся в снег, так и уснул, как дитя; ну а я, признаюсь вам, тут-то над ним уже всласть помолился и о нем и о всех. У них же святой закон в сердцах.

Поспал он, сердяга, а потом встал, подладил под меня лыжи и дотащил меня за собою до того чума, где медвежатиной раздобылся: тут я за все расплатился, взял собак и поехал, только не далее в тундру, а к себе в монастырь, где нашел и своего отца Петра и вести про него, что ⟨он⟩ своему вожаку нарочно от меня в степи отстать велел.

Я эти слухи туне пустил, но с тех пор усмирил в себе свой апостольский пыл и на тихий ход проповеди не претендую, а шла бы она хорошо, а не то что скоро. Когда же мне доводится слышать разговор вроде вашего, то я всегда вспомнить этого моего темняка очень счастлив, и я верю, что он в день суда не погибнет, а оправдан будет по закону, написанному в сердце его перстом отца его и отца нашего.

Мы все без всякого условия отвечали: «Аминь!»

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗАХУДАЛЫЙ РОД

Семейная хроника князей Протозановых

(Из записок княжны В. Д. П.)

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, том шестой, СПб., 1890, стр. 1—243.

Хроника написана в 1873 году, впервые опубликована в журнале «Русский вестник», 1874, №№ 7, 8 и 10. В 1875 году она вышла отдельным изданием. Рукопись не сохранилась. В собрании И. А. Шляпкина (Рукоп. отдел ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР, ф. 341, оп. 2, № 93) хранится лишь черновая редакция первой части хроники, подаренная ему Н. С. Лесковым (см. «Русская старина», 1895, № 12, стр. 210). Сохранились и отдельные черновые наброски 3-й части «Захудалого рода» (см. Приложения).

Издатель «Русского вестника» М. Н. Катков допустил грубое вмешательство в текст, публиковавшийся в журнале. Особенно большой правке подверглась вторая часть хроники. Она была сильно сокращена, отдельные эпизоды выброшены, фамилии ряда персонажей изменены. Касаясь характера этих «урезок» и искажений, Н. С. Лесков 23 марта 1875 года с возмущением писал И. С. Аксакову: «Мне кажется, что перекрещивать Жиго в Жиро не было никакой надобности, что уничтожать памфлет Рогожина против Хотетовой (А. А. Орловой) не было нужды, что от перемены мною сочиненной для нее фамилии Хотетова в Хоботову дело ничего не выигрывает; что старой княгине можно было дозволить увлечься раздариванием дочери всего дорогого, причем дело дошло до подаренья ей самой Ольги Федотовны, и пр. и пр.». (Рукоп. отдел ИРЛИ АН СССР, ф. 3, оп. 4, № 337, л. 22). При подготовке отдельного издания 1875 года Лесков восстановил подлинный текст «Захудалого рода» и напечатал его, как он выразился, со своей, «а не с катковской рукописи» (там же, л. 19).

Подобное вмешательство Каткова в публикуемое произведение Лескова не было случайностью. Оно вскрыло глубокое идейное различие между писателем и вдохновителем реакционного журнала, в котором Лесков был вынужден в эти годы сотрудничать. Много позднее, рассказывая о сущности этого конфликта, Лесков писал критику М. А. Протопопову: «Катков имел на меня большое влияние, но он же первый во время печатания «Захудалого рода» сказал Воскобойникову: «Мы ошибаемся: этот человек *не наш!*» Мы разошлись (на взгляде на дворянство), и я не стал дописывать роман. — Разошлись вежливо, но твердо и навсегда, и он тогда опять сказал: «Жалеть нечего, — он *совсем не наш*». Он был прав, но я не знал: чей я?..» («Шестидесятые годы», М.—Л., 1940, стр. 381).

Лесков нашел в себе силы и твердость порвать с Катковым, с его «единой и нераздельной зависимостью», которая всегда огорчала и томила писателя. Однако он не нашел сил закончить свое произведение. 23 декабря 1874 года он писал И. С. Аксакову: «Захудалый род» кончать невозможно, даже несмотря на то, что он почти весь в брульоне ⟨черновике⟩ окончен. У меня руки от него отпали, и мне сто раз легче и приятнее думать о новой работе, чем возвращаться на эту ноющую рану. Это свыше моих сил! Пусть пройдет время, — тогда, может быть, что-нибудь и доделаю, а теперь... от этого много черной крови в сердце собирается. Надо прежде забыть» (Рукоп. отдел ИРЛИ АН СССР, ф. 3, оп. 4, № 337, л. 10 об.).

Несмотря на то, что хроника князей Протозановых осталась незаконченной, Лесков высоко ее ценил и неоднократно пытался переиздать. 11 февраля 1888 года он писал А. С. Суворину: «Я люблю эту вещь больше «Соборян» и «Запечатл⟨енного⟩ ангела». Она зрелее тех и тщательно написана. Катков ее ценил и хвалил, но в критике она не замечена и публикою прочитана мало... Это моя любимая вещь». А через год, 2 марта 1889 года, он вновь писал: «Мне это дорого, как ничто другое, мною написанное, и я жарко хотел бы видеть этот этюд распространенным как можно более... Вы издавали несравненно слабейшие мои работы, — не откажите же мне, пожалуйста, в большом литературном одолжении — издайте «Князей Протозановых» в *дешевой* библиотеке!.. Ведь они же этого *стоят!*.. А я вас прошу, понимаете, — не из-за чего-нибудь мелкого, а этого жаждет и алчет дух мой» (см. А. Лесков, Жизнь Николая Лескова. М., 1954, стр. 309).

Эти призывы писателя не достигли цели. Только подготавливая собрание сочинений, Лесков мог еще раз при жизни опубликовать свое произведение. Для этого издания он значительно его переработал, написал ранее отсутствовавшую заключительную шестнадца-

тую главу во второй части. Лесков стремился по возможности придать хронике законченный вид, кратко рассказать о последующей судьбе ее главных героев. Изменения текста в этом издании связаны не только с возросшим мастерством писателя, его требовательностью к себе как художнику, но и его идейной эволюцией. Так, на последней переработке отразилось увлечение Лескова «толстовством». В этом направлении им переработан образ Червева и показано влияние толстовского учения на княгиню Протозанову.

«Захудалый род» — это историческая хроника, поражающая обилием интереснейших образов, большим количеством поднятых вопросов. В ней отразились взгляды Лескова на русскую предреформенную жизнь, на судьбы русского дворянства и родовой знати. С замечательной художественной силой, исторической точностью писатель показывает экономическое и моральное оскудение дворянского рода, его постепенное вытеснение и поглощение «прибыльщиками и компанейщиками» — торгово-промышленными дельцами, представителями нового, капиталистического уклада, выраставшего в недрах феодально-крепостнического строя. Обреченность и гибель своего рода видят и глубоко переживают лучшие представители дворянства, защитники его доблестей, семейных преданий и традиций — княгиня В. Н. Протозанова, Дон-Кихот Рогожин, князь Лев Яковлевич (в третьей части «Захудалого рода») и летописец хроники — княжна Вера Дмитриевна. Однако эти люди — «последние могикане». При всей своей деятельности и активности они бессильны что-либо изменить в неумолимом историческом процессе. Так, княгиня Протозанова терпит неудачу с воспитанием своей дочери, из которой в стенах благородного института выросла пустая светская красавица, забывшая славные традиции рода. Лучшие порывы благородного дворянина Рогожина перерастают в чудачество и дон-кихотство.

Как в «Соборянах», «Старых годах в селе Плодомасове», так и в хронике «Захудалый род» Лесков обильно использует свои детские и юношеские впечатления и наблюдения над бытом и нравами орловского дворянства, в частности — над хорошо ему знакомой семьей богатой помещицы А. Н. Зиновьевой, племянницы писателя князя К. П. Масальского. На реальность существования выведенных им образов не раз указывал сам писатель. Очень показательно в этом отношении письмо И. С. Аксакову от 23 марта 1875 года. Защищаясь от нападок в утрировке образа Дон-Кихота Рогожина, Лесков отмечает, что подобными чудаками «*кишели* мелкопоместные губернии (напр., Курская и юго-западные уезды Орлов-

ской, — где я родился и вырос). Дон-Кихот лицо почти списанное с памятного мне в детстве кромского дворянина и помещика 17 душ Ильи Ив. Козюлькина, который вечно странствовал и приют имел у Анны Н. Зиновьевой. Он был очень благороден и честен до того, что требовал, чтобы у него в указе об отставке после слова «холост» было дописано: «но детей имеет». Он служил попечит⟨елем⟩ хлебн⟨ого⟩ магаз⟨ина⟩ и замерз в поле, изображая среди метели Манфреда. — Почему этих чудаков нельзя вывесть, чтобы сейчас даже хорошие люди не закричали, что «это утрировка»? А я утверждаю, что тут утрировки нет» (Рукоп. отд. ИРЛИ, ф. 3, оп. 4, № 337, лл. 22—23 об.). О многих героях, выведенных в «Захудалом роде», Лесков упоминает в очерке «Дворянский бунт в Добрынском приходе».

Стр. 5. Эпиграф взят Лесковым из «Екклезиаста» (греч. — «проповедник») — одной из так называемых канонических книг ветхого завета. Она состоит из сборника размышлений, афоризмов и сентенций философско-дидактического характера.

Род... не милостью дарован, а принадлежит «не по грамоте». — Княжеское звание в допетровской Руси было родовым, приобреталось по наследству и никогда не жаловалось государями. Пожалование княжеских титулов начинается только с Петра I. Лесков подчеркивает, что по своему происхождению род Протозановых — древнейший.

Стр. 5—6. *...сделался «князем кормленым»* — то есть состоящим на государственной службе и жаловании вне столицы. *Кормление* — способ содержания правительственных слуг в древней Руси. От местного населения они получали все необходимое для пропитания как самих себя, так и слуг и даже лошадей. Такая система порождала различные злоупотребления со стороны должностных лиц, звавшихся кормленщиками, и была крайне разорительна для народа.

Стр. 6. *«Заразился глупостью Лефорта».* — Ф. Я. Лефорт (1656—1699) — известный сподвижник Петра I. Пользуясь большим влиянием при дворе, Лефорт не вмешивался, однако, в дела управления и своим бескорыстием выгодно отличался от А. Д. Меншикова, М. П. Гагарина и других приближенных царя.

Бирон, Эрнст Иоганн (1690—1772) — временщик, фаворит императрицы Анны Ивановны (1730—1740). Установил засилье немецких дворян в управлении страной и режим жесточайшего террора к недовольным его политикой.

Стр. 8. *Он в случае не был...* — то есть не был в милости у начальства, в силе, любимцем или наперсником.

Мария Федоровна (1759—1828) — императрица, жена Павла I.

...ни с графом Валерианом, ни с князем Платоном домами знаком не был... — Братья В. А. Зубов (1771—1804) и П. А. Зубов (1767—1822) — последние фавориты Екатерины II, сменившие Потемкина. Они занимали высокие военные и государственные должности, бесконтрольно распоряжались казенными суммами. Зубовы отличались крайне низкими моральными качествами, были властолюбивы и высокомерны. При дворе все перед ними раболепствовали и пресмыкались.

Куртаг (от франц. cour — двор, и нем. Tag — день) — приемный день при дворе.

Стр. 9. *Регалии* — знаки отличия, ордена.

Стр. 10. *Авантажна* (от франц. avantageuse) красива, видна собой.

...портрет, работы известного Лампи. — И. Б. Лампи-старший (1751—1830) — известный австрийский портретист, любимец венского двора и знати. В 1792—1798 годах работал в Петербурге.

Стр. 11. *...майорат и... земли из старых отписных имений...* — Майорат — имение, а также право старшего в роде быть единым наследником недвижимого имения. Отписные имения — имения, отобранные в казну по указу, по приговору, за долги и т. д.

Стр. 12. *...возвращенный морем перстень.* — Как передает греческий историк Геродот (V век до н. э.), Поликрат, тиран Самосский, желая принести дар богам, бросил в море перстень. Его проглотила рыба, которую выловили рыбаки, и с нею перстень был возвращен владельцу. Вскоре за этим событием последовала смерть Поликрата: он был предательски захвачен персидским царем и предан жестокой казни. Этот рассказ лег в основу баллады Шиллера «Перстень Поликрата», переведенной В. А. Жуковским.

...в угождение императрице... записать в институт... — После смерти Екатерины II (1796) заведование женскими учебными заведениями (Смольный институт и др.) перешло к жене Павла I — императрице Марии Федоровне. В основу женского образования ею был положен сословный принцип. Она учреждала учебные заведения с точно ограниченным курсом учения и особым устройством. В «состав благородного воспитания» на первое место выдвигалось знание французского языка, танцы и хорошие манеры.

Стр. 14. *Стень* (древнерусск.) — боль, скорбь, кручина (от слова стенать).

Стр. 15. *Помпадур* — особый вид кушетки, получивший свое

название по имени маркизы Помпадур (1721—1764), фаворитки Людовика XV.

Стр. 19. *Туес* — круглая коробка из бересты с тугою крышкою и со скобкой или дужкой на ней.

Ктитор — церковный староста.

Стр. 21. *«Дар напрасный, дар случайный»* — первая строка стихотворения Пушкина 1828 года.

Стр. 22. *Талагай* — шатун, сторонний, чужой мужик.

Стр. 23. *...я за сиротство и в солдаты отдан.* — Рекрутская повинность, 25-летняя служба в армии, являлась тяжелым бедствием для народа. Нередко в солдаты сдавались сироты, часто — специально выращенный миром мальчик-сирота.

Стр. 24. *Субординация* (от лат. — sub — под и ordinatio — приведение в порядок) — система строгого служебного подчинения младших старшим.

Стр. 25. *Однодворцы* — одна из категорий государственных крестьян, имевших свое небольшое хозяйство, а иногда и крепостных работников.

Месячина — определенное содержание пищею дворовых, выделяемое помещиком помесячно.

Стр. 28. *Точно волшебный Фавна...* — Фавн (лат. Faunus) — в римской мифологии бог лесов и полей, покровитель пасущихся в них стад.

Стр. 32. *...сладости слез Петрова покаяния.* — По евангельскому сказанию, апостол Петр трижды отрекся от Христа, затем покаялся и продолжал его дело.

Таранта — говоруха, болтушка, тараторка.

...задорную корочку — в смысле негладкую, растрескавшуюся (от слова задорина).

Стр. 34. *Поповка* — место у церкви, где живет церковный причт.

Аттенция (франц. attention) — внимание.

Стр. 35. *Савонарола* (1452—1498) — суровый обличитель богатства и праздности, пламенный итальянский проповедник, религиозно-политический реформатор во Флоренции, монах-доминиканец. По приказанию римского папы он был схвачен, подвергнут пытке и как еретик сожжен на костре.

Стр. 39. *Манкировать* (франц. manquer) — пренебрегать, относиться без должного почтения.

Стр. 43. *Обыденкой* — в течение одного дня.

Стр. 44. *...семинаристы, благодаря Сперанскому, были в моде...* — Сперанский М. М. (1772—1839), видный государственный

деятель первой половины XIX века, был сыном священника. Окончил семинарию и затем духовную академию.

Стр. 52. *...которого она притравила, как Диана Актеона...*— Актеон, по античной мифологии, — охотник, превращенный богиней Дианой, которую он увидел нагой во время купания, в оленя и растерзанный своими же собственными собаками.

Стр. 53. *Ты проходишь, дорогой друг, мимо кельи* и т. д. — распространенная во второй половине XVIII и первой половине XIX века песня. Авторство приписывается Ф. Г. Волкову (1729—1763). — См. И. Н. Розанов, Песни русских поэтов, Л., 1936, стр. 77.

Стр. 55. *Гро-гро* — особый сорт шелковой материи.

Стр. 61. *Кропотался* — ворчал, бранился.

Стр. 62. *...бабушка была только деисткою* — то есть сторонницей учения, признающего существование бога как творца мира, но отвергающего богословское догматическое учение.

Стр. 63. ...бралась за Кормчую... — «Кормчая книга» — древнейшей сборник права в православной русской церкви. В ней помещались и нормы русского светского права. Название «кормчая» (руководящая) указывало на особое ее значение для церкви. В начале XIX века книга переиздавалась в 1804, 1816 и 1827 гг.

Стр. 64. *...крепостные ее люди покупали на стороне земли на ее имя...* — На основании закона 1801 года ненаселенные земли покупали в частную собственность не только государственные крестьяне, но и помещичьи, по договоренности со своими владельцами и на их имя.

Стр. 69. *Осажэ* — от русского слова «осадить».

Стр. 70. *Петиметрство* (от франц. petit-maître — щеголь) — рабское копирование дворянской молодежью в России образа жизни, манеры поведения и т. д. француза-щеголя, франта.

Шамото́нят как-то... — Шамотон — бездельник, болтун, шалопай. В черновой рукописи Лесков так рассказывает об отношении княгини Протозановой к идейной борьбе, развернувшейся с особой силой после возвращения русских войск из Франции в 1815 году:

«— Шамотонами вернулись, — говорила она, — шарканья много, а почтения нет.

Она не любила идей того времени и, считая их беспокойными, в то же время как будто приписывала вину их не обществу, а кому-то иному.

— Гм! — говорила она с тихой улыбкой, — ободрали людям пазухи, а теперь говорят: не пущай к груди ветру. Да чем же заслониться? — нечем: ни у кого достойного ума дела нет!

Судя по таким отношениям к современности, конечно, можно было думать, что княгиня большой консерватор, но и это не так: она, разумеется, готова была беречь все, что стоит берёжи, но чтобы консервировать по принципу, ради того, что это старо, а не ново, она была неспособна. При чьих-нибудь восхвалениях допетровской старине княгиня обыкновенно или хранила серьезное молчание, или, потирая ладонью лоб, говорила:

— Мудрено судить, что́ бы из того вышло, если все иным манером шло: это ведь надо только угадывать. А ведь вон уже Романовым присягаючи, многие именитые дворяне, Троекуровы и Ртищевы и другие подписаться не умели; моя матушка покойница помнила, как ее дядья родной сестры дом разграбили среди бела дня под ясачный крик; князя Пожарского за взятки судили; пытка была, неурожаи страшные, народ с голоду к полякам да к татарам бегивал или своим же русским себя со всем порождением в кабалу отдавал; а крамола и не затихала; церковь была в нестроении, одних архиереев ссылали на конюшни лошадей чистить, других в заточениях морили; архиерейские слуги разбойничали, а патриархов избирали из тех, кого светская власть хотела... Хорошее-то, что было, все так и колебалось между бытием и смертью. — Нет; я тем временам не хвалебница.

Чувствуя себя в эпохе, когда создание государственное кончилось, княгиня понимала, что для русских теперь настало время подниматься к целям нравственным, развивая и укрепляя их в обществе, где силы каждого должны принадлежать всем и силы всех каждому.

Во всяком случае она была больше строителем, чем консерватор...» (Рукоп. отд. ИРЛИ, ф. 341, оп. 2, № 93, лл. 73—74 об.).

Стр. 70. *...медный змей, от напастей спасающий.* — По библейской легенде, при возвращении евреев из египетского плена на родину Моисей, чтобы спасти их от укусов ядовитых змей, сделал, по совету бога, особого медного змея и водрузил его на знамя. Взглянув на него, ужаленные змеями люди оставались живы и продолжали свой путь (Книга Чисел).

Стр. 71. *...с музыкантами сидеть...* — то есть быть в пренебрежении. В черновой рукописи далее следовало: «и за свой пропой с прибыльщиками магарыч пить...» (л. 74 об.).

Стр. 73. *Эолова арфа* — особый музыкальный инструмент, струны которого звучат от действия ветра.

Стр. 74. *Подстава* — сменные лошади, выставляемые впереди на пути, для смены уставших.

Стр. 74. *Сдаточные* — лошади, нанимаемые на трактах. В отличие от почтовых, они двигались гораздо медленнее, но были удобны тем, что не требовали частых перепряжек, могли останавливаться в любом месте.

Функендорф — Лесков перенес в рассказ инициалы и фамилию своего гимназического преподавателя (А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 14).

Стр. 75. *...у нас искони никаких графов не было...* — В России графский титул введен Петром I. Первым русским графом был Б. П. Шереметев, возведенный в это достоинство в 1706 году за усмирение астраханского бунта. Возведение в графское достоинство являлось выражением особой милости императора к возводимому. К концу XIX века в России насчитывался 131 русский графский род и 150 иностранных.

Калиостро, граф Александро — наиболее известное из многих вымышленных имен имя авантюриста Джузеппе Бальзамо (1743—1795). Он путешествовал по разным странам Европы и Азии и выдавал себя за мага и чародея, обладающего философским камнем и жизненным эликсиром. В 1780 году под именем графа Феникса он побывал в Петербурге. Приключения Калиостро послужили неисчерпаемой темой для всевозможных фантастических романов. К ним относятся и приписываемые ему мемуары.

Стр. 76. *...купить крестьян на свод* — то есть без земли, для поселения их в малонаселенных владениях покупателя.

Стр. 78. *Поднос с кариденами* — с фигурными украшениями.

Колет — короткая мужская куртка; военная форма в некоторых конных полках в XIX веке.

Стр. 79. *Тягло* — здесь: норма повинностей, взимавшаяся с крестьянского хозяйства при крепостном праве.

...был взят в плен и отведен во Францию... — Далее в первоначальном варианте рукописи следовало: «...откуда, соскучась, бежал в Испанию, ходил там с погонщиками мулов и все отыскивал следы ног Дон-Кихота, похождениями которого начитался с детства и принимал всю его историю не за вымысел Сервантеса, а за действительность, высоко уважал благородного рыцаря Ламанчского. Над ним, вероятно, в Испании смеялись, но он, конечно, не удостаивал этих насмешек никакого внимания: он, пожалуй, был готов согласиться, что, может быть, не было никогда рыцаря, который принимал баранов за войска и дрался с ветряными мельницами, но ни за что в мире не согласился бы, что не было совсем Дон-Кихота, который один хотел стать за всех угнетенных и обиженных. Точно так же, как Дон-Кихот, он не раз дрался в Испании с грубыми людьми, оби-

жавшими людей слабых, и, наконец, напал на сторожей роскошного сада за то, что они привязали к дереву маленького воришку; он был страшно исколочен палками и потерял свободное владение левою рукою и правый глаз, вспомнил, что у него есть родина и на ней ему принадлежавшие три крестьянские двора, и поплелся домой. Он шел бог весть какими средствами пешком до Вены, где тогда был собран знаменитый конгресс: здесь ему дали какое-то подаяние, и он поскакал освобождать угнетенных на родине» (лл. 84—84 об.).

Стр. 81. *Сатисфакция* — в феодально-дворянском быту — удовлетворение, даваемое оскорбленному в форме поединка, дуэли.

Стр. 83. *...сытая молитва, которою хвалился Вольтер...* — Лесков имеет в виду одну из язвительных острот выдающегося французского просветителя XVIII века Вольтера (1694—1778), боровшегося с суеверием и религиозными предрассудками. Тщательно выискивая и выставляя напоказ «нелепость» «священных книг» и богословских догматов, Вольтер стремился доказать их земное происхождение, рассеять ореол «божественного откровения», реабилитировать чувственного человека, его земные наслаждения и радости.

Стр. 84. *Грифы* — фантастические крылатые животные с львиным туловищем и орлиной головой.

Стр. 86. *Ипостась* (греч. — сущность) — по богословской терминологии — одно из лиц христианской троицы.

Стр. 90. *Законы осуждают...* — первая строка из песни, включенной Н. М. Карамзиным в повесть «Остров Борнгольм» (1793).

Стр. 93. *Богданка,* или богоданка — подкидыш, приемыш.

Стр. 95. *...давно был герой Ярль Торгнир.* — Сказание о ярле (ярл — благородный) Торгнире — лагмане (судье) при норвежском короле Олафе Гаральдссоне (Святом) приводится Снорри Стурлусоном (1179—1241) в его «Королевских сагах» — истории норвежских королей от древнейших времен до конца XII века. Однако оно никогда не переводилось на русский язык. Сведения об этом сказании, вероятно, заимствованы Лесковым из очерка Ф. И. Буслаева «Древне-северная жизнь» (см. «Исторические очерки русской народной словесности и искусства». Соч. Ф. Буслаева, т. I, СПб., 1861, стр. 262).

Стр. 99. *Исполать* (от греч. eis polla ete — на многие лета; употребляется в церковной службе для приветствия архиерея) — хвала, слава.

Стр. 100. *Ф. Ю. Ромодановский* (ум. в 1717 г.) — князь, при царе Алексее Михайловиче был ближним стольником, управлял Пре-

ображенским приказом. Петр I уважал его за испытанную верность и любовь к правде, избрал начальником над потешными и регулярными войсками. Сведения о сохраненных Ромодановским и переданных Петру I сокровищах царя Алексея Михайловича заимствованы Лесковым из книги Е. П. Карновича «Замечательные богатства частных лиц в России», СПб., 1874, стр. 85.

Стр. 100. *Князь Иван Андреевич Хованский-Тараруй* — в правление царевны Софьи начальник стрельцов. Был обвинен в замысле уничтожить царскую семью и вместе с сыном 17 сентября 1682 года казнен.

Князь Василий Голицын (1643—1714) — фаворит царевны Софьи, ее «первый министр». Он был не только одним из самых богатых, но и образованных бояр конца XVII века, понимал настоятельную необходимость коренных преобразований в стране.

Михайло Алексеич — князь М. А. Голицын (1688—1775), племянник Василия Голицына. В 1733 году был назначен придворным шутом. В число его обязанностей входило подавать квас императрице, отсюда прозвище — «Квасник». В 1739 году Анна Ивановна женила Голицына на своей любимой шутихе Е. И. Бужениновой. Эта свадьба описана Лажечниковым в романе «Ледяной дом».

Белгородский мир — Белградский мир, заключен 18 сентября 1839 года. Он положил конец войне, которую вели в 1736—1739 годах Австрия и Россия против Турции.

Как Салтыковы ополячились... — В ряду богатой старинной знати Салтыковы занимают видное место. Часть их имений находились в Литве и Польше; владельцы таких имений являлись ярыми ненавистниками России.

Василий Нарышкин... богача Сибирякова дом осадил... — Речь идет о злоупотреблениях начальника нерчинских заводов В. В. Нарышкина. Промотав всю заводскую казну на праздники и разгульную жизнь, он в 1776 году решил с помощью военной силы принудить богача Мих. Сибирякова дать ему пять тысяч рублей. Когда эта сумма Нарышкину была выдана, он устроил пир в доме обобранного им хозяина (см. Е. П. Карнович, Замечательные богатства частных лиц в России. СПб., 1874, стр. 100—101).

Князь Иван Васильевич Одоевский (1710—1758) — сенатор, президент Вотчинной коллегии (1741—1744).

Разумовский А. Г. (1709—1771) — один из русских «случайных людей» XVIII века, сын малорусского казака, в 1731 году был принят в придворный хор, где голосом и красотой обратил на себя внимание цесаревны Елизаветы Петровны. После коронации Елизаветы

Разумовский получил целый ряд имений в Великороссии и Малоросии, возведен в графское достоинство и сделан фельдмаршалом.

Стр. 102. *...руки фертом* — подбоченясь, похоже на букву «ф», которая называлась в древней Руси «ферт».

Стр. 104. *Репрезентовать* — представить.

...усадив... ниже большой соли... — Речь идет о пережитке былого местничества. Почетным местом за столом было ближайшее к лицу, за которым признавалось старшинство (См. А. И. Маркевич, История местничества в Московском государстве в XV—XVII веке. Одесса, 1888, стр. 216—221.)

Стр. 105. *Вопросами дня тогда был чугуевский бунт...* — Летом 1819 года вспыхнуло восстание военных поселян в Чугуеве. Восставшие отказались от работ, убили начальников, выбрали руководителей из своей среды. Расправу с восставшими производил лично Аракчеев: 52 человека были прогнаны сквозь строй и получили по 12 тысяч шпицрутенов. Многие умерли при наказании. Родители заклинали сыновей не просить пощады. Жестокая расправа с чугуевцами вызвала возмущение в передовых общественных кругах.

Стр. 107. *Петр Первый этого желал и не достиг...* — Речь идет об указе 1714 года «о единонаследии», который запрещал дробить вотчины и поместья при передаче по наследству и предлагал передавать недвижимость только одному из детей. Остальные дети, не получившие наследства, должны были жить на денежное жалованье, выдававшееся им за службу. В этом законе не было ничего «антидворянского». Петр I хотел им поддержать экономическую силу дворянства. Однако закон не нравился многим дворянам, и они впоследствии настояли на его отмене.

...государству прославившиеся... — Далее в рукописи зачеркнуто: «Но они из той же земли вышли, так как род приходит, и род проходит, а земля вовек пребывает. Человек звание благородит, а не звание человека» (л. 111 об.). Это место помогает раскрыть значение выбранного Лесковым эпиграфа к хронике «Захудалый род», содержащего одну из основных ее идей.

Толстой, да Меншиков, да Шафиров всем путь показали к барышничеству. — В этих и последующих примерах княгиня Протозанова имеет в виду различные монополии, откупа, которые получали при Петре I и его преемниках представители высшей знати. В XVIII веке, во времена разнузданного фаворитизма и взяточничества, та-

кая политика из средств поощрения промышленности и торговли превращалась в открытое расхищение казны. В такого рода предприятиях участвовали перечисляемые ниже лица — временщики, их фавориты и сенаторы. Протозанова видит в этом «барышничестве» яркий пример морального оскудения — «захудалости» знатных дворянских родов, потерю ими передовой роли в судьбе своей страны. Сведения заимствованы Лесковым из книги Е. П. Карновича «Замечательные богатства частных лиц в России», СПб., 1874, стр. 54 и след.

Стр. 107. *...заодно идти с Походяшевыми, Хлюстиными, Ворожейкиными да Кондолинцевыми.* — Перечисляемые здесь лица — богатые купцы, откупщики и подрядчики XVIII века. Благодаря участию вельмож и сановников в их предприятиях и торговых сделках, они в короткое время делались известными миллионерами.

...бороды на откуп дали. — В 1749 году купцы Ворожейкин и Курчанинов предложили правительству «прирастить более 50 000 рублей дохода за бороды и неуказное платье».

...по дворам посылал и тем жил... — В рукописи далее было: «а когда и их отобрали, так он у Алексея Григорьевича Разумовского за карточной игрой деньги воровал, и не раз был бит... Так вот он и Рюриков род!

— Извините меня, — продолжала она, — *знать* надо знать, а она себя должна помнить [да блюсти, чтобы добрый род не марать], ибо горе тому, у кого имя важнее дел его: плохих князей и телята лижут, и им от пророков предсказано стать на суд перед родом своим [и судиться], только они ведь нынче пророков не знают, а все «oh ma mère» ⟨о моя мать — франц.⟩ да «cent mille francs» ⟨сто тысяч франков — франц.⟩ в романах читают, картин на стенки навешали да болванчиков понаставляли... Это не образование, а кокетство, и от сего тающий род только скорее людьми, иначе учеными, с земли смоется» (лл. 111 об. — 112).

Позье — придворный ювелир XVIII века. Из всех его изделий наиболее знаменита корона, изготовленная для Екатерины II.

Стр. 108. *Воротынец* — имение графов Головиных в Нижегородской губернии. Было разыграно в лотерею 12 июня 1823 года в Петербурге.

Стр. 109. *...мне его ни одного пальца не нужно.* — При описании этого эпизода Лесков использует реальное событие, которое произошло на его квартире в начале 70-х годов. Его участниками были Б. М. Маркевич — реакционный писатель и князь А. П. Щербатов. Сын писателя А. Н. Лесков так передает этот случай: «В разгар вечера и оживленной беседы довольно большого

общества входит, во всем камергерском великолепии, «с ключом» и в белого сукна брюках, Болеслав Маркевич. Целует руки дамам, благосклонно приветствует мужчин и, как бы случайно, не здоровается с стоявшим несколько в стороне в скромном сюртуке генерального штаба генерал-майором А. П. Щербатовым. «А вы разве не знакомы? — Александр Петрович Щербатов — Болеслав Михайлович Маркевич!» — произносит моя мать общеустановленную для таких случаев формулу.

«Ах, князь, простите, я вас было не заметил», — рассеянно бросил упоенный своей блистательностью царедворец и, полуоборотясь, милостиво протянул Щербатову два пальца.

Заведомо бывший у царя Александра II в большой опале, материально захудалый «Рюрикович» побледнел. Почтительно склонясь и «приняв двумя же пальцами у самого ногтя только один палец Маркевича, он приподнял всю его пухлую руку и, слегка покачивая ее в воздухе, самоуничижительно произнес: «О, вы слишком щедры! Такому маленькому человеку, как я, и одного вашего пальца слишком достаточно!» С этим он полубрезгливо отстранился, оставив опешившего «шамбеляна» с еще висевшей в воздухе пустой рукою» (А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 299).

Стр. 110. *Перебуровилось* — перемешалось.

Дормез — старинная дорожная карета, приспособленная для спанья в пути.

...нравиться, как Гаральду презиравшая его русская дева — измененная цитата из «Песни Гаральда Смелого» (1816) К. Н. Батюшкова. Гаральд Смелый (1015—1066) — предводитель варяжской дружины, позднее король Норвегии. Был женат на русской княжне, дочери Ярослава Мудрого Елизавете, к которой обращена приписываемая ему песня, переведенная Батюшковым.

Стр. 112. *Кутафья* — неуклюже одетая или закутанная женщина.

Стр. 113—114. *Это собралась на чужине она...* — В рукописи сохранился первоначальный вариант окончания первой части хроники: «Это она, отходящая Русь, а там, за стенами, иная жизнь [для которой уже все это чуждо], оторванная от всяких преданий [несется жизнь новая], которой все это чуждо, которой кокетство казалось вернее солидной науки и отчих заветов, милее глубокого чувства и которая до сих пор сама не знает, что ей свое» (л. 120).

Стр. 114. *Туне* (древнерусск.) — даром, безвозмездно.

Стр. 118. *Портреты было поручено сделать известному автору Марцулы, изящному Кипренскому.* — Кипренский О. А. (1783—

1836) — один из крупнейших русских художников, виднейший представитель русского романтизма в искусстве. Родился в семье крепостного человека Адама Швальбе. Глубоко ценя Кипренского как замечательного мастера портрета, современники называли его «русским Ван-Дейком и Тицианом». Портреты воспитанниц, о которых здесь рассказывает Лесков, — художественный вымысел писателя. Они не могли быть созданы Кипренским, так как с 1816 года по 1823 год он жил в Италии. В Италии художник познакомился с девочкой-натурщицей по имени Мариучи, или Мариула, которая впоследствии стала его женой.

Стр. 118. *Аффектация* — вычурность, неестественность.

Стр. 119. *Нащокин* — А. Л. Ордин-Нащокин (ум. в 1680 г.) — крупный политический деятель, выдающийся дипломат царствования Алексея Михайловича. Ценя свои национальные обычаи, он понимал важность и пользу культурного сближения с Европой: «доброму не стыдно навыкать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов». У Ордина-Нащокина был сын, Воин, известный тем, что, недовольный московскими порядками, бежал (в 1660 г.) за границу, но, побывав в Германии, Франции, Голландии и Дании, вернулся (в 1665 г.) в Россию.

Фернейский пустынник — Вольтер. Прозвище это произошло от приобретенного им в Швейцарии имения Фернэ, возле французской границы, где он провел конец своей жизни, не имея возможности возвратиться на родину.

Франкмасоны (франц. francs-maçons — «свободные каменщики») — члены тайного религиозно-философского общества (сокращ. *масоны*), возникшего в XVIII веке в Англии, а затем распространившего сеть своих ячеек (лож) и в остальных странах Европы. В России масонство оказало некоторое влияние на возникновение тайных обществ декабристов.

Стр. 120. *Радения* у некоторых сектантов — религиозный обряд с песнопениями, беганьем и кружением.

Прозелитизм — горячая преданность вновь принятому учению, новым убеждениям.

Графиня Антонида Петровна Хотетова. — Под этим именем Лесков выводит известную гр. А. А. Орлову-Чесменскую (1785—1848) — владелицу колоссального состояния, дочь графа Алексея Орлова, убийцы Павла I и брата фаворита Екатерины II.

Рака — в христианской церкви — массивный металлический ящик, в котором хранятся так называемые мощи святых.

Стр. 122. *Дмитрий Ростовский* (1651—1709) — известный церковный деятель и писатель, с 1703 года — митрополит Ростовский. Относясь в основном к деятельности Петра I с сочувствием, он в своих проповедях смело обличал современные пороки, нравственный упадок, непочтение к святыне со стороны знатных и самого духовенства.

...ездила в Оптину пустынь к Макарию... — Макарий (Глухарев, 1792—1847), — знаменитый алтайский миссионер и переводчик библии. Окончил Петербургскую духовную академию. В 1829 году уехал в Сибирь, изучил алтайские языки, занимался проповеднической деятельностью и переводом библии. В 1843 году, по возвращении из Сибири, поселился в Оптиной пустыни — Болховском монастыре Орловской губернии, где был настоятелем.

Стр. 126. *...были возмущены неровным браком графа Николая Петровича Шереметева.* — П. И. Ковалева-Жемчугова (1768—1803) — талантливая крепостная актриса. С ее деятельностью связан расцвет крепостного театра в подмосковном имении Кусково богатейшего вельможи гр. Н. П. Шереметева. В ноябре 1800 года она стала женой графа.

joli-мордиться — кичиться красотой, внешностью (от франц. joli — красивый).

...граф Нельи, описал за границею... — Имя графа Нельи, вероятно, вымышлено. Записки, о которых идет здесь речь, принадлежат Карлу Массону (1762—1807). Они были изданы в четырех томах в Париже в 1802—1804 годах под названием «Mémoires secrètes sur la Russie pendant les règnes de Catherine et de Paul I» («Секретные мемуары о России во время царствования Екатерины и Павла I»). В течение всего XIX века книга была запрещена в России и не переводилась. В 1859 и 1863 годах в Париже вышло второе издание книги. На русском языке отдельные отрывки из мемуаров К. Массона были напечатаны в журнале «Голос минувшего», 1916, кн. 4 и след.

Стр. 127—128. *Открытие кредитных учреждений* относится ко второй половине XVIII века. В 1775 году был создан Приказ общественного призрения, который ведал выдачей ссуд дворянам под движимое и недвижимое имущество. В 1786 году учрежден Государственный заемный банк, в 1817 году — Государственный коммерческий банк. Вся эта система кредитных учреждений, основанная на крепостнических и сословных принципах, просуществовала до реформы 60-х годов XIX века.

Князь М. М. Щербатов (1733—1790) — дворянский историк, политический деятель и публицист, автор книги «О повреждении нравов в России», которая впервые была издана Герценом в Лондоне

в 1858 году, а затем по подлинным рукописям напечатана в журнале «Русская старина» в 1870—1871 годах (тт. II—III). В книге с аристократических позиций Щербатов остро и зло критиковал политику Екатерины II. Сетуя на «повреждение нравов» дворянства, развитие фаворитизма, Щербатов особое внимание обращал на огромные расходы дворян, связанные со стремлением превзойти и затмить друг друга роскошью. Он протестовал против всяких привилегий и предоставлений чинов и дворянского звания купечеству. Лесков внимательно изучал взгляды Щербатова, ряд приводимых им фактов он использует в настоящей хронике.

Стр. 128. *«Грузинские асессоры».* — Грузия была присоединена к России в 1801 году и сразу же началась ее русификация. Все важнейшие административные должности были отданы русским чиновникам, проходившим здесь службу по сокращенному сроку, который еще более сокращался в виду царившего здесь взяточничества и произвола. Сюда устремлялись неродовитые чиновники, без связей и «покровителей». Получение чина коллежского асессора давало право на потомственное дворянство.

Стр. 129. *...богатые сыновья прасолов и откупщиков ездили куролесить в Грузию... и вывозили себе оттуда асессорство.* — Прасол — торговец скотом, откупщик — частное лицо, купившее у казны право взимания налогов или продажи какого-либо товара. На откупах, особенно винных, наживались огромные состояния.

Со службой подобного рода приказных на Кавказе, получением ими асессорства Лесков хорошо был знаком по рассказам отца, который в апреле 1825 года испросил себе перевод в Ставрополь, — «в Кавказскую область по управлению питейных сборов с награждением чина коллежского асессора» и в 1827 году вернулся в Орел с правом на дворянство «и не без скромного достатка» (А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 21).

Козеры (от франц. causer — беседовать, разговаривать) — болтуны, говоруны.

Загорецкий — один из персонажей комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

Князья Куракин, Юрий Долгоруков, Сергей Гагарин — видные вельможи и сановники конца XVIII и начала XIX века. При Екатерине II принимали деятельное участие в различных откупах и торговых предприятиях (см. А. В. Храповицкий, Дневник, изд. Н. П. Барсукова, 1874).

Д. Т. Трубецкой (ум. в 1625) — боярин, правитель московский, участник борьбы с поляками и шведами, за что получил титул «Спа-

сителя Отечества». Содействовал избранию Михаила Федоровича на престол.

Стр. 130. *Неофит* — новообращенный, новичок в каком-либо деле.

Стр. 132. *...как мне эту фамилию забыть: я сам Хлопов-с...* — Этот же анекдот обработан Лесковым в рассказе «Штопальщик» (см. т. VII наст. изд.).

Стр. 134. *Крюднер,* Варвара-Юлия, баронесса (1764—1824) — писательница, реакционерка. На почве религиозного мистицизма сблизилась с Александром I.

К ставцу лицом сесть не умеют — то есть неучи, дураки (ставец — деревянная чашка, глубокое блюдо).

Стр. 139. *Мармотки* (франц. marmottes) — оборки под женской шляпкой.

Стр. 143. *Бомбошка* (от франц. bonbon) — конфетка.

Стр. 149. *Захарьин,* М. Ю. (ум. в 1538 г.) — боярин великого князя Василия III, исполнял важные дипломатические поручения в переговорах с Литвой, Казанью.

Матвеев, А. С. (1625—1682) — известный московский дипломат, в последние годы царствования Алексея Михайловича — самый влиятельный из приближенных царя. Убит стрельцами в 1682 г. во время бунта.

Романовы — династия русских царей и императоров, царствовавших с 1613 по 1917 год; древний боярский род.

Стр. 152. *...называла его «своим Авессаломом».* — Авессалом, как повествует библия (Вторая Книга Царств), являлся третьим сыном царя Давида, был необыкновенно красивым юношей, отличался свободолюбивым характером, не терпел несправедливости и насилия. Он организовал заговор против царя Давида, привлек к нему многих израильтян. Только благодаря предательству заговор не достиг своей цели. В Эфраимовом лесу произошла решительная битва между оставшимися верными царю войсками и отрядами Авессалома. Последние потерпели поражение, а сам Авессалом был убит.

Н. С. Лесков отмечает, что участь сына княгини Протозановой Дмитрия «имела много сходного с судьбой этого злополучного царевича». По-видимому, писатель в своей хронике собирался в какой-то мере показать движение декабристов и рассказать о судьбе одного из его участников. Однако этот замысел не был осуществлен (см. Приложения).

Стр. 156. *...познакомилась с Х. И. Лазаревым и князем Масальским...* — Христофор Иоакимович Лазарев (1789—1871) — один из представителей богатой армянской фамилии, владелец ряда промышленных мануфактур и горных заводов в Сибири, один из

основателей Лазаревского института восточных языков (ныне Московский институт востоковедения). Находился в дружеских отношениях со Сперанским (см. «Письма графа М. М. Сперанского к Х. И. Лазареву», СПб., 1864). Петр Григорьевич Масальский (ум. в 1839 г.) — преданный друг Сперанского, во время ссылки последнего вел с ним тайную переписку и являлся его доверенным лицом. В столь же близких отношениях со Сперанским был его сын К. П. Масальский (1802—1861), писатель и драматург, переводчик романа Сервантеса «Дон-Кихот» (1838). Им подготовлены к печати «Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому, писанные с 1798 по 1819 год, с историческими пояснениями...» (СПб., 1862). В этих письмах рассеяно немало мыслей о воспитании М. М. Сперанского, автора устава о Царскосельском лицее.

С детских лет Лесков был близко знаком с родственниками кн. П. К. Масальского, жившими в Орле и селе Зиновьеве Кромского уезда (по соседству с селом Паниным, небольшим имением отца Лескова). В очерке «Дворянский бунт в Добрынском приходе» он писал: «Центр нашей умственности было семейство Ивановых. Особенно большим образованием отличалась их мать, старушка Настасья Сергеевна из дома Масальских, и сын ее, Николай Алексеевич, служивший нашим дворянским предводителем. Четыре барышни, из коих две младшие были немногим меня старше, — все были очень начитаны и не лишены разнообразных дарований. Им я обязан первым знакомством с литературою, которая потом, для несчастья моей жизни, скоро обратилась в неодолимую страсть. Страсть эта поддерживалась и питалась довольно большою библиотекою Масальского, перевезенною в Зиновьево». Среди этой семьи и окружавших их лиц Лесков немало почерпнул наблюдений и сведений для своих произведений, в том числе и для данной хроники.

Стр. 161. *Дмитрий Петрович Журавский* (1810—1856) — киевский ученый-экономист. В 40—50-х годах XIX века разработал проект постепенного освобождения крестьян от крепостной зависимости. Свои идеи он пытался практически осуществить в имениях графа Перовского. Сильно нуждаясь, Журавский постоянно тратил свои скудные сбережения на выкуп крепостных из рабства. «Только после его смерти, — пишет Ю. Ф. Самарин, — раскрылись лучшие стороны его души и *скромное величие этого человека*». Своими взглядами и личностью ученый произвел сильное впечатление на Лескова. «Он едва ли не первое живое лицо, — отмечает Лесков, — которое в дни юности моей в Киеве заставляло меня понимать, что добродетель существует не в одних отвлечениях». Для него Журав-

ский навсегда остался «борцом de facto за право человека в России в самую глухую пору». Через И. П. Веригина Лесков получил бумаги покойного и подготовил его письма о крепостной реформе к печати, снабдив их краткой характеристикой этого «превосходнейшего из людей». Однако они остались неопубликованными (см. «Из глухой поры. Переписка Д. П. Журавского и два письма Л. А. Нарышкина. 1843—1847 годы» — ЦГАЛИ, 36/49). Помимо «Захудалого рода», Лесков упоминает о Журавском в «Загоне», «Фигуре», автобиографии и в других произведениях.

Стр. 161. *...наслаждается дружбою «самоучного мещанина Семенова».* — Ф. А. Семенов (1794—1860) — талантливый русский самородок, астроном-любитель. Сын курского торговца-мясника, он самоучкой постиг математические глубины астрономии, занимался опытами по химии, физике, оптике, агрономии, вел метеорологические наблюдения. Жизнь Семенова обратила на себя внимание его современников и впоследствии стала предметом описаний многих биографов. Очень ценны оставленные им записки «Автобиография курского астронома-любителя Федора Алексеевича Семенова», П., 1920.

Стр. 162. *...в заготовленной... записке...* — В отдельном издании «Захудалого рода» Лесков в сноске сообщал: «Все это значится в бумагах покойного Д. П. Журавского, подаренных мне И. П. Веригиным и ныне составляющих мою собственность. Со временем по ним может быть составлен полный живого интереса очерк личности Журавского и его благороднейших забот о крепостных людях» (СПб., 1875, стр. 276). Составленный Лесковым по этим материалам очерк остался неопубликованным.

Стр. 163. *Перовский, В. А.* (1795—1857) — государственный деятель, с 1833 по 1842 годы управлял Оренбургским краем; с 1845 года был членом Государственного совета.

Стр. 165. *Червев христианич.* — По первоначальному замыслу Лескова Червев выступал как мартинист, своеобразный представитель русского просветительства конца XVIII века (см. Приложения).

Стр. 168. *Сарти,* Джузеппе (1723—1802) — итальянский композитор, работавший по приглашению Екатерины II в России с 1784 года над созданием музыки официально-торжественного характера (кантат, ораторий, церковных песнопений).

Бортнянский, Д. С. (1751—1825) — выдающийся русский композитор; работал по преимуществу в области церковной хоровой музыки. Созданный им в этой области стиль считается образцовым. В его музыке получили отражение элементы русской и украинской народной песенности. Произведения Бортнянского вытеснили цер-

ковные сочинения итальянцев (Б. Галуппи, Сарти), часто совершенно безвкусные и не вяжущиеся с характером православного богослужения.

Стр. 176. *Анфилада* (франц.) — ряд комнат, двери или арки которых расположены по одной прямой линии.

Импозантный (франц). — представительный.

Стр. 182. *...с бечевником по берегам* — то есть полосой земли, служащей для потребностей судоходства — бечевой тяги, впрягаясь в которую рабочие (бурлаки) или лошади тянули сплавные суда вдоль берега, против течения.

Стр. 189. *...Моисей, изводя народ из неволи...* — Моисей — библейский вождь израильского народа. Согласно сказанию, он у горы Хорив получил от бога повеление вывести свой народ из Египта, где тот находился в рабстве у фараонов, в пустыню и в Ханаан. Это странствование продолжалось около сорока лет. Перед уходом древние евреи попросили у египтян драгоценности — серебряные и золотые вещи и одежды (Книга Исход). Червев уподобляет эти драгоценности мудрости и культуре древних, которые должны входить составной частью в образование современного поколения.

Стр. 190. *Горечь мерры* — одно из испытаний, встреченных древними евреями на пути из Египта; пустыня, где вода была горькой (мерра — горечь).

...о есотерическом и ексотерическом в науке — то есть об учениях скрытых, тайных, и о явных, предназначенных для всеобщего употребления.

Кеплер, Иоганн (1571—1630) — немецкий астроном; открытые им три закона движения планет вокруг солнца легли в основу теоретической астрономии.

Стр. 191. *...делающий достоин мзды, а вол молотящий — корму* — цитата из Первого послания апостола Павла.

Плутарх (50—120) — греческий писатель, автор нравоучительных «сравнительных жизнеописаний», содержащих биографии сорока шести знаменитых людей древности.

Стр. 200. *Он всех мужиков... выселять хочет.* — Этот случай наглядно показывает, каким препятствием являлось крепостное право для развития капиталистического уклада в России до реформы 1861 года. Собственность богатых крестьян в любой момент могла быть отобрана владельцами, а они сами обращены в нищих рабов.

Стр. 201. *...житие святой боярыни Ульяны Ольшанской...* — Время ее жизни относят к первой половине XVI века. Она скончалась в ранней молодости и была погребена в Киево-Печерской лавре. См. А. Хойнацкий, Историческое сказание о св. Иулиании, деве из

Домбровицы, княжне Ольшанской — «Волынские епархиальные ведомости», 1870, № 8.

Стр. 206. *...принесен «не мир, а меч».* — Червев цитирует слова Христа к ученикам (Евангелие от Матфея).

Стр. 208. *Ко́зель,* Анна Констанца (1680—1765) — любовница Августа II (Фридриха), прозванного «Сильным».

Стр. 209. *Яков Несмеянов* — товарищ М. В. Ломоносова по Московской славяно-греко-латинской академии. В 1740 году окончил гимназический пансион при Академии наук в Петербурге, совершенствуясь по практической математике и астрономии. Указание Лескова о нем, как о медике — ошибочно.

Архимандрит Фотий (1792—1832), — использовав близость к богатой графине Орловой-Чесменской, добился приема во дворце у царя и приобрел большое влияние на Александра I. Грубо невежественный изувер, он кликушествовал о близости революции и о недостаточности принимаемых против нее мер. Даже ярого мракобеса — министра духовных дел и просвещения князя А. Голицына он считал опасным и предал его «анафеме». А. С. Пушкин в одной из своих эпиграмм дал такую характеристику Фотию:

Полуфанатик, полуплут,
Ему орудием духовным
Проклятье, меч и крест и кнут.
Пошли нам, господи, греховным,
Поменьше пастырей таких,
Полублагих, полусвятых.

ПАВЛИН

Печатается по отдельно изданному Библиотекой современных писателей (серия II, том 5) сборнику: «Павлин (рассказ). Детские годы (из воспоминаний Меркула Праотцева). Сочинение Н. С. Лескова», СПб., 1876 стр. 1—116.

Рассказ написан Лесковым в 1874 году; впервые опубликован в журнале «Нива», 1874, №№ 17—21, 23 и 24. В два первых полных собрания сочинений Н. С. Лескова рассказ не вошел. По журнальной публикации он перепечатан в Полном собрании сочинений Н. С. Лескова, изд. 3, т. 34, СПб., 1903, стр. 105—166. О сохранности и местонахождении рукописи неизвестно.

Изучение текстов двух прижизненных изданий показывает весьма существенную между ними разницу. Журнальный текст является более сокращенным, содержит множество, вероятно, цензурных изъятий, которые писателем были восстановлены в отдельном издании. Сокращения и цензурные запрещения касались некоторых

обстоятельств настойчивого ухаживания Додички за женой Павлина, ее нравственного падения, характеристики полусвета, очередной жертвой которого стала Люба. Тем самым в журнальном тексте была сглажена ее социальная драма, жена Павлина представлялась лишь жертвой собственного легкомыслия. Полностью были изъяты указания на совершенную Додичкой кражу драгоценностей у одной дамы, сцены ареста Любы и Доди, обыска в доме Анны Львовны. В журнальном тексте отсутствуют очень интересные рассуждения Н. С. Лескова о военном быте мундирной чести, а также намеки на ссылку Додички в Сибирь в сопровождении двух жандармов. Вычеркнута и полемика с романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

Рассказ «Павлин» возник на основе материалов и впечатлений от поездки писателя летом 1872 года на Валаам — монастырские острова на Ладожском озере. Герой рассказа швейцар Павлин — тип лесковского «праведника», яркий и самобытный национальный характер, своеобразный «титан и богатырь духа», возросший на крепостной почве, которая обрекала «глохнуть под терннем и погибать» самых лучших людей из народа. Самой жизнью он поставлен в сложные, противоречивые и глубоко трагические обстоятельства. Имея чуткую и отзывчивую душу, он тем не менее с неумолимой последовательностью и точностью автомата выполняет злую волю бессердечной домовладелицы Анны Львовны, у которой служит, и спокойно принимает на себя ненависть ее жильцов. В точном выполнении жестокой хозяйской воли и произвола Павлин видит исполнение не только своего служебного, но и человеческого долга. Он из «практики вывел», что послабление и потворство не защищает человека от «немилостивых людей», а только делает его более беспомощным и слабым.

С особой силой раскрылись высокие нравственные качества Павлина, его моральное превосходство над «немилостивыми людьми» — светской чернью, когда они ввергли его в семейную драму, зло растоптали его любовь и счастье. Трезво оценив все происшедшее с ним и его женой, Павлин строго осуждает себя как невольного пособника падения Любы. Вступаясь за честь жены, он насильно вручает ее человеку, которого она полюбила, — ничтожному светскому шалопаю. Чтобы придать «законность» их браку, Павлин не останавливается перед фиктивной своей «смертью». Он до конца твердо и мужественно несет ответственность за свою бывшую воспитанницу, заботясь о ее счастье, нравственном перерождении.

Стр. 212. *Валаам* — группа островов на Ладожском озере, славящихся величественной красотой скал и суровой северной при-

родой. Здесь находился один из древнейших монастырей — Валаамский, известный еще в X веке и получивший название Русского или Северного Афона. В летнее время монастырь и Валаамские острова служили местом путешествий многочисленных туристов из Петербурга и других городов. В 1872 году такое путешествие совершил Лесков. Эта поездка, природа и люди произвели огромное впечатление на писателя. В очерке «Монашеские острова на Ладожском озере» он писал: «Северный Афон» исполнен глубочайшего и всестороннего интереса. Его величественная и угрюмая природа, его положение и характер, его независимое и своеобычное монашеское правление, установившее свои незыблемые строгие порядки, в которых воспитываются аскетические нравы, являющие образцы увлекающей силы и скромного величия, — все это чрезвычайно оригинально и не имеет себе на Руси ничего равного» (Н. С. Лесков, Очерки и рассказы, СПб., 1892, стр. 3—4). На материалах этой поездки Лесков создал такие произведения, как «Очарованный странник», «Павлин» и «Таинственные предвестия».

Стр. 213. *Прозябли* — проросли, принялись, пустили росток.

Стр. 215. *Крупье* (франц. croupier) — банкомет.

Бомонд (франц. beau monde) — высшее общество.

Стр. 216. *Антик* (франц. antique — старинный) — здесь: необычный, редкий человек, оригинал.

Стр. 217. *Булава* — стержень с шишкой сверху: древнее военное оружие, знак главнокомандующего и гетмана. Позднее — обычная принадлежность швейцара.

...переделанной Юноною из Аргуса. — Аргус в античной мифологии — стоглазое существо, всевидящий и сильный сторож, у которого одна половина глаз отдыхала, а другая бодрствовала. Когда он был убит Меркурием, то Юнона глазами Аргуса украсила хвост павлина.

Стр. 218. *Антре* (франц. entrée) — вход.

Молокане — русская религиозная секта, возникшая во второй половине XVIII века. Свое название молокане объясняют тем, что содержимое ими учение есть то «словесное млеко», о котором говорится в священном писании.

Стр. 219. *Ликторы* — в древнем Риме воины-телохранители, сопровождавшие сановников и несшие символ их власти: пук прутьев с секирой посредине.

Стр. 220. *...как планета в ряду расчисленных светил* — неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Портрет» (1828).

Стр. 221. *Пчелка* — «Северная пчела» — реакционная газета, выходившая в Петербурге в 1825—1864 годах. Основана Ф. В. Бул-

гариным; с 1831 до 1859 года он редактировал ее совместно с Н. И. Гречем; в 1860 году газета перешла к П. С. Усову. В это время в ней сотрудничал Н. С. Лесков. Газета была самым распространенным периодическим изданием николаевского царствования, имела монопольное право печатать политические известия.

Стр. 221. *Пеня* — упрек, изъявление неудовольствия.

Стр. 227. *...распинателей Иисуса Христа на картине Штейбена...* — Шарль Штейбен (1788—1856) — французский художник, в детстве живший с отцом в России, а с 1843 по 1854 год работавший в Петербурге над рядом заказанных ему картин для Исаакиевского собора. Лесков имеет в виду его картину «Христос, приведенный на Голгофу» (1841).

Даниилово чудо над зверем. — Согласно библейской легенде, знаменитый вавилонский мудрец Даниил (VII—VI в. до н. э.) за неисполнение царского указа был сброшен в ров, где содержались львы, и лишь чудом избежал смерти (см. Кн. пророка Даниила, гл. XIV, 30—42).

Стр. 233. *...фребелевских матерей у нас еще не было* — Фребель, Фридрих (1782—1852) — известный немецкий педагог, обративший внимание на необходимость воспитания ребенка с первого же периода его жизни. Он является основателем дошкольных воспитательных заведений — детских садов. В деле первоначального воспитания Фребель отводил огромную роль матери. Для них он написал ряд специальных работ («Дары», «Материнские песни» и др.).

Вымогнута — взыскана, внесена.

...в одном из находившихся тогда в Венгрии русских полков. — Имеется в виду реакционный поход русских войск, посланных Николаем I в 1849 году на подавление революции в Венгрии. См. прим. к стр. 359.

Стр. 239. *Миньонная* (франц. mignonne) — милая, изящная.

Стр. 243. *Феральное* (лат.) — печальное, гибельное.

Стр. 245. *Карсель* — особый вид лампы, названной по имени ее изобретателя — француза Карселя (1800).

Стр. 247. *...пропела ей стишок из «Красного сарафана»...* — «Красный сарафан» — популярный романс Н. Г. Цыганова (1797—1831), положенный на музыку Варламовым. Цитируемый здесь куплет у Цыганова звучит так:

Не век тебе пташечкой
Звонко распевать,
Легкокрылой бабочкой
По цветам порхать.

Стр. 250. *Надесно* (церковнослав.) — направо (десная — правая).

...иностранные дамы из «морских». — Большинство представительниц так называемого полусвета были иностранки — «морские» по происхождению. Однако среди них встречались и соотечественницы. Имея поклонников среди высших слоев общества, тратя деньги своих любовников на комфорт, роскошные туалеты и экипажи, они пользовались полною свободою промысла и не испытывали никаких стеснений со стороны блюстителей казенной нравственности. При лучших аристократических ресторанах Петербурга к услугам их обожателей имелись особые кабинеты (см. Вл. Михневич, Исторические этюды русской жизни. Том 3, Язвы Петербурга. Опыт историко-статистического исследования нравственности столичного населения, СПб., 1886, стр. 85—112).

Адораторы (франц.) — обожатели.

Стр. 251. *кружившего... песнопения об «удалом постояльце»* — популярный в 1840-е годы романс. Он упоминается Лесковым и в рассказе «Обман».

Марьяж (франц. mariage) — брак.

Стр. 253. *Прюнель* (франц.) — тонкая, плотная шелковая или шерстяная ткань сложного атласного переплетения.

Абрис (нем.) — контур, эскизный набросок с помощью одних линий.

Толерантность (лат.) — терпимость к чужим мнениям и поступкам.

Стр. 254. *...редкую... книгу...* — вероятно, имеется в виду сочинение X. В. Гуфеланда (1762—1836), переведенное с немецкого языка под названием «Наука, показывающая способы к достижению долговременной жизни» (М., 1803; изд. 2, 1820). В дальнейшем издавалась под названием «Макробиотика, или искусство продления человеческой жизни».

Бэкон Веруламский (1561—1626) — английский философ-материалист, зачинатель *«английского материализма* и вообще *опытных* наук *новейшего времени»* (К. Маркс). Цитируемую здесь мысль см. Ф. Бэкон, Новый органон, ч. I, афоризм LV и след.

Стр. 257. *Коник* — лавка для спанья.

Шансонетки (франц.) — песни легкого содержания.

...благоуважением гоголевского Осипа — слуга Хлестакова из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».

Стр. 258. *У нас вовсе никем не изображен...* В 40—50-е годы быт и нравы полусвета освещались в очерках и повестях И. И. Панаева (1812—1862). П. В. Быков в своих воспоминаниях отмечает:

«Он давал мастерские портреты дам полусвета, картины их жизни, силуэты обожателей этих особ, начиная от армейцев и кончая титулованными лицами, разными гешефтмахерами и прочими. Очерки этого рода, являвшиеся новостью в литературе, имели большой успех в публике...» (П. В. Быков, Силуэты далекого прошлого, 1930, стр. 81). Эти произведения, печатавшиеся в «Современнике», разоблачали фальшивую мораль представителей господствующего класса. «Если бы мы, — писал Панаев, — вгляделись попристальнее в жизнь и в людей, нас окружающих, если бы мы разоблачили все эти таинственные существования так называемых порядочных людей, — нам, может быть, сгадились бы слова и фразы: *человек порядочный* (un homme comme il faut)... *это так принято и проч.*» («Современник», 1857, № 7, стр. 86—88). Тему полусвета разрабатывала и А. Я. Панаева. Ее «Роман в петербургском полусвете» читался, по отзывам современников, «нарасхват».

Стр. 259. *Амикошоны* (от франц. ami cochon — «друг-свинья») — бесстыжие щеголи, бесцеремонные развратники, представители «золотой молодежи».

Стр. 262. *...в Эрмитаже... есть небольшая картинка Страшного суда...* — Имеется в виду картина Яна Эйка, знаменитого нидерландского живописца конца XIV и первой половины XV века, являвшемся вместе со своим братом Губертом основателем старой фландрской школы.

Стр. 263. *Разботелый* — тучный, дородный.

Брение (церковнослав.) — распущенная глина, грязь. *Бренный* — тленный, непрочный, слабый.

Скудельный сосуд (церковнослав.) — слабый, хрупкий и ломкий (скудель — глина, глиняный сосуд).

Стр. 267. *...свирепого и мстительного Рауля.* — Имеется в виду герой французского средневекового эпоса Рауль де Камбрэ. В поэме, связанной с его именем и возникшей в X веке, ярко показана грубость, дикость и нечеловеческая жестокость феодалов.

...а полиция... учинила розыски... — эпизод о розысках Павлина полицией, о поездке переодетого квартального на Валаам, где часто укрывались лица, преследуемые властями, в журнальном тексте отсутствует. В дальнейшем с журнальным текстом не совпадает и разбивка глав.

Стр. 268. *...оставить жену ради греха... седьмой заповеди.* — По учению Христа, развод с женой допускался только в силу вины прелюбодеяния, то есть нарушения седьмой заповеди. На это и указывает Павлин, оправдывая «божественным законом» свой уход от жены и вручение ее человеку, с которым она нарушила заповедь.

Однако эта мотивировка не была пропущена цензурой в журнальном тексте, тем самым многое оставалось неясным в поведении и взглядах Павлина.

Стр. 270. *Под сурдинкой* — втайне (от франц. слова sourdine — трезубая вилочка, насаживаемая на скрипичную подставу, чтобы заглушить резкость звука).

Все подробности подневольного путешествия Додички, его попытки выдать себя за политического ссыльного и завоевать симпатии общества в журнальном тексте отсутствуют.

Я теперь припоминаю пресловутый роман «Что делать?» — Это рассуждение Лескова о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» отсутствует в журнальном тексте. Между тем оно тесно связано с замыслом рассказа «Павлин», содержащего в себе скрытую полемику с романом Чернышевского по частному, но весьма любопытному этическому вопросу.

Пресловутый. — В середине XIX века это слово редко имело иронический смысл, а означало, по объяснению В. И. Даля, «преславный, известный, знаменитый (от слава, слыть)». В том же смысле употребляется оно и Лесковым.

Стр. 271. *...à la Хлестаков перемигнуться...* — см. «Ревизор» (Действ. второе, явл. VII) Н. В. Гоголя.

Стр. 274. *Куркен-переверкен* — шиворот-навыворот.

Стр. 276—277. *...святому апостолу Павлу ангел сатаны был дан в плоть его...* — Имеется в виду признание Павла во втором его послании к коринфянам, гл. 12, 7 и след.

Стр. 277. *Молчальник* — монах, давший обет молчания.

Стр. 278. *...в стенах наших монастырей.* — Этими словами заканчивается рассказ в первой журнальной редакции.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ

(Из воспоминаний Меркула Праотцева)

Печатается по отдельно изданному Библиотекой современных писателей (серия II, том 5) сборнику: «Павлин (рассказ). Детские годы (из воспоминаний Меркула Праотцева). Сочинение Н. С. Лескова», СПб., 1876, стр. 117—415.

Повесть написана Лесковым в 1874 году. Под названием «Блуждающие огоньки (Автобиография Праотцева)» она впервые опубликована в журнале «Нива», 1875, № 1, 3—18. В два первых полных собрания сочинений Н. С. Лескова повесть не вошла. По журнальной редакции она перепечатана в третьем Пол-

ном собрании сочинений Н. С. Лескова, т. 32, СПб., 1903, стр. 3—170. Рукопись не сохранилась, сохранились лишь отдельные отрывки из цензурного экземпляра повести под названием «Блудящие огни. Пейзаж и жанр» (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, № 44, стр. 1—6, 45—60, 111—128).

Сравнение текста двух прижизненных изданий, а также сохранившихся отрывков рукописи показывает в основном их близкое сходство. Различие текста касается лишь отдельных мест повести, испытавших на себе вмешательство цензора. Цензурные изъятия восстановлены писателем в издании 1876 года, которое нами здесь воспроизводится. Вмешательство цензуры касалось, главным образом, общественно-политических вопросов. Так, совершенно была запрещена сцена «кадетского бунта», порки Кирилла нагайкою. Иногда вымарывались довольно невинные выражения, например: «Без образования жить нельзя» и заменялось: «понимание есть высочайшее благо» (гл. 6). В печатный текст повести не вошла начальная глава «Вместо вступления», имеющаяся в цензурном экземпляре рукописи. К сожалению, она сохранилась в отрывке, который мы даем ниже вместе с первоначальным названием повести:

«БЛУДЯЩИЕ ОГНИ

Пейзаж и жанр

Предчувствуя, что скоро будет свет,
Спешат толпой блуждающие тени.

Шекспир, Сон в Ивановy ночь.

Вместо вступления

Прежде чем начать передвигать перед глазами зрителей мои туманные картины, я нахожу нужным сказать, кому принадлежит план открытия этой панорамы и вывеска, которая над нею выкинута.

Летом прошлого года в живописных окрестностях одного всеми позабытого заштатного городка поселились несколько петербургских семейств. В этом поселке был и я. Все мы здесь очень скоро перезнакомились и составили довольно короткий приятельский кружок, в котором были очень милые девицы, остроумные дамы и образованные мужчины. Словом, целое общество, и притом такое благоразумное и согласное, что в нем можно было обращаться, не вздыхая об одиночестве.

Мы обыкновенно ежедневно, спустя часа два после обеда, сходились в садовой беседке одного семейства, где хозяйка и ее

сестра ежедневно давали нам бесплатные концерты, хотя, по правде сказать, они играли так хорошо, что могли бы назначать очень высокую плату за свою музыку.

Не прошло двух недель после нашего здесь устройства, как кружок наш увеличился еще одним членом, не из заезжих, а из туземцев: новый гость нашего клуба был блюститель маленького соседнего скита — монах отец Гордий.

В начале этого знакомства хозяйка дома сказала нам, что отец Гордий артист, что он пламенно любит музыку и знаток во всех искусствах.

— А главное, — добавила она, — он так играет на виолончели, что, слушая его, можно позабыть или, пожалуй, вспомнить о Давыдове и Серве. Мне случайно удалось с ним познакомиться и открыть его таланты, но я уверена, что все вы, вероятно, скоро будете благодарны и мне и этому случаю за то удовольствие, которое найдете в знакомстве с отцом Гордием.

Слова эти оказались вполне сбыточными: через несколько минут после этого разговора мы уже слушали грандиозные квартеты Гайдена, в которых превосходная виолончель отца Гордия участвовала, приводя слушателей в восторг и трепет.

— Какие звуки! — невольно шептали восхищенные слушатели.

— И какой монах! — добавляли слушательницы, не сводя глаз с играющего отца Гордия.

И действительно, монах был на загляденье и на славу: ему на вид нельзя было дать более сорока или сорока двух лет; он был высок ростом, строен, и я мог бы сказать, что он был «хорош собою», если бы не слыхал в этих словах чего-то банального и оскорбительного для недюжинного, благородного лица Гордия, а потому просто скажу, что он был очень благообразен. Это не было лицо строго соразмеренное и размеченное, в котором все на своем месте и все разрисовано по законам наилучшего колорита: лицо отца Гордия было простое, открытое, мужественное и честное лицо, линии которого не представляли никакой античной правильности в деталях, но поражали прекрасною гармониею умного и теплого выражения в целом. У него были большие ясные и очень добрые серые глаза, темнорусая бородка, и из-под клобука его виднелись такие же темные волосы с едва обозначившимися в них белыми нитями.

Наиболее авторитетные в деле вкуса дамы наши по поводу этих нитей уверяли, что отец Гордий нимало не потеряет, а напротив, выиграет от седины, что и казалось совершенно вероятным, так как красота этого человека гораздо менее зависела от перехо-

дящего и изменчивого рисунка, чем от неизменяемой прелести выражения.

Манеры отца Гордия были безукоризненны; речь тихая, мелодическая и серебристая; тембр звучного тенора чистый и глубокий, а обращение, исполненное тихой простоты, достоинства и вкуса, что этот человек, казалося, нигде не мог быть не на своем месте. Невозможно сомневаться, что с ним всем и везде должно быть легко и приятно, как легко и приятно было нам, которые с ним познакомились и в течение целого лета ежедневно наслаждались его музыкой и его беседой.

Отец Гордий стал между нас своим человеком, без которого все скучали, если он не приходил почему-нибудь к пятому часу, а в девять часов, когда он поднимался, чтобы идти в свой заштатный скит, мы также вставали и шли его провожать. Эти проводы целым обществом незаметно сделались нашею любимою вечернею прогулкою, после которой все расходились по домам, нередко задавая себе вопросы:

— Однако что же за человек этот наш отец Гордий? Откуда он и кто такой?

Из нас никто не сомневался, что он непременно человек хорошего происхождения и еще лучшего воспитания; но что могло в наши дни привести такого человека в монастырь? Неужели «влеченье — род недуга», или печальные утраты, или... Кому-то показалась вероподобною мысль, что отец Гордий удалением от света, вероятно, заглаживает какой-нибудь старый промах в своем политическом поведении. Но отец Гордий, когда ему на это намекнули, посмотрел серьезно в глаза говорившему и отрицательно покачал головою, взялся за свою виолончель.

Дамы были уверены, что в прошедшей судьбе молодого монаха играет важную роль какая-нибудь сердечная утрата, но об этом отцу Гордию никто уже не решился напомнить, и он сам всегда умел не допускать разговоров, которые ему не нравились.

— Но, боже мой, неужто теперь возможно повторение козловского «Чернеца», неужто в наши дни есть люди, которые пойдут искать целенья ранам сердца под кровом жесткой власяницы?.. Фи, это так несовременно! — рассуждали мы и решили, что это невозможно; а между тем превосходный отец Гордий был налицо перед нами, он живет, читает, пишет, его рукою с большим вкусом расписаны al secco[1] купол и стены его маленькой скитовой церкви; им переписан в строгом византийском стиле почерневший от вре-

---

[1] Первоначально в тексте было: «фреска».

мени иконостас; отца Гордия всякий мог видеть в основанной им при его монастыре школе, а в некоторые часы дня его можно застать в его чистенькой и очень хорошо меблированной келье или за мольбертом, на котором он пишет образ или этюд...» (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, № 44, лл. 1—3 об. или 1—6 стр.).

Далее в рукописи с 7-й по 44-ю страницы отсутствуют. На странице 45-й, начинающейся со слов: «моего *житья на воле...*», идет продолжение четвертой главы.

Можно думать, что это вступление, столь важное для понимания завязки, идеи и эволюции героя повести, было исключено Лесковым по требованиям цензуры, так как в нем представлен слишком светским образ монаха отца Гордия. Вместо молитвы, поста и смирения, он в монастыре увлечен занятиями искусством — суетным и мирским делом по традиционной церковной морали.

Повесть «Детские годы» (или «Блуждающие огоньки») возникла в период разрыва с Катковым, пересмотра Лесковым своего творческого и идейного пути. «Я не знал: чей я?» — писал Лесков в начале 90-х годов, вспоминая это время. Для решения этого вопроса он почувствовал потребность вернуться «к свободным чувствам и влечениям моего детства», к годам киевской молодости, когда фрески древних художников впервые зажгли в нем огонь любви к творческому истолкованию мира. «Я блуждал и воротился, стал сам собою — тем, что я есмь» («Шестидесятые годы», 1940, стр. 381). Поэтому не случайно, что повесть о Меркуле Праотцеве — страстном и мятежном человеке, глубоко одаренном художнике, прошедшем через многие житейские испытания и очутившемся в келье монастыря, содержит много автобиографического материала. Действие в ней протекает в основном в Киеве в 40—50-е годы. В 1849 году здесь впервые появился и юноша Лесков. Так же, как и герой повести, Лесков и о себе мог сказать, что этот город «в течение десяти лет кряду был моею житейскою школою».

В повести ставится широкий круг вопросов социального и морально-этического характера. Основное внимание в ней уделено вопросу воспитания и поведения человеческой личности в условиях, когда «справедливость покуда лишь *хорошая идея,* осуществления которой в толпе нет». Повесть проникнута страстным стремлением к самостоятельности своего жизненного пути. Она призывает не к бегству от жизни, а к активному участию в ней, испытанию всего того, что положено изведать человеку, — выпить до дна свою «жизненную брагу». Отступление от своего пути может принести несчастье как самому себе, так и близким. Этот путь раскрыт Лесковым на примере матери героя — Екатерины Васильевны, ее любви

к художнику Филиппу Кольбергу. Она не ответила своему естественному чувству, не смогла преодолеть светской условности, господствующей морали, увлеклась своим самоотвержением и вынуждена была жестокой карой искупить «свое самовластье над собою». По пути ложного самоотвержения она вела и Кристю Альтанскую. Но Кристя нашла в себе силы отречься «от прав на почет и уважение», взять «себе бесславия», но поступить по велению своего сердца.

Повесть «Детские годы» задумана Лесковым как философское и жизнеутверждающее произведение. Это особенно видно из эпиграфа рукописного варианта.

Стр. 280. *Бенедиктов, В. Г.* (1807—1873) — поэт 1830—1840-х годов, представитель русского романтизма, пользовался шумным, хотя и непродолжительным успехом у читателей. Вспоминая о его славе, поэт Я. Полонский писал: «Не один Петербург, вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова, — он был в моде. Учителя гимназий в классах читали стихи его ученикам своим, девицы их переписывали, приезжие из Петербурга, молодые франты, хвастались, что им удалось заучить наизусть только что написанные и еще нигде не напечатанные стихи Бенедиктова» (Сочинения В. Г. Бенедиктова, т. I, СПб., 1902, стр. XII). Лесков ниже пересказывает содержание и цитирует стихотворение Бенедиктова «Перл» из его «Сборника стихотворений 1836 года».

Стр. 281. *«вкушая вкусил мало меду и се аз умираю»* — цитата из «Первой кн. Царств», гл. XIV, 43. В качестве эпиграфа эти слова взяты М. Ю. Лермонтовым к поэме «Мцыри».

Стр. 283. *Учись, братец... а то... я тебя в уланы отдам.* — Сын писателя А. Н. Лесков в этих словах усматривает намек на Вс. Крестовского, автора «Петербургских трущоб» (1864—1867) и антинигилистического романа «Панургово стадо» (1869), с которым Н. С. Лесков некоторое время был дружен (см. А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 261).

Стр. 285. *...с рубенсовским колоритом тела...* — Питер Пауль Рубенс (1577—1640) — художник, родоначальник и глава фламандской школы живописи. Картины Рубенса отличаются необычайным чувственным полнокровием, избытком здоровья и сил.

Стр. 286. *Ремонтные деньги* — суммы, выделяемые войсковым частям на покупку лошадей для пополнения убыли.

Швальня — портняжная мастерская.

Стр. 290. *Так погиб от прелой нитки... отец...* — Этот эпизод Лесков любил рассказывать своим близким знакомым. В его устном

повествовании героями выступали... Л. Н. Толстой, якобы возвращавшийся с артиллерийской бригадой, в которой он служил, в Курск из-под Севастополя и производивший смотр этой бригады великий князь Михаил Павлович (см. И. Шляпкин, К биографии Н. С. Лескова. — «Русская старина», 1895, № 12, стр. 212; А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 286—287). Достоверным в этом рассказе можно признать лишь имя вел. кн. Михаила Павловича (1798—1849), грубого солдафона, поддерживавшего аракчеевские традиции в армии. Его имеет в виду Лесков и в повести «Детские годы».

Стр. 290. *Скиавонэ,* Андреа — прозвище итальянского живописца и гравера, настоящее имя которого было А. Мельдола (1522?—1582). Картины этого художника отличаются обдуманностью композиции и гармоничностью блестящего колорита. Лесков мог видеть в Венском музее его произведения — «Поклонение волхвов» и «Богоматерь с младенцем Христом». В Эрмитаже имеется его картина «Юпитер и Ио».

Ориген (185—254) — раннехристианский богослов и философ, руководитель христианской школы в Александрии (до 231 г.), а затем в Кесарии (Палестина). В своих работах Ориген пытался использовать античную философию (прежде всего систему Платона) для обоснования догматов христианской религии. Несмотря на то, что многие его произведения были объявлены еретическими, он пользовался большим авторитетом среди церковных писателей. Его учение оказало значительное влияние на средневековую схоластику.

...я всегда припоминаю мнение Сократа. — Сократ (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист учил, что предметом познания для человека является его душа. Она в скрытом виде содержит в себе все знание. Предметы чувственного мира лишь повод для возбуждения различных воспоминаний. Отсюда знаменитое его требование: «Познай самого себя». В дальнейшем эта теория познания как воспоминания была развита Платоном (429—347 до н. э.), учеником Сократа.

Стр. 294. *...моего житья на воле...* — текст в дальнейшем сверен по сохранившимся листам цензурной рукописи до слов: *«жгучих сил молодости».*

Стр. 295. *...о нас правительства...* — в рукописи: «милосердия».

Рекогносцировка — разведка.

«Цыгане вольною толпой...» — перефразированное начало поэмы А. С. Пушкина «Цыгане» (1824).

Стр. 297. *...где опочили Антоний, Нестор и Никола-князь...* — Антоний Печерский (ум. в 1073 г.) — один из зачинателей русского

монашества. Его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре. Нестор — древнерусский писатель XI — начала XII века. Около 1074—1078 годов постригся в монахи Киево-Печерского монастыря, являвшегося одним из центров древнерусской культуры. Написал «Чтение о князьях Борисе и Глебе», в которых выступает против феодальных распрей князей, разорявших страну, против попыток Византии подчинить своему влиянию Русь. Этой же мыслью проникнуто «Житие Феодосия», одного из основателей Печерского монастыря. Большинство историков считает Нестора составителем выдающегося памятника древнерусского летописания — «Повести временных лет», возникшей в начале XII века. Нестор похоронен в Киево-Печерском монастыре. — Николай Святоша, преподобный князь Черниговский, умер в 1143 году. Монашеская жизнь его и благочестивые подвиги описаны в Послании Симона к Поликарпу (см. М. Викторова, Киево-Печерский патерик, Киев, 1870, стр. 43—51).

Стр. 299. *«Вместе мокли и вместе сохли»* — в печатном тексте вместо слов «вместе сохли» было: «все сохли». Исправлено по рукописи.

Стр. 304. *А. Паула Монти* — найти сведения об А. Пауле Монти и ее портрете не удалось. О ней же Лесков упоминает в повести «Островитяне» (см. т. 3 наст. изд.).

Стр. 307. *Гольдсмит,* Оливер (1728—1774) — английский писатель, более всего известен как автор «Векфильдского священника» (1766). Этот роман переведен на все европейские языки. В 1846 году в переводе Я. Герда он был издан в Петербурге. Устами сельского священника, честного и высококультурного человека, обрабатывающего свой клочок земли, Гольдсмит в романе утверждает, что только трудовая жизнь на лоне природы достойна добродетельного человека. Подвергаясь издевательствам со стороны сквайра (помещика), священник не зовет к борьбе, а надеется на милосердие и справедливость неба.

Стр. 308. *...романы Лажечникова, Масальского и Загоскина.* — И. И. Лажечников (1792—1869) — автор исторических романов «Последний Новик» (1831—1833, из эпохи Петра I), «Ледяной дом» (1835, о бироновщине), «Басурман» (1838, из эпохи Ивана III) и др.; К. П. Масальский — см. прим. к стр. 156; М. Н. Загоскин (1789—1852) — исторический романист, наиболее известен романами «Юрий Милославский, или русские в 1612 году» (1829), «Рославлев, или русские в 1812 году» (1831), «Аскольдова могила» (1833).

Стр. 310. *Ажитация* (франц.) — волнение, возбуждение.

Стр. 311. *...некоему поляку Краснопольскому...* — Лесков в дальнейшем его называет Пенькновским.

Стр. 313. *Откупная водка.* — С XVIII века всю Россию обнимает откупная продажа вина. Откупщики со своими агентами и чиновниками употребляли все средства, чтобы споить народ и нажиться на его счет. Кабаки устраивались в селах и деревнях. В них целовальники и шинкари обмеривали, обсчитывали и обкрадывали народ, продавали водку, разбавленную водой, известью, сандалом, суриком.

Стр. 315. *Кутас* — шнур с кистями, бахромчатое украшение.

Стр. 316. *Хрептуг* — торба или мешок, который извозчики подвязывают к приподнятым оглоблям для корма лошадей овсом.

Стр. 318. *Кат* — палач, заплечных дел мастер. Местами существовал обычай платить кату по грошу с воза, когда он приходил на торговую площадь (на площади производились наказания преступников — торговая казнь).

Стр. 320. *Батурин* — местечко в б. Черниговской губернии, на левом берегу р. Сейма. При царе Алексее Михайловиче здесь была гетманская резиденция. Мазепа укрепил Батурин и отсюда в 1708 году, изменив Петру I, выступил для соединения с Карлом XII. В 1764 году, после упразднения резиденции, город был подарен в потомственное владение графу Разумовскому.

Стр. 324. *...схватился руками за грудь...* и дальше до слов: «Калисперос, греки!» (стр. 331) — сверено по сохранившимся листам цензурной рукописи.

Пафосская богиня. Пафос — древний город на острове Кипре, известный храмом Афродиты, по греческой мифологии — богини красоты и любви.

...возвел Nathalie Волосатину... — первоначально она названа Лесковым Аней.

Стр. 326. *...какого-нибудь монастыря...* — в рукописи: «какого-нибудь уединенного монастыря».

...как сказочный ерш... — Имеется в виду древнерусская «Повесть о ерше», в которой изображается земельная тяжба из-за Ростовского озера между ершом и лещом «с товарищи» (см. И. П. Сахаров, Русские народные сказки, СПб., 1841; А. Н. Пыпин, Очерки литературной истории старинных повестей и сказок русских, СПб., 1856 и др.).

...городской монастырь... — в рукописи: греческий.

Стр. 327. *...греческой песенки, которую мне певала матушка.* — Лесков пересказывает и цитирует стихотворение А. Н. Майкова

«Мать и дети» из цикла «Новогреческие песни». Цитируемый последний куплет у Майкова читается так:

Ах, у бедной нет там мамы,
Кто смотрел бы из окна,
Как с цветами, с мотыльками
В поле резвится она!

(Полное собрание сочинений А. Н. Майкова, изд. 6, том второй, СПб., 1893, стр. 184).

Стр. 330. *...на вино, на курицу и на даму* — вместо этого в рукописи было: «попадал и на даму и на бутылки».

Стр. 331. *...массу почестей, отец Диодор* — в печатном тексте было: «массу, почтенный отец Диодор». Исправлено по рукописи.

...о храбрости... греков вроде Колокотрони, Ботцариса и Бобелины... — Перечисленные лица являются видными участниками греческого восстания 1821—1827 годов против турецкого владычества. В этой борьбе они проявили большое личное мужество и храбрость.

Балаклавский батальон — составленный из греков, поселившихся в Крыму в Балаклаве. Он особо отличился во время Крымской войны 1853—1855 годов. Упразднен в 1859 году.

...одному очень, очень великому лицу... — В печатном тексте было: «одному лицу». Исправлены по рукописи и другие вымарки цензора относительно этого «лица».

Стр. 333. *Братья Кий, Щек, и Хорев,* по преданию, являются легендарными основателями Киева.

Боярин Кучка — владелец сел по Москве-реке, где в будущем выросла столица Русского государства.

Сион — святая гора, у подножья которой построен Иерусалим.

Стр. 334. *Ари Шефер* (1795—1858) — французский живописец. Наряду с историческими и жанровыми картинами, он создал много произведений на библейские и евангельские сюжеты.

Стр. 336. *Томпак* — сплав меди с цинком. Из него делались дешевые футляры для часов, самовары.

Стр. 344. *Силоамская купель* — купель близ Иерусалима, вода которой якобы обладала чудесным свойством исцелять больных (евангелие от Иоанна, гл. V, 2—4).

Стр. 345. *...со мною, как с Товием, идет мой Рафаил...* — Рафаил — архангел, сопровождавший под именем Азария Товию, сына благочестивого и праведного старца, во время его путешествия и подсказавший ему средство исцелить отца от слепоты (см. Книга Товита).

Стр. 346. *...древние фрески, которые только тогда очищали от*

слоя штукатурки и реставрировали. — Работа по реставрации древних фресок в Софийском соборе началась в 1843 году и была закончена в 1853 году (см. П. Лебединцев, Возобновление Киево-Софийского собора в 1843—1853 годах. Киев, 1879).

Андреевская церковь воздвигнута по проектам Растрелли в 1744—1753 гг. над обрывом так называемого Старого города в Киеве. Она создана в стиле позднего барокко, поражает обилием причудливых украшений. Внутренняя живопись выполнена Антроповым и Григорием Левицким — виднейшими художниками XVIII века.

Трехсвятительская церковь построена в конце XII века; в церкви замечательный иконостас, контуры ликов и фигур которого дают представление о характере старой украинской деревянной скульптуры и живописи.

Михайловский монастырь — монастырь в Киеве, построенный в начале XII века, по преданию в честь защитников казацкого рыцарства.

Стр. 348. *Щунять* — бранить, журить, усовещивать.

...у нас воспевают такое «лихо», которое «смеется» — очень тонкое замечание, раскрывающее замечательную черту украинской народной поэзии — ее неиссякаемый оптимизм, жизнерадостность.

Стр. 354. *Тацит,* Корнелий (55—120 н. э.) — римский писатель и историк, защитник старинных республиканских установлений, суровый обличитель деятелей императорского периода.

Стр. 356. *Автор Лалла Рук* — Томас Мур (1779—1852), английский поэт-романтик. Поэма написана в 1817 году.

Стр. 357. *Купина* — по библейскому мифу, чудесный горящий, но не сгорающий куст терновника, в пламени которого бог явился Моисею (Книга Исход, гл. III, 2).

Семо (церковнослав.) — сюда.

Стр. 359. *...в Австрии революция.* — В 1848 году венгерский народ поднялся на борьбу и под руководством Людвига Кошута добился от австрийской монархии, в состав которой входила Венгрия, автономии и отмены феодальных повинностей. В декабре 1848 года, собравшись с силами, Австрия двинула против Венгрии войска. Венгерский народ организовал сопротивление натиску реакции и провозгласил Венгрию независимой. Десятки тысяч добровольцев, в том числе польские эмигранты, влились в венгерскую армию. По словам Маркса и Энгельса, в случае победы венгерского народа «была бы разрушена вся восточно-европейская система государств» (Сочинения, т. VII, стр. 291), феодальная Австрия рас-

палась бы на составные части, Польша и другие государства получили бы независимость, а русский царизм был бы изолирован. Николай I, выполняя свою роль «жандарма Европы», организовал в 1849 году поход русских войск в Венгрию, и революция была подавлена. Во время венгерского похода все прогрессивные слои дворянства и разночинного общества России сочувствовали национальной борьбе венгерского народа.

Стр. 366. *Эспаньолетка* — особая форма бороды в виде суживающегося клина.

Стр. 373. *«суть бо кияне льстиви даже до сего дне...»* — так как киевляне остаются льстивыми даже до сегодняшнего дня, — цитата из «Повести временных лет».

Стр. 380. *Цукерня* (укр.) — кондитерская.

Стр. 381. *Улисс* — латинское название Одиссея, героя греческого эпоса.

Пароксизм (греч.) — острый припадок, приступ болезни.

...смягнущими губами — сухими, воспаленными (от древнерусск. слова смага — жар, пыл, огонь).

Стр. 382. *Кволый* (квелый) — хилый, слабый, болезненный.

Стр. 383. *Филейное вязанье* (от франц. filer) — вязанная сеткою работа, ячеистое вязанье.

Стр. 388. *Фамусовские черты.* — Фамусов — герой комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова, тип вельможи-консерватора и бюрократа.

Стр. 395. *Фриз* — толстая, ворсистая байка, материя.

Фолиант (лат.) — книга форматом в пол-листа; вообще толстая книга большого формата.

...о суде над Сократом. — Сократу было предъявлено обвинение в неуважении богов государственной религии и развращении юношества. Он был приговорен к смертной казни. Друзья предлагали ему бежать из Афин, но он отказался и умер, приняв яд. О поведении Сократа на суде рассказывается в «Апологии» Платона и «Апологии» Ксенофонта. Пребывание знаменитого философа Греции в темнице и его предсмертные беседы описаны в диалоге Платона «Федон».

Стр. 401. *...где бы или государь философствовал, или... философ царствовал.* — Эти мучительные размышления молодого Праотцева показывают, что он с Альтанским изучал наряду с античной философией (взгляды Платона на общество) и новейшую философию — взгляды французских материалистов XVIII века. Французские просветители все изменения общественной жизни объясняли идейными мотивами. «Мнения правят миром» — заявляли они и считали воз-

можным основать в обществе «царство разума и вечной справедливости» (Энгельс).

Стр. 404. *Кочь* — повозка.

Стр. 412. *Чепурной* — суетный, склонный к щегольству.

Стр. 415. *...у него натура похожа на придорожную землю в притче...* — то есть неглубокая; из сердца такого человека легко уносится то, во что он уверовал (евангелие от Луки, гл. VIII, 5, и 12).

Стр. 416. *Штрипка* (нем.) — подвязка под штаниной.

Стр. 417. *Фактотум* (от лат. fac totum — делай все) — человек, беспрекословно исполняющий чьи-либо поручения, иронически — вмешивающийся во все, сующий всюду нос.

Стр. 426. *Ганимед* — по греческой мифологии — сын царя Трои, похищенный из-за необыкновенной своей красоты богами на небо, где сделался виночерпием и любимцем Зевса.

Фортель (нем.) — здесь фокус, проделка.

Стр. 430. *«Каменный гость»* — трагедия А. С. Пушкина (1830).

Стр. 431. *...Апеллесом или Праксителем...* — Апеллес (IV в. до н. э.) — один из знаменитейших живописцев древности, картины которого отличались тщательностью исполнения, одухотворенностью и прелестью изображаемого. Самой знаменитой считалась его картина, изображавшая Афродиту Анадиомену. — Пракситель — древнегреческий скульптор IV в. до н. э. Наибольшею славою пользовалась Афродита, изваянная им для города Книда. По отзыву древних, эта статуя представляла собою идеал красоты и отличалась благородством, изяществом, страстною и в то же время девственною грацией. Пракситель любил преимущественно изображать нежное юное тело, одухотворенное любовной страстью.

Амфоры — большие кувшины из обожженной глины, употреблявшиеся у греков и римлян для хранения жидкостей, особенно вина. Служили также и для хранения пепла.

Рафаэль Санти (1483—1520) — знаменитый итальянский художник эпохи Возрождения.

Стр. 432. *...таких-то Лурлей...* — русалок (от нем. Лорелей).

Потягом — ремнем.

Стр. 434. *Мастихин* (греч.) — нож для снятия красок на палитре.

Стр. 437. *Атанде-с* (франц.) — здесь: позвольте, подождите.

Стр. 440. *«Прелестный уголок»* — цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. II, 1).

Удолье — низменность под уступом, речная долина, ложбина.

Стр. 441. *Камлот* — суровая шерстяная ткань.

Стр. 444. *Субочь* — набок.

...в пределах земных все земное — цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете» (1833).

Цитра — музыкальный инструмент, похожий на гитару, с металлическими струнами.

...из старой гугенотской библии — то есть библии, переведенной на французский язык в XVI веке. Такие переводы во Франции являлись оружием в руках религиозных партий в их борьбе с католической римской церковью, особенно во времена Реформации — религиозного движения во второй половине XVI века (католики приверженцев этого движения называли гугенотами). Внимание Лескова к движению гугенотов, видимо, связано с интересом к работам киевского профессора И. В. Лучицкого, автора ценных исследований: «Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции» (Киев, 1871) и «Католическая лига и кальвинисты во Франции» (Киев, 1877). В 1888 году в Киеве вышла книга В. Клячина «Политические собрания и политическая организация кальвинистов во Франции в XVI веке».

НА КРАЮ СВЕТА

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, том первый, СПб., 1889, стр. 379—460.

Рассказ написан в 1875 году, впервые опубликован под названием «На краю света (из воспоминаний архиерея)» в журнале «Гражданин», 1875, № 52, 28 декабря и 1876, №№ 1—4 и 6 от 5, 12, 18, 25 января и 8 февраля. В том же году рассказ был издан отдельной книгой «На краю света (из воспоминаний архиерея)». Рассказ Н. С. Лескова, СПб., 1876. Рукопись не сохранилась, известна лишь ранняя его рукописная редакция под названием «Темняк» (ЦГАЛИ, ф. 275, оп. 1, № 6, лл. 17).

Тексты всех прижизненных изданий близки между собою. В первом отдельном издании (1876) рассказу предпослан следующий эпиграф из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья» (1855):

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

Значительно отличается от печатных изданий первая рукописная редакция рассказа «Темняк». Она вводит в творческую лабора-

торию писателя и показывает, ценою какого огромного труда был создан Лесковым этот рассказ (см. Приложения).

В основе произведения «На краю света» лежит подлинный случай из миссионерской деятельности в Сибири ярославского архиепископа Нила (см. о нем ниже). Лесков сумел, однако, поднять этот случай до высоты огромного художественного обобщения и, как в зеркале, правдиво отразить современную действительность. В своем рассказе он показывает жизнь одного из наиболее угнетенных — «диких» народов России, обреченных на смерть и вырождение, фарисейство представителей господствующих классов, лицемерно заботящихся о «просвещении» и спасении души народа учением Христа, истинный смысл которого они сами не постигли или остались чужды ему, превосходство и ценность народных начал, «народного духа» как в искусстве, так и в самой жизни. При серьезных испытаниях, перед лицом смерти «некрещеный» дикарь оказался гораздо выше и человечнее архиерея, проявляет сметку и находчивость. Не удивительно, что этот «темняк» у Лескова вырастает в сказочного богатыря — символ народного могущества. Проницательнее и душевно теплее, чем архиерей, и отец Кириак — человек, близко стоящий к народу, хорошо знающий его тяготы, его подлинных «вражков».

Эта идея победы народного начала, пронизывающая от начала и до конца рассказ Лескова и роднящая его с такими произведениями, как «Левша», не была оценена и понята современной критикой. Первый, кто оценил и почувствовал эту идею, был Л. Н. Толстой. «На краю света», — говорил он, — очень хорошо. У тунгуза показана простая, искренняя вера и поступки, соответствующие ей, а у архиерея — искусственная» (Д. П. Маковицкий, Яснополянские записки. 1904—1910 годы, вып. 2, М., 1923, стр. 58). Высоко ценил это произведение М. Горький, напечатавший его в первом томе избранных произведений Н. С. Лескова рядом с «Соборянами» (Берлин, 1923).

Стр. 451. *Престарелый архиепископ* — Нил (Исакович, 1799—1874), архиепископ иркутский, затем ярославский, автор исследования «Буддизм, рассматриваемый в отношении к последователям его, обитающим в Сибири» (СПб., 1858) и «Путевых записок» (Ярославль, 1874). На связь рассказа «На краю света» с именем архиепископа Нила Лесков указывает в предисловии к очерку «Владычный суд. Быль»: «Я не вижу более надобности скрывать, что архиерей, из воспоминаний которого составлен этот рассказ,

есть не кто иной, как недавно скончавшийся архиепископ ярославский, высокопреосвященный Нил, который сам рассказывал это бывшее с ним происшествие поныне здравствующему и живущему здесь в Петербурге почтенному и всякого доверия достойному лицу В. А. К⟨окоре⟩ву. В. А. К⟨окоре⟩в сообщил этот случай мне» (см. том 6 наст. изд.). О взаимоотношениях Лескова с В. А. Кокоревым (1817—1889), бывшим откупщиком, крупным финансистом, основателем «Волжско-Камского банка», см. А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 303—307.

Миссионерская проповедь — распространение христианства (православия) среди нерусских народов. Миссионерская деятельность особенно усилилась в период расширения русского многонационального государства (XVI—XIX века), она способствовала усилению колониального режима царизма на окраинах. В то же время миссионерство сыграло известную роль в распространении русского языка среди нерусских народов, в укреплении их связи с русским народом.

Вольтеровское кресло — старинное кресло, в котором можно полулежать.

Стр. 452. *...в Тюбингене, Лондоне или Женеве...* — Тюбинген — университетский город в Германии, прославленный своим богословским факультетом; Женева — столица Швейцарии, — центр реформатской церкви; Лондон — англиканской.

...сидит у кладезя с женой самаритянской... — этот евангелический сюжет (Иоанн, гл. IV, 4—42) разрабатывался многими художниками. Вероятно, здесь имеется в виду картина Рембрандта «Христос и самаритянка» 1655 года. В написанной им на этот же сюжет картине в 1658 году образ Иисуса представлен более строгим, смотрящим на женщину с осуждением и болью.

Стр. 453. *Христа целует... Иуда.* — Вероятно, имеется в виду картина П. Рубенса (1577—1640) «Поцелуй Иуды», которую Лесков называл «гениальной картиной гениального Рубенса».

...коварный фарисей с динарием. — Подразумевается знаменитая картина Тициана (1477?—1576) «Динарий кесаря», хранящаяся в Дрезденской картинной галерее.

Кауер-Старший, Р. (1831—1893) — немецкий скульптор. «Голова Христа» им изваяна для церкви св. Павла в Шверине, построенной в 1862—1869 годах.

Платон (427—347 до н. э.) — древнегреческий философ — идеалист, ученик Сократа.

Метсу, Габриель (ок. 1629—1667) — голландский бытовой живописец. Картина, о которой здесь говорит Лесков, вероятно, принад-

лежит другому голландскому художнику — Кв. Метцису (1456—1529).

Стр. 454. *Лафон,* Ал. (1815—1901) — французский художник. Лесков имеет в виду его картину «Христос в пещере» (1861).

«Sacré coeur» («Пресвятое сердце») — особый культ, возникший в XVII веке во Франции и распространявшийся иезуитами. Характеризуется пылкостью и чувственной сентиментальностью.

Гверчино (Барбиери), Джованни-Франческо (1591—1666) — итальянский художник, крупнейший представитель болонской школы. Имеется в виду его картина «Венчание тернием» (из Мюнхенской галереи).

Ренан, Эрнст-Жозеф (1823—1893) — французский историк религии, семитолог и философ-идеалист. Главный его труд «История начал христианства», первый том которого составляет «Жизнь Иисуса» (1863).

Стр. 455. *Лафатер,* Иоганн-Каспар (1741—1801) — известный немецкий писатель-богослов, автор «Физиономики» (1772—1778) — искусства познавать характер человека по внешним его чертам.

...отдаленную сибирскую епархию. — Нил был переведен из Вятки, где он был епископом, в Иркутск в 1838 г. и пробыл в Сибири до 1854 г.

Стр. 456. *Орлецы* — круглый коврик с изображением орла, подкладываемый под ноги епископу во время богослужения.

Горнее место — возвышение за престолом.

Стр. 457. *...было явление самое обыкновенное.* — В «Путевых записках» Нил приводит целый ряд примеров полной безграмотности, духовного убожества, жалкого материального положения служителей культа в Сибири. «И у сих-то особ, — пишет он, — якут и тунгус и даже русский человек должны учиться правилам веры и христианского благоповедения. Но можно ли ожидать там успеха, где слепец водит слепца?» (стр. 225).

...и возглашает: «от лукавого» — то есть, начав читать приведенные тексты и дойдя до слов «на небеси», дьячок невольно вспоминал, что эти слова имеются в «Молитве господней» (Отче наш и т. д.), — и, уже сбившись на нее однажды, не мог удержаться, чтобы с разбега не дочитать ее до конца.

Стр. 458. *Цивилист* — представитель гражданской части, здесь просто — невоенный человек.

Облепиха — род терновника, пьяная ягода.

Дикуша — сибирская черная смородина.

Стр. 459. *...credo, quia absurdum* — верю, потому что нелепо (лат.) — положение Тертуллиана (см. примеч. к стр. 473).

Стр. 459. ..*добрая доля этих обращений значилась только на бумаге.* — Распространение христианства среди народов Восточной Сибири встречало препятствия не только со стороны старой языческой религии в лице шаманизма, но и со стороны лам, конкурировавших здесь с православными миссионерами. Ламы насаждали среди этих народов буддизм в его тибето-монгольской форме — так называемый ламаизм. В этой борьбе за духовное, а вслед за ним и материальное порабощение населения Сибири ламы оказывались более опытными и гибкими. Они легко приспосабливались к местным социальным условиям, включали в свой пантеон местных богов, пополняли свой культ местными обрядами. Уже в первой половине XVIII века они добились от царского правительства признания самостоятельности сибирского ламаизма, выступали главной агентурой царизма в Бурят-Монголии. Нередко они применяли прямое насилие над населением, препятствуя его обращению в христианство. В результате этого создавалось двоеверие, смешение разных религий. Оно чрезвычайно порабощало народы Восточной Сибири и не давало им от ревнителей этих религий никакого покоя. Нил в своем сочинении «О буддизме», ставящем целью борьбу с сибирским ламаизмом, рассказывает: «Из язычников никто почти не решался принимать св. крещения, боясь ламского прещения. Да и те из них, которые прежде крещены были, не имели покоя. Их гнали, тяготили всеми мерами... Дети росли идолопоклонниками, имевши родителей — христиан. Отцы и матери, бывши христианами, таили свою веру и выдавали себя за язычников, чтоб только не попасть в когти ламам» (стр. 254).

Стр. 460. *Будда* — мифическое существо, достигшее состояния нирваны — высшего нравственного совершенства и слияния с миром духовным. В буддийском пантеоне насчитывается свыше тысячи будд. В более узком значении будда — титул Гаутамы (он же Шакья (Сакья) Муни), мифического основателя буддийского религиозного учения.

Буддисиды (или бодисавты) — существа, достигшие совершенства в следовании за буддою; боги и полубоги.

Тенгерины в шаманизме — духи, олицетворяющие природу, стихии и т. д.

Ангоны (или онгоны) — шаманские идолы (фетиши), олицетворяющие души умерших предков.

Иеромонах — монах в сане священника.

Экклезиарх (греч.) — ключарь; священник, заведующий ризницею и церковной утварью.

Стр. 461. *Мирница* — церковный сосуд для хранения мира — елея, освященного для последующего за крещением таинства миропомазания.

Дароносица — сосуд, в котором священник носит причастие для причащения вне церкви.

...тех, кои ни горячи, ни холодны, господь обещал изблевать с уст своих... — цитата из Откровения Иоанна, гл. III, 14—16.

Слывущий (или словущий) — славный, знаменитый, почитаемый.

Стр. 462. *Моисей, божий избранник* — см. прим. к стр. 189.

Чермного моря не рассеку и из степи не выведу... — Согласно библейской легенде, Моисей по повелению бога жезлом рассек Чермное море и вывел по нему, как по суше, свой народ из Египта. Фараон и его войско, гнавшиеся вслед за израильтянами, погибли во вновь сомкнувшихся волнах моря (Книга Исход, гл. XIV, 16—24). Степи — пустыни, через которые шли с Моисеем древние евреи из египетского плена.

Стр. 463. *...этап водил* — был конвойным при ссыльных, отправлявшихся в Сибирь пешим порядком, «по этапу».

Стр. 464. *Рекреация* (лат.) — перерыв для отдыха между занятиями.

Стр. 465. *Притоманный* — собственный, домашний, настоящий, истинный.

...в дусе хлада тонка... (древнерусск.) — в воздухе, в веянии легкого ветерка.

...голубком приоборкается — укроется, воркуя.

Стр. 466. *...учить меня тунгузскому и якутскому языку.* — Нил в Сибири изучил бурят-монгольский язык, составил его грамматику и перевел на этот язык многие богослужебные книги. Тунгузский — эвенкский.

...щунял келейно... — бранил, усовещивал наедине.

Амвон (греч.) — возвышение в церкви для чтения проповеди и т. д.

Гурий (ок. 1500—1563) — первый архиепископ в Казани (с 1555 г.) по завоевании ее Иваном Грозным, энергичный и даровитый миссионер, начавший христианизацию края. Православная церковь причислила его к лику своих святых в 1596 г. См. В. О. Ключевский, Древнерусские жития святых как исторический источник, М., 1871, стр. 305 и след.

Стр. 467. *Приточник* — говорящий притчами (речь идет о книге библейской — Притчах Соломона).

Нетяги (древнерусск.) — слабосильны, не дюжи.

...и предков бы наших князь Владимир не окрестил. — Приня-

тие христианства в 989 году киевским князем Владимиром было прогрессивным явлением. Этим актом он укреплял свой союз с Византией, наследницей греческой античной культуры, вводил свое государство, как равноправное, в среду европейских государств. Само крещение народа производилось в ряде случаев насильственным путем («со страхом бе сопряжено», — указывает летопись).

Стр. 467. *Платон митрополит* — митрополит Платон Левшин (1737—1812) — церковный деятель и блестящий оратор.

Кирилл Иерусалимский (315—386) — епископ, автор «Тайноводственных» проповедей, важных для истории христианских догматов, таинств и обрядов.

Симон Волхв — шарлатан, выдававший себя за пророка и чудотворца (см. Деяния Апостолов, гл. VIII, 9—24). В III веке появился христианский роман «Recognitiones», излагавший легендарное столкновение Симона Волхва в Риме с апостолами Петром и Павлом, победу их над ним и трагическую его смерть.

Стр. 468. *Оправдятся и внидут* (древнерусск.) — оправдаются и войдут в царство небесное.

Молвь (древнерусск.) — язык.

Будьте хитры, как змии... — цитата из евангелия от Матфея, гл. X, 16.

Стр. 469. *Варистый* — употреблявшийся для варки.

Стр. 470. *...а вражки мешают, — вот беда!* — Нил в «Путевых записках» дает яркую картину вырождения и разорения местного населения торговцами и чиновниками. Он отзывается о последних, как о «вампирах, сосущих кровь людскую». Водворяясь здесь, «алчные торгаши, ни бога не боясь, ни людей не стыдясь, опутывают, подобно паукам, всех и каждого сетью лихоиманья своего» (стр. 418—419). За бесценок они скупали, выменивали «добытый потовым трудом товарец» — бобров, куниц, соболей и т. д. В силу записных долгов целые роды попадали в вечную кабалу тому или иному пройдохе.

Стр. 471. *...старую историю из первых христианских веков...* — Сказание заимствовано Лесковым из «Пролога», старинной «отреченной» книги.

Стр. 472 *...с билетом пришел, станет чествовать.* — Любопытно совпадение этого образа «гостя с билетом» у Лескова с таким же образом в «Братьях Карамазовых» Достоевского, где Иван Карамазов «билет свой ему (богу) почтительнейше возвращает».

Стр. 473. *Катехизис* (греч.) — краткое изложение учения в вопросах и ответах, правила веры.

Стр. 473. *Тертуллиан* (род. ок. 160 г.) — знаменитый богослов, в своих сочинениях требовал буквального понимания текстов св. писания. Противоположность веры и знания выразилась в знаменитой его формуле: «верю, потому что абсурдно». Особенно много уделял внимания вопросам дисциплины и жизни христиан. В трактате «О зрелищах» он запрещает христианам заниматься искусствами и ремеслами, участвовать в языческих праздниках и т. д.

В языцех (древнерусск.) — в народах.

Стр. 474. *...ламы буддийские на них гонение сделали...* — В сочинении «О буддизме» Нил рассказывает: «Бедные шаманисты всюду были преследуемы. Ни леса, ни горы не укрывали их от мести лам, целыми стадами рыскавших по всему Забайкалью и даже в окрестностях Иркутска» (стр. 253).

На пиру в Канне Галилейской Христос положил начало своим «чудесам». Видя, что на свадьбе недоставало вина, он велел наполнить шесть каменных водоносов (сосудов) водою, которую тут же обратил в вино (евангелие от Иоанна, гл. II, 1—2).

...поплевал на глаза, а потом открыл их... — об этом «чуде» Христа см. в евангелии от Иоанна, гл. IX, 1—41.

...он с пастухами ходил... (евангелие от Луки, гл. XV, 3—7). — Кириак передает этот эпизод очень вольно, в духе народных легенд, почему архиерей ему и замечает, что он «в катехизаторы» не годится.

Рамена (древнерусск.) — плечи.

Стр. 475. *...ключ Давидов...* — далее цитата из Откровения (Апокалипсиса) Иоанна, гл. III, 7.

...многия книги безумным тя творят — слова римского наместника в Иудее — Феста, обращенные к апостолу Павлу, при допросе последнего (Деяния Апостолов, гл. XXVI, 24).

Аммос — библейский пророк, был пастухом и собирал ягоды, когда бог приказал ему пророчествовать (Книга пророка Аммоса, гл. VII, 14—15).

...увеличивается число буддийских капищ и удваиваются штаты лам. — Эти сведения и следующие ниже рассуждения заимствованы Лесковым из сочинения Нила «О буддизме». «К довершению зла, — повествует Нил, — взгляды на ламизм местного в Сибири начальства не всегда отличались дальновидностью. Были годы, в которые выходили открытые предписания в пользу буддийской пропаганды; и этот, contra jus et fas [против права и приличия — лат.], распорядок, такую силу права приобрел в понятии лам, что действия его доныне ощущаются...» (стр. 254). Нил приводит такие цифры: в 1822 году в Восточной Сибири насчитывалось 2532 ламы (монаха)

и 19 кумирен (капищ), в 1842 году стало 5545 лам и 34 кумирни (стр. 256).

Стр. 476. *«все преодолевший и все отвергший» бог Фо* — прозвище Будды, преодолевшего все соблазны и искушения мира, отвергшего все его ложные обольщения и мнимые радости и силы.

Далай-лама — высшее духовное лицо в ламаизме, почитается живым, вечно возрождающимся (хубилганом) божеством на земле.

...поворачивает на спиритскую. — В 70-е годы XIX века в придворных и административных кругах Петербурга наблюдалось усиленное увлечение спиритизмом — шарлатанским производством «чудес», «вызовом духов», «столоверчением» и т. д. Медиумы, производящие эти фокусы, сменяли один другого. С разоблачением медиумических чудес выступали Л. Н. Толстой (пьеса «Плоды просвещения»), Д. И. Менделеев и др.

против... рожна прать. Рожон — острый кол, укрепленный в наклонном положении. Лезть на рожон — предпринимать действия, обреченные на неудачу и сулящие неприятности.

Стр. 478. *«О прока́»* — офранцуженное русское слово напрокат.

Епитимья (греч.) — покаяние, церковное наказание. На гражданскую и духовную службу в Сибирь часто посылались лица, неугодные в глазах начальства, совершившие какой-либо проступок.

Мережи — сети.

Стр. 479. *«Что ми хощете дати, да аз вам предам?»* — слова Иуды Искариота — предателя Христа, с которыми он обратился к первосвященникам иудейским (евангелие от Матфея, гл. XXVI, 15).

Стр. 480. *Повесть о пятистах путешественниках* заимствована Лесковым из статей И. П. Минаева «Несколько рассказов из перерождений Будды» (Журнал Министерства Народного просвещения, 1871, № 11), «Индийские сказки» (там же, 1871, № 2, 4, 5; 1874, № 11).

Шигемуни — Шакья Муни (более употребительно Сакья Муни) — имя Будды в его земном воплощении в царевиче Гуатаме. В переводе с санскритского означает: царственный богомыслитель (монах).

Стр. 481. *Сумбер* (правильнее — Сумер) в буддийской космологии — высочайшая гора, населенная небесными гениями, благожелательными людям. Когда настанет период великого разрушения современного мира, то она погибнет последней — будет сожжена пятым солнцем.

Кирик — новгородский «черный дьякон» XII века — предложил своему владыке, епископу Нифонту, длинный ряд вопросов, касаю-

щихся главным образом обрядовой стороны православия. Между вопросами имеются весьма курьезные, вроде приводимого здесь Лесковым.

Стр. 481. *Догматизировать* (греч.) — развивать догматы, основные положения, теорию веры.

Силлогизация (греч.) — логическое построение доказательств в порядке посылок и выводов.

Худог (древнерусск.) — искусен (отсюда — художество).

Стр. 482. *...разлатыми лапами* — развалистыми, сильно утолщенными от лодыжки к копыту.

Малица — шуба-рубаха из оленьей шкуры.

Стр. 483. *Орстель* — длинный шест, которым сдерживают и погоняют собак.

Стр. 484. *Зайсан* — старшина.

Стр. 487. *...по воде... ходил* — об этом и других перечисляемых здесь «чудесах» Христа рассказывается в евангелии.

Стр. 489. *Карл Эккартсгаузен* (1752—1803) — немецкий писатель-мистик. Сочинения его усердно переводились на русский язык и распространялись масонами в царствование Александра I.

Массильон, Жан-Баптист (1663—1743) — знаменитый французский проповедник.

Бурдалу (1632—1704) — иезуит, блестящий духовный оратор эпохи короля Людовика XIV. Был очень популярен в образованной части русского духовенства первой половины XIX века

...ему надо вымирать со всем родом своим... — В «Путевых записках» Нил дает страшную картину вырождения сибирских народов, обреченных на голод и вымирание.

Ацтеки — один из индейских народов, населявших Мексику, когда в нее прибыли европейцы (испанцы), под командою Фернандо Кортеса (1516).

Магнетизерские пассы — движения рук, однообразием которых гипнотизируют и повергают в сон.

Стр. 491. *Четверодневный Лазарь в Вифанской пещере...* — Речь идет об одном из «чудес» Иисуса Христа — воскрешении Лазаря на четвертый день после смерти (евангелие от Иоанна, гл. XI, 38—44).

Юкола — вяленая на воздухе провесным способом рыба.

Стр. 493. *Преферанс* (франц. préference), — предпочтение, превосходство.

Репетир — пружина в старинных дорогих карманных часах, служившая для проверки времени звоном.

Стр. 494. *...как в Черной пещере...* — В 1756 году бенгальский

князь Сарадж-уд-Даула, взяв Калькутту, заключил пленных англичан (146 человек мужчин и женщин) в глухую тюрьму с двумя крошечными отдушинами, носившую название «Черной ямы» или «Черной пещеры». За одну ночь в ней умерло, задохнувшись, 123 человека.

Стр. 495. *Таилга* — жертвоприношение.

Подсудобить — подсунуть некстати.

Стр. 496—497. *Застремить* — воткнуть.

Стр. 503. *Орион* — одно из самых красивых и обильных яркими звездами созвездий. С ним связаны многочисленные мифы, легенды и поверья.

Плеяда (Стожары) — тесная группа звезд в созвездии Тельца, из которых 6—7 более ярких видны невооруженным глазом.

Стр. 504. *Запощеванцы* — русская староверческая секта беспоповского толка (отвергающая священство), крайне аскетического и мрачного мировоззрения, доходившая до проповеди и практики религиозного самоубийства.

Авва (древнееврейск.) — отец. *Авва, отче!* — двуязычное усиление однозначащего обращения.

Стр. 506. *Гермес* — вестник богов в мифологии древней Греции.

Стр. 507. *...высказал св. Сирин...* — Имеется в виду житие св. Исаака Сирина.

Стр. 509. *Августин,* прозванный Блаженным (354—430), — крупнейший богослов, вел борьбу с «языческой» античной философией, призывал церковь жесточайшим образом расправляться со всеми инакомыслящими. «Лучше сжечь еретиков живьем, — поучал он, — чем дать им коснеть в заблуждениях».

Religio — латинское слово «религия» обозначает — «восстановленная связь», воссоединение.

...как Еммор и Сихем... — Ханаанский князь Еммор и его сын Сихем, желая породниться с родом патриарха Иакова, дочь которого обесчестил Сихем, в качестве условия для заключения племенного союза приняли обрезание. Когда все мужчины рода Еммора болели после операции, сыновья Иакова в отмщенье за позор сестры вырезали их поголовно (Книга Бытия, гл. XXXIV).

Семидал (церк.) — самая тонкая пшеничная мука.

«Аще умедлит, потерпи ему, яко идый приидет и не умедлит» (древнерусск.) — «Если замедлит, потерпи (жди) его, так как идущий придет и не замедлит» (Книга пророка Аввакума, гл. II, 3).

Стези (древнерусск.) — пути.

Сам Сый — всегда и везде пребывающий бог.

Стр. 510. *Виргилий* — Публий Вергилий Марон (70—19 г. до

н. э.) — римский поэт, автор «Энеиды», «Буколик» и дидактической поэмы «Георгики». Почитался у средневековых богословов и поэтов (Данте) языческим предшественником христианства и предсказателем скорого пришествия Христа на землю. Лесков цитирует стихи из «Энеиды» (кн. 6).

Стр. 511. *...повергались ниц перед истуканом деирского поля.* — Согласно библейской легенде, вавилонский царь Навуходоносор воздвигнул на поле Деира золотого истукана и приказал собравшимся под страхом смерти пасть перед золотым кумиром и поклониться, как только затрубят трубы, свирели и всякие другие музыкальные орудия (Книга Даниила, гл. III, 1—7).

Иеремия — один из библейских пророков. Ссылаясь на молодость (ему тогда было 15 лет), он отказывался пророчествовать, но бог приказал ему не малодушничать, а смело возвещать то, что он вложит в его уста.

Стр. 512. *Никодим* — фарисей, один из начальников иудейских, явившийся ночью на беседу к Христу (евангелие от Иоанна, гл. III, 1—21).

Вари (от древнерусск. слова «варить» — предупреждать, оберегать) — здесь: спеши на помощь, на оберег.

Стегно (древнерусск.) — бедро.

Кирилл Туровский — русский писатель и церковно-политический деятель XII века. За свое красноречие был прозван «Златоустом», в уподобление Иоанну Златоусту (347—407), отцу церкви, патриарху Константинопольскому.

Стр. 513. *...дожидавшаяся меня в монастыре бумага...* — В книге «О буддизме» Нил пишет, что в 1842 году Иркутское общее губернское правление по составленному штату полагало возможным «допустить существование 34 кумирен с 580-ю ламами» (стр. 256).

Канюшкевич — П. Конюскевич (ум. в 1770 г.) — митрополит Тобольский (с 1758 г.); стремился распространять в Сибири православие, был оклеветан и уволен на покой в Киево-Печерскую лавру.

Арсений Мациевич (1697—1772) — митрополит Ростовский, яростный противник вмешательства светских властей в жизнь церкви. За отнятие у монастырей их имущественных прав провозгласил негласную анафему Екатерине II (1763), за что был лишен митрополичьего престола и заточен в монастырь в качестве простого монаха. Однако и здесь он продолжал обличать Екатерину. В 1767 году его судили вторично и по снятии монашеского сана заточили как политического преступника в тюрьму в Ревеле. Здесь он содержался под именем арестанта «Андрея Враля», по преданию — с заткнутым кляпом ртом.

Стр. 514. *...и инородцы... уже просили крещения...* — Распространение христианства в конце XVIII и начале XIX века среди туземных народов Сибири нередко производилось с помощью воинских команд. В одном указе синода к епископу иркутскому Вениамину от 27 августа 1805 года говорится: «Его императорское величество высочайше указать соизволил — Иркутской епархии, Якутской Богородично-Рождественской церкви протоиерею и проповеднику Григорию Слепцову, для охранения походной церкви, данной ему по высочайшему повелению для распространения веры в иноплеменных народах, и в особенности — чукотских, давать команду не из военных, — так как вооружение воинское могло бы поколебать спокойствие народов диких и необразованных, — но из штатских». Слепцов указывает, что благодаря такой помощи за десятилетие — с 1805 по 1815 год — «немалое число тысяч иноверцев обратилось в христианство» (Нил, Путевые записки, стр. 349, 353).

Для блезира — забавы, шутки ради.

Князь Андрей Юрьевич Боголюбский (1110—1174) — выдающийся политический деятель древней Руси. Стремясь к единодержавию, он перенес столицу из Киева во Владимир. Был убит боярами-заговорщиками, которые опасались усиления его власти. Его смерть была горько оплакана слугою Кузьмою Киевлянином. Лесков приводит текст из этого похоронного причитания.

Стр. 515. *Иерарх* (греч.) — священнослужитель, имеющий епископский чин.

Св. Гурий — см. прим. к стр. 466.

Печалование (древнерусск.) — ходатайство, покровительство, заступление.

...во имя «бога Иустинова». — Св. Иустин Философ, писатель II века, автор «Обличения эллинов», логикой своих доказательств привел своего собеседника — язычника к решимости принять христианство, как веру «в бога, которому служит Иустин».

Стр. 516. *...вменявший ни во что целование креста малого...* — В 1154 году князь Владимирко Галицкий, человек лукавый и лживый, присягнул на верность великому князю киевскому Изяславу Мстиславовичу и венгерскому королю Гайзе; при нем целовал крест, как чудотворное наследие его предка, св. Стефана. Владимирко не замедлил обмануть поверивших его клятве союзников. А когда их посол упрекнул его: «Ведь ты же крест целовал!» — Владимирко возразил: «Вот еще: что мне этот маленький крестик!»

Стр. 516. *...не хуже... заезжих проповедников...* — Направлено

против лорда Редстока, евангелистическая проповедь которого имела огромный успех среди большого петербургского света. См. статьи Н. С. Лескова «Великосветский раскол» («Православное обозрение», 1876 и отд. издание).

Стр. 516. *Кимвал звеняций* — библейское выражение, означает торжественно звучащую, но мало содержательную речь или слово.

Финтить (от итал. finta — притворство) — хитрить, лукавить, притворяться.

...в Сигор не уйдет, а к своему Содому обернется и столпом станет. — Сигор — имя маленького городка, который согласно библейской легенде бог назначил в качестве спасительного убежища патриарху Лоту, его жене и дочерям, когда вывел их из обреченного гибели нечестивого Содома. Вопреки запрещению бога, жена Лота обернулась назад и взглянула на пылавший родной Содом, за что и была обращена в соляной столп (Книга Бытия, гл. XIX, 1—26).

...имея, как прузи, крыльца малые, а чревища великие... — Сравнение заимствовано Лесковым из «Слова о власти и чести царской» Феофана Прокоповича (1681—1736), выдающегося церковного деятеля при Петре I и писателя, произнесенного им 6 апреля 1718 г. — *Прузи* (древнерусск.) — саранча.

«Камень веры» — полемическое произведение «местоблюстителя патриаршего престола» Стефана Яворского (1658—1722), направленное против протестантской проповеди в России и косвенно против Петра I, как покровителя немцев-лютеран. Написано в 1718 году, опубликовано в 1728 году, в дальнейшем до 1749 года было вновь запрещено. *«Молот»* — произведение, написанное в ответ на «Камень веры» (автор точно не установлен). См. Д. Извеков, Из истории богословской полемической литературы XVIII в. — «Православное обозрение», 1871, август.

Голицын, А. Н. (1773—1844) — с 1803 года обер-прокурор св. синода, с 1816 по 1824 год — министр народного просвещения, крайний реакционер.

Протасов, Н. А. (1790—1855) — обер-прокурор св. синода, назначенный Николаем I на этот пост в 1836 году прямо из гусарских полковников.

Стр. 516. *Чебышев, П. П.* — бригадир, был обер-прокурором св. синода при Екатерине II в 1768 — 1774 годах.

Стр. 517. *Певни* (древнерусск.) — петухи.

...обложив туком свои лядвии... (церковнослав.) — обрастив жиром бедра свои.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАХУДАЛЫЙ РОД
(Черновые отрывки из 3-й части)

Печатаются по рукописи, хранящейся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, ф. 275, оп. 1, № 54.

Рукопись состоит из трех отрывков, писанных на белой в клеточку бумаге тетрадного формата. Отрывки представляют первоначальные черновые наброски с малым количеством зачеркнутых мест. Они обычно обрываются на полуслове, за ними следуют чистые неиспользованные страницы. Первый отрывок (лл. 1—4 об.) озаглавлен автором: «Один из могикан (князь Кис-ме-квик)». Второй (лл. 5—11 об.) не имеет особого оглавления, а только пометку: «Г⟨лава⟩ 1». Третий — самый большой (лл. 12—35 об.) прямо начинается со слов: «Они жили в своих родовых же имениях...» На листе 33 идет начало следующего письма: «5-го ноября 1873 года, С. Петербург. Любезный друг Андрей Николаевич, желая напомнить тебе...» (далее две строки прочесть не удалось, — жирно зачеркнуты). Сбоку слева приписка: «Простите Христа ради, думал, что чистый лист, а выходит нужный — хорошо, что вовремя остановился» (другая половина страницы соответствует 28—28 об. листу рукописи). Затем под письмом, оставшимся незаконченным, вновь идет продолжение рукописи «Захудалого рода». Эта ошибка писателя уточняет время работы над рукописью.

Разойдясь с Катковым по вопросу о судьбах русского дворянства, Лесков прекратил печатание «Захудалого рода» в «Русском вестнике» (1874, №№ 7, 8 и 10). Произведение осталось незавершенным. 5 декабря 1874 года, сообщая И. С. Аксакову о продаже «Захудалого рода» издателю А. Ф. Базунову, Лесков писал: «Вчера заходил ко мне кн. Вл. П. Мещерский и пожелал взять в свой «Гражданин» отдельные этюды 3-й части «Князь Кис-ме-квик» и «Смерть княгини Варвары Никаноровны». Так, как с пожара — кусочки и разобрали» (Рукоп. отдел ИРЛИ АН СССР, ф. 3, оп. 4, № 337, л. 8 об.). О судьбе названных здесь этюдов ничего неизвестно. В «Гражданине» и в других изданиях они не были напечатаны. Можно предложить, что «Смерть княгини Варвары Никаноровны» Лесков переработал для шестнадцатой главы «Захудалого рода» при подготовке собрания сочинений в 1889—1890 годах.

Публикуемые нами отрывки важны для изучения взглядов Лескова на русский исторический процесс, на дореформенную жизнь русского дворянства, для установления общего замысла хроники, судьбы ее героев.

Стр. 518. *...гораздо ранее.* — Первоначально было: «он умер и его вчера схоронили. Позабыли его все гораздо ранее, чем он умер, позабыли даже и те, кому никак бы не должно его позабыть. Но тем не менее это так случилось».

Стр. 520. *Глазетового гроба* — обитого шелковой парчой, затканной золотом и серебром.

Князь Яков был «ровесником века». — В двух первых частях дата рождения старшего сына княгини Протозановой указывается иная. Младший — Дмитрий родился во время Отечественной войны 1812 года. Он был «одним годом моложе дяди Якова» (ч. 2, гл. 7). Отсюда можно заключить, что Яков Львович родился в 1810 или 1811 году. Вероятно, желая в дальнейшем в своей хронике в какой-то мере отразить движение декабристов (см. прим. к стр. 192), Лесков изменил возраст сыновей Протозановой.

Стр. 521. *Гороскоп* — расположение небесных светил и планет в день чьего-либо рождения, по которому астрологи предсказывали судьбу этого человека.

Стр. 522. *Коловращение* (от древнерусск. коло — круг) — круговращение.

В доме княгини он пострадал за политику... — Это место совершенно очевидно показывает, что по первоначальному замыслу Лескова Червев являлся воспитателем сыновей княгини Протозановой, оказал на них большое влияние своими взглядами. Можно думать, что Червев «пострадал за политику» в доме княгини благодаря вмешательству графа Функендорфа, который «сделал немало зла семье Протозановых».

Стр. 523. *...и вел чисто...* — этими словами обрывается набросок очерка, далее идут четыре чистых страницы.

В дальнейшем следует другой черновой набросок (лл. 5—11 об.), на отдельной странице которого карандашом отмечено «Черновые Захудалого рода», и перед текстом поставлено «Г⟨лава⟩ 1».

Александра Ярославовна — имя жены Якова Львовича; в черновиках Лескова не является устойчивым. В дальнейшем писатель называет ее Софья Сергеевна, Наталья Ярославовна и вновь Александра Ярославовна.

Козьма Романыч — вероятно, Червев (Мефодий Миронович).

Стр. 528. *Мытарь* (церк.) — сборщик пошлины (мыта) за товар, продаваемый на торгу.

Стр. 529. *...ходил в дом к Толстым...* — Ф. П. Толстой (1783—1873) — выдающийся русский медальер, живописец, скульптор, гравер, вице-президент Академии художеств. Был активным членом

Союза Благоденствия. По воспоминаниям дочери, дом Толстого был вечно полон людей: «Писатели читали тут свои новые вещи, рассказывали, музыканты играли, пели. Публики собиралось очень много, но большею частью все были артисты, и потому эти вечера отличались оживлением, разнообразием, шумною веселостью и вместе с тем интимным характером» (Е. Ф. Юнге, Воспоминания, изд. «Сфинкс», стр. 61—62). В 1873 году в журнале «Русская старина» была опубликована сохранившаяся часть «Записок» Ф. П. Толстого.

Стр. 530. *Короп* — карп или сазан.

Стр. 531. *Скроп* — внезапность, поспешность, тревога.

Тетушка Клеопатра Львовна. — По сохранившимся черновикам трудно установить, является ли она новым действующим лицом или же известной по первым двум частям хроники дочерью Протозановой Настасьей Львовной. Не совсем ясно и лицо ее мужа, Николая Егоровича Павлыганьева.

...звал себя «Закхеем-мытарем». Закхей — начальник мытарей, богатый человек, особо полюбившийся Христу благодаря своей искренности и великодушию (евангелие от Луки, гл. XIX, 1—10).

Стр. 535. *«Научитеся от меня...»* — слова Христа, взятые из евангелия от Матфея (гл. XI, 29).

Стр. 539. *...под перевод колоколов...* — перезвон, во время которого обводят испытуемого вокруг церкви для очистительного покаяния.

Стр. 541. *Комераж* (франц. commerage) — сплетни, происшествия, подающие повод к сплетням.

Опека — надзор, установленный законом над лицом или имуществом его в случае малолетства владельца, несостоятельности его и т. д.

Стр. 542. *Авантаж* (франц. avantage) — выгода, преимущество.

Стр. 543. *«учреждались кадетские корпуса...* — В 1830 году было издано «Положение о губернских кадетских корпусах», на основании которого в разных городах стали открываться на счет казны и местного дворянства, а также на пожертвования частных лиц кадетские корпуса.

Стр. 544. *...прежде чем дети их будут пригодны для земли обетованной.* — Когда, по библейской легенде, народ израильский шел по пустыням из египетского плена, то не раз поднимал ропот не только против своего вождя Моисея, но и против бога и отступал от его заповедей. Раздраженный боязнью народа вступить в обещанную ему в качестве обетованной земли — Ханаанскую землю и его решением возвратиться обратно в Египет, бог прибегнул к суровым карам. Он осудил народ блуждать сорок лет по пустыням,

лишил отцов возможности увидеть землю обетованную и ввести в нее только их детей, которые не знают, что добро, что зло (Книга Чисел, гл. XIV).

Стр. 546. *С ним теперь стен Иерихона не рушишь.* — Иерихон — один из древнейших городов Палестины. Он первый подвергся нападению евреев, пришедших в землю обетованную. Согласно библейскому рассказу, он был взят благодаря чуду: стены Иерихона пали сами собой от звуков священных труб (Книга Иисуса Навина, гл. VI—VII).

Навин и Холев — по библии двое израильтян, которые благодаря верности заветам бога удостоились одни из старшего поколения войти в землю обетованную. После смерти Моисея Иисус Навин стал вождем израильского народа. Под его предводительством были побеждены хананеи — древние жители Ханаанской земли.

ТЕМНЯК

(Ранняя редакция рассказа «На краю света»)

Печатается по рукописи, хранящейся в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, ф. 275, оп. 1, № 6.

Рукопись представляет черновой автограф, состоит из семнадцати листов большого формата бумаги в крупную линейку, сплошь исписанных и испещренных многочисленными пометами и поправками. Для поправок, дополнений и вставок использованы широкие, в треть страницы поля и промежутки между строчками. На заглавном листе рукою И. А. Шляпкина сделана надпись: «Темняк. Рассказ Н. С. Лескова-Стебницкого. Получил в подарок 18 февр⟨аля⟩ 1876 года».

Заглавие перед самым текстом имеет несколько редакций. Первоначально рассказ был назван: «*Два проповедника* (Со слов преосвященного Н.). Быль». Затем над зачеркнутыми скобками написано: «светлой памяти преосвященного Нила. Рассказ.». Далее следует заглавие: «*Бог в пустыне.* Рассказ». Оно изменено на «*Дикарь*». Рядом с ним поставлено «*Три чуда*» (зачеркнуто) и «*Темняк*». Последнее название оставлено незачеркнутым.

Изучение текста показывает, что он менялся в соответствии с изменением названия рассказа. Из сплошь зачеркнутого раннего текста можно установить первоначальный вид рассказа. Он начинался так:

«Достопочтенный я⟨рослав⟩ский старожил, пользовавшийся большим расположением своего недавно скончавшегося архиепископа Н., передал мне следующий весьма характерный рассказ

усопшего архипастыря, который, мне кажется, достоин всеобщего внимания, и потому я хочу рассказать его, как слышал.

Дело относится ко времени служения покойного архиепископа в отдаленном краю Сибири, где он имел под своим начальством миссионеров, обязанных проповедовать слово божие северным кочевым народам.

— Я недоволен был моими миссионерами, — говорил архиерей, — успехи их были самые скудные, и то, что они нынче обращали в христианство, завтра снова возвращалось в язычество...» (л. 2).

Первоначальная редакция, как легко заметить, представляла запись устного рассказа «ярославского старожила», то есть В. А. Кокорева, сообщившего Лескову интересный эпизод из сибирской жизни близко знакомого ему архиепископа Нила. Только при дальнейшей обработке рассказа в нем появляются образы собеседников архиерея. Однако еще и в «Темняке» совершенно отсутствует «искусствоведческое» вступление.

Весьма существенным отличием «Темняка» от рассказа «На краю света» является отсутствие образа Кириака, играющего в нем такую значительную роль. Чертами его характера здесь наделен архиерей. Он от своего лица рассказывает и случаи «чудесного» избавления, вспоминая в ледяной пустыне свои детские годы. Отсутствуют в этой редакции и всякие сообщения, экскурсы в историю, научную и богословскую литературу, связи с современностью — все то богатство содержания, которое под искусной рукой мастера-реалиста не вредит, а лишь способствует художественному впечатлению рассказа «На краю света».

Стр. 553. *...после моей хиротонии* — рукоположения, возведения в сан епископа.

Стр. 555. *Снетка* (древнерусск.) — еда.

Стр. 556. *Не каменный... да Петр...* — Имеются в виду слова Христа, сказанные апостолу Петру: «Ты — Петр, и на сем камне я создал церковь мою, и врата ада не одолеют ее» (евангелие от Матфея, гл. XVI, 19). Петр по-гречески — камень.

Стр. 562. *...чужеземной книжечке «Старик — везде и нигде»...* — вероятно, сочинение К. Эккартсгаузена «Христос между человеками» (СПб., 1818).

СОДЕРЖАНИЕ

Н. С. ЛЕСКОВ

Собрание сочинений, т. 5

Редакторы А. М. Бихтер и П. А. Сидоров.
Художник Г. Д. Епифанов.
Художественный редактор А. М. Гайденков.
Технический редактор Л. П. Крючкина.
Корректоры В. Н. Вишнякова и Н. А. Маркова.

Подписано к печати 18/VI 1957 г. Бумага 84×108 1/32—19,9 печ. л,—32,6 усл. печ. л., 33,93 уч.-изд. л. Тираж 350 000 экз. Заказ № 315. Цена 12 р.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография „Печатный Двор“ им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.